





**ИЗБРАННАЯ ПРОЗА**



**СП «Квадрат»  
МОСКВА 1995**

*Анатолий Приставкин родился в 1931 году в г. Люберцы Московской области. Окончил Литературный институт.*

*Прозаик и очеркист. Печатается с 1960 года. Автор многих книг прозы, среди них «Ночевала тучка золотая», «Кукушата» и др.*

П  $\frac{4702010201 — 092}{Л 66 (03) — 95}$  без объявления

ISBN 5-8498-0084-0

© А. Приставкин, 1994

© Оформление СП «Квадрат», 1994



**НОЧЕВАЛА  
ТУЧКА ЗОЛОТАЯ**  
ПОВЕСТЬ





*Посвящаю эту повесть всем ее друзьям, кто принял как свое личное это бесприютное дитя литературы и не дал ее автору власть в отчаяние.*

1

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер.

Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: "Кавказ! Кавказ!" Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязеньком Подмосковье говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьменышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: "КАЗБЕК".

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, оставшуюся от раненых, чтобы подобрать, а увидел: "КАЗБЕК"!

Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно было родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желаний и мечты, корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, — вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как Господь Бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно разделить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьменыши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, — хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, — вот о чем мечталось! Глазком чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И — вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах...

И все. Все!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!

Но, как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантазмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, — запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любимым путем... Любим.

В эти особенно тоскливые месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязеньким, но тоже зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.

Слюна накупала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе... Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует... И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильнее.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей: если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!

С тех пор, как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристой, черной, толще, слаще, стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя — побледней, победней, потоньше — месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьменьшей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьменьши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьменьшей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьменьши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тянули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлеборезки! Говорили же: чего, мол, хлеборезку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьменьшей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый — шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата, как вьюны, верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.

Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут...

Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться... Без надежного плана: как, где и что стырить, — трудно прожить!

Две головы Кузьменьшей варили по-разному.

Сашка, как человек мирозерцательный, спокойный, тихий, извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точнее: взять жратье.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: "Нет". Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: "А зачем? Можно спереть и поближе..."

Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьменыши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось, кроме почты и телеграфа, да вокзала, и хлеборезку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлеборезки братья, не первый раз, кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

"Ох, как жрать-то охота... Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!" — так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если... Если ее... Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну конечно, копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче если он детдомовец, отравивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты, разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились напрямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлеборезки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлеборезки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда здесь хранились дрова, никто

не знал, лишь Кузьменыши знали: тут прятался солдат, дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом:

— А не далеко?

— А откуда ближе? — в свою очередь спросил Колька.

Оба понимали, что ближе неоткуда.

Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлебoreзки, не одним Кузьменышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь — ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили, да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять — автогеном если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет!

Другой же вариант — совсем отказаться от хлебoreзки — Кузьменышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роem в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож — собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьменышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.

Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлебoreжке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб — он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: "В наше время все дороги ведут к хлебoreзке".

Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь — известь была вытерта до кирпича, — Кузьменыши приступили к реализации своего невероятного плана. В этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они — четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка. Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьменыши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую, школьную, приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день — Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тот по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать и вдвоем в столовку как на приступ шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьменыши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадет.

Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильнее повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака-повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида... ("Инвалида умственно-го труда!" — произносилось негромко.)

Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьмёныши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленно, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне, и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут... В пустыню превратят! В Сахару!

Так думали Кузьмёныши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой — в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьмёныши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздулись. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная копилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытер-



пели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем — Сашка догадался — и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоты.

Оба Кузьмёныша сидели, отвалившись, потные, чумазые, колени подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

— Ну, что Кавказ? Трепятся?

— Трепятся, — отвечал Колька.

— Погонят, да? — так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: — А тебе не хотелось бы? Поехать?

— Куда? — спросил брат.

— На Кавказ!

— А чего там?

— Не знаю... Интересно.

— Мне интересно вот куда попасть! — и Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлебoreзка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить — и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.

Но видеть видели, издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком — такой опытный глаз-ватерпас у нее — на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала "чик-чик" по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, миллион этих талончиков с цифирьками 100, 200, 250 граммов.

На каждый талон, и два, и три — только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит

острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то — высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая — такое богатство, что и подумать страшно!

Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: "Хлеб, хлеб..."

В такие минуты братья не роют, не дураки, небось. Направляясь мимо железных дверей, в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось, и не подзревали, что кто-то их за крепость крепким словом приложит.

Как доберутся Кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда... Знали братья твердо, что случится тогда.

В две головы продумано, небось, не в одну.

Бухарик — но один — они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не моги. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика — это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.

Часть для дурака-повара: о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около хлеборезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают... Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обидят, других обделят. Только и всего.

Кому надо-то, чтобы комиссии от роно поперли (а их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрел в сторону, куда указывал Колькин кулак.

— Не-е... — произнес он задумчиво. — Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они, небось, выше нашего дома торчат? А?

— Ну и что? — опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

— Сегодня стишки учили, — вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. — Михаил Лермонтов, "Утес" называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"...Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из "Утеса" всего две строчки Сашка запомнил.

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана...

— Про Кавказ, что ли? — скучно поинтересовался Колька.

— Ага. Утес же...

— Если он такой же дурной, как этот... — и Колька сунул кулаком опять в фундамент. — Утес твой!

— Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи... Поешь ли, читаешь — все одно о жратве думаешь. Голодной куме все куры на уме!

— Ну и чего? — вдруг спросил Колька.

— Чево-чево? — повторил за ним Сашка.  
— Чево он там, утес-то? Развалился аль нет?  
— Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка.  
— Как — не знаешь? А стихи?  
— Чего стихи... Ну, там, эта... Как ее. Туча, значит, уперлась в утес...  
— Как мы в фундамент?  
— Ну, покемарила... улетела...  
Колька присвистнул.  
— Все??  
— Все.  
— Ни фига себе сочиняют! То про цыпленка, то про тучу...

— А я-то при чем! — разозлился теперь Сашка. — Я тебе сочинитель, что ли? — но разозлился не сильно. Да и сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы размером с их детдом, а между ними повсюду хлебoreзки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел — а тут другая хлебoreзка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют. "Якши", — говорят. Или еще как! А смысл один: "Ешь, мол, больше, у нас хлебoreзок много!"

Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая, небось, тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался — отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: "Эти!" И после паузы: "На Кавказ!"

Причина же отъезда была основательная, слава Богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьмёнышей на дружную, лучшую жизнь.

Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.

А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, плят глаза — что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки!

И — догадались, мама родная. Да ведь это же подкоп!

Под их кухню, под их хлеборезку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлеборезки прошли и внутрь, там, где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: "Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом да вспомогательными средствами... А дети... Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели".

— Они у меня еще те чудотворцы! — сказал хмуро директор. — Но я этого кудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьмёныша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время, не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохлая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче — и два места освободилось.

Конечно, Кузьмёнышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к

весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться, да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться — поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: "Хочу фруктов... Вот тех, о которых этот... который приезжал, говорил".

На что Колька отвечал, что фрукт — это и есть картошка, он точно знает. А еще фрукт — это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: "Тоже фрукт... От войны за детишками спасается!"

— Картошки наедемся! — сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон, читал в книжке, что саранча, куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она, небось, все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем...

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отравили.

В день отъезда привели их к хлебобрезке, не дальше порога, конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при копилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком. Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем.

Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьмёныши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: "Без завтрака, без обеда, без ужина!.."

Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургузый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

— Так-то лучше... — и добавил: — Ну, тово... Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит... А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разногласо пропели:

— Не будем Вик Вик-трыч!

— Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтобы директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьмёнышей они стоили многого.

Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.

Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.

Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме.

Звали его Петр Анисимович.

Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положил этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше.

— Это ведь непонятно, что происходит, — вздохнул он.

А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой, наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она была...

Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам.

К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помощь, пристроить хоть как-нибудь...

Петр Анисимович всем отвечал одинаково: "Нет, нет. Не могу".

А один раз вспылил, закричал:

— Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно, что происходит! У меня полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! — при этом он указал почему-то на Кузьмёнышей.

Слово "посадить" им не очень понравилось, но они промолчали.

Повсюду, где они проходили, высовывались уже из окошек головы.

Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе ошивались, по кутузкам, где отсиживали...

Кузьмёнышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:

— Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать — дерьмо клевать!

Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и, не медля, бросились к окну, всовывая свои головы между чужими.

Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались,



и вслед за остальными загикали, засвирители кто во что горазд.

— Люберецкая вошь — куд-да-да пол-зешь, под кровать...

Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских, подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут — и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских, орехово-зуюевских...

Но хуже всех — московских.

Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные.

Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке.

Заревели, завыли, заблеяли, замычали.

Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих братьев.

— Мытищинские — через забор дрищенские!

— Эй, Можай, дальше поезжай!

— Кашира — протухла, не жила!

— Орехово-Зуево — раздето-разуево!

— Коломна всегда голодна!

Нас побить, побить хотели  
Загорские ежики,  
А мы сами не стерпели —  
Наточили ножики!

Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке.

Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле.

А ведь было, когда загорские подкараулили дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, заехавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу — выловили дмитровского в электричке и к кресту на кладбище на ночь привязали: орал как резаный! Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик!.. Наоборот, прохожие бежали подальше.

Бывали шутки и похлеще между колониями и детдомами разных подмосковных городков, и стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов...

А теперь вот всех, всех совместно жизнь-злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе — поезде. Такая бурная реакция произошла, что казалось — эшелон раньше срока разлетится вдребезги!

Слава Богу, что у него не один, много вагонов!

Смешивалось не сразу, а полегоньку, так бы ни одно железо не выдержало. Потасовки кой-где произошли, и кто-то, правда, дорогой, сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд... Не без этого.

К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать: найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того — лежать.

Как и сделали наши Кузьмёныши.

Внизу, под их полками, тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял... Поднимался крик, вмешивались взрослые.

Постепенно улеглось.

Разместили на одну нижнюю полку по двое, валетом, заполнили на ночь и место на полу, в коридоре и между полок.

Кузьменыши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез — высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь.

А если кто совался к братьям снизу, посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят! Ничего вы тут своего не оставляли!

Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу.

Разговорчики, смешки, анекдотики... Кто-то песенку запел: "На Кавказских на горах жил задрипанный монах, он там золото искал, никого не подпускал, вот он золото нашел, продавать его пошел..."

Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным: вагон дернуло!

Все затихли. Слушали. Верили и не верили: неужто тронулись, поехали?

А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, клацкнул, железом заскрежетал — и правда поехал! Это

стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам.

Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже, в прошлое, назад, в темноту.

Да плевать всем было! И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит!

Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которой не поверят, слезу пустить.

Кто-то из девочек пропищал: жалко, мол...

— Чего жалко-то?

— Уезжать жалко.

А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные — люди железные...

Господи! Да пропади пропадом, задарма, этот уютный, невытый, проклятый, выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать... А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах...

Что же касается Кузьмёнышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой... Ни здесь и нигде вообще!

Друг у друга они есть — вот это будет верно.

Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша — это они сами.

Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.

По военной — по пустыне — надо сказать.

Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем... А прольется ласка да внимание, живой водой — прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит.

Нет — значит, не было. Значит, не надо.

Это не только о Кузьмёнышах — о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем бесшабашно, безумно веселом поезде!

Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени, и попытался через десяток лет отыскать.

Открыточки, такие желтенькие, с запросом на адресные столы сотню, не меньше, разослал — и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца ни от одного нашего...

И вот уж печатаюсь двадцать пять лет, и фамилии те, не скрывая, намеренно выношу в своих рассказах, в повестях, очерках, и снова — ни словечка в ответ.

Страшная мысль: неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгнули, затерялись? Не проросли?

Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит, из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли...

Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в торбочки, в мешочки, загашники и извлекли оттуда съестное.

У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в печеном виде. У одного — даже каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу... А еще — роскошь — серенький тошнотик. Из мороженных очистков их делали да отбросов.

Тошнотики, тошнотики, военные блины,  
Раз поешь тошнотики — полные штаны!

И вдруг... Кишки от этого "вдруг" защипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду... И по тем самым кишкам — будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!

Суки-москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!

Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой — обнищавшее Подмосковье в голос!

Несправедливо про всех, конечно. Да ведь со стороны, из-за лесов казалось, что тут, в столице, у товарища Сталина под боком, который с Мамлакат на коленях в книжке

нарисован, жратвы-то от барского стола поболее остается! Не успели пузатые, похожие на ихнего директора, все разокрасть! Иначе откуда бы, подскажите, шепните на ушко, баночка-то колбасная, золотистое солнышко, по-сверкивающее внизу?

О такой колбасе наши Кузьмёныши только по рассказам и знали! Да вот еще по запаху: дважды в жизни Сашка унюхивал этот незабвенный, ни с чем не спутываемый, секущий финкой под ребро, запах и по ощущению пересказывал Кольке...

Как в байке про куриную лапку... Мол, вкусна куриная-то лапка, а ты ее едал, да нет, не едал, а только видал, как наш барин едал.

Теперь оба, как в темный колодец, где поблескивало звездочкой, смотрели вниз. Да не одни братья — все, небось, смотрели! И слушали, и принимались, когда еще доведется в жизни такое почувствовать! И понюхать!

А потом, как по команде, оба брата отвернулись и поглядели друг на друга. Оба знали, кто из них о чем думает.

Сашка подумал: рот бы себе чем заткнуть, чтобы не закричать, не зареветь от голода на весь вагон! Не про банку, хрен с ней, с этой недосыгаемой мечтой-банкой! А про директора-суку из Томилина, которому велели, письменно, это уже по чужим разговорам стало ясно, дать им хлебный и прочий паек на пять суток! О чем он, падла, сидя тогда на ступеньках и почесывая прыщавые подмышки, думал, где его плюгавенькая совесть была: ведь знал, знал же он, что посылает двух детей в голодную многосуточную дорогу! И не шевельнулась та совесть, не дрогнула в задубевшей душонке ни одна струнка!

Примите же это, не высказанное, от моих Кузьмёнышей и от меня лично, запоздалое, из далеких восьмидесятых годов, непощение вам, жирные крысы тыловые, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны...

Владимир Николаевич Башмаков — так звали одного из них. Он был директором Таловского интерната, и владел нашими судьбами, и морил нас голодом...

Ау, где ты, наполеончик, с коротенькими ручками и властным характером, обожавший накрутить очередному воспитаннику несколько смертельных суток.

— Без обеда, без ужина, без завтрака, без обеда...

И душа сжималась от ноющего предчувствия, слыша приговор: сколько раз обернет он этот список голодным поясом вокруг тебя!

Оба Кузьмёныша вынули по кусочку выданного им хлеба. Крошечные сейчас уж совсем, от которых еще дорогой отщипывали и дощипались: словно мышинная говяшечка на ладони.

Колька понюхал, языком лизнул, предложил:

— Хочешь?

— А ты?

— Да я с утра обожратый, — сказал Колька. А сам подумал: если Сашка два кусочка съест, то ему сытнее будет. А на ночь так больше и не надо есть, а то вся сытость во сне пройдет как бы без пользы.

Сунул Колька свой кусочек Сашке, а сам отвернулся. Запах колбасы сживал со свету, разворачивал разрывной пулей все утро.

Хоть бы не скребли, гады, ложкой-то по жести, от этого звука судорога начиналась в животе, будто это тебя, тебя — как банку — ложкой выскребают.

Взвять захотелось Кольке! Грызть деревянную полку, на которой лежал! Уткнулся он лицом в сухие доски, голову зажал, чувствовал: что еще немного — и плохо ему будет. Закричит, заревет зверем на весь вагон, так его скрутило от чужого праздника. Да и Сашке, видать, не легче. Он кусочек Кольке назад вернул. Глядя загнанно в потолок, произнес ненавидящим шепотом:

— Только б до завтра дожить... Как встанет поезд...

Колька подхватил, как выдохнул:

— На ры-нок! Эх!

Рынок для обоих означало, что смогут они худо-бедно, но пережить эту дорогу.

Москвичам, что попались в попутчики, отвалили пай на несколько суток. Да, видать, еще и родня подбросила съестного. А у Кузьмёнышей лучшая родня — это рыночные тетki, которые свой товар плохо сторожат.

— Я тут одну штуковину придумал, как это завтра отблать, — сказал Сашка и почесал в голове. Там, в глубине, в неведомых потемках, рождались у Сашки самые замечательные идеи.

— Сделаем, — зло произнес Колька. Как отрубил. И было обоим понятно: он сделают все, что придумал Сашка. Разговором сыт не будешь, если хлеба не до-будешь!

Поезд дернулся и встал.

— Это чево? Это Воронеж?

— Хрен догонишь! — отвечал другой голос снизу.

Братья, как по команде, проснулись, усталились в окно. На сереньком фасаде масляной краской коричневой было выведено: "ВОРОНЕЖ".

Слышали Кузьмёныши — на пути такой город будет.

Но не город их интересовал — рынок у вокзала.

Оба покатались с полок на головы пацанвы, что толкалась внизу и глазела в окно. Братья протиснулись в тамбур и наткнулись на усатого коротконового проводника в грязно-синей военной форме железнодорожника. За голенищем сапога два флажка торчат. Уже волочет что-то в мешке, усы от напряжения вспотели, глаза выкатились.

— Дя-нька, стоять долго будем?

Проводник оттеснил их грудью в конец тамбура, бросил мешок с глухим стуком. Повернулся, расправляя плечи. Посмотрел.

— Вам-то чево надо?

— Рынок, — сказал Колька. С надеждой спросил, не зря же мужик мешок приволок. С картошкой мешок, по виду определил. Надо этот мешок не упускать из виду.

— Ха! Рынок-то за вокзалом, — пробормотал проводник и рукой махнул в сторону выхода. — Да гляди не опоздай! Поезд стоять долго не будет! Как один гудок даст, дак и чеши... А второй — уже тово... поедем.

Кузьмёныши переглянулись.

Оба подумали: хорошо, что не будет поезд долго стоять. Им и не надо, чтобы он долго стоял. Чем быстрее пойдет, тем лучше. Для них лучше. А уж они все наперед продумали и про себя, и про свой поезд.

За длинной стеной, кончавшейся полуразрушенным зданием вокзала — небось, бои тут жестокие шли, — открывалась площадь, полная народу. Перескакывая через битый кирпич, через траншеи с водой, братья, подобно десяткам других пацанов, вскачь кинулись к рынку.

Вонзились в него с разбегу, как вонзается кинжал в свою жертву.

При входе, как всегда, семечки в мешках да веники вязаные. А дальше вглубь овощи пошли: картошка, свекла, репа, огурцы... Овощей-то, пожалуй, побольше, чем в Подмоскovie, и молока побольше, его прямо в стаканах с румяной пеночкой выставили. Варенцом прозывают. Кричат протяжно: "Ва-ре-нец! Кому-у ва-ре-нец!" Тетка им

вслед кричит. А кричит потому, что у Кольки из кармана красная тридцатка выглядывает. А там за тридцаткой и еще какие-то бумажки синеют... Без тридцатки тетка бы и не заметила их, да и уж точно — милком не назвала. Мало ли шантрапы ходит!

В том-то и была Сашкина затея, чтобы на весь рынок торчала из кармана драгоценная тридцатка, а рядом напихали обрезков из пачки папирос "Беломорканал"... Поди разгляди с ходу-то, пачка и пачка, и видно по тридцатке, что деньги торчат.

Конечно, братья рисковали. Натуральную-то тридцатку напоказ выставлять опасно, свой брат жулик мог бы легко поживиться! Но и это было учтено. Колька барином идет, тридцатку демонстрирует, а Сашка сзади караулит, глаз с нее не спускает, оттирает, если кто прицеливаться да приближаться станет.

Кругом гомонила толпа. Семечки лузгали. Вся земля в лузге.

Рядом завизжали: кого-то поймали, значит, бьют.

Эта картина братьям не внове, сами попадались и тоже орали как резаные, смотришь — кто-нибудь да вступится. А молчком терпеть — так и голову оторвут за личную за собственность и не пожалеют.

Может, кто из своих, из эшелона, орал, но братья скорей в другую сторону свернули. Слишком тут бдительные сидят!

Шагов с полсотни сделали и уперлись: вот оно! Вот где оно лежит, что искали!

На плоском дощатом прилавке, не в центре его, откуда не выскочишь, а с краю, на тряпочке выставлен ржаной, домашней выпечки хлеб, аккуратно порезанный на равные округлые ломти. А рядом и вовсе чудное, белое, длинное, — Колька увидел, будто споткнулся на ходу. Уставился заворожено.

Сашка его легонечко в бок шуркнул:

— Чево, как баран на новые ворота-то... Батон это! Белая такая булка, в кино показывали...

Прошентал, а у самого в горле как кусок глины завяз — ни проглотить, ни выплюнуть. А все этот чертов батон, который перед глазами у них маячил.

Видел Сашка в одном довоенном кино: будто прямо на улице булочная стоит, а кто-то заходит и покупает вот такое белое... И говорит: "Батон, мол, купил!" Неужто не понарошку продавали? Да без карточек! Да прям целиком!

Огляделись братья, лишь бы не опередили их. Не набросились бы покупатели на это расчудесное добро. Но



нет. Никто не хватает, денежки не сует... Раз-другой прицелятся да отвалят. Видать, дорог хлебушек-то, лежит нетронутый, ждет богатых хозяев, сияет на весь белый свет золотой корочкой, что по гребешку неровным шовчиком идет.

А запах от него! За сто метров услышали бы братья этот запах, может, оттого и вышли сюда, что голодный желудок, как пчелку на сладкое, на хлебный дух их привел?

Помолились братья про себя. Так попросили: "Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, Господи, тех, у кого мощна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схавать... Ты же видишь, Господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим... Да и жрать охота, Господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!"

Может, и не те слова были, но за смысл ручаюсь, а за искренность тех молитв — тем более.

Теперь братья поделили работу свою так: один лицом к поезду оборотился, другой — к батону и хлебу, а там еще рядом мед в сотах кусками лежит...

Вот они где нужны, четыре глаза-то! И все Сашкина шалая голова на голодное брюхо придумала! Спиной к спине, и тридцатку не свистнут, и все вокруг видно, а сигнал дать — лишь локотком двинуть.

Сашка услышал — прогудел паровоз. Сипленько, тягуче, словно позвал к себе: "У-у-й-е-д-у-у!"

От-то и есть сигнал к действию. Как труба архангела, зовущая наших героев начать правое дело.

Теперь вперед! Только вперед! К батону — чуду-юду, к ржаным округлым ломтям, к меду в кусках, возле которого роятся нахальные осы... Но прежде к золотому родимому хлебушку! Скорей, Колька! Скорей!

Двинул Сашка брата острым локтем под ребро. "Шуруй", — прошептал.

А Колька чуть выше, поприметнее бумажки с тридцаткой высунул и прямиком к прилавку. Знает: минута или две у них в запасе, не более. Придвинулся к прилавку, покрутился так, чтобы денежки его стали заметны, спросил:

— А тут чево? — именно тем проходным тоном, когда ясно, что ничего тут стоящего для него нет. Так, ерундовина всякая.

Молодая деваха, голубые стеклянные глаза на выкате, как пуговицы, в небо уставились. В ширину больше, чем в высоту, выросла. Сашка бы сейчас нашелся что сказать:

“Ширше прилавка свово”. Ишь расперло, на каких таких харчах, как не на рыночных, ее откормили до такого свинства?

Рядом мужичишка, чахлый в сравнении с ней, задавила, небось, мяса в ней пудов сто будет.

Все это пронеслось в Колькиной голове, как легкий сквознячок, в то время как он нехотя, с недовольной миной хлеб оглядывал.

— Носят тут всякое... — процедил он и посмотрел вдаль, сейчас дальше пойдет. — Тут ничего стоящего не видать.

Девка семечки лузгает, равнодушно отплевывает в сторону. Работает, строчит, как пулемет все равно. Но и ее задело.

— Всякое? — спросила она, даже лузга повисла на нижней губе. — Это тебе всякое? — сунула под нос Кольке батон.

Колька вроде уж уходить хотел, но задержался, взял батон в руку, и от пружинистой корочки, от дурманящего запаха вдруг подступила к горлу тошнота.

— Из отрубей, что ли? — спросил он и поморщился. Не любит, сразу видно, когда суют ему всякую всячину из отрубей.

— Сам из отрубей! — вспыхнула деваха. — Батон пшанишный! Глядеть надо лучше!

А Колька и правда глаза закрыл, вот-вот его вывернет наизнанку. Как начнет он блевать вот тут, на глазах у этой сдобной девки, так кранты всем их планам. Вот ведь загвоздка! Все продумали, каждое движение загодя предусмотрели, а тошноту от голода, спазмы в кишках забыли, не учли.

Мотнул Колька головой, вдохнул побольше воздуха и еще вдохнул. А напоказ — ручкой ко рту, будто зевок сделал. Естественно даже вышло, позевывает малый, скучно ему тут стоять, смотреть на какой-то чахлый батон, который якобы не из отрубей.

— Ну и почему? — спросил, небрежно отодвигая тот батон в сторону девахи. Но не настолько далеко отодвигал, чтобы не забрать снова.

— Сто пятьдесят.

— А меньше?

— Чево меньше? Ты посмотри! Чистая пшаница!

— Сто, — буркает Колька, махнув рукой. Видел, мол, я твою пшеницу. Грош ей цена в базарный день.

— Сто сорок, — говорит деваха. И опять строчит свои семечки.

— Сто двадцать, — бросает Колька и собирается уходить. Уже шаг в сторону сделал, на деваху, на ее батон он не глядит. Неинтересно.

— Сто тридцать, — кричит вдогонку деваха. Веер семечек изо рта.

— Ладно, — нисходит Колька, возвращаясь и хлопая по карману так, чтобы снова стали видны его деньги. — В ущерб себе, учти!

Взял батон, стал засовывать в тот же карман с деньгами. А чтобы не дать пухлой купчихе опомниться, сразу на хлеб пальцем:

— А это — почему?

— Кусок — тридцатка! И мед — тридцатка! — деваха заработала губами, лузга полетела во все стороны.

— Беру! Хоть обдираешь ты меня как липку! — лихо произносит Колька, вдруг развеселившись, и сразу два ломтя сует в тот же карман, где уже лежит батон. И, не дав девахе прийти в себя, тут же еще два куска меда сует за пазуху. — Эх, где наша не пропадала... Все беру! Все!

Деваха будто смекнула что-то, семечки отставила, глаза-пуговицы уставила на Кольку:

— Плати! Ты че, лапаешь да лапаешь! Плати, говорю!

А мужичишка при ней, дремавший до сих пор, вздрогнул от крика жены, озирается. На его глазах продукт национализируют, а ему бы только ворон считать.

Вот он — второй критический момент! Когда все взято и надо красиво смыться. Как сказали бы в сводке Информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.

Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамаю. В школе проходили. Мамай, ясное дело, — толстозадая пшеничная деваха...

Монголы-татары стали теснить русских — деваха крикнула вторично:

— Плати! — и ухватила Кольку за рукав. — Плати давай!

В это время и приказал волынский воевода Дмитрий Боброк выступить засадному полку и нанести по фашистам решающий танковый удар.

Как черт из-за печи, вынырнул рядом Сашка.

— Скорей! Скорей! — закричал, чтобы сильнее оглушить торговку. — Поезд уходит!

Колька головой вертанул, и деваха невольно вслед за ним посмотрела: поезд, их поезд, медленно трогался в путь.

Поскрипывали, будто разминаясь, колеса. Гомонилась пацанва у дверей, запихиваясь вовнутрь.

— Бегом! — еще громче, внося панику, грохнул Сашка. — Потом... Потом отдадим!

Деваха сразу пришла в себя. В Колькин рукав вцепилась намертво.

— Когда потом? Сейчас плати! — и взвизгнула: — Ден-ги!

— Отдай деньги-то! — закричал Сашка. — А то — останемся!

— Да они же под батоном!

— Давай сюды батон!

Схватил Сашка батон, а там еще и хлеб мешает. Начал Колька под хлебом искать, дернул руку, мол, руку-то отпусти, как же я достану?

Отпустила деваха руку — Колька и рванул. А Сашка с батоном давно летел к поезду.

Так это все выглядело: впереди Сашка с батоном, потом Колька, а по его пятам пшеничная деваха и ее муж.

Деваха раскалилась до того, что Колька ее тепло спиной слышал.

Не до смеху ему было, хоть дева ширше своего роста, а шпарит так, что не отстает, и страшно ему. Догонят — убьют. Эти уж точно не пожалеют. Тут и другие торговцы подхватили, для них гон воришки — развлечение. А бить — так и вовсе душу отвести...

Крик на весь базар:

— Держи-и! Укра-а-а-ал!

Весь эшелон в окна выставился. Тоже зрелище, как в театре.

Подмосковные ребята —  
Жулики-грабители:  
Ехал дедушка с навозом,  
И того — обидели-ли!

Из всех пятнадцати вагонов, из ста окошек пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток. Крик, хохот, рев, визг, подначки. Кто во что горазд:

— Эй, Воронеж, хрен догонишь!

— А догонишь — хрен возьмешь!

— Эй, мужа, гляди, потеряла!

— Не баба — паровоз! Выпусти пар, а то взорвешься!

— Может ее к поезду — вагоны толкать?

— Буфера велики!

Кто-то модную песенку заорал, ее подхватили: "Поезд едет из Тамбова прямо на Москву, я лягу на верхней полке и как будто сплю... Пари-ра-ра! Держи вора!"

Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ. Сашка первым подбежал к своему вагону, ухватился за поручень, оглянулся.

Колька поскользнулся, выронил кусок хлеба, который держал в руке. Нагнулся подобрать, второй уронил.

А деваха, грозя в окна кулаком, уже топчет рядом с Колькой. Вот-вот ухватит. А сзади мужичишко. А какой-то парень из добровольцев потеху себе устроил. А там еще, еще бегут...

— Брось! — закричал Сашка изо всех сил. Отчаянно, на весь Воронеж. — Брось! Брось! Брось!

Колька растерялся, но уже дыхание над собой услышал! Не дыхание, а шипение будто, скрежет и лязг: не меньше как танк на него наезжает!

Чуть не на четвереньках, на руках и ногах запрыгал, за лесенку руками схватился, а уж деваха его за ноги тянет.

Сашка и проводник вцепились в Колькины подмышки, рвут к себе, а деваха к себе, растягивают, как гармошку. Орет, голосит, визг пороссячий! И парень рядом...

Рванули бедного Кольку, так рванули, что осталась у девахи в горсти Колькина штанина.

А парня, что подоспел и руки протянул, проводник флажками по морде да сапогом добавил.

— Не лезть! — закричал. — Шелгунщиков не пуцаем! Ха! Спекулянты несчастные! Ме-шоч-ники!

И снова полетели в них из окон банки-склянки, а кто-то попытался мочиться на ходу...

Под улюлюканье, под насмешки поезд набирал скорость.

"Па-ри-ра-ра! Де-р-жи вора-а!"

## 5

Батон кормил Кузьмёнышей долго.

Нутро они выгрызли до крошки, до пылинки вылизали и съели. А вот форма...

Жесткая корка стала им сосудом, ее берегли. Волшебным сосудом, если посудить. От нее, по Сашкиной идее, пользу можно было взять двойную, тройную, пятерную!

На станциях, на крошечных полустанках со своим пустотелым батонем и неизменной тридцаткой, которая торчала у Кольки из кармана, они подскакивали к рыночным теткам и просили налить в батон сметанки, или ряженки, или варенца.

Потом между братьями разыгрывалась маленькая шумная сценка: один из них начинал кричать, что дорого, а поезд отходит...

Молочное выливали, а то, что впиталось в батон, выскребывали ложками. Ложки брали у москвичей.

Но и батон оказался не вечен, как все не вечно в нашем мире.

Корочка постепенно истончилась, подмокла, и на какой-то несчитанный день после Воронежа кормящий сосуд распался на мелкие кусочки. Их, не без сожаления, тут же съели.

Кончился и мед. Во время Колькиного бега он растекся за пазухой, пропитав рубаху и Колькин живот. С рубахой, с той было просто: ее обсосали, обжевали в несколько приемов, вылизали до дыр.

А вот свой живот Колька трогать не дал. "Эдак и без рубахи и без живота останешься", — так сказал.

Ходил по вагону, а вокруг него вились осы. На первых порах нижняя пацанва так их и различала: Колька — это тот, который сладкий, а Сашка — по контрасту, значит, горький.

Клички бы сохранились, но сами Кузьмёныши, любившие морочить окружающих и выдавать себя друг за друга, быстро всех запутали, особенно когда медовый запах пропал. Это выработанный годами способ самозащиты.

Снизу кричали:

— Эй, сладкий! Хватай батон, станция сейчас будет!

А Колька отвечал:

— Это вы ему скажите! Он — Колька! — и указывал на Сашку.

Они и местами менялись, и одежду друг друга одевали. Смысла в этом и видимой пользы не было будто бы никакой.

Окружающим без разницы, кто из них что носит и кто где спит. Но братья-то знали, очень даже знали, что это пока все равно. А случись неприятность, криминальная

история, так важно сбить с толку окружающих, тем самым запутать след...

Как прежде они поступали...

Но братья смотрели сейчас не назад — вперед!

А скоро другие запахи стали реять по вагону, подавив все остальные: и меда, и пота, и мочи. Поезд въехал в так называемую по-школьному "зону черноземья".

Удивить видавшего виды беспризорника нелегко. Но вдруг открылось, что было для глаз непривычно: земля тут и в самом деле черная.

Без деревьев почти, без лесов и березок там разных, лежит бугром до горизонта, а цвет ну такой черный, как черны ноги у каждого уважающего себя шакала из дет-дома.

Грачей, что садились на эту землю, нельзя было различить! Паровоз и тот затерялся!

Еще удивляло: без присмотра, без сторожей растет на этой черной земле всякий фрукт и овощ. Какой — издали на ходу не разберешь. Вот если бы чуточку потише, если бы притормозило где!..

Но поезд, как назло, все мимо, мимо пронесил, все чесал, шпарил как угорелый...

И уж молились в вагонах: миленький, ну встань на секундочку... На чуточку, нам бы по морковинке, по све-колке только... Притормози, призадержись, ну чего тебе, родненький паровозик, стоит!

И вдруг — встали.

Может, их молитву услышали? Может, силой мысли пар остановили — посреди полей?

Замедлил эшелон движение, зашипел и замер.

Машинист, молчаливый старик с короткой шевелюрой, буркнул, обращаясь к кочегару:

— Баста. Будет нашей ораве тут кормежка. На два часа запри пар да подай кипятку, чай гонять будем!

Весь состав, тыща гавриков, кроме разве самых малых, да самых несмелых, да еще больных, высыпали из вагонов посмотреть, отчего встали. Но некоторые без промедления ринулись в поле, в придорожные огороды — к зеленеющим невдалеке грядкам — и стали рвать.

Сперва это делали самые дерзкие, самые пронирыливые. Остальные стояли и смотрели.

И вдруг, что-то сообразив, все бросились вперед. Будто дикая орда понеслась к зеленым посевам и разом собой их накрыла.

Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленых, как жучки в траве, мельтешила, суетилась, перебегая с места на место, ребятня.

Он долил в жестяную огромную кружку кипятку и, подняв дрожащими руками и пригубив осторожненько, добавил:

— Росшее не убудет, если детишки раз в жизни наедятся...

На поле же творилось невообразимое. Каждый шарпал как мог. Тащил все, что попадалось под руку. Обрывали молодую еще в молочных зернышках, никогда не виданную кукурузу. Зубами от плетей отгрызали крошечные тыковки, их жевали, не сходя с места, будто яблоки, вместе с кожурой. Остальные с плетями выдергивали и тащили к поезду.

Огурцы, морковь, молодую свеклу совали за пазуху и в рот, отплевывая черную, на вкус пресноватую землю. Крутили головы незрелым подсолнухами в желтом цвете, а если не хватало на это сил, выдергивали с корнем и так, будто дрова в охапке, волокли к вагонам.

Порой попадались овощи такие несуразные! Колька нахватал под рубаху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука. Но сожрали, не пропадать же добру!

В такой необычный, скажем, момент произошла встреча Кузьмёнышей с Региной Петровной.

Братья несли свою добычу и ни о чем не помышляли, только бы запихать все на верхнюю полку да успеть сбежать и принести еще.

Надо сказать, работали они руками и зубами одинаково. Оба успевали на ходу откусывать от шляпки подсолнуха сладковатые сочные семечки, пережевывать их и выплевывать в траву.

А женщина стояла у входа в их вагон.

Сашка даже рот открыл от удивления, и оттуда вывалилась белая непрожеванная каша из недоспелых семечек. Да и Колька оупело, сам не свой, уставился на нее. Такая это была неожиданная женщина.

Молода, наверное, молода, темноволоса, густые небрежные волосы небрежно откинута назад. Глаза у женщины были черные, посверкивающие изнутри, непонятно какой глубины и обволакивающей теплой ласки; и губы — это были крупные, живые губы, они жили как бы сами по себе и ничем не были замазаны, что нравилось братьям



больше всего. Голову свою она держала высоко, как держат только богини и царицы.

Так увидели ее оба брата. И сразу влюбились. Безнадежно на всю жизнь.

Но этого они друг другу не сказали. Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них.

Да и нравилось Кузьмёнышам в женщине разное.

Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно, когда она смеялась. Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шахерезады, котсрую он видел в книжке восточных сказок.

Но это не сразу. Все это было осознано ими потом.

Сейчас же братья застыли перед ней, будто увидели около вагона не человека, а спустившегося с неба ангела.

С раздутыми пазухами, торчащими на полметра, с руками, занятыми подсолнухами, со ртами, забитыми молодыми незрелыми семечками, которые они так и не успели дожевать, они увязли перед ней, и вдруг оказалось, что они не знают, как им дальше жить.

Женщина посмотрела на них и громко рассмеялась. Голос у нее оказался низкий, бархатный, от него пошел по коже озноб.

— Вот тебе на! — произнесла, будто пропела контральто, женщина, разглядывая наших братьев. — Откуда же это вы? Такие одинаковые? Два сапога пара! Нет! — воскликнула она и наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. — Нет, вы как два сапога на одну ногу!

И опять замечательно легко и будто даже искристо (красивые искры в теплой ночи!) рассмеялась.

И так как братья оробело молчали и только изо рта у Сашки продолжали сыпаться белые недожеванные семечки, женщина, обращаясь к ним, как давним, как добрым своим знакомым, добавила:

— А у меня в вагоне тоже двое мужичков, но только они меньше вас! Гораздо меньше! Им в сумме семь лет. А зовут их Жорес и Марат; очень серьезные, скажу вам, важные они мужички! Меня же вы можете называть Регина Петровна... Вы запомните? Ре-ги-на-пет-ров-на... Ну, а вы кто?

Только теперь Сашка догадался закрыть рот, а Колька, откашлявшись и выплюнув под ноги остатки семечек, сиплым от волнения голосом сказал, что они — Кузьмёныши.

— И все? — спросила весело женщина.

Братья одновременно кивнули.

— Так не бывает! — воскликнула с улыбкой женщина, и губы ее задрожали, наверное, так она смеялась. — Может, мне называть вас Кузьмёныш-первый и Кузьмёныш-второй?

— Нет, — сказал Колька сурово. — Мы — по отдельности — будем Колька и Сашка. А вместе мы Кузьмины, Кузьмёныши, значит.

Женщина покачала головой, будто удивляясь сказанному, волосы ее темные заволновались и частью упали на висок и на плечо.

— Кто у вас кто? "Ху из ху?" — как сказали бы англичане... Да нет, если вы скажете, я в другой раз все равно вас не различу, вы ведь под копирку, понимаете... Под копирку сработаны...

Братья не поняли "копирку", но сознались потом друг другу, что с ними впервые в жизни разговаривали по инострански. Сашку даже пот прошиб, а Колька пустил струйку в штаны.

Но женщина не заметила. Она наклонилась к братьям близко-близко, от нее невозможно стало дышать, и стало слышно, как густо пахнет чем-то темным, душистым, никогда раньше не веданным. И волосы ее, волнующие, вдруг склонились к ним. Снизив голос, она сказала, как говорят только своим:

— Дружочки мои! Мы с вами встретимся, я ведь буду у вас воспитательницей! Да, да! И вы мне всегда будете говорить, кто у вас кто, и не будете меня морочить, ведь правда? Вы ведь морочите других? С вашей похожестью кого хочешь можно заморочить... А?

Братья потупились.

Она была первой женщиной, которая все сразу про них поняла.

— Прощайте, мои милые Кузьмёныши! — сказала женщина и вздохнула. — Я везу из Москвы двух таких важных мальчиков, и они долго не могут без меня жить... Мы еще встретимся? Ну, скажем, на следующей станции... Да? Вот и договорились. Счастливо!

Она ушла.

А Кузьмёныши залезли в вагон, выгрузили на верхней полке свое богатство, но почему-то уже не радовались ему.

Они сразу стали ждать, когда поезд отойдет, чтобы скорей прийти на следующую станцию.

Когда же это случилось, после многих томительных минут, женщины со странным именем "Регинапетровна" у вагона не оказалось. Не было ее и на других станциях. Так что братьям могло показаться, что ее не было вовсе. А на другой день на поезд напал понос.

## 6

Дристали все, весь эшелон, потому что грязные овощи не могли в таком количестве перевариваться в истощенных детских желудках.

Усатый проводник лишь тяжело вздыхал, заглядывая в туалет.

Все было загажено, стульчак, и пол вокруг стульчака, и кран с водой, и раковина под краном, и полочка для мыла, и даже стены были забрызганы чуть не до потолка.

Уже добрались до тамбура, до междвагонного перехода, а кто-то ухитрился наложить в вагонную печку.

На частых теперь остановках ребятя бежала не в поле за добычей, а под насыпь, чтобы облегчиться.

Но уже и сил отбегать не было, садились тут же, у вагона или под вагоном. У некоторых, послабей, хватало только сил забраться под вагон, обратно их выволакивали.

Машинист, весь в саже, в черной засаленной робе, маленький, сморщенный, теперь, прежде чем отправляться, сам пробегал весь состав, и наклоняясь, умолял:

— Ребяточки! Милые! Да как же я поеду, если вы у меня на колесе сидите-то! Грех-то какой, не дай Бог, кого подавлю! Я же фронт обслуживал, на Сталинград по рельсам, положенным на землю, составы с войском возил... По ночам возил! И ни одной аварии, считай! А тут...

Он качал седым ежиком и звал на помощь директора.

Появлялся суетливый Петр Анисимович, он перебежал от вагона к вагону и, прижимая портфель к груди, наклоняясь, просил:

— Вылазьте! Ехать надо! Поезд ждет! Этак мы никогда не сдвинемся с места, вы понимаете?

Ребятня не отвечала, не двигалась. Только голые выстроенные в ряд зады издавали в ответ на слова директора громкие звуки.

Директор выпрямлялся и, глядя на машиниста, произносил, разводя руками:

— Это ведь непонятно, что происходит!

— Да понятно-то, понятно, — бормотал машинист. — А что делать будем?

На ближайшей станции, а станция называлась Кубань, встали на трое суток. Временный мост через горную реку, наведенный еще саперами во время наступления, снесло разбушевавшейся стихией, а новый мост еще не пустили.

Состав отвели на запасные пути.

Детей выгрузили, разместили в соседнем товарняке на сене: прежде здесь возили лошадей.

Сашка, из них двоих более нетерпеливый, нажирался вдвойне, напихивая в себя овощей, семечек, зеленых арбузов, баклажан и прочего. Он первый и слег с животом. Каждый час бегал вслед за остальными в тамбур.

Он даже изловчился на вагонном переходе у лязгающих железок пристроиться так, что у него все выливалось фонтанчиком через дырку.

Потом и выливаться стало нечему. Зеленое прошло, и желтое прошло, и черное даже. Появилась слизь, а в ней сгустки крови.

К вечеру, вместе с директором, пришли двое в белых халатах: мужчина и женщина. Всех осмотрели. И Сашку тоже. Пощупали ему живот, взглянули на язык.

Сашка лежал на подстилке на сене, бледный и молчаливый.

Уж Колька старался его расшевелить, про станцию рассказывал, которая называется станицей, и про то, что в садах растет желтый плод алыча. Прямо на улицу перевешивается, рви да жри до отвала. А у насыпи еще один плод, тоже бесплатный — терном зовется. И его завались.

А косточек от всяких там фруктов у насыпи валяется столько, что земли не видно. Шантрапа, все шакалы, которые могут ходить, кладут те косточки на рельсу и долбят камнем. По всей станции звон да долбеж стоит!

— Слышно, — попытался сказать Сашка и даже улыбнулся бескровными губами. Как все из него выжалось-то. Колька смотрел и удивлялся.

Но об одном, что он видел на станции, он промолчал. О странных вагонах на дальнем тупике за водокачкой. На те вагоны он набрел случайно, собирая вдоль насыпи терн, и услышал, как из теплушки, из зарешеченного окошечка наверху, кто-то его позвал. Он поднял голову и увидел глаза, одни сперва глаза: то ли мальчика, то ли девочки. Черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один странный звук: "Хи". Колька удивился и показал ладонь с сизова-

тыми твердыми ягодами: "Это?" Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если, кроме ягод, ничего и не было.

— Хи! Хи! — закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга, и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона.

Колька отпрянул, чуть не упал. И тут неведомо откуда объявился вооруженный солдат. Он стукнул кулаком по деревянному борту вагона, не сильно, но голоса сразу пропали, и наступила мертвая тишина. И руки пропали. Остались лишь глаза, наполненные страхом. И все они теперь были устремлены на солдата.

А он, задрвав голову, показал кулак и привычно произнес:

— Не шуметь! Чечмеки! Кому говорят! Чтобы ти-хо!

Он шагнул к еще не опомнившемуся Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто знал, откуда он взялся, и подтолкнул в спину:

— Топай, топай отсюда! Тут не цирк, и смотреть тут нечего!

Колька летел до самой станции, зажав в горсти свои дурацкие ягоды. Не будь Сашка в таком тяжелом состоянии, он тут бы выложил ему новость да про чечмека бы спросил... Шпана, скажем, или беспризорщина, или жулье, или блатяги?.. Эти названия ему известны. А тут — новенькое, переварить башкой надо. Но Сашка был плох. Погибал, судя по всему, Сашка.

А белая женщина, та что в халате, еще таблетки принесла и бурду во флаконе. Колька из жалости к брату половину тех таблеток сам пожрал (вот отравато) и бурду выпил. Одному Сашке, он понимал, с такими лечениями не выжить. Он даже градусник подержал за Сашку, но тут его засекли.

Остроглазая белая врачиха разделила братьев и велела Кольке пока пожить в другом вагоне.

Колька сопротивлялся, не уходил, даже пытался на голос взять, но все напрасно. Врачиха оказалась твердокаменной. Чуть не силой, при помощи белого мужчины, вытурила Кольку и велела не показываться возле Сашки. Не то, пригрозила, его вообще увезут.

Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом. Когда врачей не было, Сашка глуховато отвечал. Приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать.

Тогда Колька набросал между рельсов травы да лопухов и сделал себе лежак, спал под тем местом, где находился Сашка. А чтобы знал, что Колька всегда при нем, он постукивал по дну вагона камешком. Сашка ему отвечал.

Так миновало двое суток.

Их бывший эшелон, стоящий неподалеку, привели в порядок. Выскребли, отмыли, очистили, провоняли известкой да карболкой. Так что первые, кто хотел в него переселиться, не смогли там дышать, слезы катились. И потому еще сутки ждали, когда вся дрянь из вагонов выветрится.

В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному товарняку. Не поленился проделать кругляя по колючим кустам, а все из-за одной лишь подлой привычки, свойственной любому шакалу: кружить, как кружат осы, именно там, где гонят! Известно, там всегда что-нибудь да ухватишь. Пусть не ртом, а глазами... У нас и за погляд деньги берут! А у шакалов детдомовских острый глазок за вторую пайку почитается.

Но сколь ни вглядывался Колька, сидя в кустах рядом с насыпью, сколько ни вслушивался, ничего не мог обнаружить. Видел солдата, но не того, что турнул Кольку, а другого, повыше и покрупней, он вышагивал вдоль эшелона, стараясь спрятаться от пекла в узкой вагонной тени.

За свою немалую жизнь, его и Сашкину, много повидали они всяких поездов, проходящих через Томилино: санитарных с красными крестами на боках, военных с танками под брезентом, с беженцами, с трудармейцами, даже с зеками... Однажды они видели, как везли пленных фашистов, тоже в теплушках, а ихних генералов так в отдельном шикарном вагоне... Их потом по Москве колонной водили. Но этот эшелон, Колька мог поклясться, не был ни фашистским, ни беженским. Он скорей был похож на их беспризорный поезд, тоже, видать, не кормили. Так ведь шакалы и сами могли добыть себе пропитание — привычное с детства дело! А взаперти-то как добудешь?

Колька знал, как тяжело сидеть взаперти, не однажды они с Сашкой попадали в кутузку, последний раз за стибренный на рынке соленый огурец. Пока их тащили, они тот огурец сжевали, а потом сидели всю ночь и орали, так хотелось пить! Ну Кузьмёнышей хоть за соленый огурец запирали или еще за что, а этих?.. Может, они директора почистили? Может, хлеборезку скопом взяли?

Пока Колька соображал, поезд тот прогудел и поехал. Солдат последний раз вдоль состава глазом стрельнул, на ступеньку вскочил, и тут снова раздалось гоготание. Уже не

один вагон — все вагоны. Завопили, закричали, заплакали...

Поезд покатил в ту сторону, откуда братья только что приехали, но вот какая странность — звуки и голоса из теплушек еще долго реяли в воздухе за станцией, пока не растаяли в теплых сумерках.

Но это, конечно, все Колькино воображение, потому что никто, кроме него, как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивал молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио доносило бра-вурный марш духового оркестра: "Широка страна моя родная..."

А потом и мы двинулись в сторону неведомого нам Кавказа.

За рекой Кубанью, которую мы переезжали в великий разлив тихим шажком по хлипкому, по вздрагивающему временному мосту, наведенному в недавние времена саперами, открылись нам затопленные сады, а потом на горизонте засветились и далекие горы. Мы ликовали, будто сделали в своей жизни великое открытие: "Горы! Смотрите, это же горы! Настоящие горы!"

Они синели, как редкие тучки на краю неба, и ехать до них, как оказалось, предстояло еще не одни сутки! Дух захватывало от сверкающих вершин, в это время нам и правда казалось, что все наши шакальи мечты об изобилии, о сытой и замечательно радостной невоенной жизни непременно сбудутся.

И забылась, стерлась странная такая встреча на станции Кубань с эшелоном, из которого к нам тянули руки наши сверстники: "Хи! Хи!"

Наши поезда постояли бок о бок, как два брата-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они — одни на север, другие — на юг.

Мы были связаны одной судьбой.

Но когда было решено, что все в поезд переходят и он отправляется, Сашке и еще двоим сказали, что им нельзя ехать, слабы, и вообще их надо госпитализировать.

Колька лежал под вагоном и, приложив ухо к полу, слушал.

Не все он понял, но главное-то сообразил: кранты Сашке.

Сперва таблетками травили, бурдой разной, а потом вывели: нельзя! В поезд его нельзя, с Колькой нельзя! Так и совсем уморят.

Колька сидел под вагоном, шептал Сашке последние новости, настропалял против белой врачихи, которая не пускает...

А Сашке на Кавказ ехать надо. Ему в этой деревне, которая зовется станицей, делать нечего. Хоть терна тут растет много и алычи много, а косточек у насыпи так целый мильон, а выжить братья смогут, лишь когда они вместе и в поезде...

Тут же Колька предложил — откуда мысли-то в голову пришли? — поменяться местами. Ночью, когда все заснут, перелезть вместо Сашки на сено, а Сашку в эшелон отправить. А когда станут отъезжать, то вскочить скорей на поезд...

Может, умный Сашка не такое бы придумал, ясное дело. Но Колька был горд своим планом: сам сообразил, как выручить брата из беды.

Но тот идею с обманом отверг. Вид у них был слишком разный. Сашку, чахлого до изнеможения, со здоровым и румяным Колькой трудно спутать. Да и ночи у них нет, поезд скоро отправляется... Надо что-то другое соображать.

Сашка помолчал и спросил в доски:

— А эта не поможет? Которая... Резина?

— Резина? — спросил Колька. — У меня резины нет, а тебе зачем?

— Да не у тебя! — крикнул Сашка изнутри. — А воспитательница... Ее же Резиной зовут?

Колька при ее имени, так исковерканном, подскочил и башкой о вагон стукнулся. В глазах искры побежали. Как же он сам-то не сообразил! Ну конечно! Кто еще может им помочь, если не эта чудотворница, восточная царица, Шахерезада! Скорей, скорей ее разыскать надо!

— Регина Петровна... Вот как ее зовут! — сказал Колька и потер макушку. — Ты лежи. Сделай вид, что спишь, и никаких таблеток не бери, а то отравят. И везти себя не давай! А я сейчас... Я ее найду! Слышь? — и стукнул в дно три раза. Это чтобы Сашке было веселей ждать. А Сашка лишь один раз ответил. Он силы берег, да их у него и не было. А Колька бросился к своему эшелону, потому что времени у них оставалось совсем мало.



Все вагоны насквозь пробежал Колька, на полки и под полки заглядывал, но нигде не было восточной женщины по имени Регина Петровна. И никто ее не знал.

Кольку приветствовали, здоровались, кричали снизу и сверху:

— Эй, Кузьменыш! А где твой второй Кузьменыш?

— Ты кто из них? Ты Сашка или Колька?

— Я Петька, — отвечал он.

Колька еще подумал: а женщина бы, которая Регина Петровна, произнесла бы это по-инострански: "Ху из ху". Непонятно, но здорово, будто кто-нибудь выругался.

В другое время Колька бы из этого текста анекдот смастерил и весь бы вагон потешил, но теперь... Дошел до паровоза, почему-то на тендер заглянул, двух мешочников там увидел, они сидели на угле и жрали яйца с огурцом. Но женщины нигде не было.

Понял Колька: пропадают они с братом. Уж и паровоз под парами, и машинист по переднему, с красным ободом, колесу молоточком стучит, смотрит, небось: как оно, колесо, будет крутиться или нет...

Подбежал к нему Колька, спросил с надеждой:

— Не скоро поедет?

Седой машинист — сегодня он был не в саже, небось, и в баньку парную успел сбегать — пристукнул молоточком, послушал и сказал:

— Да чего еще ждать... И так засиделись! Вот дам сигнал, и поедет. Через полчаса! Чего не успел, торопись!

А Колька ничего не успел. Брата спасти не успел. Может, ворваться в товарняк, где лежит Сашка, да схватить его: пока там сообразят, они до вагона своего добегут.

Всякие несуразности приходили в Колькину голову, но не было среди них ни одной, которая могла помочь брату. А все это от отчаяния! Не найти ему до отхода эту Регину Петровну!

Поднял он глаза — и остолбенел: прямо перед ним на пути стоит она, задумалась и смотрит куда-то вдаль, Кольку не видит. А в руках у нее — вот уж сказали бы, так не поверил ни за какие коврижки — самая настоящая папироска! Кольке ль не знать папирос: фабрики "Дукат", марки "Беломоро-Балтийский канал".

И она, Регина Петровна, потягивает папиросочку, выпускает теплый дым и сосредоточенно так вдаль глядит. Думает.

Не будь отчаянного положения, не посмел бы в жизнь Колька подойти к такой странной, красивой да еще и курящей женщине.

Но сейчас не до колебаний было. Бросился как к своей, стал объяснять, путаное объяснение у него вышло. Про понос, про порошки да таблетки, и про ту, которая белая, потому что в белом халате, и хочет она Сашку оставить, а Кольку прогнать... Как уже прогнала! А одного Сашку они тут уморят, пропадет он на этой станции. А без него и Колька пропадет. Они до сих пор потому и не пропали, что не было такого, чтобы их разделить...

Регина Петровна швырнула папироску наземь, не докурив, и сразу спросила:

— Стало быть, ты — Колька? Пошли!

Сашка не видел, как переезжали они реку Кубань по хлипкому, по дрожащему под напором свирепой воды мосту.

Все прилипли к окнам, и Колька голову высунул, чтобы все подробнее разглядеть и рассказать Сашке.

Грязно-коричневая река с ревом неслась вниз, закручивая огромные воронки и взбивая у каменных быков порушенного моста белые буруны.

Поезд шел тихо, как бы ошупью, и седой машинист с ежиком, наверное, не раз вспомнил свои фронтовые дороги, и особенно путь на Сталинград, где ехать приходилось по рельсам, положенным на голые шпалы через заволжские степи.

Деревянные сваи и сам мост несильно, но вполне ощутимо раскачивались. А если, как сделал Колька, смотреть только на одну ревущую вниз воду, то могло показаться, что мост медленно, вздрагивая и поддаваясь, опадает в глухую пропасть под ними.

Колька отпрянул, головой помотал: страшно стало.

Но река уже подходила к концу, и по бокам высокой насыпи — слава Богу, переехали и не упали — пошли сады и огороды, сплошь затопленные водой.

Такого никто из ребят никогда не видывал. Силища, если столько воды в реке, что все вокруг под собой похоронила! Одни верхушки деревьев торчат!

Пришла Регина Петровна — она теперь вроде как шефство над ними взяла, потому что пообещала белой врачихе за братьями, особенно за Сашкой, следить, — и объяснила, что в жаркое время, вот как сейчас, на горах тает снег, и реки на Кавказе начинают разливаться. Кубань тоже горная река.

— Это что же значит? — сказал с недоверием Колька. — Мы на Кавказе, что ли?

Регина Петровна посмотрела на него черными блестящими глазами — могло показаться, что она думает о чем-то другом, — и ответила, что да, конечно, они уже на Кавказе. — Въехали, дружок!

— А горы? — расстроено спросил Колька.

Сашка промолчал, он был слаб. Но и он бы, конечно, спросил то же самое. Вот тебе и Кавказ — одна вода на острогах!

Но Регина Петровна улыбнулась мягко, и губы у нее, крупные некрашенные губы, дрогнули, и глаза наполнились какой-то невероятной грустной глубиной.

— Подождите до вечера, — так произнесла, наклоняясь и будто выдавая огромную тайну. — До вечера, милые мои Кузьменыши, будут вам горы!

— А какие они? — спросил за себя и за Сашку Колька.

А Сашка лишь слабо кивнул.

— Увидите... Красивые... Нет, они замечательно красивые! Караульте, не пропустите!

Регина Петровна положила им по кусочку хлеба, намазанного лардом, американским белым маслом, без запаха и вкуса, а сама ушла. Ее ждали два мужичка: Марат и Жорес.

Сашка лизнул языком ларда, но есть не стал, а Колька на ближайшей станции выменял оба куска на целую литровую банку желтой крупной алычи. На хлеб можно было выменять что угодно.

Сашка алычу попробовал чуть-чуть совсем и медленно, с-усилием произнес: "Эх, в Москве бы..."

Колька сразу понял брата, который хотел сказать, что в Москве такое богатство никому и не снилось — литровая банка алычи! — и жалко, что Кузьменыши не могут ни похвастать, ни угостить собратьев из томилинской их шарповки!

Колька представил, как появились бы они с братом в детдомовской спальне со своей алычой! Все бы бросились просить, уставясь на невиданный фрукт, а Колька бы нехотя объяснил, что это, мол, фрукт с Кавказа, с берегов горной реки Кубани, алычой прозывается, и там ее завались: жри до горла!

И тут бы он стал угощать шакалов, оделяя всех просящих: Боне бы дал штуки три, он старший и никогда не бил Кузьменьшей; Ваське-Сморчку дал бы пару, он всегда голодный... Тольке Буржую дал бы одну, он тоже как-то дал Кузьменьшам лизнуть из ложки, когда его серенький соядат-отец приносил ему кашу в котелке и Толька обжирался у них на глазах.

И воспитательнице Анне Михайловне дал бы Кузьменыш одну штуку. Хоть и холодная, равнодушная женщина Анна Михайловна, и всегда безразлично относилась к Кузьменышам, вовсе не замечая и ни разу не запомнив их, но Кольке ее жалко. Все-таки ждет она своо генерала, значит, не совсем уж равнодушна, и с солдатами не гуляет, как некоторые другие...

И потом, однажды Кузьменыши забрались в ее крошечную комнатушку в надежде чем-нибудь пожить — и ничего, даже сухой корочки не нашли. Была какая-то баночка, желтенькая, костяная, с пудрой, которую тут же на рынке барыга жадно выхватил у Кольки, отдав за нее три картофелины. Потом Анна Михайловна всем говорила, что у нее пропала драгоценность из слоновой кости... Пожалуй, воспитательнице Колька бы отдал целых две алычи, пусть нажрется за баночку.

И вороватому директору Виктору Викторовичу дал бы алычу Колька. Он Кузьменышей на промысел отпускал. И усатой музыкантше... Не жалко... На Кавказе алычи много, пусть едят! Им тоже в войну нелегко. И тоже алычи хочется.

Так раздумывал Колька, а сам всю эту алычу и умял.

Пока мысленно кормил Боню, да Тольку, да Ваську, да Анну Михайловну... Брал в рот по одной, по две, а то и по три штуки! И вышло, что в мечтах-то хорошо угощать своих, все в свой живот уткло.

Отяжелел Колька, захотелось ему поспать. Однако помнил он слова Регины Петровны, что надо ему караулить горы. Если бы Сашка был здоров, они, конечно бы, лучше караулили: один спит, а другой в окошко зыркает — замечательно красивые горы ждет.

Теперь же Колька за них за обоих смотрел, но никаких гор он не видел! Взгорки будто начались, холмы, но таких холмов и в Подмосковье завались, не их высматривал Колька. Уже вечереть стало, горизонт налился синевой, и будто тучи сизые впереди набухли, а Колька разочарованно отодвинулся от окна.

Сашке, который жадно следил за Колькиным выражением лица, расстроено протянул: "Кавказ! Кавказ! Хрен тебе в глаз!"

— Нет... Ничего? — прошептал Сашка и тоже потускнел.

"Ху из ху", — хотел выругаться Колька по-инострански, но не стал. Все-таки эти слова произносила сама Регина Петровна.

А тут и она сама объявилась и как-то странно и глубоко, низким голосом произнесла:

— Горы-то видели? Кузьменыши? Иль проворонили? Проспали?

Колька аж подскочил, бросился к окну:

— Так нету же гор!

Произнес с отчаянием, потому что вдруг ему показалось, что вообще на Кавказе нет никаких гор, а одни лишь пустые разговоры про них.

— Ну как же, милые... Дружочки мои, Кузьменыши! — сказала как-то задушевно и приподнято Регина Петровна и тихо засмеялась.

У Сашки под сердцем потеплело от такого журчащего ее смеха, и стало ясно, что не может не быть на Кавказе гор, если сама Регина Петровна о них говорит!

Воспитательница подошла к окну, кивнула в сторону горизонта:

— Вот, вот же они!

— Где? — Колька высунулся, и другие воспитанники стали смотреть.

— Не видите?

— Не видим! — отвечали ей хором.

— Не вижу, — сказал Колька. Но не так уверенно, потому что он не мог не знать, что Регина Петровна говорит лишь правду. Пусть курит. Пусть смолит свои папиросы, это ее дело. Но шутить по поводу Кавказских гор она так легкомысленно не станет.

Регина Петровна указала рукой на тучки, которые начали из синевы переходить в нежную розовость, и сказала:

— А это что?

— Это? — спросил ее тоном Колька. — Ну, это же...

Он хотел сказать, что это тучки, обыкновенные тучки, которые небесные вечные странники... Но вдруг понял и осекся. И уже тихо-тихо прошептал:

— Горы? Да?.. — и вдруг, как псих, закричал на весь вагон: — Го-ры! Го-ры-ы!

И все, кто еще ничего не знал, бросились к окнам и стали показывать друг другу на тучки и объяснять, что это вовсе не тучки, а так белеют, сизовеют далекие, на горизонте, вершины гор, и ехать до них еще, может, несколько дней.

И Сашка, который понял, что все они увидели, все, кроме него, заволновался, возбужденно попросил: "Покажите, покажите! Мне!" И он пододвинулся к окну, а Колька стал ему втолковывать: "Вон, вон впереди..." И Сашка,

побледнев, спрашивал: "Где? Где?" — а потом тоже увидел и измученно, усталый, улыбнулся.

Вот и доехали они до Кавказа. До самых настоящих гор.

И если уж чем-нибудь они хвалиться будут в томилинском своем детдоме по возвращении, то уж, ясно, не алычой или терном, которого завались на насыпи, и даже не бурной рекой Кубанью и новым, дрожащим мостом, по которому они первые из всех эшелонов проехали над страшной кипенью реки. Нет, нет!

Они сразу расскажут главное: как увидели они настоящие, в дальней сиреновой дымке белеющие тучки в высоте над горизонтом, прямо по ходу поезда и как это оказались хребты и вершины Кавказских гор.

— Ура! Да здравствуют горы! — заорал Колька во все горло, и все подхватили и стали барабанить по полкам, по стенам, стали плясать и кувыркаться через головы... Это вышло как праздник, вагон будто сошел с ума... И только за общим гамом, неуправляемым, но тем не менее стройным детским хором можно различить неизменное слово "горы".

Но ехали еще полтора суток: ночь, день и еще ночь, пока не приблизились к этим горам и к тому месту, где была их станция.

## 7

Разбудили их рано утром.

По вагонам пронеслось — выгружаться, не забывать своих вещичек, у кого они есть!

Усатый коротышка проводник выкрикнул про вещички и подмигнул на ходу братьям:

— Вот и добрались, шибздики, до Кавказа, можете вылезти да пощупать, с чем его едят!

Он побежал к дверям, а свернутые в трубочки флажки торчали у него из-за сапога.

Кузьменыши посмотрели друг на друга и в окно.

Состав остановился около невысоких и пустынных гор — ни станции, ни вокзала. Сгорели во время недавних боев.

Название — "Кавказские воды" — было начертано углем на фанерке, прибитой криво к телеграфному столбу.

Вправо от железной дороги до горизонта открывалась просторная в утренней дымке долина в квадратах зеленых

полей с цепочками деревьев вдоль невидимых отсюда проселков и белых, вкрапленных в эту зелень домиков, а может, и целых селений.

За долиной, в едва различимой дали, бугрились буроватые холмы, в рыжих пятнах леса, как в подтеках, а уж за ними, будто возникая прямо из воздуха, сверкали ледяными вершинами главные Кавказские горы.

Еще прежде, на каком-то полустанке, их проводник Илья, тыкая флажками вверх, дотошно объяснял Кузьменышам, как они, эти горы, прозываются, какая — Казбек, а какая — Эльбрус, с двумя головами и одним туловищем, словом, тоже близняшки.

Вспомнилась сразу папиросная пачка в руках красавца полковника с зигзагом изломанных вершин, ничуть не похожих на эти горы.

Они виделись еще с дороги как бы сквозь кисею, реальные, но не настолько, чтобы ощутить их реальность.

В ясное сегодняшнее утро различались все складки ущелий на серых склонах, как и ледяные натеки, сходящие белыми кривыми штрихами вниз.

Горы были рядом. Они казались даже ближе рыжих лесных холмов, над которыми нависали.

Но уже становилось ясно, что рыжие холмы за долиной далеки, даже очень далеки, а уж те вершины, что парят над ними в небесах, и того дальше.

Влево от железной дороги, от не существующей сейчас станции, прямо от рельсов поднимались пологие и безлесые взгорки, выгоревшие на солнце до желтизны. На одном из них белела колоннами ротонда, неведомо каким случаем уцелевшая в войну.

В направлении этой ротонды и повели детей, выстроив в колонну, по пять человек в ряду. Но сразу же выяснилось, что никто строем ходить не умеет, да и не хочет, а шли кучками, сбившись по детдомам, и напоминали каких-то беженцев при отступлении.

В то время как передние вслед за директором втягивались в просторное ущелье, задние еще копошились возле вагонов и никак не могли от них оторваться.

Пройдя неширокой, но утоптанной дорожкой между невысоких горок-горбов, ребята вдруг очутились на обширной площадке, прикрытой от станции этими горками.

Тут белели развалины бывшего санатория, и прямо посреди кирпича и мусора на земле все увидели странные бетонные ямки квадратной формы, наполненные водой.

Вода в них пузырилась и кипела, легкий парок реял над площадкой, а от воды несло тухлятиной.

— Фу, набздели! — пронеслось. И стали повторять эту шутку и громко смеяться, сбрасывая с себя напряжение первых тяжелых минут на незнакомой земле.

Подбежал запыхавшийся Петр Анисимович, который челноком сновал по колонне взад-вперед, и, размахивая своим портфелем, попросил остановиться.

Но все и так стояли, не зная, куда идти дальше. Оказалось, что они пришли.

Указывая на ямки, Петр Анисимович сказал:

— Серная вода! Не слышали! Ну, вот... Значит, даже полезно, если кто хочет помыться...

Ребята молчали. Подходившие сзади еще продолжали гомонить и, ничего не слыша, толкали передних и спрашивали: "Это что, наш дом, да? Мы прибыли, да?"

— Надо это... Надо лезть... Раздеваться и смыть всю дорожную грязь, — добавил чуть громче директор и покосился недоверчиво в сторону ямок. Было ясно, что и он не знал, как в них моются.

— Сам и лезь! — сказали в толпе громко. — Мы чево, дураки, что ли! Или нас сюда на суп везли?

— На суп? — не понял Петр Анисимович. — Почему на суп? — он всматривался в лица ребят, будто искал хоть в ком-нибудь поддержки.

Но лица, как на подбор, были усмешливые, любопытствующие, в крайнем случае, недоверчивые или испуганные.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес он, вытирая лоб. — Почему на суп? А?

— Потому что вареные, как раки, будем! — сказал кто-то, не скрываясь. — Это же кипятки! Вон как бурлит!

— Ага, — пробормотал директор и вздохнул. — Серная вода... Никогда не видели... Это понятно, в общем...

Петр Анисимович посмотрел на ямку и, потоптавшись, направился к ближайшей из них.

Не оглядываясь больше на ребят, даже словно забыв про них, он стал медленно раздеваться. Снял пиджак, сложил его вдвое, наружу подкладкой, а под него, как какую-то драгоценность, портфель спрятал. Стащил брюки, рубашку, майку и почему-то в последнюю очередь ботинки.

В одних трусах, сатиновых, темных, длинных, до колен, он медленно, покрхтывая и вздыхая, подошел к ямке. Потрогал воду ногой, рукой пощупал — и все не решался окунуться. Как царь в "Коньке-Горбунке" перед кипящим котлом, где потом и сварится!



Вдруг, охнув, Петр Анисимович скользнул по краю прямо в воду, брызги полетели на ближайшие камни.

По толпе, сгрудившейся вокруг такого цирка, пробежал смешок. Раздались голоса, хохот, шутки.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес кто-то тоном директора.

— Очч-чен-но понятно! Сейчас мясной бульон будет!

— С наварчиком!

— Суп по-директорски!

— А может, братва, спасать пора: вас-то, придурков, много, а директор у нас один!

— Бросьте ему портфель! Он без портфеля утонет!

Кричали разное, а Петр Анисимович плескался и никакого внимания на ребят и на их реплики не обращал.

Он фыркал, чесал под мышками, с головой окунался, сплевывая воду фонтанчиком изо рта, и всем своим видом изображал, как ему приятно бултыхаться в тухлой ямке.

Шуточки постепенно смолкли. Недоверие уступало место любопытству. Самые бедовые приблизились к ямкам и, хихикая, попробовали воду. И тут же отскочили. А самого любопытного, зазевавшегося у края, столкнули прямо в одежду. И он, уже не пытаясь вылезать, продолжал плавать под хохот и ободряющие крики из толпы.

Тогда полезли сразу несколько ребят, с оханьем и аханьем, будто пугаясь тухлой воды, но ясно было, что ничуть они не боятся, потому что с ходу начали бузить: брызгаться, плескаться, пускать изо рта фонтаны...

Тут и остальных прорвало. Поняли наконец, что никакой суп им не грозит, а это баня, да веселая такая баня, развлечение, словом.

С ревом, с криками "ура" бросились занимать скорее ямки, которых уже не хватало, и началась потасовка и обливание друг друга водой.

Только девочки жались в стороне, с боязнью и любопытством наблюдая за общей сварой.

Но появилась Регина Петровна и повела девочек за собой.

За развалинами санатория, на краю поляны, дымился большой квадратный бассейн. Его почему-то сразу не заметили. Сюда и привела Регина Петровна девочек. Быстро разоблачила догола двух крепеньких молчаливых, суровых мальчиков лет трех и четырех и по очереди опустила в бассейн. Девочки, привычно повизгивая, полезли следом.

Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны.

Полтысячи детей — теперь заметней стало, что это дети, — самые обыкновенные дети, бесились среди развалин, дорвавшись до купания. Они ныряли в свои и чужие ямки, брызгались, расплескивали теплую воду на кирпичи. Лишь Петр Анисимович, одевшись и зачесав свои редкие седеющие волосы, посиживая в стороне, прижав портфель к коленкам, поглядывал с опаской в сторону гомонившей ребятни.

Рядом, присев на корточки, покуривал козью ножку с независимым видом старенький машинист с белым ежиком волос. Это он показал директору необычную баню. Не впервой, наверное, бывать ему здесь.

С трудом извлекали купальщиков из ямок, чтобы снова построить в колонну.

Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться в воде, и не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели лезть, уж очень противно пахла вода. Кишки выворачивало. Но потом понравилось, да и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, выложенную цветным голубым кафелем.

Братья друг друга потеряли, вместе окунулись, решив посмотреть, как они выглядят под водой. Но уцепиться было не за что, они сразу же всплыли. Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали одеваться. Им времени хватило, да и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде.

В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине колонны и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось, что их отовсюду видно и смотреть на них можно сколько влезет. И это не надоедало.

Петр Анисимович, не обращая внимания на сидевших в ямках, выкликнул всех по списку.

Выяснилось, что за время дороги потеряли они семь человек: кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал, не без этого.

Той же тропой вернулись они к железной дороге и мимо станции (теперь понятно стало, отчего это место звалось "Кавказские воды", хоть надо бы назвать, наверное, "Тухлые воды") начали спускаться в долину.

Шли, растянувшись по широкой и пыльной дороге между зеленых полей. Пытались запомнить Кузьменыши, что и где растет, на всякий случай, конечно, не очень-то веря, что может пригодиться, ведь неизвестно было, куда и сколько им идти.

С небольшим перерывом — во время перерыва бросались шарпать что попадало под руку, но делали это уже лениво, отъелись за дорогу, — брели они до тех пор, пока не показались белые домики посреди зелени.

Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странной пустынной улице станицу, которая звалась Березовской, хотя никаких берез тут не росло.

За станицей лежало поле с торчащими вверх каменными столбами ростом повыше Кузьменышей, их было много, серого цвета, похожих на надолбы, что ставили под Москвой против фашистских танков. Видать, и тут оборонялись, подумалось обоим братьям, — вон сколько камней навтыкали! Но взгляд их был сейчас устремлен вперед, на дорогу, которая, судя по всему, кончалась.

Километрах в трех от станицы встали. Прямо у начала зеленых гор за деревьями были видны строения: один дом белый двухэтажный, два других — по одному этажу, но длинные, похожие на бараки.

На столбике у входа за зеленую колючую ограду висела надпись: "СИЛЬКОЗТЕКНЮКОМ".

Слово это было зачеркнуто мелом крест-накрест, а внизу торопливой рукой дописано: "Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные".

Петр Анисимович озабоченно оглядел подтягивающуюся колонну. Прижимая к себе портфель, прочитал надпись на столбике, покачал головой и повернулся к ребятам.

— Ну вот, мы на месте, — сказал и вытер пот со лба. — Значит, здесь мы будем жить. Дисциплина, значит, и все прочее, сами понимаете... Не шевутить. Далеко не бегать, искать вас некому... Пропадете.

В это время где-то за горами бухнуло и раскатилось протяжным громом. Ребята подняли головы, но никаких туч не было и в помине.

Петр Анисимович тоже посмотрел вверх, хотел произнести свое: "Это ведь непонятно, что происходит", — но сказал другое:

— Мины рвут... Которые после фашистов. Ладно, — и опять ладонью вытер пот. — Значит, теперь вам укажут, где спальня, а где столовая, туалет... Можете быть свободны.

Судя по всему, это была как бы вступительная речь в честь их приезда.

Замороженный человек, руководивший до сего времени каким-то складом, иначе он не умел говорить. Да и сказать

ему было нечего, в такой роли он сам оказался впервые. Велели отвезти детей, он их и отвез.

Прежде возил картошку в ОРСе, мыло возил, растительное масло в бидонах. И это было главное, что он умел делать. Он слыл приличным в районе хозяйственником.

В портфеле у него, как прежде накладные, лежали какие-то документы на детей. В них надо было еще разбираться. Если, конечно, достанет времени.

Произнеся "можете быть свободны", Петр Анисимович махнул рукой в сторону домов, полагая, что прибывшие так и бросятся скорей занимать свои железные койки. Но он ошибся. Колонна как стояла, так и продолжала стоять. Все смотрели на дом и чего-то ждали.

Директор уже успел заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно по-разному, но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же.

И теперь толпа напоминала большого колючего ежа. Ни шутки, ни смешка, ни даже какого-нибудь звука не раздалось.

Неосознанная тревога, возникшая во время долгого пешего пути от станции, с приходом на место не исчезла и не растаяла, а стала даже сильней.

Да еще эти непрекращающиеся взрывы, они будоражили ребят, напоминали им о чем-то, о чем пора уже было забыть. Дети прибыли на поселение для мирной жизни, и благословенный горный край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре.

Я помню ощущение тревоги, которое возникло в нас по пути от станции сюда, к подножию лесистых гор.

К поезду, к вагону да и к дороге мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.

Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала, и мы были внутри ее потока, плоть от плоти — дети ее.

Теперь нас уводили по твердой, в глубоких трещинах дороге, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблоки и щерились, уставясь на солнце, черные, осыпавшиеся наполовину подсолнухи. И не было ни одного человека. Ни единого...

За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом.

Поля созревали. Кто-то их засевал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?..

На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил...

Отчего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? Отчего даже здание техникума со скоропалительной дурацкой дощечкой, напоминавшей нам о нас, о нашей одинокости, было пустынным, без единого человека?

А мы и правда сами напоминали зверят, брошенных для какого-то невероятного эксперимента в пустыню: "500 ч. Беспризорные". Так была обозначена наша порода. Только что означало "ч"? Чечмек, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?

За нашей спиной в горах снова гулко взорвалось, и девочка, в самой середине колонны, произнесла — мы услышали — "хочу домой". И заплакала.

Все зашевелились, оглядываясь и вслушиваясь, как ее утешают.

Ей говорили:

— Ну, чего ты! Чего испугалась, смотри! Вот наш дом! Видишь? Здесь теперь все наше — и дом, и речка, и горы... Мы приехали, чтобы здесь жить!

В горах в который раз прогрехотало. Мы стояли перед входом в новую жизнь и не торопились туда войти.

Думаю, что все мы переживали и чувствовали себя одинаково. А мысли были такие скользкие, неясные, но вовсе не о том, что мы приехали домой и что все тут теперь наше...

А нашего — тут — были только мы сами. Мы да наши ноги, которые и всегда готовы были драпануть, случись хоть что-нибудь. Да наши души, о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет...

Отчего же в тот момент, я помню, точно помню, так сильно болело у меня, да, наверное, не только у меня, внутри?

Может быть, от ужасной догадки, что не ждет нас на новом месте никакого счастья. Впрочем, мы и не знали, что это такое. Мы просто хотели жить.

## 8

День хвали вечером — так говорят.

А пока во дворе, замкнутом с трех сторон домами, с четвертой — живой колючей изгородью, — сбросили

имущество, что дали в дорогу: несколько ящиков с консервными банками, на которых были заграничные этикетки, флягу прогорклого растительного масла, откуда-то из запасов ОРСа припасенного самим директором, странные подарочные мешочки с ненашинскими этикетками и кучу тряпья.

К счастью, в двухэтажном доме, во всех его комнатах, оказались койки с матрацами, а кому не хватило коек, постелили прямо на полу.

Девочек, их было меньше, разместили на первом этаже, мальчиков — на втором, а самых старших, шести-, семиклассников, в одном из крыльев одноэтажки. Другое ее крыло было отдано под кухню и столовую. Вторую одноэтажку заняли директор и воспитатели. Здесь же находились склад и другие служебные помещения.

Но это был видимый порядок, которого удалось достичь в течение нескольких недель. Все остальное складывалось стихийно, то есть вообще никак не складывалось. Три воспитателя да директор — и весь штат колонии. Никто никого не знал, и не было возможности сразу учесть эту полутысячную махину, сведенную волею случая вместе.

Не имелось повара, да и варить оказалось нечего. В красивых американских банках обнаружили зеленые крапивные щи. В подарочных пакетах, которые раздали по группам, не успев их проверить, содержалось: письмо от английских профсоюзов-тред-юнионов, газета "Британский союзник", несколько пачек сигарет, презервативы, плоские бумажные спички, а также рекламные красавицы в непотребных позах.

Пока Петр Анисимович догадался, что эти пакеты предназначены вовсе не детям, половина воспитанников дымил сигаретами, а презервативы надували и подбрасывали в воздух... Красавиц развесили по стенам, для верности подписав карандашом, что у них как называется. "Британский союзник" пошел на подтирку, и, поскольку единственный туалет загадили с первого дня до крыши, и все вокруг тоже, теперь это делали за стеной дома, у зеленой ограды, и повсюду валялись клочки непривычно жесткой союзнической газеты. Пожалуй, она оказалась здесь всего полезней.

Банки же от крапивных щей использовали вместо тарелок, разрезав каждую пополам. Ложки ребята добывали сами и держали при себе. У многих были самодельные, вырезанные из куска дерева. Да и нечего было есть пока этими ложками. Бурда, которую с самого начала варили

в таганке на самодельной кухоньке, гущи никакой не имела, называлась затирухой: кукурузная мука, вода и постное директорское масло, ее можно пить из консервной банки прямо через край. А вскоре и муки не стало, колония перешла на самостоятельную добычу съестного, впрочем, большинству это было не в новинку. Кузьменьям тоже.

Устроившись вполне прилично в уголке за печкой, которая пока не грела, но ведь катила зима — и тут Кузьменыши смотрели далеко вперед, дальше других, — братья произвели проверку наличных ценностей.

В их загашнике, устроенном невдалеке, у берега Сунжи, мелководной и рыжей речонки, лежали спички, плоские, заграничные, из союзнического пакета, два презерватива, пакет, прозрачный, красивый, ключи от вагона, стыренные из кармана проводника, когда он описывал братьям названия гор, тридцатка, потершаяся на сгибах от частого пользования, и несколько картофелин, утащенных у того же простодушного раззявы-проводника.

В сравнении с томилинскими заначками это было куда больше, а больше всегда лучше.

Лаз, устроенный в бывшей звериной норе, братья расширили, чтобы можно было упрятать и кое-что еще, если появится.

И оно появилось, хоть и не сразу.

Следующее, что совершили в своей новой жизни Кузьменыши, — провели обследование самой колонии, то есть тщательно осмотрели ее территорию, все помещения, углы, чердаки.

Начали они по привычке с хлеборезки, которая до поры пустовала. Кроме гирь да весов — они виднелись через окно, — не было там ничего. Замочек же на дверях висел хлипкий, а окна без железных решеток.

Все это Кузьменыши отметили как некоторый прогресс в сравнении с Томилином. Занятым показалось и то, что столовку с кухней неосмотрительно разместили рядом со спальней мальчиков. При случае надо бы поискать ходы на кухню с этой, не охраняемой никем, стороны. Хотя кухни в том понимании, к какому привыкли братья, тут тоже не было.

Затируху варили сами девочки прямо на улице, на таганке. Да и не стоила она того, чтобы братья захотели ее стащить.

В столовку при желании можно было проникнуть на обед и раз, и другой. Тем более что братья и здесь, на

месте, с первых же дней всех успели своим сходством запутать и одурачить.

Обменивались койками, обменивались одеждой, ложками, мисками, даже привычками, если это было возможно.

Так что однажды кто-то из ребят вполне искренне воскликнул:

— А вы сами-то, братцы, хоть помните, кто из вас какой брат? Кто Сашка, а кто Колька?

Братья, не задумываясь, отвечали, что они этого не помнят, чем заморочили остальных еще больше. Спальня грохнула так, что заглушила дальние взрывы в горах, но уж кто смеялся по-настоящему, так это сами братья. Начиналось дуракавалянье, а уж в нем Кузьменыши чувствовали себя, как мальки в воде.

Обследовали они директорский кабинет и особенно, рядышком, склад вещей.

У директора поживиться пока было нечем, и это невыгодно отличало нынешнего директора от томилинского жулика, которого, конечно, не раз пытались обобрать воспитанники, да звери-собаки мешали.

На складе же, куда удалось всунуть нос, кроме мешков с тряпками, стояла лишь фляга с постным маслом, ее-то и взяли братья под наблюдение.

Тем более что и замок, и задвижка были примитивны: пальцем можно открыть.

Слоняясь у дверей склада, наткнулись на Регину Петровну. Она жила тут же, рядышком, за углом.

Крошечная комнатуха с торца дома, две железных койки, такие же, как у колонистов, тумбочка.

Но уже на окошке красовалась занавесочка, на койках какие-то непривычные для глаза цветные покрывала, на полу у порога коврик, и еще зеркало, небольшое, в деревянной оправе, на стене.

Кузьменьям, которых воспитательница пригласила в дом, все это показалось невозможно праздничным и нарядным. Да ведь иначе и быть не могло.

Они топтались у порога, не смея своей обувью, своим присутствием нарушить этот порядок, так что хозяйка почти силой протолкнула их в комнату и предложила садиться прямо на койки. Стульев пока не было.

Поясняя на ходу, что мужички играют во дворе, и, слава Богу, меньше толкотни и грязи, Регина Петровна постелила на тумбочку чистую салфетку, на нее поставила блюдечко с двумя сухарями. Потом принесла от таганка в ковши-



ке чая, налила всем и положила каждому по несколько крупинок сахара из белого бумажного фантика, точно такого, как от лекарства, которым пичкали Сашку на станции Кубань.

Братья жадно хлебали сладкий чай, экономно отгрызали от сухариков кусочки, которые сами собой таяли во рту, растревая и без того сильный голод.

Сама же хозяйка, забрав в узел густые черные волосы, курила у окошка, легонького, кстати, окошка, его запросто можно было взломать, если бы кто захотел сюда забраться.

Опытный Колька это сразу определил.

— Ну, вы всех заморочили своим сходством? — спросила Регина Петровна, поглядывая в сторону братьев. — А я тут сортировала документы, хоть я и занимаюсь девочками, но и ваши попались... Одна характеристика на двоих. Там написано, что у вас не только внешность, но и привычки, и наклонности, и все остальное одинаковое. Так и сказано. Мол, не стоит на вас две характеристики писать, потому что Кузьмины — это все равно что один человек в двух лицах.

Регина Петровна хотела что-то еще добавить, но раздумала.

— Ладно. Потом, — поколебавшись, сказала она. — А кстати, кто у вас кто? Ху из ху?

Колька с вздохом посмотрел на оставшийся кусочек сухарика и сказал:

— Сашка вон ест быстрее, у него терпелу мало. У меня побольше. Зато он умней, мозгой шевелит. А я — деловитый.

— Ага, значит, разные... Я подозревала, что они вас не знают. Что вы их совсем заморочили. Хотя... Иных и морочить не надо, им все дети на одно лицо. А кстати... — Регина Петровна что-то вспомнила и выпустила в сторону окошка струйку дыма. Так вкусно она курила, делая трубочкой губы, что и братьям захотелось курить. — Там в характеристике упоминается, что вы и в милицию попадали. За что же, если не секрет?

Колька замялся, посмотрел на Сашку. Но Сашка догрызал свой сухарь и помалкивал.

— Ну... Мы соленый огурец стащили у одной на рынке.

— Огурец? Один огурец?

— Не, не один, а два! Один я взял, а другой — Сашка. Чтoб больше было!

А Сашка добавил, доев сухарик:

— Нет, не так. Мы бдительность потеряли. Один из нас стоял на атаке. Ну, то есть если что, он должен кричать "атак" или "атанда"... А другой спер из бочки огурец. А потом и другой, который на атаке, решил тоже схватить огурец, а тут нас и схватили...

Регина Петровна не засмеялась, а задумалась, глядя в окно.

Докурила, бросила "бычок" за окно, повернулась к братьям.

— Потерпите уж, дружочки. Мои мужички тоже терпят... Да и все девчонки из моей группы голодают не меньше вас. Вот директор в Гудермес собрался, может, он привезет продуктов. А пока... Вы приходите ко мне, ладно? Приходите, правда, чем-нибудь да угощу. Вон у меня еще сахарину на неделю достанет, чай будем пить.

Братья поднялись, пообещали заходить. И хоть они не глядели друг на друга, но чувствовали, причем знали, что одинаково чувствуют: они не станут часто заходить к этой замечательной красивой и доброй женщине Регине Петровне именно потому, что она сама голодает.

Вот если им удастся надыбить какой-нибудь кусочек "с коровий носочек", тогда зайдут. Зайдут, чтобы по-царски ее одарить.

Более того, они и промышлять будут лучше, оттого что их Регина Петровна, наверное, сама промышлять не умеет. Разве с ее нежными пальцами взломаешь замок? А есть-то ей да ее мужичкам — Марату и Жоресу — тоже надо.

Вот так они подумали, когда прощались. Кольке так удалось сэкономить кусочек сухарика и сунуть его в карман. Потом он подарит его Сашке.

## 9

Обследовав дома, кладовки, спальни, чердаки (там, за плохо забитыми дверьми, тоже матрацы лежали), изучив до кустика колючую живую изгородь и найдя в ней два потайных лаза, братья обратили свое пристальное внимание на речку, на ближайшие сады и, конечно, на станицу Березовскую, расположенную в трех километрах от колонии.

То, что они приняли за противотанковые надолбы в поле, оказалось старинным кладбищем, вовсе не страшным, без крестов и свежих могил. На серых гранитных столбах

было что-то вырезано на неизвестном языке, а на некоторых нарисованы два кармашка с патрончиками; такие видели братья в картине "Свинарка и пастух" у красавца пастуха. Пастух пасет овец и во все горло орет песню.

Братья потрогали гладкий камень и прорисованные кармашки и одновременно подумали, что в здешних горах в отличие от любимой картины, которую они глядели раз десять, никто не поет веселых песен и овец не пасет.

Братья несколько дней приглядывались к станице и сделали вывод, что люди-то в ней живут. Скрытно как-то живут, неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на завалинке не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют. Черт знает, как они могут так жить, но живут — вот что главное.

Первый раз братья по полю со стороны садов проникли. Наткнулись на картошку, один куст для пробы подкопали, засекли: урожай созрел, надо прийти вечером.

Неслышно дошли до сеновала, подождали, прислушиваясь. Но тут раздался кашель, тяжелый кашель, мужской, какое-то бормотанье. Они повернули обратно. Встреча с сельским хозяином не сулила ничего доброго. На томилинском рынке мужики били жестоко, насмерть. Городские били тоже, но милосерднее.

Вторично впотьмах, после отбоя в колонии, наведались, нарыли картошки, напихали в пазуху и в карманы, краешком улицы прокрались.

И опять ничего такого не увидели, лишь глухие голоса кое-где за заборами.

Ни собачки, чтоб залаяла, ни квохтанья курицы, ни визга поросенка, как у них в Томилине, ни каких-нибудь частушек под разбитую гармошку...

Ни-че-го.

А было время, томилинская ребятня, да и братья тоже, ходили подглядывать, как кривоглазый гармонист, днем он продавал на платформе мороженое, лапал девчат, нисколько не стесняясь пацанвы, и некоторых сажал себе на колени и задирали юбку. Ухмылялся пьяно, единственный глаз его вытарачивался, прихихатывая, он говорил: "Как насчет этого дела?"

Ребята смущались. Молчали. И тогда гармонист растягивал свою облупленную гармошку и орал на всю улицу похабные частушки.

В Подмоскovie в домах была жизнь. Это точно.

А здесь она словно бы исподтишка теплилась. От непривычки братья робели: как забраться в дом, если нет о нем точного понятия, кто хозяйева, когда, в какое время бывают дома?

Но тут сам случай пришел им на помощь.

Однажды, бродя вокруг станицы, наткнулись они на человека, который собирал сушняк.

Братья хотели прошмыгнуть мимо, но узнали проводника из вагона. Усатый, коротконогий, но сейчас без своей форменки, в рубахе, простых портках, он вдруг оказался моложавым мужчиной, ну почти как тот гармонист.

Проводник посмотрел на ребят, ощерился. Вспомнил, небось, как два близнеца в Воронеже от спекулянтки удирали! Он им еще Казбек с двуглавым Эльбрусом показывал. А они тово... Ключи свистнули. И свистнули-то скорей по привычке: очень уж они блестящие да звонкие, так рука сама и схватила. А зачем, Бог знает.

— Пришли? — спросил деловито проводник и будто ухмыльнулся.

— Гуляем, — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Да, тут ваши уже многие гуляли, — сказал проводник. — Половину моей картошки пригуляли! — и приказал: — Бери хворост, пошли.

— Картошку — это не мы, — отрезал Колька.

— Не вы... Не вы... — отмахнулся проводник. — Вы только ключи стянули. Или нет? — он повторил: — Ну, пошли! Ладно.

Хворост был связан в огромные пучки. Каждому досталось по пучку. Донесли до дороги, погрузили в тележку, деревянную, с ржавыми колесами, и покатали к деревне. У крайнего дома, беленького, с палисадом и огородом на задах, выгрузились. Проводник ушел в дом, а ребята остались ждать во дворе.

Одновременно обоим подумалось: оттого на этом огороде и промышляли колонисты, что он с краю, ближе к колонии. С краю — всегда безопасней тащить.

Пока стояли, с интересом оглядывали дворик с глухим высоким забором, вдоль которого изнутри тянулся навес, под навесом кукурузная солома, хворост, какие-то железки, среди которых валялся позеленевший от времени медный кувшин с узким горлом. Кувшин стоило запомнить, хоть неизвестно пока — зачем? Пол во дворике, братья такое видели впервые, был твердый, гладкий, мазанный желтой глиной. У входа в дом валялась полинявшая от времени козья шкура.

Хозяин высунул из дверей кудлатую голову, крикнул:

— Да заходи, чего стали-то?

Братья с оглядкой, гуськом, чтобы можно было драпануть в случае чего, прошли сумрачные, узкие сенцы, где стояли медные и глиняные кувшины, и ступили на порог горницы. И здесь было белено, и стены, и потолок, как белят в России печки.

В углу, где должна быть икона, портрет товарища Калинина, "всесоюзного старосты". Посреди стол, грубый, ничем не покрытый, два табурета, койка. Под койкой домотканый коврик: по черному полю красные узоры. Больше ничего в комнате и не было. У входа прибита полка, а на ней немудреное хозяйство, сразу видать, холостяка: чугунок, две железные миски, солдатский котелок, кружка, помятая с одного бока. На столе стоял жестяной, весь закопченный полуведерный чайник.

— Так и живу, — сказал проводник и снова усмехнулся. — Как говорят: живу хорошо, жду лучше! — и к ребятам, которые уселись на койке, на грязноватом сером одеяле, рядышком, плечом к плечу, — не только потому, что тесно, но и просигналить одним как бы случайным движением можно: — Соседушки, значит? Вот же как!

Братья кивнули.

— Я уж забыл, как вас там? Кличут-то?

Колька сказал:

— Я Сашка.

Сашка сказал:

— Я Колька.

Как будто их вранье имело сейчас значение. Скорей всего, дурачили по привычке.

— Ну, а я вот... Илья. Так и зовите.

Братья опять кивнули.

— А я ведь вспомнил, как вы бежали от этой дуры-то! Сам бегал... Ох, и побегал я, если бы знали! Но — пошла расскажу. Я тут один живу. Бабы у меня нет. Вот картошку варю на улице, таганок сделал. Чай кипячу. Да смотрю, чтобы меня отсюда не шуганули к такой-то матери!

Колька сразу спросил, этот вопрос их интересовал:

— А что, дом разве не ваш?

Проводник натянуто засмеялся, усы зашевелились.

— Ха! Да мово тут... Даже вша, и то не наша! Станица-то знаете как прозывается?

— Ну, Березовская, — ответил Сашка.

— "Березовская"! Какая же она Березовская, если она Дей Чурт звалась! — заорал проводник. — Это теперь она

Березовская. А могла стать Осиновская али Сосновская... Она на самом деле Дей Чурт. Вот так-то.

И проводник Илья обвел глазами комнату, посчитав, что ребята поняли.

Но Кольке надо было знать все точно. Зачем бы они тогда шли сюда? И он спросил настырно:

— Ну, и что — дай черт? — нарочно переврал.

— Вот именно — черт... Гиблое место... А черти кругом!

Проводник Илья покачал головой, удивляясь такой несообразительности. Сказал, наклоняясь и шепотом, будто были они не одни. Да вообще ребятам показалось, что он все время оглядывается.

— А вы чего сюда приехали-то, а? Ханурики? Тараканы городские?

— Нас везли, — сказал Колька.

— А куды везли-то? Куды?

— На Кавказ...

— Ха! Кавказ большой! — отмахнулся Илья. — Вас везли заселять тут землю. Понятно? Вот зачем... несчастные обормоты! Вы тут должны населением стать... И я, я — должен населением стать... И они тоже, жучки непоседливые... — и он указал в окошко, на белеющий за живой зеленой изгородью домик напротив.

— А там — живут? — спросил сразу Колька.

— Живут... Как я... Ничего своего. Все с чужого плеча, — и он почему-то ткнул пальцем в цветной коврик.

— Ворованное, что ли? — спросил вдруг сообразивший что-то Сашка.

— Ну?!

Проводник кивнул и с остервенением добавил:

— Если не твое, то ясно — ворованное. А вы, что же, не на ворованном живете? В техникуме?

Колька подтолкнул Сашку. Оба подумали одинаково: тут что-то не так. Или этот Илья чокнутый, но вроде бы незаметно. Или он подозревает братьев, что они у него картошку копали. Про ключи-то догадался... Хоть и не пойман — не вор!

Колька осторожно спросил, поглядев на дверь:

— Откуда вы знаете? Что мы... Мы и не лазим нигде...

Проводник Илья хмыкнул только. И сурово посмотрел на братьев.

— Ха! Лазать надо, а как же жить? Вон, у вас кладовка, там одежда для зимы... Без охраны. Вам туда сам Господь велит залезть! А я куплю, понятно?

Братья неуверенно кивнули. Не проверочка ли? Мол, попытаю мелкосню, а как согласятся, так и зацапаю. Братья-то были народ ученый и в милиции бывали не только из-за огурцов.

Но Илья настойчиво гнул свое:

— Картошку подкопаете — прибью. Это своим скажите. У других — копайте, мне без разницы... А вот одежду притащите... Денег дам! И картошки дам... И еще чего!

— Посмотрим, — сказал неопределенно Сашка, который уже все понял и, наверное, даже придумал что-то насчет этой одежды. — Так мы пойдем? Дядя Илья?

— Без дяди, просто Илья, — сказал Илья. — Приходите. Я, пока не в рейсах, здесь буду. А насчет чужого, это вот...

Он на крыльце поднял палец и долго что-то слушал. А когда грохнуло в очередной раз в горах, произнес:

— Слышите? А?

— Мины рвут, — определил Колька самоуверенно.

— Ха! Мины... — совсем без улыбки ослабил Илья.

— А мы, жалкие переселенческие сучки огня не жжем, боимся... Боимся! Это разве жизнь? — он пнул зло попавшую под ноги козью шкуру.

— Кого? — опять спросил Колька.

— Чертей! — крикнул Илья и подтолкнул их к дверям.

## 10

Произнеся привычное: "Это ведь непонятно, что происходит!" — директор уехал в Гудермес, — что за Гудермес, какой он, где находится, братья не знали, — и колония понемногу стала расплзаться. Поволокли в станицу матрацы, подушки, остатки мебели, меняли на картошку, на прошлогоднюю кукурузу.

Притащили плоский камень, грохнули прямо посреди спальни — Сашка придумал! — и трое занялись работой. Один клал зерно на камень, второй ударял по нему другим, поменьше, третий ладонью сгребал крошево в консервную банку. В этой банке потом варили из дробленого зерна кашу.

Не очень уверенно, но упорно обирали поля километр за километром, расширяя зону вокруг колонии, хотя особенно обирать было нечего. Кукуруза еще не вызрела, а картошка росла лишь у станичных. Но там ее стали охранять!

Однажды хозяева с дубьем гнались за колонистами аж до самых ворот и только чудом не прибили. Но прокричали с угрозой, чтобы все слышали: "Еще станете копать, урки бесштаные, дома пожжем! По ветру пустим!"

Колонисты отвечали:

— Деревенские ублюдки! Катитесь отсюда! Мы вашу деревню раньше спалим!

— Березовская вошь, куда ползешь! Под кровать... Дерьмо клевать!

— Ну, смотрите! Как загоритесь, так и знайте!

— Сами поможем! — заорали в голос колонисты. — Пропадите вы с этим Кавказом! Чтобы вас тут моль сожрала! Чтобы вас тут кинжалами всех порезали! Кулаки недобитые! Во все горло заорали:

Мой товарищ, мой товарищ — острый нож,  
Ох, да сабля-ли-хо-дей-ка!  
Пропадешь ты не за грош, не за грош!  
Жизнь на-ша копей-ка!

Ребята о кинжалах — так, к слову помянули. Но станичные примолкли и с оглядкой удалились. И больше сюда не заходили.

Вокруг техникума теперь каждый вечер стояло зарево от костров. Каждый колонист, объединив усилия с несколькими другими, разжигал огонек из сушняка и старой травы и варил какое-нибудь хлебово, чаще всего в консервной банке.

Братья тоже пустили в дело свою картошку и несколько кукурузных початков, выменянных у проводника Ильи на матрацы.

Илья, покачав головой и осмотрев матрацы, полез куда-то под крышу, принес несколько початков желтой, тверже камня кукурузы и опять наставительно, серьезно напомнил: "Одежа нужна. Там ее навалом, говорят... Тащи одежду!" С тем и выпроводил.

Однажды сидели братья у костра. В жестяной банке с дужкой из проволоки кипело хлебово из корней камыша, которого тут у речки росло предостаточно: кукурузы хватило ненадолго.

Сашка, почесывая грязную голову, сказал:

— Пора драпать. А?

Колька не спросил: "Куда?"

Из колонии тянулась одна дорожка — на станцию. Туда по одному да по двое уходили колонисты и уж никогда не возвращались.



— Не будем ждать?

— А чего ждать-то?

— Директора... Из Гудермеса...

— А может, его и нет, Гудермеса-то! А ты вспомни Вик Вик-трыча! Он бы поехал? За продуктами?

— Для своих собак поехал бы!

— Ну да. И этот... Увидел — дела кранты, портфельчик в руки и отчалил! Нужны мы ему больно!

Помолчали. Шуршала трава в костре, сгорала она быстро, поэтому братья натащили целую гору этой травы. Кругом, там и сям, полыхали огни, но рядом с Кузьменышами на этот раз никого не было.

Колька попробовал самодельной деревянной ложкой хлебово, поморщился и вдруг сказал:

— А склад?

Сашка лежал на земле и смотрел на небо.

— Чего — склад? Ты думаешь, там осталось?

— Осталось. Илья знает!

— Он знает... Как чужими руками жар загребать!

Колька спросил:

— Трудно, что ли? Взломаем...

Сашка смотрел на небо, затухающее, в подернутой синей предвечерней дымке, и молчал.

— Там камнем долбануть — все отлетит! — добавил Колька.

— Камнем? Никакого камня не потребуется, — спокойно произнес Сашка. — Там ведь задвижка?

— Ну, задвижка, — подтвердил Колька.

— А дужка у замка продолговатая. Если замок повернуть боком...

— Понял! — воскликнул Колька. — Понял. Ход у задвижки будет больше...

— Так и дураку понятно, — лениво, не двинувшись, произнес Сашка, созерцая небо. — А наши шакалы, вот как ты, долбили по замку камнем... там вмятин... Долбачи безголовые...

Больше братья ничего друг другу не сказали. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь! Сегодня, как стемнеет, они пойдут на склад... А пока надо жрать свое хлебово да следить, чтобы другие шакалы не опередили их в этом деле.

Давно известно: идеи носятся в воздухе, и если склад не ограбили до сегодняшнего дня — это не причина для успокоения. Сегодня придешь, а десять гавриков одновре-

менно додумаются насчет задвижки. И такие чудеса в природе бывают!

Братья быстренько проглотили варево, спрятали понадежней банку и потом до сумерек сидели в кустах, сторожа двери склада.

Но никто в этот раз не покушался на него. Может, братья одни такие дурачки и были во всей колонии — надеялись, что там что-то лежит. А там почистили еще до них, законным путем почистили, не зазря же директор Петр Анисимович уезжал в Гудермес с огромным мешком. С портфелем и мешком. Что он, свои шмотки поехал туда продавать?

Произошло, как замышлялось.

Трусцой, с оглядкой, добежали Кузьменыши до склада. Колька повернул замок горизонтально, дернул задвижку влево, и — чудо, чудо, совершившееся поначалу в Сашкиной гениальной башке, — задвижка звякнула, дверь открылась.

Мгновенье братья оторопело смотрели на черный проем, не верилось, что все окажется так просто. "Сим-Сим, отворись!"

И вот оно, пожалуйста!

— Шухари! — возбужденно, оттого слишком громко, прошептал Колька и нырнул в дверь склада. В его тайную, притягательную глубину.

А Сашка быстро щелкнул задвижкой, поставил замок на место. Отбежал, оглянулся, не следит ли кто, юркнул в кусты стоять на атасе.

Конечно, его подмывало, зудило заглянуть хоть одним глазком, что же там лежит, на складе. На минутку ощутить себя владельцем целого вагона барахла! Нет, не для того, чтобы все, до единого, было твоим. Зачем одному — ну двоим — столько тряпья?

Ощутить себя человеком — вот что хотелось. Ничего за душой, да и в животе одни камышовые коренья. И вдруг — все твое! Ходишь барином посреди своего царства, щупаешь, пробуешь разве что не на зуб и знаешь: захочу — возьму одно, а захочу — возьму другое. А может, и ничего не возьму, глазами наемся — да и отвалю в сторонку.

Тут Сашка сам себя остановил: совсем ничего не брать не годилось. Брать надо. В меру. Колька сообразит, какая это мера. Лишь бы никто не помешал.

Знал Сашка, примета такая есть: не думай, не призывай в мыслях никого, подумал — и вот тебе на: идут. Девчонки идут, голоса на всю округу свои девчончьи сплетни. Про директора, про Гудермес, куда он уехал.

Дался им всем Гудермес, земля обетованная, где булки на деревьях зреют. А булки-то растут вот на этом складе. Так подумалось Сашке.

Только умолкли вдаль девчонки, Регина Петровна их возлюбленная появилась с Маратом до Жоресом. Присела на ступеньках склада, смотрит, как ее мужички возятся. А те под самые кусты лезут, чуть на Сашкину голову не наступают. Не дай Бог, углядят... Шума будет! Или Колька, чего доброго, начнет барабанить изнутри. Он-то не видит, что рядышком на крылечке Регина Петровна сидит, задумчиво так сидит, папироску засмолила, вдаль смотрит.

Но Регина Петровна не докурила, позвала мужичков и ушла. А Сашке стало ее вдруг невозможно жалко. Замечательная женщина, а ведь тоже торчит в этой дурацкой колонии, терпит нужду. Разве такие красивые женщины должны жить в колонии, среди шпаны, и терпеть нужду? Что ее-то сюда привело? Колонисты, те другое дело, они как перекаати-поле, куда ветер повернет, туда их и гонит... Однажды кто-то про брата Кольку так и сказал: "Ты, мол, Перекаати-Коля".

Эх, знал бы Колька там внутри, какой грустный взгляд у Регины Петровны, тяпнул бы он чего-нибудь и на ее долю!

Задумался Сашка, вздрогнул от неожиданности: девчонки обратно возвращаются. Спорят, голоса далеко слышны. А спорят они о том, что сегодня, оказывается, послали на станцию телегу за директором, который должен вернуться. Колонист же, не будь дураком, сел на проходящий поезд да и был таков. А лошадь с телегой сама по себе домой вернулась... Без колониста, но и без директора.

Скрылись девчонки — трое ребят из старшей группы откуда-то вынырнули. Вот уже не подозревал Сашка, сколько тут народу ошивается. И не бескорыстно, видать!

Колонисты с оглядкой к складу подошли, подергали замок, достали гвоздь, стали гвоздем ковырять.

У Сашки волосы поднялись дыбом. Ноги, руки онемели. Что, если Колька подумает, что это Сашка около замка шурует, и начнет изнутри голос подавать?

К счастью, чьи-то крики неподалеку раздались. Колонисты отпрянули. Будто бы гуляя, засвистели песенку, ушли.

У Сашки отлегло. Хоть налуган малость, а зловредно подумалось: "Дурачки! Великовозрастные! Отрастили руки, а тут головой надо работать! Мозгами больше крутить, а не гвоздиком своим!"

Чуть затихло, Колька постучал.

Три раза: негромко вроде бы, а Сашке показалось, что на всю колонию барабанит.

Бросился к дверям. Замочек стал набок поворачивать, а замочек не поворачивается. Видать, колонисты гвоздиком покрутили, да и заклинило замок!

— Открой! — шепчет за дверь Колька. — Скорей давай!

— Сейчас! Сейчас! — нервничал Сашка, никак чертов замок не может развернуть. А тут чьи-то голоса рядом.

Отпрянул от дверей. Но сразу вернулся. Как же он Кольку на складе запертым оставит?

А тот уже не шепчет, громко шипит, злится:

— Открывай же! Чево канителишься! Сыпанемся!

Рванул Сашка замок, освободил его. Чуть сам не упал. Палец второпях прищемил, кожу порвал, до крови.

Колька из дверей выскочил, Сашка его и не узнал: какой-то карапет в длинном, до земли, пальто, в шапке до глаз, в ботинках огромных. Маленький Мук, а не Колька. Не знать, так испугаться можно.

Защелкнули дверь. Три шага от склада не сделали — им навстречу Регина Петровна. Да не одна, с девочками своими, воспитывает.

Наткнулась на Кузьменышей, удивилась. И девочки остановились, рассматривают.

— Вот и мои дружки! — сказала воспитательница. — А у нас-то радость! Директор вернулся! Вы почему ко мне не заходите?

Братья топтались на месте, на Регину Петровну не смотрели.

Девчонки захихикали. Тут и воспитательница обратила внимание на Колькин наряд. Расхохоталась. В другое время братья, может, тоже бы посмеялись, но сейчас им было вовсе не до смеха.

— Что за одежда? Тебя кто так одел? — спросила энергично Регина Петровна, оглядывая Кольку. — И, кстати, ты кто? Сашка или ты Колька?

— Сашка, — промычал Колька.

Не хотел он обманывать, но пришлось.

И Сашка, отсасывая кровь из прищемленного пальца, добавил:

— А я Колька, — это на случай, если в будущем придется прикрывать брата.

— Вот, девчонки, запоминайте... если сможете, — произнесла Регина Петровна весело. Но тут же стала серьезной. Даже строгой. Наклонясь к Кольке, сказала:

— Ну, прости, я такая глупая, сразу не сообразила, что ты новое пальто надел. И пальто, и шапку... Но откуда?

— Со склада, — ответил вдруг Колька нахально.

Сашка даже слюной подавился. Закашлялся. Теперь драпануть бы, пока не сообразили!

Но воспитательница была наивным человеком. Ничего-то она про склад не поняла. Добродушно воскликнула:

— Вот и хорошо. Пора вас приодеть, — и тут же сказала девочкам: — Идите, я вас догоню.

Девочки ушли.

— Великовато, конечно, — произнесла Регина Петровна, осматривая Сашку, который был Колькой. Поправила на нем воротник и шапку поправила. — На вырост... — добавила задумчиво.

Собралась было уходить, но что-то ее задержало.

— Вы хоть до холодов-то не надевайте, — посоветовала. — Сейчас тепло... Жарко, не правда ли? Подумают, маскарад какой...

— Жарко, — сказал Колька, будто сознался в чем-то.

Регина Петровна напоследок взглянула на него, на Сашку, и быстро ушла.

А братья тут же дунули к лазу, что в кустах. В этом маскараде, Регина Петровна права, через двор идти небезопасно. А еще через десять минут, завязав пальто, ботинки и шапку в узел, они удалялись в сторону станицы Березовской, на ходу делаясь пережитым.

Колька орал:

— Захожу я туда... Мать честная! Кругом навалом барахла! Растерялся: с чего начинать... А тут голоса...

— Это девчонки...

— Ну да, а я с испугу в тряпье головой! Посидел, стихло. Начал копать, слышу, замок звякает...

— А это шакалы!

— Тебе хорошо, ты видишь! А у меня дрожь пошла... Накинул пальто, а оно волочится... И шапка на глаза... И ботинки мешают... Думаю, скорей надо! Пусть волочится, пусть хоть как... А ты замок не открываешь! Жарко!

— Да заел замок-то!

— Заел... А я там спекся... Регина Петровна что-то спрашивает, а у меня пот течет, спина мокрая... Думаю: брошусь в кусты! Сил моих нет ждать! Все равно ведь попались!

— Ты зачем ей про склад-то?

— А как еще?  
— Придумал бы!  
— Вот я и придумал! Что она, не знает, что у нас с тобой вошь на аркане и дыра в кармане... Больше ничего своего нет!  
— Все равно... А Илья нас ждет?  
— Может, и не ждет. Он всегда дома. Он в темноте не выходит.  
— Боится, что ли?  
— Боится...  
— Я тоже боюсь... — сказал вдруг Сашка.  
Колька присвистнул, посмотрел на брата:  
— А ты чего?  
— Не знаю.  
— Как же можно бояться, не зная чего?  
— Можно. И потом... Если все кругом боятся... это даже страшнее.  
— Ладно, — рассудил Колька. — Сейчас загоним баракло — нажремся! И страх пропадет!

## 11

Илья с ходу уперся глазами в узел, пригласил в дом.

Окошки занавесил, лампу керосиновую зажег. Притащил картошки вареной, блинов толстых из кукурузы, которые он звал чуреками. Сала нарезал, и сало у него, жука, тоже оказалось. Никогда перед Кузьменышами не выкладывался хозяин так богато.

Да ведь и братья теперь не те: купцы! Хозяева! Со своим товаром пришли! Какой же тут может быть толк без застолья?

Илья и бутылку поставил:

— Гуляй, Ванька! Ешь опилки! Мы живем на лесопилке!

Разлил по кружкам, пригласил угощаться. Братья посмотрели друг на друга.

Оба подумали: пить страшновато, а опозориться и того страшней. Впервые в жизни их так угощают, принимают на равных. Впервые наливают, как взрослым, сивуху.

А Илья кружку свою тянет.

— "Поехали, поехали!" — как говорят проводники. За удачу! Да?

Братья взяли каждый свою кружку, понюхали. Воротит, как от помойки. Лучше бы им морса сладкого... Как-то разок угощали — вкуснотища, не то что это.

Но вида не подали, не показали, что противно. Наоборот, чокнулись громко с Ильей, будто всю жизнь только и делают, что выпивают!

Проследили глазами, как Илья без напряжения опрокинул в себя, не глотая, капли стер с подбородка и корочкой занюхал. Сразу видать — мастак!

Заметив, что братья медлят, весело приказал:

— Залпом, ну? Пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить...

Братья натянуто засмеялись. Колька закрыл глаза, глотнул, еще глотнул, и у него сразу все потянуло обратно. Пересилив себя, сделал он еще несколько глотков, пока не закашлялся, слезы брызнули из глаз.

А Илья уж догадливо корочку с сальцем подсунил, так ловко, что попал в рот. Колька стал жевать соленьючую корочку, а слезы все текут, и судороги в горле. Ни дыхнуть, ни слова вымолвить.

И вдруг — как это произошло, сам не понял, — легко, приятно стало. Счастливое тепло разлилось по телу, жаром ударило в голову. Поглядел он на Сашку, будто другими глазами увидел, что тот еще не знает, как это замечательно, когда выпьешь. А Сашка еще мучается, головой мотаает, губы вывернул наизнанку.

— А вы думаете, мы мед тут пьем! — кричит озорно Илья и по-свойски стучит Сашку по спине. И тоже ему корочку с беленьким, с тающим на языке сальцем: — Ешь, пока живот свеж! Завянет — ни на что смотреть не станет!

Откуда-то достал спичечный коробок, стал показывать братьям, как у них на транспорте вымеряют бутылку. Спичечная коробочка в рост называется "машинист", на ребро — "помощник машиниста", а плашмя — "кочегар"... "кочегар"... Так и спрашивают, как, мол, будем поддавать, по "машинисту" или по "его помощнику"?

Братья дружно попросили лить по "машинисту"! Им эта игра понравилась.

Через полчаса, разруганные, осмелевшие, они уже сами хозяйничали за столом, иной раз будто покрикивали на Илью.

И вот что диво-то: он лишь улыбался, но все, все сносил! Без бинокля видно: славный и покладистый парень этот Илья! Свой парень в доску! Подпивает да подкладывает, на узел и не глядит, будто его нет.

— Тряпье и есть тряпье, — сказал, как отрезал. — Не за то принимаю, что в узле, а за то, что своими вас обоих тут почувствовал!

Во как оценил!

И предложил выпить — по "машинисту", конечно, — за смелых братьев, хоть не семеро смелых, как в кино, но уж точно, что каждый семерых стоит! С такими да с молодцами любое дельце провернуть можно. И склад, и еще что...

— Любой... Склад... — пытается отвечать Колька, но у него никак не хочет складываться слово. Все вроде сознает, все слышит, а губы будто чужие совсем, не его губы, проворачивают вместе с деревенеющим языком. — Любовь... Склад...

Сашка и не пытается говорить, лишь мотает головой.

— Там ведь этого барахла-то... Завались? — допытывается Илья, и вдруг лицо его делится надвое, натрое, множится и расплывается в глазах у Кольки. — Надо только брать да брать? А?

— Брат! — невпопад подтверждает Колька. — Я всегда брат... И он всегда брат...

Сашка согласно кивает головой и, уронив ее на руки, не поднимает от стола.

Илья, что-то сообразив, меняет тон и сам меняется, будто и не пил совсем.

— Ах, глупыши... Ах, дурачки мои зеленые... Чего мне с вами делать-то теперь? — бормочет. — Ведь, ей-бо, не дойдете до своей колонии... Не дойдете, а? — и потряс Кольку за плечо.

— Я... Готов... Я вперед... по "машинисту"... — выкрикнул, поднимаясь, Колька и вдруг стал валиться на стол, свою кружку с остатками самогона опрокинул. Удивился, обмакнул в лужицу палец, лизнул, и его затошнило.

Илья подхватил Кольку, потащил к порогу.

— Я и говорю... Готов! — уже другим, вовсе не дружеским голосом сказал он и, поддерживая, выволок на двор. Оставил блевать, вернулся за Сашкой.

Потом отвел обоих под навес, где лежало у него сено:

— Тут дрыхните! Машинисты! Завтра разбужу!

Вернулся домой и накрепко запер дверь.

Схватил узел и вывалил его содержимое прямо на пол. Поднимал, каждую вещь отдельно осматривал, не спеша, и складывал рядком на постель.

Клодом снова прошелся, в обратном порядке, щупал, прикидывая, сколько же такие пальто, да шапка, да ботин-



ки, крепкие, высокие, на кожемите, стоят... Пальто суконное, новенькое, с заграничным клеймом. А шапка своя, в Казани делали, гладенький мех, ласковый на ощупь... Не мех, киска...

Погладил — и душа размягчела.

Все любят добро, да не всех любит оно. У Ильи в жизни по-разному было, но только теперь почувствовал: фарт ему шел в руки! Не упустить бы!

## 12

Говорится: с кем поживешь, у того и переймешь.

Рос Илья без родителей, тех еще в тридцатом раскулачили да увезли из деревни. С тех пор сгнули. Видно, на пути в далекую Сибирь сложили свои косточки. Остался он с бабкой, так и жил, бедствовал, словом.

С малолетства ишачил в колхозе — очень уж бедный, после того как покурочили, колхозик тот был.

Запомнил Илья анекдотец, его рассказывали с оглядкой да с шепотом во время войны. Ехали господа великие: Черчилль, Рузвельт и Сталин — по России, а на дороге бык стоит. Стоит и не дает проехать. Черчилль вышел из машины и кричит быку: "Ей, посторонись, а то линкор пришлю!" Бык ни с места. Рузвельт тоже кричит, мол, не сойдешь с дороги, так я тебя, дурака, из "летающей крепости" разбомблю! Уперся бык, не хочет уходить. А лучший друг советских крестьян вышел и шепнул на ухо быку что-то, тот, задрвав хвост, понесся, аж пыль столбом. Господа великие и спрашивают Сталина, чего ты ему там наговорил такого, что он испугался больше линкоров и бомб? А Сталин и отвечает: "Ничего особенного. Я сказал, если он не сойдет с дороги, я его в колхоз отдам!" Это как раз их колхоз и был.

Не успел Илья на общественных харчах окрепнуть — война. Мал он для фронта, а на трудработы вполне годился, хоть и недобрал живого веса. Тощ, да мал, да зубы не все выросли.

Согнали их по повестке со всей округи, погрузили в товарняки и через всю Россию, по пути родителей, в далекую Сибирь. За дорогу оголодали они, сено ели, которым пол был устан.

В Омске их впервые покормили в грязноватой стационарной столовке. Кто поопытней — Илья запомнил, — тот

немного ел. А все больше запасался. Корки за голенище, кашу в носовой платок.

Как в воду глядел! Под Новосибирск привезли, там и бросили. Месяц бездельничали: ни начальства, ни работы, ни питания. Стали разбойничать, на возки с продуктами, с хлебом, картошкой налетать. Расхватывали да разбегались. Посмотрел сейчас Илья на колонистов, как это все на них самих похоже. Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак, посудить, он везде одинаковый...

Решил Илья — звали его между своими по фамилии Зверев — Зверек — с тремя дружками к дому подаваться. Такая трудармия их не устраивала.

Сели они в проходящий товарнячок, поехали. Но глупо ехали, почти не скрываясь, и где-то перед Уралом, на перегоне, их забрали.

Посадили в пустующий домик стрелочника, заперли, часового приставили. Они в окошко увидели состав с углем, попросились будто по нужде. Часовой молод был — отпустил. Они за домик — да прямо на тот состав.

Стали осматривательней. Как железнодорожный узел — слезают на подъезде. Пешочком по кругу обойдут, а у семафора свой состав караулят. Так и Урал проскочили.

Жили впроголодь, понятно. Где что выпросят или украдут. Однажды у проезжего дядьки удалось свистнуть чемодан. Съестного в нем не оказалось, но лежало офицерское нижнее белье, гимнастерка, штаны суконные. Попробовали на себя натянуть: все на шесть размеров больше, для маскарада и то не годится.

Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто.

Послали с обмундированием Зверька в деревню, но он не такой лопух был, как эти братья. Продуктов набрал, молока мороженого в кусках, яиц, творога, а за гимнастерку выменял рубаху по себе.

Под Тутаевом, бывшем Романовом, сонных от жратвы их снова прихватили. Бросили до окончательного выяснения в колонию для малолетних. А колония та — под охраной да за колючей проволокой.

"Мы к Тутаеву подходим, видим сразу три угла: сборный пункт, больница рядом да проклятая тюрьма..." Так у них про свою колонию пелось. А вид, надо понимать, открывался подобный со стороны матушки-Волги.

К тому времени, как попался Илья, накопилось в колонии подростков тысячи две. Голодуха. Пока всех просеют, пока разберутся — ноги протянешь.

Однажды сговорились — бежать. Каждый день лошадь с продуктами приезжала; ей ворота открывали. Порешили между собой: как лошаденка станет выезжать, скопом броситься в открытые ворота... И — врассыпную. Кому повезет, тот на свободе будет.

Дождались, приехала дохлая кляча, тухлую рыбу привезла. Из нее баланду варили, рыбкин суп. Разгрузили, открыли ворота — тут колонисты и кинулись с криком... С криком, чтобы самим не страшно было! Вой, пальба!

Зверек сразу сообразил — бросилась ребянтя кучей в одну сторону, а он в другую, к Волге.

Май был, вода ледяная, но он с ходу этого не ощутил! Потом лишь понял, что не доплыть; тонуть начал...

Очнулся — лежит на печи, шубой овчинной укрыт.

Высунул голову, поглядел: изба. Дед со старухой сидят у стола, меж собой о нем толкуют. Старуха и говорит: "Давай, старик, сдадим его обратно. Там, в колонии, сказывают, убивцев всяких держат, может, и этот из них?" А старик ей в ответ: "Дура ты, дура старая! На ем написано, что он убивец? А если нет? А если и наш сынок мается где-то, а добрые люди ему откажут в помощи?"

Быстро поправился Илья. Старик ему рассказал, что работает на реке бакенщиком. Углядел на середке: кто-то руками по воде молотит, а уж видно издаля, что тонет... Что за купальщик по весне? — удивился, подплыл, а он, Илья, уж в беспамятстве... Приодели Илью в сыновнее шмотье, кусок сала дали, хлеба. Старик на прощание перекрестил, впотьмах вывел из дома.

— До Ярославля тут недалече, — сказал. — И до Рыбинска близко, но вот как через мост пройти — не знаю. У моста охрана, могут схватить.

Но Зверек опыта за дорогу набрался. Подлез к машинисту, нанялся до Рыбинска уголь кидать.

Пришел в родную деревню. Изба забита, бабки нет. Умерла бабка. Сунулся к соседке, тете Оле, ночь была, а он-то весь в угле. Увидала соседка в окошке его черную физиономию и решила, что черт лезет, такой крик подняла, что вся деревня сбежалась.

День-другой пожил Илья, все советовали ему осесть да жениться. "Пароход плывет по Волге, дым густой, густой, густой... Ох, зачем же мне жениться, погуляю холостой!"

Не сиделось Илье: на военный учет станешь — загребут опять! Пошел он дальше по России чемоданы курочить,

"углы отворачивать". Опыт у него уже был. На толкучке, при посадке или с крыши вагона крючком с верхней полки. Мал, да ловок был! Да удачлив!

Но однажды попался: запихнули опять в колонию.

Но теперь-то Зверек, как и всякий зверек, заматерел. Умел, как говорят, фуфло двигать: обманывать то есть.

Стекла кирпичом натолок и вдохнул покрепче. Можно было бы и сахара толченого, но сахара в ту пору не было. Забило стеклом легкие, пошла горлом кровь. Положили в больничку. А из больнички путь на волю всегда короче. Да, видать, стекла он крупновато сделал, кровь кусками отплевывал еще долго. С полгода.

В Калининской области, близ Осташкова, завербовался на лесозаготовки — дрова пилить. Работа для дураков: пилу на себя да пилу от себя... А во время пилки как песенку приговариваешь: "Для себя, для тебя, для теплыш-ка... Для себя, для тебя, для теплыш-ка..."

Как-то с дружкой шел он на работу, увидел пленных фрицев, они по соседству лес валили. Жили почти как вольняшки — на краю деревни, в земляночке.

Так вот, сидят офицеры, сало жрут. Увидели, кричат: "Рус, шнель". Мол, идите сюда, угостим!

Ребята от закуски отказались, но в памяти засело: гады фашистские наше сало жрут да нас же угощают!

На обратном пути не выдержали, решили заглянуть. Зашли в землянку — никого: те по избам да по бабам разбежались. Тут парни еще больше озверели. Это что же получается? Мы в бараках живем, баланду хлебаем, а они в тепле да на печке с нашими бабами!

Все, что было в землянке, забрали, в первую очередь бацилу, то есть мясо, сало, консервы... Муку взяли, около пуда, да не смогли дотащить, так, про запас, у дороги на сосне и повесили. После, мол, заберем.

Пришли в избу к знакомой бабке. Жарь, бабка, мясо, вари, пеки и самогон доставай! Мы праздник победы устраиваем! Сегодня окружили и разгромили немецко-фашистских захватчиков, а это наш трофей военный!

Бабка ничего не поняла, но ужин приготовила.

Наелись, напились, спать завалились.

Ночью Зверек от странного чувства проснулся, будто кто-то несильно зубами его босую ногу трогает... Дернул он ногой, а там как рыкнет! Подскочил: мать честная, овчарка в избе, а рядом военные да участковый милиционер.

Допросили их и бабку допросили. Шмон у нее устроили. Бабка весь трофей, что не успели пожрать, выложила,

только муку не отдала. Нет у меня муки... Не было и нет. Никаких я тринадцати килограмм в глаза не видела.

Погрузили Илью с дружкой в сани, повезли в город. А повезли через тот самый лес, где они накануне проходили. Илья дорогой и говорит: "Стой, гражданин начальник! Ты муку, кажись, спрашивал? Так вон, вишь, на суку она висит!"

Рассвирепел начальник, решил — чернуха, вранье, значит. А потом и сам увидел, кричит на Илью: "Лезь давай! Как повесил, так и снимай!" А Зверек ему в ответ: "Не... начальник... Я тебе показал, ты спасибо скажи. А мне она теперь долго не понадобится. Мне по твоей милости рыбкин суп хлебать! Так что тебе надо, ты давай и лезь на сосну!"

Спазил начальник. Ничего с ним не случилось! И опять-таки Илье развлечение!

Дали Зверьку год. Он в первый же месяц в глаз порошка от химического карандаша насыпал. Ослеп на полгода. Попал в больничку, что называется, закосил. И на волю...

Усы отрастил, даже на вид стал старше. Решил по новой жить.

Один зек еще там, в лагере, — подзалетел он туда за то, что бумажники по карманам тырил, словом, щипач, — рассказал, что земли бросовые на Кавказе. Езжай, мол, там дома прямо со скарбом и огородом раздают за бесплатно. Только не спутай, скажи, что из беженцев...

А Зверек-то из каких? Бегал же! Беженец и есть.

Устроился проводником на южном направлении, колонистов к месту доставлял. Без волокиты вселился. Все, как и говорили: дом, огород... И картошка, невесть кем посаженная, в огороде растет, и подсолнух, и кукуруза зреет.

Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. Нюх ему отказал. Хотел честным путем зажить, а опять в авантюру вляпался. Да какую!

Бежать бы! Да устал он бегать. И — деньги нужны. А тут, глядь, Кузьменыши подвернулись.

Проснулись братья поздно. Солнце за середину дня перевалило. На сене стало душно.

С трудом, преодолевая вялость, дошли до избы, а уж Илья завтрак приготовил: чай да чуреки, и опять — самогонка.

Кузьменыши головами замотали: не то что пить — смотреть на нее не могли. При виде бутылки начинало подташнивать.

Медленно отхлебывали чай из железной кружки и исподтишка поглядывали на Илью, который был сегодня особенно суетлив и многословен. Он спросил:

— А вы так и не умылись?.. Ну и правильно. Часто умываться даже вредно. Я в какой-то книжке читал. А можно и после завтрака. Историю про кошку знаете? Нет? Ха! Вот, расскажу. Поймала кошка птичку. Только присела, решила закусить, а птичка-то была сообразительная, говорит: "Как же ты, кошка, не умывшись, станешь меня есть? Нечистоплотно вроде?" Только кошка лапки разняла, а птичка пырх — и улетела. Вот с тех пор кошка и умывается только после еды...

И опять энергичный хозяин все пытался налить им самогона, будто ничего вчера такого и не было.

Или правда ничего и не было? Братья помнили лишь начало, остальное виделось сквозь какую-то муть. Кто-то хвалился, кричал; кто-то куда-то звал...

А может, не кричал, не звал, потому что и во сне приснилось им обоим что-то лихое, с лошадьми... Куда-то скакали на лошадях, и дух захватывало от этой скачки. Трудно было отделить сон от яви, но уж точно: лошадей наяву быть не могло!

Тут вспомнил Колька про вещи и посмотрел в угол, а потом на Сашку. И Сашка о вещах подумал.

Илья перехватил их взгляд, быстро спросил:

— Что? Потеряли что-нибудь? — и как-то странно засмеялся. Усы у него зашевелились.

— А пальто... где? — спросил Колька.

— И шапка? — добавил Сашка. — И эти... ботинки?

— Ах, вы вон о чем! — простодушно удивился Илья. — Ха! Они далеко... Их уже не догонишь!

— Как... не догонишь? — спросил Колька и посмотрел на Сашку, и оба уставились на Илью, который между тем продолжал им улыбаться. Но улыбка стерлась, он озабоченно спросил.

— Вы же мне подарили эти... тряпочки? Я вас вчера правильно понял?

— Подарили? — переспросил Колька, округляя глаза.

— Мы? Подарили? — повторил за ним Сашка.

Оба вытаращились на Илью, будто впервые его видели.

— А вы что? И не помните? Как дарили?

Но Илья и сам увидел, как братья ошарашены.

Встал, подлил им чая. Отломил по куску чурека. Сел, покачал удрученно головой.

— Ха! Вы даете... Ну, может быть, мне напомнить, а? — И так как братья продолжали молчать, он рассказал про вчерашнее, как стал он торговаться, предлагал на выбор картошку, кукурузу или деньги, а Сашка попросил сала. А когда порешили, что даст он им шматок сала да ведро картошки, тот же Сашка вдруг заявил: да бери задарма! Мы завтра снова принесем! Илья, конечно, наотрез отказался, но тут и Колька присоединился к брату и стал наседать, уговаривать Илью в честь их крепкой дружбы взять это дурацкое барахло и унести, чтобы с глаз долой. А им вроде ничего не стоит снова покурочить этот складик. Где они, как Сашка объяснял, лишь замок в задвижке провернули...

Братья выслушали Илью, уставясь в пол. Они даже друг на друга не смотрели. Ничего такого они вспомнить не могли. Но если Илья про задвижку знает... Тогда... Лихо это они по пьянке добро свое профукали!

Илья предложил еще чайку согреть, но братья заторопились домой.

— Ха! Понимаю! Времечко не ждет! Не ждет! — оживился Илья и встал. И братья встали. — Можете на меня как всегда... Как на своего, — говорил он, выходя вслед за ребятами во двор. — Если свистнете, готов соответствовать! А подарка не возьму больше, так и знайте! Задвижечку отодвигайте, одежду несите, но... За наличные! Ну! По петушкам?

Колька и Сашка неуверенно кивали. Были они подавлены. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!

У самой калитки Колька со вздохом оглянулся и, не глядя, Илье в глаза, спросил, голос его прозвучал жалобно:

— Но... Может, нам сала немного... Мы бы взяли.

Сашка промолчал. Он даже отвернулся, чтобы не видеть Колькиного унижения.

Илья уж совсем собрался уходить. Удивился. Переспросил:

— Сала? Вам... Сала? — и сделал паузу, рассматривая в упор братьев. — Так вы, живоглоты, вчерась его подобрали, у меня только голая тряпица с солью осталась!

Братья удрученно молчали. Про сало, кроме того кусочка, что совал им на закус сам Илья, они тоже не помнили.

— С кормежкой вы тово... Вы за четверых хаваете-то! — Илья вздохнул, как неприятно было ему отказывать своим лучшим друзьям. Вдруг он оживился: — Ха! Пстойка! Посмотрю, а вдруг...

Щедрость из него так и перла. И щедрость, и широта душевная. Не мог он отпустить лучших друзей с пустыми руками!

Он скрылся в доме, вернулся, неся в руках небольшой, с пол-ладони, кусочек сала. Тут же отыскал лопушок, завернул в него. Помедлил, поколебался, сразу видать — последнее отдавал. От сердца отрывал, как говорят!

Он так и сказал, протягивая:

— Ладно уж, в честь дружбы... Сам как-нибудь проживу.

Братья вразнойбой сказали: "Спасибо". И пошли.

Илья смотрел им вслед. Вдруг крикнул:

— Эй, живоглоты!

Кузьменьши оглянулись. Он молча на них смотрел, будто колебался, сказать или не сказать, но вдруг крикнул негромко:

— Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!

## 13

В колонию не пошли.

Если даже директор, как говорили, что-то там привез и наварят горячей бурды, им все равно не хватит. Опоздали. Еще кому-то подарочек. Правда, не такой жирный.

Только скрылась деревня, свернули они с проселка, покрытого мягкой, горячей пылью, в поле, а за ним, вдоль кустиков, речка Сунжа бежит. Тут по-над берегом, среди зарослей колючей ежевики и дикой маслины с мелкими серебристыми листьями — птицы на нее, как заметил Сашка, никогда не садились, — прилегли на траву.

Говорить не хотелось.

Колька первый нескоро произнес:

— Голова трещит! А у тебя?

Сашка угрюмо отмалчивался.

— И трещит, и гудит... Паровоз, а не голова! Больше пить никогда не буду... Я и не думал, что это так...

Он не договорил, спустился с берега к воде, стал зачерпывать воду руками и плескать на лицо. Потом, сложив руки ковшичком, напился и, прихватив сколько можно воды, хоть капало сквозь пальцы, принес к Сашке и вылил



ему на лицо. Плеснул — Сашка даже не отвернулся, а может, и не заметил.

— Ты знаешь, что такое собачник? — спросил он, не открывая глаз. Капли блестели у него на носу, на лбу и стекали по вискам.

— Что? — без любопытства спросил Колька. — Собачник? — он сообразил, что в умной башке Сашки что-то заваривалось важное. — Нет, не знаю.

— Ящик... Железный такой ящик, — продолжал Сашка ровно, глаз не открывая. Может, он сон свой рассказывал. — Снизу вагона его подвешивают... Это когда мы на одной станции стояли, я в соседнем поезде углядел... А Зверек флажками ткнул и говорит: собачник, мол, до войны или когда там... собак, говорит, в таких ящиках возили. А сейчас и людям впору ездить.

— Ловок твой Зверек! — Колька вздохнул.

— Вместе ворон ловили, — сказал Сашка и открыл глаза. — Так вот, я тогда залез, примерился... И правда, ехать можно.

Колька понял.

— Значит, пора? — спросил, глядя на Сашку. — А колония?

— Попробовали же!

Сашка рассказал анекдот про человека, который увидел на дороге дерьмо. Нагнулся, удивился, на язык попробовал. И вдруг воскликнул: "Хорошо, попробовал, а то бы вляпался!"

Колька не засмеялся. Он прикрыл лопушком голову и дремал на солнышке. Да и чего смеяться, если они оба, по тому самому анекдоту, вляпались... С колонией вляпались... Да и с Ильей тоже.

А Сашка уже не терпел. Его идея подтачивала.

— Пойдем на станцию, — предложил он.

— Сейчас?

— А когда еще...

— Может, сперва это... Может, склад покурочить? Как говорит Зверек...

— Не Зверек он — Зверь, — сказал Сашка жестко. — Ну, пошли? Да ты не думай, мы сегодня и вернемся!

Колька понял, что Сашка не зазря себя и его гонит, значит, так надо.

— Полежим чуть-чуть? — попросил он. — У меня ноги дрожат.

— Вот и разоидемся, — деловито произнес Сашка. — Вон, кстати, подвода...

Вовремя Сашка углядел подводу, а так бы топать им на станцию до вечера. И то неизвестно, дошли бы.

Через поле, наперерез, выскочили они к телеге, крикнули издали:

— На станцию?.. Дяденька?

— На станцию, тетенька, — сказал мужчина и показал, рукой повел: — Садись! Авось да небось добежим! У меня паровоз ходкий!

Не старый мужик и не седой, как заметили братья, но старей Ильи. В линиях, до белизны выгоревшей гимнастерке с белыми, от кальсон, пугавицами, в кепочке с козырьком на глаза. Сидел, подремывал, изредка вскидывал на дорогу светлые с голубиной глаза и опять погружался в себя. На братьев, подсевших к нему, он уже не обращал внимания.

Где-то лишь на подъезде к станции полюбопытствовал:

— Колонисты, небось?

— А что? — настороженно спросил Колька.

— Бегете...

— Куда... Мы бегем?

— Ну куды-куды... Ясно, куды все бегут... Домой! — сказал мужик и причмокнул, понукая лошадь.

— Может, у кого и есть дом... А у кого и нет, — огрызнулся Колька. И посмотрел на мужика.

Но тот, видать, не собирался ссориться и разговор затеял вовсе не для обличения. Он приподнял кепочку, глянул на братьев, точно в голубое окунул. Молвил кротко:

— А ведь верно. У кого он есть... А у кого? Я скажу: такая война, что всех перевернула и выкинула из привычного... Небо с землей поперепуталось, живые с мертвыми... А нынче-то вдруг все поняли — войне-то конец... О доме заговорили... — он помолчал, но ответа не ждал. В свое погрузился. И снова начал неожиданно: — До этого о жизни не думали, думали не как жить, а как бы выжить... Не до жиру, быть бы живу — во как думали! Как уцелеть, — он постучал кнутовищем по ноге, и она отдалась деревянным стуком. Только теперь братья заметили — мужик-то без ноги. Инвалид, значит. Он между тем продолжал: — ...Отдал часть себя, другую часть готов был отдать. Вроде сам себе не нужен был. А сейчас дело-то к концу, так себя жалко стало... А вдруг, думаю, поживу? А где жить? — спрашиваю. Дом-то где? Где? Нету... Семью поубивали и дом спалили. Так я в свою деревню не поехал, как узнал. Приехать на такое — все равно что на кладбище поселиться! Кажен день кровью истекать. Себя убьешь... Вот и ре-

шился в Березовскую... Ну как приживусь... Вы-то малы, у вас запас времени есть шерстью обрасти. А у mine нет. Я без надежды поселялся... Это сейчас надежда появилась. Вон за станцией на подсобном я вкалываю. Если что — Демьяна спросите...

Сказал и снова будто под козырек спрятался. Ушел, как черепашка под панцирь.

Когда братья у станции сошли, поблагодарили, он вроде бы оживился, кивнул:

— Бывайте! — и дернул вожжи. — А вообще приходите, если не побегете... Я-то лично не побегу. Край-то богатый, можно бы жить... Страх все портит. А мне так все одно бояться нечего. Кончилась моя боясть...

Братья еще раз сказали "спасибо" и пошли. Враскорячку пошли, костистые их зады на тележных слегах порядком набило. Добрели до серных ямок, ополоснулись — стало легче. Совсем легко. Будто те вонючие ямки были наполнены живой водой из сказки.

А когда-то, в невероятно далекие времена, ехали сюда, на воды, барышни и барины из северных столиц... В белых нарядах, с цветными зонтиками, в богатых экипажах, гуляли тут столичные дамы и усатые офицеры, и все затем лишь, чтобы попить кавказских вод и привести в порядок здоровье... Играл им тут духовой оркестр, цвели глицинии. А после горячих вод прекрасные господа поднимались вверх, к ротонде, и смотрели на дальние горы в закатном золотом свете... Как выразилась Регина Петровна: лицезрели!

Так ли было или придумала воспитательница сказку, братья не разобрали. Воды-то были, они тут и до Кузьменышей текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи — другое дело... Жрать захочешь — прискочишь... А вода, она и есть вода. Ешь — вода, пей — вода... срать не будешь никогда!

Но поезда все не было, а его здесь, с горки-то, издали видать; братья забрались на небольшую вершинку, где блистала белоснежная ротонда.

Вблизи она оказалась не такой уж белоснежной. Была она облезлая, загаженная, да к тому же все колонны исписаны, исцарапаны надписями: по-русски и по-немецки, наверное.

Сашка присел на каменные ступени, стал смотреть на долину. Как некогда барышни и кавалеры смотрели.

А Колька нашел острый камень и нацарапал на колонне: "Кузьмины из Томила. 10.9.44 г."

Усмехнулся, разглядывая надпись. Знайте наших, тоже, мол, принимали воды и лицезрели закаты в горах! Приедут они через... ну... через двадцать лет стариками, как этот Демьян, покажут шакалам детдомовским на ротонду: гуляли тут с Сашкой... Оркестр, мол, играл, и барышни с зонтиками ахали от восторга...

Колька свою картину додумать не успел — за дальним изгибом плешивой горы дымок показался. Братья рысцой побежали вниз, успели как раз к поезду.

Сашка деловито прошел вдоль состава, заглядывая под вагоны, наконец нашел то, что надо, позвал брата.

— Смотри! — указал пальцем.

Прямо под вагоном, нависая над рельсом, прикреплен грязный рыжий ящик, продолговатый, как гроб.

Сашка приподнял крышку и велел Кольке лезть.

— А не уедем?

— Ну, не уедем, — сказал Сашка. — Ну и что?

Громко сопя от натуги, Колька влез в ящик, потом туда забрался и Сашка. Выходило, что валетом ехать можно. Прямо в боковой стенке набиты круглые отверстия, в них можно смотреть одним глазом. Рядом шпалы, рельсы, трава. Одно боязно — не оторвался бы ящик на ходу, а то, правда, гробом станет.

— Гроб железный с музыкой! — сказал Колька в дыру.

— Из северных столиц... В экипаже, на воды... Господа прибыли, Кузьмины!

И щеки надул: "Пум, пум, пум, пум..." Оркестром заиграл в честь своего прибытия в собачнике.

А Сашка сказал:

— За бесплатно куда хошь? А?

— А куда ты хошь? — спросил Колька. — Пум, пум, пум...

— Дальше, дальше, — сказал Сашка. — Я еще дальше хочу. Я обратно не хочу.

— А хуже не будет?

— Чем сейчас-то?

— Да. Чем сейчас!

Поезд впереди загудел, громыкнули вагоны. Ящик с силой трянуло.

Колька громче ударил марш: "Пум, пум, пум..."

А Сашка предложил:

— Поехали, а?

— Сейчас?

— А что?

— А Регина Петровна?

Сашка промолчал.

— Она с мужичками одна останется? Не жалко? — крикнул Колька.

Сашка быстро откинул крышку и выскочил. За ним вывалился и Колька, споткнулся о шпалину. Смотрели вслед поезду, вагону со своим, уже ставшим своим, ящиком. Будто мечту проводили.

Ночевали в полусгоревшем товарняке на запасных путях. И у Регины Петровны объявились лишь вечером следующего дня.

Но прежде прошли мимо склада, чтобы убедиться, что замок, тот самый замок с задвижкой, на месте.

Воспитательница открыла не тотчас. Увидев братьев, пригласила войти, но сделала знак: тише, мол, дети спят.

Кузьменьши на цыпочках прошли в комнату, оглядываясь на кровать, где валетом в разных позах спали мужички. Жорес разбросанно, на спине, а Марат, наоборот, комочком, натянув одеяло на голову. Сейчас стало заметно, что Жорес старше.

Сама Регина Петровна была в ярко-розовом, сверкающем, как золото, платье, с пуговицами и очень длинном, до пола.

Такая блестящая, с распущенными черными волосами, она показалась братьям еще прекрасней. Вот уж и правда, царица.

— Садитесь. Я вас ждала. С чем пришли, дружочки? Голодные?

— Нет, — отвечал за обоих Сашка. — Мы уже один раз ели.

А Колька положил на тумбочку сало, завернутое в лопушок.

Регина Петровна посмотрела на сало, не притрагиваясь к нему, на ребят. Покачала головой:

— Нет, нет. Спасибо. Я не возьму.

И так как братья недоуменно молчали, пояснила:

— Вы заработали, вы и ешьте! А как, кстати, вы его заработали?

Братья переглянулись.

— Ну вот, — сказала Регина Петровна. — Думаю, что мы друг друга поняли. Правда?

Сашка кивнул. Он соображал быстрее Кольки. Но тут и соображать не надо. Воспитательница еще там, у склада,

догадалась о краже вещей. Оттого и волновалась, и ждала. Но ведь не выдала! Вот главное!

Она между тем продолжала:

— Я ведь вас искала, спрашивала. Вы не ночевали, да? Все решили, что вы удрали, говорят, вас видели на станции... Но я не поверила, я знала, что вы не уедете так. Я не ошиблась.

Регина Петровна полезла в карман висящего на стене пальто, что-то искала и, не найдя, вернулась, села.

— Господи, как без курева тяжело... Хоть травку какую... Ну ладно. Вот для чего я вас искала: на днях мы начинаем работать на консервном заводе. Петр Анисимович договорился. Работать будут старшеклассники: пятые — седьмые классы. Но я записала и вас... Хоть подкормитесь там. Вы поняли, да?

Братья неуверенно кивнули, никакой завод не входил в их планы.

— Пожалуйста, не перепутайте: вы у меня не четвертый, вы у меня пятый класс... Младших пошлют в колхоз яблоки собирать... А теперь идите спать, — и уже вслед: — Сало, сало свое не забудьте!

Колька без слов забрал лопушок с салом. В дверях как по команде оба брата обернулись.

— Вообще-то мы думали... Что мы...

— Что — вы?

— Да! Чуть не уехали! — выпалил Сашка.

— Совсем? — как-то глухо произнесла Регина Петровна. И все в ней потухло.

— Ага.

— А мы? А остальные?

Ребята замялись. Но ведь и так было понятно, что они не уехали потому лишь, что думали о ней.

— Дружочки мои... Подождите! — быстро, горячо подхватила Регина Петровна. — Вот на консервный завод съездим... Поглядим... А вдруг да понравится? Я думаю, что у нас уладится... Уладится. Вот увидите.

Колька ничего не ответил, он так быстро соображать не мог. А Сашка, нахмурясь, глядя в пол, произнес как бы за двоих:

— Вообще-то... Мы подождем. Правда.

Получилось почти по-взрослому.

— Ну и лады, — Регина Петровна чуть повеселела. А у меня еще сюрприз... Чуть не забыла. Подите-ка сюда.

Она достала из тумбочки огромную мохнатую шапку, а из шапки извлекла ремешок.

Братья вперились в шапку глазами.

— Что это?

— Папаха... Наверное...

— Откуда?

— Из подсобки... От самостоятельности, что ли, осталось. А может, из деревни... Не знаю. Там много этого... Ребята нашли... Ну, пошли дурить, маскарад устроили... — Регина Петровна прислушалась к крикам во дворе. — А я для вас прихватила... Нравится?

Братья лишь переглянулись: сообразили свою промашку. Как же они, обшаривая чердаки, пропустили подсобку! А если б там пожрать было?

Колька заинтересованно спросил:

— А черкески с патрончиками там не было?

— Не видела, — сказала Регина Петровна. — Был кинжал, только сломанный, и поясок... Мне показалось, что он вам пригодится.

Но братья пояском не заинтересовались. Они стали по очереди примерять папаху. Колька залез в нее по шею и утробным голосом заорал песню, забыв про спящих мужичков:

И в какой стороне я не буду-у,  
По какой ни пройду я тропе,  
Друга я никогда не забуду-у-у,  
Если с ним подружился в Москве-е-е!

— Тише ты! — Сашка стянул с него папаху и нахлобучил на себя. — Я буду Хаджи Мурат! А ты...

— А я Буденный! — крикнул Колька и потянул к себе папаху. — Буденный-то за красных, а твой Хаджи Мурат за фашистов!

— Это Хаджи Мурат за фашистов?

Регина Петровна прекратила спор, отобрав у них папаху.

Улыбнувшись, произнесла:

— А я сейчас подумала... Я ее разрежу и сошью вам на зиму два капора.

— Чего? — переспросили братья. — Тапора?

— Ну, я знаю что... Шапки, в общем... Все польза. А пояс можете взять, Коле для штанов — ты у нас Коля-то? — вместо веревки сойдет.

Братья уткнулись в ремешок, узенький, в темных заклепках и узорах, вдобавок на нем болталось множество других ремешков-висюлек.

Колька примерил новинку, довольный, решил:

— Я на нем ложку буду носить... И еще что-нибудь...

Впору бы повесить для красоты ключи, украденные у Ильи, да ведь сопрут! Может, кукурузу? Вообразил: Колька идет по томилинскому детдому, а на поясе у него, словно гранаты-лимонки, кочаны кукурузные висят! И папаха на затылке! Знай наших! С гор вернулись! Не оробели! Нажрались вволю да с собой привезли! По кочну отцепляет и шакалам отдает!

Но я знаю, мы встретимся снова,  
И тогда, дорогая, вдвоем...

Регина Петровна легонечко подтолкнула братьев к дверям:

— Идите во двор петь!

Братья ушли.

Прикрыв дверь, она вернулась и снова пошарила в карманах пальто, собирая в ладонь табачные крошки. Набралось вместе с мусором немного. Из клочка газеты неумело свернула самокрутку, прикурила и вышла за дверь. Долго стояла на крылечке, приглядываясь к ребятам во дворе и стараясь среди них угадать Кузьменышей. Нацепив папаху, благо в подсобке их оказалось много, колонисты с палками гонялись друг за другом, изображая войну, А кто-то волочил за собой дырявую бурку, голые пятки мелькали из-под тяжелой полы.

Регина Петровна последний раз затянулась и ушла домой. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. Несколько раз вставала, глядела в окно. Наконец хоть чем-то решила себя занять. Взяла ножницы и стала резать папаху на две равные части. Думала о Кузьменышах, о том, какие замечательно теплые шапки выйдут из этой папахи, и совсем забыла о времени. Она не заметила, как тихо, будто сама по себе, откинулась створка окна и оттуда выглянуло черное дуло.

Три человека смотрели из темноты на ее руки, кромсающие на куски папаху...

## 14

В ребячьих спальнях ор продолжался допоздна. И крики, и визги, и беготня. Регина Петровна была права: колонистов накормили, и они ожили; известно, кормежка — праздник, да какой!



Оттого и разбузились: выли, пищали, блеяли, гавкали, мычали, лаяли и все в том же духе.

Кому-то пришло в голову — завопили песню. Не в лад, не громко:

Бродили мы с товарищем вдвоем,  
Бродили мы с товарищем вдвоем,  
Бродили мы с товарищем по диким по горам,  
По диким по го-ра-ам!

Поначалу шло жидковато, кто во что горазд, но вот уж голос за голосом, ниточка к ниточке вплелись, встроились, сложились — и грянуло, окошки позванивали...

Вдруг камень покотился, ого-го!  
Вдруг камень покотился, ого-го!  
Вдруг камень покотился, и товарищ мой упал!  
Товарищ мой у-па-л!

Особенно дружно выходило это: "Ого-го!" Тут уж ревели все, кто мог, и со слухом, и без слуха, реветь было приятно. Да и воздуха в легких хватало.

Я взял его за руку, ого-го!  
Я взял его за руку, ого-го!  
Я за руку, я за ногу — товарищ не встает!  
То-ва-рищ не вста-ет!  
Я плюнул ему в рожу, ого-го!  
Я плюнул ему в рожу, ого-го!  
Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет.  
Об-ра-тно не плю-ет!

Далее, как полагается, товарищу вырывают яму (ого-го какую!) и хоронят. А потом земля зашевелилась (ого-го!), и товарищ встает из нее и... "В рожу мне плюет!" Ответил, в общем. И сам — живой. Смешно! Закатились, хохотали...

Затянули тюремную: "Сижу в тоске и вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих..." Не допели. Слезы под такое настроение не подходили.

Заводили разухабистые уличные, блатные, рыночные (жалобные), сиротские, инвалидные, лагерные, вокзальные и поездные, колониетские, сибирско-ссылные, бытовые, одесские — воровские (жестокосентиментальные), хулиганские, каторжные (из дореволюционных) и некоторые из кино... Из "Большой жизни": "Прощай, Маруся, блядовая..."

По-настоящему-то надо "плитовая", но пели только так!

Но уж такой стройности не выходило. В каждом углу тянули свое, а вскоре и вовсе стихло.

Взрыв раздался под утро. Но было еще темно.

Кузьменьши проснулись одновременно. Обоим показалось, что на них упала бомба. Это было им знакомо по первым месяцам войны.

Во все окна полыхнуло зарево, окрасив стены в дрожащий кровавый свет. Было слышно, как внизу у девочек кто-то взвизгнул и закричал.

Сразу несколько голосов завопило:

— Горим! Горим!

Братья спали без матрацев и не раздевались, не то железная сетка отпечатается до самых ребер. Едва соображая, вместе со всеми в панике бросились к выходу. Двери отлетели. Задние подмяли передних, началась свалка. В темноте кому-то отдавили пальцы рук, разбили нос.

Кузьменьшам повезло, их лишь чуть помяло.

Высыпали во двор и окунулись в голоса, в беготню, в яркий и жаркий свет, в какую-то зловеще-веселую панику.

Суеты было много, никто ничего не понимал, все бежали и все кричали. Стало видно, что горит дом, тот самый, где располагался склад.

Но первая мысль наших братьев была не о складе, конечно, — о Регине Петровне с мужичками... Где она? Успела выскочить?

Пока опупело смотрели, соображали, а после крепкого сна соображалось туго, увидели и воспитательницу. Прижав к себе судорожно мужичков, она стояла посреди всей этой суетни, одна, такая застывшая, будто онемелая, в огромных глазах ее был страх.

— Регина Петровна! — закричали громко братья и бросились прямо к ней, с кем-то по дороге сталкиваясь, кого-то отпихивая. — Регина Петровна, мы тут! Мы тут!

Она лишь краем глаза зацепилась за кричавших ребят и, ничем не показав, что увидела или услышала их, вновь уставилась на огонь, пламя прыгало в ее расширенных зрачках.

Подскочил Петр Анисимович, крикнул неведомо кому:

— Где ведра? Несите ведра! Это ведь непонятно, что происходит! — и исчез.

Тут же появился снова, уже с ведром воды.

Закрываясь портфелем от огня, он направился к горящему дому, но близко подойти не смог и выплеснул воду наземь. Она тут же превратилась в пар.

Теперь, когда первый страх и чувство опасности прошли, ребятня, даже девочки, уже не вопили от испуга, а носились по двору радостно-возбужденные, ошалелые от такого невиданного зрелища! Им уже нравилось, что так горело!

Пламя возносилось вертикально вверх, как гигантская свеча, и гудело, рассыпая дождем крупные искры.

Дом светился изнутри, обнажился его каркас. В это мгновение он казался прозрачным, и каждую накаленную огнем балочку в его скелете можно было сейчас разглядеть.

Лишь несколько девочек, из самых боязливых, прибились, как к спасительному островку, к стоящей все так же неподвижно Регине Петровне.

Петр Анисимович, обращаясь к Регине Петровне, закричал:

— Вы видели? Что-нибудь видели?

Регина Петровна не обернулась к директору, будто не заметила его. Не сразу до нее дошло, что это к ней, к ней обращаются с вопросом.

— Что... Видела... — медленно, как во сне, произнесла она, не отрывая взгляд от огня.

— Я спрашиваю! — кричал Петр Анисимович и все отгораживался от пламени портфелем. — Вы видели, как взорвалось? Видели или нет? И потом это... На лошадях...

— На лошадях? — пробормотала Регина Петровна. — На каких лошадях?

— Это ведь непонятно, что происходит! — закричал Петр Анисимович, но осекся: только теперь дошло, что воспитательнице худо.

Подбежала другая воспитательница, Евгения Васильевна, сунула ватку с нашатырем к носу Регины Петровны, потеряла ей виски, а та вдруг ахнула и стала оседать, запрокидывая голову.

Ее тут же увели в спальню девочек. Мужичков забрали туда еще раньше.

Кузьмёныши, наблюдавшие все это, ринулись следом, на помощь своей Регине Петровне, но их дальше дверей не пустили.

— Идите, идите... — сказали. — Все тушат пожар, а вы чего тут шляетесь?

За дверью, слышно стало, кто-то плакал навзрыд, какая-то девочка, ее утешали.

— Ну, кто сказал, что лошади? — тускло произносил чей-то голос. — Ерунда... Честное слово, ерунда... Не было

никаких лошадей и никаких гранат... Ну, что-то там взорвалось на складе... Там ведь керосин, и масло, и что угодно... Разве теперь узнаешь!

Братья посмотрели друг на друга и пошли во двор. Уже обвалилась крыша дома, подняв к небу салют из горящих углей, даже головешек. Искры медленно падали вниз и светлячками тлели в сухой траве. Никто не пытался их тушить. Даже Петр Анисимович, поняв, что соседним зданием пожар не угрожает, притулился на крылечке столовой и так, прижав портфель к груди, сидел, глядя на огонь. Было что-то жалкое, беспомощное в его позе, будто говорившей: "Это ведь непонятно, что происходит!"

За свою сорокалетнюю жизнь этот человек пережил множество катастроф; если и выживал, то благодаря природному долготерпению.

Когда он ушел с орсовской базы, сам ушел, ибо тащили вокруг все и вся, пахло тюрьмой, направили его в роно и там всучили детишек. На него смотрели как на человека конченного, ибо знали, какие уж там детишки — пятьсот головорезов худших из худших: тот, кто отсеивал, отделялся от самых отъявленных. И пока он готовил поезд, подыскивал воспитателей, выпрашивал продукты и одежду, сквозила в лицах районного начальства невысказанная мысль: не повезло Мешкову! Сгорел Мешков! А едет потому, что знает: хуже ему уже не будет... Некуда, как говорят!

Стало заметно, что уже рассвело.

Неожиданно из колхоза прикатила водовозка с пожарной помпой.

Ребята сразу нашли себе занятие — качать насос: по двое, а потом по четверо, вверх и вниз. Но быстро устали, отвалили. Лишь Кузьменыши, мокрые, старались помогать взрослым, пока вдруг не обнаружили на ладонях белые пузыри. Их погнали спать.

Уходя, они снова попытались проникнуть к Регине Петровне, но дверь оказалась запертой. Постояли, прислушиваясь, но никаких голосов не раздавалось с той стороны.

Спать тоже не хотелось.

Братья пошлялись по двору, теперь совсем пустынно; странно было видеть, как дымятся остатки дома в наступившей вдруг тишине.

Помпа уехала, стало тихо.

Сашка вполголоса сказал:

— Ты думаешь... Гранатой?

— Почему гранатой? — спросил тихо Колька.

— А чем же? Ты слышал, как грохнуло?

— Я спал... — ответил Колька. — Мне приснилось, что меня по башке треснуло, а потом я проснулся и решил, что бомба.

— А лошади?

— Какие лошади?

— Они же говорят, были лошади!

— Говорят, кур доят, а коровы яйца несут...

— Значит, не веришь? — сказал Сашка. Он повторил: — Значит, не веришь.... Пойдем!

— Куда?

Сашка не ответил. Взял Кольку за руку, крепко взял, была какая-то решительность в нем сейчас. Повел вдоль зеленой ограды к их тайному лазу. Первым прокорябался сквозь колючки, дождался Кольку, снова схватил его за руку и потащил за собой к краю кукурузного поля, которое примыкало к тыльной стороне сгоревшего здания.

Среди поломанных стволов кукурузы на мягкой земле четко различались многочисленные следы копыт. Кое-где была вывернута трава и отброшена в стороны. Клочки ее висели даже на стеблях кукурузы.

Колька нагнулся и поднял гильзу. Блестящую медную гильзу, ее нетрудно было заметить в траве.

Сашка взял у брата гильзу, повертел ее и сунул в карман. Пригодится.

— А как ты догадался? — спросил Колька и снова пошарил глазами по земле, но ничего больше не валялось.

— Как... Ясно же, что если они были, то были тут... Что они, дураки во двор заезжать! Это же ловушка!

— А кто они?

— Не знаю.

— Думаешь, они и стреляли?

— Не знаю, — повторил Сашка и посмотрел на горы.

Чистое, без единого облачка, наступало новое утро. Горы празднично блестели в высоте и светились своими снежными вершинами. Они казались совсем близкими.

Никакой пожар, никакие ночные страхи не могли поколебать этой вечной неземной красоты.

— Жаркий день будет, — сказал Колька и задумался. — А в Томилине, небось, в школу пошли...

Братья посмотрели друг на друга и одновременно подумали о том, что в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неудобно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор.

К обеду того же дня приехали на мотоцикле два милиционера, с ними еще военный.

Пока дети, столпившись во дворе, рассматривали чудо-мотоцикл да спорили вокруг него, приехавшие прошли к директору, о чем-то с ним поговорили и с воспитателями поговорили, обошли кругом сгоревшего дома и укатили, поднимая далеко видный шлейф белой пыли.

Ребят никто ни о чем не спрашивал, и Кузьменышей тоже. Но даже если бы и спросили, они б не рассказали о своих находках.

Во время обеда в столовой объявили, чтобы все знали, что никакого опасного взрыва не было, а случился по неизвестной причине пожар на складе, взорвалась канистра с горючим, от которой и загорелся весь дом.

Объявил директор Петр Анисимович, стоя посреди столовой с портфелем: свободной рукой он вытирал пот со лба. Вид у него был очень озабоченный.

Он объявил и вдруг добавил:

— Это ведь непонятно, что происходит, — чем рассмешил обедавших колонистов.

Кузьменыши в это время тоже были в столовой, проникнув по второму разу, наверстывали за пропущенный вчера обед. Да и баланда из риса пришлась им по душе.

При словах директора о канистре, которая, якобы, взорвалась, они многозначительно переглянулись и продолжали хлебать дальше.

Директор еще добавил, что завтра приедет машина от консервного завода и заберет старшекласников. Младшие своим ходом отправятся в колхозный сад и будут собирать яблоки. Их там накормят...

На этом история с пожаром вроде бы закончилась.

Обгорелые остатки дома разгребли, бревна, обугленные, распилили на дрова, колонистов, в саже с ног до головы, послали отмываться в Сунжу, и они терлись песком.

Братья узнали, что Регину Петровну с мужичками временно поселили на кухне, отгородив одеялом угол. Но самой ее не было. Девочки сказали, что она уехала в больницу, а за мужичками просила присмотреть своих девочек, но и Кузьменышей просила помогать.

Братья кивнули.

— А когда вернется? — спросил Колька.

— Через несколько дней. А что?

— Ничего. Она заболела, да?

— Нет, — сказали девочки. — Но так нужно.

Братья ушли. Между собой рассудили, что девочки врут и что Регина Петровна не стала бы бросать мужичков, если бы не заболела. Но коли она и вправду обещала скоро приехать, значит, это не страшно. Вот только попрут их с консервного завода. Доказывай потом, что малорослые от недостатка соли. И ноги не растут, и руки, и зубы... И голова тоже не растет.

Известно, в войну с солью да спичками, да с мылом всегда тяжело. Это бабы хорошо знают. Но и детдомовцы упражнялись в изготовлении фальшивого мыла: на деревянный брусочек наплавлили от обмылков, насобирав у бани, тонкий слой и загоняли.

Вместо спичек были "катуши" — кремень, да железка, да кусок трута. А вот соль изобрести не удавалось. Как-то проникли они на скотный двор, где лежал огромный соляной камень. Встав на четвереньки, как великую сладость, облизывали тот камень, никакой силой не могли их оторвать.

Старшеклассники, если посудить, не намного отличались от Кузьменышей, но отличались от них внешним видом. Прическами отличались: у них, как в той песенке, уже вился: "чубчик, чубчик, чубчик кучерявый..." Они повзрослому, втягивая в себя дым, курили. На девочек смотрели презрительно: бабы-дуры! И цыкали через редкие зубы слюной наземь. Зубы никак не хотели расти.

Особенно шепелявил Митек, его братья знали.

— Шегодня не вышпался, а как вштал, пошмотрел в штоловой, што дают, и вшпотел...

Над его шепелявостью, смеялись, говорили: "Это Митек, который вшпотел, когда шъел в штоловой швой ришовый шуп!"

Так вот, на следующее утро, очень раненько, когда от земли, от поля еще веет чистотой и легкостью и совсем мало пыли, прямо во двор въехала зелененькая новая машина "студебеккер", вся в заграничных надписях — и на борту, и на копоте, и на двери кабины, с продольными решетчатыми, откидными вдоль бортов, сиденьями.

Из кабины, громко хлопнув дверцей, выскочила молодая женщина в штанах, как у мужчины, в ватнике и заломленной лихо фуражке. Но все ребята сразу узнали, что это женщина, а через минуту уже знали, что ее зовут Вера.

Потом она приезжала каждое утро и отчего-то всегда смеялась, глядя, как колонисты наперегонки перевалива-

ются в кузов машины. Она была веселым человеком и покрикивала: "Давай, мужики! Напружинься, сейчас вкалывать поедем! А то без вас конвейер не ползет!"

О том, что такое конвейер и как он ползет, ребята узнали позже, но в эту шоферицу Веру, хоть и была она в мужчинской одежде и, что всего хуже, в штанах, влюбились все колонисты поголовно. Они говорили о Vere прокиновенно, каждый мечтавая втайне понравиться ей, а может, и жениться, когда вырастет. И каждый, конечно же, с этого времени хотел быть, как Вера, шофером. Девочки тоже.

В первое утро, как и предполагали братья, их попытались из машины турнуть. Тем более что и другой малышни набилось много. Она потом набивалась каждый день, и каждый день приходила воспитательница и вытаскивала "зайцев", мечтавших проехать на машине до завода. Обрато они были согласны топать пешком.

Но от "зайцев" отделявались, а от Кузьменьшей не смогли. В два горла они завопили, что они старшие, хоть и живут в младшей спальне, что они мало соли ели и что рост — это еще не все.

Пожалуй, по одному их, как и остальных "зайцев", все-таки выковыряли бы из машины, но двоих, когда они держались друг за друга и блажили на всю колонию...

Махнули рукой, велели отправляться.

Вера, одобрительно посмеиваясь, проверила, все ли уселись, лукаво взглянула в сторону Кузьменьшей, залезла в кабину, крутанула стартером, с места рванула вперед. И погнала.

Колонисты взвыли от такой пронизывающей и лихой езды. Восторженно заорали, засвистели, заголосили в тридцать луженых глоток, а Вера, заливаясь от смеха и оглядываясь, чтобы глазком одним в заднее стеклышко увидеть своих разбойников, как она их после назвала, поддала еще.

Машина летела, а не ехала по белой наезженной дороге среди покрытых белой пылью кустов, оставляя за собой длинный дынный хвост.

Так их и привезли в первый день, гикающую и воющую от наплыва чувств ребятню.

Из окошек конторы, из проходной завода выглядывали люди, говорили между собой: "Колонистов привезли".

Вера выскочила из машины, сдвинула на затылок кепочку и крикнула, засмеявшись: "Мужики! Вылазь! Сейчас поштучно вас сдавать под расписку буду!"



Но никто их не пересчитывал, не проверял. Вера уже на пустой машине въехала в большие железные ворота на территорию, а ребят провели через узкую дверь проходной.

Они очутились на огромном, отгороженном от мира высоким и каменным забором дворе, заставленном корзинами и ящиками с фруктами. Тут были помидоры, сливы, яблоки, груши и те самые странные кабачки, которых вместо огурцов нажрались наши Кузьменыши. Никто ничего не охранял. Пробегали озабоченные женщины в синих грязноватых халатах, оглядывались на ходу на горланящую ребятню и исчезали за стенами длинных зданий. Может, они и появлялись, чтобы посмотреть на колонистов, присланных им для помощи. Мужчин на заводе было не более десятка.

Ребята с оглядкой, чтобы никто не видел, начали таскать из корзинок фрукты — кто сливу, кто помидорину, старались засунуть сразу в рот и проглотить. Но прошла мимо женщина и бросила на ходу: "Да вы ешьте! Ешьте, не стесняйтесь! Это все из шланга промыто..."

Тут уж пошел такой шарап, что жарко стало. Все бросились к корзинам и стали хватать, засовывая и в рот, и в карманы штанов, и даже за пазуху. Набрали яблок, и груш, и слив, и помидоров, кто к чему близко стоял. Разбухли, отяжелели.

Набили каждый брюхо и под рубаху, нажрались так, что только из глаз да ушей не текло.

Но никто по-прежнему не торопил их, никто не упрекнул за шарап. Вот что обидно: как было много всего, так и осталось много. Всех корзинок, даже при желании, пережевать или, скажем, стырить со двора завода оказалось невозможно.

Хоть и знали колонисты, свято верили в то, что нет для них невозможного, если это касается жратья.

Не съели с ходу, животы малы, так переварить можно и опять поесть. И другим в колонию захватить. И, само собой, запас для других дней сделать... Засушить или еще как...

Так понимали Кузьменыши, когда набрали за пазуху слив. Потом эти сливы помялись, их, уже кашицей, пришлось потихоньку из-под рубахи выгребать и выбрасывать.

Если бы в Томилине шакалам да хоть одну сливину, не то что корзину! Даже эту размазнию из слив!

Работу же дали всем как раз по переборке слив. Каждый день приносили огромные стеклянные бутылки, литров по сто, в эти бутылки колонисты должны были складывать сливы, очищая их от мусора, сортируя по спелости. Бутылки заливали какой-то вонючей жидкостью, после которой плоды начинали противно белеть и становились несъедобными.

Как пояснили колонистам, в таком виде сливы могут храниться хоть до зимы, и, когда пройдет горячая пора урожая, их пустят в переработку и сварят джем и варенье.

В общем, хоть все объяснили, ребятам не понравилось, что на их глазах и их усилиями происходит порча продукта. А раз жрать после заливки этой отравой нельзя, значит — порча, и убедить их в обратном было невозможно.

Помидоры и яблоки колонисты перебирали более охотно. Тут ничем не заливали, не травили, а приходили огромные парни, евреи, и уносили тару в двери цеха.

Так их все звали: евреи. Были они все рослые, наверное, метра в два, голубоглазые, светловолосые и — веселые. Огромные корзины они хватили шутя, как игрушки, по корзине на плечо, и вовсе не ныли, не уставали, как заметили Кузьменыши.

Евреи — значит, сильный и добродушный народ. Так оба брата решили.

А вот тетка Зина, которая стояла в дверях цеха, куда уносили евреи продукцию, поначалу не понравилась. Была она немолода, сварлива, в грязном синем халате и в белой косыночке, завязанной на затылке узлом.

Тетка Зина зорко приглядывала за колонистами, гнала самых любопытных от дверей, кричала на весь двор:

— Уж эти шкелеты! Откуда такую шушеру привезли?! Это ведь стыд-позор, глаза бы мои не смотрели на их лебра!

Голос у нее пронзительный, слышно в любом конце заводского двора.

Но однажды, покричав так, она вдруг поманила к себе Сашку, он оказался ближе, спросил его:

— Ты, малой, откуда?

— Я? — спросил Сашка, не подходя близко, он не знал, что ожидать от тетки Зины. — Я из Томилина...

Тетка кивнула. Будто могла знать, где находится Томино.

Может, слово поняла как надо? Томино, где томятся.

— А родители твои где?

Сашка пожал плечами, отвернулся. Он на такие вопросы не отвечал.

— Один, что ли?

— Зачем — один? — огрызнулся он. — Нас двое!

— Как это двое? С кем — двое? — допрашивала настырная тетка.

— Ну... С братом.

— Ишь ты, — произнесла тетка, посмотрев в ту сторону, куда указал Сашка. Колька сидел у корзины и жрал помидор. — Вы что же, двойняшки?

Сашка подумал, кивнул. Он не знал, что такое двойняшки, но понял так: раз двое — называется двойняшки.

— Позови ево-то, — приказала тетка Зина.

Она сердито оглядела Кольку и покачала головой.

— Ладноть. Я вас потом размечу, — решила она будто про себя. И поманила рукой: — Сюды заходите...

Двери в это время в цехе были закрыты: перерыв.

Тетка Зина ввела их в запретное царство, где стояли огромные, высотой в одноэтажный дом, котлы, они шипели. У каждого котла была железная лесенка.

Тетка Зина посадила их на ящичек под лесенкой, достала банку, заполненную какой-то желтой кашицей, похожей на детский понос.

— Ешьте тут, вот ложки. По цеху не шлундаты! Ясно?

Братья кивнули, уставясь на банку.

Уходя, тетка Зина пояснила:

— Это икра... Баклажанной прозывается. Ее бы по нормальному с хлепцем, да хлепца-то нету. Без хлепца, значит...

Тетка ушла. Тут и набросились. Пошли загребать ложками! Так быстро замелькало: сами опомниться не успели — кончилась! Она и не жевалась, а всасывалась, нежная, теплая, пахнущая так, что сладко кружилась голова.

Кузьменьши вылизали пальцами банку, засовывая их по очереди, зеленоватое стекло заблестело от чистоты. И уж через минуту всего-то, которую отсутствовала тетка Зина, они сидели, уставясь в пустую банку голодными глазами. Им хотелось еще.

Тетка Зина посмотрела на них, на банку, крикнула от досады. Но больше от удивления:

— Чемпиены! По скорости!

Она протянула Сашке красную тесемочку:

— Ты у меня меченый будешь. А ты — нет, — это Кольке. Кольку она приняла как нечно вторичное, который лишь повторял по форме своего брата, но мог бы и вообще не быть.

Она взяла из рук Сашки тесемочку, повязала вокруг шеи:

— Вот так. А икры больше нетуть. Будет... Будет день — будет и пища... Ходите, работайте, — и указала на двор.

Вроде и не совсем понятно она выразилась, да Сашка допер и Кольке потом пояснил: она, мол, сказала, что на другой день даст икры еще.

Только на другой день тетка Зина будто и не замечала братьев. Напрасно Сашка мелькал перед глазами, даже поздоровался с ней. Тетка Зина кивнула сурово и ничего не произнесла. Наоборот, заорала тоненько на весь двор:

— Ишь! Мелкорослые! Шкелеты несчастные! Не тронь, не тронь корзину-то! Пущай евреи таскают!

И на второй, и на третий день тетка Зина не обращала на братьев внимания. И уж когда они перестали о ней думать, в перерыв сама нашла их за ящиком, где они сидели и жрали помидоры, которых уже терпеть не могли, и опять позвала в цех.

Под знакомой железной лесенкой, на ящике, она поставила банку и ушла. Но теперь в банке было что-то другое, не "блаженная" икра, как ее переименовал Сашка, забыв настоящее название. Банка была доверху наполнена ароматным сладким-пресладким повидлом.

И опять братья, хоть старались не торопиться, все срубали за какие-то секунды. Но тетка Зина, видать, была начеку и принесла вторую банку, а потом и третью.

На третьей банке Колька с Сашкой не выдержали, стали притормаживать.

Это, конечно, не значило, что они могли бы эту, третью, не доест. Или, скажем, отказаться от четвертой банки...

Просто они стали есть чуть медленнее, как иные любят выражаться: со вкусом. Может, четвертая оказалась бы с еще большим вкусом, но ее не дали.

Тетка Зина подсела к ним, перерыв не кончился, спросила:

— Как, чемпиены? Вкусно?

Братья согласно кивнули, посмотрели со значением друг на друга.

Дело в том, что накануне Сашка и Колька поменялись одеждой. Это было сделано для общей мороки, не для тетки Зины, а красной тесемочкой был помечен Колька, не Сашка.

Тетка Зина пристально посмотрела на них и вдруг ткнула Сашку пальцем:

— Чево снял метку? Думаешь, не признаю? Дык я тебе везде признаю! Ты другой!

Никто никогда не угадывал братьев, а сторожиха тетка Зина угадала. Это поразило обоих. Они сидели перед ней сытые, благодарные и немного пристыженные.

Но тетка Зина не стала их укорять. Она спросила:

— А там...В своем... Томительном... Чем вас кормили?

Братья замялись. Это был странный вопрос. Везде, по их разумению, кормят одним и тем же, если вообще кормят: баландой.

— Баландой! — сказал Сашка.

Тетка Зина в основном обращалась к нему.

— Баландой? — спросила тетка Зина. — Это похлебкой, что ли?

Братья опять смутились.

Как не знать, что такое баланда. Баланда, она и есть баланда! Мутная жижица, а в ней кусочек картошечки черной, мороженой может попасться или... Или сгусток нерастворившейся манки: жутко вкусно. А вот рис, суп из риса, на днях они первый раз в жизни попробовали.

— Мамалыгу-то вам дают? — спросила опять тетка Зина.

— Мамалыга? — спросил Сашка. — Не... Затируху дают.

— Затаруху? — переспросила тетка Зина. — Ну, как и мамалыга, только пожиже будет... — и вздохнула. — А нас ведь тоже привезли... Из Курской, значит, области.

Братья уставились на тетку Зину. Не сразу поняли, как это можно привезти взрослых, которые вроде сами по себе.

А тетка Зина продолжала:

— Приехал полномочный, велел вещи собирать... А у мене сестра больна да девка — невеста, но дурная, голова не в порядке, над ней фашист насильничал. Так мы увязали узлы — нищему собраться — лишь подпоясаться! — а сами режем, а чево режем... Пусто, даже травой заросло, да и мины там... Ни скотинки, даже кошек поели... В земляночках жили. Нас в товарняк — и повезли. А мы все режем, все режем. А полномочный и говорит: "Хватит, бабы, реветь, я вас в рай везу..." А мы-то решили, что в рай — это на расстрел, значит, потому что все изменников искали, хто спал с фашистом, тот у нас и изменник... А моя-то дочь спала, хоть и силком... Ну, и в голос! Аж вагон криком изошел...

Тетка Зина оглянулась. Люди начинали суетиться по часу, перерыв заканчивался. Она встала:

— А потом привезли в рай, сюда, стало быть, а тут ничего. Даже жить можно. Только эти... — она не сказала, но показала ладонью, будто шашкой махнула. — Мы так боимся. Так боимся... У нас уж было... Да вы малы, вам не надоть это...

Сашка спросил, оглянувшись вслед за теткой Зиной:

— Скажите, а, кто? Кто?

Тетка Зина посмотрела вокруг, быстро зашептала, за-талкивая братьев глубже под лестницу:

— Да чечня ж проклятая! Чеченцы прозываются. Неуж не слышали? Они тут при фашистах, вот как мы, изменяли! Мож, их девки баловали, мы ж не знаем! Так их сгребли, прям как нас, в товарняки — и узлов собрать не дали! Рассказывают... Нас-то на Кавказ, а их — в Сибирский край повезли... Рассказывают... А некоторые... — тут голос стал глуше, едва-едва разбирали Кузьменыши. — Некоторые-то не схотели... Дык они в горах запрятались! Ну и безобразят! Разбойничают, значит! Вот как!

Торопливо, с оглядкой все это выпалив, тетка Зина стала выталкивать братьев из-под лестницы, произнося:

— Ну, идите, идите! Много будете знать — скоро состаритесь! Идите!

Сашка упирался, не хотел уходить.

— Так это они подождли... Гранатой-то! — воскликнул он, пораженный своим открытием.

Тетка Зина испуганно оглянулась и вдруг закричала на весь цех:

— Ну, чево тут смотреть? Чево? Цеха не видали! Давайте, давайте работать! Некогда лясы точить!

С тем, больше не желая слушать, и выставила братьев во двор.

## 16

Вдруг затеяли самодеятельность. Для колхоза.

Уж очень стали натянутыми отношения с местным населением!

Деревенские подкараулили колониста на бахче и избili до полусмерти. В отместку колонисты поймали молодого мужика с бабой близ колонии — занимались в кукурузе любовью, — привязали спиной к спине голяком и в таком виде привели в деревню. А когда стали сбегаться люди, утекли в кусты...

И — началось.

Петр Анисимович вернулся из правления колхоза грустный, прижимая портфель к груди, повторял одну фразу: "Это ведь непонятно, что происходит..."

Он собрал воспитателей, пересказав все, что слышал на правлении, и в заключение предложил:

— Может, это... Может, встретиться с колхозниками, поговорить? Или спеть им что-нибудь? Вон как режут в спальнях!

— Можно спеть и сплясать, — отвечали. — Тут все артисты. Особенно фокусников много: из ничего делают нечто!

Но директор шутки не принял, а, прижимая, как ребенка, портфель к груди, попросил страдальческим тоном:

— Значит, это... Давайте хор... И стихи. Я так и скажу деревенским, что мы у них выступим, а они чтобы это... Ну, угощение... Словом, мир между нами.

О мире, о дружбе и прочем таком до колонистов не дошло. Дохлый номер, как они понимали. Крали и будут красть, а чего еще делать? А вот насчет угощения — это было понятно. Желających выступить сразу нашлось немало.

И Кузьменыши всунулись, сказали, что пели раньше в хоре и от имени Томилина споют какую-нибудь песню. Их записали.

И далее записывались по бывшим коллективам. Запись происходила в столовой.

Мытищинские предложили хор — их было много. "На богатырские дела нас воля Сталина вела". "Лети, победы песня..." — эти две для запева, а далее: "Дорожная". Для души.

Первую одобрили, да и о второй отозвались с похвалой, все знали "Дорожную" Дунаевского.

— Может, и Дунаевский, — отвечали вразнобой мытищинские, — мы вам лучше споем.

Мытищинские встали в стойку; выставив вперед правую ногу и пристукивая в такт, дружно промычали: "Тум-та, там-та, тум-та..."

Начало всем понравилось. Будто поезд стучит. Дальше шли слова:

Раз в поезде одном сидел военный,  
Обычно-вен-ный,  
Купец и франт,  
По чину своему он был поручик.  
Но дамских ручек

Был генерал.  
Сидел он с кра-ю,  
Все напева-я:  
Про первертуци, наци туци, верверсали,  
Ерцин с перцен, шлем с конверцем,  
Ламца-дрица, о-ца-ца!

— Что это? Это ведь непонятно, что происходит? — спросил Петр Анисимович, разглядывая странный хор. — Какой Герцен? Какой генерал?

Хор удрученно молчал.

— А может, дальше? — спросил кто-то из воспитателей.

— Дальше? — удивился Петр Анисимович. И отмахнулся портфелем.

Но хор понял его слова так, что им велют продолжать дальше. Мытищинские снова, как по команде, выставили правую ногу вперед и замычали слаженно: "Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та, тум-та!"

Кто-то из солистов с грустной томностью вывел под это сопровождение:

Вот поезд подошел к желанной цели,  
Смотрю я в ще-ли —  
Мадам уж нет!

Хор грянул изо всех сил, желая понравиться директору:

Про-пал пору-чик,  
Дамских ручек...

— Хватит! Хватит! — попросил Петр Анисимович. И даже привстал, прижимая к подбородку портфель. — Эту не надо. Только первую. Про богатырские дела...

— А другие? — спросили из хора.

— Какие другие? У вас есть другие?

— У нас много, — отвечали. — "Халява", "Мурка", "Чего ты, Валька, курва, задаешься..."

— Нет, нет! — сказал Петр Анисимович. — Это оставьте себе!

Хор разочарованно удалился, уступив место люберецким.

Люберецкие станцевали "Яблочко", припевая: "Эх, яблоко, вниз покатилося, а жизнь кавказская... накрылася!"

— Танцуйте без слов, — сказал, вздыхая, директор. — Без слов у вас лучше получается.

Можайские изобразили сценку под названием "Кочерга": в школе никто не знает, как написать заявление,



чтобы привезли десять штук... кочергов... Так один говорит... А другой поправляет: "кочергей"... Это — взяли.

Каширские — там одних девчонок собрали — спели песенку про "Огонек". "На позицию девушка провожала бойца..."

— На позицию девушка, а с позиции мать! — крикнул кто-то из колонистов.

Но никто на такой выпад не среагировал, песню одобрили.

Два колониста из Люблино предложили пародию.

— Пародию? — оживились воспитатели. — Ну, ну!

Сперва они запели с чувством про журавлей: "Здесь под небом чужим я как гость нежеланный..." При этом показывали в окно, на небо. Явно чужое. Про колонистов, словом, песня. А после куплета вдруг завели инвалидским пропитым голосом:

— Да-ра-гие ма-ма-ши! Па-па-ши! Подайте, кто сколько может... Кто рупь, кто два, кто реглан...

Милый папочка, пишет Алечка,  
Мама стала тебя забывать,  
С подполковником, дядей Колею,  
Каждый вечер уходит гулять...

Из комиссии попросили про инвалидов не петь. Лучше уж про журавлей. Люблинские согласились, но сказали, что они тогда добавят про фюрера на мотив "Все хорошо, прекрасная маркиза". Про фюрера разрешили без прослушивания.

Раменские напросились декламировать "Кавказ подо мною..." на стихи А. Пушкина и отрывок из поэмы Баркова. Про то, как один дворянин по имени Лука любил купчиху. Трагедия, словом.

Луку отвергли, остальное взяли.

Коломенские предложили колхозные частушки, специально для деревенских... Вроде бы как хор Пятницкого.

Наученный горьким опытом с "Яблочком", Петр Анисимович попросил спеть одну.

С подвыванием, как поют в народном хоре, на знакомую мелодию "На закате ходит парень возле дома моего" коломенские проникновенно завели:

Я работала-а в колхо-зе-е, ах!  
За-ра-бо-та-ла-а пятак! Ах!  
Пятаком прикрыла... сзади... Ах!  
А перед остался та-ак! Ах!

— Нет, — это для них... для переселенцев не очень... — сказал быстро Петр Анисимович. И облегченно вздохнул: — Все?

Но тут вышел перед комиссией Митек и прошепелявил:

— Я тоже хочу выступить на щене...

— Ты? — поразился Петр Анисимович. — Это ведь непонятно, што происходит... — ненарочно прошепелявил он сам.

— Почему непонятно, — не понял Митек. — Фокуши...

— Чего? Чего? — все оживились.

— Фокуши, — сказал Митек. И, уже не дожидаясь согласия, спросил Петра Анисимовича: — Вот ваши чаши...

Петр Анисимович вяло запротестовал.

— Нет, нет. Ты моих часов не трогай!

— Так они уже тут, — сказал Митек и достал из своего кармана директорские часы.

— Это ведь непонятно, что происходит!.. — ахнул директор. И отмахнулся: — Там, в клубе... Только у колхозников ничего это... не бери. А то это... Конфликт начнется... Подумают, что пришли опять... Чистить их карманы.

— А у кого же брать? — спросил невинно Митек.

— У кого хочешь, — повторил директор. — Но у них не бери!

— Ладно, — сказал Митек и многозначительно посмотрел на директорский портфель.

В это время еще несколько шакалов полезло к комиссии, и каждый кричал:

— Я тоже умею... Фокусы!

— Хотите, стакан буду грызть?

— Или лампу?

— Хотите... Слезы потекут! У всех!

— А я могу угадывать! По руке! Что будет!

Директор поднял портфель и, будто обороняясь, крикнул:

— В следующий раз! Стаканы грызть — в следу-ющи-й раз! Тем более что стаканов нет! А слезы у нас и без того... Текут! До сви-да-ния! До свидания, товарищи!

## 17

Прошла неделя. Колонистов всех, кроме девочек, перевели работать в цех. Рассовали кого куда. Несколько человек попали на мойку банок. Мойка — карусель из

штырей, на штыри надевают донышком вверх стеклянные банки. Карусель крутится, в одном конце ее кожух железный, там банки попадают под фонтаны кипятка, потом их обдают сильным паром. Когда карусель сделает круг, банки возвращаются такие раскаленные, что их снимают рукавицами. В горячие банки заливают кипящий джем.

Рукавицы в первый же день колонисты стырили. Сами у себя. Далее — хватали ошпаренные банки рукавами, благо у всех одежда была не по росту велика.

Мойка нравилась ребятам, потому что рядом варился джем.

Другую часть колонистов, с ними и Кузьменышей, направили на конвейер. Тот самый конвейер, о котором упоминала веселая шоферица Вера. Ребят привели, показали. Из огромного бака, где плавали в воде высыпанные из корзин помидоры, выползла широкая резиновая лента. Стоя по обе стороны, надо было ловко выхватывать всяческие веточки, листья, гниль, не пропуская ничего лишнего. За этим строго следили две женщины, поставленные в самый конец конвейера.

Шелестящая, мягко изгибающаяся лента уползала под самый потолок, где из специальных сеток на нее проливалась струя воды, вымывая остатки сора, всю грязь.

Лента скрывалась за железным массивным колпаком, из-под которого вырывался во все стороны с шипеньем горячий пар. С обратной стороны колпака из короткого хобота в широченный чан изрыгался вместе с паром резко пахнущий, красный, раскаленный поток томата.

Стоять у конвейера целый день надоедало.

Но он, правда, и не работал целый день: то ленту заест, то помидоры запоздают... То пар отключат или вообще энергию. А когда ленту не заедало, палки в нее вставляли!

И тогда ребята, в первую очередь Кузьменыши, торопились в дальний угол цеха, где рядом с мойкой банок в отгороженных стальными барьерчиками котлах варили сливовый джем.

На этот запах джема колонисты слетались, как пчелы на мед.

Кузьменыши — так раньше многих других!

Икра баклажанная — "блаженная" — слов нет, хороша, ее хоть ведрами ешь, да только приедается.

Яблочный соус кисловат, его быстро отвергли.

Фаршированный перец — тут фарша от пуза нажрешься — от случая к случаю готовят.

Но джем... Вот райское кушанье! Если в банку с головой влезешь, так всю и высосешь, аж на пузе медок проступает!

Ни одна варка не обходилась без пристального наблюдения колониста.

Рослые евреи поднимались по гулким железным лесенкам на самый верх и опрокидывали в котел тяжелые корзины со сливами, теми самыми, что теперь очищали во дворе одни девочки.

Потом с тех же лесенок, вздрагивающих, позванивающих от тяжелых мужских шагов, сыпали сахарный песок, с треском распарывая над котлом сероватые джутовые мешки и тут же сбрасывая их на пол.

Колонисты подхватывали эти мешки, выгребали из них сахарные крошки.

А иной раз кто-то из грузчиков, будто невзначай, наклонял мешок за край котла, и тогда манна небесная с неба просыпалась в подставленные ладони ребят — белая, сладчайшая струйка!

Песок совали в рот и сосали, наслаждаясь. И в карманы набивали, так что осы и пчелы вились потом роем за машиной.

Но самый торжественный миг наступал, когда начиналась разливка джема. Из узкой горловины густой, душистый, маслянисто-коричневый, он изливался в нагретые на пару стеклянные банки, и, если они невзначай лопались, колонисты подхватывали стекло, еще ошпаривающе горячее, с густыми подтеками тоже горячего джема, и быстро поедали его, рискуя порезаться или обжечься. Но вот же чудо: никто никогда не порезался! И не обжегся!

Банки, заполненные джемом, закрывались сверкающими, как золото, жестяными крышками. На подачу крышек (вот везуха) посадили Митька, того самого, который "вшпотел от шупа". Здесь он тоже работал "вшпотевши", на зависть другим колонистам, от своего такого особенного положения.

Весь процесс производства джема — от котла до склада — братья тщательно проследили и знали наизусть. Это было не пустым любопытством.

Братья сообразили, что джем, особенно в закупоренных банках, может стать хорошим подспорьем в голодную зиму. То есть о зиме они подумали позже, а пока возникло желание стащить несколько банок для заправки. Для себя и, конечно, Регины Петровны с ее мужичками.

На этот счет договорились и с простодушным Митьком. Как только в цехе оставались он да закрывальщик, а банки скапливались на длинном, обитом железом столе за спиной закрывальщика, Митек начинал громко насвистывать мелодию песенки: "Дорогой товарищ Сталин, приезжай ты в наш колхоз..."

Кузьменьши по очереди оставляли конвейер и торопились на призывную мелодию, как, небось, не поторопился бы в родной колхоз сам товарищ Сталин...

Главное во всем этом деле — успеть спрятать банки близ конвейера, пока никто не видел из взрослых.

Евреи в счет не шли. Они лишь усмехались, когда наталкивались взглядом на колониста, запихивающего очередную банку в карман.

А иной раз, как бы невзначай, прикрывали его своими мощными торсами.

Сашка разделил операцию по джему на три этапа.

Первый — вынести из варочной и надежно заначить. Второй — пронести мимо востроглазой тетки Зины и опять же надежно запрятать во дворе. Третий, и, может быть, основной — переправить джем за глухой забор. На волю.

Уже через несколько дней после начала операции было заханырено у Кузьменышей, припрятано то есть, заначено, семь запечатанных банок с джемом.

В цеху, близ конвейера, находилось столько всяких труб металлических и хитросплетений, с множеством закоулочков и отверстий, что при желании можно было схоронить не семь, а тысячу семь банок! Ни одна ищейка во время шмона не смогла бы их там отыскать.

На этот счет наши братья, как впрочем, и остальные колонисты, были непревзойденные спецы.

Чтобы протащить припрятанные банки мимо глазастой тетке Зины, которая вроде бы и не была злой, но уж очень напуганной и поэтому вдвойне старательной, Сашка предложил брату ходить в обнимку. На машину, с машины, в столовку, во двор...

— Жарко, небось, — сказал непонятливый Колька.

— Терпи!

— А зачем? — опять спросил Колька.

— А затем! — передразнил Сашка. — Как пойдешь, так и поймешь! Места-то сколько меж нами остается!

Колька сообразил. Поинтересовался:

— А эти... Которые влюбленные: тоже носят? Они ведь всегда обнимаются. Сам видел!

Сашка подумал, сказал:

— А фиг их знает.

Теперь они ходили, взяв друг друга за плечи. Женщины из цеха, глядячи на них, произносили: "Ишь какие дружные! Водой не разлить!"

Кто мог догадаться, что если бы их удалось разлить водой, под рубашками обнаружилось бы целых две банки — одна на другой. Отрепетировано было за колонией в кукурузе, а проверено в стенах колонии. Когда шли обнявшись, ни при каких условиях разглядеть банок было нельзя. Разве что прощупать, но кто бы стал щупать?!

Правда, именно тетка Зина в тот день, когда заложили они между собой первые банки, что-то заподозрила.

Раньше сколько мимо обнявшись ходили — и ничего. Не останавливала, не спрашивала ни разу. А тут — вот бабье чутье-то — тетка Зина как закричит пронзительно на весь цех:

— Эй, ты! — на Сашку, конечно. Его она узнавала и без красной тесемки на любом расстоянии. — Поди, говорю. Чево ты все мимо... мимо...

Подошли оба, не разжимая объятий. Банки охладили кожу, елозили гладким стеклом по ребрам во время вдоха и выдоха. Иногда похрупывали друг о дружку.

Тетка Зина посмотрела на братьев и сказала:

— Чево склещились-то? Аль на толчок тоже по двое ходите?

Колька молчал. Его тетка Зина и не спрашивала, она его вообще не признавала. Да и Сашка придумает быстрее, чего и как ей ответить.

И Сашка сразу же ответил, миролюбиво, что ходить так по двору удобней, потому что им посекретничать надо. От уха до уха ближе выходит.

Сашка, в общем-то, не врал. Секрет и правда был, только не в ушах дело.

— Ишь какие! — вздорно проговорила тетка Зина. — Шикреты! А вот узнаю я ваши шикреты, что тогда? — и придирчиво посмотрела им вслед. Но ничего не заметила.

А братья, не торопясь, вышли наружу да скорей за угол.

Тут, на заднем дворе, за спиной цеха, где никогда не появлялись работники завода, находилась свалка. Банки, ящики разные, тележки, бочки и прочая рухлядь. Здесь-то джем надежно прикрыт.

Оставалось переправить его на волю.

Для интересу, хоть мало верилось, испытали братья проходную. Но вохровская старуха с незаряженной винто-

вкой хоть и не была догадлива, как тетка Зина, но прикрикнула на них: мол, чево скопом лезете, ходите, как люди, чередой, как все ходють!

"Как все — можно, — подумалось братьям. — Да вот банки тогда не пронесешь!"

Был у Сашки еще один способ: перебрасывать джем через забор. Только забор-то каменный, глухой, метра два высоты.

Забежал однажды Колька после работы, выскочив вперед всех, а Сашка с заднего двора кинул ему несколько пустых банок.

Из пяти штук поймал Колька только одну. Поменялись они местами, но результат оказался не лучше. Сашка и вовсе ни одной не поймал. А больше предложить он ничего не смог. Словно бы торможение у него с головой вышло.

Колька, как бы невзначай, Сашке жмень сахарного песку подсунул. Слышал, что от песка мозги варят быстрее. Вот как джем в котле!

Но и песок не влиял на брата. Он поскучнел, потускнел, зачах, даже осунулся.

Бродил один по двору или подолгу разговаривал с теткой Зиной. А чего с ней говорить, ее на это дело не уговоришь, Колька был уверен. Банки лежат, а время идет... Вдруг их больше не повезут на завод: каждый день последним может стать!

Однажды Сашка сказал:

— Знаешь... Они здесь тоже были.

— Кто! — спросил Колька, но уже и сам догадался. — Черти?

Так Илья звал чеченцев.

— Ага. Черти. Проскакали на лошадях, с винтовками... Стрельнули — и скорей в горы. Тетка Зина видела. Говорит, чуть не померла от страха.

— Убили кого? — спросил Колька.

— Не знаю. А ты думаешь, Регина Павловна почему молчала?

— Почему?

— Она их видела. И заболела. Тетка Зина говорит, от страха так бывает.

— Регина Петровна ничего не боится, — сказал Колька.

— А мужички? А взрыв? Думаешь, не страшно?

Братья сидели на задней части двора, на ящиках, близ своей заначки. У самых ног в траве протекал через двор ручей. В него сбрасывали отходы из цеха. Ручей был грязновато-желтого цвета и вонял.

— Ну? Ты придумал? — спросил Колька.

— Чево?

— Сам знаешь чего! Так и будем на заначке сидеть?

Сашка почесался и сказал:

— Эх, чешка вошится... — что означало на детдомовском жаргоне "вошка чешется". И без всякой связи: — Давай уедем, а?

— Сейчас?

— Ну, завтра. Вот, тетка Зина говорит, она бы давно удрала, да у нее семья... Они тут мобилизованные, их к заводу прикрепили. А нас-то никто не прикрепляет!

— Как же Регина Петровна? — спросил Колька.

— А вдруг она не вернется?

— Она вернется, — твердо пообещал Колька. — У нее мужички здесь.

— А вдруг она умерла?

— Нет, — опять сказал Колька. — Мы ее только дождемся и на дорогу банок накопим. Нам все равно их вынести надо.

Сашка молчал, смотрел на дальние горы, размытые, едва видневшиеся в бледновато-голубой дымке. Светило нежаркое солнце. Было тихо. Лишь всплескивал ручей да жужжали осы.

— А может, никаких чертей нет? — спросил с надеждой Колька. — Ведь их с милицией ловят? Раньше бухали, бомбили. А теперь и бухать перестали.

Колька говорил не потому, что верил. Ему понравилось жить на Кавказе.

Еще бы! Сбылась мечта, извечная мечта голодного шакала о жратве. Где это он еще вволю сможет объедаться сахаром, да "блаженной" икрой, да вареньем? Тетка Зина сказала, что везли их в рай, так он и в самом деле тут рай, на заводе.

И нечего плакаться, что к заводу прикрепили. А Колькина мечта, чтобы вовсе от завода никуда колонистов не открепляли. Вырастет, попросит, пусть его навсегда прикрепят. Вот когда сладкая жизнь для нас начнется! Будет, как евреи, сахар носить! А уж кто носит, в убытке не остается.

Сашка посмотрел на Кольку и понял, о чем он думает.

— Ладно, — сказал он брату. — Подождем.

— А джем? Как с джемом быть? — не унимался Колька.

Сашка пристально посмотрел на горы, на забор, под которым протекал гнилой ручей.



— Будем сплавлять.  
— Чево? — не понял Колька.

Сашка засмеялся:

— Пустим их по воде, банки, понял?

— Как это?

— Как... Не знаю. Придумаем, — пообещал Сашка. Он подставлял лицо под солнце и, закрыв глаза, о чем-то думал.

Идея Сашки была мировая. Привязать варенье к деревяшке и пустить по течению. Ну а по другую сторону забора все это, конечно, ловить...

Попробовали разок — деревяшка утонула. Нашли доску. Но и доска не пошла, в осоке застряла из-за своей неповоротливости.

Сашка дело с досками оставил. Весь перерыв шлялся по двору, рыскал глазами по углам, искал. Чего искал, он и сам не знал. Наконец на свалке набрел на галошу. Большую такую галошу, непонятно, кто ее, этакую громадину, мог носить! Гулливер разве какой!

Принес Сашка галошу к ручью. Камень в нее сунул, с кулак примерно, пустил по течению.

Проскочила галоша все буруны, все заторы, под стенкой проплыла, а там, за стенкой, Колька ее поджидал.

Тогда Сашка банку песком нагрузил и сунул в галошу. Галоша опрокинулась, банка утонула.

Сашка еще раз банку с песком загрузил и на этот раз крепко веревкой связал банку и галошу.

Это все пронеслось, пролетело по воде и выплыло наружу. Только часть песка просыпалась. Да черт с ним, с песком-то, песок — пускай, решили братья. Джем не размочет, он напрочь закрыт. Лишь бы не тонул, а плыл, ведь со дна его не достанешь! Загонит, закатит течением в камыш — ищи-свищи!

В какой-то вечер, сразу после работы, вышел Колька вместе со всеми ребятами за ворота и пустился бегом к ручью. Колонистам за проходной все равно приходилось подолгу ждать свою машину.

Место, где вытекал ручей, было пустынное, находилось оно в стороне от проходной.

Оттого и бежать надо было изо всех сил, заводская кирпичная стена протянулась на полкилометра!

Свистнул Колька, как было условлено: "Я, мол, тут, на стreme... Валяй, запускай свою технику!"

Свистнул и стал ждать. Даже прилег на траву, чтоб видней было.

Время шло. Тянулись минуты, пустые, потому что пусто на воде было.

И вдруг, когда уже и не ждал, когда стал подниматься да отряхиваться, увидел: черная галоша, как подарок судьбы, вынырнула из-под стены и поплыла... Как ангельский тяжелый дредноут — в книжке картинку когда-то видел. Плыла, поворачиваясь по течению разными боками, а в ней — вот главное! — драгоценный пассажир в золотой шапочке!

Отвязал Колька баночку, от избытка чувства поцеловал ее в золотую макушку и в холодное донышко поцеловал. И у щеки подержал. И около уха: слушал, как переливается густой маслянистый джем.

Банка на свободе смотрелась иначе, чем там, на территории завода, где она вроде бы еще и не была своя.

И галошу Колька погладил, как живую.

Гладил и приговаривал:

— Хорошенькая-я, галошечка... Уменьенькая... Славненькая... Глашечка ты наша родненькая!

Так и стали ее называть братья между собой: Глаша.

Однажды Кузьменыши зашли к девочкам в спальню. Помялись, попросили: нельзя ли, мол, с мужичками Регины Павловны погулять.

Девочки разрешили. Только ненадолго, сказали. И далеко не шляться...

С оглядкой привели братья своих меньших братьев на берег желтой Сунжи, вытащили из заначки драгоценную банку джема, вскрыли ее. Посадили мужичков на траву, стали угощать. Ложка была одна, кормили по очереди. Одну ложку Жоресу, другую — Марату.

Мужички еле не торопясь, серьезно. Старательно вылизывали ложку, время от времени заглядывали в банку, много ли там осталось. И хоть видно было, что им ужасно понравилось — еще бы, райская пища! — но сами ничего не просили, а ждали, когда им еще дадут.

Потом сразу как-то наелись.

Вздохнули, заглянув напоследок в банку, спросили:

— А еще будет?

— Будет, — пообещал Колька. — Глаша привезет, и будет.

— Глаша — это кто? — спросил Жорес.

Сашка посмотрел на Кольку и сказал:

— Глаша это... Это Глаша. Она хорошая.

— Может, это ваша мама? — спросил Марат.

— Нет, — сказал Колька. И вздохнул.

— А мы соскучились, — пожаловался Марат. — Без мамы плохо.

— Конечно, плохо, — подтвердил Колька.

— А ваша мама приедет?

— Не знаю, — сказал Колька и стал закрывать банку. Закрывал и слизывал с краев капельки джема. На мужичков не смотрел.

— Все мамы приедут, — сказали мужички.

Кузьменьши заторопились, спустили детишек к воде, обмыли им губы, щеки, руки, все это было сладкое. По дороге в колонию предупредили: про джем, который привозит Глаша, — молчок... А то Глаша обидится.

Братья пообещали.

Чистеньких, зарумянившихся, очень довольных вернули мужичков девочкам.

Колька опять спросил:

— Когда же вернется Регина Петровна?

— Вернется, — сказали девочки. Ясно было, что-то они недоговаривают.

А между тем Глаша возила джем исправно, и однажды Колька сунул руку в лаз, на ощупь посчитал. Выходило, что у них в заначке скопилось целых одиннадцать банок.

— Одиннадцать! — сказал он шепотом брату, который как всегда, когда лазали они в нору, стоял на стреме.

Видели бы томилинские! Да они бы рехнулись, если бы им показать такое богатство!

За крошечку сахарина продавались в рабство, с листьев, рискуя головой, слизывали, забравшись на липу, по весне сладкий сок... Ели мороженую картошку — не только из-за голода, из-за сладости. О конфетах лишь легенды рассказывали, никто их в глаза не видел. Да и варенья никто не видывал тоже.

— Одиннадцать! — повторил Колька для весомости. — И еще два пустых мешка от сахара!

Мешки они прихватили, чтобы сподручней с вещами было, когда побегут.

Шакалы на то и шакалы, чтобы все видеть. У братьев четыре глаза, у шакалов сто четыре. И каждый за угол умеет смотреть, не только напрямую. И усмотрели.

Как ни береглись братья, как ни пытались втихую сплавлять свою Глашу, их все-таки засекали.

Однажды Колька торчал у ручья, поджидал Глашу. Увидел, кто-то из колонистов бежит в его сторону.

Колька на всякий случай штаны приспустил. Пусть думают, что он тут по нужде торчит.

— Тебя там ищут! — крикнул колонист.

— Кто меня ищет? — спросил Колька и покосился на ручей: не дай Бог, Глаша поплывет, тут все откроется!

Не подозревал, что все давно открыто и заговор против них созрел.

— Брат тебя ищет! Кузьменыш! Он там, на заднем дворе! Сашка, что ли?

— Это я Сашка, — сказал Колька.

Подтянул он штаны, бросил последний взгляд на ручей, на колониста и пустился бежать вокруг стены. К проходной уже подлетел, а тут Сашка.

— Ты... звал? — запыхался Колька, дышит тяжело.

— Я? Звал? — удивился Сашка. — Я не звал. А Глаша где?

— Какая... Глаша? Ты разве послал?

— А ты не принял?

Уставились друг на друга. Без слов стало ясно: подловили.

Брели на посадку, Колька вяло спросил:

— Может, отдадут?

— Шакалы-то? — Сашка усмехнулся, носом засопел. — Не банку жалко... Они дело порушили... Понял?

И с тем молчок. Даже в машине не глазел по сторонам, не рассматривал шакальи рожи, не пытался угадать, кто сыграл с ними шутку.

Если рассудить здраво, то и обижаться Кузьменьям надо лишь на себя. Подловить других и не дать подсмотреть за собой — это и есть главная забота любого колониста.

Если он хочет выжить.

А выжить все хотят.

И шакалы хотят... Вот стаей и обступили, и рвут уже...

Галошу, Глашу, они, конечно, вернули. А джем не вернули. Поделили еще там, до прихода машины, и все начи-

сто вылизали. Будто не с завода вышли, где можно было и без того нажраться. Ан нет. Та же банка, да на свободе, вдвое слаще показалась!

Теперь колонисты тащили банки из цеха куда больше, чем раньше. В штанинах тащили и за пазухой, для чего, наподобие наших братьев, объединились в пары, стали в обнимку ходить.

Работницы на заводе надивиться не могли: как это наши сиротки возлюбили друг друга! Господи, по двое, в обнимку, такие миленькие, славненькие... Прямо ангелочки!

Ангелочки же тащили и тащили. У них под одеждой не крылышки прорезались, а крышки от консервных банок!

Под конец придумали в корзинку загружать. Эти корзины время от времени, чтобы освободить цех, вытаскивали наружу. И мешки из-под сахара, и битую тару...

Сашка увидел, ахнул: что значит коллективный ум! Он-то сам до корзины не допер, а шакалы доперли. Они все сволокавали теперь на задний двор, целые склады там образовались.

Галоша работала в несколько смен. Шакалы стали звать ее Волшебной калошей, кто-то сказку такую читал.

Но никакая сказочная калоша не могла сравниться с этой, реальной, Волшебной калошей: эта давала не какое-то фантазмагорическое счастье, а вполне реальное, переведенное в знное количество сладких джемовых банок с золотыми крышечками!

Сперва братья переживали за свою Глашу, особенно волновался Колька: не утопили бы, не потеряли, не порвали...

Но однажды Сашка сказал:

— Берите насовсем! Пользуйтесь!

Колька услышал — едва не бросился отнимать. Даже слезы покатались. Так вот, задарма, ничего не потребовав взамен, отдать их золотую, родненькую, славную Глашу?! Лучше, наверное, банки из Заначки отдать! Они столько не стоят, сколько их замечательная Глаша!

Колька так рассвирипел, что крикнул:

— Сбрэндил, да? — и повертел пальцем у виска. Показывая, насколько у Сашки перевернулись мозги и насколько он сбрэндил.

А Сашка спросил невинно:

— Заметно?

Колька присмотрелся, вытер дурацкие слезы. Нет, не было заметно, что Сашка сбрэндил. Он и улыбался, как

бывший Сашка, и глаза у него были все те же. Только вот с башкой что-то случилось — стала она варить наперекосяк, может, он джему переел? Колька не случайно в него пихал в последнее время... Может, у него мозги от сладостей слиплись?

— Но ведь Глаша-то наша! Наша! — закричал ему Колька с отчаянием. — Как мы без нее жить-то будем?

— Потихе... — сказал Сашка, и оба брата оглянулись.

Но никто не слышал их спора. Нашлись они на заднем дворе, где были полными хозяевами.

Журчал вонючий ручей, бурьян мирно прорастал сквозь старые ящики, лежащие тут с невероятно давних времен, может, даже с довойны.

Сашка надул щеки и громко выдохнул:

— Будем жить, как жили. Без Глаши. Хватит.

— Хватит?! — поразился Колька. — Да мы... Мы только начали!

— И закончили, — спокойно сказал Сашка. — Теперь надо замереть.

И так уверенно он сказал, что Колька проглотил очередную фразу, которую готовился ему выдать со зла.

Колька всегда верил в изворотливый ум своего брата. Всегда. Первый раз, пожалуй, усомнился. А Сашка посмотрел на Кольку и все прочел, что тот не сказал.

— Пойми, они же забурились! — это про шакалов. — Ты видишь, как они шуруют? Они рвут на ходу подметки, про будущее и не думают! Вот сука буду, если они не пойдут вместе с нашей Глашей ко дну... — и добавил: — Себе-не...

СБНВ расшифровывалось так: сука буду на все века! И большим пальцем, ногтем, под зуб и под горло. То есть зуб на отрыв даю и горло подставляю... Такая была клятвы для посторонних же, для взрослых скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком Ворошилов... "Ворошиловым" клясться не запрещали. А "сукой" запрещали.

Сашка "сукой" не часто клялся. Тут уж можно было ему поверить.

Но Колька спросил:

— Может... Им сказать?

— Что ты им скажешь?

— Ну что... Что это — хватит. Что зашухарятся ведь, большой бенц будет, и все мы...

— Все они, — поправил Сашка.

— ...И все они... это... завалятся.

— Ну, скажи, — спокойно произнес Сашака. — Они тебе сейчас же поверят... Только почему ты сам не поверил, а? Ты же сейчас рассуждал не лучше самого оголтелого хитника из этих... из шакалов!

Колька вздохнул. Трудно было и правда отказаться от богатства, дармового, которое текло прямо в руки... По ручью, разумеется, текло.

Да кто же из колонистов откажется — в преддверии той голодной зимы, которая, они по опыту знали, у них у всех впереди? Завод-то на месяц, на два: для откорма! А потом? Зубы на полку?

Но Сашка твердо стоял на своем. Шакалы оголтели, и нет у них главного, что отличает приличного вора от шакала... Нет меры, нет совести. В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться, когда изымаешь свою долю из чужого добра. Если от многого берут немножко — это не кража, а просто дележка! Так сказал великий писатель, какой именно, Сашка забыл. Неважно: писательский опыт он усвоил.

Шакалы же несли, не стесняясь! Уже в машине у кого-то выскочила банка из-под одежды. Из-под забора тащили чуть ли не у всех на глазах. Однажды прямо в ящике, который перекинул через забор замечательный грузчик-еврей.

Шоферица Вера улыбалась да пошучивала, заламывая козырек фуражки:

— Ну, пиратики! Ну, разбойнички! Как поработали? Ох, чувствую, моя машинка тяжело пойдет!

Вера видела все. Но никогда никому не доложила. Не продала, словом.

Недели, наверное, две прошло с тех пор, как Сашка себя и Кольку отставил от банок.

Ходили смиреннькие, тихонькие, сами не тырили, но другим не мешали. Все произошло однажды, когда двое колонистов стали протаскивать корзину с мешками, якобы во двор.

Глазастая тетка Зина остановила их:

— Чево все с мешками носите! Оставьте, я сама потом... Работать надо!

— Мы — помогаем! — с трудом провернули языком колонисты. Корзина была тяжела, очень тяжела: перегрузили от жадности, банок пятнадцать засунули, что ли! А теперь стояли, покраснев от натуги, и не знали, что дальше делать...

— Без помощи! — сказала тетя Зина. — Сама вынесу!

Колонисты тупо молчали, выдохлись уже. Да и корзина тянула вниз, аж потрескивала от напряжения. Потом дно с грохотом отскочило — и, позванивая, полетели по бетонному полу банки, зайчики от золотых крышек брызнули во все стороны.

Банок было много. Они катились по неровному полу, а одна, словно по заказу, попала прямо под ноги главному технологу, который проходил мимо. Старик-технолог нагнулся, поднял банку, поправил очки в металлической оправе и посмотрел на этикетку.

— "Джем сливовый. ГОСТ 36-72 РРУ РСФСР", — прочитал он и оглянулся: весь цех, прекратив работу, смотрел на него. А самая последняя из баночек еще продолжала катиться по цеху, будто удирала, как удирал бы колонист после такого шухера. — Это же воровство? — спросил технолог и посмотрел вслед той катившейся баночке. — Это же настоящее воровство?

Вот тут двое шакалов, бросив корзину, и дунули. Через железные цеховые двери, да по двору, да через проходную... Их никто не пытался ловить. Да и чего двух-то ловить; попались двое, а остальные не попались, только и всего.

Колонистов от работы на заводе отставили.

## 19

Вечером воскресного дня колонной, хоть это была далеко не та колонна, которая недавно еще сходила с поездов, поражая своей огромностью, пришли ребята в Березовский клуб для встречи с местными жителями.

Концерт самодеятельности совпал со скандалом на заводе.

Но верней сказать, что его поторопились организовать после кражи банок, чтобы как-то растопить неприязнь между колхозниками и колонистами. За два месяца пребывания в этих местах колонисты успели насолить всем.

Клубик находился в самом центре станицы, одноэтажный, кирпичный, с колоннами на фасаде. На колоннах еще видны были следы осколков, наспех заштукатуренные и забеленные.

Зал был просторный, с откидными деревянными стульями, сбитыми по рядам. Занавеса на сцене не было. Справа и слева вели ступеньки. В простенках, по обе стороны сцены, проглядывали какие-то нерусские надпи-



си, их замазали масляной краской и частично прикрыли портретами вождей. Так что выходило: вожди как бы своими спинами стыдливо прикрывали свои собственные призывы, только на другом, нежелательном теперь языке.

Слева на авансцене, почти у края, стояла фанерная трибуна, крашенная в грязновато-бордовый цвет.

Народу, как ни странно, пришло немало. Большинство переселенцев были под хмельком, оживлены, громко разговаривали, перекрикивались с ряда на ряд. В зале было шумно.

Колонисты просочились на свободные места. Но многие, по известной привычке бездомных в чужом месте не разъединяться (а вдруг бить будут!), протиснулись вперед и уселись прямо на пол между первым рядом и сценой. Те же, кто не поместился, выстроились у стенки, прижавшись к ней спиной (тоже самозащита!), заняли боковые проходы.

На сцену поднялся директор Петр Анисимович со своим привычным портфелем, и некоторые, заметив его, зааплодировали. Он направился к трибуне. Как и полагалось, он уже имел кличку: звали его за глаза "Портфельчик". Колонисты говорили: "Портфельчик шмон в спальне устроил!" Теперь кто-то из них вслух прокомментировал:

— Портфельчик будет докладывать. О наших достижениях.

Передние, из шакалов, кто слышал, засмеялись. Достижения их были известны.

Директор сделал паузу и, когда шум и смех утихли, начал говорить. Говорил он без бумажки. Он поздравил новоселов-колхозников с первым нелегким годом пребывания на освобожденной от врага земле. И пожелал успехов в уборке урожая и начале новой жизни. Тем более что немецко-фашистские захватчики разбиты, бегут, и скоро, очень скоро должен наступить час окончательной расплаты. Как и предсказывал вождь мирового пролетариата, "наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами".

Все зааплодировали. Не Портфельчику, а вождю, конечно.

— Наши колонисты, — продолжал директор, — тоже прибыли сюда, чтобы осваивать эти плодородные земли и после голодной, бесприютной жизни начать новую, трудовую, созидательную жизнь, как и живут все советские трудящиеся люди... Ребята скоро начнут учиться, но они же будут помогать сельским труженикам убирать урожай...

— Да уж помогают! — выкрикнули из зала. Раздался незлобный смех.

— ...А те, кто выйдет из колонии по возрасту в пятнадцать лет, поступят в колхоз или на консервный завод, — продолжал директор, постаравшись не услышать реплику. — Так что жить нам с вами по соседству придется долго. Я так думаю: сегодняшняя встреча поможет нам лучше понять друг друга и подружиться... Вот для начала колхоз выделил нам подсобное хозяйство, правда, далековато... Но ничего. У наших братцев ноги молодые, добегут... Так вот... Есть теперь база для пропитания, там посева, телята и козы... И прочее... Спасибо!

В зале жиденько зааплодировали. Слова о долгой соседской жизни с колонистами энтузиазма не вызвали. Тем более и кусок поля со скотиной пришлось отрезать! Но все оживились, когда директор, уже сойдя с трибуны, добавил, что колонисты народ, безусловно, способный, артистический, и они приготовили для колхозников свой первый самостоятельный концерт.

На сцену вышли мытищинские, человек двадцать. Воспитательница Евгения Васильевна объявила песню о Сталине. Директор одобрительно кивнул. Хор грянул:

Лети победы песня до самого Кремля,  
Красуйся, край родимый, колхозные поля,  
В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой,  
Нам Сталин улыбнется, победе трудовой...

Ребята из хора, те, что были впереди, вдруг пошли пританцовывать, изображая колхозников, кружиться, и всем стало весело. Зал великодушно зааплодировал, а хор стал неловко кланяться. Но так как аплодисменты не кончались, а петь по списку было нечего, мытищинские стояли и ждали. Потом они, как по команде, выкинули правую ногу вперед и запели: "Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та..."

Раз в поезде одном сидел военный,  
Обы-кно-вен-н-н-ный... Купец и франт...

Директор поднялся и стал пробираться к выходу.

Ребята, конечно, поняли так, что Портфельчик не захотел слушать не одобренную им песню. Но причина была не в этом. Или — не только в этом.

Надо было срочно, об этом никто не знал, с шоферицей Верой доехать до колонии и принять участие в обыске, — по некоторым предположениям, именно на территории

колонии были запрятаны банки с джемом, уворованные с завода.

Концерт был удобным поводом убрать колонистов, всех до одного, из здания техникума, чтобы провести такой обыск. Провести и успеть вернуться. По завершении концерта предполагалось, что колхозники в знак той же дружбы пригласят колонистов к себе на ужин.

Кузьмёныши, как и остальные ребята, ни о чем на этот раз не догадались. Даже прозорливый Сашка был беспечен, его волновало лишь, когда им дадут выйти на сцену.

Оба вертелись в узенькой, похожей на коридор, комнате за сценой, а воспитательница Евгения Васильевна со списком выкликала очередных выступающих:

— Каширские... Быстрее! Быстрее! Люберецкие, готовы? Люблинские...

— А мы? Когда будем петь? — подступили к воспитательнице Кузьмёныши.

— Как фамилия?

— Кузьмины!

— Оба?

— Что — оба?

— А по отдельности вас как?

— Мы по отдельности не бываем.

— Ага... — сказала воспитательница Евгения Васильевна. — Значит, семейный дуэт? Ждите.

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Хоть и семейными ни за что ни про что обозвали! А вообще с Евгенией Васильевной — Евгешей — они встречались, да, видать, та забыла. Случилось как-то, к Регине Петровне пришли, а там чай пьют втроем, Евгеша эта и еще директор. Повернулись, смотрят, а Кузьмёныши, как напоказ выставленные, торчат посреди комнаты, а сразу уйти неудобно.

Регина Петровна рассмеялась и, указывая на них, говорит, вот, говорит, мои дружки, отличить, кто есть кто, нельзя, и зовут их Кузьмёныши. А по отдельности запоминать не надо, все равно заморочат. "Ведь заморочите?" — спросила она братьев. Те кивнули. Все охотно засмеялись, а Регина Петровна тоже засмеялась, но не как остальные, которые развлекались, а по-родственному, как своя.

Но Кузьмёныши не стали о себе напоминать.

Лишь бы про номер не забыли.

В это время несколько человек, в том числе технолог с завода, директор и солдат с миноискателем, обшаривали техникумовский двор. Попадались железки, детали от каких-то старых машин, но того, что искали, не было.

Кто-то предложил вернуться в спальню старших мальчиков, где уже и так все было перевернуто вверх дном.

Несколько раз прошли из угла в угол — безрезультатно. Собрались уходить, но тут в наушниках у солдата запищало, указывая на малое присутствие металла.

Солдат провел своей "кастрюлей" на длинной ручке по комнате, потом снял наушники и показал на дальний угол.

Принесли лом, стали открывать толстую половую доску. Она не поддавалась.

Директор с сомнением смотрел на всю эту процедуру, бросил взгляд на часы. Спросил солдата:

— Это не ошибка? — и уже к другим: — Это ведь непонятно, что происходит! Ну как они, скажите, могли что-то сюда спрятать! У них ни инструмента... Ничего...

— Ладно, — согласился технолог и поправил металлические очки. — Это последнее. Не найдем — закончим. Значит, твои молодцы ловчей нас!

— Или честней! — сказал директор. — И ничего они не украли!

— Кроме тех, шестнадцати...

— Кроме тех... — вздохнув, повторил директор.

Подросток из Раменского в это время с выражением читал стихи:

Кавказ подо мною. Один в вышине  
Стою над снегами у края стремнины;  
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,  
Парит неподвижно со мной наравне...

Сашка сказал Кольке:

— Про товарища Сталина стихи!

— Как это? — не понял Колька. До него всегда медленно доходило.

Сашка рассердился, стал объяснять:

— Ну, он же на горе стоит... Один, как памятник, понимаешь? Он же великий, значит, на горе и один... И орел, видишь, не выше его, боится выше-то, а наравне! А он, значит, стоит и на Советский Союз смотрит, чтобы всех-всех видно было! Понял?

Подросток продолжал читать:

...Там ниже мох тощий, кустарник сухой;  
А там уже рощи, зеленые сени,  
Где птицы щебечут, где скачут олени.  
А там уже люди гнездятся в горах...

В этом месте в зале почему-то наступила особенная, глухая тишина. Впрочем, увлеченный чтец этого не замечал, он выкрикивал бойко знакомые стихи:

...И ползают овцы по значным стремнинам,  
И пастырь нисходит к веселым долинам,  
Где мчится Арагва в тенистых берегах,  
И нищий наездник таится в ущелье...

Раздался странный шелест по рядам. В зале вдруг от ряда к ряду стали передаваться слова, но смысл их трудно было уловить. Понятно было одно: "Стихи-то про чечню! Про них! Про гадов!"

Так возбудились, что забыли и поаплодировать. Колонисты аплодировали сами себе.

...Доску наконец-то вскрыли, взвизгнули напоследок огромные гвозди, и глазам комиссии открылась яма, подземелье, в глубине которого мерцали золотыми бликами крышечки банок. Сколько их там было — сотни или тысячи? — сразу невозможно было понять.

Банки были уложены кучками на землю, и на крышечках каждой из них стояла метка хозяина: буква и цифра. Это чтобы потом не поперепутать!

Технолог, кряхтя, прыгнул в яму, поправил свои железные очки, осмотрелся — все не верил, что такое может быть. Задрал голову к директору, попросил подать ему бумагу и карандаш.

— Акт будем составлять! Тут у них товару поболее, чем на заводском нашем складе, — сказал. — Оприходуем? Товарищ Мешков?

Петр Анисимович, сразу побледневший, с готовностью полез в портфель и достал бумагу. Потухшим голосом произнес:

— Это ведь непонятно, что происходит...

Когда Кузьменыши вышли на сцену, в зале стояла натянутая тишина. Братья посмотрели на передний ряд, где сидели колонисты, потом, уставясь в пространство, завели:

На дубу зеленом, да над тем простором  
Два сокола ясных вели разговоры.

А соколов этих люди все узнали..  
Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин.

Грустная, конечно, песня, как соколы прощались, один из них умирал, а второй ему и говорит... Говорит, что мы клянемся, что с дороги не свернем.

И сдержал он клятву, клятву боевую,  
Сделал он счастливой  
Всю-ю стра-ну род-ну-ую..

Закончили на высокой ноте, очень даже трогательно, а для большего веселья грянули "Гоп со Смыком". Она тоже хорошо ложилась на два голоса.

Изобразили в сценах и под рокот одобрения убежали.

Уходя, братья видели, как через сидящих на полу колонистов пробирается к своему месту директор Петр Анисимович, прижимая к груди портфель. Лицо у него, нельзя не заметить, было не просто грустным, а каким-то угнетенным, серого цвета.

Тяжело вздохнув, он уселся на свой стул и приготовился слушать, не зная, что концерт подходит к концу.

— Фокусы и манипуляции! — объявила со сцены Евгения Васильевна и, помахав рукой с зажатым списком, вызвала на середину Митька.

Митек голову обвязал найденным в подсобке башлыком наподобие какого-то восточного факира, но колонисты его узнали и сразу захихикали:

— Это Митек! Митек! Он от шупа вшпотел!

Митек сделал вид, что ничего не слышит, и вообще изображал из себя какого-то мага. Он поднял руки вверх, поводит ими в воздухе — на ладони оказалось яблоко. Митек откусил яблоко, а колонисты с первого ряда прокомментировали:

— Ни фиги себе! А банку с джемом достать можешь?

Директор при этих словах вздрогнул, испуганно оглянулся.

Митек со вкусом доел яблоко, снова пошарил в воздухе, шевеля пальцами, и у него обнаружилась в руке золотая крышечка, из тех, которыми закрывают банки в цехе. Потом крышечек оказалось много, и они посыпались на сцену, а две упали в зал.

— На заводе наворовал... Крышек-то! — громко сказал кто-то, на него зашикали.

— Не мешай смотреть!

— Главный номер! — предупредил Митек и посмотрел в зал. — У одного иж ваш, кто шидит в жале, я вожду череш вождух предмет...

В зале оживились, стали проверять карманы.

Директор поежился и с опаской поглядел на Митька. Может, он сейчас жалел, что разрешил ему выступать.

Митек беспечно осмотрел зал, нашел директора и сосредоточился на его портфеле, даже руку к нему протянул.

Петр Анисимович прижал свой портфель к себе.

Митек мудро усмехнулся. В руке у него появилась бумажка.

— Вот! — крикнул он и помахал бумажкой в воздухе. — Это из портфеля.

— Докажи! — закричал зал, а директор покосился на свой портфель. Он был крепко заперт на оба замка.

— Можно? Доказать? — спросил Митек директора.

— Можно, можно, — устало отмахнулся тот, не выпуская из рук портфеля.

— Читаю, — сказал Митек и уткнулся в бумажку, — "Шегодня, пятого октября, был проишведен обышк на территории колонии, в чашношти в шпальне штарших мальчиков... В шпальне были вшкрыты полы, и обнаружен тайник, а в нем..."

— Пойдите! — вскрикнул Петр Анисимович и даже привстал от волнения. — Да это же мой документ!

— Читай! Читай, фокусник! — закричал зал.

— "...тайник, — повторил Митек четко. — А в нем пятьшот банок коншервированного шливого джема жаводшкого ишготовления..."

— Верните мою бумагу, — попросил директор. — Я сейчас объясню...

Но уже колонисты пробирались к выходу, наверное, надеялись спасти хоть часть своих сокровищ. Да и какой тут, к черту, вечер дружбы, если шмонают за твоей спиной!

Стали подниматься и колхозники, посмеиваясь между собой. Вот это фокусники так фокусники: по соседству пятьсот банок в честь дружбы унесли — и спасибо не сказали.

Среди шума и хлопанья стульев не сразу различился голос с задних рядов: "Ти-ше! Ти-ше, говорят!"

Люди недоуменно замолкали, оглядываясь в сторону голоса: чего это как резаный вопит, может, и его уже обчистили?

В наступающей тишине явственно, совсем рядом дробью прозвучали копыта, раздалось ржанье лошади и гор-

танные выкрики. Потом грохнуло, как с потолка, дрогнули стены, посыпалась штукатурка. Впечатление и правда было такое, что обрушивается свод. Люди машинально пригнулись, а некоторые бросились на пол.

Наступила глухая тишина. Все прислушивались, ждали, глядя вверх. Но ничего не происходило. И тогда люди зашевелились, приходя в себя и растерянно озираясь. И вдруг бросились к дверям, без давки, без крика, вообще без слов проскочили и исчезли, бросив колонистов в полутемном клубе.

— Дружки-то новые слиняли?! — произнеслось в тишине нахально.

И тут обрел голос Петр Анисимович.

— Всем колонистам оставаться в клубе! — выкрикнул он, оглядываясь на дверь. — Будем выходить организованно, когда... Когда... Когда...

— У Портфельчика пластинку от страха заело! — прошептал Сашка.

Колька кивнул. Но он тоже смотрел на дверь.

С улицы влетел — все вздрогнули — крик.

— Они машину взорвали! Там Вера наша! Там дом горит!

— А люди? — спросил хрипло директор. Непонятно было, каких людей он имел в виду. Тех, что были тут и разбежались, или... тех... — Ну, кто-нибудь там есть? — голос у директора взвизгнул и сорвался.

Колонист повторил про машину и про Веру... И про дом, который горит.

Директор осторожно подошел к дверям и выглянул наружу. Еще раз выглянул, прислушиваясь к звукам, что доносились с улицы. Не очень решительно произнес, хриловато откашливаясь:

— Будем это... Значит... Наружу... Это ведь непонятно, что происходит...

Колонисты потянулись к выходу, но никто не рвался вперед.

Пустынна была улица, темна, ни одного окошка не светилось в домах. Может, их успели покинуть?

На площади за клубом костром пылал "студебеккер", тот самый, что возил колонистов на завод. Ребята, замерев, глядели на огонь. Наверное, подумалось сейчас о Вере.

Директор, не останавливаясь и будто не замечая горячей машины, двинулся вперед, а все кинулись за ним вслед. Где-то на окраине, за деревьями, колебалось розо-



вое пламя. Когда приблизились, стало видно, что горит дом.

Колька, вздрогнув, сказал:

— Это же дом Ильи!

А Сашка спросил:

— Думаешь, он там?

— Откуда мне знать.

— Небось, сбежал... Или... Нет?

Братья переглянулись. В глазах у Сашки, который был лицом к пожару, плясали красные огни.

Директор оглянулся, почти истерически закричал:

— Никому... Никуда... Не подходить! Только со мной! Ясно?

И оттого, что он так громко и так не по-мужски закричал, ребята будто сжались и притихли совсем.

Картина была такая. Директор шел впереди, выставив перед собой портфель, как щит.

Походка его была не то чтобы нерешительная, а какая-то неровная, дерганая, будто он разучился ходить. Он, наверное, спиной чувствовал, как его подпирают дети. А им тоже казалось, что вот так, за ним, ближе к нему, они лучше прикрыты и защищены.

Слава Богу, что никто из них не мог в это время видеть его лица.

Да еще эта глухая темнота, особенно беспросветная после яркого пожара!

Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло бы показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня. Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать.

Задние поминутно оглядывались и норовили протиснуться в середку, так казалось безопаснее. Все кругом угрожало нам: и ночь, и вязкая тяжелая темнота, и непролазная чаща кукурузы по сторонам дороги, потрескивающей от нечувствительного ветерка.

Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!

Шушуканье да скрытность вокруг каких-то дел, о которых можно было лишь догадываться, как о несчастном пожаре в колонии...

Но ведь мы были легковерны, беспечны, мы еще не угадывали, что мы смертны, даже опасность, не совсем для нас ясная, казалась нам прежде не больше чем игрой.

Война приучила нас бороться за свое существование, но она вовсе не приучила нас к ожиданию смерти.

Это потом тот, кто уцелеет, взрослым переживет все снова: ржание лошадей, чужие гортанные голоса, взрывы, горящую посреди пустынной станицы машину и прохождение через чужую ночь.

Нам было страшно не оттого, что мы могли погибнуть. Так бывает жутко загнанному зверьку, которого настигло неведомое механическое чудовище, не выпуская из коридора света! Мы, как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары...

Но ведь это слова. Слова, написанные через сорок лет после тех осенних событий сорок четвертого года. Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильней, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!

Я только запомнил, и эта память кожи — самое реальное, что может быть, — как подгибались от страха ноги, но не могли не идти, не бежать, ибо в этом беге чудилось нам спасение.

Был холод в животе и в груди, было безумное желание куда-то деться, исчезнуть, уйти, но только со всеми, не одному! И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воеет оцепленный флажками волк, то завыли бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума...

Во всяком случае, этот путь, лежавший через смертельную ночь, был нашим порывом к жизни, не осознаваемым нами. Мы хотели жить, животом, грудью, ногами, руками...

Не всем из нас повезло.

## 20

Той же ночью Кузьменыши решили бежать.

Паника, охватившая всю колонию, от директора Петра Анисимовича до последнего шакала из младших классов, коснулась и наших братьев.

Поразил их отчего-то не сам взрыв, случившийся вечером посреди деревни, и не пылающий костром "студебеккер", хотя непонятно было, как это может гореть железо, а добитый огнем дом Ильи-Зверька.

Зверек первый и предупреждал об опасности!

Предупреждал, да сам, дурачок, и попался! Судьбу-то не перехитришь, оказывается. Ловчил, ловчил, да и погорел. Но хоть подумалось так, а жалко было Илью. Помнилось не то, что он жульничал, а помнилось, как флажками в морду тыкал парню там, в Воронеже, когда гнались за братьями с воем торгаши. Да и тут, в деревне, на незнакомой земле, кто, как не Илья, привел их в свой дом... А провожая, предупредил: бегите, мол, отсюда, худо будет!

Говорить-то легко, а куда им бежать? Теперь-то, когда у них такой задел из банок с джемом есть, другое дело!

Теперь их любая проводница за банку в тамбур примет, в то и в вагон! Не на колесе, не в собачнике, а на полке, как баре, поедут!

Братья, хоть друг на друга не смотрели, знали, чувствовали едино: все кругом горит, и тот слеп и глуп, кто не чувствует, что огонь к колонистам подобрался.. Подпекает уже!

Никто не спал в ту ночь. Братья тоже не спали.

Старшие в свою с развороченным полом спальню прибились. Глядели сумрачно в глубокий подвал, открытый ими, — холодный, крысиный запах шел оттуда.

Тоска подступала к сердцу от этой картины, замирало все внутри. Так, наверное, замирает мышшь-полевка, у которой поздней осенью, в преддверии голодной зимы, разорили хлебное гнездо.

Кузьменыши не знали, но догадывались о подвале. Понимали, что для такого мощного потока банок и хранилище нужно большое. Но не одобряли они такое хранение.

Вон подпольщики в тылу врага, и те по тройкам рассредоточены. А все для того, чтобы меньше попадаться.

А шакалье как шуровали скопом и прятали скопом, так скопом и попались — все сразу потеряли!

Но братья этой ночью не о чужой — о своей заначке пеклись.

Было решено: как затихнет, рассовать свое богатство по мешкам да за спину и пешедралом на станцию... На поезд! И — бежать, бежать, бежать! В свете пожара в эту ночь им было особенно ясно. Про себя. Про свое спасение.

В полночь, когда колония наконец погрузилась в свой тяжкий, беспокойный сон, если не бессонницу, братья шмыгнули за дом, проскреблись в колючий лаз, он чего-то сегодня особенно неудобен был, пробрались к берегу речушки.

Еще на подходе, из-за кустов увидели свет мелькающих фар, услышали мужские голоса.

Сердце у обоих зачастило, дрожь проняла до пяток! Решили, что до их заначки добрались, шуруют ее! Если уж отыскиали в спальне под досками, отчего же не найти на берегу?!

Но, еще приблизившись, поняли: заначка их ни при чем.

Как говорят: кто о чем, а вшивый о бане!

Просто солдаты на мотоциклах приехали, на берегу на отдых встали. Костра не жгли, а подсвечивали друг другу фарами и матерились, возясь около своих машин. Даже на расстоянии был слышен резкий запах бензина.

Разговоры же громко велись про какое-то ущелье, где их подкараулили бандиты и, завалив дорогу камнями, расстреливали с горки.

Бойцы из ущелья выскочили, угробив мотоцикл с коляской, но одного из них контузило в голову и плечо.

Теперь Кузьменыши разглядели и раненого бойца. Ему оказывали скорую помощь, а он стонал, ругался, а потом закричал пронзительно, братья вздрогнули:

— Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойники, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, мать их так... Всех, всех к стенке! Не зазря товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники Родины! Гитлеру продали-сь!

Раненого перевязали, и он умолк, а бойцы, отойдя по нужде к кустам, стали говорить разные разности про войну, которой уж конец виден, пусть и за горами! Про то, как им не повезло — дружки осаждают Европу, а тут, курам на смех, приходится штурмовать дохлые сакли в ущельях... Со старухами да младенцами воевать!

Бойцы отговорились, стали укладываться спать. Братья поняли: не уедут они. Сегодня точно не уедут. А это значит, что побег до другого дня откладывается. Бежать без банок — гиблое дело. Куда бы ни наостряли они пятки, а ждут их, без своего запаса, голод да попрошайничество, да кражи... И в конечном счете — милиция!

Да и кто от своего, такого богатства, по своей воле уйдет?

Колька так и заявил: лягу, мол, умру, но от заначки шага не сделаю! Лучше, мол, прям на берегу возле заначки жизнь отдать, чем такую заначку бросить!

Решили, в общем, ждать утра, которое, если верить сказкам, куда мудренее вечера.

А оно уже подступало, и сумерки сходили с невидимых пока гор вместе с легкой свежестью и порывистым, шуршащим по кукурузе ветерком.

Наутро за завтраком стало известно, что вернулась из больницы воспитательница Регина Петровна.

Кузьмёныши услышали новость в столовке, переглянулись. Оба подумали так: повезло. Не было бы, как говорится, счастья, да несчастье помогло!

Сбегали скорей к заначке, на берег реки. Бойцов уже не было, валялась на траве кровавая вата, обрывки бинтов, бычки от окурков.

Колька рукой в нору залез: цела! Цела заначечка! Все банки наперечет, на месте! Холодненькие, гладенькие, тяжелые даже на ощупь.

Знали бы бойцы, близ какого богатства они тут храпели без задних ног!

Теперь до следующей ночи, когда они наметили снова бежать, непременно надо было увидеть свою Регину Петровну. Она хоть и вернулась, и девочки утверждали, что видели ее, но нигде не показывалась. И в своей комнате за кухней, как ребята ни пытались заглядывать в окошко, не показывалась тоже.

Промаялись, слоняясь целый день, и все зазря.

И когда вечером Колька сказал, что пора им бежать и ждать больше нет сил, Сашка вдруг решительно заявил, что без Регины Петровны, без того, чтобы ее увидеть, он, Сашка, не сдвинется с места. Колька может умереть без заначки, а он, Сашка, не поедет, пока не увидит воспитательницу! И плевать ему на заначку! На все одиннадцать банок вместе с двумя мешками! На все ему наплевать! Не может уехать без Регины Петровны и ее мужичков! А то получится, что спасают братья самих себя, а такого человека, как Регина Петровна, оставляют тут погибать!

Они должны вместе бежать — вот что он понял!

И еще одна ночь была потеряна для побега.

Но уже и чувство первой тревоги, той душевной паники, которую пережили все колонисты, сгладилось, а страх,

липкий, беспросветный страх стал опадать и таять. Даже похороны Веры-шоферицы, на третий день, не взвинтили братьев.

С утра за старшекласниками приехал от завода "ЗИСок", обшарпанный, дребезжащий, как телега.

Скамейки на нем не откидывались с бортов, а стояли поперек кузова и качались, потому что были не закреплены.

Да все показалось непривычным для колонистов. Сумрачный, молчаливый старик-шофер, и эти неудобные скамейки, и даже то, как их везли, остороженько, будто стекло, не так, не так их возила лихая Вера!

Шоферицу Веру ребята жалели: она была почти своей. И уж, во всяком случае, не чужая, ибо все понимала про колонистов и никогда ни разу не продала! И машину водила! И красивой была! И веселой! И такой фартовой! Будто век прожила в колонии!

Но вот что странно: никто из ребят не захотел поехать на похороны, и объяснять не объясняли, почему не хотят ехать.

И лишь когда объявили, что ожидает всех кормежка в заводской столовой и даже будет мясо, ребята согласились. Мяса, надо сказать, им еще ни разу не давали. Поехали и Кузьмёныши.

У них был свой резон, не считая обеда: побывать, если удастся, на заднем дворе — когда еще такой случай представится — и посмотреть, целы ли несколько банок, значенных под ящиками до всей этой суеты.

Если бы и их удалось прихватить с собой! Да перед побегом!

Панихида, как и ожидалось, происходила прямо на заводском дворе.

У гроба, которого не было видно за толпой, кучкой стояли женщины в белых платочках, некоторые из них плакали.

Колонистов увидели от проходной, стали оборачиваться, раздвинулись, пропуская их вперед.

Кузьмёныши, хоть не хотелось им этого, оказались прямо перед гробом, плоским, сколоченным из грубых досок и ничем не покрашенных. Эти доски приходились братьям на уровне глаз.

В гробу, куда они, приподнявшись на носки, уставились с любопытством и каким-то ожидаемым страхом, лежала, будто спала, красивая женщина с поджатыми губами; волосы ее, рыжеватые, золотившиеся, окаймляли спокойное чужое лицо.

Женщина никак не походила на бойкую шоферицу в кепочке да мужской одежде.

Это была другая, не ихняя Вера — братья сразу так поняли. И отвели глаза. Потупясь, они стали смотреть на ножки стола, на котором лежала покойница.

Стол, обитый железом, а сейчас покрытый простыней, был им знаком по цеху. На нем обычно стояли стеклянные банки с джемом, который они тырили за спиной закрытого вальщика.

Оба брата подумали, что скорее бы кончилось это занудство и они смогли бы потихоньку убраться на задний двор. Туда, где их банки!

От слез, от причитаний, вздыханий, сморканий вокруг от всей этой толпы у них начинала болеть голова, каболела лишь в милиции, когда их вылавливали на рынке.

Наконец вышел старик-технолог, прямо в халате, и начал рассказывать всем про Веру, но смотрел он в лицо покойнице. Он говорил, что Вера была молодой девушкой, ей исполнилось девятнадцать, но многое в своей короткой жизни пережила, и главное, она пережила фашистскую оккупацию. Фашисты угоняли население в рабство, а с Верой они справиться не могли... Она трижды сбегала в дороге и трижды возвращалась к себе домой. Последний раз она спряталась в шкаф, и враги вытаскивали ее из шкафа...

Братьям стало вдруг смешно, когда они представили шкаф, в котором сидела шоферица Вера. Но все смотрели на технолога и серьезно слушали.

На заводе Вера была стахановкой, хоть и приходилось ей выполнять тяжкую мужскую работу шофера: возить на станцию продукцию и доставлять на работу детишек... Старик указал при этом на Кузьмёнышей, и они смутились. Но подумалось: кататься на машине, пусть не погибает, вовсе не тяжело, а приятно.

— Спи, доченька, спокойно, мы тебя не забудем, — сказал между тем старик и наклонил голову. Короткие седые волосы засеребрились на солнце.

Женщины стали всхлипывать, а крикливая тетка Зина и тут запричитала на весь двор. Выходило по ее причитаниям, что были они из одной деревни, их вместе сюда и привезли, и прикрепили...

К гробу протолкнулись еврей-грузчики. С непроницаемыми лицами, легко, будто пылинку, подняли они Веру и перенесли в грузовик, на котором ехали колонисты.

Заиграл оркестр — барабан и две трубы, и от гулких ударов тарелок и барабана что-то у братьев перевернулось в груди, заболело, заныло.

В машину посадили по борту, вдоль стола с гробом, несколько женщин и причитающую тетку Зину и повезли.

Все стали выходить за ворота.

Старик-технолог стоял посреди двора и приговаривал, глядя на колонистов:

— Идите... Идите! Сегодня не работаем!

Никакого мяса им не дали. Что называется, получили от тех ворот поворот! И братья отвалили.

Шли по дороге и обсуждали то, что видели. Оба согласились, что Вера не была похожа и не молодая совсем. Девятнадцать — это почти что старость, как посчитали Кузьмёныши. Вон, они уж не малые дети, а вместе сложить, так ненамного старше Веры будут.

А еще Колька рассказал, что услышал в шепоте за спиной, будто Вера сидела в машине и ждала конца вечера, чтобы везти колонистов на ужин... И не заметила, как появились всадники. Они Веру, наверное, и не видели, а видели лишь машину. Но когда они бросили гранату, Вера еще успела выскочить из горящей машины и пробежать несколько метров и упала. А потом выяснилось, что один осколок попал прямо в сердце... Как же она могла тогда с пробитым сердцем бежать!

Сашка задумался. Кольке он сказал:

— Не верю, — буркнул и затих.

— Чего не веришь-то? — спросил Колька. — Что сердце пробило? Не веришь? Да?

Сашка молчал.

— Ты думаешь, сочиняют... Про сердце?

Полею они дошли, срезав часть дороги, до берега Сунжи и теперь сидели на траве.

Сверкали в белесой голубизне совсем невыразительные, похожие на мираж горы. Они вроде бы были, но так были, что, казалось, ощутить их реальность вовсе невозможно.

— Я ничему не верю, — сказал вдруг Сашка. А потом, помолчав: — Ну, все как-то непонятно мне. Была эта Вера. Возила нас, кричала чего-то... А потом раз — и нету. А куда же она делась?

Колька удивился и возразил:

— Куда... Закопали!

— Да я не об этом...

Сашка прищурил глаза и посмотрел вдаль. Дребезжала на камешках рыжая вода, над ней кружилась бабочка.



— Вон эти... — и Сашка показал на горы. — Они тоже пропадают, появляются, но они всегда есть. Так?

— Ну... — спросил Колька.

— Вот... Речка... Тоже всегда...

— Ну?

— А почему же люди? Они-то что?

— Ты про Веру говоришь?

Сашка с неохотой поморщился.

— Про всех я говорю. И про нас с тобой тоже говорю. Тебе страшно было стоять у гроба?

— Нет, — сказал Колька. — Не страшно. Но... неудобно.

Другого слова он не смог подобрать. Лишь поежился.

— А тогда — ночью? Вот через поле шли? Страшно?

— Там было страшно, — сознался Колька,

— И мне страшно. Только не знаю, чего я боялся.

Просто боялся, и все.

— Ну, этих... боялся?

— Нет, — сказал Сашка. И вздохнул. — Я не их боялся... Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы... Даже тебя.

— Меня?

— Ага.

— Меня?! — еще раз переспросил, удивляясь, Колька.

— Да нет, не тебя, а всех... И тебя. Вообще боялся. Мне показалось, что я остался сам по себе. Понимаешь?

Колька не понял и промолчал. А вечером они пошли к Регине Петровне.

## 21

Сперва они захватили банку джема. Но потом оставили. Много разговоров по колонии ходило об этом самом джеме. Да еще братья припрутся со своей банкой!

Пришли к вечеру, после похорон, и застали Регину Петровну дома. Размещалась она в дальнем углу кухоньки, отгороженной казенным, желтым в полосочку, байковым одеялом.

Регина Петровна искренне им обрадовалась.

— Милые мои Кузьмёныши, — сказала она, пропуская их в угол и усаживая на кровать. — Ху из ху? — и, указывая на Сашку, который был на этот раз подпоясан дареным ремешком, спросила: — Ну, ты, конечно, Колька?

Братья засмеялись, и она поняла, что ошиблась.

— Ладно, — сказала, — я с приезда занялась стиркой, накопилось... Мужички мои хоть и были с девочками, но порядком обросли грязью. Но все бросаю, все... Сейчас будем пить чай... С конфетами! Я настоящих конфет привезла!

Братья переглянулись, одновременно кивнули. А воспитательница сразу спросила:

— Или вас конфетами не удивишь?

Она подняла таз с мыльной пеной и вынесла вон. Вернулась и повторила, присаживаясь напротив:

— Что у вас там с джемом? Много натырили, как выражаются ваши дружки? Натырили? Заначили? Я правильно говорю?

— Ну и что? — пробурчал Сашка. — Ну и заначили.

Регина Петровна рассмеялась, и низкий, удивительный ее смех, будто родная песня, прозвучал для обоих братьев.

Они уже успели рассмотреть свою воспитательницу, и оба заметили, что она похудела и на лице, таком же красивом, сквозь природную смуглоту пробивалась желтоватая бледность. Только волосы стал еще гуще, пышнее, не волосы, а черная непослушная грива, небрежно завернутая в узел. Сейчас, на глазах Кузьмёнышей, она, глянув на свое отражение в окошке — зеркало, наверное, ее сгорело, — одним легким движением вынула шпильку, — и посыпалось на плечи темным водопадом, а лицо при этом еще больше побледнело, осунулось.

— Пусть подышат, — сказала, откидывая голову назад, чтобы волосы улеглись за спиной. — А я сделаю чай. Тогда и поговорим.

Регина Петровна принесла чайник, стаканы, в блюдечке конфеты, словно майские коричневые жуки.

— Берите, берите, — и пододвинула к ним поближе. — Это подушечки, с чаем прямо благодать.

Братья взяли по одной конфете. Сашка засунул сразу в рот и съел, а Колька только лизнул и отложил.

— Ну вот, теперь я поняла, что вы меня морочите, — Регина Петровна снова засмеялась. — Сашка — это и правда Сашка. Хоть он и с Колькиным поясом. Теперь рассказывайте... Вы же что-то хотите рассказать, да?

Сашка посмотрел на Кольку и кивнул.

— Как вы, милые мои, жили? Я ведь боялась, что вы сбежите! Вы ведь хотели сбежать? Сознавайтесь?

— Хотели, — сказал Сашка.

— Страшно было, да?

Братья не ответили. И так понятно.

Регина Петровна посмотрела на них долгим задумчивым взглядом, и они потупились.

— Мне тоже было страшно, — просто сказала она.

— Вы их... Вы видели? — Сашка уставился на воспитательницу.

— Видела.

— Вот! — воскликнул Сашка. — А я знал!

Регина Петровна долила братьям чай и себе долила. Подошла к окну, задымила папироской. Когда она прикуривала, братья заметили, что руки у нее дрожат.

— Слава Богу, хоть папирос достала, — сказала она, глядя в окно и глубоко затягиваясь. — А тогда... Что-то долго не спалось, у меня горел свет. А потом они встали за окном... Трое. А с ними еще мальчик. Окно распахнулось, вот как сейчас, а я даже не поняла ничего. Стоят трое и смотрят на меня, на мои руки, я папаху кроила. А я на них смотрю... А потом...

Регина Петровна еще раз затянулась, потом достала другую папироску, прикурила от первой, а эту, сгоревшую, бросила за окно.

И снова курила и молчала. Раздавила папироску о блюдце и вернулась за стол.

— Милые мои, дружочки... Вы что же конфет не едите?

— Мы уже, — сказал за обоих Колька. — А что — потом?

Регина Петровна задумалась, прикусив губу. Будто опомнилась и посмотрела на братьев:

— Да. Да... Только это никому, ладно?

Братья кивнули.

— Мне велели... Приказали в милиции — никому. Так вот, они наставили ружье прямо вот сюда, — она указала на лоб. — А мальчик дернул взрослого за локоть, думаю, что это был его отец. И ружье выстрелило мимо. Мальчик что-то ему крикнул, и тогда мужчина посмотрел на меня и заорал по-русски: "Ухады! Убирайся! С этими..." — и стволом на детей. Я к дверям, потом вернулась, схватила мужичков в охапку... А он всё на меня стволом, куда я — туда и ствол... может, они боялись, что я закричу? А я как выскочила во двор — сразу и взорвалось... Все там сгорело... И ваша папаха тоже сгорела. А дальше беспомыслие какое-то. Ничего не помню. Только слово это застряло: "Ухады!" И ружье повсюду за мной. Я его и сейчас вижу.

— Они Веру убили, — сказал Колька. — Она в кабине сидела. Ей сердце пробили, а она побежала, потом упала.

— А меня пожалели... Почему? Я об этом в больнице все время думала. А когда меня допрашивали, велели об этом ничего не говорить. Вообще ни о чем не говорить. Мол, бандиты — выловят их, и дело с концом. Только я думаю... Не надо было папаху трогать.

— Почему не надо?

— Не знаю. Не надо, и все. Они на нее смотрели... Так странно... Будто я что-то живое ревала...

— А тут солдаты были, — сказал Колька, — которые ловят.

Сашка спросил:

— Эти... Ну, трое — страшные?

— Я и не поняла! — Регина Петровна почему-то снова посмотрела в окно. — Люди как люди. Один в штатском, а двое вроде в военном... Без погон, кажется. И мальчик, такой, как вы... Чернецкий... Он во все глаза на меня... Отец прицелился, — и она опять показала на лоб, — а он его за локоть...

— А лошади были?

— Не видела, — сказала Регина Петровна. — Может, и были.

Сашка посмотрел на Кольку и достал желтую гильзу:

— Вот, — положил на стол. — Ихнее. От того выстрела.

Регина Петровна испуганно взглянула издали на гильзу. Спросила тревожно, заглядывая братьям в глаза:

— Так вы бежать... Куда?

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Колька тянул назад, в Подмоскowie. Сашка звал вперед, туда, где горы. Было решено промеж ними: сядут, куда первый поезд пройдет.

Регина Петровна поднялась, снова закурила.

— Пропадете вы! — резко произнесла она. — Мы лучше уедем вместе. Только не сейчас, сейчас я не могу. Я еще плохо себя чувствую.

Не докурив, выбросила папироску. Уж очень часто она зажигала и выбрасывала папироски, братья это заметили. Так ей никакого запаса не хватит.

От окна спросила:

— Вы слышали что-нибудь про подсобное хозяйство?

— Ну? — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Меня туда посылают. На поправку. Там две коровы, козы, телята... Поедемте? Со мной?

— А что там делать? — спросил Сашка. Но он уже знал, что с Региной Петровной он куда угодно поедет. Значит, и Колька поедет. А потом они и навовсе вместе смотаются.

— Будем пасти... Следить, кормить... Это для меня такой отдых придумали. Но я одна ехать боюсь!

— Далеко? — спросил опять Сашка. Он совсем другое хотел спросить, но спросил это.

— В горах, но в тех горах... По другую сторону железной дороги, — быстро сказала Регина Петровна, сразу поняв, куда гнет Сашка. — Там никого нет. Они за станцию не ходят... До сих пор не ходили!

Но Колька в первую очередь подумал о заначке.

— А сюда? Мы вернемся?

— Сюда? — Регина Петровна стала закуривать, никак у нее не зажигались спички. — Ну конечно. У нас даже свой транспорт будет. Молоко или еще что ребятам будем привозить.

— "Студебеккер"? — воскликнул Сашка.

— Секрет, — сказала Регина Петровна.

Но Кольку волновала не машина, а заначка. Отрываться надолго от заначки — дохлое дело. Так и потерять недолго! Тут-то она рядышком, сходишь, рукой пощупаешь, пересчитаешь — и на душе спокойно. А там... Ты спокойно спишь, видишь во сне одиннадцать баночек, каждая блестит крышечкой, как золотой монеткой! И каждая — пропуск в рай! А придут эти с миноискателем, разворотят, как тот подпол...

Пока Колька переживал по поводу заначки, Сашка спросил про мужичков: а с ними как же?

— Мужички с нами поедут, — сказала Регина Петровна. И повторила: — Только мне одной с ними страшно. А так мы будем все вместе жить. Ну, как семья все равно... Поняли?

Нет, про семью братья не поняли. Они этого понять не могли. Да и само слово-то "семья" было чем-то чужеродным, если не враждебным для их жизни.

Для них и весь мир делился на семейных и несемейных. И эти две половинки были до сих пор несовместимы.

## 22

Уйдя от воспитательницы (Колька в кулаке сэкономленную подушечку зажал), они на ночь поспорили. Не сильно. Так, малость.

Оба хотели бежать, в этом разногласия у них не было. Но Колька требовал бежать немедленно. И никаких хо-зяйств! К чему им коровы да козы?

Сашка же советовал подождать Регину Петровну. Она сейчас слабая, она сама так сказала. Бежать сейчас не сможет. А когда окрепнет, они вместе уедут.

И потом, от подсобленного — так Сашка произнес — хозяйства может быть и прибыль какая! В придачу к их заначке! Вон от консервного завода и не ждали ничего, рады были хоть слив нажраться, а повернулось как!

Сашка умней, это ясно. Все загодя примерил, взвесил. Колька вздохнул и нехотя согласился.

Он тоже понимал: никто их нигде не ждет. А поездов много. На один не сядешь, так на другой... Нищему терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет.

Перед отъездом сходили в Березовскую, посмотрели на дом Ильи.

Все выгорело: и хата, и сарай, и деревья вокруг дома. Огород был пуст. Наверное, картошку вырыли соседи. А может, и колонисты помогли.

В бурьяне, покрытом, будто пылью, белым налетом пепла, торчала знакомая тележка с заржавленными колесами. На ней Илья дрова возил.

Колька подошел, ткнул ногой. Тележка отъехала. Колька еще раз ткнул... Потом нагнулся, отыскал веревку, за собой потащил.

— Брось! — сказал Сашка. — Охота тебе?

— А вдруг понадобится?

— Зачем?

Колька не ответил. Но тележку довел до Сунжи и спрятал в кустах.

— Она тебе что? Мешает? — спросил он Сашку.

— Мне не мешает! — огрызнулся тот.

— И мне не мешает. Вот и пусть лежит, — и добавил: — Она жрать не просит...

Колька не мог, наподобие Сашки, все заранее высчитать и выложить. Не так у него мозги устроены. Но и он понимал: если вещь валяется, ее надо подобрать. А опосля думай, что да зачем.

Вот Илью с его домом было ребятам жалко. Жулик он, Илья-Зверек, но жулик-то веселый, почти свой.

Колька поковырял ногой в пепле, произнес задумчиво:

— Он как чувствовал, что его сожгут!

— А почему? — спросил Сашка. — Почему никого не тронули, а его тронули?

— С краю...

— Ну и что? Машину вон в самом центре взорвали!

— Может, они догадались, что он жулик?

— Как это?

— Просто, — сказал Колька. — Вон огород... Оч и тяпкой ни разу не махнул! Собирал чужое, как свое, что до него посевали!

— А другие? Не чужое?

— Они колхозники...

— Какая же разница!

— А зачем они жгут?

— А фашисты зачем жгут?

— "Фашисты"! Сравнил... Какие же они фашисты!

— А кто? Слышал, как боец про них кричал? Все они, говорит, изменники Родины! Всех Сталин к стенке велел!

— А пацан... Ну, который за окном? Он тоже изменник? — спросил Колька. Сашка не ответил.

Ни до чего братья не договорились.

Поворошили пепел, огляделись, но никто не интересовался сгоревшим домом Ильи. Все, наверное, только собой интересовались.

Братья пошли домой.

Уезжали они рано утром, еще и солнце не всходило. Посреди двора стоял серый ишачок с грустными глазами. Был он запряжен в тележку с двумя колесами. На тележку сложили узлы, кастрюли, мешочки с крупой, поставили бутылку с растительным маслом.

Вышел директор со своим неизменным портфелем.

Вид у него был такой, будто он и сегодня не спал.

Посмотрел на Регину Петровну, на ее мужичков, которые канючили — их подняли рано.

Кузьменьши стояли тут же, зевая и поеживаясь.

— А эти? — спросил директор, кивнув на братьев. — Они что, с вами?

— Да, — сказала воспитательница. И тоже посмотрела на ребят. — Это братья Кузьмины. Я о них говорила.

Директор наморщил лоб, потрогал зачем-то портфель.

— Кузьмины... Кузьмины... Откуда?

— Из Томилина, — пробормотал Сашка. Нужно бы сказать "из Раменска", да Регина Петровна тут... Он посмотрел на Кольку и понял, о чем тот думает. Не зазря Портфельчик вспомнил их! Надо бы не медлить, убираться подобру-поздорову.

Директор же между тем полез в портфель, порылся, но ничего не нашел.

— Письмо вроде было... — сказал он. — О чем... О какой-то кухне... Нет, не помню!

— Поищите, мы подождем. Это ведь замечательно, что помнят, пишут... — сказала Регина Петровна и ласково посмотрела на братьев, которые поеживались и переминались около тележки. Они-то уж знали, что это за письмо! И насколько стоит его искать. Лучше бы не помнили!

Директор опять обратился к своему родному портфелю, но ничего, к счастью, не обнаружил.

— Ладно... У нас на два рта будет меньше, — сказал он. И уже Регине Петровне: — Вот вам бумага... От колхоза. Там человек, он покажет... Справитесь ли... С этими-то?

— Они дружные ребята, — сказала Регина Петровна. — Помогут.

Директор посмотрел на небо, вздохнул:

— Эх, был бы посвободней... Тоже махнул! Да где там! Сейчас еду на завод, уговаривать, чтобы назад приняли... И опять же в Гудермес, за педагогами... Пора школу налаживать... И продукты доставать... Это ведь непонятно, что происходит! — заключил он и развел руками.

Что там у него непонятного, у Портфельчика, ребята тоже не поняли: продукты ли, школа... Или завод... Ясно, как божий день, что на завод их пускать больше нельзя! Это директору одному непонятно! Обокрадут шакалы завод! Опять обчистят, как пить дать!

— А то приезжайте! Как освободитесь! — пригласила опять Регина Петровна и стала собираться. — Молочком угостим...

— Я шакалов пришлю, кукурузу ломать. А вы, как мерзнуть начнете, возвращайтесь! Счастливо!

Директор махнул рукой и пошел на кухню. Там уже возились дежурные девочки, начинался день.

Регина Петровна усадила мужичков на тележку так, чтобы они могли еще подремать. Сунула тряпье им под головы. Взяла ишачка под уздцы, и двинулись в путь.

Сперва так и шли: Регина Петровна впереди, она все боялась, что ишачок увезет тележку в поле, за тележкой — Кузьменыши.

Но ишачок послушно катил свой воз по дороге, только острыми ушами стриг воздух, и Регина Петровна вскоре оставила его, пошла рядом.

Иногда она останавливалась, закуривала, а братьям показывала рукой: мол, езжайте, догоню...

Но они останавливали ишачка и поджидали. Хоть дорога, но и заросли, а вдруг какие враги выскочат!

Одета для дороги Регина Петровна была необычно, по разумению братьев. Мужская светлая рубашка с закатан-



ными рукавами и темные, тоже, видно, мужские, шаровары. Такой Кузьменьши воспитательницу еще не видели, но не осудили ее. Шоферица Вера и похлестче одевалась!

На расстоянии от Регины Петровны Колька сказал брату:

— Письмо-то про подкоп...

— А вдруг он и правда потерял?

— Портфельчик не потеряет! Он все с собой носит! В портфельчике!

Сашка нагнулся, подобрал какой-то камешек на дороге и отбросил в сторону.

— Ну и пусть себе носит! А мы сбежим!

— А заначка? — спросил Колька.

— Заначку возьмем... И сбежим, — он оглянулся на воспитательницу и добавил: — Лишь бы Регина Петровна выздоровела.

Ни ходко ни валко добрались они к обеду до станции.

На запасных путях стоял товарняк, из него выгружали военную технику: какие-то совсем небольшие, крашенные в ярко-зеленый цвет пушечки, "виллисы", повозки с лошадьми.

Братья замедлили ход, уставились на пушечки. Хоть за войну нагляделись разного, да их и в Москву, в Парк культуры, возили — на выставку немецкого трофейного оружия, но какой настоящий мужчина пропустит такое зрелище? Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опасней, тем обычно красивее. Пушечки были хороши.

У деревянного, покатога настила стояли солдаты, курили, громко разговаривали. Увидели Регину Петровну — развернулись в ее сторону, как по команде.

Ребята рассматривали пушки, а солдаты глядели на молодую красивую воспитательницу.

Кузьменьшам это не понравилось.

— Ну-у, чево встал! — рывкнул Сашка на ишачка и хлестнул прутом. Эка, мол, невидать, военный эшелон с солдатами.

Тележка, звонко подскакивая на шпалах, стала переезжать через пути.

— Ишь какие! Туземки-то! — раздалось им вслед.

Братья переглянулись, но отвечать не стали. Солдаты, а понятия никакого нет, что совсем они с Региной Петровной и мужичками не туземцы! Те голяком да в перьях ходят, это в любой географии нарисовано!

По тропе, ведущей в межгорье, за ротонду, они поднялись к развалинам санатория и тут сделали передышку.

Каждый из братьев выбрал себе для купания отдельную ямку и разделся. Регина Петровна окунула мужичков, оставила их играть, а сама отошла подальше, к огромному квадратному бассейну, и там, в одиночестве, плескалась, повязав голову рубашкой.

Когда раздался ее крик, ребята, не видя ее за паром, решили, что она просто их окликает; и заорали, заулюлюкали в ответ, перебегая от ямки к ямке и с гиканьем в них ныряя.

И вдруг пронеслось:

— Мальчики! Мальчики! Помогите! Сюда! Скорей!

Братья нацепили одежду на мокрое тело и понеслись на ее голос. Они сразу сообразили, что на воспитательницу напали чечены!

Но никаких чеченов не было.

У края бассейна стоял солдат и, не отрываясь, смотрел на Регину Петровну. Сама же Регина Петровна сидела, погрузившись до подбородка в воду, на другом конце бассейна и со страхом глядела на солдата.

Видно, он пришел вслед за ними, оттуда, со станции.

Первым подбежал Сашка, успевший на ходу подхватить булыжник. Он встал между бассейном и солдатом, так что солдатская пряжка отсвечивала ему прямо в глаза.

— Ты чево! — крикнул он, задрав голову. — Чево подглядываешь? Тебя звали сюда?

А тут и Колька сбоку наскочил:

— Тебе чево тут нужно? А? Отваливай давай, а то командира позовем!

Солдат удивился, увидев перед собой двух одинаковых, одинаково голосивших пацанов. Но как-то спокойно удивился и, тут же забыв про них, снова уставился на воспитательницу. Он шмыгнул носом, как шмыгают мальчишки, и, вздохнув, пошел прочь. Но, уходя, несколько раз оглянулся, не на братьев, он их не видел, на женщину, на нее одну и смотрел.

— Иди! Иди! — крикнул вдогонку Сашка и даже камнем замахнулся. А Колька, как моряк в каком-то кино, свой красивый пояс снял.

Солдат вдруг остановился, братья поняли: сейчас вернется и врежет... Не надо было кричать вслед, раз уходил.

Правда, братья знали прием: один из них подкрадывался сзади и бросался под ноги, а второй пихал в грудь... Противник летел кувырком! Только с солдатом такой номер вряд ли прошел бы!

Другое дело — кусаться.

Это они пробовали. В Томилине их избивал, подкарауливая поодиночке, в ту пору, когда посменно копали, один великовозрастный жлобина из блатных. Однажды они от отчаяния набросились и так его искусили, что он стал бегать от братьев, как от бешеных собак! Завидев, обходил за километр!

Но солдат не вернулся и не полез в драку. Последний раз, не без сожаления, взглянул на Регину Петровну и опять вздохнул. А на крик Сашки лишь повел недоуменно плечами и быстро, очень быстро убрался.

Может, он испугался, что Колька пообещал командира позвать?

Пока братья стояли оцетинившись, Регина Петровна выскользнула из воды, натянула шаровары и побежала к мужичкам. Те, ни о чем не подозревая, играли около тележки.

После случившегося она как ожила, стала разговорчивой, смешливой. А может, на нее горячая вода подействовала...

Она все подтрунивала над своим испугом. Надо же так визжать, что всех перепугала.

— Я вас очень напугала? — спрашивала она братьев.

А потом сказала:

— Вы теперь мои рыцари! Заступники! Защитники мои!

Братья смутились.

Даже стало жарко.

Никогда не приходилось им быть защитниками для других. Только для себя. Оказалось, это приятно.

— А чево он хотел? — спросил Сашка угрожающе. Он еще не остыл от пережитого. — Может, он хотел чево украсть?

Регина Петровна посмотрела в ту сторону, куда ушел солдат, и странно улыбнулась.

— Не знаю. Парень-то симпатичный... И чево я развизжалась, напугала... Как девчонка! Да и вы, по-моему, его еще припугнули! Такие молодцы!

Братья посмотрели друг на друга и покраснели. Знала бы Регина Петровна, как они в один миг перетрусили!

Воспитательница полезла в кастрюльку и достала сверток. В нем оказались бутерброды, хлеб с маслом.

— Это вам вместо ордена, — сказала она, смеясь. Ах, какой разрумянившейся, какой красивой она сейчас была!

Братья набросились на хлеб, и хоть масло на нем давно растаяло, но впиталось, и было ужасно вкусно. И мужичкам дали кусок на двоих.

От санатория несколько километров дорога была асфальтированной, а потом перешла в булыжник, и снова — белая, выгоревшая и потресканная земля.

Горы не походили на те горы, которые начинались за колонией. Они были пусты, ни деревьев, ни кустиков, лишь бурьян да сухая трава. Да в узких ложбинках вдоль ручьев жались колючая и неуютная растительность.

Ребята со вздохом смотрели по сторонам и думали о том, что их горы за колонией хоть были запретными, но были красивей, сытней — орехи, дикие груши, алыча. А тут ягоды на диких маслинах, и те мелкие, вяжут, невозможно взять в рот.

Регина Петровна, которая взбодрилась и даже курить, как заметили братья, стала меньше, тоже осматривалась с удивлением.

Несколько раз она повторила: "Библейские горы". Что это означает, братья не поняли. Но догадывались: пусто. Так Сашка Кольке и объяснил: "Ни хрена нет, одно название, и то неприличное".

Регина Петровна рассмеялась и сказала, что Библия — это такая большая, большая сказка... А написали ее евреи.

— Грузчики? — спросил Колька.

— Почему грузчики?

— Грузчики, которые на заводе! Они же евреи!

— Они хорошие евреи, — подтвердил Колька.

— А почему евреи должны быть плохими? — спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала: — Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.

— А чечены? — выпалил Саша. — Они Веру убили.

Регина Петровна не ответила.

Между тем тележка сделала последний поворот, и глазам путешественников, а уж ехали они без малого десять часов, открылась ровная долина меж холмов, где кустилась зелень и белели видные издалика два домика.

Потом-то уже выяснилось, что домик был один, да и то крохотуля: мазанка из самана. А другой — навес, под который можно было въезжать на тележке. Так они и сделали.

Под этим навесом стоял на кирпичях таганок и свалены были всяческие инструменты: грабли, косы, лопаты и мотыги. Больше всего было мотыг.

— Приехали, — сказала Регина Петровна, оглядываясь. Никто их не встречал. — Будем здесь жить, — добавила

она и стала быстро закуривать. Наверное, она волновалась.

Пришел мужчина. Братья сразу узнали бывшего солдата, который их подвозил на лошади. Сейчас он не был в гимнастерке, а лишь в рубахе и без кепки, лысоват и еще хроmal.

Вихляющей походкой он направился к приезжим и тоже узнал колонистов. Протянул братьям руку, представился: "Демьян". Воспитательнице кивнул издали.

— Приехали, значит? — спросил. Обращался к ним как к взрослым. Регину Петровну будто не замечал.

— Приехали, — отвечал Сашка Демьяну как равному. — Хозяйством заниматься будем.

А Колька добавил:

— Скот пасти.

Демьян не удивился, что ребята приехали заниматься хозяйством. Не то что директор. Он одобрительно кивнул.

— Как же иначе... У нас говорили: воевать так воевать, пиши в обоз! Две коровы, значит, оставляю, семь телят, три козы... Вы доить-то хоть умеете?

— Научимся, — произнесла Регина Петровна и подошла ближе, держа папироску в руке.

Демьян поглядел на ее руку с папироской, на шаровары, поглядел на загорелую лысину.

— Это простите... Товарищ дамочка: это работа... Вкалывать, говоря по-нашенски, надо... Не дым пуцать!

— Значит, будет вкалывать, — простодушно ответила Регина Петровна и улыбнулась Кузьмёнышам. Но папироску погасила. И занялась мужичками.

— А чево? — поинтересовался Демьян у братьев. — У колонии уж работников не стало, что женский пол присылают?

Хоть было ребятам приятно вести разговор, как ведут мужчины, но выпада против их Регины Петровны они стерпеть не могли. Да ведь и заступники, защитники они ее!

Колька насупился, а Сашка строго посмотрел на Демьяна, будто впервые увидел.

— Регина Петровна после болезни... — сказал он. — Когда у нас дом взорвали... Из больницы она, ей тут поправляться нужно...

— А работать сами будем! — вставился и Колька. И соврал для веса: — Нам директор велел помогать! Одна, говорит, надежда на вас...

Демьян будто стушевался. Он часто закивал головой, стал пояснять, поворачиваясь и к Регине Петровне, что сена он накосил много и камыша накосил. Жить им лучше в саманном домике, там теплей. А вот варить придется на таганке, топить кизяком. Есть в хозяйстве ручные жернова — кукурузу молоть. На грядках еще остались помидоры, огурцы, так, гнилье одно, тыквы, капуста, свекла, картошка... Виноградник есть, но заброшенный, одичавший совсем виноградник, по земле то есть, без таркал, ползет... А вот сахарный тростник он посадил, найдете... Да все со временем найдете...

К вечеру Демьян запряг лошадь, попрощался. Достал напоследок кисет, ловко, одним движением руки свернул длинную козью ножку. Протянул Регине Петровне — это был жест примирения.

— Держи, — сказал, не глядя в лицо. — Хоть лично баб, которые курят, я не терплю... Мода такая военная пошла...

— А вам и терпеть не надо, — отвечала с улыбкой Регина Петровна. — Это вот они терпят, — и указала на Кузьмёнышей.

— А вдруг еще приеду! — вскинулся озорно Демьян. — Что скажете?

— Мы всем рады, — произнесла Регина Петровна и прикурила от уголька козью ножку, держа ее за перегиб, как трубку. Хотела что-то добавить, но закашлялась.

Демьян радостно захохотал.

— Дерет, а? — вскрикнул удовлетворенно. — Это не ваше городское баловство! Самосадик-горлодер! Сам рубил! Во как!

Он достал из кармана лист газетки, оторвал половинку и отсыпал из кисета горсть буроватой крупнозернистой махры.

— Пользуйся, — протянул воспитательнице. — Дымить будешь! Когда скучно станет!

Ребятам на прощание руку пожал:

— А вы это... Поете-то, как артисты... Да... Я уморился, как хохотал! В клубе, в колхозе... — и вдруг другим тоном, насупившись: — А Верку жалко.

Проковылял к телеге, бочком, так было ему ловчей, присел на край, кепчонку на лысину нахлобучил и причмокнул на лошадь, та сразу пошла. Уехал, не обернувшись и будто не интересуясь ничем и никем.

Легкая пыль висела долго над дорогой, ее золотило заходящее солнце.

Регина Петровна поселилась с мужичками в домике. Как-то они ухитрились все трое спать на одной кровати. Кузьмёнышам постелили на полу, но они отказались. Тесно там и душно. Бросили ломкого, но приятно пахнущего камыша в углу под навесом, и на нем устроили лежбище. Стены навеса были сплетены из того же самого камыша, только сухого. По ночам он поскрипывал.

Первым делом они разыскали тростник, который лысый Демьян называл сахарным. Всех угостили, и Регину Петровну, и мужичков. Ели, пока он вдруг не кончился. Вкусный тростник придумали в хозяйстве, жуй да плюй, весь день бы так.

Виноград тоже нашли. Он стелился по земле, и под плетями, если их приподнять, можно было обнаружить буроватые грозди, вывалянные в земле.

Сашка сорвал, попробовал на язык, скривился:

— Челюсть вывихнешь! Кислятина!

Но Регина Петровна была иного мнения. Она попросила набрать ягод побольше, сколько влезет в корзинку.

Тут же, на глазах ребят, вывалила гроздь в таз, помыла и стала давить булыжником. Потек мутный сок. Попробовали братья пальцем и на язык — скулу воротит.

Регина Петровна слила сок в бутылку, закрыла крышкой, а бутылку в погребок поставила.

— Вино для праздника будет, — сказала.

— А какой такой праздник? — поинтересовались братья.

— Не знаю, — сказала она. — Какой-нибудь придумаем!

— А праздники разве придумывают? — спросил Сашка. — Я считал, что они сами наступают.

— Иногда наступают... А иногда...

Воспитательница посмотрела пристально на братьев, поинтересовалась:

— Вы когда родились-то?

— Чего? — в голос спросили братья. Они не поняли вопроса.

— День рождения у вас когда?

Братья переглянулись и вновь уставились на воспитательницу.

— День? Почему день? А если мы ночью родились? Иль утром?

— Ну конечно, — произнесла она с улыбкой. — У всех, всех на свете — даже у коров, и телят, и коз — есть свое число, когда они родились, и месяц, и год... У вас тоже есть. Только вы его забыли, правда?

Колька вздохнул и посмотрел на Сашку. У того мозги крепче. Пусть он вспоминает.

Если бы спросили, сколько банок джема, к примеру, в значке, Колька бы сказал. А это...

Но Сашка тоже молчал.

— А мы сами придумаем число, — сказала Регина Петровна. — И будет у нас праздник! Ну?

Колька тупо спросил:

— Это когда?

Регина Петровна что-то посчитала про себя, шевеля губами.

— Ну, скажем, через недельку. Семнадцатого октября. Устроит?

— Не знаю, — сказал Колька.

И Сашка сказал:

— Не знаю.

— А уедем когда? — поинтересовался Колька.

— Куда уедем?

— Куда-нибудь.

— А вам тут не нравится? — спросила Регина Петровна, обращаясь теперь к Сашке.

Тот помялся.

Про себя подумал. Тут — нравится... Нам там — не нравится...

Ему представилось, что Портфельчик оставит их тут навсегда. В школу ходить не надо, научатся, как Демьян, козы ножки крутить, махру рубить, косить траву, жрать тростник.

А потом кто-нибудь из них женится на Регине Петровне и будет мужичков кашей кормить. Впрочем, нет, мужички тоже, наверное, вырастут. Они стадо пасти будут.

— Ладно, — сказала Регина Петровна. — Справим день рождения, а там решим. Согласны?

Ее голос, теплая ласка умиrotворили братьев. Они согласились ждать. До праздника. А праздник, это они уже знали по опыту, — позовут в столовку, по одному сухарику дадут и жмень семечек в придачу. И катись подальше... Колбаской до самой Спасской!

Если бы братья захотели придумать праздник, то они и сами бы придумали. Вон у Сашки голова оборотистая, он сколь хочешь этих праздников сочинит! И не надо там никакие рожденья придумывать.



А может, это все сказки, что безродные — колонисты да детдомовцы — рождаются? Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме? Нет их, нет, а потом глядишь — в какой-то щели появились! Копшатся, жучки эдакие, и по рожам невымытым видно, по движениям особенным хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая... И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его, родного, персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек, морить! А тех, что попроржорливее, раз — на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось. Вот, глядишь, и не стало. И всем спокойно. Так на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего ушли. Какое уж там рождение! Господи!

Все перетерпели в жизни братья. И уж день рождения как-нибудь перетерпят. Не такие трудности переживали! Да и когда это будет еще!

Но вот странно: это в колонии время медленно шло. Там слоняешься, ждешь, когда тебя накормят. А тут дни мелькали, как вагоны поезда, который летит мимо.

А все потому, что Кузьмёныши занялись делом.

По очереди ходили они под гору, к родничку, воду таскали для хозяйства. Там и умыться можно. Но этого братья откровенно не любили. Да и вредно холодной водой умываться. Кожа стирается, одежда намокает.

И вообще: ни к чему.

Стадо гонять на луг тоже их забота. А вот коров доить им Регина Петровна не разрешила. Тайком попробовали — не вышло. Как дала корова ногой по бадейке... спасибо не по башке!

Коров звали Зорька и Машка. Так Демьян научил.

Зорька — крутобокая, бурая, незлобивая. Ее-то братья и пробовали доить. А Машка — худющая, в черных и белых пятнах, стержовная и капризная. К ней не подступись. Потом-то попривыкла, стала подпускать к себе воспитательницу, Сашку, даже мужичков, но настороженно, с оглядкой. Лишь Кольку не терпела. Как издали завидит — шею вытянет, мокрый нос в его сторону повернет и нюхает. А если он захочет приблизиться, начинает копытом передним бить, рога в землю наставит, мычит. Ругается, значит.

Колька всерьез обижался на Машку, грозил издали кулаком. И — уходил.

Пробовали братья морочить корову, переодеваться и выдавать себя друг за друга. Но корову, как тетку Зину, обмануть оказалось невозможно.

На круглых жерновах, один круг над другим, мололи братья кукурузу. Крутишь верхний, а в дырку зерна суешь. А из щели между кругами белое крошево сыплется. Его в сите протрясешь, вот тебе и мука и крупа. Жратва, словом.

Хоть чуреки пеки, лепешки такие грубые, хочешь — мамалыгу вари. Это все, особенно в смысле пожрать, братья быстро освоили. Вот только жернов крутить не любили.

Сперва по очереди крутили. Потом один Сашка. У Кольки, как он заявил, терпелка не выдерживала.

Зато он дрова и кизяки собирал с охотой. А Сашка кизяков видеть не мог. Ему легче сто раз жернов повернуть, чем один кизяк подобрать.

По-ихнему, может, это и кизяки, сказал он, а по-человечески все равно — г... Если бы он в колонии знал, он бы от колонистов, которые у забора кладут, столько бы добра вынес! На сто лет вперед топить бы хватило!

Вадили они рисовую кашу с молоком, пока был рис, а потом тыкву.

Поперву, когда закатили с огорода тыквину, величиной с одного из мужичков, братья все крутились вокруг нее. Пока Регина Петровна топором не разрубила на желтые куски. Оба тут же хватанули по куску. Погрызли, погрызли, бросили. Думали, она — как арбуз, а она — как кормовая морковь; один вид, а вкус — деревянный!

Заявили воспитательнице: эту дылду жрать не станем.

— Это не дылда, а тыква, — поправила она.

— Все равно. Пусть ее Зорька с Машкой шамают или телята. Они глупые, не разберутся.

Регина Петровна рассмеялась, пригрозила:

— Еще добавку попросите!

— Не попросим! — отозвались братья. — И чего такие дылды на огороде место занимают! Большая — а дура... семечками набитая!

А Регина Петровна куски на протвешок и в печь на угли сунула. Пекла, колдовала и хитро помалкивала.

Во время обеда положила по кусочку: попробуйте! привереды несчастные.

Братья подумали, отщипнули. И еще отщипнули. Каждый ломоть подрумянился, набух, стал ароматным, сладким. Липкий мед по корочке тянется... Вкуснотища, словом.

Съели братья, посмотрели на противень: столько штук осталось? Регина Петровна погрозила пальцем, но добавок дала. Гордые братья сами бы не попросили. Вот это был праздник — сплошное обжиранье!

Колька пальцы вылизал и заявил:

— Хорошо, что на Кавказе такая дылда растет!

Это он Кавказ так похвалил. А заодно и тыкву. Сашка промолчал. Но про себя отметил: в этом деле они маху дали. Опозорились. Из молока делала Регина Петровна сметану, творог в мешочке из марли вывешивала. Давала пить. Только молочное у братьев не пошло. Пили и морщились. Старались удрать из-за стола.

— Глупенькие вы мои, — уговаривала Регина Петровна, разливая по кружкам парное молоко. — Вы своего счастья не понимаете! Это же лучшее, что придумала для нас природа!

— А мы без природы, — упрямо произносил Колька. И Сашка кивал. — Мы сами по себе.

— Так вы и есть природа... Вы еще какая природа: стихия! — смеялась Регина Петровна и садилась пить сама. А чурек ломала на кусочки для каждого. — Отчего, скажите, пожалуйста, вы, когда вас много, такие неуправляемые? Вы же, как пыльная буря, — не удержишь, не успокоишь... А когда вас двое, — еще им по кусочку чурека, — вы другие, и лучше. Не совсем, конечно. Но лучше, лучше...

— Без шакалов хорошо, — объяснил Сашка. — А вот они приедут — так все расшарапят. И дылду, и молоко, и чуреки...

— А сами? — спросила Регина Петровна. И вытерла белые губы и белые носы у мужичков. Они лакали молоко, как котята, язычком, из блюдец.

— Что... Сами?

— Будто не знаете? — сказала Регина Петровна.

Сашка хотел сказать, что не знает, но запнулся. Они вчера заначку с Колькой сделали. Положили туда три чурека, думали, воспитательница не заметит. Еще муки в бутылку набили.

Регина Петровна сметала со стола крошки, но видно было, что ждет она от братьев ответа. Как соловей лета. Черные брови свела — сердится, значит. Насупясь, присела и, подперев щеки руками и глядя мимо них, стала говорить, что вот, думала она, живут семьей, да все у них общее, и все свое... А кто-то по-шакальи ведет себя, то есть сам у себя ворует. Тырит, кажется, так называют.

И это ей, Регине Петровне, ни в жизнь не понять. Как можно у себя со стола украсть?

Братья, не произнося ни слова, встали и пошли. Сперва к лугу, чтобы посоветоваться, потом к заначке.

Вернулись и все добро, то есть чуреки и муку в бутылке, положили на стол.

Больше об этом не вспоминали.

Накануне дня рождения Регина Петровна поставила тесто для пирога. И дылду пожелтей попросила прикатить с огорода. И за стадом присмотреть. И за мужичками.

Сама же запрягла ишачка и уехала на станцию. Вернулась не скоро: выложила на стол две железные банки тушенки. Выменяла на молоко у проходящего поезда.

Верней, так: тушенка была одна, а в другой, овальной баночке с ключиком на боку, была американская консервированная колбаса.

Братья уже знали: всунешь ключик в петлю, покрутишь — и крышка по шву расползется, а под крышкой... Мать честная, вот праздник так праздник! Ради таких банок братья готовы каждый день свое рождение терпеть!

Кузьмёныши от стола не отходили, все приглядывались, принохивались к баночкам, все поглаживали их сверкающие холодные бока. Пытались лизать, но вкус у железа был самый что ни есть железный, щипало язык, и только.

Вдруг приехал на телеге Демьян, хоть его никто не звал. Про день рождения он, конечно, не догадывался, но привез кусок сала в тряпке и банку джема: у своих, у заводских, выпросил.

Регина Петровна встретила Демьяна сдержанно, а джему обрадовалась: настоящий сладкий пирог будет!

Братья же посмотрели на джем снисходительно. Их такими банками не удивишь. Вот если бы в их заначку тушенку добавить или колбасу в овальной банке с ключиком! А то сожрут зазря, и Демьян поможет. Ишь, нюх-то у него — прямо к тушенке поспел.

Демьян же, хоть вроде приехал по делам, у кухни крутился. Регине Петровне мешал. О хозяйстве своем что-то ей рассказывал, как картошку засыпал, как арбузов замочил, а яблоки здешние он ругал, а хвалил те, что у него на родине антоновкой зовутся.

— Я мужик умелый, полезный, только бабы нет, — толковал он, глядя в спину Регине Петровне. — Я и за себя, и за бабу могу, но все равно без хозяйки хата как без

печки. Все есть, а тепла нет. Да и вам, гляжу, с двумя крохотулями-то нелегко... А?

Регина Петровна, не оборачиваясь, колдовала у горящей печечки, у таганка, и ничего не отвечала.

Но вдруг попросила закурить:

— Сделайте мне эту... "ножку"...

Руки у нее были в тесте, и Демьян, скрутив "ножку", сунул ей в рот и камышинку поднес горящую. При этом вопросительно глядел ей в глаза.

Регина Петровна пыхнула дымом, покосилась в сторону Кузьмёнышей, стороживших тут же.

— Я жена летчика... Знаете, что это такое? Это профессия... — сказала она. — У нас в городке до войны так и говорили: ее профессия "жена летчика". Провожать... Ждать. А потом снова провожать... Когда мы сходились, мы были чем-то похожи, жены летчиков: у кого-то о тряпках, об украшениях, а мы — о самолетах да о полетах. Чей муж летал на Север да чей в Америку... Это было тогда модно. И всегда — о войне. Потому что самолеты эти возили бомбы, они так и зовутся — бомбовозы, и хотя это был военный секрет, мы все знали о самолетах: сколько бомб он везет, какая скорость и куда полетит в случае чего.

А потом, когда началось, их сразу под Ленинград, и они полетели Берлин бомбить. Оттуда короче было. С первого вылета он вернулся, я его встречала. Мужички у меня тогда совсем-совсем крохотные были. А в семьи тех, кто не вернулся, надо было нам, женам вернувшимся, идти. Так было заведено. Вот что страшно-то — идти в дом, где еще ничего не знают. И делать вид, что зашли случайно.

А потом был второй вылет; Сталин лично им приказал. Для эффекта. А там уж приготовились, это первый раз фашистам в голову не пришло, что мы осмелимся к ним летать... И жены других летчиков ко мне пришли... Наш летный городок перебазировался в тыл, немцы подходили, а мне за летчиками ездить уже ни к чему было. Вдова, да еще с таким хвостом...

Регина Петровна сплюнула "ножку" на землю и затоптала ногой.

— Пошла в детдом, где чужие, там и свои, легче управляться. Да и голод! А потом решила сюда... Подумалось, тут-то легче будет...

Зашипело, переливаясь через край кастрюли, Регина Петровна охнула:

— Сбежало! Ну вот, до чего разговоры-то...

Она подхватила, бросилась к печке, и Демьян за ней поскакал, пытаясь помочь.

— Давай поддержку! Поддержку! — зачастил он, суетясь около хозяйки. — Я умелый! Я сам что хошь сварю! Ты не думай!

Регина Петровна справилась с огнем, вытерла лоб тыльной стороной руки, спросила:

— А картошку, Демьян Иваныч, вы почистить можете?

Тут же лысого Демьяна засадили за картошку, а Кузьмёнышей, которые ревниво следили за банками на столе, но и за мельтешащим гостем, погнали за топливом. Сушняк да кизяки собирать. Дров сегодня требовалось много.

— Ишь, — произнес Колька, оглядываясь, когда ушли они подальше, за огород. — Увидел, небось, тушенку, так и прилип к кухне... Я умелый! Я умелый! С тушенкой-то все мы умелые! Облысел от своей умелости-то!

— Плешивые, они хваткие, — подтвердил Сашка.

— Пусть свое хватает!

— Он не банку схватить-то хочет!

— Не банку? Дылду, думаешь? — спросил Колька.

— Не-е... Это мы, дылды, ничего не поняли! Когда он про свое хозяйство начал нудить...

— А что понимать? — удивился Колька. — Облезлый, говорит... И без печки.

— Облезлый-то он облезлый, — подтвердил Сашка. — А как завернул насчет печки, я его сразу раскрыл... Он жениться хочет!

Колька тупо уставился на своего брата. Даже про кизяки свои, которые — дерьмо, забыл. Так его поразило Сашкино открытие:

— На ком же?

— На ком... Эх, ты!

Колька недоверчиво помолчал. Обдумывал новость неожиданно вывел:

— Так он же старый! Ему тридцать, небось...

— Ну и что? А ей?

— Регина Петровна другая, — сказал Колька уверенно. — Она красивая. На ней женится генерал... Или маршал...

Колька подумал и поправился:

— Пожалуй, мы сами на ней женимся.

— Нас она не возьмет, — отмахнулся Сашка.

— Это почему?

— Дурак ты, Колька! — крикнул Сашка сердито. — Ну как ты можешь на ней жениться, если ты еще не вырос?

— Так я же вырасту! — буркнул упрямый Колька.

— Пока ты вырастешь! Придет вот такой облезлый да умный, попрыгает, попрыгает рядышком, про печку расскажет, про картошку... А потом и увезет!

— А я не дам! — сказал Колька. — Я его убью!

— Демьяна-то?

— Ну отравлю! Я ему в пирог белены положу, — упрямо талдычил Колька. — И лошадь его отравлю.

Он посмотрел в ту сторону, где виднелся за кустами синий дымок кухни, заорал изо всех сил:

Хорошо тому живется, у кого одна нога,  
И портчирина не рвется, и не надо сапога!

Отсюда, издалека, его, конечно, плешивый Демьян слышать не мог. Да и легче от Колькиного крика братьям не стало.

## 24

Но праздник есть праздник, согласились — терпи.

Да к тому же, когда братья вернулись, когда увидели свою Регину Петровну, которая принарядилась, платье надела и — никакого внимания лысому Демьяну, а смотрела только на Сашку с Колькой, они так и поняли: замуж? За этого? Да ни за что на свете! Пусть трижды умелый! Покрутится, покрутится да и уберется домой, как последний шакал!

А Кузьмёныши тут, при ней останутся.

Из-за переживаний не сразу разглядели Кузьмёныши, какой стол им приготовили. Вот это был стол! Если бы всю заначку их выложить, до единой баночки, все равно не было бы такой красоты, какую они увидели на том столе.

В мисочках, а то и прямо на лопушках — небось, Регина Петровна со своими мужичками придумала — красовались на столе, застеленном белой простыней, всяческие небывалые продукты. Тут были румяные лепешки из кукурузы, нежное, в крупинках соли, сало, украшенное колечками лука, колбаса из консервной банки, нарезанная тонкими пластинками, розоватыми на срезе, соленые огурцы с прилипшим укропом, помидоры, чеснок и ломти их любимой дылды. Ломти были хорошо пропечены, с угольками на боках и выступившим вязким медом.

А еще на столе лежали кусочки сахара, сверкающего гранями, как гора Казбек. А еще отдельной россыпью подушечки кофейные, а еще стоял джем.

А еще: пирог.

Вот о пироге надо бы сказать отдельно.

Это был круглый, многослойный, а потому высокий пирог, еще теплый, как говорят — он дышал!

Верх пирога был украшен сливами и кусочками яблок по кругу, а в центре белым молочным кремом было выведено крупно: "КОЛЯ, САША, 17.10.44 г. УРА!"

В этот пирог, будто свечечки, были воткнуты одиннадцать золотых камышинок.

Наверное, это не все, что успели схватить взглядом ребята, а им уже предложили садиться — первыми! — за такой волшебный, неправдоподобный стол.

Они вдруг оробели!

Никогда не терялись они при виде жратвы, знали: раз лежит, надо хавать. Попросту — жрать. Потом не будет. А тут устали и не знали, как подступиться.

У Сашки по спине вверх-вниз мурашки забегали, холодно от волнения стало. А Колька чуть мимо скамейки не сел, осоловел от всей этой нечеловеческой картины.

Наконец уселись. И мужичков усадили. А плешивый Демьян боком, ему мешала деревянная нога, приспособился.

Откуда-то из-за спины он извлек бутылку самогона, ухмыльнувшись (не знал про рождение, а бутылку-то припас, лысый оборотень!), налил в стаканы себе и воспитательнице. Она не отказалась. Хотел он и ребятам плеснуть, но Регина Петровна сразу сказала: "Нет. Им этого не надо".

Знала бы, как они у Ильи тогда залились! "По машинисту"!

Она сходила в погреб, принесла закрытый в банке сок, отерла стекло тряпкой и налила братьям в кружки. А из одной — первая же отхлебнула.

— Вот что им надо! — произнесла. — Пейте, но не все сразу. Договорились?

Братья одновременно кивнули и посмотрели ей в глаза, темные, мерцающие, огромные и глубокие, аж дух захватывало! В самое нутро их посмотрели.

Но Регина Петровна выдержала их взгляд и спокойно улыбнулась в ответ. Так, как всегда улыбалась.

И стало ясней ясного, что никакого лысого нам не надо! Не на таковскую напал! Приезжайте чаще, без вас веселее! Так бы им всем и сказать! Плешивым, хромым, облезлым... Всяким! Всяким!



Регина Петровна зажгла от печки камышинку и все те камышинки, которые были воткнуты в пирог, тоже зажгла.

А потом сказала:

— Дуйте!

— Чево? — спросили братья.

— Дуйте на огонь! — крикнула она громко. — Ну?

Братья подули, привстав. И погасили. Только дым вился над столом.

— Настоящие мужчины! — сказала торжественно Регина Петровна. И с чувством подняла свой стакан. — Ну, мальчики, я вас поздравляю. Будьте хорошими, здоровыми, такими, которых, как сейчас, всегда бы я любила! Заступниками моими!

Братья посмотрели друг на друга. Вот главное, что они хотели услышать. Она их любит. А лысых не любит. И стали пить кисловатое вино. Оно вдруг им понравилось. Так что все выдули, еще попросили.

— Это же не сок! — закричала Регина Петровна. — Это же вино! Его ведрами не пьют!

— А мы пьем! — крикнул в ответ Колька. — Это теперь каждый месяц так будет? Да?

— Что будет? — спросила Регина Петровна.

— Праздник? Который в рождение?

— Ишь какие! — воскликнул Демьян, хлопнул ладонью по своей деревяшке и засмеялся.

И воспитательница засмеялась.

— Нет, милые мои, — сказала. — Это раз в году... Но зато — всегда.

— Всегда? — переспросил Колька. — И когда двадцать лет будет?

— Конечно. И когда тридцать, и сорок...

— Мы тогда старые будем, — вставил Сашка. — Мы забудем все.

— Ничего вы не забудете...

Регина Петровна легко, как девочка, подскочила, скрылась в мазанке и почти сразу вернулась, неся что-то в руках. Подошла и положила каждому брату на колени по свертку в газете.

— А это от нас... И от мужичков тоже.

Присела, глядя разгоревшимися глазами на ребят. Она была и вправду сегодня ослепительная, в нарядном платье, и волосы ее были красиво уложены узлом. А на шею она повесила красные бусы из каких-то собранных ягод... Даже Демьян крякнул, заглядевшись. И стал смущенно сворачивать свою козью ножку.

В любое другое время это не прошло бы мимо братьев, но сейчас они были заняты свертками.

Никогда не получали они подарков. Кроме того случая, когда всучили им по одному сухарику и жмени семечек, сказав, что у них праздник... Сухарик проглотили не жевая, семечки изгрызли, а праздник тем и запомнился, что еще хотелось! Да не дали!

Теперь они не знали, что со свертками делать. Разворачивать или не разворачивать, а может, поскорей их отнести в заначку да спрятать! Пока не отобрали!

Регина Петровна все поняла:

— Мы сейчас вместе посмотрим, что там...

Она взяла сверток у Сашки, который сидел ближе, и развернула газету.

А там, сверху, лежала рубашка, новая, голубая, с воротником и с пуговицами. А под рубашкой лежали штаны. Тоже голубые. С карманами. А еще там были ботинки, желтые, высокие, с желтыми шнурками, с широким языком. И еще платок в клеточку: как тетрадь по арифметике, и круглая шапочка с цветными узорами. Шапочку называли тибетейкой. А Сашка сразу сказал: "Тютюбейка" И все дружно засмеялись.

Только Колька вдруг сморщился и тихо-тихо шепнул, почти пискнул в миску: "А мне?"

Он забыл, оказывается, что у него на коленях такой же сверток.

И все опять тогда засмеялись и стали разворачивать его газету, и там все оказалось то же самое, но другого, уже зеленого, цвета.

Ребят попросили примерить подарок на себя.

Напряженно сопя, с оглядкой, они ушли за угол и стали одеваться.

И хотя при этом братья не сказали друг другу ни словечка, они знали, что каждый из них думает и переживает.

У Сашки спина чесалась от волнения, даже красные пятна выступили, это Колька заметил. А у самого Кольки вдруг задергалась левая нога, и он никак не мог попасть ею в штанину.

Он сказал подавленно:

— Иди первый! Ты умный!

А Сашка ответил:

— Ты тоже не дурак! Чего это я пойду?

— Я боюсь, — тогда сознался Колька. — Я никогда так не ходил.

— И я не ходил. Думаешь, личит? Или — не личит?

Колька посмотрел на Сашку и зажмурился. "Ни фига себе, — подумалось, — каждый день так ходить. В глазах рябит. И вообще, не одежда это для колониста, сопрут сразу. Кто увидит, подумает, что они не колонисты, а какие-нибудь жулики! Разве у нормального человека может быть столько на себе добра! Показаться бы — да в заначку! А потом на барахолку! С руками спекулянты оторвут!"

Но Колька ничего подобного не сказал, он будто себя увидел со стороны. Произнес, вздохнув:

— Красивый.

— Ты тоже!

— И это... Как будто не ты, а фон-барон!

— А у тебя хрустит? — спросил Сашка.

— Где?

— Везде. И жмет еще... Может, пуговицы оторвать?

— Оторвать можно, — сказал, подумав, Колька. — Только жалко. Они вон как блестят!

Переговаривались бы долго, медля выходить. Но все пришли к ним сами. Демьян озадаченно развел руками и произнес чудное. Он сказал: "Да-а. Как антилегенты!" Мужички замерли от восторга. Регина Петровна захлопала в ладоши, заплясала на месте.

— Ну, мальчики! — воскликнула она. — Какие же вы настоящие братья! Только теперь я совсем вас не узнаю! Ты Колька? Да? — и она ткнула пальцем в Сашку.

Ребята засмеялись. А Регина Петровна ничуть не сконфузилась. На этот раз она шутила.

— Пойдемте за стол, — приказала бойко, все оглядываясь на братьев, будто боялась, что они сейчас сбегут. — Как начнете есть, так я и пойму... "ху из ху"?

Лысый Демьян при этих словах почему-то засмутился и предложил выпить еще.

Потом они ходили гулять, и, завидев стадо, Демьян изобразил им фокус. Он зажег сигарку и показал издалика козе. Коза тут же подбежала и взяла сигарку в рот. Из ноздрей у нее пошел дым... А потом она съела сигарку, и все из нее шел дым!

— Ах, зачем вы издеваетесь над бедными животными? — спросила Регина Петровна. Но она была весела и произнесла это без упрека. — Лучше давайте придумаем клички для наших телят.

Первыми предложили придумывать братьям, они ведь именниники!

Братья, не медля, одного бычка, самого жадного, называли Шакалом, другого — Оглоедом, а двух телок — Халявой и Обормоткой.

Регина Петровна кличек не одобрила, но ничего не сказала. Как могли, так и называли. Зато других двух бычков она предложила назвать Кузьмёнышами.

— А разве можно? — спросил Сашка.

— А почему же нет! Телята как телята. Дружные, себе на уме. А если тырят, то возвращают. Хорошие телята, в общем.

Пока спорили, хромоногий Демьян подмигнул и ушел в дальний конец огорода, в заросли. Вдруг он появился оттуда с громадным арбузом.

Кузьмёныши сперва подумали, что у него в руках дылда, а потом разглядели: полосатый! Да это ж арбуз! Настоящий арбуз!

И все тогда стали плясать, и мужички запрыгали, прося только дотронуться до арбуза.

— Откуда у вас? — спросила приятно изумленная Регина Петрова. — У вас тоже заначка? Да?

Демьян ухмыльнулся и покачал лысой головой:

— Дык я про арбузную грядку забыл сказать... А как уехал, все прикидывал, как вот энти... — кивнул на братьев. — Найдут аль не найдут. А они — хоть опытные искатели, а проглядели!

Кузьмёныши посмотрели друг на друга и одновременно подумали, что прошляпили грядку с арбузом, это уж и правда позор! Все вынюхали: тростник сахарный, и ореховое дерево, и вот эти ягоды, что стали бусами. Оказывается, их барбарисом зовут. Но арбузы, да еще такие... Ну, лысый обормот, наказал так наказал! Опозорил братьев на всю колонию! Хоть, может, и врет, привез из дома, а теперь хвастает!

Но Демьян и сам понял, что переборщил с подначкой своей. Уже принесся арбуз на стол, он отрезал по куску всем, а братьям дал самую сладкую серединку.

— Небось, такого и не едали!

— А он не железный? — спросил Колька дурачась.

— Чево? Какой такой железный? Арбуз как арбуз!

Тогда братья сказали, что анекдот есть такой... Они могут рассказать, как встретились два приятеля-враля...

— Ну, расскажите, — попросила с удовольствием Регина Петровна.

Братья встали, повернулись друг к другу.

Колька. И где только я не бывал... Во! Везде бывал!

Сашка. А в Париже ты бывал?

Колька. Бывал.

Сашка. А Фелевую башню видал?

Колька. Не только видал, но и едал!

Сашка. Как — едал? Так ведь она железная!

Колька. М-да. А ты на Кавказе был?

Сашка. Ну, был.

Колька. А кумыс пил?

Сашка. Чево?

Колька. Кумыс, говорю, пил?

Сашка. Ну, нет... Не понимаешь! Он железный!

Братья и все вокруг засмеялись. А мужички хоть и не поняли, но захлопали в ладоши. А Регина Петровна похвалила, только поправила: не Фелева, а Эйфелева башня. Эйфель ее построил.

Заначенный арбуз был отомщен, и братья с удовольствием его съели. Уж теперь-то они не упустят заветной грядки! Весь камыш разгребут, но арбузы разыщут. Если Демьян не враль! А если враль, то, значит, анекдот прям про него!

Регина Петровна это поняла. Но ей хотелось, чтобы такой день закончился мирно. Она предложила спеть. Какой же праздник без песни?

Братья сразу согласились. Лихо завели:

Сижу, гляжу в тоске и вспоминаю я,  
А слезы катятся из глаз моих,  
А слезы катятся, братишка, потихоньку  
По исхудалому лицу...

Но Регина Петровна махнула рукой, будто отодвинула их вместе с песней. Она запела свое:

Ехали казаки с ярмарки до дому,  
Пидманули Галю, забрали с собою,  
Ой ты, Галю, Галю молодую.  
Пидманули Галю, увезли с со-бо-ю...

Тут откашлялся Демьян, прочистил горло и вдруг вступил, да так пронзительно, тонко, высоко, что у братьев дух захватило:

Едем, Галю, с нами, с нами, казаками,  
Краше тебе буде, чем родная хата-а...

И Кузьменыши, и Регина Петровна радостно подхватили:

Ой ты, Галю, Галю молодую,  
Пидманули Галю, увезли с со-бо-ю!

А лысый Демьян куда-то ушел и вернулся с балалайкой. Балалайка была непривычная, таких не видели прежде братья, с длинной-предлинной ручкой.

— В избе нашел, — похвалился Демьян и потрынькал на трех струнах. — Чечня развлекалась, а звала, говорят, деревянной гармонью... Темные люди и есть! Какая же она гармонь, если она балалайка. Тонкий струмент! К ней особенность нужна!

Пьяно усмехаясь, он снова провел по струнам, извлекающая туповатые короткие звуки, и вдруг ударил всей ладонью и, закатив глаза вверх, высоким голосом запел:

За рекой на горе  
Лес зеленый шумит,  
Над горой, над рекой  
Хуторочек стоит,  
В том лесу соловей  
Громко песни поет,  
Молодая вдова  
В хуторочке живет...

Пропел, сделал паузу и посмотрел на Регину Петровну. И снова пьяно усмехнулся. Глаза его блестели.

Демьян пел вроде бы негромко, но лихо у него это выходило. Он будто пел про Регину Петровну, про себя и про этот их домик, куда он, будто в хуторок, приехал погостить... Кузьмёныши от зависти приподнимались на цыпочки, шеи вытягивали, стараясь заглянуть Демьяну в рот... Так сильно, так гладко управлял он своим красивым голосом. И чеченская балалаечка с тремя струнами играла-переливалась на русский манер под его рукой. Вот чудно-то!

В этот момент все братья ему простили, обормоту хитрому: и значенный арбуз, и козу с сигаркой, и даже его приставания к воспитательнице Регине Петровне.

И вот что потрясло ребят: оказывается, и не тюремную песню, а про какую-то там вдову можно петь так, что пробирает мороз до косточек.

Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали. Особенно же к концу стало им грустно. Оба могли и заплакать, да уж это было бы слишком... Это когда вдова посадила за стол купца с рыбаком, которые стали песни играть, а в это время молодец-то в окошко все высматривал, все терпел, терпел... А потом не выдержал да и убил их всех! Как чечен какой. Так по Демьяновой песенке выходило.

И с тех пор в хуторке  
Уж никто не живет,  
Лишь один соловей  
Громко песни поет...

Все молча сидели, потрясенные то ли историей такой ужасной, то ли таким смелым, таким лихим молодцом, что из-за любви убил вдову... Мужичков Регина Петровна уехала спать. И вернулась. Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом. Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут. Если будет у них еще время понять!

Боже мой, как жизнь коротка и как тяжело думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все, все знаем...

Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда я тогда по-настоящему только и родился? Я глядел по сторонам, желая выявить эту разительную перемену мира. Но все было как было: и небо, размытое к вечеру, но чистое, ни облачка. И теплые, нагретые за день травы, и запах сухой, полынный, горьковато-грустный от жесткой здешней земли. И смиренная лошадь Демьяна, что паслась невдалеке, — темный силуэт на фоне гор, но не летящий, не распластаный, как на знакомой картинке, а смирно опущенный мордой вниз, — дополняла нашу идиллическую картинку. Я знал, я наверняка знал, что так не бывает, а если и бывает, то не к добру, уж слишком хорошо, чтобы потом не было еще хуже. Но именно тогда, предчувствуя всякое недобро, я впервые вдруг понял, что я живой, что я взаправду существую, а потом я умру. Это щемящее чувство скоротечности того, что я только что узнал, меня поразило на всю жизнь, как удар молнии, как осколок в самое сердце шоферицы Веры! Как не хотелось никогда умирать, Боже мой! Но только впоследствии я понял, прочтя некую научную статью, что во мне проснулся в то мгновение "ген смерти", который дан всем живым людям, но до поры до времени он себя не выявляет, а лишь в ранней юности в какую-то особую минуту... И потом уже на всю жизнь.

А дети, как и я до той поры, живут, не ведая ни о чем преходящем, и потому бессмертны они.

## 25

На следующее утро, ранехонько, лишь солнце из-за горы полоснуло, Демьян засобирався в обратный путь. Положил в телегу две желтые большие тыквы, камыша настелил.

Регина Петровна, завидев из окошка его сборы, вышла, на ходу торопливо застегивая на груди рубашку.

— Вы моих Кузьмёнышей не возьмете? — спросила. — Нам продукты получить надо.

В лицо Демьяну она не смотрела, держалась чуть-чуть отстраненно. А все из-за вчерашнего вечера, точнее же — ночи, когда Демьян напросился спать в мазанке на полу, якобы от холода, а потом полез в постель, будто бы перепутал по пьянке, а она его прогнала. Из мазанки прогнала. Он устроился на камыше возле крепко спящих ребят. Всю ночь чадил самокруткой, ждал рассвета. Вспоминал, как в госпитале под Бийском пришел он к реке топиться: в письме написали, что жену и двух детишек сожгли фашисты вместе с избой, а сам-то калеченый, никому не нужный... Его еще не списали по чистой, он при госпитальном хозяйстве был.

Так вот, пришел к реке, с удочкой вроде, за рыбкой, а вода там быстрая, не то что в равнинной России, круговерть да буруны. Да рев на всю округу.

Наклонился — голова кругом пошла. Ах, мать честная, и это не жизнь, если все внутри и снаружи выгорело!

А тут баба-врач, которая ногу ему пилой пилила, он-то кричал тогда... Как уж она оказалась на том берегу, гуляла, что ли? Увидела и говорит... "Хотите, — говорит, — спирту, Демьян Иваныч? Пойдемте, у меня припасено". Согласился. Хлобыстнул стакан — полегчало. Закурил. А она еще наливает: "Пейте, не бойтесь. Вы куда отсюда поедете-то?" Он принял еще полстакана. Буркнул: "Не знаю". А самому подумалось: "Чуть вот не уехал... В омут головой".

А она вдруг говорит, на Кавказе, мол, пустые земли богатые стоят. Мужика ждут. А чего бы не попробовать! Тридцать лет — не возраст, это у мужика вроде подросткового, все еще зарастет...



"Все, — повторила она. — А детей нарожать еще успеете и вырастить, хоть дюжину".

Была баба-врач еврейкой. Не старой, замужем. Муж, ссыльный, тут, при ней, а может, она при нем, на лесоповале вкалывал. Тоже не сахар, если посудить, жизнь у них. А он-то, Демьян, вольный, может, и правда выдюжит. Хуже, рассудил, не будет. Чего терять, в самом деле! И поехал, дивясь на непривычные горы, на землю, жирную, черную, ветку воткнешь — а она уже цвести хочет!

Чужую хату, неведомо чью, привел в порядок, подвал выкопал, дорожку к дому камнем уложил и тополем по обеим сторонам засадил...

Сарай отремонтировал, колодец почистил, самогону, как в своей деревне, наварил бутыль. Оглянулся — все есть, а чего-то не хватает! Ему? Да ему вот горсть кукурузы и корочка хлеба нужны. Больше ничего и не надо. Это надо, когда тут живут, когда дети бегают, животная скотина мычит и кукарекает, и тебя встречают у порога с кувшином, и воду льют, и смотрят, как ты, фыркающая, смываешь пот с лица от дня работы.

Стал попивать. И все один. И опять ему омуток привиделся. Закрыв глаза — и нет ничего. Как и не было. Вот в чем дело. Это лишь иллюзия, что показалось, что живой... Оживел... Баба-врач хоть и мудрая женщина, но и она не все во внутренних рассмотрела. Вот к чему он пришел. Когда ехал первый раз на подсобное хозяйство, все на рельсы поглядывал, часто ли поезд проходит. Омуты тут нет, так рельсов сколь хошь. Лег — и вся недолга. Тем более и поезд пролетал, лишь эхо от него до гор и обратно.

А на подсобном вдруг — воспитательница с детишками.

— Так возьмете, Демьян Иваныч? — спросила она, щурясь от встречного солнца.

Красивая баба, ладная, и все в ней крепко: и грудь, и руки, и ноги, а волосы как у ведьмы, можно вокруг узлом завязаться. Да еще и лицо без помады, жаль, дуреха, курит. Так это можно и отучить. Кнутом или еще как.

— А сама чево? — грубо поинтересовался он. — Аль напужал, что не доверяешь? Думаешь, вертопрах Демьян! Развратник такой-сякой? Да?

— Ну, почему так... Я вам верю, Демьян Иваныч. Да сама, видно, так устроена, что... Вот, глупая такая! — сказала она и все щурилась от солнца, и на него не смотрела.

— А у меня мальчик заболел... Переел он, что ли, всю ночь несло. А то бы, конечно, сама поехала. Мне как раз не хочется именинников посылать! Боюсь за них!

Она стояла виноватая будто. Стало жалко ее.

— Я вам попку привезу, — сказал. — Меня бабка моя еще научила: пленочку от куриного желудка сушить и молоть, так полкой и зовется: от любых поносов и расстройств лечит...

— Спасибо, — тихо сказала Регина Петровна.

И все стояла, ждала.

— А ребят чего не взять? У мене телега большая. Вот обратно как?

— Обратно не сможете?

Он прикинул:

— Два конца — день. Не отпустят ведь.

— А вы до станции! — горячо произнесла Регина Петровна. — До станции лишь довозите, а я на ишачке встречу... А?

Тот крякнул, потер лысину. Повернулся и направился к телеге. Не оборачиваясь, бросил на ходу:

— Дык будите! Время у меня уходит!

Регина Петровна заспешила, стала поднимать братьев. А они вчера ухайдакались, спросонья ничего не разберут. Растормошила, полила водой, чтобы умылись, велела поесть что-нибудь. Но они от еды отказались.

Сунула им два матерчатых мешочка для крупы в сумку, а сумка для хлеба. Еще туда бутерброды положила, бутылку с молоком. В эту бутылку, если выйдет, они на обратном пути нальют постного масла.

— Запомнили? Не забудете? — спросила братьев.

Те кивали, зевая на ходу. Никак не могли проснуться. У каждого под мышкой сверток: вчерашний подарок с собой прихватили.

— А это зачем? — удивилась Регина Петровна. — Хотите в колонии оставить?

Братья помотали головой. Нет, не такие уж они дурачки, чтобы в колонию такое богатство везти!

— В заначку, что ли? — догадалась она.

Братья ничего не ответили. Ясно, что в заначку.

— Лучше оставьте, — посоветовала Регина Петровна.

— Никто вашу одежду не тронет. Я вам обещаю. Ну?

Братья переглянулись, отдали ей свертки.

— Езжайте... — и погладила их по голове, одного левой, другого правой рукой. — Если директор спросит, скажите, что живем тут нормально, все есть. Могут колонистов присылать для сбора...

— Да ну их! — сказал, отворачиваясь, Сашка. И Колька кивнул.

Регина Петровна проводила братьев к телеге и усадила сзади.

— Присмотрите за ними, Демьян Иваныч. Все-таки... Там беспокойно... А я, как договорились, завтра встречу.

Демьян порылся в соломе, откопал свою потертую кепочку, надвинул на самый лоб. Из-под козырька в упор глянул на воспитательницу. Глаза у него при утреннем свете были насквозь голубые, детские.

— А чево смотреть, там теперь нормально. Я когда ехал сюда, все как есть по-фронтовому оценил. наших бойцов в гору на машинах везли да везли. Столько везли, будто они окружение под Сталинградом делали. А обратно этих... черных... Вывозили...

— Вывозили? То есть как вывозили? — спросила Регина Петровна, вдруг побледнев. — Живых, надеюсь?

— Всяких! — отмахнулся Демьян. — Я вчера не хотел говорить, ни к чему было. Так, думаю, с ними покончили — жисть станет спокойнее...

Регина Петровна насупилась.

— Вы так, простите, будто радуетесь...

— А что мне, плакать! — взвился вдруг он. — Лучше мы их, чем они нас! Иль тебе, прости, по-другому хотелось? Мало страху тебе задали?

Регина Петровна покачала головой, посмотрела на ребят.

— Мне-то уж ничего не хочется. Но зачем же убийства-то?

— Видать, по-другому не могут. Гитлеру продались! Их довоенного прокурора генералом своим сделал! У них резать русских — это национальная болезнь такая!

— А если вас станут из дому выселять? — спросила тихо Регина Петровна.

— Дык мене выселяли, — усмехнулся вдруг будто легкомысленно Демьян. Но вряд ли было ему смешно. — За лошадь, шашнадцать лет было. В кулаки записали. Ничево. Отдал. Сказал: спасибо. Без нее легче стало. Вот, на колхозной ежжу... Зато живой!

— Не знаю... Мы не о том говорим, — вздохнула Регина Петровна. — А вы просто на войне ожесточились. Все ожесточились. Оттого и страшно... Так вы поберегите, пожалуйста... Слышите?

Демьян отвернулся, чмокнул лошади.

Братья сидели обнявшись, свесив ноги с телеги, и смотрели на Регину Петровну.

— Я завтра к обеду-у приеду-у! — крикнула она вслед и помахала рукой.

Братья разноголосо откликнулись: "Ла-но!"

А Демьян не отвечал и не оглянулся. Будто его уже это и не касалось. Он правил, поглядывая на дорогу из-под козырька, и молчал.

Всю дорогу промолчал.

Братья догадались сразу, отчего молчит: ему от ворот поворот сделали! Хоть он и поет мирово, но не жених! Ясно!

И когда зашли братья в кукурузу, за обочину, по нужде, Колька так и сказал:

— Бортанула она его... Лысого!

— А мне жалко, — отвечал Сашка. — Поет он мирово!

— А нас директор не бортанет сегодня? — перевел Колька разговор на другое. — Письмо-то при нем!

— Забыл, небось... Там не до нас!

— Главное, заначку забрать, — сказал Колька. — Я считаю, что нужно драть.

— А Регина Петровна?

— А что Регина Петровна? Она ведь после рождения обещала!

— А вдруг не поедет?

— Ну и что?

— Ее жалко...

— Не жаль! Тут теперь вокруг жалельщиков много!

Сашка стал застегивать портки, разнервничался, аж пуговицу оборвал. Сказал, выходя на дорогу:

— Как хошь, я ее не брошу.

— Совсем?

— Как — совсем?

— Ну, совсем? — переспросил пораженно Колька. — Со мной? Не поедешь?

Сашка кивнул.

Называется, поговорили. Впервые за всю их жизнь выяснилось, что могут они по своей воле расстаться.

Колька ушам своим не поверил. И если бы сказали ему — не поверил бы! Их разделить нельзя, они нерасчленимые, есть такое понятие в арифметике... Это про них как раз!

Колька понял, что Сашка свихнулся. Хорошо, если ненадолго свихнулся, а если... Но он отбросил мрачные мысли, а Сашке сказал:

— Приедем, тогда решим. Договорились? — и отдал ему серебряный ремешок вместо пуговицы. Тот, что Регина Петровна подарила.

— Договорились, — согласился Сашка. Может, он думал, что это не он, а Колька переменит решение. Но ремешком подпоясался.

Потом они прилегли на телеге и, обнявшись, уснули.

Проснулись в сумерках и сразу не поняли, где находятся.

Телега была распряжена, а лошадь паслась рядом, среди кукурузных зарослей. Сам Демьян отчего-то сидел на земле и озирался по сторонам. Лицо его было растерянным, даже бледным.

Братья подняли головы, почесываясь, глядя вокруг.

— Эй! — негромко позвал Демьян и поманил их рукой.

— Сюда идите... Только тихо, тихо!

Братья нехотя спрыгнули с телеги, подошли.

— А где колония?

Но Демьян странно замахал руками, показывая, чтобы они подошли еще ближе и присели.

— Заболел, что ли? — спросил, удивляясь на такое поведение, Сашка.

А Колька добавил:

— А я тоже вчера обожрался! У меня в животе целая музыка! Оркестр со струей!

Ребята загоготали, а Демьян оглянулся, зацыкал на них:

— Ти-хо! Тихо, я сказал... Там ваша колония! — и показал рукой в сторону. — Только там... это... пусто!

— Как — пусто? — спросили братья, уставившись на Демьяна. — Что — пусто?

— Пусто, да и все! — отрезал шепотом он. — Сходите, если хотите. На дорогу не высовывайтесь.. Поняли?

— Нет... А что?

— Я говорю, чтобы осторожнее, ну! Посмотрите да возвращайтесь. Я вас тут подожду.

Братья постояли, тупо размышляя.

Ни до чего они не додумались. Повернули, не сговариваясь, пошли. Шли свободно, как гуляли, места были теперь знакомые, свои. Хотя прежде-то зудело сбегать к зачке: жива ли, родимая? Цела ли?

Метров через пять-десять кукуруза поредела и стала видна колония: большой двухэтажный дом. Удивляла

тишина. Не слышно было ни одного голоса, а уж здесь всегда стояли ор, и крик, и визг, слышимые за километры.

— Полезешь? — спросил Сашка, показывая на лаз.

— А ты?

Они перешли на шепот, хотя не было еще причин чего-то бояться. Просто в той тишине не получалось говорить громко. Что касалось Демьяна, то ребятам в последнюю минуту, когда он сидел в странной позе на земле, показалось, будто он после вчерашнего дня еще хлебнул и не очухался. Может, ему не только пустая колония, но и чертики зеленые виделись в траве?!

Братья, пыхтя, прокорябалась через свой лаз и оказались у задней стены двухэтажного дома.

Тих был дом, никто не торчал в окнах. Может, на обеде все? Может, в поле на уборке?

Они прошли вдоль стены дома, завернули за угол и замерли.

Колька, который шел сзади, налетел на Сашку. Оба пораженно оглядывали свой двор. Станный был у этого двора вид. Он был завален барахлом, будто в эвакуацию. Могло показаться, что собирались удирать: вынесли, навалили горой и койки, и матрацы, и столы, и стулья, а потом все бросили да сбежали.

И — тихо. Какая-то неживая тишина. Только сверху, будто с неба, доносился равномерный колокольный звон: бом, бом...

Братьев передернуло. Как на похоронах все равно!

Медленно, с оглядкой пошли они по двору, под ногами хрустело стекло. Окна в доме были выбиты. Рамы выбиты. Двери, сорванные с петель, валялись тут же плашмя на земле.

В одном из проемов на втором этаже торчала кровать, ее голубая спинка. Пустая створка окна под ветром колотилась о спинку, оттуда неся этот печальный звон.

Сашка нагнулся, поднял жестяную мисочку, сделанную из консервной американской банки. Повертел, бросил. Она покатилась по стеклам, по земле и долго не падала, все катилась, катилась с железным дрынканьем, будто заводная. А там, куда она прикатилась, в десяти шагах что-то темнело на земле.

— Смотри-ка, — сказал Колька, вертя в руках находку.

— Это же пряжка... Пряжка от...

Он хотел сказать: "Пряжка от портфеля". Но не успел, потому что черный предмет на земле был сам портфель.

Тот, знаменитый, известный любому колонисту портфель, с раздутыми белесыми боками и двумя сверкающими застежками спереди — сейчас одна из них была оторвана, — который носил с собой Петр Анисимович. Всегда носил, не оставляя нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах!

Братья смотрели на этот портфель, и что-то до них, уже и так ошарашенных внезапной картиной разрушения, доходило.

Уж если сам портфель тут, а директора нет, значит, случилось не менее чем катастрофа.

Может, бомбежка какая? Может, немцы откуда-нибудь свалились? Может... Может...

Страх начал поселяться в них, пока беспричинный, неосознанный, он усугублялся тем, что ничего не было понятно.

Сашка присел, осторожно потрогал портфель руками, будто это был не портфель, а живое существо.

Но вдруг рядом что-то гроыхнуло. Колька дико закричал: "Атас! Бежим!"

И они рванули.

По стеклам, по фанерным дверям, по матрацам, распушившим свои соломенные, торчащие из нутра хвосты... За угол дома и сквозь лаз, не задев — вот чудо! — ни одной из колючек. Они вломились в кукурузу, валя по пути хрусткие стволы.

Что так напугало Кольку, да их обоих, они бы не могли объяснить. Разве что ветер рванул какую железяку и резанул по нервам!

Чем дальше они бежали, тем больше в них было паники, тем становилось страшней.

Им казалось уже, что они тут одни и нет никакого Демьяна. Что тогда они станут делать?

Но Демьян, к счастью, сидел там, где его оставили. Он лишь резко, испуганно обернулся, когда они появились.

Не вставая, не меняя положения, он посмотрел на них из-под козырька, в упор.

— Ну? Видали? — спросил и стал сворачивать свою козью ножку. Руки его не слушались, и махорка сыпалась на одежду и на траву.

Братья устались на его руки. От страха или от бега оба задохнулись. Теперь смотрели на его суетливые, непослушные руки и тяжело дышали.

Наконец Демьян закурил. Несколько раз он с силой втянул в себя дым, глядя в одну точку, куда-то за спины стоящих ребят. Отшвырнул самокрутку прочь и поднялся сразу, без помощи посторонних.

— Надо итить, — произнес хрипло.

Непонятно, к кому он обращался, к себе или братьям. Не произнеся больше ни слова, двинулся в заросли; было совсем незаметно, что он хромает.

Ребята рванулись следом, но в растерянности встали, оглядываясь на телегу с сумкой и на лошадь, которая паслась сама по себе.

Демьян оглянулся, рукой махнул.

— Шут с ними, — пробормотал будто опять не братьям.  
— Не до них! Свою голову надо спасать!

— Свою... Чево? — спросил Сашка.

Но Демьян сделал знак молчать, приставив палец к губам. И направился в чащу кукурузы, стараясь обходить каждый просвет, каждую поляну. С оглядкой, сторожко, как делают, наверное, на войне разведчики.

Они сразу поняли, что двигался он к Березовской. Значит, к дому.

К братьям он больше не обращался, не вспоминал о них.

Лишь однажды, когда Сашка по нерасторопности громко хрустнул веткой, резко повернулся и показал кулак:

— Тише, ну! Чтобы ни звука!

И тут же споткнулся Колька, загремел сухим стеблем.

Демьян вернулся, поманил ребят к себе, больно пригибая головы обоих братьев к земле. Прошипел зло, прямо в уши:

— Дурачки! Жить, что ли, надоело? Тогда, вон, дорогой ходи... Они шею враз свернут!

— Кто? — спросил Сашка, вытаращив глаза.

Никогда он не видел такого рассерженного, а скорей испуганного взрослого мужчину. Он-то всегда думал, что взрослые, да еще бывшие солдаты, бояться не могут.

— "Кто, кто"! — произнес все тем же злым шепотом Демьян. — А вы что — не поняли? Тут они! Рядом ходю... — и оглянулся по сторонам.

Отпустив братьев, он заковылял, но уже медленней, наверное, устал, да все они устали.

А Кольку еще мучил понос. В колонии бы сказали: во, со страху-то! Матрос, в штаны натрёс!

Он поминутно останавливался, садился и пыхтел, глядя в густеющих сумерках на уходящего Сашку жалобными



глазами. А Сашка хоть и знал, что Кольку не бросит, но спешил вслед за Демьяном, стараясь не упустить и его, поворачивая голову то вперед, то назад.

Сам же Демьян будто Колькиных мучений не замечал, да и самих ребят не замечал, он крался по кукурузе, приседая и озираясь, как вор какой.

В такой момент все и произошло.

Демьян был впереди, вдруг он прыгнул куда-то в сторону и пропал. Колька, который в очередной раз присел и мучился от приступа, хоть ни капельки из него уже не выходило, увидел, что Сашка бросился вслед за Демьяном, сверкнул серебром поясok дареный, его тоже не стало видно.

Потом вновь появился Демьян. Он ходко ковылял, топоча своей деревяшкой, уже не оберегаясь. Крикнул назад, наверное, Сашке:

— Не беги ты кучей! Рассыпья... Им ловить хуже!

Он с треском провалился в густую чашу кукурузы и пропал. И Сашка пропал, не появился. Колька остался сидеть один.

Все это произошло в мгновение. Он сообразить не успел. И штанов надеть не успел. Сбоку прямо над кукурузой появилась лошадиная морда. Сидя, как был, он смотрел на эту морду, а та уставилась красным недоверчивым глазом прямо на него. И вдруг там, над лошадью, — он сразу не заметил всадника, темную его тень, — зычно, гортанно пролаяло: "Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!"

Вот когда дошло!

Колька шмякнулся на землю и закрыл глаза.

Он слышал, как лошадь двинулась к нему, шумно раздвигая кукурузу. Она фыркала, дышала прямо в шею, и он, приоткрыв один глаз, увидел прямо у своего лица беспоконную, переступающую ногу, копыто, раздавившее хрупкий ствол. Этот стволик, отскочив, больно хлестнул Кольку по лицу, а крошки земли полетели ему на волосы, на спину.

Надо было вскочить и бежать. Он понял, что его нашли, сейчас его схватят. Но лишь шевельнулся, поднимаясь, как лошадь вдруг испугалась, храпнула и отпрянула резко в сторону.

На своих негнущихся, бесчувственных, как костыли, ногах, весь дрожа, Колька мелкой рысцей побежал по зарослям, поддерживая руками штаны. А где-то рядом, за спиной снова пронесся гортанный вскрик и лающее: "Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!"

А потом треск, шум, топот, грохот... Погоня.

Он бежал, смешно подпрыгивая и поддерживая штаны. Он не знал, преследуют его или нет, потому что, кроме своего собственного дыхания и треска сокрушаемой по пути кукурузы, он уже ничего не слышал. Потом дыхание его кончилось. И кончились его силы. Он упал в какую-то ямку и даже шевельнуться не мог. Неподвижность поразила его. Да и самого Кольки уже не было.

Он не слышал, как, обламывая стволы, прошла неподалеку от него лошадь и стала удаляться, пока не пропала совсем.

Когда пришел он в себя, было темно. Черно было кругом. Слово залепило глаза и уши.

Он ощупал свою ямку, но опять же не смог подняться. Тогда он стал руками и ногами копать под собою. Он загребал пальцами назад тяжелую, пахнущую перегноем землю и по-звериному отбрасывал, отпихивал ее прочь ногами.

Сколько он это делал, зачем — он не знал. Да он уже ничего про себя не знал. Когда он выбился из сил, он приник, вжимаясь в землю, в свою вырытую им ямку, и снова исчез из этого мира. Провалился в небытие.

## 26

Было утро, теплое, без единого облачка, без ветерка. В голубом, по-утреннему размытом небе четко вырисовывались близкие горы. Просматривалась каждая морщина на них. Снег ослепительно сиял на вершинах.

Какая-то серая птица, часто мельтеша крыльями, стояла, зависнув над полем, выслеживая добычу. Звенели кузнечики, попискивали птахи. Черной стаей прошелестели скворцы.

Было так обычно, так мирно, что все, случившееся вчера, воспринималось как дурной сон.

Если бы не ямка, которую Колька выкопал, да не следы лошади, глубокие, в пробитом среди кукурузы коридорчике, Колька бы так и решил, что все ему приснилось.

Вот бы проснуться на подсобном хозяйстве, на камыше, а рядом Сашка похрапывает. А Колька его кулаком в бок: слушай, какой сон-то я увидел... Будто за нами этот, ну... чечен на лошади гнался! А я без штанов от него! Вот смеху-то!

Но даже это происшествие со всадником не воспринималось так страшно, как вчера.

Уж очень было голубо и мирно. Не верилось, не представлялось, что в такое утро может происходить хоть какое-нибудь зло.

Колька отряхнул землю со штанов, осмотрелся, даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, в какой стороне Березовская. Но ничего, конечно; не увидел.

Попытался сообразить по солнцу и по горам, выбрал направление — верное, как ему показалось, — и пошел, не стараясь прятаться или пригибаться. Сашка и Демьян не могли уйти далеко и тоже, если догадаются, пойдут в Березовскую.

А может быть, они уже там? Сидят у колодца, пьют холодную воду. Ему тоже захотелось сильно пить.

Шел он и шел, отлепляя от лица густую паутину, которой была местами перевита кукуруза, и вспугивая жирных черных птиц.

Один раз выстрелил из-под куста серый заяц и понесся куда-то, лишь земля из-под ног брызнула.

Колька не испугался зайца, но подумал: "А вдруг они вовсе не за мной, а за этими зайцами охотились? А мы-то, дураки, дрожали... Как этот серый, небось?!"

На одном стволике, зеленом совсем, видать, позднего самосева, он отломил кукурузный молочный початок и съел его вместе с сердцевинной. Хотел найти еще такой же, но больше зеленых не попадалось. А сухие кочны были такие крепкие, что их не только зуб — камень не брал.

Когда уже не ждал, не надеялся, вдруг выскочил на дорогу. Сухой, белый проселок, покрытый легкой пылью.

На обочинах цвели запоздалые ромашки, мелкие и кустистые. Летали бабочки. И не было ни единого следа от проезжавшей тут машины или телеги.

Колька опять посмотрел на горы и подумал, что он, блуждая, выскочил за Березовскую и надо бы повернуть обратно. Иначе он придет к станции. А до станции топать целый день. Да и зачем ему сейчас станция, если его ждут Демьян с Сашкой? Не такие уж они недогадливые, чтобы не понять, что Колька будет искать в Березовской. Но сперва он отыщет колодец и напьется воды.

Интересно, как они будут отбрехиваться, что драпанули от всадников? Небось, наплетут, что ничего и не испугались, а побежали, потому что другие побежали... Сашка станет ссылаться на Демьяна, который первый прыгнул

в заросли, а Демьян скажет, что это Сашка его взбаламутил и развел панику.

Пусть врут, если им приятно. Лично Кольке не хотелось вспоминать, как он лежал под копытами лошади, спасибо ей, не наступила. И как потом рысью шуговал по зарослям, поддерживая штаны, а сзади что-то трещало и топало... А может, это он сам трещал и топал! И — ямка... Про ямку он уж точно не расскажет. Ему и самому чудно, как пытался зарыться, ничего не соображая, поглубже в ту ямку!

За поворотом поле поредело, стали видны огороды с плетями тыкв и кабачков, верхушки тополей, крыши домов.

Колька ускорил шаг, почти побежал.

Он почему-то верил, что сейчас войдет в деревню и сразу разыщет Сашку с Демьяном. А нет — так спросит. Ему скажут, где их видели и куда они пошли.

Но прежде он напьется воды.

В горле пересохло, даже слюны не было, нечем было глотнуть. Одна сухая пыль на зубах. Сожмешь — скрипят.

Наверное, Колька был слишком беспечен. Иначе бы на подходе заметил, что в деревне никого нет. Но он думал о Сашке и мало глядел по сторонам.

Лишь приблизившись к первому дому, он увидел, что тут, как и в колонии, выбиты окна, чернеют на фоне белых стен, как в черепе, пустые глазницы.

На пути стоял колодец с круглой бетонной нишей и ведерком, немного помятым, на крюке.

Колька наклонился над черной дырой, в дальнем конце которой маслянисто поблескивала вода. Взял ведро, но вдруг увидел, что ведро вымазано в чем-то густом, жирно-красном... И отпрянул.

И тут он увидел Сашку.

Сердце радостно дрогнуло у Кольки: стоит в самом конце улицы Сашка, прислонясь к забору, и что-то пристально разглядывает. На ворон, что крутятся рядом, загляделся, что ли?

Колька свистнул в два пальца.

Если бы кто-то мог знать привычки братьев, он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчато, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца, сильно, сильнее Кольки, аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте.

Теперь Колька свистнул и усмехнулся: "Во-о, Сашка уж и свиста не слышит, оглох! Стоит как статуя!"

Колька побежал по улице, прямо к Сашке, а сам подумал, что хорошо бы потихоньку, пока Сашка считает ворон, это с ним и прежде бывало, зайти со стороны забора да и гаркнуть во весь голос: "Сдавайся, руки вверх — я чечен!"

Но на подходе стал замедляться сам собой шаг: уж очень странным показался вблизи Сашка, а что в нем было такого странного, Колька сразу понять не мог.

То ли он ростом выше стал, то ли стоял неудобно, да и вся его долгая неподвижность начинала казаться подозрительной.

Колька сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился.

Ему вдруг стало холодно и больно, не хватало дыхания. Все оцепенело в нем, до самых кончиков рук и ног. Он даже не смог стоять, а опустился на траву, не сводя с Сашки расширенных от ужаса глаз.

Сашка не стоял, он висел, нацепленный под мышками на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развевающимися на ветру метелками.

Один початок, его половинка, был засунут в рот и торчал наружу толстым концом, делая выражение лица у Сашки ужасно дурашливым, даже глупым.

Колька продолжал сидеть. Странная отрешенность владела им. Он будто не был самим собой, но все при этом помнил и видел. Он видел, например, как стая ворон стережет его движения, рассевшись на дереве; как рядом купаются в пыли верткие серые воробьи, а из-за забора вдруг выскочила дурная курица, напуганная одичавшей от голода кошкой.

Колька попытался подняться. И это удалось. Он пошел, но пошел не к Сашке, а вокруг него, не приближаясь и не отдаляясь.

Теперь, когда он встал напротив, он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны. Они и щеку правую поклевали, и ухо, но не так сильно.

Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.

Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей, она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем.

Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел: одна из ворон, самая нетерпеливая, а может, самая хищная, прыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу. На Кольку она не обращала внимания.

Он схватил горсть песка и швырнул в птицу.

— Сволочь! Сволочь! — крикнул ей. — Падла! Пошла!

Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил неостанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал и, уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал — он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бы бежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик.

Но никого рядом не было.

Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь.

А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок, и куски дерна, и камни куда придется. Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом. И уже не мог понять, чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края.

Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью.

Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.

Отдохнув, он приблизился к Сашке, осклизаясь на густой крови, и, обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым.

Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему.

Дверь была оторвана. В сенцах горкой лежала кукуруза.

Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Потом он поднял дверь и загородил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом.

Проделав все это и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.

Все худшее, что могло бы с ним случиться, он знал, уже случилось.

Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.

Тележка была запрятана в кустах возле заначки, Колька ее сразу нашел. Заначка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда — все было на месте.

Колька вытащил оба мешка, еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.

Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.

По пути, волоча за собой тележку, он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокуренный бычок Демьяна.

Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетаскил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.

Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.

Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.

Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.

Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.

Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал!

Это они глупыми были.

О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспомнил. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.

Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.

Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.

За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго.

Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.

А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба.

Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки.

Если бы Колька мог все осознать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.

Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые люди, — неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.

Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.

Он говорил ему: "Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрее. Я был твоими руками и ногами в жизни — так уж нам было поделено, — а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили... А зачем оставили-то?"

Колька поменял одну руку на другую. Затекла рука.

Но прежде, чем двинуться дальше, он ощупал Сашку и убедился, что тот лежит удобно и ватник не вывалился из-под головы.

Только Сашка будто застывать, замораживаться начал. Все в нем задубело, и руки, и ноги стали деревянными. Но все равно это был Сашка, его брат. И Колька, убедившись,



что того не растрясло на ухабах и что ему ехать удобно, повез дальше.

Дальше потек и разговор их.

"Знаешь, — говорил Колька, — я почему-то вспомнил, как в томилинский детдом привезли из колхоза корзину смородины. А я лежал тогда больной. А ты полез под телегу и нашел одну ягоду смородины и принес мне... Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал: "Колька, я принес тебе ягоду смородины, ты выздоравливай, ладно?" Я и выздоровел... А потом на станции на этой, на Кубани, когда дристаня нас одолела и ты загибался в вагоне, ты же смог все перебороть! Ты же встал, ты же доехал до Кавказа!

Неужто мы с тобой через всю дорогу проволочились лишь для того, чтобы нам тут кишки вырезали и вместо них совали кукурузу? Мол, жрите, обжирайтесь нашим добром, так, чтобы изо рта торчало!"

Тут Колька услышал: возки гремят впереди. Когда приблизился скрип колес и мужские голоса, он торопливо в заросли свернул, затаился.

Как зверь затаился при появлении человека.

Но глаз с дороги не сводил, смотрел во все глаза (теперь у них двоих только два глаза было!). Понял, что едут солдаты. Позвякивало оружие, погромыхивали повозки, фонарики вспыхивали, полосуюя обочины дороги. Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что толковали о черных: что вот-де их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Теперь приказ такой: никого не жалеть, а если в саду, или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем... Если враг не сдается, его уничтожают!

Проехали. Растворились огоньки в темноте. Стихло все.

Колька высунулся, уши в одну, в другую сторону наставил: нет ли кого следом? Выждал, убедился — никого.

Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится, снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку двумя руками, повез.

"Вот, — сказал, — небось, сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы говорили... Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы: зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое

увидел, то спросил бы его: зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал: "Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты — погибнете. А разве не лучше было то, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?"

Тут Колька хоть и был занят разговором, а услышал, что рядом станция. Сперва услышал ее, потом выскочил на чистый луг, и стало видно: в глаза сверкнули лампочки вдоль линии, и можно было разглядеть, что на запасных путях стоит эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок; приехала еще одна воинская часть.

Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил.

"Приехали, — сказал Сашке. — Мы тут с тобой недавно были. Мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал. Да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там на станции делается..."

Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии.

Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом: суетились, кричали, грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагонов.

Колька прикинул: эшелон ему не помеха. Как поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит.

Он вернулся к Сашке. Сказал ему: "Видишь, я пришел. Там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузы в тебя натолкал. Но, когда поезд придет, нас не видно будет. Ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать. Но это я сам придумал. Теперь-то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додул чеченов-то на коне обдурить? Может, ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел... Поверил, что они тебе ничего не сделают, как не

убили они Регину Петровну, хотя наставляли на нее ружье?"

Колька посмотрел из-за куста на станцию и задумчиво добавил: "Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света... При свете нам тяжелее с тобой будет".

Тут и поезд вынырнул, распластался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него — пряжка с двумя сверкающими камнями.

Отчего ж Колька опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя. Ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались. Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках...

А вдруг ремешок, старинный, чеченский, и выдал Сашку с головой?

А вдруг он стал причиной казни?

Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком! Это случай с пуговицей все изменил... Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопки глухой перестук вагонов.

Колька спохватился и вместе с тележкой с братом поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встал, а под колесами зашипело.

Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник.

У первого вагона собачника не было, и у второго, лишь у третьего обнаружил он железный ящик.

Пощупал, крышку открыл, даже руку сунул: нет ли там каких пассажиров?

Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку развязал. Ватник постелил на дно ящика. Стал Сашку подтягивать под мышки и все молился, чтобы поезд не отправлялся. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше.

Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик, лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил. Чтобы холодно не было. Все-таки кругом железо!

Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Все, отъездились.

Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточки, сказал Сашке через дырку:

— Вот, уезжаешь. Ты ведь хотел поехать к горам... А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но

Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я о тебе буду думать.

Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному.

Отходя, увидел: выскочил проводник из вагона, мимо Кольки пробежал, да застопорился.

— Ха! Привет! — кричит. Зубы скалит.

Колька пригляделся: Илья перед ним. Зверек который.

— Ну, здравствуй, — ответил. — А ты разве не сгорел?

Илья смеется:

— Ха! Я не горючий! Во как! Я раньше сообразил, что тут за каша заваривается, удрал на дорогу. Езжу, как видишь. Куда хошь провезу.

— Не-е, — сказал Колька. — Не могу.

— А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка?

Колька помолчал и сказал:

— Я — обои.

В это время поезд свистнул.

Илья опять крикнул:

— Ха! Смотри! А то от беды лучше со мной, а? — и побежал к вагону. Прыгнул на лесенку.

— Лучше, — кивнул, вздохнув, Колька. Илья уже слышать его не мог.

Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрее и быстрее в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал. А Колька один у черной насыпи остался.

## 28

Колька еще посидел на рельсах.

А когда стало светать, быстро, словно где-то включили свет, и желтые блики поползли по серовато-синим стальным полоскам, Колька обогнул станцию и поднялся на горку к белой ротонде.

Он сел на ступеньки и стал смотреть вниз. Смотрел-смотрел и заплакал. Впервые заплакал с тех пор, как увидел на заборе Сашку. Он плакал, и слезы застигали ему прекрасный вид на горы и на долину, открывавшийся вместе с восходящим солнцем.

А потом он устал плакать и уснул.

Ему снилось: горы, как стены, стоят, и ущелья вниз опадают. Идут они с Сашкой, он к самому краю подошел, а не видит, не видит... И уже тихо по льду начинает вниз

скользить, катиться, а Колька его за пальто, за рукав ловит... Не может схватить! Покатился Сашка отвесно вниз, дальше и дальше, аж сердце заболело у Кольки, что упустил он брата и теперь он руки-ноги поломает, и сам разобьется вдребезги. Далеко-далеко комочек черный катится... Проснулся от страха Колька.

Пощупал лицо — мокро от слез. Значит, он опять плакал.

Посмотрел вниз, на долину, вдруг вспомнил стихи. Никогда раньше он не вспоминал этих стихов, да и не знал, что их помнит.

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана,  
Утром в путь она умчалась рано,  
По лазури весело играя,  
Но остался влажный след в морщине  
Старого утеса. Одиноко  
Он стоит, задумавшись глубоко,  
И тихонько плачет он в пустыне...

Может, этот холм и есть утес, а ротонда — тучка... Колька оглянулся и вздохнул. А может, тучка — это поезд, который Сашку увез с собой. Или нет. Утес сейчас — это Колька, он потому и плачет, что стал каменным, старым-старым, как весь этот Кавказ. А Сашка превратился в тучку... Ху из ху? Тучки мы... Влажный след мы... Были — и нет.

Колька почувствовал, что снова хочет заплакать, и встал. Нашел надпись, которую они тут сделали 10 сентября. Поискал острый кремешок, дописал внизу: "Сашка уехал. Остался Колька. 20 октября".

Зашвырнул камешек, проследил, как он катится по склону горы, и стал следом спускаться.

Потом он умыл лицо в одной из ямок с горячей водой и пошел по дороге вверх, туда, где было их подсобное хозяйство. Он еще не знал, что скажет воспитательнице Регине Петровне.

Подходил к хозяйству, уж и за последнюю горку повернул, но так и не придумал, совет или правду скажет. Он не хотел пугать ее да мужичков. Тут-то им не опасно. Паси скот да пеки дылду. Только он не станет здесь жить. Он скажет: "Сашка уехал, и мне надо ехать".

Конечно, он им отдаст весь джем из заначки, лишь банку себе на дорогу возьмет. И тридцатку возьмет. Это их с Сашкой состояние, недаром в Томилине по корочке

складывались, чтобы тридцатку свою личную занять. Теперь Сашке деньги не нужны. Он задаром путешествует.

Он теперь навсегда бесплатный пассажир.

Колька подошел к навесу, но никого не увидел. Небось, спят, решил. Постучал в окошко, в домик заглянул. И тут никого. Койка застелена, аккуратно, как все у Регины Петровны, и вещи на своих местах, а хозяйки нет.

Колька подумал, что они ушли коров доить. Он вернулся под навес, пошарил по посуде, нашел мамалыгу в котелке и прямо рукой загреб в рот. Только сейчас он подумал, что зверски хочется есть. Он стал доставать горсть за горстью и все это мгновенно проглотил. Но не наелся. Выскреб дочиста котелок, потом творог нашел и тоже съел. Регина Петровна вернется, отругает, но простит. Он же не нарочно, с голодухи.

Он запил водой, прилег на камыш, на свою и Сашкину лежанку. И вдруг уснул.

Проснулся под вечер от тишины. Он был один, лишь птицы гомонили на крыше. Он дошел до ключа, напился и ополоснул лицо.

Было ему почему-то не по себе от этой тишины и от одиночества. Он спустился к огороду и далее на луг, где паслось стадо.

Еще недавно они все стояли тут и называли бычков и телок разными именами. А козы самокрутку с огнем сожрали, аж дым из ноздрей. Теперь все стадо повернулось к нему, и козы заблеяли — узнали, и бычок, тот, который Шакал, побежал Кольке навстречу... И самое странное, что злобная корова Машка, которая при виде Кольки рога наставляла, вдруг тоже замычала ему призывно и совсем по-доброму: "Му-му-у-у!" Признала наконец. Да что толку. Вот если бы она ответила, где пропадает Регина Петровна с мужичками. И вдруг вспомнил: ведь нет ишачка с тележкой!

Ну конечно, она уехала за ними в колонию! Сашка, тот бы мигом сообразил! Наверное, съездила на станцию, не нашла их и рванула скорей в колонию! А он-то, сачок, дрыхнет тут!

Как не хотелось Кольке возвращаться через деревню в колонию! Но представил себе разбитые, брошенные дома, а среди них растерянную, напуганную Регину Петровну, которая их с Сашкой ищет! Она и поехала-то из-за них в это пропащее место, где еще чечены на конях рыщут, а он, Колька, еще колеблется, еще мучается — идти ему или не идти!

Кто же теперь ее будет спасать, если не Колька!

Последний раз он оглянулся, пытаясь хоть за что-то зацепиться глазом. Уж очень трудно преодолевал он свое нежелание, несмотря на свои собственные уговоры. Да и что-то его удерживало, он не мог понять, что именно.

И только когда вышел и полчаса прошагал по теплой, нагретой за день дороге, вспомнил: он же хотел посмотреть, цела ли их красивая одежда? Желтые ботиночки, да рубашка со штанами, да пестрая "тютюбейка"... Или уперли? Теперь-то, пока они с Региной Петровной ищут друг друга, наверняка упрут!

В густых сумерках миновал станцию. Эшелона с военными уже не было. Зато было много следов по дороге и кукуруза на обочине помята и поломана.

А дальше — гарью запахло. Колька не понял, в чем дело; вот Сашка, тот мигом бы догадался. Сашка бы только мозгой шевельнул и выдал: "А знаешь, они ведь урожай палят! Чеченов из зарослей выживают!"

Так подумал Колька и только потом сообразил, что это он, он сам, а не Сашка подумал.

Гари становилось больше, уже дым над дорогой, как поземка, полз. Глаза у Кольки слезились и болели. Он тер глаза, а когда было невмочь, ложился лицом вниз, в траву, ему становилось легче.

Встречались выжженные проплешины. По бокам и особенно впереди небо играло красными всполохами, и даже тут, на дороге, было от этих всполохов светлей.

А потом Колька дошел и до огня. Тлели остатки травы, да стволы подсолнечника дымились — красные, раскаленные палки. Тут уж таким жаром пыхало, что Колька лицо рубашкой закрыл, чтобы брови не обгорели. И ресницы стали клейкими, они, наверное, тоже опалились.

Тогда он лег на землю и стал думать: идти ему в колонию или не идти? Если идти, то сгореть может. А если не идти, то получится, будто бросил он Регину Петровну с мужичками одну среди этого огня и опасности.

Полежал, отдышался, стало легче. Решил, что надо к Регине Петровне идти. Не может он не идти. Сашка пошел бы.

Огонь теперь поблескивал со всех сторон, и подташнивало Кольку от дыма. К леплу, к гари он как-то привык, почти привык, только странно было, что огня вокруг много, а людей по-прежнему никого.

Это он, когда ехал с Сашкой, не хотел, чтобы попадались люди. А теперь он так же сильно хотел, чтобы они ему попались.

Хоть разок.

Хоть кто-нибудь.

Вот если бы случилось: он идет, а навстречу ему по дороге на ишачке Регина Петровна едет! Мужички, испуганные, в тележке, а сама она по сторонам озирается, огня боится. А Колька ей кричит: "Ху из ху? Не бойтесь! Я тут! Я с вами! Вместе нам не страшно! Я уже знаю, как через огонь проходить! Сейчас, сейчас я вас с мужичками проведу до подсобки, а там уж рай так рай! Сто лет живи — и никаких пожаров, и никаких чеченов!"

Опомнился Колька, лежит он посреди дороги, угорел, видно. Как упал, не помнит. Голову ломит, тошнота к горлу подступила. Попробовал встать — не встается. И ноги не идут. Вперед глянул: Господи, крыши домов торчат. Березовская! Вот она! На карачках, да доползу...

А тут уж огороды, деревья, кусты, огонь через них не пробивается. Как до колодца добрал, Колька опять не помнил. Цепь долго спускал, а поднять уж силы не хватило. Дважды до середины ведерко выбирал, а оно вырывалось из рук, падало обратно. Перегнулся над краем Колька, стал из колодца дышать. Воздух сырой, холодный, только бы не упасть. Обвязал он ногу цепью и долго лежал на перегибе, голова там, а ноги наружу.

Полегчало. Лишь небольшая тошнота осталась.

Побрел он дальше. Мимо поля, мимо кладбища, тут ему вдруг показалось, что вообще это не столбики гранитные, а чечены рядами стоят... Неподвижная толпа застыла при виде Кольки, глазами его провожает... Наваждение какое-то! Или он с ума стал сходить. Закрыв глаза, провел по лицу рукой, снова глянул — столбики каменные, а никакие не чечены. Но шаги на всякий случай ускорил и глаз не спускал, чтобы, не дай Бог, опять не превратились в чеченов! В сторону колонии огонь не проник, тут ни голову рубашкой прикрывать, ни к траве приникать не надо. Вот только черен он был, Колька, хоть сам себя не видел. Если бы попался кто-то, наверное бы, решил, что сам черт выскочил на дорогу из преисподней. Но то, что прошел Колька, преисподняя и была.

Не помнил, как добрался он до Сунжи. Приник к ней, желтенькой, плоскенькой речонке, лежал, поднимая и опуская в воду голову.



Долго-долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился: утро. Солнышко светит. Птицы чирикают. Вода шумит. Из ада — да прямо в рай. Только в колонию скорей надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее вызволять скорей требуется. А он себе приятную купань устроил!

Вдохнул Колька, пошел, не стал на себе одежду выжимать. Само высохнет: Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычной так да и безопасней.

Ничего не изменилось с тех пор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он разбитую военную повозку, лежащую на боку, рядом холмик. На холмике дощечка и надпись химическими чернилами:

**Петр Анисимович Мешков. 17.10.44 г.**

Колька в фанерку уткнулся. Дважды по буквам прочел, пока сообразил: да ведь это директор! Его могила-то! Если бы написали Портфельчик, скорей бы дошло. Вот, значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут...

Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул: "Ре-ги-на Пет-ро-в-на!"

Ему ответило только эхо.

Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии: "Регина Петровна... Регина Петровна... Реги..."

Вдруг осекся. Встал как вкопанный. Понял: ее тут нет. Ее тут вообще не было.

Стало тоскливо. Стало одиноко. Как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет. Сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел... Ради них прошел, чтобы их спасти. А для себя у него сил нет.

Он прилег в уголке, в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрац и подушка тоже валялась. Свернулся в клубочек и впал в забытье.

Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну... Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать. Ему представлялось, что они рядом, но не слышат, он кричал, от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил, как щенок.

Ему казалось, что он спит, долго спит и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто-то часто и тяжело дышит.

— Сашка! Я знал, что ты придешь! Я тебя ждал! Ждал!  
— сказал он и заплакал.

## 29

Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо.

Сашка спросил, ломая свой язык: "Хи... Хи...Пит, а то умырат сопсем... Надо пит водды... Хи... Пынымаш, хи..."

Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он "умырат" произносит, да сил не было. Даже глаз открыть сил не было. Какие уж тут «хи-хи».

Сашка накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой.

Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо. Верней, лицо ему было знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое... Но раньше это почему-то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает.

А тут Колька лишь взглянул и понял: никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что-то бормочет.

— Хи, хи, — бормочет. — Бениг... Надто кушыт. А не пымырат...

Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым ломаным голосом говорит? Недодумался ни до чего Колька и заснул. А когда проснулся, спросил сразу:

— А где Сашка?

Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал:

— Саск нет. Ест Алхузур... Мына так зыват... Алхузур... Пынымаш?

— Не-е, — сказал Колька. — Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет...

Это ему казалось, что он сказал. На самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза. Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягоде виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает.

Однажды он сказал:

— Я, я Саск... Хоти, даэк зыви... Буду Саск....

И опять орех жевал... И по одной ягоде виноград давил прямо в губы.

— Я Саск... А ты жыват... Жыват... Харош будыт...

И Колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку.

Алхузур откликнулся на имя Сашка, оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матрасе, куда его перетасил Алхузур, накрыв вторым матрасом.

Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузура, спросил:

— А Сашки правда не было?

Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой.

— Сылдат был, — сказал он. — Я это... Со ведда... Убыгат...

— Испугался солдата? Нашего?

Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое и такие же остренькие, блестящие глаза.

— А пожар? — спросил Колька.

— Пазар? — повторил Алхузур, уставившись на него. — Пазар? Рыных?

— Да нет... Я про огонь хотел спросить: кукуруза-то горит?

Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки.

— Много охон... Хачкаш харыт... Хадыт нелза... В мэнох дым...

Колька посмотрел на удрученного Алхузура и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма.

Алхузур отвернулся, а Колька сказал:

— Не сердись, я же не со зла... У тебя карандаша не найдется?

Алхузур покосился на Кольку и не ответил.

— Или угля... Надо!

Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки.

Колька повертел в руках обгарок.

— От дома директора, — сказал, вздохнув. — Когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь...

Алхузур кивнул. Будто мог знать о пожаре.

Колька удивился:

— А ты что, видел? Ты правда видел?

— Я не выдыт, — отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Что-то он недоговаривал. А может, Кольке показалось.

Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему, ломким углем изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии, ткнул пальцем в кладбище:

— Чурт!

— Ну, пусть черт, — согласился Колька. — А по-нашему — так кладбище. А тут Березовская, значит.

Алхузур размазал Березовскую, а руки вытер о себя.

— Нет Пересовсх... Дей Чурт — так называют!

— А почему?

— Дада... Отэц... Махил отэц...

— Могила отца! — сообразил Колька. — Твоего отца здесь могила?

Алхузур задумался. Наверное, вспомнил об отце.

— Нэт мой отэц... Всэх отэц...

Вот теперь Колька дотумкал: селение так прозывается — Могила отцов. Кладбище — Чурт, а деревня — Дей Чурт... То-то Илья все долдонил от страха — черт да черт! И правда похоже!

Колька обратился к чертежу, приподымаясь, чтобы видней было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил.

— Найдешь? Нет? — спросил тревожно.

Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну заначки. Это все равно что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них. Сил не хватит.

— Найдешь... Банку джема тащи!

Сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его.

Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез. Как провалился. Кольке стало казаться, что названный его брат пропал навсегда. Нашел заначку, забрал и скрылся. На хрена, если посудить, нужен теперь ему Колька? Больной да немощный! Теперь-то он сам богат! Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли, помимо него, воз-

никали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался?..

Часы прошли... вечность! Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе.

Колька голову поднял.

— Ты что? — спросил. — Ударился? Не ушибся?

Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним.

— Оглох, что ли! — крикнул Колька сердито.

Подождал, потом подполз и откинул край: Алхузур лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударят. И вдруг заплакал. Плакал и повторял: "Чурт... Чурт..."

— Ну, перестань! — попросил Колька. — Я же тебя не трогаю!

Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову. Будто приготовился к самому худшему.

— Ну, ты даешь! — сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках дополз до оконного проема, подтянулся, со звоном осыпая осколки стекла на пол.

В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали — Колька сразу узнал — длинные могильные камни. "Неужто с кладбища везут? — подумалось. — Куда? Зачем?"

Телега, видать, застряла прочно.

Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.

— Ломик бы... Сейчас пойду пошукаю.

Он огляделся и направился в сторону их дома.

Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш птенец, выпавший из гнезда.

Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.

— Эге! А ты чего тут делаешь? — спросил удивленно.

Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.

— Живу, — отвечал Колька хрипло.

— Живешь? Где?

— Тут, в колонии...

Солдат огляделся и вдруг прояснел.

— Ты говоришь, колония? — он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. — Где же тогда остальные?

— Уехали, — сказал Колька.

— А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?

Колька не ответил.

Солдат-то был востроглазым. Он давно заметил, как подергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону:

— А там кто прячется?

— Где? — спросил Колька.

— Да под матрацем.

— Под матрацем?

Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.

Выпалил первое, что пришло на ум.

— А-а, под матрацем... Так это Сашка лежит! Брат мой... Его Сашкой зовут. Он болеет, — и добавил для верности: — Мы оба, значит, бодем.

— Так вас больных оставили! — воскликнул солдат и поднялся. — А я-то слышу вчера, будто разговаривают... Я на часах стоял... А ведь знаю, что кругом никого... Как это вас одних бросили?

Он подошел к Алхузуру и заглянул под матрац.

— Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!

Помедлил, рассматривая Алхузура, и накрыл матрацем.

Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:

— Сейчас приду.

Колька насторожился. Зачем придет-то? Или засек, что Алхузур не брат?

Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке, мисочкой из-под консервов, принес пшеничную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой:

— Вот, значит... Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства...

Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.

— Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает... Тебя как зовут?

— Колька, — сказал Колька. Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?

— А я боец Чернов... Василий Чернов. Из Тамбова.

Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного.

Уходя, произнес:

— Так ты, Колька, не все сам ешь... Ты брату оставь... А я, значит, санитаров пришлю... Завтра. Ну, бывай!

Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.

Колька крикнул ему:

— Вылезай... Нечего бояться-то! Вон боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне...

Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.

— Будешь есть? — спросил Колька. — Кашу?

Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой.

— Пшенка! — добавил аппетитно Колька. — С хлебом! Ты пшенку-то когда-нибудь ел?

Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.

— Давай... Давай... — приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. — Он велел поесть.

Алхузур поворочался, повздыхал. Но выползать из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.

Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. вышло по три штуки.

Указывая на хлеб, спросил:

— Это как по-вашему?

— Бепиг...

Алхузур с жадностью набросился на хлеб.

— Ты не торопись, ты с кашей давай, — посоветовал Колька. — С кашей-то всегда сытней! А воды мы потом из Сунжи принесем...

— Солжа... — поправил Алхузур. — Дыва река, таэк зови...

— Разве их две? — удивился Колька, пробуя кашу.

— Одын, но как дыва.

— Два русла, что ли? — удивился Колька. — Прямо как мы с Сашкой... Были... Мы тоже двое — как один... Солжа, словом!

Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.

— Теперь ты мой брат, — сказал, подумав, Колька. — Мы с тобой Солжа... Они завтра придут за нами, фамилию спросят, а ты скажи, что ты Кузьмин... Запомнишь? По-нормальному. — так Кузьменыш... А хлеб это для нас

с тобой бепиг, а для них хлеб — это хлеб... Не проговоришься смотри... Сашка Кузьмин — вот кто ты теперь!

— Я Саск, — подтвердил Алхузур. — Я брат Саск... — он спросил, вздохнув: — А дыругой брат Саск гыде?

— Уехал, — ответил Колька. — Он на поезде в горы уехал.

— Я тоже хадыт буду, — заявил Алхузур. — Я бегат буду... Ат баэц...

— Зачем? — не понял Колька. — Бойцы хорошие... Боец Чернов нам каши дал.

Алхузур закрыл глаза.

— Баэц чурт ломат...

— Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам-то что!

Но Алхузур твердил свое:

— Плох, кохда ламат чурт... плох...

Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.

— Ну чего ты разнылся-то! — крикнул Колька. — Плох да плох! Могиле не может быть плохо! Она мертвая!

Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый:

— Камен нэт, мохил-чур-нэт... Нэт и чечен... Нет и Алхузур... Зачем, зачем я?

— А я тебе твердю, — сказал, разозлившись, Колька. — Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.

Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:

— Алхузур у чечен — пытыца, так зави. Он лытат будыт... Хоры. Дада-бум! Нана-бум! Алхузур не лытат в хоры, и ему... бум...

Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.

## 30

В Москве, в Лефортово, за спиной студенческих общежитий МЭИ, стоит четырехэтажное кирпичное здание бани. По средам тут собирается команда любителей помыться и попариться. Студенты, пенсионеры, военные.

Однажды мой приятель, полковник, привел меня сюда. Было это в начале марта. Представил человеку пенсионного возраста, крепкому, но с животиком, произнеся:

— Вот, Виктор Иванович... Надо показать ему (то есть мне) нашу баньку по всем, как говорят, правилам!



Виктор Иванович был в вязаной шапочке, в босоножках.

Он подал мне два дубовых веника — сам делал! — и повел в парную, по пути наказав окунуть их в холодный бассейн, а потом хорошенько стряхнуть, чтобы влаги не осталось. В эти веники, уткнувшись лицом, можно было дышать в парной, когда нас облепил, окутал сильный жар. И тут, на полках, все друг друга окликали, все знали. Кому-то кричали: "Коля, давай еще! Хорошо бы мяты! Эвкалипта! Витя! Эвкалипта у тебя нет?"

А потом разложили меня на каменной полке, это уже не в парной, и Виктор Иванович с моим приятелем кудесили надо мной, особенно старался Виктор Иванович. Он поставил две шайки: одну в другой, с кипятком, а сверху третью — с мыльной пеной. Он окунал два веника в кипяток и быстро переносил их на мое тело. Прижимая к бокам, к спине, к позвоночнику, раскаляя до боли кожу, он шептал: "Терпи... Терпи..." И все разогревал меня, да так, что еще немного — и я бы не выдержал, но, видно, в том и было искусство, что он знал меру, эту границу-то!

А потом они терли, мылили, ласкали пальцами каждую во мне мышцу, каждую жилочку, подолгу растирали руки от кисти к плечу и ноги от пальцев вверх к коленям, а потом и брови, и щеки, нежненько, от носа к вискам, и все это потом ополаскивали водой, то горячей, на пределе (но ни разу того предела не перешли!), а то холодной, и тоже на пределе терпения.

Опять пошли горячие венички к моему радикулитному поясу, это уж специально, я потому и пошел в баню, что приболел: замучил меня радикулит...

О радикулите надо отдельно сказать: он у меня такой давний, застарелый... С тех пор, как я однажды в детстве в поле среди сухой кукурузы в ямке полежал... Всадники гнались за нами. Одна лошадь прошла надо мной в сантиметре. Я слышал затылком, как она переставляла копыта и шумно дышала, шевеля на моем затылке волосы... Но были сумерки, и всадник не успел понять, отчего его конь затоптался на одном месте. Издали протяжно, на чужом гортанном языке его кликнули на помощь — кого-то поймали! И он ускакал, стегнув нерасторопную конягу.

С тех самых пор мучит, мучит эта неумолимая боль в спине... Спасибо бане, спасибо Виктору Ивановичу, спасителю моему.

А в перерывчик, блаженно усталые, мои новые друзья извлекли водочку, у банщика подкупили пивца: по рублю за бутылку, а Виктор Иванович достал кореечку, лучку

зеленого и банку с огурцами... И тихо-мирно, завернувшись в простыни, приняли из стаканчика, видать, тоже ритуального.

Виктор Иванович стал рассказывать про дубовые венчики, которые он ломает, потом под гнет кладет, потом вялит на балконе и хранит в полиэтиленовом мешке... До следующего сезона как раз хватает!

— До лета, что ли? — спросил мой приятель, полковник-танкист.

— Эх, молодежь! — сказал Виктор Иванович, покачивая головой. — Все-то вас учи да учи, ничего не знаете! До троицы! Слыхивали про такую?

Последний раз они зашли в парную — лакировочка! А потом допили, оделись и вышли наружу. Но это был еще неполный ритуал, как я понял. Они свернули в ту же баню, с обратной ее стороны. Виктор Иванович скрылся за грязной дверью, но вскоре появился и поманил нас за собой: "Сюда! Сюда давайте!"

В замусоренной полуподвальной комнатке стоял фанерный щиток, а за ним сидели два человека, выпивали: мы их видели в той же бане... А около них стоял небольшого росточка, в зимней ушанке, в ватнике, мужичок.

— Как, Николай Петрович, будет? — спросили его.

— Будет, будет, — отвечал он озабоченно. — Вот, хотите — тут, а хотите — в другой отсек...

— Нам бы в другой отсек... Если можно, — сказал Виктор Иванович. Повелительно так сказал.

Нас повели через заваленный столярной рухлядью коридор и привели в другой чулан, побольше первого. И тут была фанерка, и ящики вместо табуреток. Николай Петрович скрылся, принес бутылку и стаканы.

Разливая, Виктор Иванович кивнул в сторону коридора и сказал:

— А эти... наши! Один подполковник, а другой не помню... Из интендантов, кажись...

— А вы из каких? — спросил почему-то я.

Он, не отвечая, достал книжку участника войны.

— Вот, — сказал. — Я всю войну от корки до корки.

Выпили. Он глотнул из банки рассольчик и, заедая корочкой, добавил:

— Начиная от парада в сорок первом... А потом везде... Я автоматчиком был... Вот на Кавказе... Мы там этих, черных, вывозили. Они Гитлеру продались! Их республиканский прокурор был назначен генералом против нас...

Он опять налил. И мы выпили.

— В феврале, в двадцатых числах, помню, привезли нас под праздник в селение, вроде как на отдых. А председателю сельсовета сказали: мол, в шесть утра митинг, чтобы все мужчины около твоего сельсовета собрались. Скажем и отпустим. Ну, собрались они на площади, а мы уже с темноты вокруг оцепили и сразу, не дав опомниться, в машины да под конвой! И по домам тогда уж... Десять минут на сборы — и в погрузку! За три часа всю операцию провели. Ну, а те, что сбежали... Ох, и лютовали они... Мы их по горам стреляли... Ну, и они, конечно...

Появился Николай Петрович, посмотрел на пустую бутылку, сказал:

— Закрываю, пора!

Встали. Виктор Иванович выходил первым и продолжал рассказывать:

— Помню, по Аргуни шли... Речка такая... На ишачках, значит, одиннадцать ишачков, я второй... Он как полоснет с горки из пулемета! Двое упали, а мы, остальные, отползли за выступ! Настроили миномет и по той горке, где он засел, как дали... Горку ту срезали — ни пулеметчика, ни пулемета! Клочка одежды не нашли. А у нас ведь как положено: голову тащишь в штаб, а там кто-нибудь из ихних опознает, и вычеркивают из списков. Ахмет или еще кто... Ну, там, до весны, орден дали, а потом татар переселял... Больше на тот свет... Калмыков, литовцев... Тоже злодеи-фашисты, сволочи такие...

И вдруг я услышал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же на Кавказе:

— Всех, всех их надо к стенке! Не добились мы их тогда, вот теперь хлебаем.

Тут завернули мы в стекляшку, она как бы тоже не случайно встала на нашем пути. Расположенная рядом с церковью, так и зовется стекляшка — "У Петра и Павла", ее в Москве знают. Разменяли рубль на мокрую мелочь, сполоснули кружки, из автоматов нацедили пива и за грязным столом стали пить, закусывая солеными баранками.

Толпился кругом народ, люди здоровались, перекликались. И тут, как в бане, все знали и приветствовали друг друга.

К Виктору Ивановичу притянулись двое, сморщенные, в длиннополых, старого покроя, пальто из черного драпа. Мне их представили как "наших ребят", завсегдаев.

— Вот они повоевали... — хвалил их Виктор Иванович. — Мы в одних войсках были, хоть и не встречались... Да тут наших много!

Он повел рукой, и я невольно оглянулся. И правда, не считая студентов, которых нетрудно было выделить по возрасту и одежде, другие все или почти все были как бы вровень с нашим Виктором Ивановичем... Не такие молодежые, но уж точно — спокойные, благодные, что ли. И хоть без погон, но чувствовалась в них старая выучка... Школа. Какая школа!

Виктор Иванович кричал своим дружкам, похрустывая солененькой бараночкой, крошки от нее летели на пол:

— Я этих гадов как сейчас помню... У меня грамота лично от товарища Сталина! Да!

Его мирные улыбочивые дружки кивали и протягивали с мутным питием кружки, соединив их в едином толчке.

А ведь, не скрою, приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.

Живы, но как живы?

Не мучают ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?

Нет, не приходят.

Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.

И, сплачиваясь в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.

Они верят, что не все у них позади...

На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробрались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.

Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.

Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля.

Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.

Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.

Мой спутник на первом же камне будто загнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что-то вслух прочел.

— Что? — спросил я нетерпеливо. — Что ты там читаешь?

Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:

— Тут лежат Зуйбер...

— Зуйбер? Кто это?

Он пожал плечами.

— Дада... Отэц...

И переполз к следующему камню...

— Тут лежат Умран...

— А это кто?

Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:

— Дада... Отэц...

И далее, от камня к камню:

— Хасан... Дени... Тоита... Вахит... Рамзан... Социта...

Ваха...

Я оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.

Я поторопил своего спутника:

— Пойдем, пойдем... Пора!

Он не слышал меня.

Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки... В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.

Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.

Мой спутник все оглядывался, пытаюсь запомнить это место.

Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время — и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.

Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придет сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.

Они унесут их все, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.

— Может, рвануть к станции? — спросил последний раз Колька. — На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь... Дылду сварим... А?

Алхузур покачал головой и указал на горы.

— Тут стрылат, там не стрылат, — бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.

— Ладно, — согласился Колька. — Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?

— Понымаг, — кивал Алхузур. — Одын брат — дыва хлаз, а дыва брат — четыры хлаз!

— Во дает! — воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: — Ты прям как Сашка... он тоже самое говорил!

— Я Саск... — подтвердил Алхузур. — Я будыт хырош Саск... А там... — он указал на горы. — Я буду хырош Алхузур... А хлеб будет бепих, а кукуруза — качкаш... А вода будыт хи...

Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешеченных тянулись руки, губы, молящие глаза... И до сих пор бьющий по ушам крик: "Хи! Хи! Хи! Хи!" Так вот что они просили!

Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими.

Тяжелый день сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать.

Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги из-под ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши.

— Былшой полза, — обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь. — А в Хор дым нэт. Там хырош будыт.

Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая невесть каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы, кляли чеченцев и свою машину в придачу.

Колька следил за ними из-за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузuru:

— Хочешь, я к ним спущусь? Попрошу поесть? А?

Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии.

— Нэт! Нэт! — закричал он, двое из солдат оглянулись.

Едва успели мальчики пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной, стреляли они, видно, на всякий случай. Это разносило выстрелы по горам. Так что могло показаться — палят со всех сторон.

Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону.

К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кошаре, в котором обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошары был небольшой садик и огород; сейчас они оказались в полном забросе. И все-таки ребята отрыли несколько морковин, почистили их от травы и съели. И орехи доели.

Ночь была холодной, горы давали о себе знать.

Они спали, обнявшись, на соломенной подстилке, но все равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало невмочь, оба дрожали и даже говорить не могли: языки позастывали.

Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни.

Колька тоже побежал, заорал изо всех сил свою песню: "От края до края по горным вершинам, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ..." Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни о Буденном и Климе Ворошилове... Они все скаковые, под лошадиный ритм бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне: "Бродили мы с приятелем вдвоем... Бродили мы с приятелем по диким по горам, по диким по горам..."

Он стал учить Алхузур этой песне. Вдвоем они кричали что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами... А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее.

Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые оттого, что не надо им больше дрожать от холода.

Алхузуру снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и спрашивал: "Зачем спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?" И все дергал за плечо.

Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стояли Алхузур и еще какой-то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках.

— Спыш, да? — кричал мужчина странным, переливчатым голосом, который шел прямо из горла. — С русским свиным спыш? Да? А сам чычен, да?

Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он направил на Кольку.

Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом.

— Лыжат! — закричал мужчина громко. — Стрылат буду!

Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур. Но Алхузур громко говорил по-своему, а мужчина отвечал ему по-русски, наверное, чтобы слышал Колька. Чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют.

Мужчина гремел:

— Мой зымла! Он на мой зымла приходит! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то... Я убывает...

— Ма тоха цунна! — кричал Алхузур. — Не убей! Он мынэ от быэц спысат... Он мынэ брат называт...

Мужчина посмотрел на Кольку:

— Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват?

Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку.

Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул:

— Лыжат! Отвычат! Хан це хун ю? Хо мила ву?

— Ну, Колька, — сказал Колька, лежа и глядя на мужчину. Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест-накрест повязанные лыком. А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папаха, такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком... Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папаха и ремешок поразили Кольку, который и думать о них не должен, его убивать собирались...

— Колка? — переспросил мужчина. — А зачэм прышел? Хор — зачэм? Чычен слыдыш зачэм?

— Я не слежу, — сказал Колька. — Я вот с ним...

— Ми брат! Ми брат! — выкрикнул Алхузур.

— Со кхеру хёх, — сказал горец, повернувшись к Алхузuru.

— Ма хеве со, — отвечал тот.

Горец смотрел на Кольку, на Алхузuru и добавил по-русски:

— Его убит надта! Он будыт быэц прывадыт!



— Ма хеве со! — крикнул Алхузур. И заплакал.

Так и было: Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют. Как убили Сашку. Но, наверное, больно только, когда наставляют ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет:

"Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо?"

А Сашка ответит:

"Ну конечно. Мне тут хорошо".

"А я с Алхузуром подружился, — скажет Колька. — Он тоже нам с тобой брат!"

"Я думаю, что все люди братья", — скажет Сашка, и они поплывут, поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.

Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали.

А может, его уже убили?

Рядом с Колькой сидел Алхузур и по-прежнему плакал. Но горца нигде не было, и стояла в сумерках тишина.

Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил:

— Он тебя обидел?

Алхузур услышал голос и заплакал еще сильнее. Он вытирал слезы рукой и полой ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдергивал вату и пускал ее по ветру.

И Колька опять спросил:

— Чего реवेशь? И зачем дергаешь вату?

Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку:

— Я думаю, что ты умырат.

— Вот еще придумал!

— Ты глаза закрыват, и так вот: хыр-хыр... — Алхузур изобразил хрип. — А я стыновитя плох... Одын брат нэ брат.

Колька сказал:

— Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?

Алхузур показал на горы:

— Он там... Он свой зымла стырыжыт... Он ее сыжалт...

Он ее лубыт...

— А если бы он застрелил меня? — спросил Колька. И ему вдруг стало холодно. Тоскливо-тоскливо стало. Да-

же присутствие Алхузур не помешало этому чувству. Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашке.

Алхузур посмотрел на Кольку.

— Я плакыт, — сказал он и правда заплакал.

И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названного брата и стал объяснять, что им надо породниться по-настоящему. То есть разрезать руку и смешать кровь.

Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерлись ранками.

— Вот, — сказал Колька. — Теперь мы совсем родные. А отсюда нам надо уходить. Чечены меня все равно застрелят.

Алхузур молчал.

— Давай спустимся обратно, — предложил Колька. — Там внизу теплей.

— Там быэц стрылат, — с боязнью произнес Алхузур.

— А здесь чечен стреляет... — воскликнул Колька.

— Выздэ плох! — вздохнул Алхузур. — А зачем они стрылат? Ты пынымаш?

— Нет, — сказал Колька. — Я думаю, что никто не понимает.

— Но оны же болше... Оны же умыны... Тэк?

Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить.

## 31

Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувший с дороги по нужде.

Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил нечленораздельное. Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть.

Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли.

Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии и невозможно сейчас

сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения, заметны у обоих нарушения психики.

Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр.

А через месяц и десять дней из детской клиники номер шестнадцать города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома.

Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы.

Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, и за неимением столов за этими партами нас и кормили, давали привычную затируху: мука с водой да лук, да в редкие удачливые деньки — мерзлую черную картофелинку... Утром — два финика к чаю или десять изюминок, вечером — кусок протухшей селедки и снова чай. Иногда каша — в праздники и на воскресенье.

В нашей спальне жили дети разных национальностей.

Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но, когда ярился, мог и зарезать, становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике.

Балбек был ногаец. Где находится его родина, Ногайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости. Балбек учил нас ругаться по-ногайски...

Лида Гросс, попавшая в мальчиковую спальню потому, что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски: Гроссова. Она знала наизусть все лекарства, была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала. О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать. Мать плакала от страха. А потом в поезде маме стало плохо, и ее вынесли. Лида тоже вышла; ее подобрали, умирающую, где-то в чужом городке, на вокзале...

Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины, мы их звали Кузьменыши. И хотя не были они похожи, уж куда разной: один светлый, курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый, он и по-русски едва говорил...

Но Кузьменыши твердили, хоть их никто о том не спрашивал, что они кровные братья!

В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. А через комнату жили слепые.

Слепые дети жили здесь давно, это можно было понять по тому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице, вдоль забора.

С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом он показал свои руки, где не было трех пальцев на левой руке и двух на правой.

Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками, и, водя пальцем, прочитал несколько строк.

— Вырасту — заведу попугая и буду на рынке билетки продавать, — говорил Антон. — У нас многие гадают на рынке. Столько заколачивают — ахнешь.

Кузьменыши спали вместе, на одной кровати; был декабрь, бесснежный, но ветреный, в спальне стояла холодина.

Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба.

В детприемниках судьбы поворачивались по-разному: одних отправляли в распределители и колонии, других — в детдома, а некоторых — в ФЗУ и ремесленные училища, если выходило по возрасту.

Но случались и чудеса: кого-то находили родители или родственники или брали какие-нибудь люди на воспитание, из тех, кто имел жильё и мог кормить и одевать.

По поводу последнего слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе! Живешь, живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине: купят или не купят? А тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда — неважно. Важно, что отсюда. И — навсегда. Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка? Как им без веры и сказки жить?

Однажды в распределитель пришла женщина, и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбудились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут? Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить.

Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки, но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил, дверь закрыли, и он остался один.

Впрочем, Колька успел ему шепнуть:

— Не бойся, я без тебя не уеду!

Заведующая детприемником была толстая пожилая женщина Ольга Христофоровна. Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней, Колька еще в дверях увидел, сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинут платок, в руке — папироса.

Ольга Христофоровна сказала:

— Кузьмин? Вот тобой... интересуются!

Колька стоял посреди комнаты с письменным, обляпаным чернилами, столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями, глазами он уперся в пол.

— Я так понимаю, вы знакомы? — спросила заведующая.

Колька молчал.

Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила:

— Можете поговорить тут...

Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур; он заорал в дверную щель: "Я тут! Я тут!"

Дверь опять плотно прикрыли.

— Ну, здравствуй, — произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке.

Но Колька стоял, не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие.

Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он поехал и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала.

— Ты что? Коля? Ты меня не узнаешь?

— Нет, — сказал он.

— Не узнаешь? — переспросила она с застывшей улыбкой.

— Нет.

Она натянуто рассмеялась:

— Не валяй дурака... Кстати, ху из ху... Ты и вправду Колька?

— Нет.

— Ты Сашка, да?

— Нет.

— А где... другой?

Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул.

— Ну, садись! Садись! — сказала Регина Петровна и сама села.

Колька присел на кончик стула. Но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать.

— Я ведь вас искала! — Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали.

Колька посмотрел на ее руки и отверг глаза.

— Меня тогда увез Демьян... Иваныч, — продолжала Регина Петровна и глубоко затынулась. — Он приехал на телеге, говорит, ребята пропали. А нам, говорит, надо бежать, чеченцы в долину прорвались. Мы мужичков положили на телегу, они у меня оба расхворались после дня рождения, и скорей на станцию... На поезд... А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иваныч меня не пустил. Там бои, сказал. Там давно никого нет... И вдруг тебя нашли... Кстати, что там за мальчик? — спросила Регина Петровна и кивнула на дверь. — Твой новый другок? Мне кажется, я его видела...

— Не знаю, — сказал Колька.

Регина Петровна нахмурилась. Лицо у нее потемнело.

— Так и будешь со мной разговаривать? Да?

В это время вернулась Ольга Христофоровна. Медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша:

— Ну? Поговорили?

— Да, спасибо, — торопливо произнесла Регина Петровна. — Я к вам, если можно, еще зайду?

— Не очень тяните, — сказала заведующая и посмотрела на Кольку.

— А что? Есть разнарядки?

Заведующая промычала что-то неопределенное. Потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала.

Регина Петровна удивленно спросила:

— А он откуда?

Заведующая пожала плечами.

— Вот приедут — разберутся. Оттого и держат, и не отсылают.

— Ладно, — сказала Регина Петровна. — Я на днях приду... Ну, до свидания, Коля?

Колька поднял голову. Впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он не спеша повернулся и пошел к двери.

Уже за своей спиной услышал — заведующая произнесла:

— Это еще цветочки... Вы бы других видели!

За несколько дней до Нового, сорок пятого года — уже и елку в классной комнате поставили, и самодеятельность готовили — приехали двое на машине, военный и штатский, и тут же торопливо объявили:

— Кузьминых срочно в канцелярию!

Ребята сидели возле кровати Мусы, который вдруг затемпературил, и развлекали его. Балбек рассказывал свои легенды про батыров. Все они у него были одинаковые: батыр вырастает и побеждает врагов, и народ становится свободным.

А тут позвали Кузьменышей, да как-то неестественно громко, как на пожар. Но у дверей Кольку задержали, а Алхузура увели одного. Колька начал стучать в дверь и орать, да так сильно, что дверь отворилась, и мужской голос произнес:

— Ну, пусть войдет! Это даже к лучшему, что оба!

Колька влетел в комнату и увидел, что Алхузур сидит на стуле прямо посреди комнаты, перед ним военный, а другой, штатский, стоит у окна. А этот, лысый, в очках, в блестящих высоких сапогах и с папкой, и говорит, и говорит. Что он говорит, Колька сперва не понял. Потом сообразил, что он пересказывает Алхузуру историю самого Кольки. Откуда только узнал... Оттого и лысый, как Демьян. Лысые ушлые, Сашка говорил!

Военный спросил:

— А где вы встретились? Ты и Николай? Вы встретились в Березовской?

Алхузур молчал.

Военный повернулся к Кольке, вкрадчиво спросил:

— Ты-то помнишь, где вы познакомились? Я от твоего приятеля не могу добиться.

— Он не приятель. Он мой брат.

— Какой брат? — оживился военный. — Названный?

— Он мой родной брат, — повторил Колька.

— Так уж родной! — насмешливо повторил военный.

— Да.

— Как же его зовут?

— Сашка.

— Это он — Сашка? Да ты посмотри! — и военный сверху двумя пальцами взял Алхузура за виски и силой повернул лицом к Кольке. — Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?

— Настоящие, — сказал Колька.

Военный шепнул Ольге Христофоровне, и та вышла.

Он продолжал ходить, вышагивал, поскрипывая сапогами, по комнате и будто с разных сторон оглядывал Алхузура. На Кольку он не обращал внимания.

А штатский молчал. Он все время молчал. Его вроде бы и не было.

Вдруг вошла вместе с Ольгой Христофоровной Регина Петровна.

— Садитесь, — предложил, будто приказал, ей военный. — Вы были воспитательницей в колонии под Березовской?

— Да, — тихо ответила Регина Петровна и посмотрела на Кольку. Какой-то жалкий, просящий был у нее на этот раз взгляд.

— Вы помните братьев Кузьминых, которые жили там? Регина Петровна кивнула.

— Хорошо помните? — спросил военный и сердито посмотрел на Регину Петровну.

— Да. Помню, — отвечала она.

— Вот посмотрите... Вы их узнаете? — и военный повел рукой в сторону Алхузура. Колька стоял сбоку.

— Да, — едва слышно произнесла Регина Петровна.

— Это кто? — и военный ткнул пальцем в сторону Кольки.

Регина Петровна помолчала, назвала:

— Кажется... это Коля.

— Ага, — кивнул удовлетворенно военный. — А это? — и указал на Алхузура.

Регина Петровна продолжала смотреть на Кольку.

— Я думаю... — начала она и запнулась.

— Вы думаете? Или вы знаете?

Регина Петровна молчала.

— Но я вас слушаю! Слушаю! — громко проговорил военный и многозначительно посмотрел на штатского. Тот никак не реагировал.

— Это... Саша... — слабым голосом произнесла Регина Петровна.

— Вы уверены, что он именно Саша, его брат?

Регина Петровна едва кивнула.

— Вы хорошо подумали, отвечая на мой вопрос? — военный прошел за спину Регины Петровны и теперь разговаривал с ней, как бы обращаясь к ее затылку.

Регина Петровна, испугавшись, рывком обернулась к нему.



— Что? — спросила она и тут же повторила, чуть суетливо: — Да. Ну конечно, уверена. Их, правда, было много, и я их сперва путала...

— Значит, можно предположить, что вы и сейчас способны спутать? — нависая над головой Регины Петровны, настаивал военный. Даже Колька устал от его прямолинейно-твердого тона. Будто их всех, допрашиваемых здесь, перепиливали одной тупой пилой.

Регина Петровна вздохнула. Ей, наверное, очень хотелось курить.

— Нет, я думаю, что я...

— Опять думаете! А вы не думайте! — посоветовал вдруг, усмехнувшись, военный. — Вы же воспитательница, да? И, небось, учили детишек не лгать? А как же вы теперь — да еще при них! — лжете?

— Я не лгу, — как провинившаяся школьница произнесла, потупясь, Регина Петровна.

— Вот и отлично! — произнес военный и сделал несколько шагов по комнате. — Так вы говорите, что способны спутать детей, и поэтому вы не уверены, что здесь, перед вами, братья? Я вас правильно понял?

Регина Петровна не отвечала.

— Так, да? — военный повысил голос и вдруг прикоснулся рукой к затылку Регины Петровны.

Она дернулась, но не отстранилась.

— Нет, — произнесла и поглядела на Кольку.

— Что — нет?! Что — нет?! — крикнул военный и стукнул ладонью по папке, которую держал в руке. Раздался громкий хлопок. Все вздрогнули.

— Нет... То есть я могу... Я хочу сказать... Что они... Что они... братья...

Военный уже не слушал ее, складывая в папку бумажки.

Не простившись, он вышел из комнаты; было слышно, как отъехала машина.

Остальные остались в комнате. И штатский остался. Все молча ждали, что он скажет, а он тоже молчал. Создалась мертвая пауза.

Ольга Христофоровна решила к нему обратиться:

— А у вас... простите, никаких вопросов?

Человек даже не шевельнулся. Он продолжал смотреть в окно, будто это не к нему обращались. Но вдруг повернулся, сказал через сомкнутые губы:

— Дайте, пожалуйста, список.

— Список детей? — спросила заведующая.

Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснять, и Ольга Христофоровна подала ему листок.

Он быстро, мельком заглянул и поинтересовался:

— А вот это Муса? Он что, татарин?

— Да, — сказала Ольга Христофоровна. — Он сейчас тяжело болен.

— Откуда? — спросил штатский, пропустив мимо ушей про болезнь. — Не из Крыма, случайно?

— Кажется, из Казани, — ответила заведующая.

— Кажется... А Гросс? Немка?

— Не знаю, — сказала заведующая. — Какое это имеет значение? Я тоже немка!

— Вот я и говорю, — голос у штатского звучал очень ровно, в нем было что-то тихое, бесшумное почти, будто два крыла сзади шелестели. Все в нем понравилось бы Кольке, только губы, тонкие, чуть кривые, жили как бы сами по себе, и в них, в том, как они изгибались, было что-то чужое, холодное. — Понабрали тут, — продолжил человек и бросил список прямо на стол, хотя Ольга Христофоровна, уловив его движение, уже протянула руку.

— Мы их не набираем, — сказала Ольга Христофоровна. — Мы их принимаем.

— Надо знать, кого принимаете! — чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули.

И только Ольга Христофоровна упрямылась, хотя видно было, что она больна и ей тяжело продолжать разговор.

— Мы принимаем детей. Только детей, — отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой.

На следующий день всех детприемовских, в том числе и слепых, повели в театр. Шли попарно, зрячие вели слепых. В театре открылся занавес, и началось волшебство под названием "Двенадцать месяцев".

Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алхузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно! Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер и вокруг него сидели двенадцать месяцев?..

Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла.

Антоша же дергал их за руки и просил: "Ну что там? Что там?"

Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Дорогой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного.

Вечером всем раздали — сама Ольга Христофоровна это делала — по конфетке, по два печенья и по два бублика — такой шикарный подарок, и всех зрячих выстроили по одну сторону елки, а слепых напротив. Слепые спели им песню про елку, а потом Ольга Христофоровна громко закричала:

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Все ребята закричали "ура!". Даже больной Муса слышал из своей спальни этот крик, тоже подхватил его.

А потом зрячие ребята выступали, каждый с чем мог, а Колька стал читать стихи... Про тучку золотую.

...Но остался влажный след в морщине  
Старого утеса...

Колька замолчал и посмотрел на слепых: они, вытянув шею, напряженно слушали. Будто боялись пропустить даже его молчание... А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово "одинок"...

Хотелось заплакать.

Он вдруг понял вот сейчас, стоя перед слепыми, что кончилась его кавказская жизнь, а завтра, как им сказали, их повезут куда-то, где будет у них совсем другая жизнь.

Сбоку елки стоял Алхузур и тоже смотрел на Кольку. Уже стали подсказывать слова, но он не выдержал и убежал в коридор. А слепые зааплодировали ему вслед.

Утром их подняли раньше обычного, часов в шесть.

Даже Мусу заставили одеться, его отправляли тоже. Оставались лишь слепые. Но когда всех выстроили, чтобы вести на станцию, откуда-то появился Антон и закричал:

— Кузьменыши! Вы здесь? Вы здесь?

— Антон! — крикнул Колька и выскочил из строя.

Антон нашел руку Кольки и протянул бумажку. На ней было выколото пупырышками на языке слепых.

— Это тебе гаданье на будущее! — сказал Антон и улыбнулся, как улыбаются только слепые: куда-то в пространство.

— Но я же не прочту, что тут написано!

— Приходи на рынок, если попадешь в наш город! — сказал Антон. — Я там буду! Я тебе прочту! Ты хороший человек, Коля!

— Дети, на место! — крикнула Ольга Христофоровна. Это относилось, конечно, к Кольке. — Всем идти за мной.

На улице было холодно. Мела поземка. Вокзал был пустынен. Ребят разместили в поезде, в пустом, небранном вагоне. Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день нового года.

Колька показал Алхузуру на две самые верхние полки и сказал: "Это наши. Мы так с Сашкой ездили".

В это время в вагон вошла Ольга Христофоровна и крикнула:

— Коля! Тебя там спрашивают!

— Кто? — недовольно буркнул Коля, не желая отходить от Алхузура.

— Выйди! И узнаешь! — сказала Ольга Христофоровна.

Тяжеловатой походкой она двинулась дальше по вагону, проверяя, все ли нормально устроились.

— Муса, тебе не холодно? — спросила она татарина.

Муса ежился, но жаловаться не хотел. Да в общем-то он радовался, что тоже куда-то едет. Чего бы это он оставался один...

Колька вышел в тамбур и увидел у вагона Регину Петровну. Она держала в руках свертки.

Бросилась к Кольке, но споткнулась. А он смотрел из тамбура. Смотрел, как она торопливо поднимается по неудобным ступенькам, чуть не роняя свертки.

— Вот! — запыхавшись, произнесла она. — Это костюмы! Ну, те, которые вам с Сашкой! — и так как Колька молчал, она прорисительно закончила: — Возьми! Там на новом месте...

И положила свертки на пол рядом с Колькой.

Они помолчали, глядя друг на друга.

— Я не знаю, куда вас везут... — произнесла она, глядя на Кольку. — Почему-то держат в секрете... Ерунда какая-то. Но ты еще подумай. Может, останешься с нами? Мы с Демьяном Иванычем обсудили, он не против взять тебя... — она поправилась: — Тебя... и этого мальчика...

Колька покачал головой.

Регина Петровна вздохнула. Стала доставать папироску, но сломала ее и выбросила.

— Ну ладно, — сказала она. — Может, ты напишешь? Когда приедешь на место?

Колька опять покачал головой.

Регина Петровна вдруг протянула руку и погладила его по голове. Он не успел увернуться.

— Ладно. Прощай, дружок! — пошла и вдруг обернулась: — Ты мне можешь ответить на один вопрос?

Колька кивнул. Он знал, о чем она спросит, и ждал этого вопроса.

— Где твой брат? Я говорю про настоящего Сашку... Где он?

Колька посмотрел в глаза этой самой красивой в мире женщине. Как он ее любил! Как они оба любили! А теперь... Сашка, может, и простил бы ее бегство, но Колька не мог... Но и не ответить он не мог. И тогда он сказал:

— Сашка уехал.

— Далеко?

— Далеко.

— Ну, слава Богу! Жив, значит... — вырвалось у нее.

Регина Петровна спрыгнула с подножки: поезду дали отправление.

А Колька сразу же бросился в вагон, про свертки он и не вспомнил. Он боялся, что без него Алхузуру будет плохо.

Но Алхузур смотрел в окно и о чем-то думал. Теперь оба стали смотреть в окно. Там стояла женщина, и, хоть задувал ветер и ей было холодно, она смотрела на вагон и не уходила.

Наконец поезд отправили.

Вагон дернулся и медленно поехал. Женщина стала махать рукой.

Колька приблизил лицо к стеклу, чтобы еще раз, последний, посмотреть на Регину Петровну. Ему показалось, что она что-то закричала. Он покачал головой. Это означало, что он не слышит. Но она могла понять и по-другому. И все-таки она продолжала кричать, ускоряя свой шаг. А потом она побежала...

Платок у нее съехал на шею, обнажив черные волосы. И пальто ее расстегнулось. Она ничего этого не чувствовала. Она бежала, будто догоняла свое счастье... И кричала, кричала...

И тогда Колька помахал ей и кивнул, будто что-то понял. Больше он ее не видел. Он забрался на полку, лег рядом с Алхузуром и обнял его. И почему-то заплакал, прижимаясь к его плечу. Алхузур утешал его, он говорил:

— Зачым плакыт! Нэ надо... Мы будыт ехыт, ехыт, и мы приедыт, да? Мы будыт вместе, да? Всу жыст вмэсты, да?

Колька не мог остановиться, он плакал все сильнее, и только поезд стучал колесами, что-то подтверждая: "Да-да-да-да-да-да..."

1981 г.



**КУКУШАТА**  
или  
**ЖАЛОБНАЯ ПЕСНЬ**  
**ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ СЕРДЦА**  
ПОВЕСТЬ

---

## 1

Ночь, как деготь. В сарае темно, и за сараем темно. И темно, и промозгло. Сидим, "дрожжи продаем". Околели, в общем. Значит, скоро утро: под утро всегда холодает.

А про деготь я вспомнил не случайно, вчера, как в сарае залетели, на него наткнулись, в бочке, в углу. На него и на телегу без одного колеса. А как стали замерзать, возникла шальная мысль: не поджечь ли нам эти деготь и телегу, да и сарай заодно, чтобы напоследок погреться!

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Вот именно, кострами, как у этих, у артековцев в кино. Прощальный сбор в конце лета, огонь до неба и счастливые, озаренные пламенем лица.

Взвейтесь кострами...

и т. д.

У нас тоже был прощальный! Жаль, что сами сгорим. Да кому жаль-то? Самим себя, и то не очень. Не велика, как говорят, потеря. Может, какая сердобольная старуха из голявинских поселковых, завидев пламя, и перекрестится: мол, отмучились, окаянные, прости им, Боже, их согрешения! А остальные еще с облегчением вздохнут: издохли ироды, туда им и дорога! Жили, небо коптили, как паразиты, так и сдохли не лучше! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Не мой глаз!

А вот и не сдохли еще!

Не сдохли, слышите вы — отцы, матеря, братья, сестры, дорогие папаши и мамыши! Потерпите уж малость, простите великодушно, коли не сразу сгорим. Легавые, что об-



ложили с вечера этот дырявый сараюшко, очень даже крепко берегут нас для вашего же спокойствия. Чтобы спали и не знали ничего, как вы до сих пор с закрытыми глазами да заткнутыми ушами рядом с нами жили. Еще одну ночку переживете, надеюсь. Пока нас менты не схватят. Пока не "обезопасят", так что ли выражаются!

А не схватили до поры, уж извините, потому, что свои драгоценные жизненки, спасенные неизвестной ценой от фронта, для своего и для нашего общего светлого будущего берегут.

У нас, как вы догадываетесь, никакого светлого будущего нет. Мы оторвы, отбросы общества, его дерьмо, экскремент, по-научному. А по-нашенски — говно. Нас пора бы давно на помойку, да только сейчас по-настоящему хватились, когда от нас, как выражаются, вонять стало.

От клопов воняет, когда их давят.

Хотели они нас вчера придавить, да мы им хрен в зубы показали. А как они вытащили свой жестяной рупор, именуемый матюгальником, и начали в него кричать: чтобы мы не валяли дурака, а выходили бы по одному, а они обещают нас не бить и ничего плохого нам не делать, так мы, чтобы они берегли внутри себя свой пердучий пар и зазря его не расходовали, пальнули в них из ружья. Тут они и заткнулись. Как пилюлю проглотили. Хоть дробь наша до них, ясно, не достала. Теперь молчат. Ждут рассвета, а может, и помощи какой-нибудь. Они же у нас храбрецы! Когда злые бывают, то семь мух убивают! А на пацанов, вооруженных одной берданкой, идти и рисковать у них запала нет. Тем более, они не знают, сколько нас и чем мы на самом деле вооружены.

Вообще говоря, я сам не знаю, сколько нас после всей этой заварушки осталось. Пятеро. А может, шестеро. Или семеро...

Теперь сидим и кукуем в нашей клетке. Поскольку мы все Кукушата. Так нас в нашем "спеце" зовут. И никакой это не символ, а фамилия такая. Причем у всех такая одинаковая фамилия: Кукушкины.

Я гляжу наружу, но слышу, как от противоположной стены ухаёт от кашля Шахтер, отхаркивает свою шахтерскую мокроту. Он сторожит свою сторону и мучается без курева. Ему тринадцать, он чуть старше остальных, и уже дважды удирает из "спеца", и даже поработал полгода на шахте под Тулой. Его, конечно, разыскали, вернули, и с тех пор он курит, а еще отхаркивает черноту. Отхаркнет, сплю-

нет на ладонь и показывает остальным, вот он, уголек, который в легких. А комочек харкотины, и правда, черного цвета. Такая-то, говорит Шахтер, свобода от нашего "спеца", от которого не скрыться и под землей. Черного цвета свобода, говорит он. Изнутри и снаружи.

Но лучше там, под землей, чем здесь, на земле. Это-то мы сразу для себя решили.

Сверчок и Ангел еще с вечера забрались в телегу и до сих пор с нее не слезли. У Сверчка температура, и он громко стучит зубами. Ангел же боится темноты и скулит от страха. Страх этот от прошлого, которого никто из нас не помнит. Никто не помнит, но что-то внутри нас помнит, если нам, как и Ангелу, временами невмоготу переносить ночь. Но мы еще притерпелись. Ангел же и в "спеце" ночами не спит, ждет рассвета. Темнота изводит его до тошноты, до обморока.

Рядом с Ангелом и Сверчком Сандра, старается их своим мычанием подбодрить. Сандра не умеет говорить, хотя она вовсе не глухонемая. Она все слышит и все понимает. Говорят, что слова, все до единого, она забыла от испуга. Когда же произошел испуг, она не помнит.

Мы вообще странные существа, создания, зашифрованные в какие-то времена, и лишь наше поведение выдает нашу причастность к чему-то, чего мы не знаем. Спросить же нам некого. А когда нам говорят о нас, то обычно врут.

Сейчас уже можно сказать в прошлом времени: ввали.

По левую руку от меня, почти в углу, расположился мой закадычный дружок Бесик. Зовут его Виссарийон, дружки звали Весик. Ну а познав кипучий нетерпеливый характер, сразу переделали имя на Бесика. Он у нас заводила, бунт. Не могу вспомнить, но, думаю, все, что сейчас с нами произошло, началось с него. Я не говорю, что это он придумал. Он оказался искрой в пороховой бочке.

Я слышу его шепот, обращенный к Моте:

— Ты ружье зарядил? Ты не забыл зарядить? Дай пальнуть разок!

Мотя караулит у двери. Это самое уязвимое место. Мотя единственный среди нас с оружием. Ружье старое, тульского завода, мы его прихватили в одном доме. И ружье, и патронташ. Мотя же вчера из этого ружья пальнул по ментам. Думаю, что стрелял он первый раз в жизни.

Если бы несколько дней назад мне сказали, что Мотя, наш справедливый и мирный Мотя, у которого "все люди хорошие", станет стрелять в какого-нибудь человека, я бы первый не поверил.

Но он стрельнул, и оказалось не страшно. Мы поняли: они нашей стрельбы боятся. А значит, мы будем стрелять еще.

Теперь они там, за бугром, ждут рассвета, будто с рассветом нас легче брать. А по мне, так для их легавого ремесла больше всего подходит именно ночь. Ночь да темнота, как деготь, когда свидетелей нет и когда нам страшно. Не потому ли мы боимся темноты, хотя не все, как Ангел, выдаем свой страх, что остался с той ночи, когда такие же легавые вошли в наш дом, которого мы не помним, гремя сапогами и двигая мебель? И — в дом. И — в нашу жизнь.

И — в наши души.

Мы-то не помним, а души, наверное, помнят. Из них, как харкотина из нутра Шахтера, кусками выплевывается накопленная в нас чернота. И я понимаю Бесика, почему он выпрашивает у Моти ружье, чтобы разок из него пальнуть по ментам. Бесик при появлении ментов цепенеет, а глаза у него становятся белого цвета. Я стараюсь в этот момент быть рядом с ним, иначе он может броситься и даже кого-то укусить. Мотя ружье ему не дает, зная его такой характер.

Я слушаю, как Сандра утешает Кукушат своим мычанием, думаю о Бесике и о Моте, и еще о Шахтере, и вот что мне приходит в голову: что с ночью у нас покончено. Больше таких ночей у нас не будет. Никогда не будет. Я точно знаю.

А все ведь началось с появления женщины на исходе дня в нашем "спеце".

## 2

Да, да. Все началось с появления этой женщины. Мы из-за кустов ее сразу засекли. Да и как в нашем глухом поселочке, задрипанных Голяках, не заметить нового человека, да еще если этот человек баба, забредшая по своей дурусти в наш спецрежимный детдом?

Из местных, ясно, к нам не приходит никто. Только те, кто у нас работает. Но их немного. Из района тем более не появляются, они давно на нас рукой махнули. Даже местная милиция, которой велено инструкциями за нами следить, не слишком-то себя утруждает. Встречи с нами и на

улице — не сахар. Даже не сахарин. А в нашем осином гнезде и подавно.

...А женщина появилась у нас под вечер, худенькая, как подросток, с короткой челкой, в берете. В это время мы делили в кустах молодую картошку, вырытую на чужом огороде.

Мотя, который делил, выглянул да засмотрелся, нам его обратно за штаны втягивать пришлось. И Бесик, и Шахтер посмотрели. Остальные не стали. Они о картошке думали.

— Фартовая, — определил Мотя и почему-то засмеялся.

— Сумочка у нее фартовая, — уточнил Бесик. Он еще раз высунул голову и добавил: — Держит сумочку... Как в гости пришла... Графуния... Нуты-футы, ножки гнуты...

— Сорвать, — сказал Шахтер.

— Срезать, — уточнил Сверчок.

— Слямзить, — предложил Корешок.

— ...Была ваша, стала наша...

И уж намостырился Бесик бежать наперерез красотке, чтобы эту, теперь мы все видели, легкомысленно повешенную на ручку сумочку изъять, то есть говоря их языком — национализировать, сумочка прямо-таки просилась к нам, она сама хотела, чтобы ее скорей изъяли, но остановил Мотя.

— Замри, Бесик, — произнес спокойно. — Замри, не бесись. А если руки чешутся, то чеши добровольцем еще раз за картошкой! — и пояснил для непонятливых: — Это ведь не прохожая на улице, чтобы у нее на ходу подметки рвать. Она же, небось, к директору идет. А вдруг она новая воспитательница? Вместо Захаровны, что сбежала? Или — надсмотрщица? Или — повариха?

— А вдруг она чья-то тетя?

Это последнее, про тетю, особенно всем понравилось.

Захотели, заблеяли, надрывая животики, а Корешок заголосил на высоких тонах, вызвав новый приступ смеха:

— Здра-а-сте.. детки... Я ваша тетя!

Мы корчились, мы умирали от нашего юмора. А юмор заключался в том, что никогда, за всю историю существования нашего режимного "спеца" ни одна тетя еще к нам не забредала. Хоть бы силой кто загнал. Но, правда, легенды были. И, как всякие, легенды, невероятно живучие, были о том, что раз в сто лет случаются такие невероятности, как появление в детдоме дальних родственников, а то и тетя (тетя!), которые, вот чудеса-то, дав какие-то там

обязательства, гарантии, расписки, могут взять племянничка, родственничка дальнего и вытащить его из нашего гиблого места, из наших Голяков, и увести в какую-то другую, беспрецедентную жизнь.

Легенды легендами, но еще ни разу ни один Кукушонок в глаза тех залетных родственничков не видел, и надо понимать так, что не увидит. Потому и зубы скалили, и животики надрывали, изображая друг перед другом встречу с фантастической, с мистической, с космической тетей.

— Ах, тетенька, зд-д-ррас-те! А мы-то заждались! Мы-то заждались! Никак се-дня и не ждали, разрешите, те-я-нька, сумочку подержать! Ах, какой костюмчик, особенно кармашки... Милашки-кармашки, а в кармашечке-то что? Кошелечек в кармашечке-то. Что вы, те-я-нька, сказали? Был кошелечек? Может, и был, а теперь, те-я-нька, нет кошелечка, и браслетика с руки нет, и цепочки с шеи... Ах, те-я-нька, за что мы обожаем тетенок, что приезжают они к нам при полном параде... В таком виде и отпускать жалко... Но отпустим, как не отпустить, кто же тетеньку, родственную душу-то, долго станет держать... Только не рыдайте, не плачьте, не убивайтесь, а то мы сами заплачем от жалости! Ах, вам кошелечек жалко. А нам, думаете, не жалко, но мы же берем и не плачем, мы же суровы! Ах, вы, те-я-нька, платочек лишь просите... Так нет платочка-то, его давно сперли и унесли... Кто спер, если бы узнать! Но вы не бойтесь, те-я-нька, утрите рукавом слезы, мы его найдем! Найдем! Найдем! Обормоты, шакалы, говноеды несчастные! Им бы по карманам шарить и наших драгоценных тетей обижать! А вы уж не ждите, те-я-нька, не ждите, родненькая, а уезжайте поскорей, а то они ведь могут и последнее взять. С них, те-я-нька, станет... А если захотите, то и опять приезжайте, мы-то зла не копим, мы всегда тетенькам рады! Так, прощайте, прощайте, красота наша!

Полутного вам ветра... В за-а-а-д!

Так мы веселились, не зная, не ведая, что в той пресловутой сумочке, у той драгоценной тетечки лежит нечто, до поры тайное, ну, скажем, как бомба, которая разнесет весь наш "спец" вдребезги. И его, и нас, всю нашу жизнь в придачу!

Ах, Бесик, Бесик! Не надо было тебя удерживать, когда ты рвался ту красивую сумочку прибрать к рукам. Твои гениальные руки с длинными пальцами, умевшие проникнуть в любое гнездо, чтобы достать яичко, а в любом

кармане чувствующие, как у себя дома, должны были тогда это сделать. А если бы они тогда это сделали, то и жизнь наша, может быть, повернулась по-другому.

Впрочем, по-другому — не обязательно лучше.

А между тем женщина, уносившая свою отныне и навсегда кличку "тетенька", прошла в главный корпус и исчезла за дверьми. А жизнь, наша жизнь, потекла в своем обычном русле, в заботах о дне насущном: раздобыть съестное и, конечно, дожидаться, дожить до бесценных минут ужина, хоть было заведомо известно, что это будет за ужин: снова затируха с капелькой постного масла и крошечная паечка хлебца. На ужин хлеба давали меньше всего. Верный расчет директора Чушки на то, что к ночи ста спецрежимным питомцам легче добыть, стащить, достать, своровать пропитание, чем, скажем, поутру. Но где достать?

Раскидывая об этом мозгами, в то время как рот делал свое дело, то есть облизывал тарелку, пытаясь из металла выжать еще одну каплю затирухи, я услышал, как воспитательница Наталья Власовна, по-нашенски — Туся, глуховатая, не зная, не молодая, лет, наверное, тридцати, крикнула, что после ужина всем Кукушатам велят зайти в кабинет директора.

В детдоме знают, что фамилия у нас Кукушкины. Но привыкли и называют Кукушатами, или Выводком, или Гнездом. А если кто попался на рынке, то Стаей, а то и Бандой. И тогда понятно, что речь идет о нас, десятерых. То есть было десять, теперь осталось девять; один, Христик, сбежал месяц назад, а куда — неизвестно.

Новички, узнав о таком количестве Кукушкиных, спрашивают, не братья ли мы, что носим одну фамилию. А если не братья, тут же начинают спорить и доказывать: не может быть, чтобы столько оказалось разом Кукушкиных "не братьев". Мы тогда говорим, что вот, в царской армии, были Ивановы... Седьмой Иванов, так и выкликали. Почему же, говорим мы, Ивановых может быть в армии семеро и даже больше, а Кукушкиных — не может? И ничего на это возразить нельзя.

А что мы не родственники и не братья-сестры, так это и по виду можно догадаться. Бесик у нас чернявый, вертлявый, как червяк, и носатый, а Сверчок, как мухомор, рыжий. Когда он поет, а поет всегда и знает разных песен мильон и еще одну штуку, лицо краснеет от напряжения, и конопатины на нем еще больше вылезают. Зато Ангел, как и положено ангелу, который спустился на землю, тих,

курчав, стеснителен, будто девочка. Сандра против него грубовата и крута, зазря что не говорит, но у нее и мычание на окрик похоже. Мотя и Шахтер покрупней, постарше остальных. Но Шахтер мордастый, толстогубый, доверчивый, а Мотя длинный, худой, справедливый, а рот у него как бы создан для вечной приветливой улыбки, дугой, как у Буратино, и у него все люди на земле хорошие. Дружит Мотя с Сенькой Корешком, золотушным и всегда больным. Когда его в наш "спец" привезли, Наталья Власовна, Туся, задала однажды на уроке Сеньке вопрос: что он взял бы для еды от капусты, вершок или корешок? А Сенька, глупыш, растерялся, потому что в ту пору еще не знал, как растет эта самая капуста, и брякнул, что он взял бы себе "корешок". Добрый Мотя вступился за него и выкрикнул, что надо брать "вершок"! Все засмеялись, а клочки прилипли, и Сеньку стали звать Корешком, а Мотю Вершком... Тогда еще Сенька Корешок был из Кукушат самым младшим, и Мотя, прям как нянька, обхаживал его. Корешки, да и только. А потом появился последний из Кукушкиных, у которого вообще не оказалось имени. Его прозвали Хвостик. Потому Хвостик, что шесть лет и что последний, и потому, что за всеми, и особенно за мной, хвостиком и ходил! Но многие утверждают, что называли его так после случая, когда у него сзади стал болтаться хвостик, и все заметили, и захохотали, — это глист торчал, который наполовину вылез, прям в дырочку штанов.

Выстроились мы в кабинете у директора: Шахтер, Мотя с Корешком, Бесик, Сандра, я, Ангел, Сверчок, Хвостик. Нас почему-то особенно любят показывать разным комиссиям, когда они приезжают. Не только из района. Из области, а то и из Москвы.

Однажды на машине приехали, все в военном и с портфелями. Выстроили они нас и стали спрашивать, кто о себе что-нибудь помнит: о родителях или о своей жизни, а может, кто-то получал даже письма.

Но мы никаких писем ниоткуда не получали и ничего не помнили. Ну, помнили то, что в прошлом году чуть пожар в детдоме не случился, один из "спеца" под трактор угодил, когда в колхозе за брюквой полез. Да только это им неинтересно было. Так мы и стояли, будто глухие с глухими, уставясь в пол. А они, военные, заглядывали в бумажки, которые "личным делом" прозываются и хранятся где-то у директора под замком, и все что-то бормотали между собой. А потом стали нас к столу выкликать.

Один из военных, курчавый, молодой, сказал мне:

— Надо, дружок, быть доверительней... Раскрепощенней... Мы с вами, видите, как свои...

Никто этих слов не понял, и я не понял, промолчал. А Мотя потом объяснил: это вроде сексота... Мол, скорей стучи на своих, выкладывай, что знаешь, если уж ты такой доверительный, вот они и говорят, что они — свои!

Мы и другие их словечки запомнили.

Один сказал: "Заметна дурная наследственность". Это лысый, пожилой, у него и звезд на погонах было четыре штуки. А другой — бледный, тощий и звезд меньше — ответил:

— Ну и социально опасные. Надо бы режимчик-то ужесточить!

А курчавый, у него всего одна звезда, тоже вставил:

— Режим изоляции от общества благоприятен для их развития.

И тогда пожилой лысый еще сказал, как бы обобщая:

— Как на курорте... Пора для них тут спецремеслуху организовать, чтобы дармовой хлеб не ели. Труд и только труд лечит от классово-ненависти. Вот только почему они в стаю сбились? Почему кагалом ходят? Они сами групповщину свою организовали? А может, их кто научил?

Директор тогда сказал, поправив очки, что мы все Кукушкины и потому ходим вместе. Но никакой организации он не заметил и вообще считает, что это детдому никак не вредит.

По случаю, кстати, высокой комиссии директор нацепил золотые очки. Он их где-то стибрил, и все знали, что в стекла он старается не смотреть, через них он ни фига не видит. Но уж по торжественным случаям обязательно нацепит, ибо считает, что в них его свиное рыло выглядит благороднее.

— А вы не задумывались, отчего столько сразу однофамильцев у вас появилось? — спросил курчавый. — Или они сами такую странную игру затеяли, что взяли одинаковые фамилии?

— Да нет, — сказал директор, — они же глупы... недоразвитые они... Разве не видно?

— Видно, — сказал старший, лысый. И посмотрел на Сандру. Вывел ее из строя и вокруг обошел. — Уникальный случай в медицине, — произнес и попросил рот открыть. Она открыла. — Видите, — сказал, повернувшись к своим, — понимает же?



Директор кивнул:

— Понимает, но не говорит.

— Может, она того... Притворяется? Чтобы всех запутать? Такие, между прочим, случаи очень даже бывают.

— Она не может притворяться, дурная потому, — сказал директор. — А фамилия на всех Кукушкиных соответствует документам. Вы же сами убедились.

Лысый и все остальные застегнули свои портфели и на нас не смотрели. А мы стояли и ждали. Чего ждали, понять было нельзя.

— А документы откуда? — спросил лысый, направляясь к двери. Нас как будто здесь вообще не было.

Директор молчал, а тот продолжил, открывая дверь:

— Вот видите... А мы хотим узнать! — и пошел наружу. И все стали выходить, и директор побежал рысцей за ними, и в коридоре в открытую дверь было слышно, как курчавый громко сказал:

— Вы их это... Разведите... Групповщина — штука страшная... Они вам еще дадут жару!

— Конечно! Конечно! — ответил директор. — Немедля разведи! Не волнуйтесь!

Но как нас разведешь, если Кукушкины давно в стаю сбились, и сбились не у директора в кабинете, а на улице, где нас по спискам не проверишь. Как-то попытались они нас "развести", даже какую-то лекцию про международный оппортунизм прочитали, на том дело и кончилось.

Комиссия на машине уехала и больше не появлялась. Но и Кукушкины с тех пор больше в наш "спец" не поступали.

### 3

Директор, Иван Орехович Степко, носящий между нами кличку Чушка, встретил нас, как всегда, хмуро и велел построиться. Потом он вышел и вернулся с нашей "тетенькой", которую мы засекли на подходе из-за кустов. Тетенька вблизи показалась нам моложе и была красивенькой. Короткая стрижка, как теперь, в войну, зеленый беретик и кокетливая челочка на лбу. Глаза такие большие, темные, прямо-таки воткнулись в нас, будто милиция, изучая наши физиономии. Ну а мы, конечно, уставились на ее сумочку, болтающуюся на руке. Помню, подумалось, что долго эта глупая сумочка не провисит... Тут, в коридоре, ее и срежут,

а если до сих пор не срезали, то это от некоторой непривычки перед новым человеком, да еще бабой, да еще красивой такой на вид. Но у нас в "спеце" и на красоту не посмотрят. Красиво лишь то, что можно украсть. Сумочка — вот это красота!

Я отвел глаза и стал смотреть на директора.

Когда нас осматривают, как витрину все равно, мы тоже сперва осматриваем исподтишка осматривающего нас. Потом это нам осточертевает, и мы выбираем объект неподвижной. Для этого как раз годится наш директор Чушка. Он на вид рыхлый, тяжеловесный, с одышкой и нас никого не помнит. Он даже не делает вид, что мы его интересуем. Его интересует только его дом, его хозяйство и его свинство.

У него на другом конце поселка свой дом, двор, а на нем много свиней, которым мы носим хлебово из нашей кухни. А когда мы это хлебово несем, мы гущу вылавливаем руками на ходу. Но мама Чушки (это как звучит!) — старая ведьма, специально выходит на улицу, чтобы проследить за нами, а видит она на диво далеко. Она вообще, когда мы появляемся у них во дворе для работы, следит за нами и впрямую, и тайком, и мы знаем, что она нас всех ненавидит. Когда она разговаривает с нами, она вместо звуков выдает шипенье, и в глаза она при этом не смотрит. Но ее сынок тоже никогда в глаза не смотрит. Случись какой разговор, он обращается будто к полу, к столу или стулу, а не к говорящему. Никому из нас не удалось ни разу узнать, какой у него, по-настоящему, взгляд. Бесик утверждает, что однажды он увидел директора в окно, забравшись на дерево около его кабинета, и будто сразу догадался, что глаз невозможно увидеть потому, что там их нет, а есть две дыры, как в черепе, в которых ничего не увидеть.

— Он смотрит, как из могилы, — сказал Бесик и хотел изобразить, как это бывает, но ничего не получилось.

— А зрачки? — спросили мы.

— Нет там никаких зрачков! — воскликнул он. — Одни дырки. Я когда увидел, чуть с дерева не грохнулся. Не зазря он их стекляшкой прикрывает!

Теперь он был без стекляшек, оправленных в золото.

Директор сказал, обращаясь не к женщине, а к полу:

— Эти — Кукушкины.

И вышел, громко топая, а женщина осталась. И сумочка продолжала болтаться у нее на руке. Я заметил, что, взбудораженный такой беспечностью, Бесик прямо-таки

потянулся в сторону сумочки, но его одернули: успеется, мол. Больше же ничего интересного не происходило. Думаю, нам всем одинаково тоскливо подумалось, что сейчас вот и начнутся глупые вопросы насчет фамилии, да насчет Сандры и нашего прошлого, которого мы все равно не знаем. Да и знать не хотим.

Но женщина лишь вздохнула, когда директор захопнул за собой дверь. Лицо ее чуть оживилось. Она сказала:

— Ну, здравствуйте, что ли... Кукушата...

И почему-то засмеялась. Мы вразной, все, кроме, конечно, Сандры, ответили ей, кто "здорово", а кто "наше вам с кисточкой"... А Ангел произнес ни с того, ни с сего: "Добре дошли"... И смутился. Потому что это выскочило помимо его воли, и он не знал, что это означает:

Женщина тогда сделала шаг к Ангелу и спросила:

— Ты что же — знаешь болгарский?

Мы все удивились и посмотрели на Ангела. А он от испуга помотал головой, удивленный вопросу не меньше нашего. Никакого болгарского он не знал и нигде сроду не бывал. Просто женщина еще не поняла, что у него высказывают сами по себе, будто в фокусе, всякие непонятные слова. Ну, как бы у Сандры ее мычания.

Женщина еще раз, но совсем по-другому, всех нас осмотрела, а на мне, я это прямо кожей почувствовал, остановила взгляд. Даже не знаю, почему я почувствовал, что она не как на остальных на меня посмотрела.

Потом она прошла вдоль строя, а увидев Хвостика, задержалась.

— А ты кто же будешь? — спросила удивленно.

Хвостик не растерялся и, в свою очередь, спросил:

— Мы-то Кукушкины, а ты кто такая?

Женщина покачала головой. Такие, мол, Кукушата, что им, даже самому младшему, палец в рот не клади. Она полезла в сумочку — мы прямо глазами воткнулись следом за ней — и достала большую конфету в бумажке.

— Держи, — сказала, — Кукушонок! — и протянула конфету Хвосту.

У меня да, наверное, у всех нас сердце екнуло от такого ошалелого подарка. Я прям почувствовал, как в строю все наши напряглись. Никому из Кукушат не приходилось еще видеть наяву настоящую конфету в фантике, мы о ней лишь по рассказам знали. Подумалось, не только, наверное, мне, чтобы Хвостик конфету втихаря не схавал, а поделил на всех. Да она, конечно, всем и предназначена. Не бывает так, чтобы одному человеку, тем

более Хвостуку, который хвостик от нас и есть, отдали на съедение целую конфетину.

Размечтавшись, я сразу и не заметил, что женщина встала передо мной. Я даже вздрогнул от неожиданности, увидев в упор ее глаза. Она смотрела на меня пристально, не отрываясь. И в то же время это был какой-то ужасно грустный взгляд, вот что еще я сразу понял.

Она шевелила губами, но у нее не сразу произнеслось:

— А тебя... Тебя-то как зовут?

— Сергеем, — ответил и посмотрел на сумочку: может, и мне обломится за такую мою вежливость конфета?

— Сергей... Кукушкин? Сережа, значит.

— Почему Сережа? — спросил я с вызовом. Мне не понравилось, что она так странно произнесла, будто присвоила себе мое имя.

— Серый он! — выкрикнул Бесик, тоже не отрывая своего взгляда от сумочки. Он даже задвигал пальцами, разминая их, как перед работой.

— Как? — спросила она, повернувшись к Бесику. — Серый... Почему Серый?

— Ну, кличка, — ответил я нехотя, поняв, что конфета мне не обломится. Да и вообще долгое внимание начинало надоедать. Пусть бы она с Шахтером нашим поговорила, он бы ей ответил на своем языке. И ни на каком ни болгарском, а чисто шахтерском, где через слово всякие "мамы" вспоминаются. А может, и "тети" тоже.

Но женщина, кажется, сама поняла, отстала. Как говорят, отцепилась. Взгляд у нее стал задумчивый, а может, даже расстроенный.

— Вот что, братцы, — сказала как про себя, как через силу, и уже не улыбалась. Будто ей стало больно с нами говорить. — Я приехала потому, что... Ищу я родственника... Ищу очень давно, и много я объехала детдомов, приемников...

Она произнесла слово "родственник", и мы тут же, Кукушата, переглянулись: не об этом ли шел разговор! И на тебе! Чудо свершилось!

— Фамилия мальчика, которого я ищу, — Кукушкин, а зовут его Сергей, — сказала женщина и посмотрела на меня. И все на меня посмотрели. Кто с любопытством, а кто с интересом, с завистью и даже со страхом. И лишь я один никак не отреагировал на слова, будто они меня не касались. Да, и правда, касались ли, если на свете тыщи Кукушкиных, и многие из них Сергеи... И если Хвостик без

имени пришел в наш "спец", то и он, в конце концов, и другие могут быть Сергееми!

Тут вошел директор Чушка и спросил не у тетки, а у пола:

— Ну и что? — как на допросе: что, мол, удалось выпытать.

Наверное, это означало, что он интересуется, хотя и без интереса интересуется, кого тут приезжая нашла? А если никого не нашла, то пора бы ей закругляться, а то ему надоело ждать.

Но женщина, видать, не жила в "спеце", она не поняла прямого намека:

— Простите, — сказала, — я быстро... Я хочу лишь переговорить с Сергеем Кукушкиным. Вы разрешите? — и посмотрела ласково на директора.

А он отупело — когда это с ним так разговаривали! — проследил за ее глазами из-под век и окинул тусклым взглядом меня. Но я его глаз не ухватил. Думаю, что и он меня не увидел. И не прошибла бы его никакая просьба, если бы не умоляющий жест приезжей, которая не сводила с него больших своих странных красивых глаз.

— Валяйте, — разрешил он, обращаясь к полу. Но тут же добавил: — Недолго. А остальные... Эти... Из шайки-лейки... Замолкни, и марш в зону!

Словечки "замолкни" и "в зону", мы знали, его любимые. Как ни странно, они не отдаляли Чушку от нас, а, наоборот, приближали, делали почти своим. Это ведь были и наши слова. Из нашей жизни. Кукушата, осчастливленные свободой, громко покатались к дверям и пропали. Лишь Мотя оглянулся на меня и сделал знак, понятный всем Кукушатам — палец поднесен ко рту — мол, мы с тобой, кричи, откликнемся!

Директор, помедлив в дверях — а вдруг без него не обойтись, — убрался с неохотой из своего кабинета.

Я точно знал, что он будет подслушивать. А может, и не будет, все-таки свинья ему дороже какого-то бессмысленного разговора одного из нас, Кукушкиных, с приезжей и, видать, сумасшедшей бабой.

Я тоже стоял и глазел на дверь. А куда мне еще глядеть? Меня вроде арестовали, одного из всех, я и стоял, как арестованный, то есть терпеливо ждал, что могут со мной еще сделать.

А женщина села в директорское кресло и достала папиросы из той же самой сумочки. Господи, и папиросы

там тоже были! Знал бы Шахтер, он сам свистнул бы сумочку, не дожидаясь всяких манипуляций Бесика.

Женщина закурила папироску и попросила меня тоже сесть. В кабинете был стул.

— Да садись же! Ближе, ближе... Я не кусаюсь...

Я присел на краешек стула, но не так близко, как она просила.

"Ах, тетенька, — не держали бы вы меня..." — подумалось с тоской. Но я сидел и ждал, решив до конца выдержать всю эту казнь. А женщина курила и молчала.

#### 4

— Ну, еще раз... Здравствуй, что ли, — произнесла она. — Забыла представиться... Зовут меня Маша... Мария Ивановна, значит.

Я кивнул. Но про себя-то я знал, что не буду никак ее называть. Разве что для юмора тетенькой, и то не вслух.

— Я тебя давно ищу. Кукушкины по многим детдомам разбросаны, а некоторые в ремесленные училища ушли.

Она спросила:

— Знаешь, сколько Кукушкиных оказалось? Больше тридцати! А ты — среди них... Я ведь тебя искала!

"А я тебя не искал", — захотелось ответить. Но я сдержался. Вот если бы директор наш, Чушка, сейчас вернулся бы да приказал очистить кабинет. Я в этом кабинете всего разок и был — это когда военная комиссия с портфелями нас вызывала. Я его весь глазами обшарил, но ничего полезного для себя не высмотрел. Стол да шкаф, да портрет Сталина над столом. Под Сталиным надпись: "Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево. И. Сталин". Это, значит, Чушка, как садовник, собирался нас по Сталину выращивать. Да не очень у него выходило. У него свиньи по Сталину лучше выращивались, чем люди.

Я прислушался: за окном негромко, но требовательно разнеслось "Ку-ку". Наши просигналили.

У Кукушат, все равно как у птиц, свои, призывные, звуки есть. Миролобтивное кукование означает, что ты жив, здоров, чего и другим желаешь. Резкое, быстрое "ку-ку" — знак тревоги, беги на помощь, кто может. И бегут. И еще одно, горластое, протяжное, как зов трубы... Это по любому серьезному поводу сбор.

Сейчас куковали мирно, но как бы и чуть вопросительно, что означало: "Не дрейфь, мы с тобой, мы тебя ждем".

Я оторвался от окна и вздохнул. "Ах, тетенька, — снова про себя попросил. — Не мучила бы ты меня. Да и себя бы не мучила. Давай простимся... Как в известном довоенном фокстроте: "И в дальний путь на долгие года..."

А женщина снова стала закуривать. Я проследил, куда она прежний бычок бросила, чтобы потом для Шахтера подобрать. Будет и от тетеньки польза: лишний раз Шахтеру не идти на станцию, не собирать вдоль насыпи окурки. Два полновесных бычка — такая находка!

Она вдруг спросила, я в то же мгновение понял, что этот вопрос у нее давно за щекой лежал:

— А ты правда считаешь, что твоя фамилия Кукушкин? — и так как я продолжал молчать, она добавила сквозь дым: — Тебя не удивляет, что ваше, ну... Гнездо... Ваша стая... Не случайно возникла? Нет?

— А как она возникла? — спросил я тупо.

— Ну, — сказала женщина Мария Ивановна. — Могли, например, вам в распределителе такую фамилию дать. Или...

— Зачем?

— Мало ли зачем. Могли же?

— Зачем? — повторил я, как попка-дурак. Но я дураком сейчас и был.

Тетка не ответила, а снова, не докурив, бросила папироску. А я опять подумал, что бычки у нее остаются роскошные. Шахтеру-то нашему лафа. Хотя я ему сейчас завидую, его свободе, но тоже не зря мучаюсь. Интересно, кто из Кукушат куковал? Трудно по голосу определить, но я почему-то подумал, что это Бесик. Он всегда за меня волнуется. А может, Мотя.

— Я тебе хочу сказать, Сергей... — произнесла она. — Сказать, что фамилия твоя вовсе не Кукушкин!

Тут я должен был спросить: "А какая же?" Но почему-то не спросил. Я знал, все равно она сама скажет. А торопиться мне теперь некуда. Двенадцать лет жил Кукушкиным, могу пять минут еще пожить. Да и не верил я ей.

— Твоя фамилия Егоров, — произнесла она. — А звать тебя и правда Сергей. Сергей Антонович. А лет тебе одиннадцать. В сентябре двенадцать будет. А знаю это все, Сережа... от твоего родного отца... Антона Петровича.

Добила-таки. Как гусеницей по мне прошла. И хоть не верил, не мог я ей верить, если хотел дальше жить, но спросил. Себе во вред спросил:

— Вы... Его... Знали?

— Знала. Конечно.

— А где он?

— Сейчас не скажу... Мама у тебя умерла, ты ее не помнишь. Но ты и отца не помнишь?

— Нет, — сказал я. Слова почему-то начинали застревать у меня в горле, мешали говорить.

— Ну да, когда его... Он, то есть, уходил, это в тридцать девятом. Тебе же шесть лет было!

— Он меня бросил? — и рывком я переспросил: — Он меня бросил? Да?!

— Нет, — ответила тетка, вздрогнув. — Нет, Сергей, — лицо ее было какое-то испуганное: — Он тебя не бросил! Нет! Нет!

Надо было не поверить и уйти. Надо было сбежать, если я хотел еще жить. Но я ждал. Чего я ждал? И зачем мне нужна была какая-то правда, если эта правда все равно опоздала? Лучше бы ее не было совсем. Но вот она, тетка, приехала, тридцать Кукушат счастливо миновала, чтобы именно меня выбрать из тридцати, и выстрелить этой правдой, и убить наповал. А я, дурачок, еще доверчиво ожидал, когда она все это проделает.

— Как тебе сказать... — тетка полезла в свою сумочку, вынула пачку папирос. Обнаружила, что пачка-то пустая, выкинула, не заметив, что та упала на пол. Чушка завтра придет, кому-то вlepит из дежурных за грязь. — Его забрали... Понимаешь?

— На фронт? — спросил я, хотя мог бы вспомнить, что до войны, а это случилось до войны, никакого фронта, наверное, не было.

— Он ушел не на фронт, — произнесла тетка устало. Ей тоже нелегко давался наш разговор. Я только сейчас об этом подумал. Но если она меня не бросает и разговор не бросает, значит, не все, ради чего она приехала, сказала.

Она поднялась. Поглядела на ручные крошечные часики и сказала, что ей нужно поспеть на московский вечерний поезд, иначе она опоздает на работу. Но она приедет. Через несколько дней она приедет пораньше, чтобы поговорить еще. Это очень важно для нас обоих. Для меня, но и для нее тоже. Она долго меня искала и не для того нашла, чтобы потерять. Вот что я должен понять. Да, и еще она просит, пока, пока... — все это на ходу и торопливо, — ничего не рассказывать об услышанном своим друзьям. Ну, то есть Кукушатам, которые тут в окно куковали. И директору тоже. Директору в особенности.



— Ему, кроме своих свиней, ничего неинтересно, — сказал почему-то я. Но засек, что тетенька-то наблюдательная, и нашу переключку, как ни дергалась, не пропустила мимо ушей.

— Не знаю, как насчет свиней, но меня он встретил подозрительно, — сказала она, задерживаясь у дверей. — Допрашивал, откуда я приехала, да кого ищу и зачем. Думаю, мог бы и погнать, но я не лыком шита, припугнула его... Так что прошу, если не трудно, говори, что я твоя тетка, понял? Так будет лучше.

Я кивнул. Я не стал спрашивать, для кого это будет лучше. И почему надо говорить "тетка"? А кто же она тогда на самом деле?

Она будто услышала мой немой вопрос, а может, прочла его в моих глазах.

— Приеду, объясню! Счастливо!

Она протянула мне руку. Когда она встала со мной рядом, я увидел, что она невысока и чем-то похожа на Сандру, будто не женщина, а подросток, который не намного старше нас. Она и руку дала, как у нас лишь умеют подавать, не случайным, а своим дружкам, с выбросом вперед: "по петушкам". И я принял и пожал ей руку. Даже не знаю почему. Кто бы она ни была на самом деле, эта тетка, которая не тетка, но которую буду называть теткой, я поверил, что она не врала, как врут остальные. Но именно поэтому мне стало плохо потом, когда она уехала. Так скверно, так муторно, как никогда раньше в моей жизни не бывало.

И она ушла. А я задержал взгляд на портрете товарища Сталина, провожавшего меня чуть вприщур, улыбкой своей мудрой. Вот только про бычки драгоценные для Шахтера, оставшиеся в кабинете вместе с товарищем Сталиным, я почему-то не вспомнил.

## 5

Кукушат не пришлось скликать, они сами возле крыльца толклись.

Они же первыми свои новости выложили. А новости такие, что новоявленная родственница под названием "тетенька" благополучно убралась в сторону станции и пошарить ее не удалось. Мотя Вершок не разрешил. И директор

тоже не сразу к своим свиньям убрался, все под окном торчал, прислушивался к разговору. Но Кукушата это дело в миг расчихали, затеяли у него под ухом песни похабные орать. Особенно Сверчок старался, ну и остальные помогали. Чушка злился, злился, а потом как гаркнул свое: "Замолкни и в зону!" А кто замолкни-то, если никого не выдать. Так, чертыхаясь, и убрался.

— Выкладывай, что за тетка? — сказал нетерпеливый Бесик. — Чего ей от нас надо? — так и сказал — не от меня, а от нас. Затронув из нас одного, затрагивали всех.

Они стояли вокруг меня, Кукушата, и ждали ответного рассказа. Бесик, Мотя, Корешок рядом с ним и улыбающийся Ангел, и темноликая Сандра с ярко-голубыми глазами, и Сенька Сверчок, что надрывал ради меня горло, и Шахтер.

При виде Шахтера я про бычки, оставленные в кабинете, вспомнил. Но я не сразу заметил Хвостика и спросил:

— А Хвостик где?

Но тут он и сам вылез из-за спины и крикнул снизу, глаза его сияли от радости:

— Серый! А тетка тебе по правде родня?

Он смотрел на меня восторженно, может, он решил, что, сидя там, в кабинете с теткой, я объедался конфетами в бумажках.

— Не знаю, — сказал я Хвостiku, я не хотел ему врать. Ему и Кукушатам, которые сейчас ловили каждое мое слово. — А твоя конфета, Хвостатый, где? Сожрал?

Хвостик разжал кулак и показал яркий фантик.

— Вот, — глаза его в темноте прямо-таки светились.

— Сам слопал? — поразился я,

Но тут влез Мотя и пояснил, что конфету они, Кукушата, как и положено, разыграли на всех, а фантик был как доля. Ну Хвостик и выбрал фантик, польстился на обертку. А мне тоже не стали выделять, решили, что я-то без конфет не останусь. "Была бы тетка, — как заявил Бесик. — А конфета найдется!"

— Ну да, — сказал я. — Была бы тетка... — и погладил Хвостика по голове. Это нас с ним обделили конфетой, которой я так никогда и не попробую.

А Хвостик, вот дурачок, обалдел от счастья и не понимал моего огорчения. Он нюхал фантик, который пах конфетой, и тянул его к моему носу: "Серый, понюхай! Понюхай!"

До отбоя оставались крохи, мне хотелось побыть одному. Я повернулся и пошел, а Кукушата, все до единого,

и Хвостик, смотрели мне вслед. Я оглянулся, махнул им рукой. Я крикнул: "Потом... Про тетку и вообще..."

Много разных событий произошло в нашем "спеце". И самая большая неприятность, которую не ждешь, а если и помнишь, то все равно мысленно от себя отдаляешь, хотя она все равно происходит, как неотвратимость, как наказание: это вшиводавка. Время от времени нас гоняют туда, в камеру, которую, по нашему общему мнению, придумали, конечно, фашисты. Нормальному человеку такая душегубка в голову бы не пришла. Загоняют туда кучей, раздевают догола, а потом поджаривают и нас, и наших вшей. Считается, что так нас избавляют друг от друга. Но вши как были, так и остаются, а вот одежда, и без того тухлявая, заплатка на заплатке, в отличие от насекомых, жары не выдерживает и ползет.

Еще в этой камере нас всех насильно обмазывают черным карболовым мылом. Но это только название, что мыло, а на самом деле это деготь. От него невозможно ни отмыться, ни отчиститься. Даже собаки и кошки обегают нас за версту, а воробьи с испуга при нашем появлении бросают свои гнезда. Но самое главное, этот ядовитый, неистребимый запах выдает нас в публичных местах с головой похуже, чем клеймо, которым метили каторжников. Клеймо хоть можно скрыть, а как спрячешь запах, если несет за версту!

Наш Чушка, он же директор, Иван Орехович Степко... Я впервые сейчас задумался: а почему Орехович? Если я от Антона, он что же, от Ореха, что ли родился? Так вот, наш Чушка устраивает во время вшиводавки шмоны, и все, что мы не успели заханырить по значкам, отбирает. На этот раз у Корешка рогатку нашли, хоть он ее через штанину на пол спустил, но заметили, забрали, уничтожили: порезали на куски. Шахтер свой драгоценный табачок сам в толчок спустил. А глупый Хвостик, спасая фантик, засунул его в рот, за щеку, где он превратился в кашу. Но особенно долго Чушка потрошил почему-то меня. Карманы вывернул и за подкладкой шарил, и в калоши заглянул, я калоши вместо ботинок ношу. Движения у него быстрые, привычно-уверенные, он-то знает, где у нас искать! Так и мы ведь тоже знаем. Я, к примеру, ношу с собой книгу под названием История: век будут шарить, но не найдут... А найдут, я все равно ее на зубок знаю! Она всегда моя. Впрочем, я понял, ищет Чушка что-нибудь, оставленное у меня теткой, которую он сразу невзлюбил. Да и за что

ему любить тетку, которая вмешалась в нашу жизнь, бесконтрольно ходила по "спецу", вела неизвестные, никем не подслушанные разговоры?

Не ради ли этого Чушка и вшиводавку-вшивобойку свою ненавистную, свиная рожа, организовал! Организовал, но ничего, понятно, не нашел от тетки, и не мог найти. Где ему, тупому, догадаться: то, что она оставила, в кармане не лежит. Ни за подкладкой, ни в калоше! А жжет похуже маленькой шоки. И не выдержишь ста градусами, и карболкой не перешибешь, которая хуже фашистских удушающих газов! А того тяжелее, что невидимо ношу, и мучаюсь, и доверять никому не могу, даже Кукушатам.

Пока меня обшаривали и наизнанку выворачивали, я мозги наизнанку вывернул в поисках своего начала. А начало мое, судя по всему, находится в распределителе, которого я не помню.

Но вот я сказал: "Не помню", — а ведь что-то я помнил, да забыл. Ну, например, как во втором классе, когда мы уже писать научились и в пионеры готовились — а может, это был уже третий, — нам продиктовали сочинение, где каждый из нас написал, что мы отрекаемся от каких-то предателей и изменников, которых мы не знаем и знать не хотим.

Я еще это слово запомнил: "Отрекаемся", — потому что оно среди ребят смех вызвало... Кто-то переименовал: "Отругаемся"... А другой повторил: "Отыкаемся"... Или "Отрыгаемся"... И пошли придумывать, и запомнилось, а остальное из того, что мы писали, начисто забылось. А вот когда бумажки собрали, то нас учитель похвалил, что вот-де мы стали совсем сознательными и, значит, нас скоро примут в пионеры. А у пионеров лозунг такой: "Пионер, к борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!" А мы должны хором ответить: "Всегда готов!"

Тут мы заорали: "Всегда готов!", — и все решили скорее вступать в пионеры.

"Я, юный пионер Союза Советских Социалистических республик, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма..."

Выучили наизусть, даже репетировали, как громче и пламеннее произнести, чтобы... Чтобы они это поняли, мы и вправду готовы бороться. Только никому наша борьба не была нужна. Это до нас потом дошло.

Пришла "сверху" бумага, где объяснялось, что мы на особом режиме и в пионеры еще не годимся. Да к тому же

галстук в стране не хватает и значков-зажимов тоже, и все это дело заглохло. У нас если что делается, то обязательно на века и навсегда. И это тоже на века, то есть навсегда заглохло. Нам только шефов разрешили. И то не сразу.

## 6

А началось все давно, когда явились в наш "спец" руководители поселка и стали нам, собрав в столовой, объяснять, как они в качестве благородной помощи безродным, да беспризорным, да запущенным до крайности детям хотят взять над ними, то есть над нами, шефство.

Что это означает, мы поперву и не поняли.

Хоть шефы и оказались солидные, нам директор опосля объяснил. Был начальник поселковой милиции по кличке Наполеончик, которого мы и без Чушки знали, что вся его легавая милиция три с половиной инвалида! Был и наш директор школы, который в классе историю читает, мы его Ужом зовем. А на самом деле зовут его Иван Иванович Сатеев. Был еще со станции начальник, который на наших девочек заглядывался, Козлов, и был редактор газеты "Красный паровоз", эту газету очень даже мы любили, она на курево шла. Чушка ее в кабинете у себя хранил и читал лишь вслух и лишь сам, даже Тусе не доверял читать. Был начальник ОРСа круглый, щекастый, его звали Витя Помидор, который нас якобы снабжал, а он, конечно, не снабжал, а обирал, как ему и положено было, и еще один от поселкового совета, и артели инвалидов, и швейной фабрики.

Я только заметил, что встали они так, чтобы не прикасаться к нашим вещам, и к стенам, и к стульям, чтобы невзначай не набрать насекомых.

Да это не только я заметил, но и другие Кукушата, а Бесик, сидевший впереди, не будь дурак, когда понял, что жратвой пока не пахнет, даже нашим собственным ужином, стал громко чесаться и так шумно под боком скрести, что гости вдруг заторопились домой.

Чушка не допер, пытался их удержать. Он по этому случаю нацепил ворованные золотые очки и сказал, что шефство — дело серьезное, потому что общественность, которая к нам пришла, хочет превратить наш "спец" из гнезда воровского, сомнительной репутации и преступно-

го, по своей сущности, и, по общему мнению, просто разбойного, в пролетарскую рабочую ячейку, глубоко трудовую, и потому социалистическую. На первый случай, значит, будем мы коллективно на личных хозяйствах названных товарищей шефов помогать, куры там, козы, свиньи опять же... Тут при родном-то словце наш Чушка весь засветился, и очки у него торжественно заблестели.

— А когда же пожрать будет? — спросил Бесик.

— Вы у меня, знаете, где сидите с вашей прозорливостью? — и Чушка показал на свой загривок. Потом посмотрел на шефов, которые ему осторожно улыбались, и рассказал анекдотец. Про то, как человек с портфелем пришел в магазин, отоварился на целый месяц, ну, хлебом, крупой, селедкой... А потом открыл портфель и стал туда забрасывать свой продукт, а оттуда лишь чавканье раздаётся, да громкое, прям на весь магазин! Люди из очереди удивились, окружили человека, спрашивают: "А кто это у вас живет там, в портфеле?" А человек отвечает: "Сам не знаю, кто там живет... Но жрет здорово!.."

И Чушка захохотал, довольный своим рассказом. И шефы стали лыбиться, они сразу поняли, что это мы, которые из "спеца", сидим на загривке у директора, то есть в его портфеле, и хоть мы неизвестно кто, но "жрем здорово". Так надо было этот Чушкин юмор понимать.

А мы все, Кукушата да и остальные из "спеца", сообразив, наконец, что дело идет о работе, стали вслед за Бесиком громко чесаться, а иные потряхивали своей одеждой или даже выискивали какую-нибудь вошь, демонстрируя ее и беря на зуб, и пристукивая снизу по челюсти рукой.

Поселковое начальство смылось, как говорят, смотало удочки, а шефство с этого дня началось.

## 7

Сегодня всех Кукушат послали работать к директору школы, которого в поселке зовут Иван Иванович, а мы так просто Уж. И стихи про него сочинены, уж не знаю кем. "Наш Уж — историк к тому ж".

Отчего именно Уж, мы не знаем, это до нас прозвано. Может, оттого, что весь он длинный и нескладный, как глиста. Но некоторые утверждают, что он неистовый рыбовод и обожает уженье. Но тогда при чем тут кличка?

История, которую он у нас ведет, странная, судя по всему, он ее терпеть не может. И кое-как отбарабанив текст о крепостных, реформах и прочем, он открывает свою главную в жизни книгу Сабанеева о рыбах и зачитывает нам наиболее захватывающие места о ловле угрей, лещей и окуней.

Один раз я его спросил:

— Иван Иванович, а кто такой Навуходоносор?

— Кто-кто? — спросил он почему-то, ужимаясь на своем стуле.

— Ну, этот царь, который халдеями правил... Он евреев на сорок лет переселил целым народом... У него все народы каналы строили, ну как у нас Беломорканал... Он их подальше в пустыню, в лагерь сажал... А в городе он себе памятников наставлял...

Мне показалось, что Уж от таких моих слов совсем под стол сполз. Откуда-то снизу до меня донеслось:

— Этого не было.

Я удивился, потому что в моей книжке, которая История, это все было.

— А что же было? — спросил тогда я.

— Ничего не было, — быстро ответил он, впиваясь, как в спасителя, в толстого Сабанеева. — Вот что было, — произнес он, задыхаясь, и открыл книгу. — Здесь красота, здесь поэзия! А тебе известно, Кукушкин, что среди преступников, как утверждает милиция, не встречается любителей рыбной ловли?

Кукушкиным он называл меня безошибочно лишь потому, что он всех из "спеца" на всякий случай так зовет. Легче запомнить.

— Это Наполеончик так утверждает? — спросил Мотя. — Так он и сам не ловит! Значит ли, что он жулик?

— Ну, я же этого не говорил, — мрачно отказывался Уж, демонстрируя тем самым свое явное отрицательное отношение к своему ближайшему соседу по дому.

А Бесик весело добавил:

— Он ловит... Только в мутной водичке нашего брата!

— А у Навуходоносора так прямо убивали, и все тут, — сказал я. — Да он и сам это любил делать, особенно выкалывать глаза! Как говорят, удовольствие получал!

— Ну да! Правда? — спросил Мотя.

— Этого не было! — быстро произнес Уж.

И весь класс завопил:

— А что же было?

— Да ничего не было, — сказал, успокаиваясь, Уж и, вызвав к доске Мотю, попросил его почитать вслух главу Сабанеева о лещах.

При этом он от счастья зажмурил глаза и, вздыхая, произнес:

— Моя бы воля, так я бы вам всем в вашем "спеце" по удочке в руку и на речку, чтобы в жуликов совсем не превратились... Вот будет моя очередь, так и сделаю... В порядке шефства заставлю удить!

Только на этот раз удить не пришлось, и все потому, что Ужу завезли дрова. Ну, то есть их завезли не одному Ужу, но и Наполеончику, и такая история вышла...

Наполеончик, как ему и полагалось, сообразил первый, что к чему, и, вызвав нас для шефства, с нашей помощью перетащил дрова к своему забору. Эти два правила математики: отнять да разделить — у легавых прямо-таки в крови! Вот у кого "спецам" поучиться! Но Уж, не будь дураком, вызвал нас в свою очередь, и приказал все дрова перетащить от забора Наполеончика к своему падающему забору. Благодаря дровам он и не упал. И хоть жена Наполеончика Сильва честила нас на чем свет стоит, обзывая и разбойниками и грабителями, мы добросовестно, как Тимур и его команда, все, что от нас требовали, выполнили.

На прошлой неделе Наполеончик нам снова приказал водворить дрова на старое место. Уж, на свое несчастье, был в это время на рыбалке. Мы дрова перетащили и даже начали пилить, но пошел дождь, и дрова так и остались мокнуть на улице.

Теперь нас призывал Уж, и мы сразу поняли, какую работу нам придется сегодня выполнять. Мы хором заорали: "На дворе трава, на траве непонятно чьи дрова!" Когда мы, подобно Тимуру и его команде, пришли к дому директора школы, то застали необыкновенную картину. У забора прямо на дровах стоял в позе полководца наш Наполеончик и молча смотрел, как мы направляемся к дровам. Уж стоял у своей очень ободранной, никогда не закрывающейся калитки и кричал нам:

— Берите, берите, не бойтесь... Это дрова мои, и я за них отвечаю.

Наполеончик был в галифе и нижней белой рубашке, но кителя с погонями он не надел. Глядя на нас, а не на директора, он произнес громко:



— Вы что же думаете, я разрешу вам стащить мои дрова? Да я акт составлю и привлеку всех вас как хулиганов к ответственности.

— Он составит, — сказала его дородная молодая жена Сильва, а сын Карасик из-за спины показал нам язык.

— Не составит, не составит... — произнес Уж убежденно. — Он не имеет права вам угрожать.

— А вот и составит, — сказала жена Наполеончика.

— Сегодня вы у меня шефствуете, — сказал директор. — И я велю вам перетащить мои дрова к моему забору.

— Их заберут в милицию, — сказала жена Наполеончика. — Вы этого хотите?

— Ну, смотрите, — сказал нам директор. — При вашей безграмотности я вас в школе держать не буду. А я-то еще хотел из вас честных людей сделать!

Мы, все Кукушата, стояли между двумя калитками и слушали, как хозяева переругиваются. Жена Наполеончика, а потом и он сам начали кричать на директора, что он голодранец и пусторукий хозяин, даже грядки у себя не мог вскопать, куда ему еще чужие дрова. Коль ничего своего нет, так и дрова не помогут. А директор уныло, но без пауз долдонил о своем праве иметь по разнарядке поссовета дрова, и от тех дров он не отступится, даже если начальник милиции приведет сюда весь свой конвой и заключит его в тюрьму.

— Сажай! — кричал он и выставлял две руки вперед, показывая: вот он готов, чтобы на них надели наручники. — Веди меня на каторгу под кандальный звон... Но я и там скажу, что дрова были мои... Только мои... И я их лучше спалю тут на улице, но никому не отдам.

Он, и правда, принес бутылку с керосином, спички и, весь извиваясь, сейчас он, и правда, был похож на змею, подошел к тому краю, где стоял Наполеончик, плеснул из бутылки желтый керосин, забрызгав милицейский салог. Все — и Наполеончик, и его жена Сильва, и Карасик, и мы — следили за его действиями. Разве можно было поверить, что Уж по своей воле начнет жечь собственное добро. И когда дрова все же загорелись, сперва едва-едва, дымя и стреляя, Наполеончик быстро соскочил с кучи и, подбежав на безопасное расстояние к директору, закричал:

— Вот и видно, что дрова-то не твои! Не твои! Да! Потому что своих дров никто бы поджигать не стал! Да! А я по такому поводу сейчас удалюсь в дом и составлю акт, а все, кто видел — при этом он указал на нас, —

подтвердят и будут свидетелями твоего позорного преступления! Да!

И он решительно, топая керосиновыми сапогами, пошел в дом и Сильве, и сыну тоже приказал идти.

— Нечего смотреть на уголовника! По нему тюрьма плачет!

А директор Уж вдогонку ему закричал, оскалив зубы и изгибаясь во все стороны, будто на него напала корча:

— Ага! Не понравилось! Бумагу пошел марать! Так марай, марай! Только не забудь в ней записать, что я жгу дрова, имея на это полное право, так как они мне принадлежат!

Он высунул за спиной Наполеончика язык, потом повернулся и тоже ушел.

Остались мы да полыхающие дрова. Нам бы хоть несколько таких поленьев, мы прошлую зиму мерзли до костей. Но перетаскивать полыхающие теперь уже вовсю дрова мы не могли и, завершив на сегодня шефство, ушли купаться. Думаю, что Тимур и его команда поступили бы точно так же. С речки было видно, как над крышами поселка стоит черный дым. А когда, вволю накупавшись, мы возвращались мимо тех дров, то их уже не было, как не было и забора у директора, он сгорел вместе с дровами.

— А были ли дрова? — невинно спросил Корешок, почесываясь. У него разыгралась чесотка.

На что мы сразу же хором ответили:

— Этого не было!

— А что же было?

— Ничего не было!

## 8

Тут прибежала Туся, ахнула, решив, что мы сами спалили эти несчастные дрова. Вот и выпускай нас из-под охраны, мы, тогда гляди, и поселок сожжем.

Но тут она увидела меня и осеклась.

— Ох, забыла... Тебя же ищут!

— Кто меня ищет? — спросил я, дурачась. — Не собака ли на помойке?

— Тебя, правда, ищут, — сказала Туся. — К тебе тетя приехала.

— Какая еще тетя... — я хотел уже нагрубить и тут вспомнил, что, и правда, тетя, которая не тетя, обещала

приехать. И хоть обещанного три года ждут, а я так и вовсе не ждал, ибо никому из них, из этих, что вокруг, не верил. Но вот приехала, не обманула. А если по правде, то я вовсе ее не забывал, только сам придумал и сам поверил, что забыл и что она мне не нужна. А теперь не знал, рад я или не рад, что она объявилась.

— Ладно, — сказал я Тусе, — приду. Она где? У директора?

— Нет. Она на улице. Ивана Ореховича сегодня нет.

— И не надо. А лучше бы и ее не надо..

Но тут вмешался Мотя.

— Она хорошая... — сказал он. И другие все стали говорить, чтобы я шел. Может, она конфет привезла или еще чего пожрать.

А Хвостик сказал:

— Серый, ты иди. У нас нет тети, а у тебя есть. Ты потом позови меня, я хочу совсем чуть-чуть около тети постоять.

Я пообещал Хвостикку взять его в другой раз, чтобы он постоял около тети, и ушел.

Тетка сидела на крыльце и, завидев меня, поднялась. Может, она ждала, что я брошусь к ней от радости. Но я не бросился к ней и никакой радости не проявил. Я поздоровался и молча ждал, что она скажет. А она будто не замечала моего настроения, была такой энергичной, разговорчивой, и все говорила, говорила.

— Вот отпросилась снова и приехала на весь день. И теперь мы можем не толкаться тут, на глазах "спецов" — так их зовут? — а куда-нибудь пойти.

— Куда? — спросил я хмуро.

— А разве некуда? У вас за поселком поле, речка...

— Ну, это далеко, — сказал я. Хотя я-то знал, что для нас это никогда не считалось далеко, мы туда готовы на дню по сто раз бегать, когда отпускают. Я просто хотел дать тетке понять, что мне не слишком охота куда-то тащиться для ненужных разговоров.

Но тетка напрочь не замечала моего дурного настроения.

Она весело произнесла:

— Не надорвемся. Ваша воспитательница, Наталья Власовна... Ее ведь так зовут?

— Туся, — уточнил я. А про себя добавил: а еще ее дурой зовут!

— Ну, вот. Я с ней поговорила. Она отпускает тебя до вечера.

— А обед? — спросил я. — Кто обед отпустит?

Не было такого случая, чтобы кто-нибудь в "спеце" по своей воле пропустил кормежку. Можно оторваться на станцию или в поселок, хоть за это наказывают. Но не дай Бог никому прозевать свою пайку. Пайка — дело священное, неприкасаемое, это не объяснишь никакой заезжей тетке. Но она и сама по выражению моего лица догадалась, что разговор ведется о чем-то таком, что не подлежит обсуждению. Это незбылемо, как уголовный кодекс, о котором нам долбят каждый день.

— Но ведь я... Накормлю, — добавила тетка неуверенно.

Подумалось, что мы вообще с теткой на разных языках говорим и никак друг друга понять не можем.

— Ладно, — сказала тетка, поджав губу, и посмотрела на крошечные часики на руке, как их до сих пор не срезали! — Я тебя все равно подожду.

Одолжила, называется. "Можешь и не ждать!" — чуть не сказал, да спохватился. У нее ведь для меня шамовка там какая-то припрятана. Глупо оставаться в "спеце" без обеда по своей воле, но так же глупо отказаться от тетки с ее шамовкой.

— Пойдем, что ли, — бросил ей на ходу, выскакивая из столовой. Нарочно грубил, пусть она не считает, что если она с шамовкой, то я от нее завишу. И она, терпеливо ожидавшая меня, наверное, целый час, подхватила, как девочка, и кинулась догонять, даже не обижаясь на такое мое обращение.

— Ты не думай, — сказал я ей по дороге, — что я пошел, чтобы пожрать на халяву... Я вовсе не из-за твоей шамовки, а сам по себе.

— Я так и не думаю, — ответила она. — Но ты меня эти дни ждал?

— Нет, — сказал я правду. — Не ждал.

— А я приехала... И ты, Сергей, знал, что я приеду. Правда?

Я заметил, что она больше ни разу не назвала меня Сережей. Баба, но поддается дрессировке!

— Не знал, — ответил я. — Откуда мне знать, что ты приедешь?

— Но я же обещала!

— Мало ли кто чего обещает!

— Да, правда, — согласилась она вдруг. — А ты не злись. Меня терпеть долго не придется. Я к тебе последний раз приехала. Завтра или послезавтра мы на фронт отправляемся!

Я мог бы спросить: "На какой фронт?" или "Правда? На фронт?", или "Неужели на фронт!" — как говорят по радио и в газетах, когда провожают на фронт. Но я не спросил и ничего не пожелал. Сейчас воюют все, и девчат тоже гребут, это я знал. У нас в поселке старики и старухи остались. Лишь Наполеончик да директор школы не воюют. Но Уж в финскую что-то у себя в кишках отморозил, он жрать-то по-настоящему не может, оттого, наверное, он и историю не пересказывает... В ней дат много! А вот Наполеончик, тот жрет и не подавится, но все равно не воюет. Да и наш директор, Иван Орехович Чушка, тоже не воюет. То есть он воюет только с нами, с теми, кто ему послан в "спец".

И я сказал тетке.

— А Чушку не берут на фронт!

— Так он же из надзирателей.

— Из... кого?

— Я думаю, что он из лагерников... Словечки-то у него, я в ужас пришла... "Зона"... "Замолкни"... Он и со мной так разговаривал, что я подумала, вот-вот возьмет и арестует.

— Значит, он не директор? — спросил я.

— Ну, как тебе объяснить, — тетка шла и оглядывалась на дома. Дома у нас в поселке — деревянные избы, и ей, наверное, было интересно. — Он какой-то сдвинутый... Мрачный... Нелюдимый, так?

Я кивнул. Уж мы-то знали, что он, и правда, чокнутый, а вот как тетка догадалась, она-то его всего один раз видела.

— Потому и не берут, — сказала тетка. — Сдвинулся... На работе... А детей охранять с его специальностью ему сам Бог велел. Он же говорит: "Шаг влево, шаг вправо..."

— Прыжок вверх — считается за побег! — закончил я весело.

Тетка покачала головой на мое такое веселье и ничего не сказала.

## 9

Поселочек у нас крошечный. Раньше он был деревней, а стал узловой станцией, большинство жителей служат на железной дороге. Уже в недавнее время, при нас, построили мастерскую для шитья военной одежды. А в церкви полуразрушенной — говорят, что в какие-то незапамятные

времена там даже жили беспризорные, они-то и ободрали ее, — теперь размещается мастерская по изготовлению колючей проволоки. Мы там бывали не раз, когда нас посылали шефствовать, и даже крутили машину, выпрямляющую проволоку. А огромные мотки готовой "колючки" лежат во дворе церкви на старых могилах и даже на станции. Куда ее столько делают, мы не знаем. Говорят, нужно для загородки, так в одном нашем поселке "колючки" столько, что по экватору можно землю огородить! Впрочем, от этой мастерской всего и прибыли, что моток на память сунешь в карман, а вот в пошивочной — ее именуют громко фабрикой — нам лоскутки разрешают брать для заплаток. А Сандра из лоскутков даже платье себе сшила и в нем ходит.

Мы миновали церковь и фабрику и вдоль линии железной дороги вышли к редким кустикам, за которыми было поле. Но мы далеко в поле не пошли. Присели между насыпью и каким-то деревянным брошенным сараем, на траве. Сияло солнце. Было тепло.

Тетка, которую сегодня язык не поворачивался так называть, в короткой юбочке, в белой кофте была такая молодая, что вся светилась; я даже не представлял, что женщины могут светиться. Она извлекла из сумки полотенце, расстелила его на траве. Потом достала трофейную банку консервов, нож с деревянной ручкой, лук, огурцы, несколько сваренных картофелин и яичек, и еще масло, настоящее сливочное, в стеклянной баночке, я его никогда не пробовал, но однажды видел у директора Чушки в доме. Но я и трофейные консервы тоже видел издали. Кукушата умрут, когда узнают, чем я тут обжирался! Может, пустую банку захватить на память, когда съедем? У банки и запах такой: понюхаешь — и почти сыт.

Но, конечно, про запах это я хватил, от запаха, если честно, еще больше есть захотелось. Я старался не смотреть, как возится тетка, как режет, чистит, она еще и полбухарика хлеба достала, но дух от всего, что выложила, разъедал меня до пяток. Даже закружилась голова. И хоть я не мог смотреть, но почему-то все отчетливо различал и только не мог понять, зачем все это богатство портить, резать, оно и само пойдет, нерезанное: кусай да глотай... И еще такие мысли лезли в голову: откуда так много люди жрать сразу берут? Захочешь, сразу столько не наворуешь... А на рынке, если... Это же тыщу рублей надо!

Но сколько терпелка не держит, и она кончается. И в этот самый момент тетка сказала:

— О чем задумался, Сергей? Давай поедим, что ли...

Ели мы недолго, так мгновенно все проскочило, я и не заметил. Одно запомнил: тетка-то почти и не ела... Вот у нее, сразу видно, терпежу много! А я жевал, жевал, смотрю, а уж жевать нечего. И тогда я еще обратил внимание, что она внимательно меня рассматривает, прямо с какой-то жалостью. Мне даже показалось, что глаза у нее блестят, но, может быть, они блестели от лука. Я, когда лук жру, тоже плачу.

— Ну, — спросила она, налив мне в кружку сладкой воды из бутылки. — Тебе про отца рассказать?

— Валяй, — разрешил я.

Накормили, напоили, теперь и байки какие можно послушать. Она это заработала. Тетенька. Ни за что ни про что накормить. Да еще просительно в рот заглядывает. Кому такое не понравится?

— Ему было тридцать пять... Антону Петровичу, когда мы с ним познакомились. Мама твоя умерла. Он был один, а ты... Тебя он устроил в садик "на неделю". Ты меня слушаешь?

Я кивнул. Я слушал. Странно только, что это все было как бы про меня, но не про меня. Мама, отец... Садик... Какой садик, если я всю жизнь детдомовский! Ей бы, тетке, моей кормилице, на ухо бы проорать так, чтобы услышала... детдомовский я... Из "спеца"... И никаких садиков! Огородиков! Я ведь не какой-нибудь сын Наполеончика Карасик... Садик это у него, не у меня!

— Отец твой, Антон Петрович, — сказала тетка ровно, — был, ну как тебе сказать... Он был инженер-конструктор, большая шишка! Несмотря на это, добрый, отзывчивый...

— Ага, — сказал я, вспомнив Мотю. — Хороший человек!

— Да! Хороший!

— Понятно, — кивнул я и стал смотреть в поле.

— Ты что-то сказал, Сергей?

— Нет. Это так, для памяти.

Она задумалась. Короткая челочка на лбу и большие, огромные темные глаза. Отец, который не отец, называл тетку, которая не тетка, наверное, Машей. Еще бы, красивая тетка Маша! Небось, увидел Антон Петрович, конструктор, что она еще и консервами со сливочным маслом кормит. Губа у инженера-конструктора была не дура. Как видите, я после трофейных консервов тоже хорошим становлюсь.

— Он в конструкторском бюро, КБ называется, самолеты создавал. А я там же работала, при медсанчасти. Я ведь доктор, врач, лечу... Ну, и однажды он ко мне пришел... Простудился на своем аэродроме, при испытании. И смеется, говорит, я все не лечу, а ты — лечишь, вот вылетим с тобой, Машка в трубу... А у самого — температура... А самолет-то военный, его сдавать надо... Но, правда, сдал... Сейчас они везде на фронте, ЕР-пять зовутся, может, слышал?

Маша пристально посмотрела на меня. Ей очень хотелось, чтобы я слышал и знал, что они, эти самые, которые в температуре этот... изобрел... сдал...

Я сжалился над теткой ради масла да тушенки и кивнул. Только вот историю про папочку я сам не хуже бы выдумал. Да у нас в "спеце" чуть не каждый второй такое сочинит про папочку-героя, уши развесить... И летчик Талалихин, и кавалерист Доватор и... Сплошь кругом герои, среди них только конструктора боевых самолетов до сих пор не хватало!

Мне вдруг расхотелось тетку слушать. Я и до этого-то не очень слушал, но слушал. А когда она на мою жизнь такую знаменитость повесила и про конструктора стала заливать, я и совсем слушать перестал. Раздумывал о погоде, о наших шефских делах и о том еще, что середина августа и скоро погонят в школу. Может, даже задремал я в тихом блаженном состоянии не испытываемой прежде сытости и как-то пропустил главное. Меня насторожили лишь последние слова тетки:

— Они его обвинили в том, что будто он... Фашистам свое изобретение, самолет, мол, чертежи... Продал...

— Кто? — спросил я глупо. Ну и олух царя небесного я был. — Антон Петрович? Продал? Самолет?

Маша посмотрела на меня странно.

— Это мне он Антон Петрович, тебе-то он отец!

— А как он продал? Этот самолет?

— Да не продавал он ничего! — воскликнула Маша. — Это они его так обвинили!

— Кто — они? — спросил я.

Маша будто опомнилась, замолчала. Стала оглядываться, сказала:

— А там, за дорогой, что? Речка там?

— Там, — ответил я. — А кто его обвинил? Милиция?

Маша вздохнула и жалобно посмотрела на меня:

— Он же ни в чем не был виноват. Его забрали. А потом они и меня вызвали. Но я говорила одно, что я его лечила.



Они мне про какие-то чертежи, а я им про простуду. Они про врагов народа, а я про то, как он температурил... Ну и выпустили. Не сразу. Через три года. Я ведь не была женой ему... Официально... А его увезли...

— Куда? — спросил я.

— Не знаю. Это у них называется "без права переписки". Я пыталась узнавать... Я ходила, спрашивала... А они, значит, меня спрашивают. А кто вы, спрашивают, ему будете, что о нем печетесь? А я им отвечаю, мол, никто... Но у него ребенок остался, так я хотела бы взять на воспитание. И хочу его найти... Не беспокойтесь, говорят, его воспитывают без вашей помощи, и не хуже. И не надо искать. Идите и успокойтесь, займитесь своими делами. А я и так занимаюсь, меня устроили, с трудом, правда, санитаркой в больницу. Это теперь, в войну, когда медиков-то не стало хватать, опять врачом вернули... А тебя так запрятали, что долго не могла следов найти. Тем более и фамилия стала другой: Кукушкин.

— Пойдем сходим к речке, — сказала Маша.

Я теперь ее стал про себя Машей звать. За то, что накормила. Но вслух, конечно, я ее никак не называл. Еще не хватало! Но к речке сходить согласился.

Мы пересекли железную дорогу, а за ней развалины бывшего кирпичного завода. В поле, по тропке среди конского щавеля и куриной слепоты, других цветов, кроме этих, я не знал, мы спустились к нашей речке. Ее Пехоркой зовут. Она и не широкая, и не глубокая, но сравнивать мне не с чем, я другие речки только в кино и на картинках видел. А купаемся мы в омуте и ныряем с дерева, даже саженками плаваем. Обо всем об этом я стал говорить Маше, но видел, что мысли у нее от этой речки далеко. Она еще рассказанное про Антона Петровича переживала. Особенно, как его менты пришли брать... Я представил Наполеончика, и мне тоже стало неприятно. Хотя с другой стороны, враги и шпионы окопались кругом, их только в нашем поселке не видно. А так в кино посмотришь, так все они нам вредят и вредят. В "Ошибке инженера Кочина" они тоже наше изобретение выкрасть хотели. А вот недавно шел фильм про шахтеров... Артист Андреев вместе с Ваней Курским уголь добывают, прям, как сказал наш Шахтер, очень похоже... Только там, где он работал, никто забоев не взрывал. А в кино двое, значит, один песню поет про курганы и на гармошке играет... Девушки пригожие, на чертей похожие... А сам как Ваню Курского

возьмет за горло и не дает ему стахановскую вахту нести, рекорд, значит, ставить... И другой, тот столбики все бил, чтобы все завалилось, ну их, сучиков, и схватили, конечно. А Ваня Курский и Андреев все равно рекорд сделали и потом с молотками так гордо в конце идут, с песней... Прямо здорово! Как герои!

Мы сидели на берегу, и я Маше кино пересказывал. А она грызла травинку и молчала.

Вдруг она спросила:

— А ты ничего-ничего не помнишь? У нас ведь тоже река была... Большая-пребольшая... А еще мосты...

Я сделал вид, будто пробую вспомнить про большую речку и про мосты. Но ничего я помнить не мог и хорошо знал, что вспоминать мне, кроме Пехорки, нечего.

— Но, может, дом... или трамвай... Около вашего дома..

А?

Трамвай я тоже не помнил.

— А еще, — сказала Маша, — ты, и папа, и я пошли гулять на его аэродром, это праздник авиации был... Мы пролезли под колючим забором, и папа смеялся, когда ты задел штанами за проволоку...

Я молчал. Но что-то меня насторожило. Сам не знаю что.

— А потом были парашюты...

— На поле? — спросил вдруг я.

— Да. На поле.

— А сливы были?

— Сливы? — спросила Маша растерянно. — Какие сливы?

— Ну, там же продавались сливы... — сказал я. — Или не сливы.... Или... не продавались...

— Не знаю... Может быть, — и она, помедлив, воскликнула: — Были сливы! Твой папа в палатке купил и нас с тобой угощал!

А я уже не мог понять, откуда я взял эти сливы. Вроде бы помнил, что проволока и сливы... Ну и еще парашюты... А может, и не было ни парашютов, ни слив, а видел я их в кино?

— Но сливы-то, сливы откуда? — закричал я.

— Твой папа купил, — ответила Маша.

— Да я не о том...

— А о чем, Сергей?

— Не знаю.

Я, и правда, не знал, чего я так взвинулся.

Я сказал Маше:

— Пойду искупаюсь.

— А не холодно? — спросила она.

Я лишь усмехнулся ее страху. На фронт собралась, а того не знает, что мы тут до сентября не вылезаем, Бесик же, как самый бешеный, однажды на спор в октябре залез.

Я разделся за кустиком, трусов у меня нет, и оттуда я спросил Машу:

— А почему ты думаешь, что я в сентябре родился?

— Как почему? — удивилась она. В мою сторону она не смотрела. — Я же была на твоём дне рождения.

— Это когда? — я спросил так, будто мне неинтересно.

Она задумалась.

— Это было... Да. Правильно. Шестого числа. А тридцать девятого года тебе как раз шесть лет исполнилось. А через неделю его забрали.

## 10

Не скажу, что мне так уж хотелось купаться.

В одиночку без ребят купаться неинтересно.

Но, во-первых, я хотел побыть один. Во-вторых... Во-вторых, я тоже хотел побыть один. И в-третьих, и так далее. Чтобы не смотреть на эту приезжую Машу, которая начинает вся слезиться, как только речь заходит об её Антоне Петровиче.

Вот когда она меня кормила, она, и правда, была красивой. Прямо-таки сияла, как стеклышко, от неё такой тёплой-тёплой дух исходил, как от деревенской печки, у которой я однажды грелся. Мне показалось, что она и пахла по-другому. А когда стала шпионские всякие дела рассказывать, то вся похолодала, я даже подумал, а не шпионка ли она сама, вот и наш Чушка её заподозрил, даже у окна подслушивал!

Но потом я решил, что она не шпионка. Шпионы другие. Про них стихи: "...в дверях стоит конвой, и человек стоит чужой, мы знаем, кто такой"... "Есть в пограничной полосе неписанный закон: мы знаем все, мы знаем всех: кто ты, кто я, кто он!" Да и чего, если посудить здраво, шпиону или шпионке в нашем "спеце" делать? Кормить голодного шакала сливочным маслом и консервами? Так нас много таких найдется, за чужой счет пожрать! А тайну или секрет какой военный мы все равно не скажем, потому что мы его

не знаем. Да я так думаю: у нас тут тайн нет! Вот жуликов у нас много. Только это ни для кого не тайна. Разве что для этой Маши.

Я нырнул и, затаив дыхание, подержался за корягу так долго, сколько терпежу хватило. Я думал, под водой мыслей не бывает, а только одно — как выплыть и воды не нахлебаться. Но и под водой всякая ерунда по поводу Антона Петровича и Маши скребла мне изнутри голову. Тогда я вылез, попрыгал на одной ноге, выливая из уха воду, а потом скорей натянул штаны. От спешки споткнулся. Поцарапал коленку.

Подходя, увидел, что Маша все собрала, а банку из-под консервов, вот досада, зашвырнула в камыш, ее там теперь ищи-свищи. Да бычок, покурив, тоже выбросила, это я еще из-за кустов видел. А мне она сказала:

— Поди-ка, Сергей, сюда! Да ближе, ближе!.. Ты же ногу раскровил! Давай быстренько полечим!

И не успел я ойкнуть, как она достала из сумочки пузырек с йодом и ловко, невзирая на мои вопли, раскрасила пятнами всю коленку.

Как я ни отбрыкивался, ни лягался, прижгла и отпустила. Руки оказались у нее сильными. Но хоть и сопротивлялся, а почему-то было приятно, что она так упорно меня лечит!

— Ну вот, — сказала удовлетворенно. — Хорошо, что по старой привычке я лекарства таскаю с собой. Ты меня на станцию не проводишь?

— Нет, — ответил я.

— Почему?

— Нога болит.

Это я ей мстил за принудительное лечение. Но ломался я для виду. На станцию с вывеской "Голятвино" во весь фасад мне жутко хотелось попасть, да еще так, законно, под прикрытием Маши. Самим нам туда появляться запрещено. Хоть мы, конечно, появлялись. Но если там нас излавливали — сажали в карцер, без еды.

Строже карали лишь за побег.

Но именно станция из всех значных местечек поселка нас, шантрапу из "спеца", притягивала больше всего. Тут из Москвы и на Москву проходят поезда, оставляя за собой на грязной насыпи огрызки, объедки, бычки, а иной раз что-нибудь и поинтересней. Бесику однажды повезло, он наткнулся на коробочку с изображением Красной площади и Мавзолея Ленина, а изнутри коробочка была как в кружевах, а запах был такой... ну такой, какой никто из

нас не унюхивал до сих пор! Так что мы вдыхали, поднося к лицу, целую неделю: по очереди! Голова кружилась!

Но Маше я не стал ничего объяснять. Она все равно не поймет. Мы двинулись к станции, но уже не по улицам поселка, а прямо по путям, тут многие так ходят, чтобы сократить дорогу. Маша легко прыгала через шпалины, я едва за ней поспевал. А потом мы пошли рядом, и я спросил:

— Как ты меня узнала? Среди всех?

Это бы надо было спросить давно, хотя бы там, у речки. Тогда бы не скребло шибко в голове. Но вот я представил, что она уедет, а я так и не узнаю, кто же я на самом деле. И будет меня, хоть ныряй, хоть не ныряй, сверлить эта мысль. Лучше уж отмучиться сразу.

Как говорят, спросил — и головой в омут!

Маша не ответила мне. Она молчала и шла. И все молчала. Я решил, что она не услышала моего вопроса, а второй раз уже не захотелось спрашивать.

И вдруг она сказала:

— Знаешь... Сергей... Я тебе и так, кажется, наговорила лишнего, — и сильно при этом вздохнула. И я понял сразу, что она добрая и несчастная. Даже стало ее жалко. Меня вот скребет неделю, и то измочалился, а ее скребет, небось, сколько лет! — Ведь правда же, — и она опять вздохнула. — Не надо вешать на тебя такие гири.

— Не знаю, — ответил я.

— А я знаю. И приказала себе: "Замолкни!" Так, что ли, выражается ваш директор? "Замолкни" — вот я и замолкла. А ты меня спрашиваешь... Будоражишь...

— Ну, не буду, — буркнул я.

— Почему же ты не будешь? — она рассердилась. Даже замедлила шаг, уставясь на меня. Вытаращилась так, что я не выдержал, отвернулся. — Я тебе, конечно, отвечу. Ведь речь идет об отце... О твоём, Сергей, отце...

Я молчал, глядя под ноги.

— А узнала я тебя просто... Как же тебя не узнать, Господи! Как две капли на него похож!

— На кого?

— Да на отца своего! Я вначале от волнения как следует и рассмотреть тебя не успела. Только знала, что ты — это ты... Как он на фотографиях! В юности!

Фотографии почему-то меня больно царапнули. Может, потому, что я никогда никаких фотографий не имел?

— А он... какой?

Я не сказал "отец". Не могу я произнести это непонятное, совсем чужое слово.

Тут прогудел позади поезд. Мы сошли с рельсов, и, пока эшелон — а это был военный эшелон с машинами или танками под брезентом — грохотал мимо, взбивая угольную пыль, Маша мимикой, жестами пыталась мне рассказать об этом человеке. Она показала рукой рост, мол, высокий, потом показала плечи, раздвинув широко руки, а потом нарисовала пальцем колечки на голове, что означало — он курчав... Она гримасничала, изображая, и это было смешно, как в немом кино. А когда поезд кончился, и шум схлынул, и остались лишь легкое позванивание рельсов да клочок бумаги, поднятый вихрем, мы опять пошли по шпалам. Она спросила, заглядывая мне в лицо:

— Ну, ты что-нибудь понял?

Я кивнул. Понял, мол. А чего ж тут не понять. Не такие уж мы придурки, хоть именно такими нас считают в "спеце". Не понял я лишь одну маленькую малость — мелочишку, ерундовину, скажем... На самом деле этот нарисованный красавчик — мой отец? В общем-то меня прилизать да сфотографировать, я, может, и не таким выйду... И в ширину и в высоту! Да нет, вру! Меня, как ни снимай, да всех нас, кто посмотрит, с первого взгляда определит: этот? дохляк из "спеца"! И не в ширине, и не в высоте тут дело, хоть никакой у нас ширины и высоты от голодухи быть не может. Клейменные мы, вот в чем дело! А тот, кто якобы отец, он-то нам на память свое клеймо, если посудить, значит, и оставил. Тем уже, что он был... Если он был...

И тогда я спросил, сам не знаю, зачем:

— А сейчас... он... где?

Маша пожала плечами и отвернулась. Я понял, что она снова может заплакать.

— Скоро станция, — сказал тогда я. — Ничего, если я соберу бычки?.. Это не для меня... Правда. Это для Шахтера!

— Собирай, — ответила она равнодушно. Потом спросила: — А может, ему дать папирос?

— Вот еще! Он к ним непривычный! Ему залпленные бычки слаще всего!

Но Маша не поняла моего юмора.

— Ну, какая же разница, — удивилась она и достала из сумки нераскрытую пачку "Беломора" и, ничуть не колеблясь, отдала мне. — Ты сам-то не куришь? Но пробовал, конечно?

— Пробовал. У нас все пробовали. Даже Сандра.

— И как? Дрянь?

— Не знаю.

— Но я знаю. Если бы не заключение... Я бы сама курить не стала. И отец твой, кстати, не курил. Он, знаешь, сладкое любил.

Тут мне стало смешно: дурочка эта Маша, кто же не любит сладкого? Только пусть объяснит, как его любить, если оно нас не любит!

Мы пришли на станцию, и Маша велела мне ждать. Ходила она долго, я успел целую кучу бычков набрать и вдобавок пустую коробку от спичек. И еще военную пуговицу.

Она вернулась и сказала:

— Все сделала. Билет оформила, у нас есть время. Ты есть хочешь?

Вопрос такой же дурацкий, как про сладкое. Кто и когда, покажите мне такого идиота, не хотел бы есть?! Есть можно все и всегда. Беда лишь, никто нам почему-то есть не предлагает. Наоборот, стараются сделать так, чтобы мы не поели даже того, что положено. А впрочем, что нам положено? Может, нам ничего не положено. А если дают, то захристаряди. И мы должны быть счастливы, что вообще дают.

Маша поняла по моему молчанию, что сморозила глупость. Она взяла меня под руку и подвела к дверям в ресторан:

— Вот здесь мы и посидим до поезда. Ты согласен?

— Согласен, — хрипло произнес я.

Еще бы не разволноваться: я пересекал незримую черту, отделявшую всех нас, тутошних, голодных и бесправных, от настоящего рая. Так, во всяком случае, это нам представлялось. Затая дыхание, я вошел вслед за Машей, теряясь от большого прохладного зала с мраморным полом и колоннами, с множеством столов, где белели скатерти и что-то на них стояло. Но с испугу я не рассмотрел, что же на них стояло. Я увидел окна с бархатными занавесками, это из-за них, прилипая к стеклам, мы не могли тут ничего рассмотреть; кадки с настоящими деревцами и огромную картину на стене. Верней же, вся стена — это и была картина. А на ней, как живой, стоял сосновый лес, а по лесу гуляли медведи. Я даже рот открыл, уставясь на картину, да вовремя спохватился, рукой сам себе рот прикрыл. Но ведь, правда, такую красоту я видел впер-

вые. Посмотрели бы Кукушата, они бы не так раззявились! Но я им все, как есть, разрисую. Я ведь хоть за теткой спешил, а запомнил подробно, деревья золотые, освещенные солнцем, и одно из них повалено, и медвежонок по нему карабкается вверх. Этот, значит, лезет, а другие рядышком промышляют. Прямо как наш брат из "спеца". Если бы мне сказали, например, что картина зовется "Шантрапа на свободе" или "Шантрапа на промысле", я бы сразу поверил.

Я бы надолго застрял посреди зала, но очухался, когда Маша легонько толкнула меня в спину:

— Давай пройдем к столику. Оттуда ты сможешь все увидеть.

## 11

Я сел так, чтобы не прикасаться к скатерти. Теперь я рассмотрел, что на столе стояли ваза, пустая, и еще какие-то пузырьки, в них, как потом выяснилось, была соль и что-то еще, совсем бесплатное. И никто не шарпал, не крал, не совал в карман. Чудно. У нас исчезло бы сразу. Мигнуть не успели.

Тут подбежал к нам человечек в белом халате. Странный такой человечек, недоросток, но горластый, с глазами жулика. Уж кого-кого, а жуликов-то я узнаю везде. У них взгляд такой: бегающий и нахальный.

Маша достала из сумки карточку с цветными талонами. Человечек отрезал ножницами несколько талонов, показал на листочке какие-то названия блюд и пропал.

А Маша посмотрела ему вслед и засмеялась:

— Это Филиппок... Так его здесь зовут. Кормил меня в прошлый мой приезд. Он похож на артиста Карандаша. Ты же слышал про Карандаша, который выступает в цирке?

Я уже перестал удивляться глупым Машиним вопросам. Ну кто же в "спеце" не знает Карандаша. Вот недавно в картине его смотрели, картина называлась "Наш двор". Там Карандаш под потешную музыку бегаёт с портфелем, потому что он домоуправ, и хочет организовать работу по уборке двора, а у него, дурачка, все валится из рук, и ничего он делать не умеет. А все остальные трудящиеся даже очень умеют все делать. Они дружно выходят во двор, и пока Карандаш потешно бегаёт и всем мешает,



трудящиеся разбирают свалку во дворе и делают ужасно красивый порядок.

Пока я пересказывал Маше картину, я про себя подумал, что этот Филиппок с черными комичными усиками даже очень напоминает Адольфа Гитлера, каким его рисуют в газетах... "Собирает он команду, посылает на восток, а немецкая команда будет драпать без порток".

Маша улыбнулась стихам. А сама она помнила другой фильм, про поезд, который идет, и все хором поют: "Тра-та-та, красота, мы везем с собой кота, чижики, собаку, Петьку-забияку..." В общем, там поют, а один толстяк все ест и ест, а Карандаш вот как здесь, в ресторане, бегаёт с подносом, и все-то у него с подноса валится, и тарелки, и хлеб... Правда, Филиппок хороший официант, и у него ничего не валится.

Тут он снова к нам подбежал и поставил передо мной и перед Машей настоящие белые тарелки, я из таких еще не ел, их и разбить немудрено. А в тарелках дымилось что-то вкусное, запах продирает до кишков. Тут же Филиппок положил мне две железки, одна из которых нож, а другая вилка. Нож я пощупал на остроту, заточен так себе, а вилка мне понравилась: если ею кого пырнуть, так не хуже иного гвоздя будет. А Филиппок вернулся и поставил графин с красной водой, а к нему стаканы, которые у них называются бокалы.

Маша сказала:

— Это морс... Он сладкий. Давай выпьем и поедим.

Я сразу подумал, что вот такой морс Антон Петрович, небось, с ней и пил.

Я взял стакан двумя руками и все сразу выпил. Облизал стеклянные края и губы. А вот есть оказалось нечем, ложку-то они не дали. А попросить у Филиппка я побоялся, рявкнет еще: куда, мол, стянул? Но пока я раздумывал, Филиппок из-за моей спины положил ложку.

— Вот, сударь... Для удобства, — и улыбнулся в усики.

Это я-то сударь, ну прям кино! И как он, ловкач с быстрыми глазами, успел догадаться, что мне тут ложка нужна!

Но у нас и правда, как в кино, где я был не совсем собой, а кем-то, кто играл меня. И странно видеть эту игру и знать при этом, что сидит-то не кто-нибудь, а сижу взаправду я, хотя в это трудно поверить.

Кукушата, конечно, не поверят. Да я и сам завтра не поверю, когда буду вспоминать. Вот бы всю жизнь отсюда не уходить, а занять место, вилку с ножом за пазухой заханырить да другие стекляшки, чтобы не потырили,

а стул можно тоже с собой носить. На плече или за спиной. Он и нетяжелый совсем.

В этот момент произошло еще одно событие.

В конце зала в углу, рядом с деревом появились два человека. Их никто, кроме меня, и не заметил. Все торопливо пожирали из своих тарелок. Один из прибывших, весь какой-то членистоногий, в военной форме, но без погон, поднес к подбородку скрипочку, а другой, черный, толстый, носатый, из носа волосы, но с гармошкой, вдруг заиграл что-то протяжное, а скрипач весь задержался, затопал ножкой, задвигал быстро смычком, закрутил головой и — появилась музыка. Настоящая музыка, которую все могли слушать. Но все жевали и делали вид, что они не слушают, а слушал один я, забыв про ложку и про тарелку. И вот что меня сразило: скрипач и гармонист тоже делали вид, что им никто не нужен, а будто они играют только сами для себя! Ну, и для меня. Ведь я-то слушал!

Маша пристально посмотрела на меня, наверное, догадалась, о чем я думаю.

— Это здешние музыканты... Хорошо, правда?

— Не знаю, — сказал я.

— Все-таки хорошо. Старинный вальс. А вот как зовут их... Сейчас вспомню... Да, правильно: Марк Моисеич, это который со скрипкой, а тот, с баяном, Роман... Они в прошлый раз играли. Но ты ешь, они еще долго будут играть.

Вот новости, чтобы меня просили есть. Я молниеносно схавал все, что лежало на тарелке, но языком вылизывать тарелку не стал. Потому что увидел, что Маша тоже не лижет и никто кругом за столами тарелок не лижет. Я пальцем все подобрал, а палец тот облизал. А чтобы не думать об еде, стал смотреть на музыкантов. Тот, который Марк Моисеич, все топал тонкой ножкой и медлительному, туповатому Роману кричал сердито в перерывах между музыкой:

— Тут же соль, соль нужна!

Я посмотрел на стол и подумал, что соли мы могли бы и своей им отсыпать за такую игру, если только Филиппок не заметит. Жулики — они приметливые. Но Маша ухватила мой взгляд и поняла по-своему:

— Ты не наелся, Сергей?

Я вздохнул. Ну, что можно ответить на такой глупый, дурацкий вопрос. Как ей объяснить, что мы, которые из "спеца", можем есть много, очень много, в общем-то сколько нам дадут. И если будут давать без конца, то мы без конца будем есть. Даже сто тарелок! Хотя сто тарелок

нам никто никогда не даст. В том кино, рассказанном Машей, жирный толстяк, который все время ест и ест, и тот не получал сразу, наверное, сто тарелок!

Маша поняла мой вздох по-своему. Она взмахнула рукой, и рядом сразу же объявился Филиппок, который как Карандаш, но который еще похож на Гитлера. Он щерился сквозь свои усики и глядел на меня так, будто не Маша, а он был моей родной теткой.

А Маша полезла в сумочку и опять достала талоны. Филиппок отстриг крошечными ножницами два талона с цифрами, ссыпал их в кошелечек на груди и исчез. Появлялся и исчезал он, как в сказке, мгновенно. Маша не смотрела, а я на всякий случай проследил, правильно ли он отрежет талоны. Я спросил Машу про талоны. Кукушата ведь тоже захотят знать, каким способом в ресторане добывают жратье, и надо им всё подробно разъяснить. Потому что им в этот ресторан никогда в жизни не попасть и даже не представить, где я побывал и каким образом меня кормили на этом месте.

Да и мне, и мне на это место никогда не попасть! Это ведь дуриком с Машей проник, пролез в узкую щелочку, которая не для нашего брата шакала. Сижу барином, жру, как барин, а выскочу отсюда, так кто-нибудь с ходу прыгнет и займет мой стол, и мой стул, и мою тарелку!

Такие были у меня переживания в то время, как Маша рассказывала про себя, что служит она в санитарном поезде и ездит на нем то на фронт, то с фронта, а в поезде, прямо на ходу, лечат и выхаживают раненых наших бойцов.

Маша опять посмотрела на часики и объяснила, что на этот раз они встали вблизи Москвы, и, когда из вагона перегрузят раненых в госпиталь, они снова поедут на фронт... Завтра или послезавтра. Так сказал их начальник.

Играла музыка, топал тонкой ножкой, вертись, как на шарнирах, скрипач Марк Моисеич, занималась едой, будто срочным делом, публика. Но среди всех, кого я смог увидеть — а большинство были военные, — я не разглядел ни одного пацана. Я еще раз удостоверился: сюда и сынков-то, всяких там Карасиков с папами Наполеончиками не пускают, не то что беспризорщину, вроде меня.

Маша вдруг спросила:

— Хочешь поехать со мной?

— Куда?

— В поезде... Мы возьмем раненых, а потом в тыл... И на фронт. Так и будем вместе ездить. Ну?

Она смотрела на меня и кусала губы. И глаза у нее были какие-то страдающие, будто ей было больно.

— А Кукушата? — спросил я тогда.

Мне представилось, что мы все бросаем наш заклятый режимный "спец" и начинаем ездить на фронт. А еще нам талоны дадут, чтобы мы на станциях жрали из белых тарелок и пили сладкий красный морс... Вот это жизнь! А мы будем кричать: "Эй, Филиппок, гони сто тарелок жрать! Нет, не сто, тыщу! Сто тысяч! И все сразу!"

Но мечта оборвалась так же неожиданно, как и возникла.

Маша виновато произнесла:

— Нет, всех невозможно... Сергей... Я за тебя могу у начальника поезда, полковника, попросить. Ну, как... тетка... Я уже о тебе упоминала... Я хороший врач, они меня ценят... Понимаешь?

Я кивнул. Ее-то они ценят, они нас, Кукушат, не ценят. Вот сказочку слышал, не помню уж кто в "спеце" рассказывал, как летел орел, огромный такой орел, а к нему присоединилась мелкая пташечка. День она летит за орлом, другой, на третий устала и жалобно кричит: "О-ре-е-л, а о-ре-ел... А куда мы с тобой летим?". Орел подумал и, не поворачивая головы, лениво ответил: "А хрен его знает!"

Так нужно ли нам роиться и спешить за орлом, то бишь за поездом, которому до нас, как и всем остальным, в этом мире нет дела? Как нет дела никому до Марка Моисеича и Романа! А уж как стараются, и музыка у них прямо до груди, до печенок и селезенки достает.

А вот они закончили, и опять никто не заметил. Сложили молчком да тишком свои уставшие инструменты, присели за столик неподалеку. Им что-то в тарелочках принесли. Наверное, плату за их музыку.

А вдруг они такие же, как я, бедолаги, покормят их сейчас да и вытурят на улицу. Музыка-то никому здесь не нужна! Только мне, который здесь чужой!

Я доел вторую тарелку, что мне принесли, с жалостью посмотрел, на ней еще для облизыванья осталась коричневая жижечка, но не рискнул вылизывать. Тихий Филиппок с понимающей миной, улыбаясь в усишки, стоял за моей спиной и караулил мои движения! Небось, унесет за занавеску да сам и оближет! По роже видно.

Я сказал, не глядя на Машу:

— Я без Кукушат не могу.

— Почему?

Опять это глупое: "Почему".

В "спеце" бы меня так спросили, я бы ответил: "По кочану".

— Не могу... Они же свои.

Маша сказала, заглядывая мне в лицо:

— Ну какие же свои... Они тебе не родня! Ты разве не понял?

Я-то понял, это она не поняла. Мы все в "спеце" друг другу родня, родня тем, что мы все ничьи. Как, скажем, родня дворняжке дворняжка. А Кукушата не просто шантрапа, это Кукушкины, породы такой, значит.

— Да не Кукушкины они! И ты не Кукушкин, Господи!

— А кто?

— Ты Егоров!

— А они?

— И они кто-нибудь.

— Но кто?

Маша затравленно оглянулась. Сладенький Филиппок стоял за спиной и с улыбкой смотрел на нас. Маша торопливо вынула деньги, я даже рассмотрел, что это были две бумажки по сто рублей, и как-то ловко сунула Филиппку в руку, и он еще больше осклабился.

А мне сказала:

— Пойдем! Скоро поезд!

Мы пошли снова через зал, и я все выворачивал шею, чтобы запомнить лесную картину. Последний раз оглянувшись, я увидел Филиппка, который понимающе улыбался мне вслед.

Я сказал про себя:

"Господи... Боже! Если ты есть! Сделай так, чтобы я еще когда-нибудь, хоть через сто лет попал сюда! Сделай, Господи! Ну, что тебе стоит! А я что хочешь, я буду терпеть и "спец", и шефов, и все! Я бы от пайки по корочке отдавал, если бы знал, что это надо... чтобы попасть когда-нибудь в жизни в такой рай!"

Поезд пришел, но не сразу. И Маша отчего-то все дергалась, взглядывала на часики, и я подумал, что она боится опоздать. На меня она почти не смотрела.

— Может, я пойду? — сказал я ей. — Они там будут искать.

— Переживут! — ответила она резко и крепко взяла меня за руку. Будто испугалась, что я и вправду убегу.

А потом показался паровоз, и Маша почему-то еще сильнее вцепилась в меня. Она крикнула, я едва за шумом слышал:

— Сергей... — и опять на паровоз и на меня. — Сергей... Я хочу тебе что-то сказать...

Я кивнул. Хочет, так пусть говорит. Я уже привык к ее дурным вопросам и ничего интересного для себя не ждал. Если она про своего Антона Петровича заведет и слезами меня начнет омыwać, я сбегу. Не такая уж она сильная, чтоб меня удержать.

Паровоз прошипел и встал. И люди пробежали. Но народу уезжающего было мало. И он почти сразу загудел. А Маша мне закричала:

— Вот что... Сергей! Я завтра приеду! На полчаса! Там такой поезд есть, чтобы сразу мне обратно... Так ты приди сюда утром... Ты понял? К восьми утра приди и подожди. Вот тут!

— А завтрак? — спросил я.

Я не мог не спросить, потому что я такой и все мы в "спеце" такие, нас хоть про запас корми, а пайку-то нашу отдай!

— Я тебя тут накормлю!

— Тут? — спросил я, сразу представив, что, может быть, она поведет меня снова в тот, заказанный нам всем рай?!

— А пайка? — спросил я опять.

— Вот глупый! — закричала она и побежала к вагону. Залезла по ступенькам, и поезд сразу пошел. Она высунулась из вагона и закричала на весь перрон: — Се-ер-ге-ей! Завтра! В во-о-семь! Жди-и!

Я махнул рукой, чтобы не торчала в дверях и не кричала, как психопатка. А я сам решу, как мне быть и с пайкой, и с поездом. На горизонте появился мент, издали приглядываясь ко мне, и я тут же двинул в противоположную сторону, чтобы поскорее попасть домой.

## 12

Ночью плохо спалось. Не то что я переживал или меня смутил такой поворот с Машей. Сейчас в войну у всех, как сказала Туся, балуют нервишки. Все стали какие-то психованные, сами не знают, что делают. У нас в поселке из-за этого то под поезд бросятся, то купороса или кислоты напьются. А то и стреляются, и так бывает. А Маша, и без очков видно, сдвинута на своем Егорове. Ей дурная голова ногам покоя не дает.

Впрочем, если послушать, то и о нас, и нашем "спеце" в поселке не лучше говорят. Одни считают, что мы сплошная уголовщина и по нас тюряга плачет, а другие, что мы просто психованные, оттого-то нас так крепко и держат, и никуда не пускают.

Директор Чушка при случае тоже не прочь загнуть про наше психопатство, если надо из милиции вытаскивать. "Не знаете, что ли, — скажет, — у меня тут филиал Белых Столбов, я за их действия ответственности не несу!"

Врет, конечно, несет и только пугает, но ему так удобно пугать. Спросу меньше. Но если к нам приглядеться, то видно, что мы и сами-то ведем себя, как психи. Сандра вон в дни зарплаты попрошайничает у ворот швейной фабрики, а накопив сколько-то денежек, бежит на вокзал, чтобы в Москву уехать. Последний раз и Корешка с собой прихватила. Их выловили, когда они в поезд уже успели сесть.

В своем кабинете Чушка спросил у нее:

— Чего тебя несет в Москву? Ты можешь ответить?

Но она ответить не могла. А за нее ответил Корешок:

— Мы собирались в Кремль к товарищу Сталину.

— Зачем? Он что, звал вас в гости?

Сандра слушала и молчала, уставясь в пол. Впрочем, Чушка тоже в пол смотрел, даже свои ворованные золотые очки забыл для грозности нацепить. Этот последний побег вывел его из себя.

— Зачем? — крикнул он. — Зачем?

— Мы хотели спросить...

— Что спросить?

— Ну, спросить... Про родителей...

— О каких родителях ты говоришь? — закричал Чушка. Его лицо побагровело. — У вас нет родителей! Нет! И не было!

В это время по радио песню пели.

На просторах Родины чудесной,  
Закаляясь в битвах и труде,  
Мы сложили радостную песню  
О великом друге и вожде...

Чушка свирепо посмотрел на репродуктор, который мешал допросу, подбежал и выдернул вилку. А мы все это через окно видели. Не замечая нас, он закричал, обращаясь к милиции, которая привела Сандру:

— Но вы же видите, она чокнутая! Они все у меня чокнутые! Их всех надо от общества изолировать!

Тут он подскочил к Сандре, взял ее за воротник, она даже голову от страха втянула, и мы вслед за ней втянули, думали, что он ее сейчас ударит. А Бесик прошептал: "Если стукнет, я ему окно побью!"

Но Чушка не стал бить Сандру, а лишь кулаком перед ее носом помахал.

— Ты вот что... — закричал ей в лицо. — Ты третий раз весь "спец" баламутишь! Теперь замолкни! Еще раз уйдешь, я тебя посажу. В зону! Или нет! Нет! Нет! Я тебя к Козлу пошлю на месяц! Вот! Будешь у него отработывать!

Говорить Сандре "замолкни" бессмысленно. Она и так навсегда замолкла. А вот угроза Козлом не пустая. Козел, то есть Козлов, начальник станции, сухой такой старикашка с ярко-красными губами и наглым взглядом. Глаза голубые, большие, как плошки, посмотрит, как нахамит. Он-то и снабжает нашего Чушку драгоценным углем, привозит ему домой, а нас посылают разгружать. А взамен Чушка ему девчонок для работы посылает. Однажды Сандру тоже отправил, да она через час сбежала. Появилась вся растерзанная, легла в постель и завыла. Ничего мы от нее не смогли добиться, только поняли, что к Козлу ее нельзя отпускать. При его имени она вздрагивает и становится белее снега. Наверное, им удобно, что Сандра вообще молчит. А если бы мы все замолчали, так еще удобнее было бы. Правда, непонятно тогда, как они бы нас допрашивали, особенно когда комиссия с военными приезжает. Их одна Сандра со своей немотой выводит надолго из себя. А тут, если представить, выстраивается весь "спец", сто человек, и в ответ ни слова. И наказать нельзя: все немые. Немая картина!

Комиссия ходит, удивляется, негодует, в рот заглядывает, а мы, как идиотики, лишь звуки непонятные издаем! И тогда комиссия кричит: "Они же не кон-тро-ли-ру-е-мые! К Козлу их! К Козлу!"

Так я все представлял и уснул.

И вдруг увидел зеленый луг, так ясно, будто наяву, а мы, дети из младшей группы, в пионерлагере, идем, выстроившись по двое, на прогулке. Впереди нас вожатая с венком из желтых одуванчиков.

Но почему же я никогда не вспоминал этого лагеря, в котором я был до войны один раз в жизни? Даже лысый военный, который нас пытал, не мог из меня выжать этого лагеря!



А теперь, когда я и думать не думал, он вдруг явился ко мне сам, да еще в цветном сне. Мы идем, взявшись за руки, а перед нами луговая, в зелени и в цветах, пойма реки, которая сверкает под солнцем. А вожатую, теперь я точно помню, зовут Люба. И мы все любим нашу Любу, как могут любить только дети, и мы кричим ей изо всех сил: "Люба! Люба! Мы хотим землянику собирать!" Потому что мы знаем, что в зеленой траве около тропинки созрела крупная ягода земляника!

А Люба поворачивается к нам лицом, пятится и смешно, как девочка, прыгает, глядя на нас и улыбаясь нам, хлопая в ладоши, кричит: "А кто будет петь песню про кукушку? Ну, споем?"

Мы отвечаем хором: "Споем!"

И мы поем, Господи, как же я мог забыть, что эта песня про кукушку всю жизнь во мне жила, и сейчас перехватывает горло от ее незамысловатых слов.

Там вдали за рекой раздается порой  
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...  
Это птичка поет под ракиновым кустом  
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...

Наши голоса льются, как голоса ангелов с небес, чисто-чисто, звонко-звонко, а нам отвечает с другого берега эхо. Сердечки вздрагивают, восторгаясь этим замечательным днем, за которым будет и другой, и третий, и так без конца, а все дни такие солнечные и только счастливые, где мы все друг друга любим и любим нашу Любу, и так до конца лета. А потом до конца других лет и других зим, и еще длинной-предлинной жизни!

Она вся представляется нам, как эта сверкающая под солнцем тропка в блестящей траве, оваянная никем не придуманной, а как бы само собой явившейся к нам песней: "Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку..."

Утром я ринулся на станцию, не сказав ни слова Кукушатам, которые, конечно же, высматривали меня с вечера и хотели все от меня узнать.

Я не ждал от этого утра чуда. Но чего-то я, наверное, ждал. А если врал самому себе про психопатство Маши, так это для утешения, чтобы легче было пережить, если что-то не сойдется. Хотя, повторяю, я не знал, чего же я жду. На станцию я шел, впервые не скрываясь, знал, что скажу, если схватят. Я скажу: "Тетка у меня последний раз приедет на поезде, а я ее должен встретить".

На станции я нарочно вертелся там, где побольше ментов. Мне хотелось, чтобы они меня спросили: "А ты откуда? Не из "спеца" случайно сюда залетел? Или по тебе карцер плачет?"

Но никто ни разу ко мне не подошел. Вот тетка исчезнет, тогда они появятся. Они появляются, когда некому заступиться. Такой глупый у жизни закон.

Я полюбовался на огромную вывеску "Голятвино". Так и поселок называется. Рассказывают, что, когда и поселка не было, стоял на этом месте кабак у дороги и люди вино пили. Ну и пропивались до голя. И говорили: голят-вино... Или же: гулять-вино... А может, врут, винище-то везде хлещут, и в Москве тоже, наверное, не без пьянки!

Я вспомнил про ресторан, сходил, посмотрел на него. Я и раньше тут, рядышком, иногда ошивался, но теперь-то совсем другое дело. На окнах были бархатные красные занавески, и ничего за ними я не увидел. Ни столиков с белыми скатертями, ни деревцев с кадками, ни самого главного, картины на стене, такой красивой, что дух захватывает.

И еще я подумал, что наш Чушка, и Уж, и Наполеончик, и Козел тоже сюда не допускаются. А я был! Захочу, попрошу тетку, так еще зайду. Вот если бы их всех собрать, Чушку, Ужа, Наполеончика, Козла, — выстроить, к примеру, на платформе и так небрежной походкой мимо пройти, да напрямиком в ресторан. А они, придурки поселковые, смотрят и от зависти лопаются прямо, и у них слюни изо рта текут. Может, они даже туда проситься будут, а тут на них Филиппок как топнет ногой, как рявкнет баском:

— Пойдите, сучьи выродки! Не видите, что ли! Это не про вас! Это для особых, которые... Которые с теткой идут! А у вас и тетки-то нет! Так ша! Замолкните! И в зону!

За своими мечтами не заметил, как поезд выскочил, зашипел и остановился. Я посмотрел на вагоны, и мне показалось, что ее Маша не приехала. И вот странно, я испугался, что ее не будет, а я как дурак ждал. И вдруг, когда совсем уж расстроился, обнаружил ее неподалеку. Она бежала ко мне так, будто меня потеряла, а теперь нашла и боялась, что я могу насовсем исчезнуть.

Мой испуг прошел, и даже радость прошла. Ну, приехала Маша и приехала.

А она с ходу, не останавливаясь, подхватила меня и куда-то потащила, я даже не успел спросить, куда она меня тащит. Мы пролетели через зал ожидания, выскочили на улицу, снова нырнули в дверцу вокзала с обратной

стороны, спустились в прохладный подвал и вдруг оказались на большой кухне, посреди нее стояла толстая баба, а рядом наш Филлипок. И они сразу сказали:

— Сюда, сюда!

Это была небольшая совсем комната, но тоже со столами, а на столах были белые скатерти и даже вазочки с цветами.

— Здесь и поедим! — Маша торопливо бросила на стул сумку и села. И я сел.

Оглядываясь, она добавила, что ресторан наверху еще не работает, а она такая голодная выехала из Москвы в четыре утра, а через полчаса обратный поезд, а это еще четыре часа дороги...

Филлипок расставлял тарелки, а я хоть отводил глаза, но все равно видел, что было на тех белых тарелках: хлеб, маленькие кусочки колбасы, сахар, масло. Маша полезла в сумку и что-то достала, завернутое в бумажку, и положила рядом с собой. Несколько раз она трогала сверток рукой. А я рассматривал цветок в вазочке и вдруг заметил муравья. Его, бедолагу, вместе с цветком утащили с клумбы, и теперь он суетился, карабкался по стеблю и не знал, в какую сторону бежать. А куда он из этого бетонированного подвала может выбраться? Попался парень, теперь в муравейнике о тебе, небось, мамка-папка плачут... Или детдомовские, если своих никого нет...

— Ешь. Не зевай, — сказала Маша и тут же занялась своей тарелкой. — Ешь и внимательно слушай меня. Договорились?

Я кивнул. Договориться со мной, чтобы я ел, не трудно.

Маша почему-то оглянулась: никого рядом не было, и даже неуловимый Филлипок пропал, растворился в кухне.

— Так вот, Сергей... Папа твой, я тебе говорила, человек был известный и в те годы получил за свой самолет огромную премию. Но тучи сгущались, и он ждал со дня на день, что за ним придут. И тогда он всю сумму перевел на твое имя и положил в кассу, как я ему посоветовала. А книжку, сберегательную, отдал на хранение мне, а я ее спрятала у подруги. А потом, когда меня выпустили, я стала тебя искать, а искала, разумеется, тебя — Егорова, а ты уже был Кукушкин, и, конечно, нигде о тебе сведений не было... Я посылала запросы, звонила, ездила... Пока не наткнулась, совершенно случайно, на одну женщину — тоже врача... Она в те поры, когда забирали твоего отца, в детском распределителе специальном работала. Через нее проходили дети врагов народа...

Я умею есть и глотать мгновенно, не жуя, но тут у меня какой-то кусок застрял в горле, и я закашлялся.

— Дети... Кто?

Маша сосредоточенно пила чай и не сразу ответила.

Произнесла, как бы оправдываясь:

— Так вас называют... Прости, называли... Ты пойми... Я не стала бы тебе говорить, если бы не знала, что могу тебя не увидеть. А больше никто тебе этого и не скажет. Но только... — она оглянулась, хоть в комнате по-прежнему никого не было. — Молчи... Ты понимаешь... Это ведь тайна... Опасная тайна. Я долго колебалась, прежде чем решила тебе рассказать. Но я подумала, что ты уже взрослый и должен знать о себе то, что от вас скрывают.

Я посмотрел на муравьишку: он метался по стеблю вверх и вниз. Сколько же он так будет бессмысленно бегать в этом загоне?

— А кто от нас скрывает? — спросил я, не глядя на Машу.

— Все.

— А они... все... знают? Что мы... такие? Да?

— Конечно, они знают! — воскликнула Маша и опять оглянулась.

— И директор наш знает?

— Директор... В первую очередь!

— А почему мы не знаем?

В это время я поднял глаза и увидел Филиппка, неведомо как возникшего рядом. Он стоял и лыбился в свои ушишки. Будто знал, о чем мы говорим, и молча участвовал в нашем самом секретном в мире разговоре.

Маша рукой прикрыла сверток, а Филиппку сказала:

— Я могу вместо карточек деньгами? — тут же выложила сотенные бумажки и опять подхватила меня под локоть:

— Пойдем! Пойдем отсюда!

Я затормозился. Все было съедено, но оставался муравьишка, несчастный и бездомный, который был обречен на заточение в этом подвале.

— Сейчас, — сказал я и подставил ему палец. Он забрался на палец и так, со мной, выскочил наверх, на улицу.

Только здесь Маша вздохнула свободно, сверток был зажат у нее в руке. Она увела меня в дальний конец платформы и стала рассказывать, как она меня искала и однажды наткнулась на эту странную женщину из распределителя...

— Ее фамилия Кукушкина... Ты догадываешься?

— Нет, — ответил я. Тут я нагнулся и сдул муравьишку с пальца. Беги, дурачок, к своим да больше не влипай в такие истории. Эти, из подвала, тебя не выпустят, им даже на ум не придет, что ты тоже хочешь жить.

— Ну чего копаешься? — спросила Маша. — Ты же меня не слушаешь?

— Слушаю, — сказал я. — Ее фамилия Кукушкина.. Как и наша... И моя...

— В том-то и дело! Она дала вам свою фамилию. Теперь понял?

— А зачем?

— Она зашифровала вас... Чтобы не было хуже!

— А почему хуже? — удивился я.

— Ох, — Маша вздохнула. — Но ведь вы дети этих, кто арестован. Вам лучше не быть с теми фамилиями. Так она рассудила. И дала вам, многим, свою... Ну, она спасала вас, понимаешь?

Ничего я не понимал. Но я уже молчал. Потому что был, как тот муравьишка в подвале: никаких ходов и выходов оттуда, куда меня, сорвав с цветка, доставили, уже не было. Это Маша меня на пальце пыталась вынести... А куда? Она же уедет... Уедет, а мне знать и сейчас, и завтра, и всю жизнь, что я не просто Сергей Кукушкин... А враг, потому что мой отец — враг... И что меня скрыли за другой фамилией...

Я вспомнил про сверток и спросил:

— Можно посмотреть?

Маша сказала:

— Это теперь твое.

Я развернул сверток. Там лежала серенькая книжечка, и на первой ее странице было написано: "Егоров Сергей Антонович". А еще круглая печать. И большими буквами сверху: "Сберегательные трудовые кассы СССР. Счет "4102", а внизу мелко: "Заведующий сберегательной кассой (контролер)" и подпись. Я перевернул еще страницу, она была пуста. Почти пуста. Только сверху, в левом углу стояла цифра. Я сразу ее не понял, она была какая-то странная, будто одни нули.

Маша наклонилась и спросила тихо:

— Ну? Ты разобрал? Сколько он тебе оставил?

Я покачал головой. Ничего я не разобрал. Но слово "оставил" вызвало у меня странное чувство. Мне захотелось плакать.

— Он боялся, что ты один пропадешь... Он спешил что-то сделать. Он сказал: "Я ему в жизни уже ничем не помогу. И он пропадет. Пусть хоть это будет... На черный день..."

— А сколько здесь? — я и правда не мог никак прочесть эту странную цифру. Хотя в цифрах-то я разбирался.

Маша тихо засмеялась.

— Вот глупый. Ну, читай. Это что? Сто, да? И еще нули.

— А что получается?

— Подумай!

Я подумал. У меня ничего не получилось.

— Сто тысяч получается, — произнесла странно Маша и опять посмотрела по сторонам. — А теперь спрячь... Далеко, далеко, Сергей, очень далеко спрячь!

Она взяла книжечку у меня из рук, снова завернула ее в бумагу, пока я тупо размышлял о деньгах. Что такое сто тысяч, если у меня в жизни самое большое было три рубля. Да и то давно. А сто рублей я видел один раз в чужих руках. А сколько же теперь у меня будет тех увиденных мной сотен? Раз увидел, два увидел, три... Так чокнуться можно. А больше ничего мне в голову не приходило. Ничего, кроме тупой, как полено, мысли, что эта чужая книжка мне не нужна. Зачем она мне? Вот десятку я бы взял... И сотню. Но сотню, может, и не стал бы, из-за нее тут в поселке голову оторвут.

Как сквозь сон, услышал голос Маши:

— Вместе с книжкой я положила другие документы, не потеряй. Там свидетельство о рождении... О твоём рождении. И заверенная бумажка от Кукушкиной: она юридически подтверждает, что в детприемнике дала тебе свою фамилию, а что на самом деле ты Егоров. Но этого сейчас никто не должен знать. Эту Кукушкину и так таскали долго. Она лишь тем и отбилась, что заявила, что вы все, все не помнили настоящих своих фамилий... Она будто бы вынужденно давала вам свою.

Я спросил Машу:

— А если и вправду не помнили?

— Ну, кто-то и не помнил, — ответила Маша.

— Скажи... А может так быть, что я чего-то не помнил, а потом вдруг стал помнить?

— А что ты вспомнил?

— Лагерь, — сказал я.

— Какой лагерь? — мне показалось, что она вздрогнула.

— Ну, лагерь, — повторил я. — Лес... Тропинка... И песня... Про кукушку песня...

— Про кукушку? — как-то бессмысленно переспросила Маша.

— Да, про кукушку.

— Ты вот что, — Маша будто опомнившись, сунула мне сверток в карман. — Ты это возьми и спрячь. Я бы тебе еще кое-что привезла, у меня были письма и фотографии, да все забрали. Но ведь книжка — тоже память? Я бы сама хранила, но фронт... Могу не вернуться.

Я опять спросил:

— Значит, лагерь у меня был?

— Если помнишь, значит, был, — сказала торопливо Маша и поглядела в ту сторону, откуда ожидался поезд.

И он, правда, появился, прогромыхал огромными колесами и обдал паром.

— А я не знаю, помню я или не помню, — крикнул я, стараясь перекричать паровоз.

— Но песню ты помнишь?

— Помню.

— Значит, и остальное было! — крикнула Маша и поцеловала меня в щеку. — Им хочется, чтобы ничего не было! А оно было! Было!

### 13

Глянув в щель, я повернулся к Моте.

Я знал, что он не спит, лежит, вцепившись в свое ружье, и караулит ненавистных ментов.

Возьмем винтовки новые, на штык флажки,  
И с песнею в стрелковые пойдем кружки.

— Светло, — сказал я негромко. — Скоро начнут.

Я сказал "начнут", но что это означает, я не знал. Думаю, что никто не знал. Начнут, и все. Лучше об этом не думать. Хоть думалось все равно. А сказал я для того, чтобы услышать свой голос. А еще хотелось в ответ услышать тоже голос. Не плач, не стон, не мычание, а голос, обращенный лично ко мне. А то тяжело становилось ждать.

— Чего они сделают... Как ты думаешь?

— Мне думать неохота, — ответил Мотя. — Мне им врезать охота.

— А может, сразу не надо? — спросил я, но не очень уверенно спросил, потому что врезать-то им мы все хотели бы. Да как теперь врежешь. Об этом вчера надо было думать.

— А чего ждать?

— Ну... Может, они захотят это... Без драки...

— И ты им поверишь?

Нет, легавым я не поверю. Никто из нас им не поверит. Да мы теперь такие ученые, что не только им, а никому не поверим. Разве только товарищу Сталину, который про нас сказал, что людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево.

— Тогда давай поговорим о чем-нибудь приличном, — предложил Мотя.

— О пайке... — воткнулся Ангел.

— Или о куреве, — подал голос из угла Шахтер. И вздохнул.

— Или о мести... — сказал Бесик. — Вот если бы была у нас сейчас граната... Я бы их всех! Всех!

Сандра промычала в тон. Она тоже жалела, что у нас нет гранаты. Но мы все об этом жалели. Впрочем, выбора у нас не было. Берданка в счет не шла. От нее один звук, а проку никакого. Это менты, когда предлагали нам добром сдаваться, не бузить, не расчихали с вечера. Может, оттого и не нападают, что решили, будто мы тут все вооружены! Войско собирают во главе с доблестным маршалом Наполеончиком, который царствует в поселке и безжалостно карает всех, кого увидит: каждая бабка, вынесшая на базар картофельный пирог, у него в спекулянтки записывается, а каждый пацан из "спеца" — в преступники.

И я сказал Моте, но опять же негромко:

— Наполеончик-то рассвирепел после вчерашнего... Как бы он стрелять не начал...

— Не начнет, — отмахнулся Мотя. — Они еще за нас отвечают.

— Перед кем это они отвечают?

— Ну, перед кем... Перед всеми...

— Так все против нас.

И вдруг я сказал то, что сверлило меня до костей. Я просто не мог не произнести вслух.



— Все, кроме товарища Сталина. Нам надо ему письмо написать.

— А дойдет разве? — спросил Ангел с телеги.

И Сандра промычала, повторив его интонацию, сомневаясь, что дойдет.

— А может, сейчас написать? — сказал Сверчок.

Бесик прямо взорвался от его слов:

— Сейчас? В сарае?!

— Ох, курить хочется, — вздохнул Шахтер.

И все замолчали.

Я посмотрел в щель, в которой теперь ни насыпи, ни бугра не стало видно, густой туман холодил глаза. Тогда я стал думать о письме товарищу Сталину.

Поезд укатил в Москву, увозя навсегда неродную тетку Машу. А я направился к себе в "спец".

Но до "спеца" я не дошел. Чтобы продлить дорогу, свернул на одну улочку, другую и сам удивился, попав на окраину поселка, на тот самый пустырь, где вчера неподалеку от насыпи и сарая сидел с теткой и обедал.

По-нашенски: обжирался на халяву!

Ноги-то лучше помнят, где нам хорошо. Туда и ведут.

Я присел на тот же самый бугорок и, оглядевшись, как это делала Маша, достал пакет, от которого изо всех сил отбрыкивался: документы, завернутые в плотную серую бумагу. Я положил его рядом с собой на траву и отвернулся, чтобы он не вызывал жалости.

Надо было решить, что мне с ним делать. С ним и с собой.

Я, конечно, понимал, что если его, к примеру, взять да выбросить и вообще уничтожить, то с собой ничего уже делать не надо. Это мы вдвоем с ним не могли дальше нормально жить. А порознь — очень могли, и до сих пор вполне нормально жили!

Требуется лишь крепче закрыть глаза, как закрывает на Историю наш директор Уж — счастливый к тому ж, и раз навсегда сказать себе одно: ЭТОГО НЕ БЫЛО!

"А что было-то? — спрошу себя. — И отвечу — да ничего и не было! Я ни от кого и никогда не родился, и до войны ни с кем не рос. Этаким я птенчик из чужого яйца в гнезде: кукушка, то есть мимо летела! Кукушкин сын! Звучит почти как сукин сын!"

В моей Истории есть рассказ о царе Шумерском Саргоне. Шумеры, народ такой странный, все умели, как наши "спецы", а вот исчезли, и ничего, кроме каких-то глиняных

дощечек с надписями, не осталось. Так этот Саргон сказал о себе: мать моя, мол, была бедна, а отца, так и вовсе не было. Родила меня мать, положила в тростниковую корзину, вход замазала смолой да и пустила по реке!

Понятно, по корзине на каждого из нас уж всегда найдется! Да и думать так, и отвечать легче: откуда, мол, дружок? Да из корзины! По реке прибыл!

Тогда единственный документ, свидетельствующий о нашем появлении на свет, — это корзина. И ничего, кроме корзины. Я посмотрел на сверток. Ветерок приподнял край бумаги, и он, как живой, шевельнулся.

Чувствует. Шебуршит. Жить просит... А я вот сейчас его и прикончу! Прикончу и с легкой душой отправлюсь в свою, Богом данную "спецуху", где ждут не дождутся меня Кукушата! Стану травить им всякие разные истории про ресторан, как трескал за обе щеки из белых тарелок, как обхаживал меня Филиппок, похожий на Карандаша, а может, и на Гитлера, как играли возле кадки с цветком, притоптывая ножкой, два музыканта: скрипач и баянист! Соль! Обхохочешься! Я и мелодию на губах сдрынькаю! А если на расческу бумажку положить да сильно дунуть, так целый оркестр получится! Я им про картину на стене загну: лес, зверюги там, не меньше меня размером, прямо наша "спецовская" жизнь в натуре! Бесик, скажу, на дерево полез, а Корешок со Сверчком на земле в помойке роются! Кукушата оборзуют от такой картины! И Шахтер будет лыбиться, покуривая беломорину из той драгоценной пачки, которую я ему торжественно вручу!

Тут же, на бугорке, вырыл я рукой ямку, неглубокую, земля была мягкая, сплошь песок. С оглядкой — все-таки теткина школа не прошла даром — я опустил сверток в ямку и торопливо закидал землей. Заровнял, прихлопывая ладонью, и мусором сверху посыпал. Похоронил, не разворачивая, чтобы не смущать себя и не знать про себя ничего лишнего. Потому что "ЭТОГО НЕ БЫЛО".

Вдыхая полной грудью, я отряхнул от песка руки и, не оборачиваясь на место преступления, направился в "спец", где меня ждала пайка хлеба.

Первые полдня прошли особенно свободно, и я, правда, ни о чем не думал. Мне было хорошо, как раньше, когда тоже ничего не было. Пайка оказалась удачной — горбуш-

ка, которая достается лишь блатным и то раз в сто лет, да с добавочкой, приколотой, как у нас делают, спичкой к основному кусу. И хоть я не успел проголодаться, но добавочек съел и корочку от горбушки пососал, а потом пошел искать Кукушат, чтобы выложить им скорей свои приключения.

Но Кукушат не было, они отработывали шефство у Чушки на дому. А Туся, выдавшая мне пайку, сказала:

— Можешь не идти... Они и без тебя справятся...

— Могу и не идти, — ответил я. Но про себя решил идти. Чтобы скорей их увидеть.

Только Туся все не отпускала меня, а расспрашивала про тетку, кто она, и что делает, и какие у нее планы. Она даже отложила дела, увела меня в директорский кабинет, и прямо таяла от любопытства, и липла ко мне не меньше тетки Маши. Будто и сама стала родней.

Я врал и видел, что Туся развесила уши и верит каждому моему слову. Я сказал, что тетка — полковник, она начальник санитарного поезда, а ее муж — генерал... Они скоро снова приедут и заберут меня. Они и сейчас бы забрали, да генерал-то воюет, а тетка ездит... А квартира в Москве пуста, мне там одному ошиваться неохота! Тут, в "спеце", как говорят, веселей... Если не прижимают...

— Да нет, да нет, — защебетала Туся быстро. — Кто же тебя будет прижимать, ты у нас теперь такой...

— Какой? — поинтересовался я.

— Особенный!

— Чем же я особенный-то? Наталья Власовна?

— Ну как же, — сказала Туся, но кто-то открыл дверь и позвал, и она крикнула, чтобы подождали, она очень занята. — Вот и Иван Орехович говорил, что тетка, видать, "шишка" и нужно пересмотреть твое дело, потому что по бумагам тетка не числится! Он сам проверял!

— Проверял? — спросил я, благодаря мысленно Тусю за ее глупое простодушие.

— Проверял... Он куда-то письмо написал, и вообще... Но ты не бойся, — Туся округлила глаза и понизила голос, поглядев на дверь, там могли подслушивать наши сексоты. — Пока твоих нет, я тебя не брошу... А как приедут, ты меня с ними познакомишь! Ладно?

Я согласился. Как приедут, я ее непременно познакомлю. А про себя подумал, что Туся, хоть и дура, но не такая уж глупая дура, а вполне себе на уме. Вот только долго ей

придется ждать, пока "мои" приедут. Подождут они с Чушкой да и скумекают, что дело-то нечисто! Тем более что им в письме напишут про тетку, никакой, мол, у него, то есть, у меня, тетки нет. Вот если бы им тогда документик под нос сунуть, тот, что о моем рождении... Или прямо книжкой с деньгами перед Чушкиным рылом потрясти?!

Только нет у меня их теперь: ни книжки, ни документов. Были, да сплыли. Когда я от Туси ушел, все о документах думал. Решил двигать к Чушке домой, чтобы не маяться в одиночку, но таким странным зигзагом пошел, что сам не заметил, как очутился на окраине около своего бугорка. Там и просидел, едва на ужин поспел, уж Кукушата вернулись.

Окружили меня, стали расспрашивать, особенно Хвостик, он радовался, прыгал и в глаза заглядывал:

— Серый! А Серый! Ты правда на станции был?

— Правда, — сказал я и отдал Шахтеру пачку папирос. Он удивиться не успел.

Но тут в столовой собрание устроили по поводу начала учебного года. Чушка, а потом Туса и директор школы — Уж — оратор к тому ж! — говорили о порядке и дисциплине. Ходить на занятия строем, за непосещение — карцер, ну и прочие привычные дела.

Все это неновые новости мы приняли молча. Мы про себя знали, что школа нам не нужна. И Чушке не нужна, и Тусе, и Ужу... Мы из "спеца", и это в нас въелось, как клеймо, на всю жизнь. Нас и дальше всякие "спецы" ждут: спецучилища (под надзором), спецремеслуха... спецколония... спецлагерь...

И спецхрана само собой. А стаж нам, точнее "спецстаж", начисляется с рождения. С корзины, то есть, которая уже с решеточкой.

И везде, везде там свое образование, и учителя свои, и школа совсем другая. Там Сабонеев не в чести, ибо он может помочь выжить карасям, но нам помочь выжить в тех "спецусловиях" не может.

Вот в моей Истории, которую я подобрал в светлый час на пожаре... А светлый оттого, что горел-то дом ночью и светло было! И все наши хапали из огня что ни попадя, какую-то тумбочку с продуктами расшарапили... Только мне из тумбочки ничего не обломилось, а я от огорчения книжку подобрал, у нее уже края тлели! Посмотрел: История! Что за История такая, вот пожар — это, правда, история, да еще, видать, уголовная, потому что легавые

прибежали... А мы тикать, я книжечку скорей за пазуху! От нее и до сих пор дымом пахнет! А мне, когда читаю, все кажется, что дымом пахнут истории, которые в ней рассказываются. А там, значит, есть история про всемирный потоп, как всю землю залило водой, а один старик-то не растерялся, сколотил плот, да всех тварей на него и насажал, и чистых, и нечистых... Тем и спаслись... Он их, небось, в корзинках держал... А на некоторых корзинках, чтобы не спутать, бирочка: "нечистый"! Как про нас написано, мы, ясное дело, нечистые, потому что грязные... А Чушка — в роли того старика. Небось, на плоту-то "спецрежим" был, иначе бы перетопли все!

Носит нас по океану, а куда причалим, неизвестно. Да и причалим ли? Вот вам и Сабонеев! Который о карасях болеет и лещах разных.

За размышлениями я чуть главного не пропустил. А главное вот что: до школы остались недели, и нас посылают в колхоз на уборку свеклы.

До меня дошло, когда все закричали "ура": поездки в колхоз у нас любят. В колхозе воля, в колхозе жрать! Хочешь, иди в поле, а хочешь, в лес, никаких тебе ментов и легавых, кроме пьяного бригадира дядки Феде. В лесу, правда, не слишком разживешься, гриб там какой-то схаваешь, орех подберешь, и все. Зато в поле много кой-чего съестного растет, свекла, к примеру, ее можно сырой жрать, или турнепс, или морковь... А морковь брюхо набить — счастье!

Нас распустили, велели ложиться спать, с утра пораньше будет от колхоза машина. Я лег и все о документах своих зарытых думал.

Колхоз колхозом, а документы обратно добывать надо.

Кругом гудели разговоры вокруг поездки, вспоминали, как в прошлый год на рынок колхозный бегали.

На том же рынке можно даже под ногами что-то найти. Теряют все и везде, но тут особый глаз нужен. В "спеце" есть такие, их почему-то "грибниками" зовут. Вот и сейчас один "грибник" похвалился, что червонец вчерась нашел! А кто-то сказал:

— А я сотню видел... Правда, не успел, другие из-под носа вырвали!

Тогда крикнули:

— Эй! Дайте свет, хочу посмотреть на фрайера, который сто рублей видел! Может, он сто вшей видел! А не сто рублей!

И снова заржали.

Известно, что люди теряют бумажники, кошельки, даже хлебные карточки. Но только все знают, что хотя легенды о больших деньгах бытуют среди "спецов" все время, а вот находят-то мелочишку, рубль, там, или два. Хвостик однажды рылся в помойке, видит, мокрый рубль лежит. Схватил, а он не целый, — половинка! Так Хвостик, бедный, всю помойку в поисках второй половинки перерыл, а потом от огорчения заплакал.

Я слушал чужой треп про деньги, как кто-то их нашел и сукой божится, что нашел, а ему не верят. И правильно делают, что не верят. Я бы тоже не поверил, да ведь сам недавно закопал. Не сотню, даже не тысячу!

И вдруг мне стало холодно от мысли, что их там уже нет, без меня откопали. Потому что любой, кто придет на бугорок, а бродят там многие, всякая шушера, сразу увидит, что землю тут рыли. Это только кажется, что надежно землей присыпано и мусором забросано... У такого, как наши "грибники", глаз наострился на штык в землю-то видеть!

Я даже подскочил, вообразив, что это, мое, завернутое в бумажку, кто-то тырит в тот момент, когда я тут разлеживаюсь, байки дурные о находочках слушаю.

А у меня своя находка, родная, кровная в этот момент пропадает!

Ай да Серый! Ай да ловкач! За бесплатно подарочек кому-то сделал! А сам теперь червонец найти мечтает!

Я натянул штаны, а рубаху в руках потащил, якобы в уборную, которая на дворе стоит. Выскочил на крыльцо, а тут как тут наша Туся дежурит, со сторожем лясы точит... А сторож-то, мы это знаем, хоть инвалид, а Чушке да в милицию все доложит. Ему где-то полчелюсти снесло, так вторая половина, как целая, доносит!

Он за свои нынешние геройства даже паек особый получает! Как же! Не просто пацанов, а опасных, то есть "режимных", сторожит!

Протрусил я мимо него да Туси, в темную уборную забежал. Кожей, пока летел, почувствовал, что ко всему еще и дождик накрапывает. Вернулся, спиной ощущая: криворотый меня глазом проследил, — и опять нырнул под одеяло. Чуть согрелся, стал дальше думать, как со своей оллошкой быть. В окно если удрать, то надо час, а может, два не спать. Да если и выскочу, в темноте-то мне документов не найти.

Всю ночь, даже не просыпаясь, я слушал: дождь шумит, разойдётся за окном. А мне все снилось, что я под этим

дождем ищу свои документы. Одну ямку вырыл, не нашел, стал другую рыть, и третью... и четвертую... Наверное, за ночь я ямок сто вырыл, но так ничего не нашел. А когда проснулся утром, у меня пальцы от копания болят.

## 14

Утром я сбегал и откопал свои документы, они даже не успели отсыреть. Земля, а сохранилось не хуже, чем за моей пазухой. Теперь я засунул пакет в Историю, а Историю запрятал поглубже под рубаху. При себе-то надежней, если шмона нет. Так и поехал в колхоз в машине, ощущая кожей, что документы при мне, около тела!

Ехать недалеко, километров десять. И места знакомые, мы тут несколько раз бывали: поле, овражек и дом с навесом, который зовется "полевым станом".

Пока искали бригадира дядю Федю, который всегда под хмельком, Кукушата разбрелись по полю. Кто попрактичней, побрел искать брюкву или морковь, другие же тут, на жнивье, стали собирать улиток, у себя в "спеце" мы их всех живьем съели, ни одной в округе не осталось.

Я ушел в овражек, присел на траву и достал свой пакет. Снова ощупал его, он был на диво сухой. Или над моим бугорком не капало!

Развернул бумагу, расстелил на земле, а на нее сверху положил документы. Стал их по очереди рассматривать, но начал со сберегательной книжки. Про свое рождение я не хотел, не мог читать. Мы уже один раз смотрели с Машей книжку. Но это все равно, что кучей шарापить из одной миски!

Смотреть, как и ждать, надо в одиночку. Чтобы все принадлежало только тебе: твоим рукам, твоим глазам, твоему желудку! А больше никому! Ни Чушке, ни Маше, ни даже товарищу Сталину!

Хотя нет, товарищу Сталину, если бы сказали, я бы корочку от пайки, не задумываясь, отдал!

Я пощупал, погладил серую плотную бумагу, попробовал на язык, потом понюхал. Вкуса никакого, а пахла она дымом, оттого что лежала в Истории. На обложке был нарисован сверху герб, а ниже крупно надпись: "СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА". Ну, понятно, берегут, чтобы не сперли... Что же у них там, в кассе, своих жуликов, что ли, нет?!

Ниже крупной надписи шли помельче: "ощадна книжка", "омонат дафтарчаси", "сактык кітапшасы", "сактык книжкасы"... А дальше совсем уже не по-нашему. Я так понял: наводят тень на плетень, чтобы показать, что не воруют... Запрятали, мол, так, что не найдешь. В общем, сактык книжкасы! Не лезь, мол, гад, а то по рукам! И по сактыку!

Я открыл страничку, где стояли обозначенные цифрой деньги, ее Маша тогда показала! Но с Машей я ничего и рассмотреть не успел, не только прикинуть про себя, что же эта цифра на самом деле означает.

Я стал внимательно изучать эту страницу. Там было написано: "приход", "расход", "остаток" и "подписи".

Никаких "приходов" и "расходов" в книжке не было, и "остатка" тоже не оставалось, а подпись стояла одна, и та закорючка. Вот тебе и "сактык"! Доказывай потом, что деньги им отдавал! Фигу докажешь! Сактык тебе, скажут, моржовый, а не деньги!

Цифра тоже была одна, ее написали от руки чернилами: единичка, потом нули. Единичка-то одна, а нулей много. Целых пять штук.

Надо бы вслух произнести цифру, но у меня язык увяз, не поворачивается, уж очень она была ненормальная. Вот когда в школе в задачке пишешь, то она кажется нормальной, а здесь нет. Стоит представить, что это не из задачки, и обозначаются не тонны стали, или, там, угля, добытые стахановским трудом, а рубли, которые якобы реально существуют, — становится не по себе. Но, правда, я не верил, что эти рубли на самом деле есть. Для кого-то, может, и есть, а для кого и нет. У меня лично таких денег быть не может. У меня могут быть одни нули... Без палочки...

Пять нулей, вот что тут мое!

В это время нас позвали. Бригадир дядя Федя, коротконогий, сегодня еще не пьяный, в резиновых сапогах и длинном брезентовом плаще и в картузе, с кнутом в руках стал показывать, что нам надо сделать.

Он ткнул кнутом в поле:

— Дергайте бурак, а норма — вон, до того куста!

В поле, метрах в ста от нас стоял единственный куст орешника.

Бригадир сел на телегу и уехал, а Кукушата выдернули несколько свеколин и стали жрать. Впрочем, некоторые уже успели набить свеклой брюхо, и морды и руки у них были красного цвета.



Мотя посмотрел вслед бригадиру, который "конечно, хороший", потом на небо, и сказал:

— Далеко куст-то вырос...

— Далеко, — согласился Бесик и красноречиво посмотрел на Корешка. — Ведь далеко? А бригадир-то хороший!

— Не близко, — подтвердил, шмыгнув носом, Корешок и утер нос рукавом. — А бригадир и правда хороший.

Втроем они сходили за лопатами, что лежали под навесом, и направились в сторону куста. Через полчаса куст был вырыт и аккуратно перенесен на край поля, где начиналась свекла.

— Поздравляю с выполнением нормы, — произнес Мотя. — А бригадир-то хороший!

— Ура бригадиру! — крикнули Кукушата и разбежались промышлять.

Лишь Хвостик не отходил от меня ни на шаг, да Мотя, всегда неторопливый, обстоятельный, окликнул на ходу:

— Ты не заболел, Серый?

— А что? — я почему-то испугался.

— Вид у тебя...

— Какой... у меня вид?

— Ну... будто тебя взяли менты.

— Документы? — я машинально потрогал за пазухой. Мне почему-то показалось, что Мотя сказал так: "Будто у тебя взяли документы!"

— Так у тебя документы? — спросил сразу он.

Тут и Корешок с Бесиком подошли, вытирая от свеклы губы и сплевывая на землю жирную грязь. Они тоже стали слушать. А Хвостик с ходу подхватил:

— Менты — документы! Менты — документы!

И правда, в этом сочетании слов была какая-то неуловимая связь. А еще я почему-то подумал, что Хвостик тут в колхозе, среди поля, похож на молодого кабыздоха, выпущенного на свободу. Бегает, встает на четвереньки, как восторженный щен, и все нюхает, разве что не лает. Так ему тут вольготно без режима! Ну, и нам, само собой. И без всяких документов тут свободно.

И вдруг я решил, что без документов мне будет лучше. Я полез за пазуху и достал сверток. Не тяжелый он, а вот стал я замечать, что давит он на грудь и мешает дышать. Мне даже почудилось, что он разбух от своих собственных нулей и стал толще, чем моя родная История.

Я развернул, не торопясь, бумагу, извлек документы и положил их на землю. А Кукушата стояли, смотрели.

— Читайте... Завидуйте... — сказал я стихами Владимира Маяковского, которые мы изучали в школе, про какую-то красного цвета паспортину, и пошел прочь. "Читайте, завидуйте, я гражданин..." И чего поэт выставлялся... Я вот тоже гражданин... И ни хрена... Из штанин... И вовсе не из штанин, а из-за пазухи, в штанинах-то после шмона фиг что останется!

...Глупости всякие в голову лезли.

Я оглянулся через несколько шагов и увидел, что стоят Кукушата, вперившись глазами в бумажки, которые я положил около их ног, а взять в руки-то боятся. Может, потому и боятся, что никогда не держали в руках настоящих документов! Их документ — корзина!

— Читайте! Читайте! — добавил я, сам не знаю почему, угрожающе. И подумалось: будете знать, из каких корзинок дети берутся! Дети... Которые враги... Которые... Которого... В общем, народа...

По овражку, заросшему мелкими кустиками ивняка, дотопал я до ручья, пересек его по гнилому скользкому дереву, миновав кочкарник и болотце, вышел к сосновому бору.

Здесь было сухо и тепло, как в деревенской избе.

Я лег на мягкую хвойную подстилку и закрыл глаза.

Сомкнутому с остальными, из "спеца", не только с Кукушатами, как сомкнуты звенья единой цепи, невозможно вычленишь себя и остаться одному, даже на короткое время. Но сейчас я был один.

Я ведь не крикнул Кукушатам, что мы дети всяких врагов. Хотя из меня прямо-таки рвалось. Но одно дело услышать от Маши, а другое самому произнести. Да и что чудно-то: когда Маша мне это толковала, я не принимал на свой счет. Будто про кого-то, а не про меня шла речь. Как в кино: там кругом, только потерей бдительность, шпион или диверсант, и все норовят что-то поджечь, да скорей украсть изобретение и продать его фашистам! А мы-то, если посудить, хоть и режимные, но советские, а значит, мы свои, против фашистов боремся под руководством нашего вождя и учителя товарища Сталина.

А теперь выходит, я вовсе и не борюсь с врагами, а сам враг, потому что сын врага! И Кукушата, как и остальные из "спеца", враги, потому что они дети неизвестных никому врагов, про которых мне вдалбливала моя Маша.

Я еще подумал, что если есть дети врагов, то должны быть и жены, и племянники, и двоюродные сестры врагов,

а может быть, и отцы, и матери врагов. Всего этого я не смог представить. Ведь известно же, что люди, что кругом живут, кому-нибудь да кем-нибудь приходится. И если бы у меня на самом деле была бы тетка, а у нее дети, то эти дети как двоюродные мне сестры и братья стали бы врагами лишь потому, что мой отец тоже был врагом. А если бы у них, когда они подрастут, появились дети, то и они тоже должны быть врагами, и так без конца. И выходило, что сплошь все, кто бы нам ни встретился, а может, вообще все в Советском Союзе — одни враги! Разве так может быть?

С такой чехардой в голове я и заснул. Сказалась беспокойная ночь, когда крутился я из-за документов, которые во сне копал. Но вот свалил свою ношу на Мотю, на других Кукушат, и сразу полегчало. Теперь-то я понял, почему люди говорят: "Покайся, и тебе полегчает". Это, значит, я каялся, хотя и не понимал, в чем именно. Может, в том, что я враг? Но хоть и враг, сын врага, но выпался вполне как честный человек, и к вечеру, вовсе успокоившись, я вернулся на полевой стан. Меня тут ждали.

## 15

— Значит, ты Егоров? — спросил Мотя.

Кукушата, сгрудившись, смотрели на меня. Даже Хвостик не бросился навстречу, а испуганно выглядывал из-за чужих спин.

"А ведь, и правда как чужие", — подумалось вдруг.

Вспомнились слова Маши: "Ну какие они тебе свои... Они тебе не родня! Разве до тебя еще не дошло?"

А кто тогда свои? Маша? Нет, Маша еще не своя. И уж тем более неведомый мне Антон Петрович, хоть он и оставил мне деньги. А может, я теперь вообще без своих остался?

— Значит, Егоров? — повторил Корешок вслед за Мотей, но строже. Если он молчит, значит, говорит устами Моти, а если повторяет за ним, то слова Моти приобретают более суровый смысл.

— Может, и Егоров, — сказал я. — И что?

— А мы тогда кто? — выкрикнул Бесик и сделал к мне шаг, будто собирался со мной драться на кулачках.

— Откуда мне знать?

— Но мы не Кукушкины? Да? Не Кукушкины?

— Чакай! Чакай! — миролюбиво произнес Ангел, вступая за меня. — Серый-то при чем?

— А ты... Если Кукушкин, а не какой-нибудь Егоров, — огрызнулся Бесик, поворачиваясь к Ангелу, — то говори, как все! А не чавкай! Чего ты сбиваешь своим чавканьем!

Ангел пожал плечами и тихо улыбнулся.

— Это не я... Я хотел лишь сказать "подожди", а получилось "чакай"... Но почему, скажи, Серый должен знать, Кукушкины мы с тобой или нет? Он и про себя толком ничего не знает... Потому и принес документы к нам... Правда, Серый?

— А почему к нам? Зачем нам документы?

— Вот я и говорю! — воскликнул Корешок. — Зачем тетка принесла эти документы? Без них жили, без них проживем!

— Тетка-то хорошая, — вздохнул Мотя.

— А наговняла, как плохая! — наступал Бесик.

— Она деньги принесла, что отец оставил.

— Значит, отец виноват!

— Виноват, что деньги оставил... Ну, ты даешь!

— А может, он и не отец вовсе!

— А кто?

— Сказано же: враг народов... Наворовал и ту-ту!

— А много он оставил?

Все испытующе посмотрели на меня.

А у меня язык не поворачивался назвать им сумму.

— Ну, сколько?

— Там написано, — сказал я.

Открыли книжку, и все Кукушата разом уставились на цифру, проставленную чернилами в верхнем левом углу. Но с ними случилось то же, что раньше со мной: сразу это понять было нельзя. Все разглядывали палочку с нулями и молча сопели.

— Серый! Серый! — крикнул Хвостик, продираясь ко мне. — А мне покажешь? Я тоже хочу видеть!

Я взял книжку и сунул ее Хвостик.

— Сколько здесь? — спросил невинно. Но я знал, что делаю. Хвостик-то ничего не стоило это произнести. И все уставились на Хвостика, ожидая.

— Сто, — сказал он сразу.

— Сто рублей?

— Ого! Гуляма! — воскликнул Ангел.

— Гуляем! — передразнил его Бесик.

— Десять пирожков с картошкой! — ахнул Сверчок.

— А я бы мешок махры купил, — мечтательно произнес Шахтер. — Во накурился бы... Из задницы бы дым пошел!

— А я бы калоши купил, — вздохнул Корешок.

А Сандра промычала протяжной обычного: она тоже знала, куда истратить такие деньги.

Один Мотя не восторгался. Я это сразу заметил. Он раньше других догадался, что на самом деле означает эта цифра. А догадавшись, уже не суетился и не мечтал. Переживать можно из-за червонца, скажем, или сотни. А когда денег столько, что невозможно вслух произнести, то и волноваться уже незачем. Это все равно, что кому-то из Кукушат подарили бы для утоления голода элеватор с хлебом! А на хрена ему элеватор: как нищему дворец! Ему кусман хлеба дай, он будет счастлив, а уж предел мечтаний — бухарик!

Мотя поглядел на Хвостика, снисходительно поправил:

— Хвостик! Ты у нас известный грамотей! Но от цифры ты оставил один хвостик... Тут вовсе не сто рублей... Правда, Серый?

Оттого, что Мотя назвал меня моим привычным именем, стало не так тяжело.

— Правда, — ответил я и вздохнул.

— А сколько? — настаивал Корешок. — Двести! А может, целых триста!!! Нет, триста пятьдесят!!!

Мотя помотал головой.

— Нет, нет, — и посмотрел на меня выжидающе. И все посмотрели. А Хвостик привстал на цыпочки, заглядывая ко мне в рот, будто мог увидеть цифру, которая оттуда вылетит.

Я знал, что от меня ждут, но не мог себя заставить произнести вслух эту цифру. Не мог, и все. Получалось бы, что верю в нее. А я в нее не верил.

Мотя, странно усмехаясь, ответил за меня:

— Ладно уж, скажу. Там написано всего-то... — он опять посмотрел на меня, а потом обвел глазами напряженные лица Кукушат. — Всего-то... Сто тыщ.

Он назвал "сто тыщ", нисколько не затрудняясь. И я сразу же подумал, что он тоже не верит в эту сумасшедшую цифру и смотрит на нее отвлеченно, будто разговор идет о задачке на уроке.

— Это сколько? Серый? — выкрикнул Хвостик. — Это больше ста рублей?

Но все остальные молчали. Уже не спрашивали. Вопрос повис в воздухе, потому что цифру назвал не я, которому

могли и не поверить. Моте верили всегда. Он не умел врать.

В это время Сверчок, которому попала в руки сберегательная книжка, перелистнул страницы и нашел то, что другие не заметили.

— А вот тут, в конце написано... — сказал он. — "К сведению вкладчика"...

— Давай! Читай! — приказал Бесик. И Сандра после долгого молчания мыкнула требовательно. Она промышляла у фабрики мелочью, больше рубля ей не давали. Но она хотела знать подробности про такие деньги.

Сверчок громко прочел:

— Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность и выдачу по первому требованию вкладчика...

Мотя взял у Сверчка книжку и тоже стал читать. Оторвался, сказал:

— Тут написано, что арестовать могут!

— Кого? — закричали Кукушата в несколько голосов. — Серого? Арестовать?

Все посмотрели на меня с уважением. И правда, за такие деньги нельзя не сажать, это и дураку понятно. Спроси кого хошь, он скажет: у честного гражданина столько денег не бывает. А если есть, значит, награбил! Поинтересуются ведь: "Откуда грóши, человек хороший". А ты ни "бе" ни "ме"! Антон Петрович какой-то подарил... Это чтой-то, господа-товарищи, не верится, что такие грóши у нас дарят задарма! А тащите-ка сюда самого Антона Петровича, пусть и он ответит, как у него, врага народов, такая несоветская цифра завелась, что люди выговорить не в состоянии! "Так его взяли", — скажут. "Ага, взяли, значит, не напрасно, у нас напрасно не берут". А теперь по стопам папочки и сынок пошел... Тоже огрести советское общественное богатство ни за что ни про что мечтает! Так мы "гарантируем" ему вполне "тайно" десять лет!

За разговорами не заметили, что быстрые сумерки перешли в ночь. Все стояли вокруг Моти и не торопились в дом, где на полу была разложена солома и огромный брезент, которым мы укрывались. А для тепла мы на ночь влезали еще в мешки из-под картофеля.

— Тебе, Серый, надо ехать в Москву, — так мне сказали. — Лучше завтра. На свекле и без тебя управимся.

Тут Сандра громко замычала, и все подумали, с ней что-то происходит. Она разволновалась, слышно прямо было, как ее трясет.

— Чего она? — спросил Мотя.

— Хочет в Москву, — пояснил Корешок. — К товарищу Сталину. Она ведь к нему и раньше хотела!

— Ну, пусть и она едет! — решил Мотя. — Сталина увидит. Он в Кремле живет, это недалеко от вокзала.

## 16

Станция наша зовется Голятино. Кратко так — Голяки. Ну и мы, естественно, голяки. А прямо за линией напротив вокзала стоят рядом шесть домов-бараков, к станции они повернуты торцом. Вот на этих торцах, раньше, наверное, белых, а сейчас серых от копоти, с каких-то довоенных пор намалеваны зеленой несмываемой краской слова известной песни: "МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!". На каждом бараке по слову. На первом бараке "МЫ", на втором — "РОЖДЕНЫ", на третьем — "ЧТОБ" и так далее до слова "БЫЛЬЮ".

Жизнь в бараках известно какая, а с песней, так вроде легче. А те, кто живет тут, тоже приспособились к песне, они по этим словам между собой бараки различают. Кто-нибудь спросит: "Вы постное масло где отоваривали?" А ему ответят: "В "Сказке" выбросили, да уже кончилось... А вот в "Былью" по мясным талонам селедку дают!"

Можно услышать и такое: "Вы, кажется, проживаете в "Рождены"?" "Нет, мы оттуда переехали, мы снимаем угол в "Мы", а наши старики прописаны в "Чтобе".

В "Былью", между прочим, и мы были, там расположена родимая голятинская милиция. Чтоб она когда-нибудь сгорела! Не их, барак жалко! Не раз приходилось у них гостить. А рядом, в "Сказке", находятся "Похоронное бюро", "загс", "Сберегательная касса", к сожалению, не та, что нам нужна, и другие поселковые заведения.

Сюда мы и пришли после двух часов быстрой ходьбы по пыльной проселочной дороге. Было еще темно. А выходили из стана при звездах.

Чтобы не волновать ментов и самим не волноваться, встали между бараками "Сделать" и "Былью", прикрываясь от посторонних взглядов дохлыми кустиками акации.

Решив согреться, Сверчок затеял песню. Известно, что когда поешь и под песню дрыгаешься, немного теплей.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,  
Преодолеть пространство и простор;  
Нам разум дал стальные руки — крылья,  
А вместо сердца — пламенный мотор!

Припев Сверчок спел иначе:

Все выше, и выше на крыше,  
Мы будем с тобой выпивать,  
А если поднимется шухер,  
Мы будем бутылки кидать

"Если шухер поднимется, мы будем удирать!" — вот как надо петь. Песня-то вообще про нас. Еще вчера поездка в Москву казалась сказкой и вот превращается в быль. Если, конечно, легавые не пресекут да не снимут с поезда в самый последний момент. Мы знаем: вовсе нам не даны "стальные руки-крылья", и мотора нет, который бы заманил сердце! Руки, пальцы на руках у нас скрючились от холода, и мы согревали их, поднося ко рту, а что касается сердец, никаких не железных, они в тот миг, когда мы решили "преодолеть пространство и простор" аж до самой Москвы, где никто из нас не бывал, стучали изо всех сил, бились так, что нам казалось, слышит весь поселок!

Ангел, засевший вблизи насыпи, в траве, негромко прокуковал, что означало — поезд на подходе.

Мы тоже увидели три огненных пятна, надвигающихся из серого сумрака. Никакой команды не было. Мы разом бросились наперерез, оглядываясь на Сандру и на Хвостика, чтобы, не дай Бог, не споткнулись да не попали ногой в стрелку! Но успели проскочить и уж спиной мы почувствовали, как, злобно шипя и обдавая нас паром, сотрясая землю, прогудел за нами паровоз, и от него, как от шипящего котла, пахнуло жаром, горячим металлом, перегретым маслом и угольной гарью.

Но все эти громы и запахи сдуло вагонным ветром, поднялась пыль, и поезд встал. Мимо нас побежали люди.

Разбившись на несколько групп, чтобы не привлекать внимание ментов, мы оглядели вагоны, выбирая себе проводницу. Мы знали, какая она должна быть. У третьего вагона увидели: не молодая и не старая, в железнодорожной шинели с погонами, но в платке и валенках, она встала, загоразживая собой дверь и оглядывая сонными глазами станцию.

Распределились мы так: я и Сандра, то есть отъезжающие, чуть в стороне, недалеко, чтобы в несколько прыжков оказаться у двери, Мотя посередке у окна ва-



гона, рядом Корешок. А Сверчок и Ангел в разных концах от нас, для прикрытия и для шухера! Все было продумано еще вчера.

А к проводнице не спеша направился Шахтер, держа за руку Хвостика. Мы увидели, как он приблизился к ней и что-то спросил; она нехотя ответила. Он достал независимо пачку папирос "Беломор", закурил и ей предложил, ясно, от такого щедрого подарка она не откажется. Сейчас Шахтер скажет: "А мы бату встречаем, чего-то он не выходит, никак заснул..." "Да я объявляла!" — удивится проводница. "Ну, — усмехнется Шахтер, — а он-то у нас глухой! Хоть бомбу над ухом взрывай!"

— Ох, Господи, — донеслось до нас, — где же его искать-то!

Проводница оказалась и впрямь жалостливая, такую и выбирали!

— Вот, братишка покажет! — и Шахтер ткнул в спину Хвостика. — А я тут покараулю! Идите, не беспокойтесь!

— Ну да! Ну да! — и, подхватившись, проводница с Хвостиком скрылась в вагоне.

Шахтер сделал нам знак. Мы рванули и следом за проводницей влезли в вагон, прямо в гущу сидящих и лежащих пассажиров. Тут-то уж нас не достанешь!

Вжились, притерлись, стали сразу своими. Сандра нырнула на третью полку, отодвигая чужие мешки. И было слышно, как проводница окликает пропавшего Хвостика, который по нашему замыслу должен был для протяжки времени скрыться с ее глаз, а уж потом выскочить к Моте в окошко!

Мимо снова пролетела проводница, торопясь к выходу, но без Хвостика, и тут же поезд дернулся и медленно ползл, стукнули колеса. Я глянул в окно, стараясь увидеть кого-то из наших, хотя бы Шахтера, но не увидел. Тогда я посмотрел на Сандру; она лежала неподвижно, почти не дыша, только было заметно, как дрожит от напряжения ее щека. Небось, вспомнила, как в таком же вагоне, от такой же полки ее с криком отдирали и тащили на выход.

Менты в таких случаях не церемонятся, заламывают назад руки и гнут позвонки, чтобы стирал носом пыль с пола. Такое ли забыть! И ждет, как раздастся у дверей: "Ату их! Бандюки проникли в вагон! Девка с парнем! Шуруйте, ищите, а то порежут всех!"

Но поезд набирал скорость, и люди, спящие на вещах, какие-то бабка со старичком, среди лета в тулупчиках,

и военный с вещмешком, и женщина с двумя детишками, втроем на одной полке, и еще кто-то, зарытый в ватник, в тряпье, мирно храпящие, привели нас в чувство и внушили уверенность, что мы едем со всеми вместе. И никто нас не ищет.

Я приподнялся на мыски и тронул Сандру за руку, что означало: "Не дрейфы! Мы едем! Все нормально!"

Она вздрогнула от моего прикосновения, открыла глаза и попыталась улыбнуться. Но губы дрогнули, получилась гримаса. Тогда я полез на полку, втиснувшись рядом с чьим-то сундуком у ее ног. Я сидел и смотрел на нее, и видел, как она плачет, беззвучно, одними губами, даже слез не видать. Тоже наша "спецовская" школа — плакать втихаря... Но я ее не утешал: пусть выплачется, будет легче. Если бы нас схватили, она бы точно не плакала, она бы кричала и кусалась. А теперь она плачет от счастья, что все-таки нас не схватили.

## 17

Кто-то потянул меня за штанину. Я дрыгнул ногой, посмотрел вниз: там стоял Хвостик!

Стоял и лыбился, как на картинке Буратино, рот баранкой до ушей, глаза сияют от радости. Я даже ахнул про себя. Но вслух не произнес ни словечка: опасно. Народ расшевеливался, поднимал головы, уже как бы не спал, а додремывал.

Я соскользнул с полки от Сандры и, заталкивая младшего Кукушкина за вещи, прошипел в ухо:

— А ты откуда? Не успел выскочить? Да?

Хвостик радостно закивал. Громким шепотом пересказал, как он спрятался от неповоротливой проводницы под лавку, как она его там шарила, а он сидел не дыша, а когда она побежала к выходу, то поезд уже тронулся, а окно заело и не открывалось. И Мотя за стеклом лишь махнул рукой: мол, езжай, раз так вышло.

— Серый! А Серый! — звенел на ухо комариком Хвостик. — Я с вами буду, да? Я увижу Москву? Да?

Я кивнул и огляделся, мне показалось, что кто-то рядом шевельнулся и приоткрыл глаза.

— Серый! Смотри, что у меня! — он разжал кулак и показал кусок сухаря. Я сделал знак молчать, хотя сухарь, это, конечно, неплохо. Небось, нашел под лавкой.

Беда лишь, что для троих это не еда. Как не еда и свеколка, в кармане у Сандры, которую мы с собой захватили. Вот Сандра проснется, да и вагон перестанет дрыхнуть, мы займемся делом.

— Ешь и помалкивай! — сказал я Хвостикку одними губами. — А лучше, если ты уберешься к себе обратно под лавку! Надо будет, позовем! Хвостик кивнул и исчез. А я на всякий случай прицельно оглядел пассажиров, чтобы на будущее решить, кто тут для нас опасен. Опыт, добытый собственной шкурой, подсказывал, что совсем безопасных людей не бывает. Сейчас вроде бы мирен, спит, а задень нечаянно, враз зубы покажет. Да весь мир, как ни крути, делится на нас, "спецов", и на них, всех остальных. Остальные разные: добрые и злые, энергичные и ленивые, или военные, или доходяги... Но опасаться надо всех! Вот и тут: опасна проводница, она на службе; опасен военный с вещмешком, он сильнее остальных; опасны старички, они пугливы, стерегутся жулья и в каждом его видят! По той же причине опасна и женщина с детишками...

Так оценив обстановку, я забрался обратно к Сандре на полку и стал ждать. Не заметил, как уснул, сказала бессонная ночь перед посадкой, и сразу увидел Москву, множество длинных барakov, выстроенных в ряд, а на них крупными буквами слова: "СТОЛИЦА ПРИВЕТСТВУЕТ КУКУШАТ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ БЕСПРИЗОРНЫЕ!"

На перроне духовой оркестр яростно наяривает "Мурку", множество людей с флажками, с транспарантами, даже с цветами. Нас узнают, кричат "Ура!", бросаются к вагонным дверям, отталкивая друг друга. Но вдруг люди расступаются и откуда-то из-за их спин появляется в хрустящей форме, в сапожках, надраенных до блеска, в новой форменной фуражке Наполеончик. А следом за ним хвостом наши голятовинские: Чушка, Уж, Козел, Туся, Помидор, косорылый сторож и другие.

Я вижу, как сжимается, будто от удара, Хвостик и как отливает кровь на лице Сандры, да и у меня самого сердце куда-то падает, от страха мною овладевают неподвижность и немота. Бежать бы, но никуда не убежишь: сзади нас подпирает проводница, а впереди плотной стеной осаждает толпа.

— Серый! А Серый! — кричит сквозь шум Хвостик, задирая ко мне испуганное лицо. — Смываемся! А то возьмут!

И правда, идут так, будто уже на ходу нас судят, а лица у всех непреклонно-решительные, гневно обвиняющие.

Наполеончик властным движением руки убирает шум. Будто он тут главный, а митинг лично для него устроен.

— Ну, а вы к кому приехали? — спрашивает, оглядывая нас, обшаривая, быстрым профессиональным взглядом сверху вниз.

Хвостик молчит, а Сандра в сильном волнении оборачивается ко мне, ищет защиты; я вижу, как дрожит у нее щека, а глаза наполняются слезами.

Я отвечаю за себя и за Хвостика с Сандрой:

— Мы приехали к товарищу Сталину! Он, между прочим, нас ждет!

— А тут мы за него, — произносит с легкой усмешкой Наполеончик и, сняв фуражку, любуется на околышек и на зеркальный лаковый козырек. Для пущего блеска он дышит на него, вытягивая трубочкой губы, и надраивает суконным рукавом. Потом поднимает на нас всевидящие стального цвета глаза. — Мы тут за товарища Сталина! Разве не понятно, что говорю?

Сандра беспокойно дергается и опять смотрит на меня. Слезы текут по ее лицу и капают с подбородка. Я вижу, как она хочет сказать: "Не соглашайся! Нам нужен товарищ Сталин, а не он! Не он! Он нам вовсе не нужен! Он обязательно наврет!"

— Нам нужен товарищ Сталин! — повторяю я, хотя начинаю понимать, что дело наше проиграно. Еще раньше это поняли встречающие: толпа растаяла, а может, ее убрали или куда засадили.

— А зачем он вам? — интересуется Наполеончик, теперь он рассматривает свои сапоги, начищенные до блеска, сперва один, потом другой. — Товарищ Сталин-то зачем?

— Надо! Надо! — кричит, осмелев, Хвостик, но спиной жметесь на всякий случай ко мне. — А вас я узнал! Вы просто легавый! Да! Да! Да!

— Он меня узнал! — хмыкает удовлетворенно Наполеончик, оборачиваясь к свите, ближе всех стоит Чушка и понимающе лыбится, глядя в землю. — А я такой, что меня нельзя не узнать! Я на картине Герасимова во весь рост изображен, два на три метра. Мы с товарищем Сталиным во время прогулки на Кремлевской стене! Кто не видел, можете в Третьяковке посмотреть! Там одно сукно, ого-го-го, как написано! И сапоги не хуже блестят!

— Серый! Не верь ему! Не верь! Я знаю, там на картине вовсе не он, а товарищ Ворошилов изображен! А его там нет! Нет! — кричит мне Хвостик из последних сил.

— Я и не верю, — говорю я. — Я сам у товарища Сталина спрощу.

— Он спросит! — качает головой Наполеончик и снова оборачивается к Чушке, который ему кивает. — Он спросит! — и вдруг зычно, словно на плацу, кричит: — Я тебе спрошу! Ты за-ч-че-е-м в Москву приехал? К Сталину, гению всех народов, лучшему другу советских милиционеров! А пачпорт у тебя есть? Краснокожая из штанин паспортина? К Сталину в Москву беспачпортных не пускают! Я вас сразу узнал: вы режимные, из "спеца", по вас в Москве Таганка плачет! Пересылка по вас плачет! И все магаданские лагеря!

— Серый! — кричит в отчаянии Хвостик и дергает меня за рубаху. — Он думает, у нас документов нет! А у нас есть документы! Скажи ему: у нас есть, есть!

Я спохватываюсь, торопливо ощупываю грудь. Но пусто под рубахой, потому что самые отъявленные жулики-милиционеры успели у меня все наше богатство в виде Истории и документов стянуть! Оттого и скалятся рожи сытые, московские, что уверены, у нас, "спецовских", ничего своего нет! И документов нет! И Истории своей нет!

Мы родом из корзины!

Я в страхе просыпаюсь, ощущая напоследок, как мой голос вязнет в глухоте окружающих, я пытаюсь кричать, но уже и самого себя не слышу: "Документы! Документы! Документы!"

Зато въяве снизу доносятся голоса, требующие документы. Я смотрю на Сандру, она уже не спит, тревожно прислушивается.

Высовываюсь, но едва-едва, краем глазка и вижу солдат с повязками, они проверяют бумаги у военного с вещмешком, у старичков тоже проверяют, и у женщин с детьми. Потом они задирают головы и торопливо окидывают взглядом полки и нас, торчащих наверху. Конечно, они видят нас, но ничего не спрашивают и уходят. Ясно, это не легавые, и мы их не интересуем.

Я говорю, чтобы успокоить Сандру:

— Видишь, — будто она может знать о моем кошмарном сне с Наполеончиком. — Никаких пачпортов для Москвы и не требуется! Зря пугали!

Но сам торопливо ощупываю рубашку: слава Богу! Книга с документами на месте!

Хвостик появился, как черт из-под печки, лишь только мы с Сандрой слезли сверху. А слезли мы для работы. Никто из пассажиров нам не удивился: ну слезли и слезли, значит, так и должно быть. Мы протолкнулись к середине вагона и встали так, чтобы Хвостик был впереди и все бы его видели. За ним Сандра, а потом я. Обращаясь к вагону, Хвостик звонким голосом объявил:

— Да-ра-гие па-па-ши, ма-ма-ши, се-стры, бра-тья, мо-ряки, летчики и советские боевые бойцы, а также трудовое население, которое в борьбе с проклятым фашистом куёт нашу общую победу над врагом! От имени советских сирот, протерпев-ших от прокля-того Гитлера голод и лишения, примите наш поклон и бедственные слова о помощи, которую мы просим!

Проклятый Гитлер, что же ты наделал,  
Ты всю семью, родню мою убил,  
Родителей угнал моих в неволю  
И младшую сестренку погубил...

После стихов, прочтенных с пафосом, Хвостик набрал полную грудь воздуха и с жаром запел:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой!

Тут уже и я подхватил, и Сандра замычала:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна,  
Идет война народная,  
Священная война.

Люди, только восстав ото сна, оглядывались на нас, некоторые что-то жевали, но было заметно, что они прислушиваются к нам, да и как не прислушаться! Мы и сами знали, что в отличие от других попрошаек, которыми наполнены улицы и поезда, мы не поем жалостливых песенок про упавшего с неба летчика, которому изменила неверная курва-жена, а, прочтя чувствительные стишки про Гитлера, мы берем за горло песней, звучащей часто по радио, вроде бы привычной, но и непривычной... А вся непривычка в нашем исполнении: там ее поет суровый мужской хор, а тут всего два детских беззащитных голоса,

а это для слушателя, как обухом по голове! Я заметил, особенно возбуждались военные, а у них-то самые щедрые подачки! Мы-то наперед знали!

Дальше опять шли стихи, я громко их выкликнул:

Ты слышишь нас, родной товарищ Сталин,  
Отмсти за нас врагу, сирот войны,  
За землю, что поругана врагами,  
Пусть в бой на смерть идут твои сыны...

И мы спели песню, посвященную нашему любимому вождю.

Ордена недаром нам страна вручила,  
Это знает каждый наш боец,  
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов!  
Мы готовы к бою, Сталин, наш отец!

В бой за Родину, в бой за Сталина!  
Боевая честь нам дорога!  
Кони сытые бьют копытами,  
Встретим мы по-сталински врага!

Мы не вертели головами, а были сосредоточены на выступлении и все-таки чутко ощущали, что происходит вокруг. Только проводницу я не сразу заметил, Сандра толкнула меня локтем: смотри, мол, и "эта" пришла! Надо ли оберегаться?

Я успокаивающе кивнул: "Пой, не бойся! Ничего страшного!" Но сам на всякий случай глянул, скосив глаза: проводница слушала, прислонясь к стенке, ничего угрожающего в ее позе и правда не было. Пускай слушает, лишь бы не мешала. Это вначале она могла нас схватить и выставить, а теперь не выставит, пассажиры не дадут! А нищих да сирот по вагонам вообще не принято обижать, особенно, если они песни для людей поют.

А мы тебя ждем, боец, после боя,  
Ждем мамаша твоя, и невеста, и отец,  
Они тебя обнимут и к сердцу прижмут при встрече,  
Когда с победой вернешься, герой-боец!

После таких торжественных стихов, обозначающих нашу тыловую верность фронтовикам, мы спели самую знаменитую и самую любимую песню: "На позиции девушка провожала бойца" — и завершили концерт.

Но мы не бросились тотчас собирать дань, а самую малость выждали, чтобы слушатели пришли в себя, оценив исполнение, и прикинули свои возможности. Ну то есть

пошарили по мешкам, чего не жалко, отдать! Но ждали мы недолго. Нельзя, чтобы о нас забыли или остыли от впечатления. Так втроем, с Хвостиком впереди, мы знали, что ему дадут больше, мы двинулись по вагону, медленно поворачиваясь во все стороны, чтобы видеть каждого и никого не пропустить. От трех пар глаз нешибко-то отвернешься! А тому, кто нам подавал, мы громко, так, чтобы другие слышали, говорили: "Спасибо, дорогой дядя солдат (как вариант: "...дорогая тетя колхозница!") от имени всех советских сирот Советского Союза, несчастных жертв закланного Гитлера!" А если отваливали горбушку хлеба, отломок жмыха или чего-то еще, того богаче, мы прибавляли с поклоном: "Здоровья всей вашей родне и вашим детям, пусть им повезет больше, чем нам!"

Вагон сыпал на редкость щедро, в наших Голяках так не подают. А может, мы тут были сегодня первые. Летели рубли и червонцы, яички, картофелины, кусочки сухарей, несколько соленых огурцов, три крупинки сахарина в бумажке и две крошечные карамельки, облепленные табачной крошкой.

Все пассажиры валили Хвостика, а мы тут же у него забирали, подхватывая и ссыпая Сандре в подол, чтобы освободить ладошки Хвостика для новых даров!

Какая-то старушка отдала бутылку молока и торопливо перекрестила нас дрожащей рукой. А солдатик, молодой, сразу видно, не воевавший, растерянно шарил в своем фанерном чемоданчике, не находя ничего, и вдруг вытащил лезвие бритвы. Мы взяли бритву, такие вещи на улице не валяются!

Конечно, мы не могли не понимать, что на людей действовали не только наши песни, но и наши лица, и одежда, и поведение. И тревожа и возбуждая жалость у взрослых, мы сами, конечно, не чувствовали себя несчастными. И никого других мы не жалели. Я бы сказал так, мы были даже жестоки по отношению к этим людям, ибо лучше понимали, что мы с ними делаем, и мы точно рассчитывали наперед, за какие там ниточки внутри надо их подергать побольней, чтобы вызвать слезы, а значит, побольше получить!

Пройдя вагон, мы выскочили в тамбур и стали осматривать свое, честно заработанное добро, тут же решая на ходу, что поскорей сожрать, а что оставить на потом или даже загнать. Наверное, мы разом подумали: тут для всех бы Кукушат хватило! Хвостик прыгал вокруг подола, заглядывая в него восторженно, и повторял:



— Серый! А Серый! Это все можно брать, да?

— По очереди, — сказал я строго.

Но очередь была именно его, Хвостика, пусть возьмет, что захочется, он заработал свой кусок. Я даже знал, чего ему захочется: карамельки в табачных крошках! Где это он еще получит!

Тут за спиной снова возникла проводница. Я кожей почувствовал ее и сразу оглянулся. А Сандра прижала к себе подол. И Хвостик ошетинился. Мы, конечно, решили, что она пришла получить свою долю, и уже торопливо в уме прикидывали, какой ценой мы от нее откупимся! Но проводница ничего не потребовала.

Она смотрела на нас так же, как там, в вагоне, и какой-то просительный огонек светился в ее глазах.

— Чего скукожились! — произнесла, глядя на Сандру. — Не кусаюсь! Пошли со мной! — и повторила: — Пошли, пошли! В моем доме и поедите, а я еще чаю дам.

Она привела в закуток в конце вагона, отгороженный от всех куском брезента, тут, на нижней полке, нас рассадила. Достала чайник, огромный, жестяной, и кружки тоже железные, налила всем, а себе из флакончика чего-то вонючего. Мы ели, трескали за обе щеки и пили чай, а проводница молча на нас смотрела, лишь подливала себе из флакончика. А когда мы прибрали и то, что сперва хотели съесть, и то, что на опосля оставили, проводница заговорила.

— Ну вот, — произнесла облегченно, будто сама насытилась. — И ладно. И ладно... А зовут меня Дуня... Тетя Дуся, значит. А ведь я смекнула тогда, что вы меня одурачили. Насчет глухого батьки-то! Провели старуху... — и засмеялась, прикрывая рот ладонью, — там не было зубов. Потом обратилась к Сандре: — А ты чего, девка, все молчишь! Язык проглотила?

— Так она, тетя Дусь, без языка! — сказал Хвостик.

— Немая, что ли? А я гляжу... — и тетя Дуся покачала головой. — Зато ты у нас за двоих голосистый... Тебя кто учил петь? А?

Я посмотрел на Хвостика, испугавшись, что он сейчас брякнет про "спец". Но Хвостик ответил, как надо:

— Жизнь научила!

— Вот-вот, — согласилась она. — И жизнь, и война.

С этими словами полезла под лавку, достала полотняный мешочек, а из него краюху хлеба. Каждому из нас отломил по куску, а Сандре самый большой дала, видать, та ей понравилась. И чай налила, а себе снова из флакончика.

— А я езжу, — сказала, выпив и нюхнув корочку. — Муж умер, детей на фронте поубивало. Младшенькому восемнадцатый шел... Так чего я одна в холодной избе! Пошла баба колесить по стране, вот и езжу! А песни страсть как люблю. И петь тоже! Меня до войны на всесоюзную сельскую выставку в Москву с песнями-то посылали! — тетя Дуся посмотрела на флакончик, даже руку протянула, но оставила. И вдруг запела протяжно и тоненько, прям как по радио:

В понедельник я банюшку топила,  
А во вторник я в банюшку ходила,  
Среду в угаре пролежала,  
А в четверг я головушку чесала,  
Пятница день не прядущий,  
Не прядут, не ткут, не мотают,  
А в субботу родных вспоминают...  
Ох, ты милый мой, Амеля,  
Так проходит с тобой вся неделя!

Сандра слушала напряженно, я видел, что она разволновалась. А Хвостик даже в рот тете Дусе заглядывал, так ему интересно было ее пение.

А она оборвала и сказала Сандре:

— А то поехали, девонька, вместе... По Расее-то. Ты уж больно мне пришлось. Поехали, говорю, а?

— А я! — спросил Хвостик. — А я поеду?

— И ты... Чево не поехать! Будете со мной работать!

— Мы не можем, — сказал я за всех. — Нам в Москву сперва надо.

— В Москву, разгонять тоску! Чево там забыли? — удивилась тетя Дуся.

— К товарищу Сталину! — крикнул Хвостик.

— Ишь! — произнесла недоверчиво тетя Дуся. — Прям к ему?

— К нему, — подтвердил я. А Сандра замычала.

— У нас документ есть! Настоящий! — заявил еще Хвостик.

Тетя Дуся покачала головой.

— Какой же у вас документ?

Напрасно я моргал Хвостик, он не замечал ничего. Зато заметила тетя Дуся.

— Да ты не жмурься, — сказала мне ласково. — Я тебе не милиция, чтобы документы спрашивать. Сама по справке с колхозу-то прибыла, как в первый раз в городе прибывалась. Нешто я способна обидеть-то... Или пужать...

— Серый! — попросил Хвостик. — Покажи! Покажи!

Сандра кивнула: ей можно показать.

Я полез за пазуху, достал книгу, а из нее сверток. Развернул, думал, тетя Дуся станет сберегательную книжку смотреть. Я даже специально книжку к ней пододвинул, чтобы она не думала, что мы уж совсем нищие. А мы-то не нищие! Но тетя Дуся заглянула в книжку и отодвинула без интереса. А вот свидетельство о рождении взяла и внимательно прочитала, шевеля губами.

— Егоров? Сергей Антонович — ты? А где они сами — отец, мать?

— Умерли.

— И мать?

— Да.

— Кто сказал?

— Тетка... — ответил я. — Ну, Маша.

— Врет, — вдруг сердито буркнула тетя Дуся. И отвернулась.

— Почему? — спросил я. А что "почему", я сам не знал.

— Молодая ведь, — пояснила тетя Дуся. — А на фронте, небось, не была. Чего ей умирать-то? Живет...

— Где живет? — спросил Хвостик, вытаращив глаза, и чуть флакончик на пол не опрокинул. Едва тетя Дуся успела ухватить. А ухватив, тут же приложилась.

Вытерла рот ладонью, произнесла:

— А где я живу? Между небом и землей!

Тут Сандра что-то промычала. Даже я не понял, что она спрашивает. Я-то не понял, а тетя Дуся вполне ее поняла.

— А ты, девка, не удивляйся, — сказала как-то просто. — Сама не знаю как, но я в этой бутылочке все вижу. Только адреса не могу назвать. А может, вам Сталин скажет. Он там, наверху... А мы внизу... — и тут же, подперев подбородок рукой, затащила грустно-грустно:

В чистом небе месяц светит,  
Я с парнишкою брожу.  
Мать на улице ругает,  
Что я поздно прихожу...

Тетя Дуся спела и заплакала.

И Сандра тоже с ней вместе начала плакать. Они обнялись, и тетя Дуся стала ей рассказывать, как до войны жили... И как в избе у них и сахар, и даже мука была... Не всегда, до этого наголодались в волюшку, когда колхоз организовывали. А потом-то ничего, ей даже от правления

за ударную работу бюст товарища Сталина из белого гипса подарили! А к нему в придачу штаны ватные. И послали в Москву, на "Выставку", вот где рай-то был. Поселили их восемь человек, все бабы из разных деревень, в каменном доме, с теплой уборной, и даже кормили трижды в день в столовой! Однажды привезли ее на радио, посадили в какой-то странной комнате за стеклом с глухой дверью и велели петь! Поперву она стеснялась, но мужик от радио попался толковый, все как надо объяснил, а сам за стеклом стоял и рукой махал... Вот как я артисткой-то стала! А до того была дура дурой, ничего в Москве не понимала... И сразу в артистки! Если бы не война...

## 19

Тетя Дуся как-то вдруг сникла и заснула. Но спала недолго, а к Москве вообще пришла в себя, затормошилась, стала опять уговаривать Сандру остаться с ней. Но мы сказали, что нам обязательно надо попасть к товарищу Сталину.

Тетя Дуся поинтересовалась, когда же мы будем возвращаться, и велела отыскать ее в третьем вагоне, она через два дня ровно будет стоять тут же на вокзальчике. Ее нетрудно найти.

Она просмотрела мои бумаги и разделила их: сберегательную книжку велела спрятать под подкладку ватника, а остальное: документы вместе с собранными по вагону деньгами, их оказалось пятьдесят три рубля, завернула в бумагу и сунула мне в карман, а карман зашила на булавку: "Держи крепче, тут жуликов хватает!"

А когда уж совсем подъезжали к Москве и поезд встал, она со вздохом спросила:

— Вы хоть знаете, куда идти-то? Москва — во! Как деревня боль-ша-я!

— Нам в Кремль надо, — ответил я. — А до Кремля, говорят, тут недалеко.

— Недалеко! — передразнила она. — А в какую сторону — недалеко?

Я промолчал. Я уже знал: выйду в Москве на площадь и сразу все увижу. Раз Кремль, значит, самый видный!

Пассажиры, которым мы пели, ушли, а другие уже толпились и хотели скорей попасть в вагон, тетя Дуся их отгоняла, придерживая дверь рукой.

— Я сама-то не знаю... Где их Кремль... Но, думаю, что надо идти, как люди идут... Как все, так и вы за ними! К нему, к Сталину, небось, много ездют, всем надо ведь о чем-то просить. А кого еще просить! Он наш Бог и заступник! Я ему перед бюстом-то свечку ставила в избе!

Мы попрощались с тетей Дусей. Она заперла дверь и еще дошла до конца поезда и сунула Сандре в руки холщовый мешочек с хлебом... Потом она обняла Сандру: "Ох, девонька... Ох, девонька..." И все шмыгала носом. Погладила меня и Хвостика по голове и сразу ушла.

Вслед за толпой, за мешочниками и военными мы спустились по ступенькам в город и оказались на площади. Такая это была площадь, что мы опупели от грохота. Гудели автомобили, кричали люди, а еще звенели трамваи. Мы их узнали по кино. И дома мы тоже по кино узнали, высокие, каменные и в каждом, наверное, тысяча окон. Только окна закрыты и не видно, чтобы кто-то торчал наружу.

От всей этой круговерти закружилась голова. Сандра побледнела и оглянулась на меня. Но я не мог ее утешить, я тоже растерялся. А Хвостик закрыл глаза и уткнулся мне головой в живот. Так мы и стояли на площади, как приезжие дурачки, не зная куда идти. Люди двигались, обходя нас, и если бы мы, как советовала тетя Дуся, решили последовать за ними, то нам пришлось бы идти в разные стороны, и влево, и вправо, и даже куда-то под землю.

Я задрал голову вверх, но Кремля не увидел и звезд его тоже не увидел. Хоть у нас в книжке писали, что они видны изо всех краев и даже из всех стран.

Тогда я решился. Я приказал моим стоять, как вкопанным, и не двигаться, даже если будут из всех сил толкать. Оглядываясь на каждом шагу, чтобы их не потерять и самому не потеряться, я продвинулся самую малость и заметил бородатого дворника с метлой. Он стоял, опершись на эту метлу и спокойно курил. Я обошел его со всех сторон и под бороду заглянул. И оказавшись напротив него, я спросил как можно вежливее:

— Дя-е-нька! В Кремль как пройти?

Дворник возвышался, как памятник какому-нибудь знаменитому дворнику, и даже от моих слов не колыхнулся. И метла его тоже не колыхнулась.

Я подумал, что, может быть, он глухой, и крикнул погромче:

— Дя-е-нька! В Кремль... Как пр-о-т-и?!

Дворник ожил. Но ожил не для меня, а для себя. Он поднял голову, оглядел вприщур площадь, швырнул на-

земь окурков и тут же замел его метлой. А когда я повернулся, поняв, что не докричусь, звук, небось, не доходит через его бороду, он спокойно буркнул мне в спину:

— На метро туды... В Охотный ряд... Понял? — и вдруг рассердившись, крикнул: — Понаехали, думают Москва им резиновая! И ходють, и ходють, и мусарют... Пряма, работатать не дают! — и с этими словами замахнулся метлой и пустил в меня пылью.

Я отскочил, чтобы не попасть под метлу, и торопливо вернулс к своим, они издали за мной наблюдали.

Хвостик бросилс мне навстречу:

— Серый! Ты его спросил, да? Где Кремль?

— Спросил, — ответил я. — На метро надо ехать.

— А туда разве пускают?

Сандра промычала, качая головой. Она, как и Хвостик, сомневалась, что в метро пускают. Туда, небось, по пачпортам каким или пропускам. Жаль, тети Дуси нет, мы бы спросили, прежде чем на рожон лезть. А лучше всего не смешить москвичей и не рыпаться, куда не просят. Тем более, что Мотя утверждал, что до Кремля тут рукой подать. А Мотя все знает.

Так мы и пошли, крепко сцепив руки между собой, чтобы нас не размело толпой. Мы уже поняли: заезаешьс, а зевать тут есть на что, и пропал! Где тогда искать-то друг друга! Это не Голяки, там нашего брата за километр на улице видать! Захочешь потеряться, не сможешь, с милицией отыщут!

Долго шли, когда уже и не думали, что близко, за угол какого-то дома завернули и обомлели! Перед нами, как на той конфетной коробке, стоял самый что ни на есть настоящий Кремль, и башня, и стена, а перед стеной красный Мавзолей Ленина. А рядом со всем этим, прямо по площади, люди ходили, будто для них нормально все это, вот так жить и ходить мимо.

— Смотри! Кремль! Кремль! — закричал Хвостик, а я поскорей зажал ему ладонью рот. Я уже понял, что в Москве нельзя кричать. Как крикнешь, так менты уже глазами шарят: кто кричит? Почему кричит? И вообще, откуда такой приехал, что не кричать, как все тутошние прохожие, он не может?!

Но если честно, я и сам, как Хвостик, ошалел при виде Кремля оттого, что он настоящий, а мы, хоть голяки из "спеца", а тут рядом с ним! Мы сразу дальше не пошли, чтобы опомниться, чтобы привыкнуть, что мы тут. Конечно, мы знали, что нам нужны ворота, а ворота, ясное дело,

в башне: это на другом конце площади. А площадь-то покатая! Да булыжник на ней, так мы, чтобы не споткнуться, осторожно ступали, и все по сторонам головой крутили, потому что мы не знали, как на самом деле по Красной площади-то у Кремля ходят. Идут, скажем, на цыпочках или руки по швам держат, или голову, как в строю, на Кремль равняют. Не может быть, чтобы тут ходили, как ходят везде! Это вам не Голяки задрисанные, где плюй на землю, не заметят! Да что плевать, можно за углом, скажем, и помочиться, и звук при этом погромче выдать! А тут-то попробуй, выдай! Тебя сразу сцапают за твое звуковое место: чего, мол, шлана немытая, ты воздух около самого Кремля портишь! А товарищ Сталин, а другие вожди — за тебя должны нюхать?!

Дурацкие, конечно, мысли лезли в голову. Но я уже заметил: как только надо думать иначе из-за всякого терзания в груди, так разные глупости в голову лезут, доказывая, что мы вшивота "спецовская", не достойны ничего приличного и уж точно не достойны быть и думать около Кремля.

Друг за дружкой, с оглядкой на ментов, которых тут как палок в заборе навтыкано, мы всю, от одного края до другого, площадь прошли, только еще около Мавзолея постояли, где часовые друг на друга, вытаращив глаза, смотрят. Вперились друг в друга и едят глазами! Будто в "моргалки" играют. А кто первый моргнет, тому щелобон в лоб. А двери между часовыми деревянные закрыты. Говорят, туда Сталин один ходит. Пойдет, все Ильичу как есть доложит, слезу смахнет, усы мокрые утрет, вот, мол, Ильич, оставил ты меня, а как трудно сидеть в Кремле да по телефону звонить, умаялся. Хоть там Клим Ворошилов и Семен Буденный меня иногда подменяют, когда на фронт езжу! Пожалуется наш вождь, а потом вздохнет и с новыми силами за дела возьмется.

Так мы представили и к воротам пошли, чтобы товарища Сталина скорей утешить. Мы ему скажем: мы с тобой, товарищ Сталин, хоть куда, пусть и без Ленина, но по ленинскому пути. А потом уж мы спросим, как нам дальше, Кукушкиным, жить, если отцов у нас нет, а где их искать, неизвестно. А он вызовет к себе кого-нибудь из подчиненных и прикажет всех наших, кто кому отец или мать, срочно найти.

Но мы, еще не дойдя, увидели, что ворота в Кремле закрыты. Высокие ворота, железные, а рядом мильтоны сторожат

Но я нашелся, негромко своим сказал:

— Ну закрыты... Ну и что? Значит, какая другая дырка есть! Это как забор у Сиволапа: все позакрывал, а дырку-то не заметил!

Я так сказал, хотя, честно, не знал, где искать эту дырку. Я вообще до сего дня думал, что Кремль — это башня со звездой, как на картинках, в башне — ворота. А внутри, в башне, товарищ Сталин живет. А теперь я увидел стену, а за стеной еще дома, и сразу сообразил, что ее надо кругом обшарить, как забор в огороде, когда залезть надо. Где-нибудь да будет дыра! Забор-то без дыры не бывает!

Мы целый час стену пехом обходили, в кусты попали, как в лес все равно. Вот тебе и "охотничий заряд"! Заблудиться можно! Но я-то тоже не дурак, все наверх, на зубцы смотрел, чтобы курс не потерять. Внизу стены дырок пока тоже не попадалось. Зато выскочил, будто заяц из-под кустов, человек, похожий на пожарника, и, отряхивая с себя сухие листья, закричал:

— Куда! Куда! Уходите! Здесь нельзя гулять! Здесь зона!

Слово "зона" нас немного насторожило, потому что Чушка его обожает, но все равно мы обрадовались человеку, мы хотели у него спросить, нет ли тут какой дырки? Но он рта не дал нам открыть, а подбежал и стал толкать в спину, и все повторял:

— Идите! Идите подальше! А то и себя не найдете!

Вот олух, мы на то и в Кремль-то пришли, чтобы себя найти! А без Кремля-то мы как себя найдем?

Но пока я хотел это объяснить, он вытолкал нас из кустов на дорогу, а сам будто сквозь землю провалился.

## 20

Ворота мы нашли! Я ведь точно знал, что без ворот забора не бывает! Только к тем воротам нас не пустили. Хотя мы так ловко вынырнули, что менты нас сразу и не засекли. А их тут больше, чем деревьев в лесу! И все какие-то новенькие, сверкающие, будто только отштамповали, не то что наш замызганный Наполеончик! А как они нас заметили, бросились навстречу, будто ждали. То есть бросились не все, а двое, зато бегом, остальные же встали полукругом, будто этих двоих сторожат и боятся за их



жизнь. А сами нет-нет и по сторонам зыркают. А как машина въезжает или выезжает какая — длинная, черная, тоже блестящая, они сразу ей честь отдают! А кому отдают, не видно, темно в машине-то, будто завешено одеялом.

А эти двое, с красными повязками, нас сразу к стене и прижали.

— Кто? Откуда? Почему здесь?

Чтобы они Хвостика не раздавили, я его за свою спину поставил. И Сандру плечом прикрыл. Так как они шинелью прямо в лицо лезли, я двумя руками уперся, чтобы рот был свободный, и в ихнюю шинель им крикнул:

— Мы приехали к товарищу Сталину!

— Кто мы? — спросили сверху. — Зачем?

— Из Голятьвино... Он же наш друг!

— Кто? Кто? — и тот, что меня прижимал, захохотал и отодвинулся, чтобы рассмотреть нас. Я тоже на него посмотрел. Рожа, как у недобитого буржуя на картинке! Про таких говорят: "Погоны голубые, рожа красная!" А когда он хохотал, открывая рот, я снизу увидел: у него зубы золотые! Блестят шибче, чем его собственные пуговицы!

В этот момент я их не боялся. Тут рядом, за воротами, вдоль стены, вместе с Климом Ворошиловым гуляет товарищ Сталин. Он-то в обиду нас не даст! Увидит, позовет, посадит, как Гелю Маркизову, на колени, подарит коробку конфет, а потом скажет: "Ну, рассказывай, браток, все рассказывай, меня эта милиция вот как за горло взяла, не дает шагу ступить к народу, охраняет!" Но мы жаловаться не станем, мы прямо с главного начнем, с документов. Нет, не с документов, а с Егорова, от которого документы. И с отцов других Кукушат...

А мильтон все хохотал. Он оборачивался к другому, помоложе, и повторял:

— Ха-ха... Друг... Слышал... Он их друг... Ха-ха! Дружок! Вот этому!

И тут Хвостик из-за спины крикнул, я от него даже не ожидал:

— А у нас документ есть!

И спрятался снова. Мне горячо даже спине стало, когда он прижимался, едва дыша от страха.

Тогда этот, с зубами, что блестели, как пуговицы, перестал хохотать и, уже не наваливаясь, сказал:

— Давай сюда! — и так как я молчал, он повторил железным тоном: — Документ, говорю!

А второй, помоложе, сбоку хмыкнул:

— Какой у него документ... Шпана... Он и фамилию свою вряд ли знает!

Угадал ведь! Месяц назад, и правда, не знал. Но теперь-то знал! И смогу им доказать! Чтобы меньше скалились!

Я полез в карман, расщепил булавку и достал сверток:

— Вот! Документ! Настоящий!

Я еще думал, что дело только в документе, а уж если они убедятся, что мы имеем настоящий документ, то сразу пропустят к товарищу Сталину.

Они схватили сверток так, будто боялись, что я им не отдам. И тут же повернулись к нам спиной.

Склонив головы, чего-то там вычитывали, а другие, еще несколько ментов, стояли на расстоянии и смотрели на нас. И совсем они не были так добродушно настроены, как эти двое. Я даже подумал: волки! Серые, одинаковые, звериный оскал. Вот тебе и "Охотничий заряд"... охотятся, только за кем? За такими, как мы?

Я оглянулся и увидел, что Сандра все о них понимает, может, еще раньше меня поняла: в глазах ее был уже не страх, а злоба! Дикий такой огонек, как у зверька, загнанного в западню!

А тут эти двое повернулись, и я заметил, что старший прячет мои документы в карман.

— Ладно, разберемся... Отведи, пусть посидят среди шнырей да крысятников... И девку... Я бы ее попользовал, но мала...

А младший добавил:

— Малая всегда удалая! Уж, наверняка, не целка!

— Ну веди, там посмотрим!

— А документы? — спросил я. Про товарища Сталина я промолчал.

— Какие документы?

— Наши! Документы!

— Потом, потом... — сказал младший со странной ухмылкой. — Будет вам документ по первое число!

А старший повернулся спиной, чтобы уйти. И тут, я сам не заметил, как произошло: Сандра прыгнула и вцепилась зубами намертво в суконный рукав. Он сперва и не понял, отмахнулся, но Сандра держалась крепко. Она держалась и вопила на всю площадь. Младший тогда бросился ее отрывать, и двое из оцепления бросились, они схватили Сандру поперек туловища и рванули, подняв в воздух! Но тут уже мы с Хвостиком тоже вцепились в руку старшему, но в другую руку, мешая ему защищаться от Сандры. И,

конечно, тоже заорали на всю площадь. Мы-то себя не слышали, но крик, визг, наверное, стоял такой, что если бы товарищ Сталин и правда гулял в это время по Кремлю с Климом Ворошиловым, он обязательно выглянул, чтобы узнать, кто это так кричит.

И вдруг все кончилось. Я и не заметил, как они нас отпустили и встали по стойке смирно перед кем-то, кто появился перед ними. А появился старичок, сухенький, дряблый, малорослый, но в форме. Он стоял и смотрел на ментов. А они, эти хохотальщики, весельчаки золотозубые, прикарманившие наши настоящие документы, теперь вытянулись по струнке и дрожали, как мальчишки перед учителем.

— Что за шум? — спросил старичок. И сощурился посмотрел на нас.

— Вот, пытались проникнуть... Задержали...

— Кого задержали? — поинтересовался он, тяжело вздыхая.

— Этих...

— У нас документы! Настоящие! — крикнул я, понимая, что нам уже нечего терять. Хуже все равно не будет.

— Так точно, документы, — засуетился золотозубый. И достал из кармана наши документы.

— Ну и что? — спросил старичок и опять вздохнул.

— Метрики... Справка...

— Ну и что? — повторил старичок и закрыл глаза.

— Надо переписать. Зафиксировать, так сказать... Уточнить... Бдительность прежде всего!

Старичок махнул рукой:

— Отпусти... Нашел кого бдить! Дети же... — повернулся и пошел. Неподдалеку, как оказалось, стояла его машина.

Он сел и уехал не оглянувшись, а двое, не обращая теперь на нас никакого внимания, стали переписывать что-то из наших бумаг в свои.

Я слышал, как старший сказал:

— Вот сучка, она мне рукав прокусила. Представляешь?

— В другой раз, — спокойно ответил младший. — Никуда они от нас не уйдут!

А этот все осматривал беспокойно шинель и вдруг спросил:

— Как ты думаешь, они не бешеные?

Молодой поглядел на нас, наверное, чтобы проверить, в самом деле, не бешеные ли мы. Но отвернулся, поймав свирепый взгляд Сандры.

— Кто ж их знает... Лучше бы они перекусили друг друга... И нам меньше возни... пострелять бы их, как волчат, и дело с концом!

Младший, не заворачивая, сунул документы мне в руки. Старший же стоял так, будто нас уже не видел. Больно здорово его на наших глазах встряхнули.

Я схватил документы и тут только подумал, что в свертке были еще и деньги! Пятьдесят три рубля! Я сразу увидел, что денег нет!

— А деньги? — крикнул я. Но крикнул неуверенно, потому что я не мог представить, что менты могли у всех на глазах, вот сейчас, нас ограбить. Может, тетя Дуся положила деньги отдельно от книжки?

— Какие еще деньги! — оскалившись, рыкнул младший. — Скажи спасибо, что голова цела!

— И сучку свою зубастую береги... Попадется, я ей не только зубы, я ей хребет переломлю! — прошипел старший, так, чтобы, кроме нас да напарника, никто не мог его услышать.

И хоть ничего не слышали менты из окружения, но расступились, самую малость, чтобы можно было между ними протиснуться. А когда мы попытались пройти, один все-таки изловчился и дал мне больно поджопник сапогом так, что я встал на карачки. Они и Сандре съездили по спине, а вот Хвостика не достали, он между ног проскочил.

## 21

— Послушай, Серый... — сказал Мотя негромко. — А те менты, что вас в Москве курочили... Они такие же? Или они другие?

Я посмотрел в щель, но не было ничего видно. И Ангел примолк, услышав живой голос, и Сандра... Вот, думаю, Сандра никогда уже не забудет тех ментов.

— Другие, — произнес я нехотя. Мне, и правда, их вспоминать не хотелось. Но я еще добавил: — Но такие же!

Я вдруг представил, как мы от них бежали... Вот это был гон! А в голове, словно гвоздь, висела фраза, брошенная молодым ментом, который и не казался сперва таким страшным, как тот, старший, что затыкал мне рот своим животом. Молодой говорил о нас, как о чем-то постороннем, я запомнил его слова: "В другой, мол, раз поймаем! Никуда они от нас не уйдут!"

И не ушли же! Подстрелят, как волчат, и дело с концом!

— Значит, они все тогда знали, — сказал вдруг Мотя.

— Что они знали? — выкрикнул Бесик. — Что мы станем стрелять?

— Да нет... Они знали, что мы все равно попадемся.

— А чего тут знать? — спросил, кашлянув, Шахтер. — Конечно, попадемся... Дорожка-то одна...

— Правда, одна?

— Одна! Одна! В сарай!

— Думаешь, легавый имел в виду сарай?

— Он сказал: "В другой, мол, раз... Никуда не уйдут..."

И Сандра промычала громко, все поняли, что и она взбудоражилась, когда ей напомнили о той встрече у Кремля. Знала ли она, дошло ли до нее из разговора этих двух, что они ее там делили? Сперва-то я решил, что не поняла. Но потом увидел, на улице, все тот же ненавистный огонек в ее глазах, он так и не растаял до сего дня (ночи?), а даже, даже усилился! Сейчас я подумал — конечно, поняла! Не оттого ли она и прыгнула, и шинель этому придурку прокусила?!

Но мы, и правда, неслись как бешеные. Может, мы тогда впрямую поняли слова, что мы далеко не уйдем и нас будут по Москве отстреливать, будто волчат! Мы летели, сменяя улицу за улицей, и все они казались теперь нам одинаковыми. И еще я тогда запомнил, не памятью, а какой-то частью мозжечка, что это были как бы не улицы, а каменные стены до неба, по обе стороны дороги, от них никуда не уйти! Все окна наглухо задраены, завешены! Все двери закрыты!

Что за дикий город, где все, все наглухо забито и закрыто!

Загнанные в узкий коридор между домами, мы бежали, не пытаясь никуда свернуть. Мы уже догадались, что это так сделано, чтобы нельзя было свернуть. Мы неслись из последних сил только вперед, ведомые этими стенами! Временами казалось, что мы движемся по кругу, как недавно у Кремля. К концу мы уже сдохли. Хвостик хоть и не пищал, но цеплялся за меня, почти висел на моей спине, да и Сандра молча выбивалась из сил. В такой момент мы и увидели вокзал!

Вокзал! На нем даже надпись была: "ВОКЗАЛ".

Мы стояли ошарашенные, глотая воздух и вылупив зенки на эту надпись. Бежали, бежали и оказались на вокзале. Не чудно ли!

А может, город так странно устроен, что все улицы-стены направлены к вокзалу, чтобы поскорей отторгнуть чужаков, выпроводить всяких там нежелательных, подозрительных да поскорей посадить их на поезд! В их Голяки.

С ходу, с налета, а может, с испуга мы забрались в межвагонье, чтобы поскорей уехать, сбежать от Москвы. Но потом опомнились: не все же поезда идут к нам в Голяки.

Мы не сразу разобрали, что и вокзал, хоть назывался так и даже был похожим на тот, на наш, вовсе не был нашим вокзалом. Только поезда такие же да пассажиры, в сереньких ватниках с мешками да котомками.

Мы стали спрашивать какого-то мужика с мешком, потом женщину в военной форме и машиниста в робе с масленкой в руках... Никто из них про Голятино слыхом не слыхивал!

Мы тогда уселись на ступеньках, на сходе в город, между кассами и лабазами и стали соображать про свои дела. То есть мы хотели что-то придумать, но мы так устали от Москвы, от Кремля и от милиции, что никаких мыслей у нас не было.

Одно желание — удрать, куда-то исчезнуть, мы были теперь согласны даже на наш протухший "спец", отсюда, как воля из тюрьмы, он казался нам раем.

Мы даже по-другому теперь смотрели на людей, что мельтешили вокруг нас; если уж они влипли, как и мы, в Москву, значит, жизнь у них не сахар! Может, у них даже похлестче, чем у нас! Какой же дурак без всякой причины, без беды сунется в это логово, которое само себя забаррикадировало и само себя заперло от всех! Одни мильтоны вокруг стоят. Интересно, сколько же у них в Москве мильтонов проживает? Если бы, к примеру, всех ментов в Голяки переселить, небось, места не хватит!

Хвостик положил голову мне на колени и уснул. И Сандра ко мне с другой стороны прислонилась, закрыв глаза. Но я-то знал, она не спит, переживает. Помычала бы, легче бы стало!

В это время мимо прошел мент, не такой лакированный да блестящий, как те, кто из Кремля. Но глаза-то у них у всех одинаковые, напряженно сторожкие. Прошел, замедлил шаг, даже повернулся, но я сделал вид, что его не вижу. Хоть глаз с него не сводил, тоже сторожил и тоже напрягался. Только мое напряжение совсем другое: драпать или не драпать, подождать! А как он прошел, я в кар-

мане документы ощупал. Вынул, посмотрел и обратно положил, булавкой, как велела тетя Дуся, зашпилил. Денежек-то, конечно, как не бывало!

Стянули менты наши кровно заработанные рублики. Да ладно бы голятовские стянули, тем от природы суждено грабить, а то московские, которые самого Сталина охраняют! Да как же они могут охранять, если они сами жулики! Того и гляди, они и вождя мирового пролетариата и гения всех народов спокойненько оберут! А может, и обобрали!

Старичок, освободитель, тот ничего, да жаль торопился, мы бы ему все про этих ментов выложили бы!

Тут мысли мои поплыли, и я незаметно для себя растворился в каком-то полусне, где ощутимо существовали вокзал и Хвостик с Сандрой, но и спаситель-старичок, который, как ни странно, был рядом и очень даже меня слушал и понимал. И все бы у нас с ним слепилось, сладилось, да голос чужой помешал.

Прямо над ухом проорали:

— По-ш-ли! Ско-рей! Чего тут расселись!

Мы все трое в испуге подскочили, понимая, по привычке, что надо куда-то идти. Но ментов или другой какой опасности мы не увидели. Горластая, бойкая женщина гнала мимо нас толпу ребят, человек двадцать, я сразу же увидел, что они свои, будто сейчас их вытащили из нашего "спеца".

Женщина подгоняла отставших, а нам крикнула на ходу:

— Скорей! Да скорей же! Опоздаете, пеняйте на себя!

— Серый? Куда? Куда? — спросил Хвостик со сна, так и не разобрав, куда это его зовут.

Если бы я знал! Но я подтолкнул Сандру, и мы трое рванули изо всех сил за остальными, влезая в самую гущу толпы, и прямо-таки шкурой ощущая, что мы свои среди своих, а значит, все не так уж плохо.

## 22

На площади стоял автобус. Около него хлопотала в ватных брюках, похожая на колобок, баба. В бачок, прилепленный сбоку к мотору, она подложила деревянные чурбачки, подождала, пока задымит, и сказала деловито:

— Вот, заправила свой самовар. Теперь можно ехать.

Машина, как выяснилось, работала от дров.

Она зашипела, зарычала, завыла и двинулась не очень шибко по улицам города, обгоняя людей и даже трамваи.

Ребята загикали, засвистели в знак одобрения, а я из-за голов разглядел Сандру с Хвостиком, которые пролезли в самый конец автобуса и заняли одно на двоих место.

Рядом со мной маячил высокий тонкошейей парень, которого все называли Бонифаций, а то еще Боней. Рыжеватый, с веселыми конопатинами, он крутил головой и всем успевал отвечать. По отрывочным репликам я понял, что тут собрали для экскурсии два подмосковных детдома: ребята не все знали друг друга, а воспитательница и подавно.

Бонифаций меня спросил:

— А вас, малаховских, возили на "Синюю птицу"?

Я не понял, про какую птицу он спрашивает, про зоопарк, что ли, и на всякий случай ответил, что нас возили, там и синие были, и зеленые, и красные... Всякие, словом, птицы!

— А нам обещали, но не повезли, — сказал Бонифаций огорченно. — У нас в томилинском такой шухер вышел... Понимаешь, подкоп обнаружился под хлеборезку, ну и Хряк пошел лютовать! Тут уж не до театра было, кого в ремеслуху выпихнули, а кого даже на Кавказ!

— Хряк — директор? — с пониманием спросил я.

— Директор.

— А у нас Чушка!

— Ну, ясно, одной породы! — кивнул Бонифаций. — А эта трофейная выставка давно уже... Некоторые из наших сами рванули, и другие собирались, так Хряк говорит... Свезите, говорит, с малаховскими, с вашими то есть, шакалами... А то они у меня туда сами сбегут... И повезли... Да вот она! Вот! — воскликнул он, указывая в окно.

Тут и весь автобус возбужденно загудел, увидели впереди, справа, за широкой рекой в граните берег с площадкой, забитой всяческой военной техникой: пушками, минометами, автомашинами, танками и самоходками с крестами!

Автобус забрался на огромный мост, с него площадка стала еще видней, мы резво скатились под уклон, свернули направо и въехали в огромные железные ворота, над которыми крупно золотыми буквами было начертано: "ЦПКОиО им. ГОРЬКОГО".

Лишь откинулась дверь, ребятня сыпанула из автобуса и с криками "ура" бросилась ко всей этой стоящей вразброс технике.



Проталкиваясь к выходу, я услышал, как баба-шофер поучала воспитательницу.

Она говорила:

— А ты не бежи за ими! Не бежи и не переживай! Ты вожжу им отпусти, все равно не удержишь! А как есть захочут, сами, как миленькие, придут, прибегут даже! Ты вот лучше посиди тут, а я тебе расскажу, как до войны в этом парке я ухажерам своим свидания назначала... Ох, и резва была! Хоть и мала, но резва! Вовсю шалила!

Как она там шалила, я уж не дослушал, потому что, вырвавшись на волю, понесся что есть духу вслед за остальными, боясь не успеть и пропустить главное. Хвостик и Сандра бежали за мной.

С ходу пропустил я две пушечки, танк "Пантеру", так стояло на дощечке, и самоходку "Фердинанд". Тут уж, облапив и осадив кучей, шуровали детдомовские.

Я выбрал себе "Тигр" — так было написано на деревянной бирке, повешенной прямо на оружейное дуло. Осмотрел и крест на башне, и пушку, и рваный стальной бок, видать, крепко жажнули из бронебойки, и полез наверх, торопясь его поскорей занять. Он мне сразу пришелся по душе. Это ничего, что в нем совсем недавно сидели проклятые фашисты и даже то, что сделали "Тигра" в проклятой Германии! Сделали против нас, против меня лично! Ну, конечно, и против Сандры, и против Хвостика! А мы победили, и значит, мы сильнее, и танк теперь наш! Он мой... Ия, хлопая по броне, быстро произнес: "Чур-чур, он мой! Мой! Мой!"

— Серый, подожди! — кричал снизу Хвостик, я его сразу за шумом не расслышал. — Я с тобой, Серый!

Он никак не мог забраться на гусеницу, срывался, падал и снова карабкался вверх, ко мне. Я подал ему руку и помахал Сандре. Она стояла на расстоянии и, приставив ладонь к глазам, снизу вверх смотрела на меня. Но смотрела без зависти, даже без интереса. Сандру занятый мной танк никак не волновал. Ее лишь волновало, чтобы мы не сверзлись обратно, наземь.

Я заглянул через люк в темное нутро машины, потом спустил туда ноги и сполз, ударившись больно коленкой о какую-то железку. Но переживать было некогда, я потерял ногу и огляделся: было сумрачно и остро пахло дымом, даже в глазах защипало. Я примостился на ободранном, обгорелом до скелета сиденье, стараясь представить, как тут были до меня фашисты. Как они тут сидели, как лопотали по-своему, по-фашистски, а может быть, они орала "Хайль Гитлер!", наводя свою пушку и стреляя.

Сверху, в люке появилась в это время на белом небе голова Хвостика. Ничего не видя со света, он в темноту канючил: "Серый! Я к тебе!". И вдруг, не удержавшись, свалился прямо мне на голову. Не будь меня, тут бы, глупыш, и свернул себе шею! За ним и Сандра появилась. Она ни о чем не просила, а молча, упорно лезла вовнутрь, я помог ей спуститься, подставив плечо. И посадил на место наводчика к пушке.

— Будешь наводчиком и стрелком, — сказал я, как командир все равно какой. А Хвостика я просунул в самый нос к смотровой щели, чтобы наблюдал, что делается на воле, и был на шухере.

Не верилось, что нас тут не прихлопнут, в этой железной коробке, и не отведут куда следует.

Это ведь кому из Кукушат рассказать, не поверят: сами лазали по фашистскому "Тигру", сидели у пушки, а были бы снаряды, так и выстрелить бы могли, а может, даже поехать!

Я схватился руками за два рычага, дернул их на себя, как это делает артист Крючков в одном ужасно интересном кино.

— Куда двинем, братва?

Я пошутил, но Хвостик, сидящий впереди, ответил так, словно мы и вправду могли двинуться:

— Туда! — и указал за реку.

— Куда туда? На мост?

— На мост, Серый! И за мост! Там наш Кремль!

— В Кремль, что ли?

— В Кремль, Серый! Правь в Кремль! Только скорей! Скорей!

Он нетерпеливо махнул рукой, и Сандра кивнула. Она была согласна, чтобы мы шли на Кремль!

Нет, Хвостик и Сандра вовсе не играли, они были уверены, что мы сейчас ринемся по мостовой на нашем грохочущем чуде.

И тогда я скомандовал:

— Заводи мотор!

— Есть мотор! — крикнул Хвостик.

— Отпускай фрикцион!

— Отпускаю, Серый!

Я не знал, что такое фрикцион, но так говорили где-то в кино, когда показывали, как Крючков бьет японцев, а потом поет песню про трех танкистов: "Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой!"

— Вперед, за Родину! За Сталина! — крикнул я и дернул рычаги.

Наша громада дрогнула, качнулась и урча так, что уши закладывало от грохота и рева, словно сошедший с рельсов поезд, поползла по набережной.

— Ура! — крикнул восторженно Хвостик, и Сандра промычала ему в тон. Впрочем, я почти не слышал их из-за шума и лязга. Приминая асфальт и чуть не зацепив стойку железных ворот на выходе, мы свернули на мост, который гулко отозвался под нашими гусеницами.

— Вижу Наполеончика! — крикнул вдруг Хвостик.

— Пали в него, в гада! — приказал я Сандре.

Она извлекла из ящика беленький, сверкающий, как игрушка, снаряд и забила в ствол. И тут же выстрелила, закусив губу. Выстрела мы не услышали, только дрогнул стальной корпус "Тигра".

— Вижу директора Чушку!

— Пали в него, в гада!

И Сандра опять выстрелила. Никаких сомнений не отразилось на ее лице.

— Вижу Помидора и Ужа!

— Пали...

— Вижу Козла возле вокзала!

Тут мне и командовать не пришлось: Сандра выпустила сразу три штуки, снаряд за снарядом! Ее лицо побелело в этот миг.

— Вижу Тусю! — вдруг сказал Хвостик.

Я не стал командовать на этот раз, а посмотрел на Сандру. Она спокойно заряжала пушку, целясь в кого-то, кто был впереди.

— Не жалко? — крикнул я.

Она метнула в меня взгляд, странный взгляд человека, помешанного на ненависти. Лицо ее, будто у святой на иконе, светилось в темноте. И я понял, что она убьет их всех, кто окажется на нашем пути.

Но Хвостик заорал:

— Эти... Легавые сторожат у Кремля!

Вот тут Сандра и дала себе волю. Она посылала снаряд за снарядом, от частой пальбы стало дымно в кабине и жарко, нечем было уже дышать. Но Сандра ничего не чувствовала. Я думаю, что она бы разнесла сейчас всю Москву, если бы хватило запала! Рассекая дробящуюся под гусеницей брусчатку, мы шли напролом к чугунным литым воротам Кремля, где нас еще недавно держали как арестованных. Попробовали бы мильтоны, сверкая своими

луговицами, теперь нас прижать к стене или даже встать на нашем пути! Мы бы им всем, всем показали!

Ворота отпали сами, едва мы ткнули дулом орудия. И вторые ворота, и третьи... Ишь, понаставили ворот!

Тут я сказал Сандре:

— Много у тебя боеприпасов?

Она кивнула.

— Тогда жхни по другим воротам, чтобы они тоже были открытыми! Это все-таки Кремль, а не тюрьма!

Сандра покрутила ручки наводки и выстрелила!

— Она дырку в стене сделала! — закричал Хвостик.

— И правильно сделала! Это для наших... для "спецовских"... И всех других... Пусть лезят, сколько хотят, в гости к товарищу Сталину!

И я запел:

Из сотен тысяч батарей,  
За слезы наших матерей,  
За нашу Родину: огонь! Огонь!

Тут мы увидели самого товарища Сталина.

Лучший друг советских детей стоял на мраморной приступочке дворца и курил задумчиво трубку, вовсе не удивляясь, что мы так шумно ворвались на его территорию. Но острый с прищуром рыжеватый глаз все время следил за нашей машиной, а седой ус немного шевелился.

Я осадил машину и стал карабкаться из люка. Хвостик и Сандре я велел оставаться на боевом посту.

С башни, горячей от боя, я соскользнул, как с горки, и чуть не упал, приземлившись на прямые ноги. Но сразу освоился и тут же, чеканя шаг, пошел прямо к товарищу Сталину.

— Товарищ Сталин! — крикнул я как можно громче. — Экипаж боевой машины, бывшей трофейной, а ныне советской, взял приступом Кремль, чтобы освободить вас от охраны легавых, которые не дают советским людям видеть и разговаривать со своим дорогим и любимым вождем!

Я ждал, что товарищ Сталин, окинув в задумчивости площадь, ответит величаво, как и положено вождю, но я ошибся. Он небрежно отшвырнул на землю трубочку, как надоевшую игрушку, и шагнул ко мне, открыв для объятия руки.

— Дорогой мой! — произнес, смагивая слезу. — Дорогой мой! Дорогой... Я ведь знал, что ты приедешь! Зови остальных, всех моих друзей, всех, всех зови! Я хочу видеть, я хочу знать, как вы, дружки мои сердечные,

живете? Не обижают ли вас легавые? Кормят ли вас, родных, одевают ли, обувают ли, как положено?

Я махнул в сторону машины, зовя Сандру и Хвостика. И они встали рядом со мной. Тут откуда ни возьмись, появились другие вожди, которых мы знали лишь по портретам в учительской, а теперь видели наяву: Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Жданов, Микоян и еще кто-то, они все нам улыбались.

Сталин нам лично их представил, а про нас сказал так:

— Прошу любить и жаловать, это мои лучшие друзья из Голятино! — при этом он лукаво улыбнулся. — Голяки... А у нас в Гори их бы звали горяки!

## 23

Переночевав в своем "Тигре", утречком, по холодку мы двинулись на поиски Кукушкиной. Хоть мы и дикие, из Голяков, но по адресу на документе найти-то можем. Она-то не в Кремле живет, чтобы к ней не пустили. Другое дело не очень-то хотелось к ней идти. Сам даже не знаю почему. Мешало именно то, что она тоже Кукушкина. Мы и так запутались с этой фамилией.

Но я подумал и решил, что идти-то надо. Тем более что проживает она, как объяснил одноногий сторож с выставки дядя Митя, на Фрунзенской набережной, вот, через речку напротив. Как говорят, привет Кукушкиной от Кукушат. Пишите, не забывайте, наш адрес в Москве — трофейная выставка, Тигр, что с дыркой в боку, который рядом с Пантерой! Жду ответа, как соловей лета!

Сторож дядя Митя такой сторож, который ничего не сторожит. Он якобы за все эти Тигры и Пантеры отвечает. А чего за них отвечать, если они — сами по себе стоят и есть не просят. А дядя Митя приспособится, сварганит костерок и варит себе хлебово в солдатском котелке да песни про себя мурлычит, мы ему ни с какого бока не помеха.

Набережная, где проживала наша Кукушкина, оказалась и правда неподалеку, надо было лишь перейти огромный мост, который они тут называют "Крымским". Хотя он в Москве и река под ним тоже Москва.

Шли мы, никого из прохожих ни о чем не спрашивая, чтобы не рисковать. Тот же разговорчивый сторож охотно объяснил, что за нами уже идет охота. Не за нами лично,

а за всеми, потому что таких, как мы, осадивших Москву, из разных "спецов" и колоний, тут немало, и живут они не только на выставке, но в подвалах, и на чердаках, и даже в кустах, иногда прямо около Кремля, и все караулят товарища Сталина.

Но менты дотумкали, приказали ловить их, то есть нас, сажать, высылать, и уже жители оповещены об особо грозной им опасности. Причем не только милиция, но и санитарная станция, которая предупреждает о всяких там крысах, собаках и тараканах! Теперь пугают нами, что мы несем заразу, что мы грабим и даже убиваем.

— А в газетах, говорят, — это дядя Митя произнес с оглядкой, — прописали о раскрытии заговора группы подростков, которая, якобы, называлась "Отомстим за родителей". Там какой-то сломанный ствол от пулемета или миномета был, подобрали на свалке под Москвой... Будто они хотели из этого ствола убить товарища Сталина!

У нас на выставке таких ребят нет, мы любим и обожаем родного вождя, да ведь ментам все одно, приказали ловить, они и ловят!

Как наказывал нам дядя Митя, мы ни к кому не подходили, береглись. Сами и дом нашли, и дверь, которая, конечно, оказалась забитой. Мы долго в нее стучали, аж кулаки отбили! Хотели уходить, но тут появилась женщина, странно так на нас посмотрела. Вот теперь я стал замечать, что ОНИ ВСЕ странно на нас смотрят. Кто с боязнью, кто с жалостью или со страхом, а некоторые даже с ненавистью. И при этом ОНИ отводят глаза.

Эта женщина тоже странно посмотрела и тоже отвела глаза. Но, проскочив мимо, она обернулась и крикнула:

— Дверь со двора! — и сразу ушла, ускорив шаг, и еще несколько раз оглянулась.

Мы обошли дом, и правда, в нем оказалась еще одна дверь. Самое чудное, что она была не забита! Она открывалась, и в нее можно было войти.

Теперь-то мы поняли, как в Москве ходить по домам: надо все время искать другую дверь, которая со двора, а не с улицы!

Пока мы осматривались в темном подъезде, вышла старуха, она держала в руках ведро. Эта почему-то нас не испугалась, а спросила:

— К кому, молодые люди?

Никогда москвичи к нам так не обращались. Да и какие мы "люди", особенно тут, в Москве, по нашим немытым ромам видно. Старуха, наверное, была слепа!

Хвостик сказал:

— Нам в квартиру тридцать два!

— Ну вот она, перед вами, — ответила старуха. — А кого нужно-то? Мешковых, Елинсонов, Кукушкиных...

При этом старуха смотрела на Хвостика.

— Кукушкиных, — подтвердил я.

Старуха вздохнула:

— К дочери моей... Так, понимаю... Алевтине Петровне... — и старуха закричала куда-то в темный коридор приоткрытой двери: — Алевтина! Пришли... Твои...

Я не сразу оценил: "твои". Но старуха-то была ясновидящей, она сразу сообразила, с кем имеет дело!

Из квартиры донесся глухой медленный голос:

— Сколько их, мама?

— Всего трое!

— Ну, пусть войдут.

— Войдите, — предложила старуха. — Прямо и направо... Она вас ждет.

"Так уж и ждет!" — подумал я.

Старуха, не выпуская из рук ведра, смотрела, как мы пробираемся мрачным коридором, и как бы не нам, а себе добавила:

— Трое — это не много... Вот когда по десять приходят!

Я повернулся, но не увидел ее. И опять подумал, что старуха-то нас угадала. Наверное, не мы первые! Бывали, значит, и другие Кукушкины!

С такой мыслью, настраивая себя на неудачу, я ступил первым в комнату. Эта комната была загромождена мебелью, как наша трофейная выставка техникой; мебель стояла непонятно как, вкривь, вкось, так что пришлось протискиваться между шкафами и столиками в дальний угол. Там, у окна, в огромном кресле сидела НАША Кукушкина.

Она показалась совсем некрупной, даже маленькой, и у нее было белое-белое лицо. Но что мне сразу понравилось: глаза не испуганные, как у всех, а вполне спокойные. Она уже знала, кто мы и чего от нее хотим. И глаз своих, я заметил, она в сторону не отвела. Она внимательно нас рассматривала, наверное, стараясь нас вспомнить.

А мы, трое, вытаращились на нее, стараясь вспомнить хоть что-нибудь о ней. Ведь мы же встречались с ней в какие-то отдаленные, непонятные для нас времена... Что-то должно же в нас от нее остаться?

Но ни Сандра, ни Хвостик, я по их лицам увидал, не возродили в памяти эту женщину, чье имя мы в себе, как тайну, не ведая об этом, носили всю нашу жизнь.

— Ну садитесь, — произнесла она ровно. Голос ее и тут, вблизи, был медлителен и глуховат. Она больная, и голос больной. И лицо, и глаза — все у нее было больное. Теперь рядом с ней это стало еще заметней.

Мы, потоптавшись, присели рядком на диван, на самый кончик, чтобы его не замарать. На таком диване мы сидели впервые, как и вообще впервые были в настоящей квартире, среди настоящей мебели. У нас в "спеце" такой мебели, конечно, нет, все привычное, казенное, из досок: лавки, табуретки, столы... А здесь шкаф, так он будто не шкаф, а дворец украшенный, и стол блестящий, словно из камня и почему-то кривоногий, а диван с белым покрывалом и высокой спинкой, а в спинке — зеркало!

Пока мы озирались, женщина ждала.

Потом она сказала:

— Значит, Кукушкины... — и остановила взгляд на Хвостике. Что-то ожило в ее лице.

— Да. Мы — Кукушкины, — ответил я, и Сандра кивнула.

— Как же вас зовут?

— Меня — Сергей... А ее Сандра... Ну, Шура, значит... А его имени мы не знаем. Мы зовем его Хвостик.

— Правда, — похвалился Хвостик. — Меня так все зовут.

— Мама! — позвала чуть громче женщина, глядя на дверь, так и оставшуюся открытой. — Мама! Поставь чай! Их же надо накормить.

— Да уже поставила, — ответили из коридора.

Женщина посмотрела на Сандру, на меня и вдруг спросила:

— Твоя тетка приходила? Ну, чтобы я написала бумагу?

— Она не тетка.

— Все равно. Но я ей бумагу написала. Хотя, если честно, я и тебя не помню.

Я промолчал.

— Ты, возможно, не знаешь, что она разыскала каких-то твоих родственников!

Я продолжал молчать. Вот, чего боялся то и случилось. Странная у меня началась жизнь! Сберегательная книжка, метрика, родственники... Егоров, который отец! И все, все одному мне! Распределить хотя бы на троих, было бы легче!

Кукушкина заглянула мне в лицо и, кажется, поняла, догадалась, что меня разволновало.



— Ты можешь к ним и не ходить, — произнесла. — Я их тоже не видела. Не представляю, какие они. Хотя догадываюсь. Но они знают что-то о твоём отце... Ты же о нём пришел спросить? Об Егорове?

Я помедлил. Но потом решил и сказал "да".

— Тогда поезжай к ним. Я тебе объясню, как их найти.

— А они? — я показал на Сандру и на Хвостика. Но поправился: — А про них... вы что-нибудь помните?

Женщина покачала головой и устало вздохнула.

— Вас же было столько... Я не успевала считать, не только в лицо заглядывать... Да если бы и заглядывала!

— А почему... — спросил я, напрягаясь. — Почему нас было так много? И почему... нас стали называть не по-нашему? А по-вашему?

Теперь я увидел, что Сандра насторожилась, даже побледнела. И Хвостик перестал глазеть на квартиру, а устался на Кукушкину. Женщина не ответила. Она опять посмотрела на дверь. Произнесла, не повышая голоса, в пространство:

— Мама! Как у тебя с чаем?

— Сейчас, — прозвучало из коридора. — Поспел, несусь.

И хоть мы слышали одну маму, мне вдруг показалось, что там в коридоре присутствует кто-то ещё. Шаркали чьи-то ноги, поскрипывали половицы, раздавался кашель.

Женщина терпеливо ждала, глядя на дверь, а мы глядели на нее.

## 24

Пришла мама Кукушкиной, она не показалась нам черной старухой, как там в подъезде, а была нарядной, в красной кофте и красной косыночке, с подносиком в руках. А на подносике, сверкающем, словно серебряный, стояли красивые чашки, прям как в ресторане, даже лучше, и ещё чайник, тоже весь разукрашенный, а на отдельном блюде небольшие лепешки, мы сразу их, конечно, про себя сосчитали: четыре штуки!

Поднос её мама поставила на блестящий столик с криковыми ногами и ушла. А Кукушкина налила из чайника чай, всем нам троим и себе, и велела брать блины. Она их так называла.

— Сахара нет. — она оправдывалась, будто была перед нами виновата. — Но блины из мороженой картошки, сладкие... Может, вам понравятся. Их почему-то дерунами зовут...

Сандра и Хвостик по блину взяли, а чашки брать опасались. Они смотрели на меня. Все-таки я уже один раз ел из такой посуды, а они не ели ни разу.

Я старался изо всех сил, осторожно взял чашку, но тут же плеснул чай на пол. И с испугом посмотрел на Кукушкину.

— Ну, конечно, — сказала она спокойно. — Он же горячий! Не обжегся?

Господи, о чем это она? Тут как бы чего не замарать да не разбить! А об нас уж речи нет! Лучше бы я обжегся, да пол не замочил. Ведь уйдем, а кто-нибудь подумает: "Ну что с них взять... Они и чашку-то не умеют держать! Недоделанные какие-то!"

Теперь я держал чашку двумя руками и сразу увидел, что Сандра и Хвостик тоже держат чашку двумя руками и дуют на кипятки.

— А вы налейте в блюдечки, — подсказала Кукушкина.

Дальше мы пили уже без происшествий, а мама Кукушкиной еще приходила два раза и каждый раз приносила на тарелочке по четыре блина. Она их где-то там в кухне пекла. А еще там чьи-то ноги в коридоре все шаркали и шаркали.

Я подумал, что если бы я лично пек или кто из наших, мы бы сперва сами нажрались на кухне, а потом бы подумали, угощать каких-то проходящих или лучше не угощать! Мало ли народу по городу-то шастает! Блинов мало, а их, то есть нас, вон сколько! На всех продуктов не хватит!

А Кукушкина сказала, посмотрев на дверь:

— Ну, хоть немного-то сыты? Вот и хорошо. Девочка, поди закрой дверь, а то дует, — и Сандра закрыла. — А теперь я отвечу на ваш вопрос... Почему вас было много... Да потому, что ваших, ну, родителей было много... Там...

— Где? — спросил я в упор. — В тюрьме?

Она не отвела глаз. Но замялась.

— Да. И в лагерях тоже.

— А почему их было много?

Она молчала.

— Они все были врагами?

И тут мама Кукушкиной произнесла из-за нашей спины, мы не заметили, как она объявилась:

— Да ее саму записали в враги... Из-за вас, между прочим! Там позвонки и перешибли!

— Мама, — сказала Кукушкина ровно. — Я тебя прошу!

Но мама будто осерчала и стала быстро говорить, что она свою дочь предупреждала, что это плохо кончится! А когда ее взяли и стали допытываться, зачем она вас засекретила, и она ответила, что вовсе не засекретила, а дала вам свою фамилию, потому что вы не помнили собственных, а они ей не поверили! И стали бить! А потом выпустили, когда в инвалида превратили... И вы тут! И ходите, и ходите! Хоть бы пожалели ее! Ведь она из-за вас пострадала!

И мама ушла. На этот раз в сердцах даже дверь хлопнула, но так сильно, что дверь открылась.

Мы испуганно молчали, а Кукушкина побледнела еще сильнее.

— Да ладно, — отмахнулась, — сидите... Она не на вас это.. Она вообще...

— Они вас били? — спросил я. — За нас, да?

Кукушкина сказала Сандре:

— Девочка, поди закрой дверь... Обычно мы с открытой дверью живем. Но что-то похолодало.

А пока Сандра ходила и закрывала, она уже успокоилась. Только бледность не прошла. Она посмотрела на Хвостика и вдруг оживилась:

— А вот его я помню. Он до моего ареста за два дня был. Но у него, и правда, не было ни имени, ни фамилии.

Кукушкина с оглядкой на дверь прошептала:

— Вы, небось, к товарищу Сталину хотите попасть?

— Мы к нему не попали, — ответил я.

— И не надо! Не надо!

— Почему?

Она пожала плечами и покосилась на дверь.

— Лучше сходи к своим родственникам... Тут две остановки... на метро...

— А на метро разве разрешают? — удивился я.

— Ну, а как же! Купи билет и езжай, я вам на билет денег дам! У вас же ничего нет?

— У нас сто тыщ есть! — вдруг выпалил Хвостик. — В книжке!

Кукушкина не удивилась. Она нарисовала на бумажке план, как мне найти родственников и как к ним доехать на метро. Остановка "Дворец Советов".

Про Дворец Советов мы учили в школе, он выше всех в мире, а на нем Ленин с протянутой рукой, а на руке у Ленина аэродром, в голове у Ленина зал заседаний для товарища Сталина!

— Нет, — возразила Кукушкина, посмотрев на дверь. — Вы Дворца не увидите, его нет... Но там совсем недалеко... Поезжайте! А насчет книжки я знаю, и я говорила вашей тете или как ее, что не нужна вам эта книжка! Зачем вам такие деньги?

— Бухарик хлеба купим! — сказал Хвостик. — А может, и еще пайку! Если останется!

Кукушкина посмотрела на него задумчиво. В глазах засветился дальний такой теплый-теплый свет.

— А ты, Кукушонок, сказки читаешь? Ну, вот я тебе расскажу. Сказку про слона и про маленькую-маленькую мышку. Встретились они на улице, слон и говорит: "Чего это ты такая маленькая? Надо больше есть! Вот смотри на меня: я много ел и вон какой вырос!" Мышка вздохнула и прошептала: "А я долго болела"... Впрочем, это я про себя... — закончила Кукушкина, вздохнув. — Ну, а хлеб-то, конечно... Там, кстати, касса, касса та самая, где эти деньги положены, рядом с домом... На противоположной стороне. Только дорогу перейти.

— И нам дадут? — спросил я. — Деньги?

— Наверное... Честно говоря, у меня никогда не было денег, чтобы на книжке. Понятия не имею, как их берут. Но вам там скажут.

Кукушкина произнесла в сторону двери, чуть напрягаясь:

— Мама! Ты их проводишь?

На пороге встала мама, сразу, будто ждала тут за дверью.

Мы поднялись, не зная, как удобнее уйти.

Но Кукушкина сделала знак подойти поближе и всех нас поцеловала — Хвостика, Сандру и меня. Наклоняя мою голову, она произнесла на ухо:

— Не ищите их... Не надо их искать... Их никого уже нет. Ты меня понял? Никого. А вы поберегитесь... Вы нужны... Вы почки от могучего дерева... Но вам надо еще вырасти! Ты понял! Постарайтесь уцелеть! Они никого не щадят!

Я сказал:

— Ладно.

Хотя ничего понять не смог. Я только потом, не скоро дотумкал, в чем дело, когда мы отсиживались в сарае,

надеясь, что вывернемся и уцелеем. А когда я вспомнил ее слова, вдруг понял, что мы не вывернемся, а может, и не уцелеем. Но это потом, потом.

А тогда я пообещал — и посмотрел на нее в последний раз. Я знал, что мы никогда больше не увидимся.

— Ну, ступайте, с Богом! — и словно обмякла, съехала и стала еще меньше в своем огромном кресле.

— Ступайте, ступайте! — повторила за ней, но уже другим тоном ее мама, выпроваживая нас в темный подъезд. И уже там, прикрыв за собой дверь в квартиру, она произнесла с неприязнью: — Вы не приходите больше! И другим скажите, чтобы не приходили! Ей и так жить ничего осталось, она жизнь-то из-за вас сгубила! А вы совсем не хотите ничего понимать и ходите, и ходите, и добываете еще больше!

## 25

Мы сперва так и хотели сделать: поехать на метро.

Но лишь мы шагнули за дверь и увидели круглый огромный зал, полный света, с блестящим каменным полом и такой же блестящей лестницей, ведущей куда-то вниз, как Сандра встала, замотала головой и повернула обратно. Да и мы с Хвостиком последовали за ней и скорей выскочили наружу.

По бумажке, как было нарисовано, мы и так, пешедралом дошли до улицы Кропоткинской, отыскивали нужный нам дом и дверь тоже отыскивали.

Теперь-то мы "вумные, как вутки", и сразу завернули во двор: дверь была открыта!

Но мы не стали заходить в эту дверь. Мы, задрвав головы, посчитали этажи, их было целых десять! Высоко моя родня от меня забралась!

На небе живут, под землей, небось, ездят! А сейчас сидят на своем десятом этаже и в уме не держат, что их родственничек торчит в подъезде и раздумывает, идти к ним или не идти.

Интересно, они бы обрадовались, если бы узнали, что я тут стою?

Небось бы свесились в окно, выскочили бы из дома! Как же, племянник, сын Егорова, сам по себе нашелся! Драгоценный наш! Долгожданный! Какие там еще бывают

слова... Пойдем, пойдем скорей, тебя все хотят видеть! А вырос, Боже мой! И это сын самого Егорова! Знал бы папка. Радости-то сколько!

Так мне представилась эта, еще не состоявшаяся, встреча.

Я последний раз взглянул на десятый этаж и вздохнул. Потом я вернулся на улицу, перешел ее и сразу увидел дощечку с надписью "Сберегательная касса". Хвостик и Сандра следовали за мной.

Мы прочитали надпись, но заходить не торопились.

К родственникам идти не страшно, но неохота. А сюда зайти охота, но страшно. Все равно как спуститься под землю. Но мы зашли. Мы увидели пустой зальчик, барьер и окошки, на которых было написано: "Кассир", "Контролер" и еще "Заведующая". Мы, конечно, выбрали кассира. Я извлек из-под подкладки драгоценную книжку и подошел к окошечку. Женщина за окошком, толстая, в очках, читала книгу и меня не увидела.

Сандра долго ее рассматривала, потом толкнула меня локтем, чтобы я, значит, подал голос. А то так никогда не увидят.

В это время, громко хлопнув дверь, ворвался старик с палкой в руках. Он оттер нас от барьера, влез с головой в окошко и стал требовать, чтобы ему немедленно выдали деньги, потому что он торопится.

А женщина оторвалась от книги и сказала:

— Конечно! Конечно! Не волнуйтесь, сейчас сделаем!

Взяла у него книжку, и все в ней — и обложка, и странички — было, как у нас, я успел рассмотреть! Старика выдали деньги, посчитав их перед его носом два раза. Он схватил их и стал сам считать. В третий раз. Сперва около окошка, а потом отойдя в сторону. Теперь он считал не торопясь, зевнул, посмотрел в окно, на нас и стал укладывать деньги в огромный кожаный бумажник. Мы старались на него не смотреть, чтобы он не подумал, что торчим, чтобы подсматривать, куда прячет деньги.

Но он не уходил, а глазел в окно, зевал, оглядывал нас и все ощупывал в кармане свой бумажник. Наконец, кинув в нашу сторону грозный взгляд, убрался, сильно хлопнув дверь. А мы почему-то облегченно вздохнули.

Я набрал воздуха и спросил в окошко, могу ли я получить деньги, потому что мы очень торопимся. Я все сделал,

как старик, но я сказал правду, мы ведь тоже торопились сделать в Москве свои дела.

Толстая женщина оторвалась от книги и спросила:

— У вас вклад? Аккредитив?

Я показал ей книжку, но издалека.

— Давайте сюда, — сказала она и протянула руку.

— Не отдавай! Серый! — зашептал Хвостик и дернул меня за руку. — Она зажмет... Зажмет, вот увидишь!

Я посмотрел на Сандру, я верил ее чутью. Сандра лишь пожалала плечами. Она не стала меня отговаривать. Да и понятно, зачем сюда идти, если всего бояться.

Я не сразу, но протянул книжку, а Хвостик и Сандра прямо напряглись, следя за руками кассира: куда она ее денет?

Женщина открыла там, где была написана сумма, и застыла надолго. Несколько раз перечитала, шевеля губами, посмотрела на меня, потом опять в книжку, и опять на меня, точнее, на всех нас. Повернулась к другой, тонкой женщине: "Тася, смотри!" — и показала ей книжку. Та заглянула и тоже стала рассматривать нас, будто мы вышли из зверинца.

А тонкая сказала:

— Егоров Сергей — это кто?

— Я, — ответил я и почувствовал, что почему-то подгибаются ноги. Вдруг испугался, что меня сейчас назовут жуликом.

Но она произнесла:

— А документы у вас с собой?

Я кивнул и достал метрику. Теперь все наши ценности были в руках у этой женщины. А она их все мусолила, все перечитывала, поглядывая на нас.

И спросила, уставясь на меня:

— Так чего же вы хотите?

Хвостик дернул меня снизу и зашептал:

— Скажи, чтобы отдала деньги! Серый! Скажи им! Скажи!

— Денег... хотим... — ответил я и стал смотреть в пол. Мне опять показалось, что она думает, что я жулик. Почему-то было стыдно просить у нее деньги. Хотя старик, который был тут, вовсе не стеснялся говорить о деньгах и даже их требовать. Вот бы мне такую внешность с палкой и голосом! Такому-то дадут, он из горла, если что, выдерет!

— Егоров! — сказала женщина, привставая, чтобы лучше меня видеть. — Но тебе не полагается выдавать на

руки деньги. Ты же еще мал, понимаешь? Но ты можешь прийти с родителями и получить. Ты меня понял?

Я кивнул. Хотя я понял лишь одно, что мне денег все равно не дадут. И слава Богу! Я не знал, как я их получу и что с ними буду делать!

Но тут другая, толстая кассирша тоже, выглядывая из окошка, начала объяснять, что мне нужно прийти со старшими, и они на мое имя имеют право получить, если заверят доверенность... А доверенность можно заверить у нотариуса... Это все не сложно...

— Ты где живешь? — спросила одна.

— Ты москвич? — спросила другая.

И хоть Сандра ткнула меня локтем, чтобы я не выдавал наш поселок, мало ли зачем они спрашивают, я ответил:

— В Голятвине... живу.

— Это где? В области?

Я не знал ничего про "области", но кивнул.

Я устал их слушать. Но кивал им все время. Дело ясное, что дело темное. И еще подумал про себя, что голятвинские знают, как это делать, они чикаться со мной не будут, а тут же денежки все загребут! Мы-то их тоже знаем!

Но женщины обрадовались, что я все понял, и вернули мне книжку и метрику. Вернули, хотя, конечно, могли не вернуть!

— Сделай, как мы говорим, — наставляла толстая. — А книжку спрячь подальше, это документ.

Я опять кивнул, и мы вышли, нет, выскочили поскорей наружу.

## 26

Облегченно вздыхая, мы стояли у кассы, радостные оттого, что от нее освободились.

"Хорошие люди", — сказал бы Мотя про кассирш. Спасибо им, легавых не вызвали!

Мы все трое — и Сандра, и Хвостик, и я — не сводили глаз с дома напротив, где, ничего обо мне не ведая, жила-была моя родня. Или — взбрело в голову — осчастливить ее, прийти да заодно и книжку эту ненужную всучить? Берите, пользуйтесь, если родня, мне не жалко!

— Серый! — спросил Хвостик. — А почему тебе денег не дали?



Я еще раз пересчитал этажи, а ему ответил:

— Не вышел ростом! Мало каши ел!

— Так нам не давали! Кашу! — сказал с обидой Хвостик.

— Ну, может, сейчас дадут! — и я решительно пересек дорогу, направляясь к дому родни.

— Вы со мной?

Сандра и Хвостик согласно кивнули. Они хотели тоже видеть мою родню. Не каждый день нам ее показывают! А может, и блинами угостят? Без чая! Чай на подносике у нас не проходит!

Мы поднялись на самый верхний этаж, десятый, и постучались. За дверью послышались шаги, но никто нам не открывал.

Мы стукнули еще. За дверью ходили, бормотали голоса, даже один раз громыхнули замком. Наконец стали отпирать. Отпирали долго, но так почему-то и не отперли. Зато мужской голос спросил:

— Кто?

— Это я, — сказал я, не зная, как объяснить про себя, не рассказывать же через запертую дверь.

— Кто — я? Назовитесь!

Тогда я догадался спросить:

— Егоровы тут живут?

— Какие Егоровы? Вам кого нужно-то?

— Егорова нужно, — ответил я решительно и вдруг перестал волноваться. В самом деле, чего это я дергаюсь, как головастик на крючке! Я уже громче добавил: — Откройте, я все объясню!

Опять загремел замок, и послышался женский голос: "Цепочку! Цепочку накинь! Сейчас кругом бандиты!"

Тут приоткрылась дверь, но едва-едва, и в щелочку выглянул мужчина, лысоватый, в очках, почти таких же золотых, как у нашего Чушки.

— Ах, тимуровцы! — воскликнул он облегченно. — Но мы все уже отдали! Правда! Даже старый самовар!

— А вы Егоров? — спросил я мужчину.

Он недоуменно посмотрел на меня.

— Я тоже Егоров... Сергей...

Я видел, он уже собирался захлопнуть перед моим носом дверь, но вдруг растерялся, замер от неожиданности.

— Сергей? Какой такой Сергей?

— Ну, сын вашего брата... Антона...

— Брата? — пробормотал мужчина. — У меня нет брата! — и он глянул на Сандру с Хвостиком. Я видел, что он вдруг насмерть перепугался. Даже очки у него вспотели.

Он в момент захлопнул дверь, но тут же распахнул и велел войти. При этом подозрительно оглядел площадку, где мы стояли. Дверь за нами он тут же запер. Мы очутились в прихожей, где висела одежда и сверкало огромное, выше моего роста, зеркало. Мы стояли, и мужчина перед нами стоял, будто загоразживал от нас коридор и проход в комнаты. А из-за спины мужчины выглянула женщина, ростом она оказалась выше его, пышная, в цветном красно-алом халате. Я почему-то подумал, что в таком халате нужно в ихнем метро ездить, а не дома сидеть, где никто не видит, какой это красивый халат.

Я думал о халате, но я всегда в такие напряженные моменты о чем-нибудь постороннем думаю.

— Андрей! Это кто? — спросила женщина громко, так, будто нас тут не было. — Почему ты пускаешь в дом кого попало?

Мужчина поправил какие-то диковинные резинки на плечах, это у него так штаны, оказывается, держались, и сказал женщине:

— Дильбара, успокойся... Это сын Антона... Понимаешь? Сын... Антона... Пришел...

— А разве его не зарезало поездом? — удивилась женщина, мельком посмотрев на меня.

— Да, да! — проговорил торопливо мужчина. — Нам ведь сообщили, что ты, это... Что тебя, как бы сказать... ну, задавило...

Я молчал. Надо ли мне им объяснять, что меня никто не давил? Но ведь и так видно, что я целый, потому к ним и пришел.

— А что ему надо? — поинтересовалась Дильбара, которая так странно звалась. — Почему он к нам пришел?

— Мне дали ваш адрес, — ответил я. — Вы же родственники?

— Мы? Родственники? — закричала Дильбара. — Кто сказал, что мы родственники? Мы твоего Антона не знаем! И не слышим! Из-за него Андрей чуть работу не потерял! А он профессор, между прочим! Он декан! Он письмо в ЦК написал, что с братом не якшались и мы его знать не хотим! Среди нашей родни не было никогда предателей! Одна паршивая овца завелась!

— Дильбара, — попросил мужчина, поворачиваясь то к ней, то к нам. — Ты иди, иди... Я все объясню, как надо! Только без крика, ведь тут все слышно! Я потому их с площадки увел, что сразу напишут!

— Ну ладно, только пусть уходят, — произнесла Дильбара и сама ушла, на прощание сверкнув своим замечательным халатом.

— Вот, — вздохнул мужчина и развел руками.

При этом он смотрел на нас, а мы на него. Такой там чай со сладкими блинами да с подносиком! Было ясно, что он ждет, пока мы уберемся. Но у меня еще было дело. И я на прощание сказал:

— Отец мне деньги оставил... На книжке... Вы их не хотите?.. — и протянул книжку.

Мужчина вздрогнул, как от удара. У него даже щеки покраснели. Но книжку взял и заглянул в нее. И сразу стал белей стенки.

— Дильбара! — позвал жалобно. — Тут вот Антона деньги...

Дильбара вышла, но уже не в халате, а в платье с розовыми цветами. На голове какая-то странная чалма, тоже в розах. Прямо как красавица из кино про багдадского вора... Нам один раз показывали!

— Какие деньги? Зачем ты взял? — вскрикнула она.

— Но тут... Посмотри!

— Не хочу смотреть, отдай! Отдай им!

— Но тут — сто тыщ!

— Хоть двести! Господи! — закричала Дильбара. И вдруг разразилась слезами. — Мало я тебя из-за этих Егоровых вытаскивала! Мало за тебя просила! Ты хочешь, чтобы они тебе снова внушали, что ты деньги у предателя взял! А откуда известно, что это "не оттуда" деньги? Ты меня понял? Донесут! И мы — пропали!

Мужчина вздохнул, отдал мне книжку.

— Ты вот что, — проямлил. — Ты матери отдай... Она возьмет... Она, это...дохлая совсем...

— Матери? — спросил я и вдруг задохнулся от догадки. — Какой... матери?

— Какой! Какой! Твоей! — крикнула Дильбара. — К ней, а не к нам тебе надо идти! А мы тебе никто! Понимаешь? Мы... ни-кто! Андрей, убери его скорей, иначе я сойду с ума!

Мужчина заторопился, стал надевать пальто.

— Иду, иду... Да, у меня дело... А по дороге я покажу, она тут, в другом доме живет... Пошли!

И в мгновение вывел нас из квартиры. Мы не успели попрощаться с красавицей Дильбарой.

27

Мужчина, непрерывно оглядываясь, провел нас дворами к двухэтажному, небольшому совсем дому, за спиной других домов.

Мне все время казалось, что он хочет что-то объяснить, но не решается. Он взглядывал как-то странно, даже жалобно, и тут же отдергивался, будто его било током! И ускорял шаг, а по лестнице на второй этаж он почти взбежал, даже задохнулся.

Но он нас не оставил, а сам постучал в дверь и, когда послышался женский хриплый голос, сказал:

— Антонида... Это ты? Я к тебе сына твоего привел... Открой, пожалуйста!

Я стоял ни жив ни мертв, но все видел и слышал. Я видел, как странно на меня смотрит Сандра, а Хвостик задрал голову и пытается понять, как же это произошло, что у меня оказалась мать. Ведь сегодня утром еще никакой матери не было. И вчера не было, и там, в Голяках, тоже не было. Да и правда, непонятно, откуда она вдруг появилась, если ее никогда не было!

Но я тут же подумал: раз была корзина, в которых детей пускают по реке, то была и мать. А как же иначе!

Из-за двери раздался голос, значит, это был ее голос. Голос матери. Так странно.

— Андрей, что ли? Кого ты привел?

— Сына! — повторил он и вытер пот со лба. Все-таки ему не так уж легко жилось, я сразу понял. И человек, судя по всему, он был неплохой, по выражению Моти, — вот не бросил, до матери довел и тут еще терял из-за нас время, когда ему надо куда-то идти.

— Сына? — спросил голос матери.

— Ну, твоего! Твоего! Сергея! Он жив, оказывается! — мужчина посмотрел умоляюще на меня: — Скажи ей, что ты жив! Ну?

— Я — жив, — сказал я деревянным голосом.

— Он жив! Жив! Открой!

Женщина, которая мать, там, за дверью, молчала.

Мужчина сердито стукнул кулаком:

— Ты откроешь, Антонида? Или нет?

— Нет, — ответила женщина.

— Почему?

— Я его боюсь.

— Почему ты его боишься?

Женщина помолчала.

— Боюсь... А ты не боишься?

Мужчина будто с ходу что проглотил. Даже ответить не смог. Потоптался рядом с нами и решил:

— Дальше сами... А мне пора! — и посмотрел на часы. Но опять же не ушел, а постоял, глядя на меня и часто моргая.

А потом мы остались одни. Мы стояли, даже не знаю зачем.

А женщина вдруг спросила из-за двери:

— Сергей? Ты тут?

Я кивнул. Я ничего не произнес, но она уверенно подтвердила.

— Я знаю, что ты стоишь. Ты один? Нет?

— Мы — трое! — крикнул в щель Хвостик. У меня голоса почему-то не было.

— Ну, вот видишь, — сказала женщина. — И все бандюки?

— Нет! Нет! — крикнул Хвостик. — Мы не бандюки, мы дети!

— Все равно. Я не открою. Я с твоим отцом и не жила, когда его забрали. А потом я написала, что я ни его, ни тебя не видела, и ничего про вас обоих не знаю. Я от тебя сразу отказалась. Так что ты уходи... Сергей... Мне и без тебя тяжело. Они ведь ничего не прощают. Они и дядьку твоего Андрея до сих пор тягают. Могут и посадить. Особенно если узнают, что ты нашелся.

— Антонида... Мы тебе не нужны? — крикнул в щель Хвостик и посмотрел на меня.

— Вы мне не нужны...

— Тогда мы пошли! — крикнул Хвостик.

— Идите...

Я достал сберегательную книжку и засунул ее в щель. И пошел. Но когда мы уже выходили со двора, я подумал, что к матери книжка может и не попасть, если кто увидит раньше. Я вернулся, взбежал на второй этаж, и точно: знакомый старичок с палкой, тот самый, что считал в кассе деньги, стоял у двери и держал мою книжку. Он так увлекся, что меня не заметил. Я вырвал у него из рук

книжку и побежал вниз. А он вдруг закричал мне вслед визгливо:

— Жу-лик! День-ги ста-щил! По-мо-ги-те!

28

О нашем отъезде из Голяков никто не узнал. Мы даже успели в поле два дня поработать. Про Москву Кукушатам рассказали немного. О том, что Кремль заперт, что товарищ Сталин ментами охраняется. И еще про Кукушкину, про ее слова, чтобы никого мы не искали. Никого уже нет в живых.

Думал, начнутся споры. Но никто из Кукушат с разговорами не лез. Хотя по глазам было видно, что каждый эту новость примеряет лично на себя. Только вслух обсуждать не хочет.

Но я и сам спасался, не хотел вопросов. Про родственников же, которые меня выперли, глухо молчал. И Хвостик, и Сандра велел молчать. Так же, как про встречу с матерью. Да и была ли мать? И мать ли это за дверью отвечала? А кто ее видел, что она мать? Кто?

Сандра всю обратную дорогу проплакала.

Я знал, что она плачет о тете Дусе.

Когда мы отыскивали наш вокзал и поезд, у третьего вагона торчал вместо тети Дуси мужик с хитрой рожей, конопатый, и только мы назвали тетю Дусю, послал нас подальше. А худенькая женщина от соседнего вагона окликнула нас:

— Вы Кукушкины? Дуся говорила про вас... Что вы придете! До Голятина... Я подмогу.

— А сама она где? — спросил я.

— Приболела, — ответила проводница.

А мужик из третьего вагона крикнул зло:

— Как же! В пьяном виде под колесо влетела! Такая у нее болезнь!

— Ты, Егор, молчи, — сказала с укором проводница. — Ребятам это неинтересно знать, — и увела нас к себе в вагон.

Теперь Сандра плакала, молча плакала о тете Дусе, которая, конечно, ни в какой не в больнице, раз под колесо попала... А еще она плакала потому, что в Москве у нее слезы накопились. У всех у нас слезы накопились. Я бы тоже в слезы ударился, да у меня после разговора

с тем самым голосом, что за дверью, внутри спеклось. Так спеклось — временами дышать не мог: грудь болела.

А вообще-то я про Москву понял: это как наш "спец"... Они думают, что живут в городе, а они запертые, как в "спеце", живут. И Сталин, если посудить, в "спеце" живет. Какая разница, снаружи его охраняют или внутри!

Получается: никуда из Голяков и ехать не надо! Везде одно и то же! Везде свои чушки и свои наполеончики, как бы они ни назывались. И везде мы виноватые. Только неизвестно, в чем мы виноватые. Вообще виноватые. Виноватыми такими родились, значит.

В той Истории, что я ношу за пазухой, сказано, что первое стихотворение, созданное человечеством, называлось: "Жалобная песнь для успокоения сердца". Там человек, наверное, шумер, раз они стихи-то написали, тоскует в своем одиночестве, не зная, кому он нужен в этом мире... Господи, неужели и тогда, когда только все родилось, было так плохо? Обидно, конечно, что само стихотворение не напечатано, но я его и сам бы придумал. Ведь чем-то сердце должно умиротвориться, если дальше жить нельзя, а жизнь еще продолжается... И ты даже не попал под поезд, который тебе уже приписали.

Про шумеров в Истории вообще непонятно написано: "Генетические связи не установлены". Исчезли, словом. А откуда пришли и куда исчезли, неизвестно. Как мы, Кукушкины. Произошли от кого-то, а от кого — неизвестно... В предчувствии своего исчезновения они и сочинили свою жалобную песнь.

Мы-то ничего не сочиним. Уйдем молча, немые, как Сандра, и никто нас не услышит. Не пропоем. Не прокричим свою жалобную песнь... Кому она нужна? Людям вообще не нужна правда. Им нужно вранье. Они хотят так жить. И они хотят, чтобы мы тоже так жили. То есть чтобы врали. А если мы не хотим их вранья, то мы и не нужны. Вот что мы после Москвы поняли.

Но вот о рождении — отдельно.

Я еще в поезде продумывал одну бредятину, которая меня мучила.

А Кукушат спросил:

— Вы видели мой документ о рождении?

— Видели, — сказали они.

— Так вот, через два дня будет шестое сентября.

— Ну и что?

— Так я родился шестого сентября.

— Ну и что?

— Это мой день рождения!

В общем, они меня не поняли. Я и сам не понял, что я хотел сказать. Но я знал: что-нибудь сделаю. До Москвы, до поездки, не сделал бы, а теперь мне все равно было. Потому что я другой вернулся. Как заново родился.

Когда мы в "спец" с поля возвращались, я от всех отстал и на станцию зашел.

Я запомнил тот подвал, где мы с Машей встречались. Спустился вниз по крутым каменным ступенькам и сразу увидел повариху, она стояла ко мне спиной, что-то поела из тарелки.

Я подозревал, что повара на кухне жрут всегда. Если бы я был поваром, я бы тоже жрал, напихивал бы в брюхо побольше, пока никто не видит.

Поварихе я сказал в спину:

— Здравствуйте! — чтобы она не подумала, что я подглядываю, как она тут жрет.

Она вздрогнула и повернулась ко мне.

— Филиппка можно увидеть?

С открытым ртом, не успев прожевать, она промычала и показала пальцем в потолок. Наверное, это означало, что Филиппок сейчас наверху, в ресторане. В общем-то я и сам мог догадаться, что он наверху, но в ресторан, я знал, меня одного никто не пустит.

— Вы его не позовете?.. Он мне нужен... Он меня знает!

Я ныл, а повариха жевала. А прожевав, чмокнула губами и произнесла хриплым басом:

— Так и побегу! — потом подумала и добавила: — Жди, если хошь, когда придет, — а сама ушла в свою поварню.

Я долго стоял столбом, пока не появился Филиппок, в руках у него была груда грязных тарелок на подносе. Он увидел меня, но не удивился и интереса ко мне не проявил, а занялся своим делом. То есть стал мыть тарелки. А я продолжал стоять.

Потом решил подать голос:

— Я к вам... По делу...

Филиппок ничего не ответил, даже головы не повернул.

— Я вот хотел показать... Чтобы посмотрели...

Филиппок наконец домыл свои тарелки, вытер о фартук руки и не спеша подошел ко мне. Посмотрел на книжку, опять вытер руки и стал после этого ее листать с вежливовнимательной миной. Прочитал фамилию, открыл страницу, где стояла сумма, и ничего в нем не изменилось. Он спросил, так же как спрашивал тогда у Маши в ресторане "Что будем кушать?":



— Егоров — ты?

Я кивнул.

— Чего же ты хочешь?

Я произнес давно заготовленное слово:

— Поесть.

— Сейчас?

— Не-е, шестого сентября...

Он не поинтересовался, почему именно шестого, но уточнил:

— Один? Вдвоем?

— Больше, — сказал я.

— Сколько же?

— Много, — повторил я. — Пятьдесят... А может, сто...

Его никак эта цифра не поразила. Он кивнул так, будто сто гавриков из "спеца" к нему приходят поесть чуть ли не каждый день. Но может, он не знает, что это именно сто гавриков из "спеца"?

Я добавил:

— Сто, как я... У нас праздник... Понятно?

Он не ответил, а с книжкой в руках ушел в соседнюю комнату. Вернулся вместе с поварихой. Сейчас она глядела на меня вовсе не как на стенку, а даже с интересом.

— Твоя книжка-то? — спросила она. — Али стащил у кого?

Я в общем-то ждал такого вопроса и сразу на него ответил.

— Книжка эта моя, — ответил твердо. — Вот моя метрика. Там написано, что я Егоров.

Повариха взяла метрику и показала ее Филиппку. Я подумал, что она сама, наверное, читать не умеет. Еще я заметил, что они между собой перемигнулись.

Она отдала мне метрику, а книжку оставила себе, засовывая в какие-то свои необъятные недра за пазухой.

— У меня-то сохраннее, — произнесла уверенно, будто каждый день ей приносили десятками такие сберегательные книжки.

— Но там много... Там и мне и вам...

— Конечно, — сказала она приветливо. — Поделим, как надо. Приходите.

— Но нас много, — снова напомнил я.

— Ну, ясно, что много.

— Когда?

— Ну когда хошь... Можете и с утра. В это время у нас ресторан закрыт. Вино-то пить будете? — и она опять как-то по-особенному взглянула на Филиппку.

— Вино обязательно, — решил я. — И еще, чтобы пришли эти... Ну, которые "соль! соль!".

— Будет вам соль, — пообещала весело повариха. — И перец тоже будет!

Филиппок при этом вежливо кивал, будто хоть сейчас готов был бежать, чтобы исполнить все мои пожелания.

## 29

В этот день среди "спецов" слышалось:

— У нас сегодня Серый родился! — и объясняли: — Ну, он из Кукушкина в Егорова родился!

В ответ пели:

— "И в кого я только уродился..." Тра-та-та, тра-та-та!

В ресторане, прямо на дверях, я посадил на хлебный мякиш свой документ, чтобы все, не только "спецы", а и проходящие какие мимо люди знали, в кого же "я только уродился!".

В самом верху плотной, зеленоватой с разводами бумаги прямо посередке стоял огромный герб, а рядом: "НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ".

Это уже мы знали: милиция! Она нас, бедная, пасла вон с каких пор! С родов, значит! Вот они и свидетельствовали, что, мол, такой-то и такой-то произведен на свет, смотрим, следим, наблюдаем: чего из него выйдет... то есть куда, мол, он покатится! А мы тут как тут — свидетели... Поэтому, небось, вверху крупно обозначили: "СВИДЕТЕЛЬСТВО".

И далее, судя по всему, обо мне: "Гр. Егоров Сергей Антонович родился (пась) 6 сентября 1933 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении в 1933 году 10 сентября месяца произведена соответствующая запись".

Как все равно поймали: "акт" составили и все, что надо! Чушка бы не смог пробурчать свое: мол, если в бумажке не записано, значит, не было! Было! Иван Орехович! Словили, пока и вякать по-настоящему не умел! Словили, ибо первородный грех в том и состоит, что родился и уже виноват. Перед всеми! И, конечно, перед милицией!

А чтобы, значит, не отпирался, туда еще двух свидетелей — и мать, и отца — написали. Да еще печатью заверили. И заведующий и делопроизводитель свои подписи обозначили. Не отопрешься, словом!

Когда я "Свидетельство" клеил и ждал, чтобы присохло, разглядел, там в самом правом уголке, наверху, еще одна надпись приделана: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Это они, наверное, к будущим беспризорным так обращались, зная, что придется нам в одиночку мыкаться. Вот и предупреждали в бумажке, чтобы мы не лазили куда в одиночку, в одиночку, мол, завалитесь, на шухере некому стоять будет. А вот объединившись, и шухарить, и тырить куда безопаснее! Так мы и не читая догадались: что шайкой или стаей орудовать-то лучше! Но все равно, спасибо за подсказку: мы и сегодня объединились! Как нас родная милиция призывает!

Я говорил проходящим:

— Гуляй, шантрапа! Мы сегодня объединились! "Спеццы" всех стран, объединяйтесь, чтобы нажраться! От пуга! Вот наш сегодняшний лозунг, и пусть кто-нибудь скажет, что он неправильный. Несите нам хлебово в белых тарелках, как белым людям! Морс и вино тащите! И пиликайте на своих скрипках-баянах! Да топайте ножкой... Соль! Соль!

И я закричал громко:

— Соль! Соль!

И все подхватили, завопили вслед за мной: "Соль! Соль!"

Ставьте уши на макушки,  
Слушайте внимательно,  
Пропоем мы вам частушки  
Очень замечательно!

Повариха толстая и тощий Филиппок приготовили все как надо: они выстроили в ряд столы и всякие там ложки-вилки притащили. Только скатертей белых не было. И я нахально им заявил, что мы, мол, не такие уж говнюки, отбросы или кусочки какие, чтобы без скатертей жрать! Мы, мол, без скатертей не приучены! А они лишь руками развели: понимаем, но скатери в стирке, и постелить нечего. А я тогда сказал, что на нечего и сказать нечего и мы уж как-нибудь перебьемся, хотя мы, повторяю, не привыкли! Мы не Чушкины свиньи, которые могут из любого корыта жрать! Но это, конечно, для форсу, потому что и повар, и сами "спецы" знали, что у нас никогда никаких сроду скатертей в "спеце" не было и ели мы именно как чушки у Чушки, то есть на грязных досках! Но в этом и был юмор, и все, кто слышал, про себя хихикали!

— Во, Серый дает! Качает, сучка, права! Родился, говорит, так подай, что положено! Белое ему подай, он уже серого не хочет!

А я продолжал:

— У нас привычка такая, мы к ресторанам привыкли! От того самого времени, как на нас "акт" составили, что мы попались!

И тыкал в "акт гражданского состояния", который дала милиция! Ни хрена себе, гражданское! Граждане начальники!

А "спецы", которые ввалились в двери ресторана, кучками, но как бы с оглядкой, чтобы не загребли раньше времени и по шеям не надавали, все читали мой "акт" о рождении и посмеивались. Но скорей от смущения посмеивались, потому что не знали, что им у дверей делать и куда идти. А я стоял и показывал им на картину, которая на стене, кричал:

— Видите! Мишки-то гуляют! А мы чего... Если мы родились, то мы тоже гуляем!

"Спецам" ужасно понравилось, что мы все родились. И они тогда стали повторять и громко вопить:

— Серый! Я сегодня родился тоже!

— И я! И я!

"Свидетельство" отколупали от дверей и стали показывать за столом друг другу, чтобы правда посмотреть, когда я родился, и все, кто пришел, как бы родились тоже. А некоторые для верности, чтобы не забыть стали переписывать и вместо моего имени свое ставили. Они себе сами "Свидетельства" выдали.

Правда, выходило, что их родили мой отец и моя мать (там стояло Антон Петрович и Антонида Григорьевна), но это никого не волновало.

Ведь кто-то их все-таки родил!

В это время понесли жратву: три ведра винегрета, бачок с вареной картошкой и тазик с квашеной капустой. Еще принесли кусками хлеба и сала!

Прямо как при коммунизме!

Я смотрел и удивлялся, что в наших забытых Богом Голяках такое жратье есть! И не успели до нас схавать! Мы-то уж никому ничего не оставим!

На самой любимой в мире картине, хоть я других и не видел, мишки пировали в лесу, может, у них тоже по "акту" день рождения был! Шамовку в лесу давали!

Я смотрел на мишек и на "спецов" смотрел, как они сидели за столом, не зная, что поначалу делают в рестора-

не на таком празднике: шарапят сразу, а может, ждут, пока им сигнал выйдет! И я им тогда крикнул:

— Братва, жри! Мы родились!

И все тогда набросились и стали хавать, что на столе лежит. А тут скрипач Марк Моисеич заиграл чего-то такое, что жрать стало еще веселей. Он играл, и Роман на баяне играл. А потом скрипач пошел прямо ко мне, я в самом конце стола сидел. Он встал у меня за спиной и заиграл что-то другое, уже не веселое, а грустное. Будто это даже не музыка, а какой-то странный плач по чьей-то жизни, может, даже по моей. Или по остальным тоже. И это было так непривычно, что все хоть и жрали и не торопились оставить свое занятие, но потом удивились и замолчали, уставясь на скрипача. Еще бы, не каждый день такое увидишь! И услышишь!

Господи, что же со мной такое происходило! Может, все думали, что я буду плакать вслед за музыкой, но мне вовсе не хотелось плакать. Я даже о жизни своей не вспоминал!

Я на музыканта не смотрел, а слушал, уставясь в стол. Я знал, что надо что-то о себе вспомнить, но я, честно, ничего не вспомнил.

Я забыл, правда, что я в ресторане, что сижу среди "спецов", мне привиделось, будто я нахожусь у себя дома. А дом мой очень похож на дом Кукушкиной, и столик такой же, на кривых ножках, и диван с зеркальцем, и буфет резной. Все похоже, в общем. А рядом со мной и, конечно, с Кукушкиными сидят отец и мать, и всякая там родня в лице дяди Андрея, который все от смущения потеет и вытирает пот рукавом, и красивой в своем замечательном халате тетки Дильбары. А стол накрыт скатертью, белой-белой, а на скатерти стоит подносик с чашками узорными и с чайником, и еще стоят блины. Сладкие такие блины высокой горкой, по несколько штук на каждого. Пусть берут, раз пришли, я нежадный!

Но они не едят, а смотрят все на меня, а в их глазах любовь. Никогда это слово не приходило мне на ум. Я даже не знаю, откуда оно во мне взялось. Я ведь про любовь не думал и ничего про нее не знаю. Ну, то есть я, конечно, знаю, что любовь — это когда на экране в конце фильма целуются и пора убираться из зала. Ну и, конечно, в зале взрослые в темноте тоже целуются, и все, когда зажгут свет, делают вид, что они не целовались.

Но вдруг я понял, что любовь, — это когда все родные приходят к тебе домой, чтобы поздравить тебя с рождением!

“ Не как “пролетарии”, которые “всех стран, соединяйтесь”. А когда соединяются в твоём родном доме просто люди.

Впрочем, я это все придумал, пока играла скрипка. А на самом деле, конечно, ничего такого никогда не бывает. Дурость, словом. Я опомнился, когда Марк Моисеич отложил смычок и погладил меня по голове. Вот он, наверное, и правда любил меня в этот день! Я поглядел на Кукушат: поняли ли они что-нибудь про любовь или не поняли ничего? И что же они поняли вообще, когда играла скрипка?

Мне изо всех сил захотелось, чтобы они тоже, тоже почувствовали про любовь. Я повернулся к Марку Моисеичу, который инструмент настраивал, дрынкая струной:

— А можно? Для них?

Он наклонил ко мне свою птичью голову, прямо дятел в очках, и переспросил:

— Не расслышал, простите... Чего изволите?

Я повторил громче:

— Я хочу, чтобы для них, для всех, вы чтобы сыграли..

— и добавил для вескости: — Они ведь тоже родились!

И все, слышавшие наш разговор, завопили:

— Мы тоже! Мы тоже хотим! Мы родились! Правда!

Марк Моисеич, наверное, понял, что я очень его прошу

Он оглянулся на кричащих, потом пристально посмотрел на меня, о чем-то раздумывая. И вдруг энергично согласился:

— Ну, конечно! Я для них сыграю!

И тут же чиркнул смычком за спиной у Сандры, которая сидела рядом со мной, и снова музыка заплакала. Хотя мне сразу показалось, что она плакала не так, как моя музыка. А по-другому. Но, может, так и должно быть. Что у всех свой плач по любви, который мы не знаем.

И все опять перестали лапать закуску и во все глаза смотрели на Сандру и на скрипача, игравшего теперь у нее за спиной. Я не отрываясь смотрел на Сандру, пытаюсь догадаться, кого же она пригласила на свой день рождения.

И вдруг понял: никого!

Сидела одна за белой скатертью и ненавидела всех, кого бы могла пригласить.

А потом Марк Моисеич встал за спиной у Моти и у Корешка. Он им на двоих одно играл, а я сразу понял, что Мотя пригласил всех, всех, кого считал добрыми. И Корешок их всех принимал, потому что все Мотино было и его

А когда Марк Моисеич оказался перед Хвостиком, тот подскочил и встал прямо перед музыкантом, сияя так, что рот растянулся до ушей. Так они стояли друг против друга, а Марк Моисеич вдруг мудро улыбнулся и заиграл колыбельную: "Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни..."

А за моим столом, кроме отца, матери, родни и Кукушкиных, оказались все Кукушата. А за ними, в дальнем углу, будто зашел ненароком, присев на краешек стула, товарищ Сталин... Наш родной отец. Он положил на столик перед собою кiset и тихо, скромно посиживал, набивая трубку и кося в мою сторону исподлобья рыжим добрым глазом. А когда все опомнились и захотели ему аплодировать, он отложил трубку и коротким жестом остановил аплодисменты... "Нэ надо... Друзья! Сэгодня нэ мой праздник, сэгодня его праздник... Так давайте его поздравим, скажем дорогому Сергэю Егорову, что мы все, все, кто здэсь пришел, любим его, как сына!"

Да, пока играла скрипочка для Хвостика, но она для меня и для каждого играла, я осознал навсегда, до конца, что мы все любим Сталина, а он любит всех нас и, конечно же, меня. Все могут разлюбить и покинуть, кроме, конечно, Кукушат, но товарищ Сталин никогда! Он всегда и для всех! А то, что мы не попали в Кремль, вовсе ничего не значит. Зато его можно пригласить к нам, сюда, на день рождения, как я сейчас пригласил его за мой тайный, никому не зримый, но оттого вовсе не менее реальный стол.

### 30

Марк Моисеич ушел в свой угол отдыхать, ему и баянисту тоже подали винегрета с салом. И тогда "спецы" торопливо стали есть, некоторые достали свои самодельные ложки, вилок они не знали, а некоторые ели руками.

Но кто-то захотел петь, чтобы выразить громко свое чувство, а песен в нас напихано столько, не счесть, на сто дней рождения хватит!

И, будоража зал знакомой мелодией, завели "Серезу". Там, в общем-то, один запеваает, как бы рассказывая о разных похождениях, а остальные хором повторяют: "Сереза! Ну и что же!".

Захожу я в ресторан,  
Се-ре-жа!  
Пару пива заказал,  
Ну и что же!  
Пару пива я испил,  
Се-ре-жа!  
И на дело покатил...  
Ну и что же!

Все, конечно, поняли намек на этот ресторан и на мою поездку в Москву... Куда я "на дело покатил..."

Потом стали просить, чтобы спел Сверчок. Он у нас среди "спецовских" самый левун, потому что знает все песни, какие только существуют, и даже не существуют. Некоторые почему-то думают, что он сам сочиняет свои песенки. У Сверчка, как у девчонки, тонкий, жалобный голос, и если бы с ним пройти по поезду, как мы проходили с Хвостиком и Сандрой, то ему бы набросали еще больше, чем нам! Он любого прошибает своим пением и своим пронзительным голосом. Сверчок часто поет не только наяву, но и во сне. Тогда мы просыпаемся и лежим, не спим, слушаем его песни. Но вот какое диво: Сверчок наяву своих песен из сна не помнит. Во сне он поет одни, а наяву — другие. И те, что из сна, нам нравятся больше. Может, они из той жизни, которой сам Сверчок не помнит?

— Сверчок! — кричали ему со всех сторон. — Проголоси!

Сверчок никогда не отказывается. Он привстал, чтобы видеть всех нас, и завел песню про железную дорогу, тут на вокзале она прозвучала как своя.

Идет состав за составом,  
За годом катится год,  
На сорок втором разъезде лесном  
Старик седой живет.  
Давно живет он в сторожке,  
Давно он сделался сед,  
Детей он взрастил, внучат обучил  
За эти сорок лет...

Ну, в общем, песня про старика, который живет в глухом углу, как мы тут в Голяках, а потом какие-то враги хотят разрушить путь. Враги, как известно, вокруг нас, и на железной дороге их тоже много. Их-то старик и повстречал. Хорошо, что при нем молоток был...

Хватает он молоток свой,  
Волной вздымается грудь.  
Пусть жизнь он отдаст, но только не даст  
Врагу разрушить путь...



Ну, а дальше они того старика хотели убить, но вовсе не убили, он вышел из больницы, уже со шрамом, и едет по этой дороге в Москву.

К наркому пути поехал наш герой...  
Его на дальних разъездах  
Встречают, словно отца...

Ну и, конечно, припев, такой будоражащий, всем стало жаль старика.

Дальняя дорожка, поезд, лети, лети,  
Спи, моя сторожка, на краю пути...

Тут меня окликнул Мотя и стал что-то говорить, но я его не мог слышать.

Он пересел поближе и спросил прямо в ухо:

— Серый! Так она вправду так и говорила, чтобы мы никого не искали?

— Кто она? — спросил я.

— Кукушкина... Она так и сказала: не ищите, да? Не надо искать?

Мотя все, конечно, уже слышал про то, что сказала Кукушкина. Но что-то его тревожило, не давало спокойно жить и радостно праздновать наш день рождения.

А может, его эта песня про врагов народа взволновала?

Я снова повторил то, что помнил. И про почки тоже говорил, про то, что мы почки от мощного дерева... Нет, не мощного, а могучего, она так, кажется, сказала.

— А дерево кто? Это отцы? Да? Значит, она хотела сказать, что у нас могучие отцы? — настаивал он. — Они такие, как этот сторож... Или как твой Егоров?

Ох, ты, жизнь моя косолапая,  
Вся душа болит, кровь капает...

Мотя теперь кричал мне в самое ухо:

— Ты помнишь, как мы в школе ходили на уроке военного дела стрелять, а они там, на стрельбище, поставили вместо мишеней всякие портреты... Помнишь? Ну, когда мы палили во врагов народа... которые немецкие шпионы и предатели...

Я помнил, хотя это было давно, я уже не знаю, в каком классе. Нас повели на уроке военного дела на пустырь за школу, где поставили вместо мишеней портреты разных там предателей, я всех не запомнил.. Но запомнил мар-

шала Блюхера и маршала Тухачевского, потому что их портреты висели раньше в школе и мы их проходили на уроке. А в тот день мы с азартной радостью палили в них, из мелкокалиберки, как палили бы в Гитлера или в Гейделя, а кто-то из наших, кажется, Бесик, в приступе ненависти кинул даже камень и разворотил Блюхеру его мордovorot. Все заржали, а военрук, старше нас всего на пять или шесть лет, но уже побывавший на фронте и контуженный, поощрительно произнес:

— Так их, гадов! Бей, чтобы не жили! Даю по лишнему патрону! Для этих сук и патронов не жалко... — и он скомандовал: — По врагам-предателям, фашистским наемникам пли!

И мы выстрелили, а потом с криком "ура!" пошли на врагов в атаку и стали бить кулаками и палками, но тут военрук с улыбкой нас остановил и сказал, что не мы одни такие горячие, и из других классов тоже захотят убить врагов.

— Ты в кого стрелял? — спросил почему-то Мотя.

— Не помню.

— А я помню... Но я мимо него стрелял.

— Мимо... кого?

— Ну какая тебе разница? Я целился выше головы. Мне его жалко стало.

— Фашиста? Жалко?

Мотя пожал плечами и отвернулся.

— Вообще жалко. Они как живые.

— Да их же давно расстреляли! Сам военрук говорил!

— А мы тогда что делали?

— Мы же расстреливали портреты!

— А какая разница? — сказал Мотя. — Вот ты бы в лицо мог бы кому-нибудь пальнуть?

— Не знаю, — сознался я.

— А в Чушку? А в Наполеончика?

— Не знаю... Правда.

— А я знаю. Я не смогу, — и вдруг Мотя добавил, странно скосив глаза: — А вдруг на портрете — отец?

— Чей отец?

— Твой!

— Мой отец — Егоров! — крикнул я Моте. — Как я мог стрелять в него?

Мотя вздохнул лишь, покачал головой. Ничего мол, ты не понял. Но я понял, я все понял. Он хотел сказать, что если мы почки от могучего дерева, то это дерево может быть даже маршалом Блюхером или еще кем. Но тогда бы

выходило, что предатель и есть могучее дерево, а он не может никем быть, ибо предатель только предатель, и никто больше. И я в него стрелял, не мимо, а в лицо, радуясь, что еще раз убиваю предателя. А Егоров вовсе и не предатель, Маша сама говорила.

Тут я понял, что запутался, потому что его арестовали тоже, как предателя, а то, что говорила Маша, — это ничего не значит. Или значит?

Мотя, наверное, уловил мои сомнения и опять прошептал, я едва его расслышал:

— Скажи, Серый, а что лучше: иметь знаменитого отца, который предатель... Или... Или лучше вообще... никого не иметь?

Я не стал отвечать на такой вопрос, хотя знал, что могу ответить. Но я сказал иначе, чем думал. Я отшутился:

— Лучше всего иметь знаменитого отца, который не предатель!

## 31

Интересно, когда скрипач Марк Моисеич играл для Моти, кого тот собрал за своим столом?

Оглянувшись, я обнаружил прямо за спиной у себя Филиппка. Я совсем забыл о его такой особенности — возникать неслышно, особенно если ведется разговор.

Филиппок поймал мой взгляд и натянуто в усики улыбнулся.

— А где вино? Которое обещали? — я вдруг разозлился. Хотел еще что-то добавить, покрепче, как Филиппок встрепенулся и мигом пропал с глаз. Но вскоре появился с графинами, а повариха раздавала стаканы и кружки, и только мне бокал. Наклонясь к уху, стала объяснять, что с вином они, конечно, опоздали, но лишь потому, что побоялись, как бы не напиться без закуски раньше времени и не окосели.

— Ну и что? — сказал я. — Пусть косеют.

Это наше вино и наше косение.

Так бы ей выдать, да она меня все равно не слышала, торопилась обойти столы. А Марк Моисеич в углу крикнул бойко свое знаменитое: "Соль! Соль!" — и все ребята захохотали. Все поняли, что он это нарочно, чтобы привлечь внимание.

А когда стихло, он рванул, ударив ножкой, такую плясовую, что вся наша застольная братия завизжала от сча-

стья! Как поросята Чушки, когда им приносят любимое варево! "Спецы", конечно, узнали мелодию знаменитой "Мурки"! Сидя за столами, все стали притоптывать в две-сти ног, а потом не выдержали, сорвались с места, пошли куролесить, истязать зал. Кто-то, встав на четвереньки, изображал медвежонка, выбрав вместо ствола стол. Двое, обступив баяниста Романа, стали помогать ему растягивать меха баяна. Один, самый голопузый, прямо посреди зала изображал танец живота. Разбившись на кучки, ребята резались в "очко", в "буру", а самые голодные никак не могли отстать от бачка с винегретом, который оставался, они напихивали его в карманы и за пазуху, а попутно еще и в рот, хотя в рот, было видно, уже не лезло.

Филиппок молча наблюдал за нами издали, не вмешиваясь в веселье. Повариха торопилась собрать тарелки, те из них, что были еще целы. В какой-то момент придумали мочиться в кадку с фикусом. Это было встречено общим одобрением, и все захотели помочиться в фикус, чтобы удобрить дерево, которое без "спецов" тут бы и зачахло, но Филиппок деликатно отвел любителей природы в туалет.

Я тоже захотел вдруг пойти в туалет. Я спустился в подвальное помещение, где стояли белые, будто тарелки, толчки, еще не обосранные нашей шантрапой, они сюда не добрались.

Я присел на один из них, желая представить, как делают в такие стекляшки, из которых и воду попить не зазорно, но мысль свою я не додумал, потому что погрузился в сладостный сон.

Проснулся же оттого, что меня будил Хвостик, он тормозил меня, зачерпывал воду из толчка и плескал мне в лицо.

— Серый! — кричал он, я уже знал, что он меня не бросит. — Там уже все разбежались, а тебя ищут!

Я не понял, кто же меня ищет. Вслед за Хвостиком я поднялся по лестнице на несколько ступенек вверх, но споткнулся и упал назад и засмеялся, потому что не было больно.

Я смеялся себе, что хочу идти вверх, а иду вниз, и такая наша "спецовская" жизнь, что вверх идти ни у кого не получается. Только вниз! В это время Хвостик вернулся с Сандрой и Ангелом. Они помогли мне подняться и вывели через какую-то дверь прямо на улицу. Было темно, сверкали звезды. Я уже понимал, что меня волокут в "спец", и стал упираться.

— Ну постойте же! — попросил. — Они же поют... Вы слышите?

Сандра и остальные прислушались, но ничего не услышали.

— Ну вот же! — закричал я. — Там вдали, за рекой раздается по-рой... Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Голос лился с небес, словно скрипочка играла для меня и ангелы пели своими ангельскими голосами.

А потом я спал, я это точно помню. Это было уже в "слепце". И вдруг я увидел зеленый яркий луг в цветах, ромашках и колокольчиках, а прямо по нему, по мягкой тропке мы идем отрядом, взявшись за руки. Сверкает солнце, отблескивая зайчиком в реке, и все кругом сияет и переливается. А мы взмахиваем руками, вверх и вниз, в такт нашему шагу и нашему настроению, и поем, поем... Ах, нет, это нельзя рассказать или спеть, такие голоса не выдумаешь, они только бывают в раннем детстве, в солнечный день, на цветастом, сверкающем на солнце лугу.

И только в детстве. Только в детстве!

Там вдали, за рекой  
Раздается порой  
Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...  
Это птичка поет  
Под ракитовым кустом  
Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...

Наш луг огромен, как мир, и он так же прекрасен. В нем мы всех любим и все любят нас. И нет этой радости и любви конца. Как нет конца этому золотому дню.

Господи! Господи! Гос-по-ди!

Спасибо!

А куда же мы такие счастливые идем? Разве ты не помнишь? Ну, так я тебе скажу, и ты вспомнишь: это же родительский день! Ну? Ро-ди-тель-ский день! Ну? Ну?

Ага, дошло! Сейчас мы с прогулки вернемся домой, вместе с пионервожатой Любой, у которой золоток венка на голове, а нам скажут: "Приехали! Приехали!" И мы, как футболисты, ринемся к воротам, туда, где уже стоят на травке люди с сумками, и они нам издалека радостно, изо всех сил машут! Скорей!

Я вглядываюсь в них, даже глаза слезятся, но я никак не могу разобрать их лиц... Какие они? Мои родители? Мать? Отец? Вот-вот увижу! Скорей! Скорей!

Господи, ну помоги же! Помог!

И просыпаюсь в слезах.

По дороге в школу Мотя меня спросил:

— Ты Корешка не видел?

— Вчера, — сказал я. — А сегодня я и тебя не разбираю... Почему-то в глазах плывет.

Я хотел еще спросить: "Как же ты его потерял?", — но не решился. Мотя и так был расстроен.

На уроке Ужа, когда тот затеял читать своего Сабонева под названием "Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб", Мотя поднял руку:

— А вопрос можно... Иван Иванович?

Уж оторвался от книги.

— О чем вопрос, Кукушкин? — он нас не помнит, но на всякий случай, чтобы не ошибиться, называет Кукушкиными. И, в общем, не ошибается.

— О военном деле.

Это так у нас урок называется: "Военное дело".

— Если по существу...

— По существу, Иван Иванович. Вот в позапрошлом году мы ходили на стрельбище... учились стрелять!

— Ну? — нетерпеливо сказал Уж.

— А там вместо мишенной портреты врагов народа.

— Чьи? Чьи портреты? — переспросил Уж, напрягаясь.

Если бы он не стал спрашивать: "Чьи портреты", — может, Мотя и проглотил бы их имена, и все прошло бы спокойно. Но Уж, как у нас говорят, сам подставился. И Мотя тут же назвал предателей: Тухачевского, Блюхера, Ежова... Кого-то еще.

— А я стрелял в Ежова! — крикнул громко Бесик.

— А я в Блюхера!

— А я в Берю!

— Врешь! Берия пока не изменник!

— А кто же изменник? Лысый, в очках!

— Может, Тимошенко?

— А Тимошенко разве изменник?

— Ну, их там, правда, много было... В нашем классе каждому дали по изменнику.

— Их не было! — спохватившись, быстро сказал директор.

— Предателей не было?

— Не было!

— Но мы же стреляли, Иван Иванович... Значит, были...

— Были... — в панике произнес он. — Но нам ничего не известно!

— Вот я и хотел узнать, — настаивал Мотя, — что же известно? Где они сейчас?

— Нигде, — ответил Уж и мельком посмотрел на дверь.

— А их семьи где? У них же остались семьи?

— Не было семей... Ничего у них не было!

— И детей не было?

— И детей не было! Никого не было! — Ужа прямо-таки корчило от Мотиных вопросов. Он отвечал, а сам не сводил глаз с дверей, будто оттуда ждал помощи, а она не приходила. А я вдруг подумал, что Мотя раньше таких вопросов не задавал. Он до нашего возвращения из Москвы был другой. Еще до вчерашнего дня рождения. Это его какая-то муха-цэце укусила.

— Значит, детей у них не было? — Мотя бил в одну точку, как из винтовки на стрельбище. — Они все бездетные были? Или больные?

— Не помню! Не знаю! Ничего, ничего не было! — взволнованно бормотал Уж, сжимаясь, как от удара. — Это все ужасно! Ужасно! Не надо об этом!

На лице Ужа и точно застыл непробиваемый ужас. Даже стало его жалко. Мотя это понял и сел.

— Они как сговорились, — произнес он, повернувшись ко мне, но тихо, шепотом. — Кукушкина твоя говорит: "Не ищите, их нет..." И Чушка долдонит, что никого не было. И этот, сам же слышал: "Их, — говорит, — вообще не было!" А если их не было и никого до нас не было, то нас не было и подавно! — и с каким-то несвойственным ему остервенением Мотя добавил: — Тебя тоже, Егоров, не было! Хотя ты и рождение празднуешь! — Мотя сказал и опомнился, оглядывая класс. — Но где же наш Корешок? Может, и его тоже никогда не было?

— Вчера... был, — буркнул позади нас Шахтер, слышавший, наверное, все, что шептал Мотя. — А ночью его не было.

— Может, там остался?

— Но он же не пил?

— Не знаю... все канючил... на горло жаловался... Мне показалось, что он раньше нас попал домой.

— Или в лазарет?

— Или в карцер?

— Или в милицию?

После урока мы с Мотей заглядывали на станцию, рискуя опоздать на обед.

Со стороны ресторана мы не пошли. Не решились пойти. Это вчерась мы были тут как хозяйева и ходили, где

хотели! Хоть на голове. А сегодня мы для них опять шантрапа, могут запросто погнать взашей! Как часто гнали!

Мы зашли со стороны подвала, спустились по знакомой мне лестнице и увидели повариху. Как и в прошлый раз, она стояла к нам спиной и что-то жевала.

Мне вдруг тоже захотелось есть. Надо бы вчера, как некоторые запасливые "спецы", винегрета в карман написать, тогда бы сегодня не пришлось самому себе завидовать. А то показали нам жратву ведрами, а мы, придурки, сразу и разомлели, ах, как много! Ах, коммунизм! Теперь-то мы на всю жизнь нажремся!

А на всю жизнь не нажрешься, с детства известно.

Это все промелькнуло в уме, пока я смотрел на жующую повариху. На этот раз она сама услышала шаги, повернулась.

Сразу сказала:

— Именинник явился! А мы-то вчера искали, искали... А за тобой, между прочим, должок... Мой дружок!

И при этом почему-то сурово посмотрела на Мотю, считая, наверное, что он пришел меня защищать. Я тоже растерянно оглянулся на Мотю, такой поворот дела застал меня врасплох. Почему-то я считал, что, отдав свою книжку, я с ними рассчитался.

— Но я же вам отдал...

Она меня оборвала.

— Что ты отдал?

— Я вам книжку отдал!

— Ах, книжку! Вон твоя книжка! Можешь забрать себе на память! — и она указала на стол, где и правда среди грязной посуды никому не нужная валялась моя сберегательная книжка. Ее даже не обернули в бумагу!

Мотя посмотрел на меня и быстро забрал книжку. И спрятал.

— Но там деньги, — опять сказал я. Но, кажется, я уже и сам понимал, в чем дело. — Мне отец их оставил.

Повариха злобно крикнула:

— Вот вам деньги! — показав фигу. — Это мы-то, дураки, решили, что там деньги! Кормили и поили всю кодлу!

Мотя спросил:

— А разве этих денег нет?

— Есть! Не про нашу честь. Вы зачем зашли-то? — сурово произнесла повариха и помахала рукой. И тут, как из-под земли, рядом с ней возник Филиппок в белом халате.



Он не поздоровался, даже не кивнул, а не мигая смотрел на нас, как смотрят на стену.

— Мы, в общем, зашли... Мы ищем Корешка... — пробормотал Мотя, теряясь от странного, неподвижного взгляда Филиппка. — Вы его не видели?

— Кого? — поинтересовалась повариха. — Какие еще корешки?

— Его Сенька зовут... — напомнил я. — Золотушный такой... Может, случайно остался... заснул или...

Повариха сразу сказала:

— Золотушный у нас... Случайно! — и взглянула многозначительно на Филиппка.

— Ну вот, а мы обыскались, — оживился Мотя. — Мы за ним пришли.

— Приходите за ним с деньгами, — ответила повариха.

— За ним... Что? — нам показалось, что мы оба — Мотя и я — ослышались.

Но повариха вела разговор круто, хотя голоса не повышала:

— Так разве я непонятно говорю?.. Как должок принесете, так своего дружка... золотушного... получите!

Я увидел, что Мотя бледнеет, но и сам я выглядел, наверное, не лучше. С нами разговаривали, как с какими-нибудь проходимцами.

— Сколько мы должны? — спросил я чужим голосом.

— Да все, что у тебя там в книжке.

— Сто? Тыщ? — воскликнул Мотя потрясенно.

Повариха опять посмотрела на Филиппка.

— Думаешь это много? А вас сколько было? Да жрете вы каждый за троих... А еще с собой тащите! Потом музыка... Вы просили музыку?

Я кивнул, потупясь. Мне казалось, что меня ударяют чем-то тупым по голове... Ужасно больно, а она все бьет и бьет:

— ...А посуды сколько расколотили! А приборов, ложек-вилочек сколько унесли! Цветы в кадке поломали... Ты вот что посчитай, тогда поймешь, что мы еще в убытке окажемся!

— Но вы тогда не говорили...

Повариха сильно удивилась, толкнула локтем Филиппка:

— Как это не говорили? А о чем мы говорили-то? Вот тут, на этом самом месте и сказали... На всю сумму, так сказали... А ты, голубчик мой, согласился! Он же согласился, Филипп Христианович?

Филиппок даже не кивнул, а продолжал нас сверлить своим застывшим взглядом.

Но когда повариха вторично его толкнула в бок, он вдруг опомнился и без выражения сказал:

— Гони деньги... Мерзавец! Ну?

Я даже не мог ему сразу ответить грубостью, настолько был ошеломлен. Да и не обо мне, а о Корешке речь-то. Мотя об этом не забывал. Он вообще, если мог, старался кончить дело добром. Он всегда верил в добро.

— Так что... Он у вас под запором?

— Да, — ответила повариха уверенно. — Он у нас под запором.

— И долго?

— Хоть всю жизнь.

— Но вы его... кормите?

Повариха мудро усмехнулась. И Филиппок усмехнулся. Наверное, тут, на кухне, где все они непрерывно едят, наш вопрос показался им диковинным.

— С чего это мы бесплатно станем его кормить! Нам хватит, что вас задарма накормили!

— Но он же не виноват!

— А кто виноват? Ты? Вот и помогай своему товарищу... раз виноватый!

— Хватит болтать! — рявкнул Филиппок на повариху и вдруг двинулся на нас с угрожающим видом. — Иди-те, наглецы! Иди-те! Двигайте отсю-да! — произнес он с деловой жестокостью. — И не приходите без денег! А то я и вас посажу!

Мы растерянно отступили под его напором к лестнице, потом бросились наверх, на улицу. Нам вдруг показалось, что сейчас нас тоже запрут в этом подвале, как заперли Корешка!

### 33

Мы собрались за домом в кустах, там, где когда-то делили ворованную картошку и увидели впервые мою тетку.

Пришли все Кукушата, кроме Хвостика, его разыскать не удалось. Но мы знали: сам найдется!

Мотя, оглядев нас, сказал:

— Корешок у них там запрятан... Надо спасать.

— Как?

— Не знаю, — Мотя пожал плечами. — Они, в общем-то, неплохие люди.

— Хорошие! — закричал сразу Бесик.

Мотя повторил:

— А может, и хорошие... Им, в общем, деньги нужны...

— Но они нас кормили, — напомнил Ангел.

Сандра промычала, она считала, что Ангел прав.

— За сто тыщ можно и не так накормить!

— Серый! — спросил Шахтер. — Ты обещал им сто тыщ?

— Нет.

— А свидетели были?

— Какие свидетели?

— Ну, что ты не обещал!

— Еще не хватало! — заржал Бесик. — Какие же свидетели в таком деле?

— Тогда надо гроши отдавать.

— Сто тыщ?

— Этим жуликам? Сто тыщ???

— Да. Жуликам. Сто тыщ. Сами виноваты.

— Да мы виноваты в том, что проворонили Корешка!

— Вот и платите! Корешок стоит сто тыщ или не стоит?

— Он-то стоит... А эти падлы... Не стоят! — крикнул Бесик. Я увидел, как у него начинают от гнева белеть глаза. — Ты вспомни, — он обратился к Моте. — Ты сам говорил, как мы стреляли по портретам! Вот в кого надо палить! В этих фашистов! А сами! Нажрались, напильсь — обо всех забыли!

— Я Серого на толчке нашел! — выкрикнул Ангел, но никто не засмеялся. Все стояли мрачные, не зная, что предпринять.

— Может, это... Выкрасть? — вздохнув, произнес Мотя.

— Там, знаешь, сколько ментов? И все у них кормятся!

— Менты не помогут? — спросил Ангел.

— Менты? Помогут?

— Менты хорошие! — выкрикнул Бесик, оскалась.

— Тогда нужны деньги, — решил деловито Шахтер, как бы подведя черту. Он смолил сигарку, а тут бросил и посмотрел на меня. — Где твоя книжка?

— Здесь, — я показал на грудь.

— Как с нее берут деньги? Ты узнал?

— Узнал. Их могут дать Чушке.

— А Тусе? — предложил Сверчок.

Сандра промычала, выбирая Тусю. Чушке она, как и все мы, не доверяла.

— А если найти тетку?

— Где?

— Откуда я знаю где? — сказал я.

— Пока ее сыщешь, Корешок пропадет!

Тут объявился Хвостик. Он бежал к нам через кусты и что-то кричал.

— Решетка! Там решетка!

— Что, Хвостатый? — спросил Мотя.

— В окне с решеткой... я видел Корешка! — объявил Хвостик и сразу ко мне: — Серый, я, правда, его нашел! Он в подвале!

— С ним можно разговаривать?

— Он молчит!

— Почему молчит?

Вопрос повис в воздухе. Да и не надо было вопросов, потому что мы все тотчас сорвались вслед за Хвостиком и бросились на станцию. Надо было увидеть окошко и самого Корешка. А дальше уж мы решим, что будем делать.

Мы летели к станции, вовсе не оберегаясь легавых, и странно, никто к нам на этот раз не прицепился.

Хвостик провел нас в дальний конец вокзала, завернул за угол, где валялись всякие ящики и бочки, да клубки колючей проволоки, предназначенные для отправки, нагнулся и указал решетку у самой земли.

— Здесь! Здесь!

Кукушата стали ложиться, прижимаясь к земле щекой, и заглядывали внутрь, стараясь в сумраке помещения что-то рассмотреть. И я прилег, но ничего не увидел.

— Где же он, Хвостатый?

Хвостик бросился на землю, головой к голове, и указал пальцем:

— Вот же он... В углу...

— Это разве он?

— Он, он! Сидит и молчит.

Теперь-то мы все его разглядели.

Мотя крикнул.

— Эй, Корешок? Ты чего молчишь? Тебе плохо? Да?

Тот наконец шевельнулся, услышал. И сразу заплакал.

— Не плачь, Корешок! — крикнул Ангел. — Мы тебя завтра выкупим!

— Мы ломаем решетку! — выпалил Бесик. И даже потряс ее, но решетка была сделана очень крепко.

А Корешок все продолжал плакать, и мы, лежа у решетки, слушали.

Я крикнул в подвал:

— Корешок! Ты меня узнаешь?

Он не ответил.

— Мы тебе сейчас пожрать принесем, — сказал я. — А если хочешь, я тебе дам свою Историю! Будешь ее читать!

Никому никогда я не доверял Историю, даже трогать руками не давал, а вот Корешку предложил. Но Мотя сказал:

— Не будет он читать, не видишь, что ли, ему не до чтения. Ты лучше к Тусе ступай! Все, все к ней идите, а то ее не прошибешь!

— А сам? — спросил Бесик.

— А я с Корешком буду! — ответил Мотя. — Я его не могу оставить.

— Я тоже! — выкрикнул Хвостик.

— Надо взять деньги, — хмуро сказал Шахтер. Он прилег на землю и долго смотрел в темноту камеры, заслоняя глаза от света. Поднялся и крепко выругался. Давно мы не слышали, чтобы Шахтер по-шахтерски ругался. Видно, и его прошибло.

## 34

В тот момент мы считали, что все дело в Тусе. Как только ей объяснили про деньги, так она их срочно нам достанет, и мы придем и швырнем в морду этим фашистам. Мы скажем: "Нате, обожритесь!" И они проглотят наше презрение, увидав деньги, а Филиппок, невинно улыбаясь в усы, исчезнет и вернется с Корешком.

— Держите, — скажут, — своего золотушного!

А мы его окружим кольцом и быстро, бегом, не оглянувшись, покинем этот подвал, чтобы больше никогда о нем не вспоминать.

Воспитательница Наталья Власовна сидела в канцелярии и писала отчет о работе колонистов в колхозе. Мы ввалились все сразу и, не давая ей опомниться, выложили новость про Корешка. Говорил Бесик, ему помогал Шахтер.

— Что? Какие деньги? — спросила Туся, оглядывая нас недоуменно. Она так быстро реагировать не умела.

— Покажи ей книжку, — сказал мне Шахтер.

Туся взяла книжку и стала ее разглядывать, а мы все уставились на нее. Мы видели, как она листала страницы, как дошла до суммы... И в этот момент она даже переменилась в лице. Она так перепугалась, что не могла произнести ни единого слова.

— Это... Это... Чье?

— Мое, — я оглянулся на Кукушат. Они во все глаза смотрели на Тусю и ждали.

— И я... должна...

— Ага, — сказал Шахтер. — Нам же не дадут.

— Понятно, — она подавленно замолчала, что-то решая. Потом вскочила и велела нам сидеть тут и ждать. И никуда не уходить. Никуда, понимаете? Сейчас она вернется, и тогда решим.

Ее не было долго, слишком долго. Но мы ждали. Ни единого словечка не произнесли. Только Бесик вдруг догадался:

— Побежала доносить.

— Кому?

— Кому, кому... Увидишь кому!

Раздались за дверью голоса, и вошел Чушка вместе с Тусей, но книжка теперь была у него в руках.

— Это чье? — спросил он, неторопливо усаживаясь за стол и доставая свои золотые ворованные очки.

— Мое, — ответил я.

— Его, — подтвердила Туся.

— А остальные тогда чего тут делают? — поинтересовался он, не глядя на Кукушат.

Я кивнул Кукушатам, и они с неохотой убрались. Особенно не хотел уходить Бесик, его Шахтер увел силой. Но и без того понятно, что раздражать Чушку в такой момент не следует: жизнь Корешка поважней всяких личных обид!

Я слышал, как Шахтер говорил Бесику, но эти слова, я был уверен, относились и ко мне:

— Не нарываться... Понял? Только не нарываться!

Туся закрыла за ними дверь и села, поевживаясь, видно было, что ей не очень хочется присутствовать при нашем разговоре, но уйти она не решается. Да Чушка и не отпустит!

Чушка, нацепив очки, стал рассматривать книжку, вертя ее и так, и эдак.

Поднял голову, спросил:

— Значит, твоя?

— Моя.

— Откуда?

— От отца.

— Какого еще отца?

— Моего... отца...

— У тебя есть отец? Первый раз слышу! — он быстро взглянул на Тусю. Та сидела на стуле напротив, сжавшись, как от удара.

— Ну, был...

— Где же он теперь?

— Не знаю.

— А я знаю... Его нет. И не было! Нечего его придумывать и морочить всем голову.

— Но он же... Он же подал мне весть...

— Кто? Отец? — Чушка опять посмотрел на Тусю. — Какую весть? Он тебе прислал письмо?

— Но книжка... Это же весть...

Мне показалось, что Чушка, а за ним и Туся вздохнули облегченно. Они почему-то испугались, что мне написал отец письмо. А если бы и вправду написал! Что бы они тогда сказали?

— Чего нет на бумаге, того вообще не было, — произнес он. — Так что ты хочешь? Хочешь, чтобы я снял деньги?

— Да.

— А зачем тебе деньги?

— Нужно.

— Все?

— Все.

— За ними надо в Москву ехать, — сказал Чушка. — А кто работать будет?

— Да я посижу, Иван Орехович, — предложила Туся. И добавила боязливо, поглядев на меня: — Только, может, не все сразу брать? Они же промотают! Или в карты проиграют...

— Сам решу, — отмахнулся директор. — Там, может, и денег-то никаких нет... Ведь неизвестно, откуда взялся отец и откуда все это взялось, а? Может, какой жулик нарочно подсунул?

"Сам ты жулик! А еще задница в очках!" — но я, конечно, вслух не произнес, а стал смотреть в пол, чтобы он по глазам не догадался о том, как я его ненавижу.

Чушка положил мою книжку в боковой карман.

— Можешь быть свободен, — и указал на дверь.

Но я, как дурачок, уставился на его карман, понимая, что вся наша судьба и судьба Корешка упрятаны в этом кармане. Я никак не мог заставить себя уйти, вот так взять и покинуть его кабинет.

Чушка копался, складывая очки, но вдруг увидел, что я еще тут, не ушел, а стою, и спросил грубо:

— У тебя еще чего?

— Ничего, — ответил я. — А когда прийти за деньгами? Чушка посмотрел на Тусю и покачал головой.

— Тебе скажут. Ступай! В зону!

— А когда скажут?

Туся поднялась и, взяв меня за плечи, повела к двери:

— Я сама тебе сообщу... Договорились?

— Нет! — я попытался вывернуться из ее рук. — Мне завтра нужно!

— Ну, будет... Будет тебе завтра... А сейчас иди! — уговаривала Туся.

А Чушка сидел и тяжело молчал. Только шея у него покраснела.

— Ладно, — сказал я с вызовом. — Завтра приду. За деньгами!

— Приходи, приходи... — торопливо пообещала Туся и открыла передо мной дверь.

Я шагнул в коридор, но почему-то оглянулся: Чушка смотрел мне вслед, и в глазах его, не защищенных золотыми очками, не было самих глаз, а лишь глубокие провалы, в которых зияла чернота.

## 35

Кожей спины я почувствовал погребной холод, исходящий от взгляда директора, поэтому и оглянулся.

Но я был занят мыслями о Корешке, который сидит в подвале и которого надо оттуда немедленно вытаскивать. Этот давящий, тяжкий взгляд и жизнь Сеньки никак не увязались в моих мыслях, а, наверное, зря.

Никто, конечно, из нас Чушке не верил. Но не верили по-разному.

Говорили так:

— Надует! Ничего не привезет!

— Привезет... Себе!

— Ага. Скажет, не дали. И катись...

— А книжка? Потребуем книжку!

— Наврет! Потерял, скажет...

— Или скажет: дали половину.

— Ну, и половину! За половину Корешка отдадут!

— А если не отдадут?



— Им же не Корешок, им деньги нужны!

Ни до чего не dospорившись, легли спать, только Мотя по-прежнему оставался у решетки, да ночью к нему на подмогу бегали остальные Кукушата.

Утром увидели: Чушка, взяв портфель, отправился в Москву.

Мы наблюдали за ним из-за угла вокзала. И хоть сомнений с его отъездом не убавилось, но что-то подтверждало: если он нас послушал и поехал, должен деньги привезти. Пусть не все, нам все и не нужны, мы готовы были к тому, что Чушка украдет какую-то часть за свои труды. Но все равно, тогда мы сможем торговаться с этими, из ресторана. Главное, чтобы в руках у нас были деньги.

С момента отбытия Чушки мы установили слежку и за поездами: Бесик и Сверчок должны были неустанно с двух сторон вокзала караулить поезд из Москвы, на котором вернется Чушка.

Остальные по очереди вместе с Мотей торчали у решетки, носили жрать от стола, даже бурду ухитрились залить тайком в банку и спустить Корешку на веревке.

Только Корешок перестал есть. Сперва он хоть на наши голоса откликнулся и бутылку с водой выпил. Но прошли вечер, ночь и утро, и еще день, а Чушки все не было, и он примолк. Лежал в углу на дерюжке, которую удалось ему сбросить, но хлеб не брал и вообще нас не слышал.

Мотя, который никуда не уходил и на обеды "спецовские" перестал бегать, пытался какими-то словами помочь своему другу. Рассказывал разные истории, вспоминал фильмы, которые мы смотрели, особенно про Швейка, как он Гитлера обхитрил. Раньше-то Корешок на "Швейке" просто заливался от хохота, а теперь молчал.

У Бесика со Сверчком никаких сведений насчет директора не было. Поезда приходили и уходили, а Чушка не появлялся.

Мотя, не дожидаясь теперь от них новостей, сам прибегал узнавать, не приехал ли директор, может, Кукушата его прозевали. Те божились "сукой", что смотрели, не спали и прозевать Чушку, которого они кожей чувствуют на расстоянии, просто не могли. На всякий случай в дом Чушки послали Сандру, но там все было тихо, кроме, конечно, визга поросят и шипения самой старухи. Сандра выразительно изобразила и визг, и шипение.

Пытались говорить и с Тусей, но та лишь пугливо вздрагивала и сжималась, бормоча о том, что поезда ходят

с задержкой, а деньги возить трудно, потому что кругом бандюки, которые только и ищут, кого бы обчистить.

Бедная Туся! Это она нам, нам про бандюков рассказывала! А кто же тогда мы? А весь наш "спец"? А кто сам директор? Вот он, директор, и есть главный поселковый урка, ибо за родную копейку и ближнего не пожалеет! Такого не то что ограбит кто, а полезет, сам без порток останется! Это у бедной Туся затмение мозгов от страха вышло, что она плела невесть что. Но пайку на Корешка и на Мотю отдавала не любопытствуя и карцером за отсутствие не грозила... И на том спасибо.

Но, конечно, в другое время можно и посмеяться, что Корешка за трехдневное отсутствие захотели бы посадить снова... И он бы из кладовки ресторана попал бы в "спецовский" карцер...

Но мы бы и на это согласились. Мы бы на все согласились, лишь бы вытащить Корешка из чужих лап.

Утром третьего дня Чушка наконец объявился в Голяках. Сошел с поезда, заметно усталый, но в "спец" не пошел, а заглянул к начальнику станции, то есть Козлу, потом посидел в редакции "Красного паровоза", а уж затем неторопливо, размахивая портфелем, в котором, наверное, лежали наши денежки, двинул к себе домой. Бесик и Сверчок его неотступно караулили.

Перед самым ужином он появился в "спеце" довольный, почти веселый, можно было понять, что он успел попариться в бане, принял свою "наркомовскую" норму, или, как у нас в Голяках говорят, "остограммился", и теперь с удовольствием возвращался к своим делам.

А дела, судя по всему, у него шли хорошо.

Но мы так понимали, что его дела — это теперь частью и наши дела. И если они идут хорошо, значит, он получил деньги, а значит, и мы их тоже скоро получим.

Толпясь у дверей канцелярии, мы ждали, когда он вернется после своего обычного обхода по "зоне": спальням, кухне, столовой и так далее, — мы знали, что он сюда обязательно придет.

Конечно, и он тоже знает, что мы его ждем, что мы тут, у дверей канцелярии, оттого, может быть, и не торопится, хочет подольше поиграть на наших нервах.

Наконец появился: прошествовал мимо нас и даже на наше необычно громкое: "Здрасьте, Иван Орехо-ич!" — кивнул, чего никогда не делал. Тоже хорошая примета. Но вот дальше он будто бы не захотел понимать, что мы тут торчим из-за него, хлопнул перед нашим носом дверью

и скрылся в канцелярии. Вроде бы с нами ему не о чем говорить.

Потоптавшись, решили к нему заглянуть: я, Шахтер и Бесик. Мотя, как всегда, был около решетки. Мы спросили, можно ли войти, он опять добродушно кивнул и при этом читал какую-то на столе бумажку.

— Ну... С чем пожаловали?

Мы переглянулись: было ясно, что Чушка в духе. Вот только странно, что он не помнил, зачем мы пожаловали.

И я сказал:

— Мы пришли за деньгами.

— Ах, за деньгами... — произнес он вразряжку, а сам все читал свою бумагу и глаз на нас не поднимал. — За деньгами, значит... Так, интересно...

Мы не поняли, что ему интересно: то, что мы пришли за деньгами, или то, что он читал в бумаге. Но мы стояли и ждали, а Бесик смотрел на Чушкин портфель, поедая его глазами. Ведь если деньги есть, то они, конечно, в портфеле, сто тыщ — такая куча, что нигде больше не уместится!

Наконец Чушка оторвался от бумаги и уставился на наши ноги.

Я думаю, если бы он хотел нас запомнить, ему незачем заглядывать нам в лица, и наших ног бы вполне хватило!

Обутые во что ни попадя: в галоши, в ботинки без подошв, в дощечки с веревочками, заплатанные, неизвестно какого времени и происхождения валенки, пимы, бурки и даже женские туфли и так далее, — наши ноги вполне нас выражали!

— Так, — повторил Чушка и медленно, как бы вовнутрь себя, довольно улыбнулся. — За денежками... Пришли...

И вот странно, но от такого Чушки, который не рывкает, не кричит "В зону!", не посылает в карцер или на отработку к свиньям, а мирно улыбается и разговаривает с нами — с нами! разговаривает! — мы стали будто оттаивать, теряя нашу обычную настороженность.

Чушка между тем сказал:

— Деньги — это серьезно... — и по-особому то ли хмыкнул, то ли икнул, издал, в общем, звук, обозначающий серьезность такого момента, как передача денег. — Давайте так... — и задумался. А мы ждали. — Давайте завтра... Да? — и решил: — С утра прямо и приходите! Договорились?

— Договорились! — громко воскликнули мы.

Мы выходили из канцелярии и многозначительно переглядывались, чувствуя себя почти победителями.

36

Мы пришли к Чушке утром в тот момент, когда у него по каким-то причинам собрались наши шефы: Наполеончик, Козел, директор Уж, орсовский Помидор и другие. Тут же была Туся, сидела и помалкивала, забившись в уголок.

Когда мы вошли, они все громко разговаривали, но, заметив нас, замолчали, уставясь с любопытством, будто на экспонаты какие.

А мы сделали вид, что их не знаем, и сразу обратились к директору, который, судя по всему, нас ждал.

Он нацепил золотые очки свои ворованные, пошарил по столу, ища что-то, спросил, не поднимая головы:

— Пришли?.. Все?.. — и остальным: — Это вот они...

Гости молчали, втыкаясь в нас глазами. Бесик подтолкнул меня локтем и, указывая в сторону гостей, дал понять: он лично считает, что неспроста они тут все собрались. Уж не за деньгами ли нашими они явились?

И Сандра на меня оглянулась, а Хвостик даже рот открыл, чтобы спросить, но я сделал знак молчать. Хотя, если честно, мне стало не по себе от предчувствий: не к добру собралась вся эта шайка. Чего-то им всем от нас надо.

— Сергей Егоров, — произнес директор в стол. — Кто?

— Ну, я, — сказал я.

Они теперь стали смотреть на меня.

— Ну, вот, — продолжил директор, привставая и разводя руками. — Егоров, значит, как патриот внес свои деньги... Мы его поздравляем!

И все собравшиеся — Наполеончик, Уж и другие — почему-то захлопали, а директор протянул мне руку.

— Поздравляю, Сергей! Так и надо поступать!

— Как? — спросил глупо я.

— Вот так... Как ты поступил... — директор взял со стола листок, это оказался номер "Красного паровоза", и громко с выражением прочел: "...Сбор народных средств на боевую эскадрилью истребителей имени Героя Советского Союза летчика Талалихина проходит на высоком трудовом и морально-политическом уровне. Восьмидесятилетний колхозник-хлопкороб Янгиюльского района Таш-

кентской области Султан Акбаров сдал в фонд обороны на строительство боевой эскадрильи от имени себя и своей многочисленной семьи, у него девять детей, трое из которых сражаются на фронте, триста тысяч сбереженных рублей... А коллектив спецдетдома особого режима в поселке Голятино Московской области перечислил собранные деньги на строительство боевых машин в количестве сто тысяч рублей... Товарищ Сталин выразил благодарность всем гражданам и коллективам, оказывающим своими средствами посильную помощь Красной Армии..."

И все опять захлопали, а мы стояли, будто придурки, перед директором, не в силах понять, что же произошло, как мы оказались коллективом, который отдал деньги, а сам остался без денег. Значит, вместо нашего Корешка теперь начнут в складчину с колхозником-хлопкоробом клепать железный истребитель, а Корешок из-за этого будет сидеть в подвале.

— Ладно, — сказал директор, победоносно оглядывая шэфов. — Мои голодранцы растерялись от радости... Пусть идут... А мы еще посидим... Не каждый день такой праздник, что товарищ Сталин лично... — и уже нам: — Валяйте... в зону... Я велел вам дать по лишней пайке!

Во дворе нас ждал Мотя.

— Корешка нет, — произнес глухо, не глядя на нас.

— Где нет? В подвале нет? — спросил Бесик.

— Нигде нет.

— Может, его выпустили?

Мотя не ответил.

— А когда ты увидел, что его нет?

— Утром.

— А вчера он был?

— Кажись, был... Но там же ночью темно, а он молчит, — сказал Мотя. — А потом рассвело, я стал смотреть, а там пусто.

— А эти? Из ресторана?

— Я их не видел.

— Надо их найти.

Мы, все Кукушата, бросились на станцию, мы бежали так, что Хвостик отстал от нас и закричал:

— Я тоже хочу! Я устал!

Мы подождали Хвостика, но между собой не разговаривали. Это был тот момент, когда никаких слов не надо. Мы

все знали, что будем делать. И знали, что каждый будет делать то, что надо. Даже Хвостик.

Мы спустились в знакомый подвал и увидели, что дверь закрыта. Стали барабанить в нее кулаками, ногами, пинать ее, бить изо всех сил, но в ответ не раздалось ни звука.

— Может, никого нет? — спросил Шахтер.

— Не может! — крикнул Бесик. — Они заперлись! Я знаю!

И Сандра промычала, указывая, что они там. Она их прямо чувствовала за дверью.

Тогда Бесик подхватился, прыгая через ступеньку, выскочил наружу и стал заглядывать по очереди во все подвальные решетки и сразу закричал:

— Они тут! Они тут!

Кукушата облепили окошко, и я воткнулся между остальными: повариха и Филиппок стояли посреди поварни и смотрели на нас. А мы сверху смотрели на них.

Я думал, что они сразу спросят про деньги, принесли мы их или нет, но они молчали. И вид у них был какой-то странный, вовсе не такой воинственный, как в последний наш приход.

— Эй! — крикнул Мотя. — Корешок у вас?

Филиппок поднял глаза и покачал головой, а повариха молчала.

— А где он? Почему не открываете?

— Его нет, — произнесла, наконец, повариха и высморкалась, утирая нос передником.

— А где он?

Повариха посмотрела на Филиппка, обвела глазами кухню. Сказала, вздыхая:

— Он, значит, приболел.

Филиппок с готовностью кивнул, подтверждая ее слова.

— Ну, а где он сейчас! — крикнул Бесик, которому надоела эта волокита. Мы и так без них знали, что Корешок приболел.

— В больнице... — ответила повариха, при этом опять вздыхая, будто ей было жалко Корешка. — Вот, Филипп Христианович отвез... Лечиться...

А Филиппок снова с готовностью кивнул.

В этот момент, глядя на повариху и Филиппка, я вдруг понял, что они нас боятся. Теперь, когда уйти было им некуда, они ввали про больницу, потому что нас боялись, хотя и сидели в своем подвале запершись.

А Мотя сказал, приподнимаясь и отряхивая штаны от пыли.

— Двигаем в больницу! Этих мы всегда найдем!

Он наклонился к решетке и крикнул:

— Мы идем в больницу... А если что... Мы вас найдем!

— Мы вас найдем! — крикнул за ним и Хвостик и показал через решетку кулак.

Филиппок и повариха, как замороженные, смотрели на нас, задрав головы, и даже не ответили на угрозу.

Больница находилась недалеко, за церковью, где мы делали колючую проволоку. А знали мы ее еще потому, что расцарапав на первых порах руки о проволоку, мы тут заливали их йодом у пожилой тихой медсестры, которая принимала нас в прихожей. Во всей же больнице было три комнаты и кабинет врача, в который нас из-за нашей грязи никогда не пускали.

Встречали мы и врача, маленького росточка, всегда в шляпе и в очках с сумочкой, в которой мы успевали пошарить, когда он приходил к нам во время вшиводавок, чтобы подписать какие-то бумажки. Нас он побаивался, а мы при виде его всегда кричали: "Без порток, а в шляпе! Очковая змея!" И что-то подобное, уж очень он нас смешил своим дурацким видом. В поселке больше так никто не ходил.

Теперь с лета мы обогнули церковь с мотками колючей проволоки по всей территории бывшего кладбища и влетели на крыльцо больницы. Мы, наверное, слишком топали, потому что в окошечко выглянуло чье-то испуганное лицо и на крыльцо сразу вышел, правда, без шляпы, знакомый врач. Но очки, этикие странные стеклышки, которые щипочками держались за переносицу, у него были. То-то, наверное, больно носу, что он все время морщился, когда они так прищеплены!

Но нам сейчас было не до очков.

Мотя еще задыхался от бега, как и все мы, поэтому спросил отрывочно, словно пролаял:

— Скажите... Нам сказали... Корешок... Ну, Сенька из нашего "спеца"... Он у вас?

Врач как будто удивился:

— Мальчик? От вас?

— Да! От нас.

— Сенька? А фамилия?

— Кукушкин!

— Семен Кукушкин? — будто вспоминая. — Нет. Такого нет, — и тут же повернувшись, ушел.

— Но нам сказали! — закричал вслед Бесик, а Сандра даже рванулась вслед за врачом, но дверь оказалась вдруг закрытой.

— Я так и знал, что они наврали! — воскликнул Бесик.

— А если этот... наврал? — спросил Шахтер.

— Я ему тогда очки побую! — крикнул Бесик.

— Но он же врач? — возразил Ангел.

— А врачи не врут?

— Они все врут! Угробили и врут!

— Как угробили? — спросил Хвостик.

На него шикнули.

— Молчи, Хвостатый! Не до тебя!

Так мы стояли, рассуждая за церковью, когда выскользнула из дверей больницы знакомая нам пожилая медсестра. Шла она тихо, потому что, хоть сама и лечила других, но была, наверное, больна. На церковь она перекрестилась, а проходя мимо нас, лишь глаза скосила и беззвучно произнесла:

— Ступайте за мной... Не сразу... Потом...

Она медленно удалилась в ближайший переулок.

А мы, чуть подождав, тут же сорвались с места и за домами ее нагнали. Да она уже никуда и не шла. Ждала нас.

А когда мы подскочили к ней, запыхавшись и глядя в ее измученное лицо, она воровски оглянулась по сторонам, не видит ли нас кто вместе, и беззвучно произнесла своими бесцветными губами:

— Ваш Кукушкин помер... Схоронили... И не ищите где... И меня не спрашивайте, я не знаю...

И сразу повернулась и пошла, медленно от нас удаляясь, будто нас никогда не видела.

А мы остались, пригвожденные к месту, на этой маленькой улочке. Все вдруг потеряло свой смысл, и не осталось никаких желаний. Единым махом, как косарь косой, срезали нас и бросили на дороге.

Неслышно затряслась, зарыдала Сандра, а Мотя сел прямо в пыль и закрыл лицо руками.

## 37

Вечером в наш "спец" привезли "Броненосец "Потемкин".

Мы его и раньше видели, но сейчас смотрели, как впервые, захваченные бунтом матросов. Там, в общем, на



корабле, матросам щи подали, а в щах мясо с червями. Когда дошло до червей, кто-то среди нашей молчащей публики, может, Бесик, в темноте произнес негромко, но слышали все, что нам бы не только мяса с червями, а червей без мяса, рубанули бы за милую душу! И добавку бы попросили!

Но никто не засмеялся, лишь швырнули в экран шапкой в знак протеста против такой сытой шамовки в былые царские времена! Ишь, мясо им, видишь ли, не понравилось! С червями, но мясо, а не хрен собачий! Мы бы за такое господам офицерам еще спасибо сказали!

Ну, а дальше там, как у нас в "спеце", повара и всякое начальство пришло и стало наводить чернуху. Врать, как и у нас врут.

Как сегодня ввали.

Весь "спец" ходил сегодня читать вывешенную статью впервые за всю историю детдома, статью про сто тысяч, которые мы, якобы, собрали на строительство боевых машин. Все читали, но никто не произнес вслух, откуда деньги: и так все знали, что деньги у нас украдены Чушкой.

А к обеду прямо поперек статьи чернилами написали: "А Корешка они угробили!"

И все снова прибежали читать, пока Туся не усекла, что написано что-то запретное, и не сорвала статью.

Но когда на экране возникла палатка, где со свечкой в руке лежит угробленный ихними деятелями матрос, а люди приходят с ним проститься, в зале сразу стало тяжело. Я не про себя говорю. Это все заметили, что в зале стало очень тяжело, глухо, беспросветно, будто нас всех, всех сразу "спецов" тут, прямо в зале, как Корешка в безымянной могиле, похоронили.

И кто-то выкрикнул слабо:

— Убить их мало!

И ни у кого не возник вопрос, кого надо убивать, тех ли, что довели матроса до смерти, или этих, которые сегодня убили нашего Корешка... Конечно, этих, этих надо убивать! Матросы-то все давно поняли! А мы, дурачки, чего-то ждем. Дождались!

Но никто брошенного в пустоту крика не подхватил, наоборот, наступила особенно какая-то гнетущая тишина. На экране бушевали страсти, и матросики, победившие, ликовали и швыряли в воду свои бескозырки, а мы этой единственной шапкой, которую швырнули в экран, и ограничились.

Разошлись молча по спальням. Даже грохота ног, обычного в коридоре, не услышали. Затихли. Такая вдруг тиши-

на наступила во всем доме, которой никогда у нас не бывало.

Обычно как: песни, шум, драки, кто-то анекдоты травит, кто-то в карты режется, а иные напоследок бегут отлить, пока засов на дверях не задвинули. Остальные уже задают храпака, забив голову под подушку, и постанывают, потому что им, как нам всем, во сне снятся кошмары. А тот, кто боится темноты, потихоньку хнычет, и все знают, что это хнычет Ангел, да и не только он.

А что им еще делать, если они не могут не бояться?

Но сегодня и они молчали. Все молчали. А дежурная Туся, пройдя по спальням, по коридорам и не услышав ничего необычного в нашем молчании, закрыла за собой дверь, решив, что можно уйти ночевать домой. Ее так обрадовало, что никто не буянил, не пел блатных песен, не орал, не визжал и не носился голяком по коридорам, пугая и без того напуганных девочек и малышей.

Услышали и передали, как Туся сказала криворотому сторожу:

— Слава Богу, спокойно. Так я пойду. А вы закрывайте на засов... После кино они обычно возбуждаются, но зато хорошо спят.

— Ага, — ответил сторож. — Сегодня, видать, ухайдакались. Ишь, храпака задают... И не бесятся!

И Туся ушла. А сторож, задвинув засов на двери, убрался в свою конуру дрыхать. Ввиду праздника Чушка ему выдал стограммовую норму, и он уснул. Сам Чушка ушел еще до кино (кино-то для нас тоже в виде праздника!), чтобы в своем свинстве, на усадьбе, угостить по заслугам поселковых деятелей в связи с таким событием, как пропечатанье в газете и поздравление лично от товарища Сталина.

В поселке понимали, что это невероятное событие поднимет на новый уровень Голятьвино в глазах областного начальства и вдохнет в него новую жизнь.

Какую жизнь? Да всякую. У нас жизнью много. Станут в церкви больше проволоки делать, станут больше лоскутков кроить Сандре на платье. А уж огурцов на грядке у Наполеончика увеличится — не сосчитать, и поросят у Чушки станет вдвое или втрое больше.

Так мы понимали счастливое обновление нашей голяковской жизни в свете происшедших событий.

И у нас, конечно, в "спеце" будет обновление, как же без него! Может, еще одного сторожа прибавят или милиционера для порядка; а то и второй карцер пристроят!

Обновление, как говорят, обычно со строительства главных учреждений начинается. А что может быть главней карцера, если он всем нам жизненно необходим, чтобы стать настоящими людьми!

В середине ночи в тишине пронесся ни с чем не сравнимый клик. Непонятно прозвучало, то ли петушком кукарекнули, то ли кукушкой прокуковали. Все говорили по-разному и слышали по-разному, но поняли одинаково.

Вспоминают, что после того странного звука, неведомо откуда прозвучавшего, какие-то мгновения, довольно долгие, стояла полнейшая тишина. Даже шороха не услышалось. Вздоха не прозвучало, одеяло не прошелестело — мертво в воздухе.

И вдруг поднялось.

Да нет, и не поднялось, и не возникло где-то, а взорвалось в тот самом воздухе, а может, это воздух и взорвался!

Ухнуло, грохнуло, взревело и пронеслось, вокруг и прочь, наружу. Словом, бомба взорвалась, хотя, конечно, никакой бомбы в помине не было. Вот в каждом из нас, уж точно, бомба была. А вот какой такой силой все запалы в одно мгновение подожгли, никто сказать не может.

Голоса пронеслись по коридору, все нарастая и нарастая, и это не были отдельные крики, слитые в единый ор... Это был сразу единый крик, выкрик, рык, предвещавший нечто звериное, неуправляемое, кровавое... Дикое!

Бунт, одним словом.

Бунт.

## 38

Бесик, не отрывавший глаз от бугра, который в утренней дымке то возникал, то пропадал, вдруг вскрикнул:

— Они машут! — и указал пальцем.

— Кому машут? Нам? — спросил Шахтер.

— Нам! Нам! Вон же!

— Стреляй! — приказал Шахтер Моте. — Чтобы не мелькали перед глазами.

— Стрелять? — спросил Мотя.

Сандра промычала, она была за то, чтобы стреляли. Она пролаяла, поясняя, что надо в них бить и бить.

А я сказал:

— Конечно, надо стрелять!

— Хоть раз пальни! — крикнул Сверчок.

Я так понял, что все хотели, чтобы Мотя пальнул. И не в платке, которым там махали, дело. Хотелось выстрелить, чтобы самих себя услышать. И самим себе доказать: ага, палим, значит, мы тут еще кое-что можем! А не похоронены вашими легавыми усилиями!

Мотя совсем было решил пальнуть и уж прицелился, но вдруг опустил ружье и растерянно произнес:

— Идут...

— Так пали! Пали!

— Чего ты кричишь? — обернулся он к Бесику. Не видишь что ли, это же баба! Баба идет! И машет!

— Какая еще баба?

Шахтер с другой стороны сарая прибежал посмотреть и сразу определил:

— Это Туся.

— А что Туся? Не ихняя? И в нее пальнем!

— Но если она чего сказать хочет?

— А нам не надо говорить! — воскликнул Бесик. — Мы сегодня сами говорим! Это они пусть слушают, как мы им говорим! Из ружья!

Я еще раз воткнул глаз в щель и вдруг понял, что это за женщина. Никакая не Туся. Это Маша. Я сразу узнал ее, когда она подошла ближе.

Я произнес:

— Это моя тетка идет, — хотя теперь все ясно видели, что идет с платком в руке моя тетка Маша.

— Ну, что? Стрелять? Нет? — спросил Мотя.

— В тетку-то?

— В тетку! — подтвердил зло Бесик. — А зачем она идет?

— Она же к тебе идет? — поинтересовался Ангел.

— Не знаю, — ответил я.

— Конечно, к тебе! Приехала!

— Где они ее только разыскали...

Я посмотрел в щель и попросил Мотю:

— Не надо в нее стрелять, а? — но оборачивался я к Бесику, я знал, что он среди нас первым может крикнуть: "Пали!"

— Пожалел? — буркнул Шахтер. Он уже успокоился и стал собирать соломку, чтобы закурить.

— Ну и что... — сказал я. — Не пожалел, а вообще...

— Нет, пожалел. А они не пожалеют...

— А Маша-то при чем?

— При том! Идет, не боится! Дать бы по ногам!

Я промолчал. Я знал, что теперь не дадут. Смотрел, как она, дурочка, все размахивая глупым платочком, идет к нам, спотыкаясь об ямки и не замечая их, а слепо глядя на наш сарай. Ну ясно, что она нас не видела, а мы ее видели. Мы смотрели, затаив дыхание.

Она встала в десяти метрах от дверей сарая и, крутя головой, чтобы понять, где мы и где, наверное, я, спросила:

— Сергей! Я к тебе... Ты меня слышишь?

Все в сарае повернулись ко мне. А Мотя кивнул: говори.

— Я тебя слышу, — ответил я в щель.

Теперь она знала, где я сижу, и смотрела в мою сторону.

— Ты вот что... Скажи ребятам, что надо сдаваться...

Они там вооружены... Понимаешь?

— Ну и что? — крикнул Бесик.

Маша повернула лицо в его сторону.

— Но они же вас штурмовать хотят!

— Ну и что! — опять крикнул Бесик.

Маша замолчала, и я увидел: она волнуется и никак не может найти нужных слов. Да и вообще, будто девочка, стоит растерянная перед нашим дулом, хотя, может, и не знает, что мы еще способны пальнуть.

— Сергей, — произнесла она и осеклась, будто проглотила что-то. — Меня специально вызвали, нашли... Туся меня нашла... Чтобы я тебе... Чтобы я всем вам сказала. Но я не от них, я от себя, понимаешь... Они там с винтовками... С оружием, и их много...

Мы молчали. И Бесик теперь ничего не кричал. Мы смотрели на нее. И Сандра подползла, и Сверчок подлез, которого лихорадило от температуры.

— Ты слышишь меня? Сергей? — спросила она. Я услышал слезы в ее голосе.

Сандра взглянула на меня и промычала, веля говорить.

— Ну, слышу... — ответил я негромко.

Маша обернулась, чтобы посмотреть на своих легавых и, уже не стараясь от них оберегаться, быстро проговорила, что они там собрались, чтобы нас схватить.

— Они такие... Они такие...

— Мы знаем, какие! — крикнул Мотя. — Мы их ненавидим!

Маша вздрогнула и посмотрела со страхом.

— Но они же будут стрелять... Они же не пожалеют... Сергей!

И вдруг она зарыдала.

Она стояла перед сараем и вытирала косынку слезы, а мы смотрели, затаившись, не сводя с нее глаз. Мы знали, что это первый и единственный в мире человек, который нас тут пожалел. Но это их человек, а значит, нам не о чем разговаривать.

— Скажи ей, чтобы уходила, — попросил Мотя.

— Уходи! — крикнул я.

Она вздрогнула и опять оглянулась.

— Сергей... Опомнитесь...

— Уходи! — крикнул ей уже Бесик. — Скорей уходи!

Ну?

Маша повернулась, но опять посмотрела в мою сторону.

— Знаешь, я неправду тебе сказала. Твой отец, Сергей, жив... Он жив... Ты должен ради него себя пожалеть... Правда...

Я слушал и понимал, что она врет. И все поняли сразу, что она врет. Зачем... Да чтобы меня спасти. Но они же все и всегда нам врали, будто бы ради нашего спасения, а спасали они только себя.

И тогда я крикнул, приближая рот к щели:

— Ты все врешь! Врешь! Врешь! Врешь!

### 39

Бунт, это по своей Истории я знал, когда ничего не понятно, но страшно. И все чего-то хотят разрушить, бьют, что ни попадя, ломают и еще жаждут крови. Лучше, если директорской крови, но можно и всякой другой.

Я поднялся за остальными, даже не понимая про себя, надо мне подниматься или не надо. Меня, как говорят, подняло.

Вообще-то я готов был и знал: мне надо быть со всеми. Да, каждый из нас был готов, в том-то и дело. И каждый вносил в общее движение всего себя, заводил себя до уровня других, а потом другие доводили себя до уровня каждого, и все это, будто тревоги сирена, становилось выше и выше тоном! Пока из рева не перешло в какой-то протяжный вой. И вой тот особенно взвинчивал, и будоражил, и правил всеми нами. Внутри меня что-то прокричало: Все! Все! Все! А может, это не внутри, ведь мы ничего не слышали, но в то же время слышали. Так вот, были

слова: "Все! Все! Все!" Кончилось их время! А наступило наше время! И в нем, в другом, каждый из нас тоже другой, не подвластный никому и ничему, кроме этой стихии, в которую мы сразу и навсегда влились, как капли вливаются в поток, становясь разрушительной силой.

Мы ворвались в канцелярию, стали бить окна. Кто-то схватил директорский стул и грохнул его об стол, стул разлетелся.

— Дуб хреновый, а хрен дубовый!

Портрет Сталина не тронули. Сталин единственный был здесь не виновен. Зато в его словах про то, как надо людей заботливо и внимательно выращивать, дописали слова, и получилось: "Свиней надо заботливо и внимательно выращивать, как Чушка выращивает..." и т. д. А в конце: "И. Сталин".

Все указывали пальцем и хохотали.

Кто-то полез в стол, но ящики не выдвигались, были заперты. Тут же появилась фомка, замки отлетели.

Из ящиков посыпались бумаги, много бумаг, но Мотя, я вдруг увидел его среди других, вполне уже спокойно, даже не взбешенно, закричал:

— Бумаги мы читаем! Не надо их рвать!

— Надо! — закричали остальные. — Надо!

— Хватить читать! Они все равно врут!

Тут кто-то увидел среди бумаг фотографию самого Чушки. Чушку немедля прилепили к стене, и все стали упражняться, кто точнее ему в рожу плюнет.

Это и отвлекло ребят от бумаг. А Мотя вдруг крикнул:

— Вот письмо!

Ребята еще доплеывали в обхарканную фотографию, но Бесик спросил:

— Письмо? Какое письмо?

— Письмо от отца, — сказал Мотя.

Тут все одновременно повернулись и посмотрели на Мотю. Наверное, хотели узнать: "Чьего отца?" Но никто не решился. Наверное, страшно было сразу узнать, что это не твой, а чужой отец.

— Письмо без конверта, — продолжал Мотя. — Хотите? Прочту?

— Хотим.

— Ну, слушайте... Тут несколько строчек... — и Мотя с выражением стал читать. — "Дорогой сынок, вот как долго я тебя искал, а теперь мне написали, что ты живешь в спецрежимном детдоме в Голяках... А я, хоть меня не выпустили, смог передать на волю это письмо, чтобы ты

знал, что я ни в чем не виноват, я всегда, всю свою сознательную жизнь был верным членом партии ВКП(б). Они меня истязали до полусмерти, я не спал семь суток, а потом подписал навет на самого себя. Но ты ничему не верь, они меня сломали, но не доломали. И я написал письмо товарищу Сталину, от которого скрывают, что творится за его спиной. А если не вернись, то знай, родной мой сынок, что папка твой был всегда честен и, умирая, он будет думать о тебе”, — Мотя перестал читать, а все, уставясь на него, ждали.

— А дальше? — крикнули.

— Дальше... все! — ответил виновато Мотя.

— А письмо-то кому?

— Нам... Кому еще?

— Понятно, нам... Но ведь оно кому-то...

— Сказал тебе, придурку: адреса нет... И имени нет...

Тут каждый из "спецов", кто слушал, стал говорить, что письмо это ему, и он точно знает, потому что его отец, которого он, правда, не помнит, мог написать именно такое письмо. Стали спорить, даже ругаться, а я вдруг подумал, что мой Егоров, который, кажется, мне отец, тоже мог прислать такое письмо. Уж в отличие от остальных "спецов" я-то точно знал, что он у меня сидит там... Или сидел.

Но неожиданно во все крики, споры, разговоры влез Хвостик. Он закричал:

— Это мое письмо! Это мой отец! Мой! Мой!

Все на мгновение примолкли и впервые обратили на Хвостика внимание. И Мотя посмотрел. И вдруг сказал:

— Если твой, держи! — и отдал Хвостика письмо.

Тот жадно схватил и тут же засунул под рубашку за пазуху. Я думаю, он туда спрятал потому, что видел, куда я прячу свою Историю. Он уже понял — за пазухой не пропадет. Но, кажется, до конца не верил, что письмо его, и повторял громко:

— Мой отец! Мой! Мой!

— Конечно, твой, — успокоил я Хвостика. — Там поискать, может, и еще письма найдутся!

И все схватились, что и правда, у Чушки могут храниться еще письма, и стали рвать бумаги друг у друга, но писем больше не нашли. Нашли свои личные дела, где про нас было про всех одинаково сказано, что мы, как социально опасные элементы, изолированы от общества в детдоме специального режима, и далее всякие Чушкины мудачества вроде характера, поведения и отношения к родине,



партии, к самому директору и к учебе. Такая характеристика даже на Хвостика была, где он обозначался без имени, но зато стояло: "Характеристика на Кукушкина по кличке "Хвостик" — и все подобное.

Я, конечно, хотел на себя характеристику найти, чтобы посмотреть, что они, в связи с моей теткой, написали и кого запрашивали о моих родственных связях, но Мотя в это время наткнулся на какой-то листок и позвал меня к себе.

— Вот, смотри!

Все шуровали вокруг, жгли бумаги, пока кто-то не догадался вытащить ящики через окно и запалить огонь из этих бумаг прямо во дворе костер.

— Про меня? — спросил я.

— Да это, наверное, про нас всех, — сказал Мотя. — Вишь, из милиции!

— Дай, — попросил я.

В листке, напечатанном на бланке, было написано: "Начальнику спецрежимного детдома тов. Степко И. О. Просим сообщить подробнее о сберегательной книжке воспитанника Егорова С., сына осужденного преступника Егорова А. П., и о целях, для чего ему, как и другим Кукушкиным, понадобилась такая крупная сумма денег. Ввиду их пребывания в Москве просим также уточнить, не могут ли являться названные Кукушкины членами общества, раскрытого недавно в Москве среди групп подростков, названного "Отомстим за родителей", ставившего целью убийство товарища Сталина и других деятелей партии и правительства. Не были ли использованы деньги для покупки оружия и так далее..."

— К черту! В огонь! — крикнул я.

— А личные... Наши дела?

— Все в огонь! — крикнул, раздражаясь, я. Потому что вдруг понял, что в тех бумагах наша погибель, как в яйце в какой-то сказке Кощева смерть. А если бумаги спалить, то ничего не останется.

Вот теперь-то догадался я, для чего ОНИ в моей Истории жгли да палили! Они хотели уничтожить вранье!

— Пали все! — крикнул тогда я и поволок к окну директорский стол. Не надо в нем копать, его надо было уничтожить. С грохотом свалили на землю, и через минуту он запылал на костре.

— Пали! — кричал я в азарте и слышал, как за мной подхватывали другие Кукушата.

Мы теперь тащили из спальни топчаны и матрацы и выкидывали через разбитое окно.

— Пали!

И топчаны, и матрацы были свидетелями нашего "спецовского" несправедного быта! Они тоже ввали! Потому весь "спец" был такой ложью. Его бы весь надо спалить!

Я слышал, как самые неистовые взламывали двери в столовую и на кухню, они были обиты железом. Это от нас их обили железом.

Дверь в кухню протаранили с криками "ура", но жрать там не оказалось, и оттуда полетели в окошки железные миски, кастрюли, бачки, весы для взвешивания паек и гири.

Все, даже миски мы свалили в костер, а гири подобрали и рассовали по карманам, приговаривая с усмешкой, что не только булжники, как учили по истории, являются оружием пролетариата, но и гири, и гири тоже! Матросики в том кино зазря их не использовали, чтобы расквасить сытые морды своих поваров!

"Встретим покупателя полновесной гирей!" — так, кажется, написано в магазине. А мы встретим ментов полновесной гирей!

Костер в это время уже поыхал до неба, мы и не подозревали, сколько горючих свидетелей нашего "спецовского" заключения тут у нас (на нас!) накопилось.

— Пали! Пали! Пали!

Теперь орали в сто глоток, взбесившись от счастливой свободы, которая нас охватила.

От сильного желания что-то еще сотворить стоящее в этой нашей прекрасной жизни, мы решили спалить и сам "спец", дом, а по сути, тюрьму, которую мы ненавидели.

Каменщик, каменщик в фартуке белом,  
Что ты там строишь? Кому?  
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,  
Строим мы, строим тюрьму...

Это читали на уроке, но мы и так сразу догадались, что каменщик строил тот "спец" для нас, для своих потомков.

Интересно, а что же про нас в стихах напишут: что мы делали для потомков колючую проволоку?.. Ничего себе, поколеньице!

Пусть лучше расскажут, как мы тут все сожгли!

И уже с головешками собирались мы запалить дом с четырех сторон, но кто-то вспомнил, что там остались большие в лазарете и маленькие совсем, и девочки, которые боятся ночи, и темноты, и нашего костра, и наших

криков, они-то все равно не выйдут, а с испугу забьются под кровати и сгорят.

И сторож криворотый сгорит, который дрыхнет, пьяный, в своей конуре, мы подперли на всякий случай снаружи дверь палкой!

А не лучше ли в таком случае поджечь Чушку! Чтобы не себя, а его поджарить на углях!

И все вдруг вспомнили про Чушку, который придумал это наше "спецовское" свинство, — его-то и надо потрошить!

И тогда, бросив костер, все пустились бежать к дому Чушки.

Мы летели, неслись, не разбирая дороги, через колдобины и ямы, как наперегонки, потому что каждому из нас хотелось быть у Чушки раньше других, и первым начать над ним расправу.

## 40

Дом у Чушки был темен, ворота закрыты.

Но уж тут-то мы были как у себя дома и всё знали!

Самый ловкий из первых добежавших перемахнул через забор и, несмотря на собаку, которая нас облаяла, отодвинул тяжелый засов-бревно, и мы, как висели снаружи на воротах, так и въехали на них к Чушке во двор с криками "ура!".

Но собака Чушки, хоть и невелика, но была уж слишком голосиста, и не умолкала, и не хотела никак понимать, что ее власть и власть ее хозяина кончилась. Мы дали ей доской по голове!

Может, в другой раз и пожалели бы такого глупого кабысдоха, но Чушкина собака была ненавистна нам, как и ее хозяин. Один норов, один характер: облаять и побольней укусить!

Тут выскочила на крики Чушкина мать. Стоя на крыльце и не видя никого в темноте, но расслышав, что это пришли "спецовские", она по старой привычке нас обругала, назвав "скверной", и "заразой", и прочими словами, и приказала тише себя вести.

— Заткните старую дуру! — сказал кто-то в темноте, и тут же к ней подскочили несколько ребят, заткнули ей рот ее собственным передником и, как она ни сопротивлялась, отвели и заперли в сарай. Пусть не гавкает, сука

такая. Надо бы ее в собачью конуру посадить, поскольку она, сучка, и тьякала, и измывалась над нами, да кто-то с сожалением сказал, что она туда ну никак не влезет!

Чушку мы нашли в доме, он дрых на широкой железной кровати под ватным лоскутным одеялом, а на столе посреди комнаты стояли и валялись всякие бутылки и огрызки, видать, тут попиروвали от луза в счет нашей славы земляки-голяки.

Мы окружили кровать, но на всякий случай в лицо Чушке головешкой посветили, чтобы не ошибиться, как кто-то выразился, и не спутать, и не принять какую-нибудь из его свиней за него самого!

На наши голоса он отреагировал так: расщепил свои узкие глаза, матюгнулся и снова закрыл.

Мы лишь расслышали до боли родное слово: "В зону!"

Видать, спяну Чушке привиделось, что это мы пришли к нему во сне.

Тут все подхватили:

— Он просится в зону! В зону!

— Тащи его в зону! Во двор!

— А как? Его не допрешь!

— Тогда вяжи к кровати!

Нашли веревку, прикрутили к кровати и так вместе с кроватью выволокли во двор, где к этому времени пылал костер из Чушкиных вещей.

Пока тащили, он-таки проснулся, но ничего не мог понять и хрипло просил дать ему пить.

— Счас! — ответили ему весело. — И накормим, и напоим!

Кровать поставили наискось на попу, так что Чушка на ней стал стоймя, прикрученный веревками. Это для того, чтобы всем его видеть. И чтобы он видел нас. А уже по тому, как он жмурился и моргал, можно было понять: он медленно трезвеет и начинает нас различать.

— Чушка! — крикнул ему Бесик прямо в лицо. — Слушай, Чушка! Где Корешок? Где его схоронили? Ну?

Чушка выругался и послал нас подальше.

Нет, не зря он работал в лагерях, закалка у него была крепкой. Даже слишком крепкой.

Шахтер поднес головешку к его лицу, но вовсе не для того, чтобы поджечь. Он хотел заглянуть ему в глаза. Но Чушка плюнул на головешку и рявкнул:

— Ублюдки! Недоразвитые! Цуцики! Говноеды! Я всех вас в зону! Всех к вышке... У меня... Всех!

Бесик достал гирию и, взвешивая ее на ладони, предложил:

— Хотите, я ему блин из рожи сделаю? Чтобы замолчал?

— Не надо, — сказал Мотя. — Он тогда не увидит ничего.

И тут "спецы" приволокли поросенка. Поросята у него были в сарае за домом — оттуда теперь неслись визг и крики.

— Бросай в костер, — приказал Мотя.

— Так он сбежит!

— Ноги проволокой скрути!

Поросенка, несмотря на оглушительный визг, связали проволокой и бросили в огонь. Запахло щетиной, бешеный визг поднялся до неба. Чушка закрыл глаза. Но уже тащили второго и третьего....

— Чушка! — проорали ему в ухо, в одно Бесик, а в другое Сверчок. — Чуш-ка-а! Где наш Корешок! Отвечай!

— Там, где вы, выродки, скоро все будете! — выкрикнул он, жмурясь от огня и от мельтешения перед ним наших возбужденных рож.

Лицо Чушки побагровело и стало лилово-красным, как кусок мяса. Вот бы теперь на эту рожу нацепить его же ворованные золотые очки! Жопа в очках! Но нам не до этого было. Мы таскали и таскали из дома что ни попадя: и стулья, и коврики, и посуду, и даже самовар, — и все это кидали в огонь. А другие волокли свиней, орущих, как наш брат "спец" на базаре, когда его бьют. Их бросали живьем в самый жар.

Визжали они, конечно, так, что нас не было слышно, я думаю, все Голяки слышали этот визг. Но нас это, как говорят, не колыхало. Нам надо, чтобы слышал Чушка! И слышал, и видел, как гибнет его свиное царство и как они ему, своему свиному Богу, его величеству главному свинье, орут о своем спасении!

Ясно, все свиньи не стоили мизинца нашего Корешка! Но наша месть, мы считали, была самая громкая! Громче, наверное, не бывает.

А когда огонь стал спадать, мы вытащили обугленных свиней из костра и на глазах Чушки стали их раздирать и жрать, вот это был пир!

Пир в память Сеньки Корешка. Он уже теперь никогда не нажрется, потому что умер он голодным.

Шахтер извлек одну из свиных голов, этакое черное хрюкало с открытой пастью, и сунул мордой в морду Чушке.

— Жри сам себя, свиное рыло! Целуй свой образ!

Чушка замотал головой и вдруг всхлипнул. Неужто проняло? Но это он просто обжегся. Мы подули на свинью и подули на Чушку.

— Жри, гад! — приказали. — Тебе не привыкать, ты за нас всегда жрал! Так теперь жри за Сеньку, который навсегда голодный! Ну? Хавай, кому говорят! А то силой затолкаем!

Тут кровать опустили так, чтобы можно было Чушке пихать свиное рыло прямо в рот, что и делала Сандра, причем очень старательно. А ей помогал Хвостик.

— Чушка! Ты жри! А то мы уйдем, будешь тогда голодный! — объяснял он.

Кто-то догадался, притащил недопитую бутыль самогонки со стола, остатки ихнего пира.

Прямо из горла стали лить Чушке в горло, и пошло... Он с жадностью пил и пил, пока не откинулся... Тут и свиного уха откусил, что дали в рот... А мы, хоть и рвали свиней на куски, вымазавшись до волос в саже, но смотрели Чушке в лицо, наслаждаясь и свиньями, и его свиной рожей. Мы видели, как он, захмелев, медленно жевал кусок уха, и снова крикнули:

— Чушка! Где наш Корешок? Где его закопали?

Но он уже нас не слышал, не отвечал. Он вдруг стал похрапывать, а когда мы попытались его будить, хлопая свиной ляжкой по щекам, как маленький, завизжал, захрюкал, будто, и правда, превратился в поросенка.

Хвостик заглянул ему в открытый рот, вынул недожеванное ухо и спросил:

— А может, Чушку тоже пора закоптить?

Мы посмотрели на Хвостика и переглянулись.

Но вдруг закричала из сарая Чушкина мать, у которой изо рта выпал передник.

— Выродки! — орала она и ломилась, прогибая хлипкую дверь. — Вы за все ответите! И за животных, и за моего сына! Я всех вас знаю! Всех отправлю по этапу! В Сибирь!

— Заткните старую дуру, — приказал Мотя, но несколько не сердясь, а даже с какой-то зловещей веселостью. Он обвел нас глазами, вымазанных в свином жире, в саже, еще жующих свиное сладкое мясо. — А кто у нас следующий?

Тут уж мы в один голос заревели, называя кто кого:

— Наполеончик!

— Повариха и Филипп!

- Уж — директор к тому ж!
- Очковая змея!
- Коз-зе-ел!
- "Красный паровоз!"
- Помидор!
- Сиволап!

При упоминании Козла Сандра громко замычала и показала руками, что она готова бежать к нему на расправу.

— До всех доберемся, — пообещал спокойно Мотя, глядя на Сандру. — И до Козла доберемся. Не бойся. Пировать так пировать! Если бы Сенька Корешок видел нас оттуда, он очень бы нас одобрил, правда?

Мы бросили Чушку в его кровати, привязанным во дворе, и стали выходить на улицу. Кто-то из "спецов" волок за собой обгорелого поросенка и бутыль с недопитой сивухой.

Мы, кажись, разбудили кой-кого из соседей. Было видно, как из окошек, не зажигая света, выглядывали, а кто-то даже прокричал угрозу, какую именно, мы не разобрали. Туда, на голос, мы швырнули несколько камней и вмиг их успокоили. Даже окна захлопнулись.

— А чево, — сказал Шахтер. — Уж один раз в жизни и пошуметь нельзя? Пушай знают, что мы тут... что мы существуем... У нас тоже этот... Как его... Голос...

— Сегодня наш голос! Наш! — закричал "спецы". — Сверчок! Где Сверчок! Голоси давай! Пусть поселковые крысы слышат!

Сверчок с разбойным присвистом завел:

Стукнем х... по забору,  
 Чтобы не было щелей!  
 Спите матери спо-кой-но,  
 Проживем без ма-те-рей!

Все разом подхватили, аж звон в ушах пошел:

Эх, раз! Еще раз!  
 Еще много, много раз!

## 41

До Наполеончика мы дошли с песнями.

Прорвались в дом, вышибив плечом щеколду, а боевой товарищ начальник милиции залез со страха в подвал, услышав родные голоса, мы его с трудом оттуда выковы-

ривали. Его и связывать не пришлось, как Чушку. Наполеончик ползал на карачках у наших ног и все просил пожалеть семью. Наверное, он решил, что мы пришли его убивать.

Увидев, как он трусит, Шахтер стал искать портупею с pistolетом, но в кобуре почему-то оказалась деревяшка.

Шахтер стал показывать всем деревяшку.

— Смотрите! Из чего наши доблестные мильтоны стреляют! — он приставил деревяшку к своей голове. — Пих-пах, ой, ой, ой! Умирает зайчик мой!

Но тут Бесик заметил на стене охотничье ружье с патронташем. Он предложил:

— А если и правда.... сделать пих-пах!

Не знаю, хотел ли Бесик на самом деле стрелять, думаю, вряд ли.

Но Шахтер уже схватил ружье и зарядил его. Он единственный среди нас умел заряжать ружье.

Потом наставил ружье на хозяина и пригрозил:

— Теперь отвечай, падла, где наш Корешок? Где его закопали? Ну?

Наполеончик упал на колени и стал ползать и божиться, что он ничего про Корешка не знает... То есть, он слышал, что какого-то Кукушкина, больного-дистрофика привезли в больницу и он там скончался.

— Значит, дистрофика? — переспросил Бесик, едва сдерживаясь. — А почему Корешок дистрофик, а твой сын не дистрофик?

Жена Наполеончика, Сильва, в домашнем халате, растрепанная, еще сонная, стояла, придерживая Карасика.

А Мотя сказал:

— У меня предложение: мы берем Карасика себе в "спец"! Посмотрим, какой он там будет!

Тут уж Сильва окончательно проснулась.

— Не пуцу! — крикнула она и заслонила сына, который был в длинной до пят рубахе, так они, оказывается, одеваются на ночь. В отличие от нас, "спецовских", ночующих в том же, в чем мы ходим.

— Пустишь, — сказал Шахтер и стал целиться в Карасика. — Если не хочешь, чтобы мы твоего сучонка вот тут прикончили!

— За нашего Корешка!

— Которого вы уморили!

— Но мы... Но мы никого... Правда... — и Сильва заплакала.

— А кто его убил?



— Не знаю.

— Вот видишь! Про нас ты ничего не знаешь!

— А ей нас не жалко!

— Пожалел волк кобылу...

Сильва все плакала, а Карасик в своей дурацкой рубашке так и торчал перед дулом. Ожесточение наше нарастало. Мы им кричали всякие слова, и сами при этом распаялись.

— За что вы нас ненавидите? — крикнула Сильва, вытирая слезы рукавом халата. — Вы же звери! Звери!

— Замолчи, дура! — крикнул ей Наполеончик. — Не видишь, их нельзя злить! Они же такие... — и сам в испуге замолчал.

— Какие это мы? — спросил Бесик. — Интересно?

Лицо у Наполеончика пошло красными пятнами, он шмыгнул носом.

— Какие же? Ты, легавая шкура, отвечай!

— А я вам скажу, какие мы, — произнес Мотя спокойно.

С тех пор как погиб Корешок и Мотя сидел, рыдая, на дороге, я больше не видел прежнего Мотю, у которого все люди были хорошими. Он стал холодно-жестоким и при этом все время улыбался. Такая странная, не Мотина, улыбка с поджатыми до белизны губами, с глазами в упор, как это дуло.

— Так я скажу, какие мы, — повторил он, глядя на Наполеончика и улыбаясь ему. — А мы вот какие: дикари! Мы бешеные! Она говорит правду, мы звери! На нас бы отстрел, охоту затеять с таким ружьем, ведь мы из недобитых! А будь твоя воля, а не наша, ты бы не стал пугать да раздумывать, правда? Ты бы выстрелил? — Мотя улыбался, но губы его дрожали. — Ну, честно скажи... Хоть раз в жизни будь человеком: выстрелил бы? Да? Да?

Мы стояли, сгрудившись, и ждали, что скажет Наполеончик.

Он, конечно, понял, что тут, сейчас, решается его жизнь, жизненка... Вдруг стал при нас неистово креститься и повторять:

— Нет! Нет! Ребятки! Милые! Ребятки! Я никогда в жизни! Я же не злодей! Это у меня должность такая, что заставляют... Но сам я никогда!

— Клянешься? — спросил Бесик.

А кто-то добавил:

— Да пусть он Сталиным поклянется, чего он нас на Бога берет, которого нет!

— Клянись, — тут же сказал Наполеончик. — Вот, товарищем нашим дорогим вождем, Иосифом Виссарионовичем!

— И нас не тронешь?

— Не трону!

— Никогда?

Сандра замычала изо всех сил, она не верила ни одному слову Наполеончика. Хвостик тоже не поверил, он крикнул:

— Серый! Пусть он еще Ворошиловым поклянется! И товарищем Калининым...

— Пусть он матерью своей поклянется, — предложил вдруг Ангел, который был среди нас, но молчал. — Что нас он никогда не тронет!

— Клянись... Мамой родной... — пробормотал Наполеончик и заплакал, но как-то не по-мужски, сморкаясь и размазывая соплю по лицу.

— Я ему верю, — сжалился Ангел.

А Шахтер опустил ружье, но произнес с угрозой:

— Верю каждому зверю... Медведю и ежу, а ему погожу...

— Ладно уж, — остановил его Мотя, но мне показалось, это он себя так сдерживал. — Пошли поминки делать... Я-то уж знаю, сколько они запасли!

И все поняли, что злость спала, а это как сигнал к празднику, и с легкой душой поволокли на улицу вещи и продукты. Вытащили стол и стулья, разожгли костер. А потом несли и несли всякие соленья из подвала: огурцы, помидоры, яблоки и сваливали в огонь. Конечно, мы еще на ходу дожирали, в память Корешка.

А Сверчок сказал:

— Если он смотрит оттуда, он, наверное, облизывается! Ему бы тоже пожрать за счет Наполеончика! Он в огороде тут огурец украл... И то был счастлив...

— А он видит, да? — спросил у меня Хвостик.

— Видит! Конечно, видит!

— Он радуется, что мы жрем? Правда?

— Ну, а как не радоваться! Ты бы обрадовался?

— Я бы радовался, — признался Хвостик. — Только в живот уже ничего не лезет... — пожаловался он. — Вот если бы каждый день так.

— А мы будем теперь шуровать их каждый день! Хочешь?

— Конечно, хочу, — ответил Хвостик. — Мне понравилась их шуровать! А потом праздновать!

Так мы поговорили и при этом сваливали в костер все ихние припасы, чтобы ничего после нас им не осталось. Мы так понимали, что эти, которые против нас, если и не умрут, ползая по полу, то уж останутся голыми, как мы... Мы их Карасиком не зазря стращали, стоило видеть, как они перепугались при мысли одной, что он станет, такой, как мы!

Кем же они нас в таком случае считали?

Выродками? Исчадием зла? Дьявольским наказанием ихнему поселку, ихним городам, ихней столице Москве... Ихней стране?

Я посмотрел в щель, но опять ни насыпи, ни бугра не стало видно. Поняв, что посмотреть пока нечего, снова повернулся к Бесику и Моте.

Я подумал о Моте: не может быть, чтобы полеживал он со своей берданкой и ничего в жизни не боялся, а мы боялись. Вот юмор, что это тот же самый Мотя, который считал людей такими хорошими и слыл любителем птиц, он всех их по Брему знал на зубок, чесал наизусть, а однажды из пасти у кошки вырвал птенца. Может, он думал, что Наполеончик с рассветом выйдет перед сараем и крикнет миролюбиво, мол, хватит, ребятки, валять дурака, пошутковали, а теперь лапки вверх. Выходите, мол, а я, как обещал, ничего вам дурного не сделаю.

Тут я заговорил, чтобы не молчать.

— А вот в Истории написано, как эти... Шумеры жили, они вроде первые на земле...

Все молчали, но, кажется, слушали.

— ...У них там на глиняных дощечках нацарапано про начало и конец мира... А на одной дощечке они даже стихи такие написали: про жалость...

Никто на мои слова не откликнулся. Лишь Сандра промычала и потерлась щекой о мое плечо.

А я подумал: мама родная, воевали эти шумеры, а написали стишки какие-то о жалости... "Жалобная песнь для успокоения сердца"... Они... самые первые в мире... Но сейчас я еще подумал, что писали бы о войне или о Боге, ну понятно... Их там, как нас в сарае, осадили. А потом подожгли... Только эти дощечки не горят, они потому и сохранились, что от огня еще тверже стали! Но ведь сами-то шумеры погибли, никакая глупая жалость, никакие стихи им не помогли.

Такая вот поучительная история. А все о том, что сила в этом мире — главное, а не ихние сантименты, которые

никому не нужны. Это мы вчера Наполеончика пожалели, а вот пожалеет ли он нас, неизвестно.

Впрочем, известно. Об этом и Маша голосила, что не пожалеет... Да я и не об этом... Я о том, что пропадем мы тут, как те неведомые шумеры, и даже на дощечках не останется, кто мы такие, как жили и как умерли.

А ведь мы тоже народ, нас миллионы, бросовых... Мы выросли в поле не сами, до нас срезали головки полнорезлым колоскам... А мы, по какому-то году самосев, взошли, никем не ожидаемые и не желанные, как память, как укор о том злодействе до нас, о котором мы сами не могли помнить. Это память в самом нашем происхождении...

У кого родители в лагерях, у кого на фронте, а иные, как крошки от стола еще от того пира, который устроили при раскулачивании в тридцатом... Так кто мы? Какой национальности и веры? Кому мы должны платить за наши разбитые, разваленные, скомканые жизни... И если не жалобное письмо (песнь) для успокоения собственного сердца самому товарищу Сталину, то хоть вопросы к нему.

Вопросы-то задать можно, чтобы не совсем безнадежно слепыми уйти из этого мира, отдавая концы!

А то, что мы обречены, я, как и остальные Кукушата, не сомневался. Сейчас ли, потом... Крикнуть бы на весь мир, проголосить, чтобы вздрогнули, как от наших песен, в своих теплых кроватках поселковые и опомнились, и тихо спросили друг друга... И пришла бы к ним такая элементарная мысль: да что же мы творим, братцы мои, что губим мальцов, подрост наш, который и есть наше будущее?

Бесик сказал вдруг:

— Значит, они все поняли... Эти...

— Шумеры?

— Неважно. Шумные или какие... Они поняли, что мир недолог, как ни пой, а придут вот такие легавые и все порушат... Вот тебе и конец мира...

Ангел вдруг голос подал:

— Письмо надо товарищу Сталину написать! И закопать! Он придет и найдет... И все узнает!

— Заткнись! — прикрикнул на него Бесик. — Менты услышат, — и уже мягче: — Чего рассиропился... Письмо, письмо... О чем письмо-то? И на какой глине ты собираешься его писать? Разве что дегтем на сарае?

Сандра промычала, она была согласна с Бесиком. Да и так понятно: мы не древние люди, чтобы писать о жалостливых слезах, которых у нас нет. А о злобе и писать не

стоит. А у нас одна злоба осталась. Да еще озверение против всех: против легавых, против поселка и против других поселков! Да против ихнего мира вообще. И нас, как бешеных собак, Сильва-то права, права, нельзя выпустать из этого сарая... если по правде. Мы нелюдь, зараза, мы чумные крысы, которые могут перекусать всех, кто попадется им на пути.

Это я представил себя так со стороны и всех остальных Кукушат представил. И я понял, что только так могут про нас всех они думать. Те, что вокруг сарая, да и весь поселок, и весь остальной мир...

Кроме товарища Сталина в Кремле.

Он один так думать про нас не может, потому что он друг всех советских детей. Не зря мы ему телеграмму дали.

Вот получит он ее и приедет. Скажем, из Москвы на товарняке или еще как. А рядом с ним его соратники-большевики. Посмотрит товарищ Сталин, что нас тут в сарае за крысятников держат, и брови нахмурит. И спросит он Наполеончика, медленно выговаривая слова, как в кино, которое мы смотрели:

— А что у вас тут, товарищ капитан милиции, происходит? Можно попросить выпустить из сарая дорогих советских детей, я как их лучший друг хочу на них посмотреть. Они ведь мои друзья! Разве я не говорил об этом?

И тут мы бы все вышли. Бросились бы к нему, родному отцу и учителю, лучшему другу советской детворы, и хором закричали... "Дорогой наш вождь и учитель! — так бы мы закричали. — Да мы же свои! Свои! Мы со всем советским народом боремся с проклятыми фашистскими захватчиками, а это вот они, менты разные, нас врагами перед тобой и перед другими представляют. Они хари свои свиные, дорогой товарищ Сталин, тут на тыловых харчах разъели, а теперь еще и над бабками и над детишками, что осиротели, измываются, а нет, чтобы на фронт идти вместе со всеми фашистов проклятых бить... А про нас они хотят сказать, но ты не верь, будто все тут собрались враги, раз дети врагов народа. Над нами, голодными да вшивыми, измываются и всем про нас врут..."

Впрочем, нет, про вшей и про голод мы не станем ему говорить, он и без того знает, что всем трудно и все, все, даже он сам, сидят на голодной пайке. А по ночам он снимает свой френч и смотрит, много ли в складках насекомых... А если много, то огорчается и, надев очки... Но могут ли быть у великого вождя и учителя очки?! В общем,

бьет их ногтем, а к утру, облегченно вздохнув, тот френч надевает и спешит к Мавзолею на Красную площадь.

Выслушает нас товарищ Сталин тут, у сарая, и задумается. Обо всей советской беспризорщине будет думать свои великие мысли. И даже знаменитую трубочку раскурит. А потом прищурится, ткнет мундштуком в Наполеончика, будто прицелится в него, и скажет просто и ясно, как умеют говорить лишь вожди, выделяя каждое слово, поскольку каждое из них драгоценно.

— А почему, объясните всем товарищам по партии и нашему народу, вы держите дорогих наших мальчишек и девчонок под стражей в этом сарае? Вы, что же, считаете, что дети должны отвечать за отцов, которые враги народа? А дети за отцов, будет вам известно, товарищ Наполеончик, не отвечают. Они наше будущее... И молодежь надо выращивать бережно, как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево... Или вы, товарищ капитан, иначе смотрите на воспитание нашего будущего поколения?

— Да что вы, товарищ Сталин! Я лично, как вы... Я так и думал! — завопит Наполеончик, соврав самому товарищу Сталину и его Политбюро, потому что не привык не врать. И в доказательство своей верности и любви к советским детям он не только выпустит нас, но еще исполнит этакую резвую детскую классическую песенку:

Птичка над моим окошком  
Гнездышко для деток вьет,  
То соломку тащит в ножках,  
То пушок в носу несет...

Приторно причмокивая, прихихикивая и взмахивая руками, будто он и есть эта божья птичка. А закончит уж совсем энергично на мотив лезгинки:

На заборе птичка сидела  
И такую песенку пела.

И джигитом пройдет перед товарищем Сталиным и перед нами, потрясая своим толстым животом, даже не замечая, как он вспотел.

— Ну, ладно, ладно, — с прищуром произнесет товарищ Сталин и кивнет товарищу Буденному и товарищу Ворошилову, с молчаливым интересом наблюдающим эту комическую сцену. — А вы, Климент Ефремович, проследите, чтобы никто в поселке не смел обижать наших детей, верных помощников партии и будущих защитников Советс-

кой Родины. А вот Семен Михайлович, — это уже Буденному, — пусть поможет товарищу капитану милиции и его молодцам ("молодцам" вождь произнесет с мудрой усмешкой) поскорей и добровольно попасть на фронт, где как раз необходимо пополнение. И дайте им лошадей, не жалейте, пусть они совершают подвиги. У нас в стране всегда есть место подвигу. Тем более что наше дело правое, и победа будет за нами!

И тут, набравшись смелости, мы бы все подробно рассказали про себя нашему родному отцу и учителю, вождю мирового пролетариата, а в конце тоже попросились бы на фронт... Только в другую часть, где не будет Наполеончика. А лошадей мы бы попросили отдать нам, ведь легавые воевать не умеют и обязательно их угробят.

## 42

Оставив Наполеончика и законно считая, что он теперь для нас опасности не представляет, мы двинулись исполнять свой список, очередь была до неба и дальше.

Все рвались в больницу, к Очковой змее, но Мотя стал отговаривать нас, считая, что мы лишь напугаем больных, а врача там все равно нет. И правда, когда пришли, оказалось, он среди всех единственный понял, чем это пахнет, и скрылся с глаз.

Тогда Мотя сказал:

— Мы должны найти Козла... А потом этих... Из ресторана.

И Сандра тут же рванулась вперед, мы едва за ней поспевали. Она-то уж точно помнила, где проживает этот Козел, улицу и дом, что неподалеку от станции.

Мы с ходу овладели домом, вдребезги разбив окно, а потом вышибли и дверь.

Козла мы подняли с постели в чем он был: в кальсонах и рубашке. Но поперву он оставался спокоен, хотя несколько раз растерянно повторил: "Ну, разбойники... Ну, пираты..."

Тогда мы ввели в комнату Сандру, чтобы она увидела в лицо своего насильника.

Бесик спросил:

— Узнаешь?

Сандра задрожала, завидев Козла, представшего перед ней в исподнем. И он вдруг испугался. При виде нас он

не испугался, а Сандры испугался, побледнел, даже свои красные губы стал от волнения кусать и бородой трясти.

Шахтер сказал Сандре:

— Вот тебе ружье... Делай с ним, что захочешь... Пока мы наведем порядок.

Все ушли жечь мебель и рушить его дом. Только я, Бесик да Мотя не стали уходить, чтобы не оставлять Сандру с Козлом одну.

Она стояла с ружьем и вся тряслась, глядя ему в глаза. И вдруг швырнула ружье на пол, завыла, закричала, закрыв лицо руками, — мне от ее крика стало больно в груди.

Мы подхватили ее и увели на крыльцо. Потом вернулись к Козлу.

Бесик приказал ему снять кальсоны, Козел стал сопротивляться. Я и еще трое Кукушат — Мотя, Шахтер и Сверчок, а потом еще и Хвостик — повалили Козла на пол и наголо раздели. Потом подняли, дотащили до дверей и продели его мошонку в дверной проем. Мы не стали делать ему больно, мы же не садисты какие. Мы просто заперли дверь так, что яйца его оказались наружу, и ему придется до того времени, когда его отопрут, стоять по стойке смирно.

Конечно, он кричал, да мы уже на крики не обращали внимания. Мы ведь тоже им кричали годами, пока жили в Голяках! Прямо в уши кричали, они-то нас не слышали!

Мы заперли дверь, где торчала козловская мошонка, а ключ принесли Сандре. Она сидела, чуть успокоившись, на крыльце и смотрела на костер, где полыхали вещи Козла.

— Вот, — сказал ей Бесик и отдал ключ. — Больше он никогда никого не тронет!

Сандра кивнула, осторожно взяв ключ, и тут же, будто обожглась, швырнула его в огонь. Мы навсегда покинули этот дом, уводя Сандру, под дикий вой Козла.

Остаток ночи и все утро мы проискали повариху и Филиппка, но, как оказалось, они покинули поселок и уехали в неизвестном направлении.

Тогда мы дошли до почты в одном из барачков у станции и написали телеграмму товарищу Сталину. Мы написали так: "Дорогой товарищ Сталин, приезжай скорей в Голятьвино, мы тебя ждем. Кукушата".

А женщина на почте, молодая, молчаливая, все лицо у нее было в крапинах, посмотрела на нас странно и спросила:



— Какой адрес?

— А у Сталина разве есть адрес? — спросили мы, в свою очередь.

— Ну а как же, — отвечала она. — Он же где-то живет.

— Он в Кремле живет, — пояснил я. — Но туда не пускают.

Мы дописали в телеграмме слово "Кремль". И женщина сказала:

— Вот теперь нормально.

— А дойдет? — спросил Хвостик, сияя глазами. — Правда, дойдет?

Женщина посмотрела на него и вздохнула.

Мы ушли в свой "спец" и легли там прямо на полу спать, потому что устали.

А проснулись в сумерках оттого, что услышали снаружи голоса и сразу поняли: нас окружают и собираются брать. Слышней всех был голос Наполеончика, а еще горланили другие менты и сторож наш, который объяснял, где нас теперь искать.

Но пока криворотый сторож им мямлил, а он из тридцати трех букв тридцать не произносит, мы тихо проползли в окно по полу в дальний конец здания, выпрыгнули в окно и нырнули в кусты.

Я уже тогда понимал, что будет гон, они ведь сразу поймут, что мы удрали. И я сказал Хвостикку:

— Слышь, Хвостатый! Оставайся здесь! Я за тобой приду!

Он захныкал, стал проситься со мной.

— Оставайся! — шепотом прикрикнул я. — Они увяжутся за нами, а ты уцелеешь, понял? А когда мы выскользнем, я вернусь за тобой...

А Бесик рявкнул:

— Нечего разводить лясы. Раз обещаем, значит, придем. Ну?

Хвостик тихо заплакал.

— Серый, — попросил он. — Не бросайте меня... Не бросайте!

— Не бросим!

Я тогда верил, что мы правда выскользнем из рук этих ментов, мы быстрее их да и лучше знаем местность, все кусты, все закутки наши. Мы, конечно, не рассчитали, когда забрались в этот сараюшко, что они так быстро догадаются и нас здесь окружают.

Знали бы, рванули за реку в лес, а так уж нас ищи, как ветра в поле.

Но вдруг я подумал, что мы не смогли бы миновать этот сарай, куда бы мы ни бежали. Он обязательно встал бы на нашем пути. Сарай нам был назначен самим Господом Богом. Вот что я понял сейчас.

— Идут, — сказал Мотя спокойно, прервав мои мечтания.

Мы все прильнули к щелям.

Опять стал виден бугор, а за ним оживленное шевеление людей, как бывает перед атакой. Легавые скапливались кучками, были видны лишь их согнутые спины.

— Мальбрук в поход собрался! — произнес Шахтер и закашлялся, сердито сплюнув на пол.

Никто не засмеялся, но все знали, что с тем Мальбруком в походе стряслось. Наши легавые храбрецы не лучше, это мы своими глазами у Наполеончика увидели. Но в них ли дело? Это уже не они, а весь поселок против нас ополчился, а может, и другие поселки.

И те, что за лесом, и в Москве.

Все, кроме товарища Сталина, который, наверное, не успел получить нашу телеграмму и потому не приехал. Но он, может, еще приедет. Остальные же в сговоре с легавыми, и потому они были нашими врагами.

Я спросил, но уже громко, скрываться и таиться не имело теперь смысла.

— Моть, ты думаешь, они пойдут в открытую?

Он ответил, но совсем не на мой вопрос:

— Я бы пальнул, если бы достал! Да ведь не достану!

В этот момент они и выстрелили. А мы успели им один раз ответить.

Мотя стал заряжать ружье, но вдруг уткнулся в него носом.

Бесик ему крикнул:

— Стреляй! Ну, стреляй!

Он еще не понял ничего. А Шахтер понял, взял ружье и почти зарядил, но вдруг завалился на бок, будто поскользнулся. Мне показалось даже, что он виновато усмехается: вот, мол, в самый-то момент!

Шахтер упал, потом поднял голову, хотел что-то сказать, но сплюнул на пол и затих.

Тут до меня дошло, что стреляют в нас залпами, сарай сразу превратился в решето, от досок летели щепки.

Я хотел Кукушатам крикнуть, чтобы не вставали, но в это время закричал Ангел, схватившись за голову, повторяя одно и то же: край, край... И упал. Над ним склонилась

Сандра. А Бесик трясущимися руками стал вытаскивать ружье из-под Шахтера и никак не мог его вытащить. А когда вытащил, пошел прямо к выходу, ногой отпихнул дверь и встал, чтобы лучше целиться в легавых, которые еще сидели за бугром. Но Бесик почему-то не выстрелил, а так и продолжал стоять с ружьем, странно раскачиваясь, а потом опустился на колени и прилег, сжавшись в комочек.

Я бросился к нему, даже успел сделать два шага, вдруг меня с силой толкнуло в грудь. Я не удержался и упал, все удивляясь, как случился такой странный непонятный удар, что я упал. Я захотел приподняться, но почему-то не смог... Сунул руки за пазуху, нащупал свою Историю, она была в крови.

Я закричал Сандре:

— Поджигай сарай! Они все равно нас убьют!

Сандра чиркнула спичкой, но спичка сломалась. И вторая сломалась. Тогда коробок взял Сверчок. Он что-то долго копался, присев на корточки в углу.

— Ну, чего он! — крикнул я, разозлившись. — Пусть зажжет!

Сандра подошла, не прячась уже от пуль, к Сверчку, тронула его за плечо рукой, и он повалился навзничь.

— Поджигай же! — закричал я, у меня почему-то пропал голос, а во рту стало горячо и солоно.

Вот тут и появился Хвостик, откуда он взялся, ума не приложу. Кругом менты, а он подкопался под сарай, да ему, наверное, и копать-то не надо, он же в любую дыру проникнет. Не знаю, так ли я думал или нет, стало ясно, что Хвостик здесь, с нами, а значит, поджигать сарай нельзя.

И я крикнул, аж во рту забулькало:

— Не... надо... Дурачок... Беги!

А он был такой сияющий, такой счастливый, что он нас нашел.

— Серый! Серый! — закричал мне. — А я вас нашел! Правда!

— Уй-и-и... — только и смог я произнести вместо "уйди". В глазах у меня все поплыло, и моя История, разбухшая, потяжелевшая, давила мне на грудь, не давая дышать. Я захотел ее вытащить и не мог.

Но я еще видел, я видел, как Сандра вдруг схватила Хвостика и, загоразивая его собой, бросилась к двери... Этим показывая ментам, чтобы не стреляли, что она не сама по себе, а с Хвостиком.

Она сделала несколько шагов от сарая, и я вдруг услышал ее голос. Не мычание, а именно голос. Она повторяла одно слово:

— Жа-ло-сть! Жа-ло-сть! Жа-ло-сть! Жа...

И упала. Рядом упал Хвостик.

Стало тихо.

А может, и не тихо, потому что зеленел луг, сверкало солнце, и прямо по этому лугу мы шли, взявшись за руки, и пели свою песню.

Там вдали за рекой  
Раздается порой  
Ку-ку... Ку-ку...  
Ку...  
Ку...

Никак не мог вспомнить, как же мы еще пели.

Там вдали... Там вдали...

Но это не важно. Вовсе неважно, потому что день этот самый счастливый, потому что он родительский. И кто-то кричит: "Приехали! Приехали!" И какие-то люди машут нам радостно, они бегут к нам навстречу... Я всматриваюсь в них... Ах, какая жалость, что глаза не видят, а мне так надо их увидеть! Разобрать их лица! Кто они? Кто? Кто?

— Ма-ма! — кричу я изо всех сил. — Вы пришли, да? Вы меня любите? Вы меня, правда, любите?..

## ДОНЕСЕНИЕ

*В областное Управление НКВД*

*Докладываем, что в районе поселка Голятьвино и узловой станции особо важного направления Голятьвино оперативной группой поселковой милиции обезврежена группа особо опасных преступников, рецидивистов-подростков, совершивших разбойные нападения на отдельных граждан поселка. В ходе задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем сотрудниками милиции было применено оружие. Все преступники в количестве восьми человек уничтожены.*

## ЭПИЛОГ

Происходил юбилей полковника милиции в отставке Анатолия Петровича Кучеренко.

На Малой Грузинской в обширной квартире юбиляра, которому в день 16 сентября исполнилось шестьдесят, собрались дорогие его сердцу люди: дети, близкая и дальняя родня, сослуживцы по бывшей работе. Приехал из дальних мест сын Алешка, проходивший службу в пограничных частях, не женатый до сих пор, пришла и младшенькая, родившаяся после войны дочь Алена с внучком Костькой, любимцем в этом доме. С мужем Алена была в разводе.

Сидели в гостиной плотно. Лучший дружок со времен службы в Голятьвино Петр Евстигнеевич, крупный, видный собой мужчина, поднял тост за суровую молодость нашего юбиляра, которая хоть и прошла в тылу, на войну его, как ни просился, не взяли, да ведь и тыл был не легче, в ту пору много всякого выпало на их долю: и дезертиров, и бандюков, и хулиганья... Досталось, словом.

Все подняли рюмки и выпили.

— А он у нас и сейчас боевой, — произнесла с чувством Алена и поцеловала отца в щеку.

Жена Сильва добавила, рассмеявшись:

— Воюет с сорняками... На даче! Вот какой боевой! Зато клубники десять грядок! На всю зиму варенье, а Костьке — витамины!

— Перестань, — сказала дочка. — Наш папка хоть куда. А дед... Лучший в мире дед! Таких дедов поискать!

В это время позвонили в дверь, принесли телеграммы.

Их принял Алексей, выходявший покурить, но сам читать не стал, известно, что пишут в юбилей, а передал племяннику Костьке, который и доставил их в застолье под общий гул одобрения.

Первую телеграмму прочел громко Петр Евстигнеевич, текст был в стихах, празднично-игривый, составленный бывшими сослуживцами. Звучал он так: "Смотри веселее в день юбилея, и мы будем чуть здоровее, так сразу за твои шестьдесят примем шесть раз по сто пятьдесят, всяческих тебе благ и здоровья, до ста лет жизни на радость друзьям и близким".

Вторую прочла дочка Алена сперва про себя, но ничего не поняла, и повторила вслух: "Поздравляем ждем Кукушата".

— Кто это, пап? — спросила недоуменно.

— Кто? Кто пишет? — поинтересовалась Сильва, вернувшаяся из кухни, начала она не слышала. Она принесла огромное блюдо жаркого и собиралась поставить перед

гостями, для чего пришлось расчищать от закуски середину стола.

— Какие-то Кукушата поздравляют и ждут, — произнесла весело Алена. — Только непонятно, куда это они ждут!

Выражение счастливой легкости исчезло с лица Сильвы. Она взглянула быстро на мужа, ставшего вдруг бледным, энергично потребовала к себе телеграмму.

— Давайте-ка ее сюда.

Алена передала листок сидевшему рядом Петру Евстигнеевичу, но тот задержал телеграмму, вертя ее так и сяк. И вдруг сказал:

— Это ведь те, которые... Тогда...

— Какие те! — воскликнула нервно Сильва. — Тех нет! Нет! Они давно умерли!

— Папка, кто умер?! Мама! Что случилось? — спросила, расстраиваясь, Алена.

Но ей не ответили. Отец сидел, будто окаменев, а подвыпивший Петр Евстигнеевич продолжал изучать телеграмму, и все теперь на него смотрели.

— Отправлено сегодня, — сказал он. — Из Голятивина... Но почему "ждем"? Кто "ждет"?

— Господи! Ведь это шутка! Шутка! Разве не понятно! — в сердцах произнесла Сильва и хлопнула блюдо на стол.

— Ну, ясно, что шутка, — повторил за ней и Петр Евстигнеевич, но как-то деревянно, без энтузиазма. Остальные молчали.

— Хотел бы я узнать, кто так... шутит... — медленно, врасстяжку выдавил из себя Анатолий Петрович, откинувшись на диване и пытаясь вдохнуть полной грудью воздух. Лицо его теперь побагровело. — Но я узнаю! Узнаю! Они у меня...

Он выхватил телеграмму из рук Петра Евстигнеевича и сунул ее в карман.

— Нечего узнавать, — отрезала Сильва. — Дураков много. А на всех дураков не хватит кулаков! Давайте-ка горяченького... И выпьем мы за Костьку! Нашу радость и наше счастье!

— А сколько сейчас ему?

— Шестой! На будущий год в школу пойдет!

— Выпьем! Пусть учится без хвостов!

Гости оживились, стали пить, но Анатолий Петрович даже на этот совершенно замечательный тост отреагировал странно, при упоминании о "хвостах" он вздрогнул,

поднялся и вышел. Его отвели в спальню, чтобы привести в чувство, и больше он не появлялся.

А юбилей по инерции еще продолжался, но как-то смято, по нисходящей, и через час самые засидевшиеся из гостей попрощались и разошлись по домам.

Спал юбиляр беспамятно, приняв снотворное, и проснулся лишь к обеду следующего дня. А проснувшись, сразу достал из кармана брюк вчерашнюю телеграмму. Спокойно перечел ее, положил на стол и прошел на кухню, чтобы попить воды. Потом стал одеваться. Сильвы дома не оказалось. Ушла в магазин, а может быть, уехала к Алене с Костькой. Но в доме было прибрано, посуда помыта, а столы и стулья расставлены по своим местам. У сына Алеши тоже были в Москве дела.

Анатолий Петрович собирался с твердым ощущением того, что он знает, что будет делать. Телеграмму он сунул в карман, а на клочке написал Сильве записку, где сообщал, что ненадолго уезжает, к вечеру будет дома. Пусть она не беспокоится, чувствует он себя хорошо.

На вокзале ему повезло: электричка на Голятьвино, ходившая трижды в день, отправлялась через двадцать минут. Неизвестно, как бы он поступил, если бы этой электрички не оказалось. Наверное, вернулся бы домой и на этом успокоился.

Но поезд стоял, и он, купив билет, сел в вагон, не ощущая ничего, кроме нервного озноба, холодившего спину. Дорогой он не читал, хоть достал из ящика свежую газету, а глядел в окно и о чем-то думал.

Станцию узнал сразу, хоть не приезжал сюда десятки лет, все было, как прежде, даже бараки; надписи, правда, той, что из песни, на них уже не было, зато на каждом доме отдельно висели какие-то лозунги, что там написано, он не разобрал.

И почта оказалась на своем месте.

Он терпеливо выждал, пока какая-то старуха получит пенсию, и обратился к молоденькой девушке, лицо ее было сплошь в золотых веснушках.

— Это послано из вашего отделения? — и протянул телеграмму.

Девушка взяла в руки листок, глянула мельком и сразу ответила:

— Да, это от нас.

— А вы не помните случайно, кто посылал?

Девушка перечла текст, шевеля губами, и посмотрела на спрашивающего: глаза у нее были спокойные и голубые.

— Помню, это же было вчера. А я дежурила.

— Кто же? — спросил он, перегибаясь через барьер и желая лучше расслышать. Но вышло это у него как-то судорожно.

— Дети, — просто ответила она.

— Дети? — переспросил он тупо. — Что за дети? Откуда?

Девушка пожала плечами.

— У вас тут что — колония?

— Какая колония? — удивилась, в свою очередь, девушка. Она задумалась, наморщив лоб, добавила: — Их было восемь... кажется... Да, правильно, восемь. У них странные такие имена, они хотели даже их поставить, но не поставили.

— Какие? — спросил он очень громко. — Имена какие?

— Я не запомнила, — ответила она с виноватой улыбкой и вернула ему телеграмму. — Вот самого маленького они называли как-то чудно... Хвостом, что ли...

— А девочка? — спросил он, не слыша уже себя. Хотя понимал, что не надо ему этого спрашивать. — Девочка? Была?

— Да. Была и девочка. Мне показалось, что она... вроде некая...

Он повернулся и вышел. Опомился, лишь оказавшись далеко за поселком на пустыре. Он узнал этот пустырь, но не удивился, именно здесь все тогда и произошло. Правда, сарая того самого уже не было, его, кажется, спалили вскоре, да кусты выросли там, где сидели они с друзьями в ложбинке, знобкой ночью, карауля преступников.

Он присел на зеленый бугорок, озираясь и приходя в себя. В голове почему-то прокручивались одни и те же слова из праздничной телеграммы от сослуживцев: "Гляди веселее в день юбилея"...

Наступали быстрые осенние сумерки, становилось прохладнее, от земли, от травы повеяло сыростью. Надо было бы подняться да уходить, бежать скорей от этого опасного места, но странное состояние охватило его. Удерживал себя, будто чего-то ждал. И они появились, именно оттуда, от того места, где был сарай, и стали отчетливо видны, все восемь человек, и впереди, как он и предполагал, все та же великовозрастная девчонка с малышом за руку.

Она выскочила из сарая на них в то утро, крича какое-то непонятное слово... То ли "помогите", то ли "спасите"... Он уже потом сообразил, что некая-то вовсе никакая не



немая, а от страха забыла о своей симуляции и все, что надо ей, вспомнила... Ну, а в момент, когда она вдруг появилась, держа за руку малыша, и пошла, побежала прямо на них, он с перепуга, совершенно необъяснимого, выпустил в нее, в них целую обойму своего "ТТ", ненавидя ее да всех их за этот суеверный, охвативший его страх.

Он и теперь их боялся и ненавидел, потому и пришел, что ненавидел, они все еще были и мешали ему жить, не желая отправляться в положенное им небытие. Нарушая все возможные законы, они посмели вновь появиться и позвать его на встречу!

Ну, да он-то теперь не таков! Нет, не таков!

Будто помешанный, с блуждающими от гнева глазами, наблюдал он за их приближением и уже привычно правой рукой шарил в поисках оружия, чтобы на подходе в упор достать их, уничтожить навсегда.

Но в какой-то момент так ясно, что ясней не бывает, вдруг увиделось ему, что рядом с немой девочкой шагает его внучок Костик, улыбаясь во весь рот той дивной, неповторимой улыбкой доверчивой, что делала деда навсегда счастливым.

— Хвостик... Костик... — подумалось. И далее почему-то только одно: "Это конец".

Все в нем онемело, особенно щеки и шея, в сердце стало пусто и холодно, оно несколько раз стукнуло, будто стрельнуло вхолостую, и замолкло.

А группа гуляющих подростков, среди них, и правда, была девчонка с братишкой, прошли мимо, они возвращались из кино, никто из них не обратил внимания на сидящего в странной позе старого человека, будто околотившего от долгого ожидания, с остановившимися глазами пьяного безумца. Но мало ли алкашей перебывало тут! Дети давно к ним привыкли!

Его нашли на второй день, врачи в местной больнице констатировали смерть от инфаркта.

Похороны были скромные. Родные решили похоронить его для своего собственного удобства тут, в поселке, на родине, где прошла его боевая молодость и первые лучшие годы жизни.

Могилу со звездой, крашенную в серебристый цвет, вы сможете увидеть еще и сейчас, если попадете на старое Голятовинское кладбище, которое собираются теперь сносить и, наверное, скоро снесут. Тут скоро будут стоять жилые дома.



# **РЯЗАНКА**

РОМАН

## Книга первая

# Слово о голубом экспрессе

*Цвет небесный, синий цвет,  
Полюбил я с малых лет.  
В детстве он мне означал  
Синеву иных начал.*

*Н. Бараташвили (пер. Б. Пастернака)*

### КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Вокзал — особая вежа. От него начинаются все отсчеты, и не только километров. Сколько раз уже вот отсюда, от этой стрельчатой башни, от странных, на ней, часов без цифр — лишь знаки зодиака, пророчествующие судьбу, — уезжал я близко и далеко, и очень далеко, и даже так: безвозвратно.

В сорок первом году, ранней осенью — помнил лишь потому, что мама умерла в конце августа, а далее мы с сестрой еще месяц болтались сами по себе, — отец работал на военном заводе и никак не мог к нам вырваться... Так вот, где-то в начале октября, не ранее, отсюда, с Казанского вокзала, отправляли нас в Сибирь. Другого адреса не было: просто — Сибирь.

Помню, мы еще сфотографировались на память с отцом, и даже где-то сохранилась эта несчастная фотография: мы там втроем, странно притихшие, такие глаза были у всех в ту пору... Начало войны! Хоть ничего еще о себе по-настоящему не могли наперед знать.

Нас с сестренкой привезли тогда с вещами электричкой на Казанский вокзал.

Отец неумело, с помощью соседки-портнихи тети Дуни, собрал какое-то вовсе не зимнее барахлишко: ботики, кепку, легкое осеннее пальто.

Была пасмурная погода. Первая белая крупка летела на дощатый перрон.

Взрослые, это были, как потом выяснилось, наши воспитатели, суетились, бегали, кричали, и в их громкой торопливости, как я теперь понимаю, была тоже паника перед неизвестностью, ведь и нас, и их посылали куда-то на восток, без адреса, без станции назначения. Без самых необходимых на первый случай вещей, даже без продуктов.

И все это вместе с тревожными сводками Совинформбюро, бомбежками, очередями за хлебом, солью, мылом, смутными слухами, зачастую противоречивыми, о подходе к Москве врага.

Я думаю, что взрослым (некоторых я помню: учитель ботаники Николай Петрович, мужчина средних лет с язвой желудка, еврейская семья с маленьким ребенком, учитель физкультуры, контуженный в Белофинскую) было в этот отъездной час на Казанском гораздо тяжелей, чем нам (хоть жалели больше нас), ведь они уже хлебнули войны: и на фронт провожали, и первые похоронки получили, и близких в Москве бросали, и даже, почти смутно, могли себе представить, каково им там, в этой зимней Сибири, достанется с нами.

Мы же были напуганы, но не настолько, чтобы все время переживать. Мы еще играли в осколки зажигательных бомб, как в игрушки. Мы даже с интересом лезли в вагон, куда нас заталкивали наскоро по несколько человек на место, и еще не видели, чем станет этот отъезд и куда поведет нас наша Рязанка.

А дорога-то была медленной, голодной, далекой, мы неделями тащились от полустанка до полустанка, уходя все далее от опасных мест. Навстречу шли эшелоны с солдатами, пока не нюхавшими фронта, и оттого бесшабашно веселыми, почти беззаботными... "Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!" — и далее лихое: "И пойдут боевые тачанки!"

Верилось, что тачанками да клинками мы быстро, почти как в песне (хор Александрова), "разгромим, уничтожим врага!".

На каком-то разъезде, на Урале, мы стояли бок о бок с таким громкоголосым эшелоном, и щедрые солдатики швыряли нам, оголодавшим, в открытые окна, в двери

куски хлеба, картошку, сало. Мы накидывались на жратье, но еще не рвали друг у друга, не убивались, не зверели, как случилось бы позже. Мы еще умели делиться добычей, помогать слабым, особенно девочкам, и в этом мы тоже еще были глубоко довоенными!

Но недалеко был тот день, когда в деревне Зырянка Юргомышского района, где нас разместили в холодной школе, я собирал по изюминке — их давали на завтрак по пять штук вместо сахара, — чтобы подкормить голодающую пятилетнюю сестренку. Хлеб у нее отбирали старшие девочки. Да и все остальное тоже отбирали. Чтобы не умереть с голоду, она по ночам таскала из аквариума и поедала живых рыбок.

Ее поймали, избили.

Мы разъехались с тем веселым, еще как бы невоенным шелоном в разные стороны; и хоть дороги наши разбежались: на Запад у одних и на Восток у других, — они пролегли одинаково через войну и вновь пересеклись несоро, в сорок пятом, в сорок шестом.

Отец-солдат разыскал меня на Кавказе, дерганого, малорослого из-за недодобренных соков, подростка. Но сколько тысяч километров намотал я, начиная с того дня на Казанском, — на крышах вагонов, в тамбурах, в угольных тендерах, между вагонами, а то и в собачьем железном ящике, подвешенном в самом низу, между колес!

В сорок первом, перед фронтом, когда отец нас провожал, ему было тридцать, и у него не было, как через пять лет, на висках седины.

Он бежал за вагоном у нашего окна и, улыбаясь, махал рукой. Наверное, он тоже думал, что все это ненадолго, и мы через полгода, через год встретимся и заживем нашей прежней домашней довоенной жизнью.

С Володькой Рушкевичем мы приехали в Москву из Кизляра. Меня забирал отец, а Володька упросил его, а потом и директора детдома, отпустить в Москву. В Москве наш шеф, контр-адмирал Папанин. Володька надеялся, что с его помощью он попадет в школу юнг. Но директора и упрашивать не надо было: Рушкевич был переросток, пятнадцать лет, от таких избавлялись любыми способами, отсылая обычно в ремеслуху. Директор, как все директора, которых я встречал, был обыкновенной скотиной: туповатый, мрачный, не терпящий детей. Звали его, кажется, Иван Тимофеевич. Плотный, кряжистый, с красной

налитой шеей, сытый, наглый, деловой. Отец угощал его вином, а мне объяснял, что так полагается.

На прощание тот вышел из дому, вряд ли он меня помнил в лицо, враскачку подошел, придвинулся, обдавая густым запахом "Шипра", и сразу определив, кто я, а кто Рушкевич, и желая моему отцу сделать приятное, велел нам обменяться пальто. У Рушкевича пальто на вид было лучше.

Ехали мы через Астрахань. Здесь на вокзале отец с кем-то торговался, произнося такие слова: залом, полузалом, балык... А потом мы шли по длинным пригородным улочкам с одноэтажными домами и тачили, аж плечи ломило, корзины с селедкой. Эту селедку мы потом с Володькой загнали на люберецком рынке, чтобы оправдать, как пояснил отец, нашу дорогу. Торговали, помню, с удовольствием, а вот когда тачили через Казанский вокзал...

Володька был постарше меня, сильнее, но и корзинка досталась ему увесистей. И он тачил, стараясь изо всех сил перед моим отцом. Детдомовцы знали цену хорошему отношению. То, что мне давалось теперь как бы даром, Володьке надо было отработывать. У меня же противная корзина натерла на плече косточку, и я занял... Стал жаловаться, что мне тяжело. А рядом милиция, не дай Бог углядит, учует, что столько набрали селедки! Отец рявкнул на меня, впервые с момента нашей встречи. Он схватил корзинку и с оглядкой, не видел ли кто, взгромоздил ее, вторую, себе на плечо. Понес, побряхтывая, заставив меня тащиться позорно со своим вещевым мешком в хвосте. В то время как Володька победоносно вышагивал вперед, хотя я точно знал, что ему не легче моего.

Селедку у нас раскупили в момент, по червонцу пара.

Отец, забирая горстями пахнущие селедкой деньги, сожалел вслух, что мало мы ее в Астрахани взяли, такая удача — провезти, чтобы в дороге не протекла, да с колес втридорога продать! Ни долгов, еще и на жизнь осталось.

Мы получили по тридцатке в награду за труды и поехали смотреть Москву. В Москве — мы знали — существует Большой театр, Красная площадь, метро. И, конечно, Казанский вокзал: башня с часами.

Линий метро тогда было немного, кажется, всего три. От Казанского вокзала мы с Володькой спустились в просторный зал станции "Комсомольской" и доехали до конечной остановки "Сокольники", а потом до другой конечной, до "Парка культуры и отдыха имени Горького". Над лестницами-эскалаторами висели надписи, предостерега-

ющие нас от того, чтобы не ставить и не провозить с собой тростей и зонтов. У нас не было ни того, ни другого.

Мы выходили на каждой станции, чтобы лучше все увидеть, их было тогда не очень-то много, и они казались странно пустыми, тихими, вдоль мрамора ощутимо гулял ветерок. Мы смотрели на свое отражение в этом мраморе, на хрустальные плафоны под сводами, на рельефы, на барельефы и всяческую цветную мозаику и отчего-то не приходили в тот долгожданный восторг, который нам представлялся по дороге сюда. В центре мы перешли на станцию "Площадь Революции". Володька придирчиво осмотрел фигуру партизана, изображенного как бы в засаде с пистолетом в руке, потрогал пистолет и разочарованно протянул: "Не настоящий!"

Мы, пережившие войну, знали оружие не понаслышке. Видывали и бомбы, и мины, и снаряды, баловались разряженными лимонками, а впрочем, теперь я не уверен, что они были разряжены, кто это мог точно знать? Устраивали фейерверки из зажигалок, зажигательных бомб, подпалив их на костре.

Случилось в середине войны: нас, оборвышей из томилинского детского дома, повезли на электричке, а потом на метро в "Парк культуры и отдыха имени Горького". Не отдыхать, конечно. Здесь располагалась выставка трофейного фашистского оружия: пушки, бронемшины, танки с крестами на боках, всяческие минометы, в том числе и уродливый шестиствольный, прозванный нашими бойцами "Ванюшей". Ясно, в противовес любимой "Катюше". Вся эта грозная техника была свезена и выстроена на асфальтированной набережной Москвы-реки, ее мы увидели еще на подходе, с Крымского моста.

А как увидели, так и рванули к ней, и собрать нас смогли нескоро. Ошалевшие от свободы, речного простора и всей этой невиданной панорамы, мы пошли на приступ выставки, беря с ходу танк за танком, как настоящие войска.

Наверное, покажется странным, но мы никак не чувствовали себя жертвами этих, подбитых в бою, танков, пушек и шестиствольных чудовищ.

Да, мы знали, не могли не знать, что мы дети войны, а вся эта устрашающая техника, изобретенная на заводах Круппа (его имя, как главного фашистского буржуя, мы помнили со школы!), пусть теперь и мертвая, была направлена против нашей страны, против наших воюющих отцов, а значит, и против нас лично.

Но, захватив ее, облапав, обсмотрев, мы числили ее как бы своею. Полагаю, что взрослые, те из них, кто побывал на той известной выставке, воспринимали каждое выставленное орудие иначе, чем мы, и куда драматичней.

Мы же обращались с ней по-свойски: втискивались в узкие башни танков, с еще не выветрившимся запахом от пороха, карабкались на высокие лафеты дальнобойных орудий, норовя всунуться глазами внутрь сверкающих стволов со снятыми замками, рассматривая, как в подзорную трубу, противоположный берег.

Первая же мысль, посетившая нас, мысль недоступная, конечно, ни одному взрослому, была о том, что вся эта свалка железа, которая несла нам смерть, может нам пригодиться теперь для жизни. Помнится, у Виктора Гюго Гаврош с приятелями ночует внутри каменной скульптуры слона. Господи, да наш изобретательный, изощренный войной ум находил местечки куда позамысловатей! Мы ночевали в катакомбах, в подвалах, в трубах, в цистернах, в старых могилах, наконец. А место под любой пригородной платформой было как дом родной! Но еще и товарняки, и паровозные тендеры, и угольные ямы, и норы в дровяных складах, и прочее в том же духе.

Теперь ко всему этому прибавлялась захваченная нами трофейная выставка. Помню, двое или трое из наших так и не захотели из нее уйти, облюбовав броневые склепы машин, и лишь нескоро, когда выставку потащили на переплавку, появились опять в Томилине.

Выставку фашистской трофейной техники к зиме закрыли. Но она оставила неизгладимый след в наших путаных, темных, деформированных, как эти танки, но еще живых душах. Нашим бы душам да панцирь, как раку-отшельнику, из броневой стали! Господи! Сколько бы мы прожили!

Метро Володьке не понравилось. И Москва не понравилась. Дело вовсе не в том, что город был плох. Просто Москва не приняла Володьку. Он это кожей почувствовал.

Целыми днями он дежурил у парадного подъезда чиновного, очень на вид представительного здания Главсевморпути, на улице Степана Разина. Далее дверей его не пустили, и никто его не принял, а о Папанине, главном начальнике, шефе нашего спецдетдома, и говорить нечего.

Да и какой он был шеф, скорей, охотник, приехавший в кизлярские камышовые заросли Терека пострелять ди-



ких кабанов. Но его самого словили, затащили в наш грязненький детдом. Нас приумыли, почистили, тех, кто без заплаток, выставили вперед, и тут, на площадке, во дворике, мы что-то громко и нескладно прокричали в честь героического полярника и новоявленного шефа. Перед нами стоял толстенький человек, с одутловатым лицом и щеточкой усов. Глаза у него были застывшие, ледяные, может, поморозил на Северном полюсе? Вряд ли он нас видел. Его на минуту вывел директор Иван Тимофеевич и сразу увел домой, а мы еще долго торчали на дворе, не зная, что нам теперь делать и как дальше жить. Знаменитых людей мы еще ни разу в своей жизни не видели.

И уж какой был восторг, когда нам сказали, что самых старших, всего несколько человек, Папанин (сам!) приглашает в свой вагон, который стоит на запасных путях.

Спотыкаясь о высокие ступени, робея, мы поднялись в странный для нас вагон, мы еще не знали, что бывают такие вагоны: как бы дом на колесах и все для одного человека, и он, то есть Папанин, живет здесь среди челяди и ординарцев. Мы прошли в красного дерева двери и встали вдоль стенки, не имея права присесть, уж слишком все было в коврах. Но нам и не предлагали присесть, и правильно: еще вшей нанесем! Спасибо, что пустили! Спасибо, что разрешили посмотреть, подышать одним воздухом со знаменитостью!

А Папанин, шумно отдуваясь, будто он перед тем долго бежал, тыкал короткими руками в свои охотничьи трофеи, в кабаньи оскаленные морды, развешанные на коврах, и, прихихикивая, как клоун в цирке, спрашивал: "А! Ну как? Впечатляет? Вот этого я в голову, он на меня кинулся... Такая харя!.." А мы потупливались, не зная, как себя вести и что говорить. Но нас никто ни о чем не спрашивал. Говорил только сам Папанин.

Продемонстрировав висящие головы, он стал прощаться, его уже торопили на охоту. И он стал вдруг деловым и оттого еще более комичным, потому что лучше всего, пусть это и смешно, он выглядел, когда хихикал и ругался. Теперь же он стал важно поучать. Трудно связывая слова, путаясь в глаголах и спряжениях, он сказал, что страна делает для нас все возможное, чтобы нам, то есть ей, надо, чтобы... "В общем, трудное время, братцы..." Он так и сказал: "Братцы", — и нам стало приятно. Это мы-то, рвань беспризорная, обреченная на скорое вытуривание из детдома, в галошах на босу ногу... А все-таки — "Братцы!".

— Надо жить экономно, — сказал Папанин. — Всем трудно, братцы... Всем! Вот я на льдине... Суп сварим, поедим, а остатки снова водичкой разбавим и снова поедим...

О льдине он заговорил, наверное, по инерции, зная, что о ней обязан говорить. Привык уже. А мы смотрели на щеточку усов, мочичную, почти как у Гитлера (в фильме про Швейка). Мы смотрели и прикидывали, что же нам разбавлять, если наша затируха — мука, вода и лук — уж настолько разбавлена, что если дальше разбавлять, то будет чистая вода.

Но тут ординарец, стоящий так, что мы при желании не могли бы придвинуться к Папанину вплотную и чем-нибудь заразить его — а мы-то уж, конечно, зараза! стоит взглянуть, чтобы понять: и парша, и чесотка, и глисты, и вши, — шепнул вроде того, что пора, Иван Дмитриевич! Машины, охота, горком... И Папанин стал торопливо прощаться, отступая от нас и уже глядя застывшими, подернутыми ледком, глазами куда-то вдаль. А мы-то рассчитывали, что хоть по куску хлеба или по конфеточке-подушечке в конце даст! Но разочарования не было, а была счастливая благодарность: мы, наверное, догадывались, что больше нам и такого не предвидится — стоять рядом с великим человеком и слушать его замечательные слова, и ощутить себя с ним братцами. Это ли не счастье! Это ли не залог на будущее, что поможет. Но Володьку на проходной и слушать не стали о каком-то шефстве... Что еще за шефство! Какое? Над кем? Это что? Предприятие? Завод? Колхоз? Мальчик, ты не разобрался, он же контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза! Иди, мальчик, отсюда! Иди по-хорошему! Мало ли куда он ездил, он повсюду ездил! Со всеми общался, но всем помочь он не может... Так что иди, иди!

Володьке надо было жить, и он поступил в ремеслуху. Это была та самая знаменитая люберецкая ремеслуха, из которой вышел первый космонавт Юрий Гагарин. Там, у здания училища, теперь ему и памятник стоит: звездный человек, знаменитый на весь мир. Но тут учились и будущие работяги: слесари, жестянщики, которые звезд не хватало. И никто, конечно, не помнит Володьку Рушкевича, который тут пробыл всего два месяца. Он вдруг решил возвращаться обратно в Кизляр. Хоть не дом, а детдом, но, наверное, отсюда, из казенной Москвы, он показался Володьке в ту пору родней родного.

Была осень, теплая, но Володька был в пальто, в моем пальто, он так и не захотел обменяться обратно, проявив и в этом характер, а под пальто был надет рюкзачок, так что Володька казался чуть-чуть горбатым.

Мы постояли на Казанском вокзале, но вовсе не как друзья. Мы и в детдоме не были друзьями, и в Москве не сдружились. Да и положение теперь, Володька хорошо помнил, было у нас неравное.

Вместе с отцом я получил все: дом, семью, уверенность в будущем, а значит, стал другим человеком. Я был для Володьки, как Гагарин для ученика из ремеслухи, вознесшийся в космос. Володька же возвращался в бесправный, убогий мир детдома, где самой большой опорой в жизни было вывешенное на стене письмо нашего шефа Папанина, драгоценность, обрамленная в рамку. В этом письме он заверял нас в своей любви.

Володьку, это потом выяснилось, даже обратно в детдом не приняли.

Директор, свинное рыло, наотрез отказался от бывшего воспитанника, мотивируя тем, что тот сам, добровольно, так сказать, ушел из детдома. Пусть теперь и гуляет, где хочет. В Москву ему, видишь ли, захотелось, к самому Папанину! Володька устроился в ремеслуху в Грозном. Так он написал потом. А сейчас мой дружок стоял передо мной, среди общей суматохи на этом Казанском вокзале, и почти беспечно поглядывал по сторонам. Все было у нас сказано. Мы молчали, ожидая отправления. Башенные часы предсказывали своими знаками неблизкую дорогу.

— На крыше, значит? — переспросил я.

— На крыше.

И Володька улыбнулся так, как он улыбался, когда нес на плече тяжелую селедку. Вроде бы ему такая езда ничем.

— А если снимут?

— Не снимут.

— Но милиция?

— Ладно. Пока.

Мы посмотрели в глаза друг другу. Нет, не было у нас с Володькой равных отношений, но сейчас как-то все отлетело. Жалко стало. Жалко и больно отчего-то. Он увидел это по моим глазам и отвернулся. Шагнул от меня и лихо мотнул рукой: "Пока! Отцу передай..." Что уж там передавать отцу, я не понял. Да и, думаю, что Володька сказал потому именно, чтобы не слышать, как я могу его в слух пожалеть.

Он втиснулся между другими безбилетными в узкое междвагонье, чтобы тотчас же, когда поезд отойдет от столичного, напичканного милицией вокзала, вместе с другими ползть на крышу, где всем и всегда хватало места.

Так ездила половина России в те времена, располагаясь между круглыми вентиляторными трубами во всю длину с мешками, сумками, сундучками, а то, бывало, и с мелкой домашней живностью. Однажды я сам видел, как везли на крыше козу. И спали там, и ели, и нужду по-малому справляли, презрительно поливая на окна тех, кто ехал с удобствами вниз.

И я так ездил, да и вся наша беспризорщина считала крышу своим личным, надежным плацкартом. И никто не смел гнать нас. Да и как сгонишь, очистишь один вагон, так все на другом будут.

Володька доедет, я не сомневался. И не это меня сейчас тревожило. Он был последним звеном, звеньшком, соединявшим меня с прежним моим, трижды проклятым миром. С Володькой, с его отъездом, связь с детдомом, но и с детством, но и с войной обрывалась, как мне казалось, навсегда.

Я встал и вышел в тамбур. Если бы я курил, то непременно бы сейчас закурил. Нечасто я вспоминаю проводы Володьки и короткое, единственное письмо от него.

Почему я тогда не ответил? Работал? Ах, ну да. Я пошел тогда работать, одновременно я учился по вечерам.

Я потоптался у дверей вагона, глядя в перспективу вокзала, где из метро, из подземного вестибюля, появлялись люди и рассыпались, каждый торопился к своему поезду.

В то давнее время этого стеклянного павильона-выхода не было.

В ранний предрассветный час, особенно дремотный и тяжелый, я вылезал из душноватого вагона, ощущая сразу холодный озноб наступающего утра.

В сумрачной, молчаливой толпе приезжих я брел на желтый свет фонарей у внутренней стены вокзала, потом вдоль нее, левей; я, как и остальные, по покатоному, всегда почему-то мокрому асфальту, как бы стекал между торцом вокзала и странными, барачного типа строениями на широкую и даже в этот час многолюдную Комсомольскую площадь.

В строениях располагались тогда багажные отделения, всяческие склады и билетные кассы.

Окошечки в этих кассах были круглые, на уровне пояса, и надо было, изловчившись, не только руку, но еще и голову одновременно всунуть, чтобы краем глаза заглянуть в темное нутро и крикнуть неведомому кассиру: "До Люберец". И чья-то рука выхватывала у тебя деньги и совала взамен картонный билетик. Для того же, чтобы получить сезонный билет, необходимы были две справки: с места работы и с места жительства, да еще фотография с подписью и печатью. Иной раз к печати придирались, и приходилось неделями ездить без сезонки. В другой же раз можно было наляпать, намазав чернилами пятак, и сходило.

Кстати, благодаря тем давним сезонкам у меня остались на память с десяток крошечных фотографий, сероватых отпечатков, сохранивших меня тех времен, но будто и не меня, а какого-то странного подростка, коротко остриженного, с чубчиком, зализанным набок, скуластого, худого и, видно на глазок, голодного, с недоуменными глазами: кроме недоумения, мне удается разобрать в них жуткое упрямство (меня в детдоме звали "настырным"), а может, и некоторую диковатость. Это были первые годы после встречи с отцом, я плохо приживался в новых для меня, домашних, условиях.

Рушкевич уехал, а других дружков не завязалось. Отец после фронта наворачивал, как сам выражался, "упущенное", он часто не ночевал дома. Сестра заболела, ее отправили в Лесную школу. Я оказался один.

Кто бы знал, какое это было тяжкое одиночество. Не легче того, коллективного, которое мы все испытывали в детдоме.

Но там-то была еще вера в иную, недетдомовскую, одиночную жизнь!

Я днями не появлялся дома, ходил-бродил, сейчас и сам не помню, где. Переключился на торговлю папиросами: на рубль две штуки, чтобы хоть как-то себя занять, и все станции на Рязанке, в том числе и Казанский вокзал, стали моими.

Я знал, где папиросы хорошо берут, а где плохо, где милиционеры добрые, если поймают, то пожурят да отпустят, а где и отлупить могут. И все отнять!

И тут, среди других пацанов-торговцев, нашел я первых, пусть ненадолго, верных дружков.

Мы, объединившись, у тех же спекулянтов перекупали "Беломорканал", платя за пачку десятку, а когда продавали — поштучно, за рубль пара, — получали двенадцать

с половиной рублей, то есть два с половиной дохода с каждой пачки. Что такое два с половиной... — да железнодорожный билет от Люберец до Москвы. Буханка хлеба стоила на рынке сто рублей, стакан семечек — трояк!

Выскочив все в той же толпе на площадь, мы огибали вокзал, темную холодную громаду, торчащую из сумрака, будто скала, и втискивались под напором сзади идущих плотной человеческой массой в деревянные, отжатые нашими телами двери метро.

Был случай, когда открывали новую линию, несколько станций, в том числе эту самую — "Комсомольскую"-кольцевую. Был выходной день, и я, кажется, мог не поехать, но поехал, охота было посмотреть на чудо-дворцы, о которых безумолчно трубило радио. Немалое событие в нашей тогдашней жизни.

Это сейчас услышишь: пустили линию, — и подивисься немного, вроде бы недавно начинали, а вот уже ходят поезда, и все недосуг поехать посмотреть. Да, собственно, чего смотреть-то?

А тогда все ринулись к метро, все хотели знать, что за новые фантастические подземные дворцы создали наши герои-строители.

Да что станции, новые дома в Москве были наперечет, а уж высотные, которыми мы тогда невероятно гордились, чуть ли не десяток лет были темой разговоров, описаний, песен, даже повестей.

А наше метро, это мы уж на зубок знали, самое красивое, самое быстрое, самое, самое, самое!

Зажатый в толпе, которая от вокзала, от поездов текла в узкие двери подземки и сливалась с городской, тоже текущей массой, я прошел, а точнее, пронес себя долгими переходами к станции "Комсомольской"-кольцевой.

От вокзала путь у меня занял около часа.

А тут уж собралась огромная толпа, которую не успевали разрезать приходящие поезда. Встали эскалаторы. Но народ прибывал и прибывал, спрессовывая тех, кто пришел раньше, и началась паника и давка.

Пронзительно закричали женщины, заплакали дети, крайних вытесняли с платформы и сбрасывали на рельсы. Поезда и вовсе перестали ходить, как же тут пойдешь! И хоть говорили, что входы в метро перекрыли, но ведь те, что зашли и были теперь в переходах, плохо представляли, что там их ждет впереди, они напирали и напирали, желая видеть свои замечательные, лучшие в мире станции.

Меня притиснули к белой колонне, холодно-блестящей, под каким-то великим полководцем. Я его, право, тогда не успел рассмотреть.

До него ли было, если я, смятый, наполовину раздавленный, кричал, как кричали остальные, и лишь через несколько часов меня вынесло, выбросило наружу. На мой, такой родной, спасительный Казанский вокзал.

Пуговицы были оторваны, как и рукав, шапки не было, потерял в той давке, но не жалел, голова, славу Богу, осталась цела.

Много позже я рассмотрел эту станцию, все ее картинки, за которые, кажется, художника наградили, и хоть было и вправду красиво, я уже не полюбил эту станцию и до сих пор ее не люблю.

Вот недавно, сойдя на "Комсомольской", наткнулся на экскурсию: толпа, человек двадцать, стояла посреди вестибюля и, задрав головы, слушала объяснение щуплого очкастого юноши-экскурсовода об одном из самых прекрасных фриз, изображавших видного полководца. Юноша пояснял, сколько там квадратных метров мозаики, да сколько времени художник ее выкладывал и что он хотел при этом выразить.

А у меня вдруг поплыло в глазах и горло сдавило.

Это же мой фриз, моя картина, под которой я погибал! Моя колонна! Как же я кричал тогда, стоя под этим произведением искусства, расплющенный об этот прекрасный белый карельский мрамор! Мне казалось, что через горло лезут мои кишки! О Господи! Я кричал и не слышал сам себя, рев, крик, стон стояли невообразимые, каких я и в войну не слышал. Если бы тщедушный очкарик сейчас нарисовал легковерно благодушным туристам вот эту картину, этот фриз...

Вернулся в вагон, который оказался едва ли не заполнен, но мое место не заняли, там лежали газетки, свернутые трубочкой.

Я сел, огляделся, разномастная дорожная публика, она будто бы всю жизнь одна и та же. На лицах печать заботы, но нет жесточенности. Она появляется в более позднее послерабочее время, когда с транспортом и магазинами много тяжелей, чем сейчас. Вот и место оставили, и газетки не тронули. Смирная, покладистая публика. Только не дай Бог попасть, когда она становится толпой!

## ТУННЕЛЬ

— До каких поез-то?

Я вздрогнул. Обращались явно ко мне.

Позади, за спиной, присела бабка с корзинами, мне видны были в стекле и она в белом платочке, и ее корзины, накрытые сверху марлей: то ли с базара, то ли на базар. Достала белый батон, вареную колбасу, толстую, с руку, и, поочередно откусывая от того и другого вставными зубами, она ухитрилась еще спрашивать через жующий рот: "До каких поез-то? Скоро пойдет иль нет?"

Вполуоборот я ответил, что поезд идет на Раменское и далее, а отправление его, по расписанию, минут через пятнадцать. Четверть часа то есть.

Бабка выслушала, но жевать не перестала. До меня доносился резкий чесночный, но более чем чесночный, поскольку достигается при помощи химии, запах, сквозь который еще пробивался и натуральный хлебный, какой может только быть от свежей булки с поджаристой хрустящей коркой.

Хоть не был я голоден, и то проняло, сладкая слюна набежала. Ни борща, ни кофе, ни цыпленка какого-нибудь, а вот колбасы с булкой вдруг захотелось, да не за столом, а так, в вагоне, на ходу, и чтобы в каждой руке по ломтю, уж не помню, когда я так ел.

Я посмотрел в окно, наваждение какое-то: накладываясь на зеленый вагон, стоящий напротив электрички, бабка и в отражении наяривала колбасу с хлебом, громко хрустя и отправляя откусанный крупно шматок за щеку, половина ее лица становилась больше, будто от флюса. Наклонясь в мою сторону, отчего и запах, и хруст усилились, она спросила:

— Не опоздает, поез-то?

Я не понял, куда он мог опоздать, как и не понял, куда эта бабка вообще торопится. И оттого, что все в ней вызывало сейчас раздражение, даже ее вид в окне, я громко, уже не оборачиваясь, произнес странную фразу: "Ни за какие коврижки". И сразу же подумал: "Какие коврижки? Что я мелю? И чем бабка виновата, что проголодалась и захотела поесть?"

Я вздохнул, посмотрел вдоль вагона — он был пуст, почти пуст.

Один подвыпивший дядька с сеточкой картошки, брошенной у ног, дремал, не в силах разомкнуть век и понять, где же он оказался. Морщины на его лице от долгого,



в сидячку, сна обмякли, собравшись книзу, отчего он мог показаться старше, чем был на самом деле. Я подумал, что долго еще в семье, если она, конечно, существует, будут его ждать, пока не проспится, не опомнится, мучительно возвращаясь в себя и утыкаясь недоуменно в окно, но определится на глазок и успокоится, словно сделал дело. С тусклым, ничего больше не выражающим лицом, подхватив свою картошечку, побредет к выходу, так и не уразумев, какое количество километров он отмахал, пока длилось его безмятежное, прекрасное забытьё.

Я пытался отвлечься мыслями о дядьке, а в голове все эта невеста откуда взявшаяся коврижка.

И вдруг вспомнилось.

В сорок каком-то послевоенном году ночной электричкой я возвращался из техникума. Занятия заканчивались поздно, да еще надо пешедралом топать до Кратово, да ждать поезда, который шел, как я сейчас вспоминаю, в одиннадцать ноль шесть. Но шел он так: до Люберец со всеми остановками, а далее, миновав платформы Ухтомскую и Косино, останавливался лишь в Вешняках. И мне нужна была именно Ухтомская. И оттого, сойдя в Люберецах, приходилось дожидаться следующего, панковского, поезда, который приходил через сорок четыре минуты.

Нас вхало далее Люберец из техникума несколько человек. Спасаясь от холода, мы пережидали тягучую паузу в небольшом зальчике станции, где на крашеных масляной краской стенах, грязно-сине-зеленого цвета, висели портреты Сталина и Кагановича, а под ними, в простенке, был устроен буфет. В буфете же торговали морсом и коврижками.

Стоила коврижка — рубль восемьдесят, ныне это было бы восемнадцать копеек.

Но ни у кого из нас таких денег и в помине не было. У одного Лешки Козяпина, чистенького, вылизанного парниши с соседнего курса, который жил в Плющево, водились денежки.

И каждый раз, когда мы влетали в зальчик, мельком оглядев и портреты, и витрины, пристукивая озябшими ногами о каменный в подтеках пол, Лешка направлялся прямо к буфету. Он доставал свой кошелек и покупал стакан морса и коврижку.

Двумя пальцами левой руки он брал коврижку, правой рукой поднимал стакан и тут же все съедал, неторопливо, отложив сумочку-планшетку на край буфетной стойки, чтобы она не мешала. А сумочка у него тоже была куда

видней наших кирзовых сумок — из желтой хрустящей кожи, с никелированными карабинчиками и блестящим щелкающим запором.

Лешка ел, повернувшись вполупорот к нам, чтобы мы могли это тоже видеть. А мы сидели рядком на деревянной, с неудобно выгнутой спинкой скамейке, стараясь не смотреть на Лешку и на буфет: от давнего и малокалорийного обеда, по талончику, до ночи ни крошечки не было во рту, а жрать именно в эти минуты хотелось зверски.

Все мы были подростки, все хотели расти, но никак не росли, и буфет, и жующий Лешка Козяпин, медленно так жующий, почти задумчиво, подбородок вверх-вниз, вверх-вниз, возбуждали в нас особенные, мстительные чувства, от которых вовсе не становилось легче.

Мы вроде бы и не смотрели, отводя глаза, но мы все равно видели, как шевелятся у Лешки прыщавые скулы и как скашивает он с ухмылкой в нашу сторону серый глаз, вот, мол, я каков, не из голодранцев, не из нищих, как некоторые, хоть в ту пору разница между нами, скажем, сытыми и несатыми, так резко не обозначалась, как это станет позже.

Я и до сих пор помню медово-пахнущую на расстоянии коврижку, слоистенькую, припудренную, упругую, думаю даже, что еще теплую.

Вот уже недавно взял я с полки "Словарь русского языка" Ожегова, 52-го года, и открыл на слове "коврижка". А словарь из тех самых времен, и как бы ближе всего к той коврижке находится. Нет-нет. Я нисколько не усомнился в своей памяти, просто захотелось узнать, что же такое в науке — коврижка и с чем ее едят языковеды.

Написано же оказалось до обидного мало: "Род пряника". И все. Да ниже поговорочка приведена: "Ни за какие коврижки не отдам".

Я сразу Лешкино лицо вспомнил, да я его и не забывал, потому что не глазами, я его животом своим запомнил, как тот кусок из "рода пряника" он медленно подносил ко рту, как откусывал, неторопливо и с удовольствием, но главное, как это все он демонстрировал нам, которым и уйти, и сбежать-то было некуда! Как сейчас от бабки!

"Ни за какие коврижки", — ответил я, хоть я никак не мог злиться на нее за ее трудовой обед. Батон колбасы да батон хлеба, это же у людей и до сих пор представляется символом сытого городского человека. Хотя опять же, нынешним городским как раз в пору на бабкины огород-

ные овощи перейти, да только дороги они, эти овощи. И чем дальше, тем больше дорожают.

Я посмотрел на часы, потом попытался сверить их с вокзальными, прижимаясь лбом к прохладному, рыжеватому от грязи и подтеков оконному стеклу.

Но никаких часов видно не было. Да и волновало это меня не больше, чем жующую батон бабку. Как отправят, так и видно будет, что отправили, да еще и по радио объявят, с большей или меньшей надеждой разобрать косноязычное бормотание в микрофон.

Был такой случай в моей жизни, когда я попытался купить бухарик. В начале сорок шестого года, еще до отмены карточек, в Люберцах стал появляться хлеб по коммерческим ценам. Это было много дешевле, чем на рынке, но и народу собиралось немало.

Я же и говорю, что публика наша покладистая, вон как бабка, как старичок с картошкой, как Лешка Козяпин. Как я сам. Но вот когда мы становимся толпой, мы другие... Что-то с нами со всеми происходит.

Помню, я занял очередь с вечера и даже оказался во втором или в третьем десятке. Но к моменту открытия, верней же, за час до него, утречком, собралась тысячная толпа и придавила нас, первых, к стенке.

Так что мы и шевельнуться не могли, в то время как другие, поздние, прорвались к двери и вдруг оказались первыми.

Хлеба мне, конечно, тогда не досталось. Но еще и бока намяли, и я болел.

Люди утверждают, что как раз на уровне пятого или шестого ребра находится наша душа, может, это мне ее помяли?

Во всяком случае, я без содрогания не могу вспомнить эту ухающую, вопящую, громкую толпу, темной волной накрывшую меня с головой. От таких воспоминаний у меня начинает ныть между пятым и шестым ребром. Хотя толпато причем? Они все, как и я, мечтали купить бухарик коммерческого хлеба. Но хлеба, ясное дело, на всех не хватало!

Это я потом прочел, уж не помню где, что именно в тот голодный сорок шестой год мы продали Франции зерно, много зерна, и на парижских улицах красовались крупно нарисованные призывы: РУССКИЙ ХЛЕБ!

Их покупателей еще надо было зазывать, заманивать такой вот звучной рекламой, а нам и так, и без рекламы,

узнавалось, как его раздобыть. Почему он, этот русский хлебушек, достается!

За раздумьем, странным, размытым, почти беспмятным, я не заметил отправления и, лишь взглянув в окно, понял, что уже не стоим на месте.

Серая громада вокзала отодвинулась и ушла в небытие, и сразу началось то, что зовется изнанкой большого города: лабазы, склады, свалки, мастерские, замусоренные пустыри, вновь сменяемые заводиками и гаражами, и нескладно пробивающийся сквозь этот ржавый беспорядок сам город: то ли улица под мостом, то ли канал с нефтяными пятнами, церковка без креста, едва угадываемая за грубыми постройками, бесконечные пакгаузы...

А потом туннель.

С детства обожаю этот туннель и лишь потому, что ни одна дорога из Москвы, кроме нашей, не имеет своего туннеля. А с туннелем связывалось что-то необычное, странное, загадочное, потому что было все как было, и солнце с правого окошечка, лабазы, дома, и вдруг как в омут... Ух! И на какое-то время, которое трудно измерить, потому что вокруг изменилось и стало невидимым, ты вместе со всеми пассажирами и пропал. И уж, кажется, пропал навсегда, потому что смутное чувство брезжит, я такое испытал при солнечном затмении — тревоги за пропавший свет. То есть ты знаешь, ты уверен, что он, свет, и не может пропасть, а все-таки что-то внутри тебя, тоже темное, шевельнется и заставит сжаться сердце: а вдруг. А вдруг навсегда? И когда ты, напрягаясь, попытаешься в той стороне, где стекло, что-то высмотреть, проблеск, обещание дальнего отсвета, туннель вдруг оборвется неожиданно, как и начался, и яркий свет с силой хлынет в вагон и в тебя!

Наверное, каждый из нас сам себе туннель: сочетание тьмы и света.

## **В ГОСТЯХ У ДЯДИ КОЛИ И ТЕТИ ДУСИ**

Дневная электричка обычно свободна, не забита народом. Да и я выбрал такое ненапряженное время середины рабочего дня, когда без толкотни, без помех можно до-

ехать, скажем, до Люберец, свободно вытянув ноги и глядя в окно, все видя и ничего отдельно не замечая, кроме разве лоскутка мелькнувшего пейзажа с высокой насыпью, где по яркой зелени белыми камешками аккуратно выложены слова "Миру — мир!", а возле них пасется равнодушная коза, и двое мужичков в робах расположились, как у себя на даче: перед ними бутылка, стаканы, огурчики, а они полулежат, поглядывают на проходящие внизу поезда и пьют свою бормотуху у всех на виду, отчего-то исключительно для этого выбирая, напоказ, такие высокие травяные насыпи.

Закопанный по горло во всякие дела, как говорят у нас, текущие, но они впрямь текущие, то есть утекающие, что ни день, как речка в пустыне, бесследно в песок, я давненько не был на Рязанке, не ездил никуда по ней. А прежде, когда я жил по этой дороге, но не как дачник, а как человек пригорода, предместья, с областной пропиской, именно Рязанка во многом определяла мою жизнь.

Три с половиной часа я тратил на поездку от Ухтомки до работы на станции "Отдых" и обратно. Как ни странно звучит, но я работал именно в "Отдыхе"! Часа три выходило у меня и до места учебы, это рядом с "Отдыхом" — Кратово. Сперва в техникуме, потом в институте. Еще по этой дороге я мотал по разным делам и за продуктами в Москву, навещал родню, разбросанную от Вешняков до Томилина, ездил в кино, к приятелям в гости, за грибами и на свидания тоже ездил: все мои девушки жили почему-то очень далеко, за сорок вторым километром. А еще я посещал литературное объединение на Фабричной. Это еще дальше, чем моя работа. Занимался в Кратове в драмкружке.

Да, Господи, мало ли куда ездил! Она тут главная, эта дорога, и все рыночки, палатки, разные торговые точки, забегаловки и прочее, и прочее, вместе с поселочками и городками, нанизаны на эту дорогу, как у старьевщика тряпье на железный штырь!

Это сейчас, подобно разогнувшейся пружине, в живое тело пригорода воткнулось своими остриями метро. И автобусы, и трамваи, маршрутки ходят. Да и пригород медленно, но верно перешел в категорию города на радость его жителям, то-то счастливы, будут снабжаться по другой, более сытной категории.

А прежде, сколько я себя помнил, только одна Рязанка и была. Но какая! Я даже не могу представить, как мы жили бы без нее.

Подобием несущейся в белом метельном облаке электрички, железной, гремящей на всю вселенскую и особенно слышной по ночам, просквозила, прогрохотала чугунными колесами эта дорога через мое детство, через юность. Через всю мою, посчитать, жизнь.

У каждого человека есть какой-то главный образ детства, главный для этого человека, конечно, то ли озерко с леском, деревянный городишко с крестами, приморье, горы или, скажем, квартал Арбата... "Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия..." И так далее, словом, живой слепок с природы, которая, возможно, и не существует уже, но которая еще существует в нас и благодаря которой, возможно, еще существуем мы. Очищающая, осмысляющая полуреальность на весь остаток жизни.

И ничем, право, не хуже иного — отрезок дороги — Железка — как прежде емко звали: узкая полоса в два ряда (но потом и в четыре, и в восемь) серебристых рельсов, в ровных гребешках шпал, пахнущих мазутом, вечно замусоренная бумагой, банками-склянками и всевременным вдоль насыпи бурьяном, седым от пепла и угля.

Но это еще стылые, продуваемые ветром платформы, прежде деревянные, а теперь бетонные, как бы мы, беспризорные, в войну, под ними жили?!

Под деревянными-то и жилось, и спалось, и спасалось от милиции совсем неплохо.

И свалки еще, и склады, и вагоны на путях, где кто-то живет, и пригородные домики, на задах которых ныне уже не картошка, а прорастают белые зубы близняшек-домов. (И где-то тут похоронен мой дружок Швейк.)

Москва ими исподволь, но неотвратимо пережевывает и заглатывает малоэтажный пригород, как проглотила, еще раньше, и мои родные Люберцы.

Но он еще существует, этот странный полуобластной и полугородской мир, сливаясь на первых километрах в сплошную каменную вязь; в сторону от столицы — чем далее, тем свободнее — уже свалочки с лопухами и просветы между гаражей и труб, и огородики, вскопанные впритык к насыпи на ничейной, на железнодорожной, земле (такой и у нас с отцом был); а там уже полянки и перелесочки, пусть разряженные, истоптанные, сплошь в электромачтах, но благодаря этим мачтам и сохранившиеся; а потом и вовсе простор: небо видать, и поймочка реки блеснет, и старухи появятся с букетом цветов и пучком редиски у выхода с платформы.

И может вдруг померещиться, как ответ чего-то дальнего, беспмятного, золотого, в отдалении, на бугорке, деревня с колоколенкой, хоть всем понятно, что никаких деревенок уже не осталось в этом крае, отутюженном тяжелой гусеницей индустрии. Но пусть хоть какие, пусть вырождающиеся, выродившиеся, вымороченные, на себя самих не похожие, замордованные еще с тридцатых годов, но где-то внутри себя еще чуть-чуть живые, и то лишь потому, что в этом гигантском размахе и в этой бесхозности их как-то упустили, недосмотрели, недограбили, недобили таких сук-подкулачников, гадов и мироедов, и тем они, деревеньки, живы не только для мимолетной из окна радости, но и для чего-то большего в нашей выхолощенной жизни.

Да что деревни, сама дорога эта странная, удивляющая всех своим левосторонним, единственным на всю Россию, движением. А мы так с детства привыкли, что движемся против течения, если посмотреть от других дорог, но поскольку ездим мы, как родились, по своей и глядим, на другие дороги, сравнивая с нашей, то все они кажутся нам непривычными, наоборотными, неестественными вроде бы для нормальной езды. Как бы показались они, скажем, англичанам.

Но это лишь говорит об относительности всего в нашем мире. Левая ли, правая сторона, и сколько нам ехать, час, а может, всю жизнь: не будем считать. Как не считает своих расстояний и своего времени едущий с нами пьяненький и уже бесконечно счастливый дядька, с картошкой в сеточке.

В ту пору я, типичный житель Подмосковья, очень подозрительно относился к самому городу: к его лифтам, улицам с потоками машин, квартирным соседям.

Разумеется, я слышался о всяких очередях в коммунальный туалет, о чернилах, которые выливают соседям на кухне в щи, о балконах, которые сваливаются людям на головы.

Это было предубеждение подростка, знавшего лишь деревянный дом, колонку за палисадником и дощатый туалет в уголке сада, за малиной. Холодно зимой, но свой, без очереди.

Впрочем, в памяти засел один довоенный эпизод, как мы всей семьей ездили к папиному дружку, который получил комнату в Москве. Этот дружок, дядя Коля, был один из первых стахановцев в той же бригаде, где работал отец на большом военном заводе.

Мы долго тащимся трамваем, и я, заглядывая в окошко, все слежу, чтобы он не сошел с рельсов, особенно когда, пронзительно визжа, закругляет на поворотах.

Мы доезжаем и с непривычки долго топчемся в подъезде, не зная, как вызвать лифт: жмем на кнопку, но бесполезно. Родители из-за этого громко ссорятся. Выходит женщина и поясняет, что этот лифт еще не работает, а нужно зайти в другой подъезд, на ихнем лифте подняться на какой-то этаж, а потом по переходу выйти на эту площадку и спуститься в квартиру.

Мы поднимаемся на лифте, и мама испуганно держит меня за плечи, все время ожидая, что лифт вот-вот обрвется. К всеобщему удивлению, лифт не обрывается, а поднимает нас вверх.

Потом мы пробираемся по балкону, на котором от высоты захватывает дух. "Трусика! Не смотри вниз, иди быстрее!" — говорит мама, а сама-то ступает с оглядкой, хватаясь судорожно за перила. И мне ясно, что она боится пуще моего.

Мы опять идем по этажам и наконец застываем перед дверью, где сразу вывешено несколько почтовых ящиков и заляпанные известью торчат многочисленные звонки.

Дядя Коля и тетя Дуся (она тезка моей мамы) встречают нас по-праздничному, он — в сорочке и галстук, она — в ярком красном бархатном платье, и ведут в свою комнату, где уже накрыт стол.

Но прежде чем посадить нас за стол этот — я не свожу с него глаз и потому пропускаю какую-то взрослую историю с ордерами (для меня звучит: с орденами), — нам демонстрируют жилье, и я только запоминаю, что мама ахает и все пробует руками, стены, стекла (а окна-то в доме не такие маленькие, как показалось снаружи!), ручки, мебель... Тетя Дуся хвалится новой люстрой: цветные ободки, а на них стеклянные трубочки на крючочках в два ряда, один ряд выше, чем другой. Такая и у нас висит, и я уже отцеплял стекляшки от крючочков, а одну нечаянно уронил и разбил.

Я говорю: "Такая и у нас есть!"

Тетя Дуся смотрит на меня растерянно, а мама кричит: "Помолчи! Дурачок!"

Потом тетя Дуся ведет нас в коридор и показывает остальное, не меньшее, хоть и общее, то есть коммунальное, богатство: кухню, туалет, газ, горячую воду.

И везде мама более других замедляет шаг, смотрит многозначительно на отца и вздыхает. Мы ведь, в сравне-



нии с тетей Дусей и дядей Колей, теперь загородные, областные. У нас нет своей комнаты, а мы снимаем чужую, у хозяев Гвоздевых, в деревянном доме, который стоит среди многих других деревянных домов. У нас даже адрес — никакая не улица, а Куракинский переулок! А в переулке всего два домика: Гвоздевых да Сютягиных, а потом идут огороды и поле с картошкой.

В нашей комнатухе семь квадратных метров. И туалет у нас на улице, а керосинка в прихожей, а вода так метров за сто, около большого, но тоже деревянного здания нарсуда, куда я хожу с бидончиком, ведро мне дотащить не по силам.

Мама смотрит на краны, на горелку с фитильком и опасно спрашивает, не взрывается ли газ, такие страсти рассказывают!

Тетя Дуся снисходительно улыбается: вот уж сразу видно, не москвичи. Газа боятся! А сама-то второй лишь месяц в Москве!

Мы — наконец-то! — садимся за стол, но моя мама еще не пришла в себя, ей даже чужие вилки-ложки кажутся лучше, чем у нас в Люберцах.

Я прямо чувствую, вижу, что она завидует тете Дусе. Завидует, когда все щупает руками, когда вздыхает, когда произносит вразяжку: "Да, вот Николай-то молодец, что в стахановцы записался... А мой..."

— А что? — вскрикивает отец, он уже выпил, и теперь ему кажется, что он вовсе не хуже дяди Коли. — В цеху кто-то должен первым! Мой приятель! А мог быть я!

Дядя Коля по-доброму кивает: да, верно, мог быть, конечно, и мой отец... Если б повезло. А не повезло!

— Подожди! — кричит отец. — Дальше-то уж как будет! Мы такую комнату отхватим! Поширше этой!

Дядя Коля кивает: ну да... Я, мол, отхватил, и вы отхватите! Не всем же сразу! По очереди тоже отхватывать нужно. А очередь — шутит — за выпивкой!

Отец у меня бойкий, умелый, это я и по дому знаю. Он может и ботинки подшить (колодочка и деревянные гвоздики у него в шкафу), и доску обтесать рубанком, и ведро залудить. Значит, может он по очереди и комнату в таком каменном доме отхватить. Мне-то лично вовсе не хочется, чтобы он ее отхватил.

У нас в Люберцах лучше.

Но я молчу. Мне жалко маму, жалко, что она так сильно вздыхает.

Она, наверное, чувствует, догадывается, и это правда, что никогда не будет у нас своей комнаты в каменном доме, и глаза ей закроют в той самой, ненавистной семиметровке, в Куракинском переулке. И точно. Отец мой, умелый отец, до смерти своей никогда ничего не получит по очереди, а будет проживать в построенной своими руками развалюхе. Лишь за год, что ли, до его смерти моя сестренка, она родилась в тот год, когда мы ездили в гости, получила в свои сорок пять лет первую в жизни небольшую квартиру.

Вот такая оказалась та очередь — на сорок пять лет!

Ох, уж этот загляд вперед, как он может испортить такой замечательный праздник, как застолье в гостях, где все вкусно и нарядно! И где все, даже своя городская комната для мамы кажется такой близкой и возможной.

А праздник, между прочим, продолжается, и дядя Коля, как бы ненароком, надевает красивый пиджак, и все видят на нем настоящий орден: две литые фигуры держат в руках серп и молот.

Это был первый орден, который я видел совсем близко, я даже его осторожно потрогал, когда мне разрешили. На ощупь орден был тяжел, гладок и отливал серебром. Он даже пахнул по-особенному.

А может, потому и красив, что тяжел, в нем чувствовалась весомость, подтвержденная этой комнатой и этим столом.

И тут был нанесен последний удар моей бедной маме: дядя Коля принес какую-то коробку, вынул из нее баян (я сразу закричал: "Гармошка!") с многими перламутровыми пуговицами, постелил себе на колени полотенце, поданное тетей Дусей, и стал нам играть.

Играл он медленно, путаясь и сбиваясь, но все равно это было здорово. Я скажу так: красиво было. И мы, затаив дыхание, смотрели на блестящие кнопки баяна, а тетя Дуся прислонилась к плечу дяди Коли и, прикрыв счастливо глаза, замерла.

Я сейчас подумал, что это было в самом деле их настоящее счастье. И нас они для того и позвали в гости, чтобы мы увидели, как они фантастически счастливы. Без маминых охов, без папиной жалкой ухмылки это так много не стоило бы: кухня, туалет, вода... баян.

Лифт? Ну выключили, это же редко... Можно и на соседском доехать. Вода? Сейчас горячей нет, но это тоже пустяки, сколько ждали! Неделю-то подождем! А балкон! Какой балкон! Какой вид!

Тут дядя Коля отложил баян, вскочил так, что полотенце упало на пол, и он не заметил, потащил нас на балкон!

— Толик! Иди сюда! Дуся, Сергей! Да не бойтесь! Не отвалится, глянь, как красиво! Это выдумки буржуев, что балконы падают! Не падают они!

Мы смотрели на Москву, но радости не получали, потому что вслушивались, а мама особенно: не трещит ли под ногами, не начинает ли падать!

А у меня закружилась голова, и показалось, что мы уже летим. Я сильно закричал, и мама от страха вслед за мной тоже закричала, и мужчины прогнали нас в комнату, а сами остались на балконе курить.

Я занялся конфетами, а тетя Дуся все объясняла и объясняла затихшей побледневшей маме, как хорошо жить с газом, без керосинки, да и дров не надо... Батареи всю зиму греют. Тепло, светло и мухи не кусают!

Через много лет, подростком, мамы уже не было, а я работал учеником техника-механика на аэродроме, поехал с отцом на Перовский рынок покупать часы.

Серьезная покупка по тем временам!

Часы не то что были большим богатством, но они свидетельствовали о достатке их хозяина. Часами похвалялись, обменивались, их можно было всегда продать за весьма немалую цену. И если человека останавливали ночью грабители, то прежде всего отнимали они не бумажник с деньгами, а именно часы. Такая это была ценность.

Долго копил я на часы деньги, откладывая с получки, а получал я двести двадцать рублей, это двадцать два рубля на нынешние деньги. Исключая, конечно, налоги и подписку на заем.

Потом была реформа. О реформе говорили кругом, и какие-то жучки суетились по магазинам, скупая все, что возможно, даже никому не нужные предметы, которые лежали еще с "довойны".

Но я верил в справедливость сталинских указов, и потому вся эта шумная возня, слухи, перекупки вызывали у меня лишь снисходительную улыбку: как же можно чего-то бояться, если даже газеты пишут, что слухи эти ложные и их распространяют всякие спекулянты. Я даже отцу нагрубил, когда он осторожненько предложил истратить мои деньги хоть на что-нибудь, хоть на пару буханок хлеба: разговор-то происходил за два дня до реформы.

Вечером, накануне реформы, я сидел в ожидании сеанса в фойе люберецкого кинотеатра, где торговали крошечным, люди брали сразу по несколько бутылок, произнося

со злым смешком, что это единственное, на что можно потратить наши бумажки! Завтра ими разве что задницу подтереть! Водой обливались, то и дело проливая на пол, а я с осуждением глядел на такие забавы молодых парней, не позволяя себе из экономии истратить даже на бутылку, хоть очень, признаюсь, хотелось пить. Я верил, что куплю зато часы.

А на другой день вышел указ о денежной реформе, о том, что старые деньги ликвидируются, а из тех, что на руках, разрешается небольшую сумму обменять на новые деньги один к десяти.

Я пересчитал полученные из кассы новенькие, хрустящие, непривычные по размеру и по цвету бумажки и вдруг увидел, что не только на часы, но и на бутылку сидро едва ли теперь хватит.

Вот тогда произошла со мной странная история: я не плакал и не ругался. Я замкнулся. Это был какой-то необычный, молчаливый шок. Как же могло получиться, что мне платили за работу, давали то есть зарплату, а потом ее как бы обратно забрали, выдав вместо нее совсем ничтожную часть? Обманули? Но у нас же не могут обмануть. Это у них там, у капиталистов, все всех обманывают, потому что человек человеку у них волк, а у нас совсем не волк! У нас... А кто у нас человек человеку? Некоторые шутят: у нас человек человеку товарищ волк... Мне было не до шуток.

В эти дни "Крокодил" напечатал карикатуру: спекулянт и спекулянтка сидят за столом и тупо смотрят на деньги, которые валяются повсюду, из разбитых кубышек, а внизу обличительные стишки: "Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!"

Но у меня-то не было кубышки! Честно говоря, я и до сих пор не знаю, как она выглядит: в виде кувшина, а может быть, графина? Или горшка? А вот отец мой, посмеиваясь, говорил, что деньги вообще надо хранить в валенках: голенищами один засунуть в другой, тогда, мол, и в огне не сгорят, и жулики не догадаются.

Но все это шутки, ибо мои деньги лежали под бельем в комод, и не пачками, а всего-то несколько бумажек.

Копить еще оттого пришлось долго, что я подписался на заем. Подписка на заем у нас в лаборатории каждый год проходила. А как год кончался, собирали собрание, ставили на стол графин, рядом список сотрудников и начинали говорить речи о долге и о родине, и о восстановлении народного хозяйства, которое без наших денег обойтись

не может. Люди торжественно подходили к столу и на листочке, напротив своей фамилии, ставили сумму, сколько процентов от зарплаты они отдают. Самое меньшее — сто процентов. На этот раз выступил первым слесарь Хазатулин, молчаливый, попивающий, никогда он прежде речей не говорил, он-то и предложил, чтобы каждый патриот подписался бы на сто двадцать процентов!

Но тут выскочила наша комсомольская дура, Терехина, и бодро прокричала, что мы, молодежь, никак не можем отставать от старших товарищей и подписываемся на сто тридцать! Ей бурно аплодировали, а следом по списку оказался как раз я. Придвинувшись боком к столу, я было собрался написать положенные сто тридцать, но услышал, как прошептали: "Скажи... Скажи давай! Надо сказать! Ну!" Я повернулся, все на меня смотрели. И тут под локоток парторг лаборатории: "Давай! Давай! Бери выше! Не опозорься!"

Я набрал воздуха, чтобы повторить, что мы-де, молодые, не отстанем от старших... и так далее, но вдруг бухнул, как в лужу: "Я на сто пятьдесят!" И героем, под бурные аплодисменты прошел на место.

За мной, правда, немногие эту цифру назвали, большинство на сто двадцати пяти разумно застопорилось. А из моих двухсот двадцати рублей (это двадцать два на нынешние деньги) теперь каждый месяц тридцать три рубля вычиталось, да налог подоходный, да бездетность, и выходило сто семьдесят рублей. Сто в аванс и семьдесят в получку. Для сравнения: билет сезонный мой до работы стоил двадцать семь рублей, а пресловутая бутылка крюшона или морса — около трешки. Ну, и билет в кино от трех до пяти рублей.

А часы на рынке (в магазинах часов с "довойны" не было) можно было отхватить, если по дешевке, рублей так за пятьсот!

Если тридцатку в месяц откладывать, как я и делал, то года за два набиралась как раз моя сумма... Реформа же съела ее за день!

Если бы не отец, не было бы у меня в молодости своих часов.

Мы и отрез на штаны, привезенный еще из Германии, настоящего, офицерского, как утверждал отец, сукна, долго кроили, чтобы на двоих вышло. Портниха тетя Дуся сотворила чудо — двое галифе. Как раз под сапоги! А там никому не видно, ниже колен можно и старые подшить!

А как выкроились от штанов деньги, отец сказал: "Поехали на рынок. Может, какую штамповочку и подберем".

Мы долго высматривали, как бы вынюхивали, бродя по рынку в поисках часов. Разве что на язык не пробовали. Попадались часы в основном трофейные, но денег на них у нас не доставало. И вдруг нашлись одни, совсем простенькие, та самая штамповка: без камней. Привозились они обычно из Германии.

Отец выложил наши деньги, потом для проверки поставил время по своим часам, и я гордо затянул ремешок на руке, сделав все как у отца: а отец носил свои часы лицом к ладони. Он утверждал, что так их трудней повредить и так носят часы военные шоферы.

Но случилось, отец отошел в толпу, а я увидел на столбе иное время, тут же переставил у себя, новая интересная игра — переставлять стрелки! Отец застал меня за этим занятием и стал громко кричать, что я все испортил, и теперь он не знает, точно ли ходят мои часы! Он ругался, потому что с опозданием понял, что промахнулся, прогадал в цене. А теперь жалел деньги и вымещал свою злость на мне.

В общем, отец в сердцах наорал, потом отвлекся — кого-то увидел в толпе. Окликнул человека и стал с ним разговаривать, кивая в мою сторону, наверное, он рассказывал о покупке часов и о своем промахе.

Человек временами смотрел на меня. Лицо у него было испитое, синюшное, и одет он был неряшливо, наверное, спекулянт, так я подумал. В руках у него было какое-то тряпье, которым он торговал.

Потом они попрощались, мой отец с этим торгашом, и когда он скрылся в толпе, отец спросил: "Ты разве не узнал его? Ты же у него в гостях был, у дяди Коли... Помнишь?"

Дядю Колю я помнил, и помнил отлично. Веселый молодой мужчина с орденом на лацкане и баяном в руках, а сбоку красивая, вся в красном бархате, тетя Дуся, прислонившаяся к его плечу.

— Это не он! — возразил я.

— Да он, — сказал отец вполне равнодушно. О моих часах и о своей злости он уже, слава Богу, не вспоминал.

Глядя в сторону толпы, туда, где скрылся этот обтрепанный человек, отец добавил: "Был он у нас самый передовой, стахановец. Его тогда выдвигали, а мы, целая бригада, работали на него. Пока он, значит, по трибунам... А ему комнату, а ему премию... Ну, он и спился от такой сладкой жизни".

И отец странно усмехнулся, произнеся такие слова. Но тут же посмотрел на свои часы, потом еще на мои и сказал: суровая: "Ладно, береги время!"

И это прозвучало почти как предостережение, связанное с дядей Колей, хотя не думаю, что отец связывал в эту минуту прошлое с настоящим. Это уже я так связал. Он просто торопился на электричку.

Оглядывая рыночную, текущую в пространстве толпу, я думал: как же так возможно, что тот настоящий дядя Коля, наполненный счастьем, и этот барышник с синюшным лицом могут вдруг стать одним и тем же человеком?

И что же тогда время, отмеренное на купленных мной часах, и что же тогда мое счастье, вызванное этими часами? Ведь завтра или даже сегодня я могу встать рядом с дядей Колей в потоке людей рынка, чтобы загнать часы или какое иное барахло, вплоть до рваной обуви, чтобы оплатить одну из моих бед, или все разом, но единым стаканом водки. И я, и мой отец, и любой из тех временных счастливых, которых мне приходилось встречать, хоть было таких совсем немного.

В общем-то, отец потом и закончил рынком, но это уже другая история; а речь сейчас не о нем и не о купленных им часах.

Разговор, понимаете ли, о времени, которое острыми ножницами стрелок что-то от нас всю жизнь отрезает, лоскуток за лоскутком, пока мы не становимся такими вот, как сейчас, странно похожими... На этих людей с рынка.

## СЛОВО О ГОЛУБОМ ЭКСПРЕССЕ

Пожалуй, Плющево — это остановка, на которой я никогда не выходил и к которой у меня нет никаких чувств, кроме догадки, что она никакая, ибо ее нет ни в одном моем воспоминании о Рязанке.

Но и такие остановки нужны.

Они позволяют отодвинуть прошлое, чтобы наконец оглянуться, посмотреть вокруг себя.

Старуха моя с корзинами спит, но будто и во сне она еще жует, и пьяненький мужичок едет, и все остальные едут, возможно, что они частью вышли, частью вошли, но остались все теми же, пассажирами из электрички, и ничто не изменилось с их выходом и приходом.

Легко даже представить, что мы все сели в этот вагон вовсе не сегодня, а еще в те времена, мои дальние, когда

я ездил на работу, да так и засиделись, забыли, как и я, поглощенные общим движением, что не время проходит, а мы проходим.

Проезжаем. Так, пожалуй, верней.

Я откинулся на деревянной, отполированной до желтизны лавке. Такие вот лавки я предпочитаю нынешним, мягким, отделанным кожзаменителем, которые, наверное, и мягче, и удобнее для долгой езды.

А те, деревянные, для меня привычней, они свои и посвоему греют. В них слышен наш допластмассовый, досинтетический век.

Мы вообще с нашим временем попали на технический излом, когда от лошадей и от телег, которые еще заполняли наш пригород (а электрички, дирижабли, детекторные приемники были чудом), влетели, врезываясь, в телевизоры, в ракеты, в видеомагнитофоны, в порошковое молоко и всяческие заменители и даже будто бы смогли к ним приспособиться, доказывая, что мы не хуже, скажем, моли, которая тоже перешла на синтетический корм.

А я запомнил сорок шестой год, когда на нашей дороге появился странный поезд, ярко-голубой, с кожаными сиденьями и раздвижными дверями.

Раздвижные двери были только в метро, а на электричках их еще никто не выдвигал.

А этот поезд, именуемый красивым словом "экспресс", доставили из Германии, вывезя в счет репараций, как в ту пору вывозили многое, подчас жестоко и бессмысленно обдирая побежденную страну, насколько можно было ее обдирать.

На нашей работе, к примеру, склад ломился от пехотных радиопередатчиков, которые ни на что не были годны, разве что можно было выломать, выдрать из них для фонарика крошечную лампочку; что мы и делали.

Мы все тогда бредили этим экспрессом и мечтали на него попасть.

Если уж не надо было торопиться на работу, мы могли пропустить с десятков других поездов, чтобы попасть на этот, особенный, заграничный, голубой. Но ведь нас таких было много, желающих, а экспресс-то был один! Да и ходил он почему-то редко, то ли никак не мог приспособиться к нашим суровым условиям, то ли техника была слаба и не тянула, когда в него набивалась толпа, висела гирляндами на подножках...



Но существовали еще трофейные фильмы; уж чего мы не насмотрелись в ту пору! И знаменитый на весь мир "Гибралтар", шедший у нас под названием "В сетях шпионажа", и "Трио Трукса", захватывающий цирковой детектив; известная, отложившаяся, как цветной сон в наших юношеских грезах, "Девушка моей мечты" с актрисой Марикой Рокк в главной роли.

Мы все шалели, сидя в зале, от ее потрясных нарядов, от ее танцев, вообще от ее фантазмагорической красоты.

Это был один из самых первых цветных фильмов.

А потом в цепочке тех же трофейных лент (на них так и писалось, что они захвачены в качестве трофея) наравне с несравненным Тарзаном... ах, Джейн! Джейн! Еще более увлекающе возник диснеевский олененок Бемби!

Вот он-то и впрямь остался ярким цветным пятном в моем сероватом отрочестве, и когда я увидел в руках у своей дочки книжку, скопированную с фильма, где был на страницах отпечатан мой знакомый Бемби, со всеми его приключениями, я почувствовал вдруг, что руки мои дрожат и сам я начинаю волноваться, как, думаю, не разволновался бы при встрече с любой из тех ослепительных звезд, которые нам в юности снились по ночам.

А тот голубой трофейный экспресс прожил, если не ошибаюсь, не более недели на нашей провинциальной грязноватой Рязанке: сиденья кожаные с него моментально срезали, обнажив белые изнанки, плафончики побили, поручни и ручки отвинтили, что-то сломали, покорежили, расправились, словом, как поступают с чужим, не своим, и он быстренько закончил свое существование. Сгинул он не сразу: мы еще какое-то время его видели стоящим на запасных путях около панковского депо, выделяющегося среди других ржаво-зеленых вагонов своим вызывающе заграничным, явно чужим видом.

Заграница в ту пору ворвалась в нашу жизнь, как этот странный экспресс, не только волшебными фильмами, но и открытками, и часами, и всяческим трофейным барахлом, но и рассказами возвращающихся из Европы солдат, которых никак еще не проинструктировали, что можно говорить о загранице, а чего нельзя.

Потом-то им все внушили бы как надо.

Но те солдаты уже хлебнули вольного воздуха Победы и ничего не боялись.

Они вообще считали, что с концом войны начинается новый необыкновенный мир, и все в нем будет уже не так, как было прежде.

И мы так считали и слушали, слушали рассказы — это были фантастические рассказы про всяких там фрау, которые падали ниц от одного вида наших солдат, про вагоны добра, что везли генералы, про винные погреба, где они пили из бочек до потери сознания и до того допивались, что кто-то даже утонул в этом самом вине.

Вспоминали и американцев, и англичан, которые на поверку оказывались веселыми, славными парнями. Меняли свои странные — в ту пору у нас таких не было — сигареты, свою пресловутую жевательную резинку (мы ее потом ругали!) на нашу махорку, на "Беломор"; они шумно угощали своим, пахнущим самогоном, виски и с удовольствием показывали фотографии оставшихся дома детишек... Разных там Джонов, Мери, Томов!

Мы слушали и по-своему, по-киношному, представляли американцев, потому что среди фильмов мы видели "Сестру его дворецкого" с Диной Дурбин в главной роли.

Услышанное, в общем, смыкалось с вещами, вещи с фильмами, а фильмы с нашей собственной фантазией, и это было ошеломляющее, как взрыв, впечатление в нашей нищей послевоенной жизни.

Вот, к примеру, от отцовых дружков-солдат я набрал много разных заграничных денег и составил коллекцию из них, пока в поздние пятидесятые в наш дом не заглянул один военный, из тех, кто проходил службу в Восточной Германии.

Он-то и прошерстил мою коллекцию, вдруг загоревшись при виде денежных знаков, что-то забрал, пообещав наутро вернуть, но так и не вернул, и вообще исчез из моей жизни.

А я лишь потом понял, что забрал он у меня лишь доллары и стерлинги, да, небось, еще дружкам похвалялся там, в своей Германии, как облапошил глупого люберецкого юнца, который сам не понимал, что у себя хранил драгоценную валюту.

Но как-то вдруг, хоть и не сразу, эта загульная шальная атмосфера армейщины, боевых воспоминаний, непривычных иностранных вещей стала спадать, спадать и сошла на нет.

Солдатики еще толпились вокруг пивных, еще торговали на черных рынках, спуская за бесценок привезенное барахло, да разве это то барахло, что тащили эшелонами генеральские жены, но уже затихали, негодую лишь по времени, когда им перестали платить наградные за ордена и медали.

Да все вдруг оказалось не ко времени, как тот голубой экспресс.

И фильмы с Тарзаном пропали, вместо них широким экраном пошли сплошь свои, патриотические: "Клятва", "Падение Берлина", "Кубанские казаки", "Сказание о земле Сибирской" и, может, среди всех, единственный живой, про спорт — "Первая перчатка" с Володиным в главной роли.

Но и в спорте поменялось, и корнер уже назывался угловым, офсайд — вне игры, а пенальти — одиннадцатиметровым.

Произносить было неудобно, непривычно, но вслед за популярным комментатором Синявским мы произносили, как бы пробуя на вкус новоизобретенные слова.

При этом мы посмеивались, не понимая, что же происходит.

Только однажды дружок Костя Мамков на лекции нарисовал в тетради человечка над костром и приписал: "Безродный космы палит!" И с улыбкой пододвинул ко мне, мол, смотри — новый анекдот такой.

Оно произносилось как единое "безродныйкосмополит" и звучало среди нас чаще и чаще, и вот уже кричали его на собрании, бичуя тех, кто ставит превыше нашего, русского, все заграничное и чужое.

Отщепенцы, космополиты, враги, словом, готовые за чечевичную похлебку продать американцам нашу советскую родину.

Мы в глаза не видели тех отщепенцев, но со всеми вместе негодовали, нас тоже до глубины души возмущало: как же так! Неужели же они, ну то есть космополиты, не понимают, что они предатели! А ведь сало — как написано в газетах — русское едят! Только я не понял, почему они едят именно сало, его-то в магазинах как раз и не было. И чечевицы для похлебки тоже не было.

В срочном порядке, по распоряжению сверху, от комсомольских органов, стали нас водить с работы во время перерыва в клуб, где нам показывали — как надо и как теперь не надо танцевать.

Нас выстраивали парами, и я все время попадал с комсомольской активисткой, глуповато наглой Ритой Терехиной. Нас ставили друг против друга, и в противовес вражескому танго и вражескому фокстроту и, не дай Бог, страшно представить, буги-вуги! — тайному оплоту нашего классового врага, обучали падеграсу, падепати-неру, падеспани и другим замечательным бальным танцам.

То, что наша внешность мало гармонировала с этими великолепными танцами, никого не смущало, это сейчас я представил, и стало смешно. Но и грустно.

В застиранных темных рубашках, в дешевых брюках с пузырями на коленках или в шароварах, тоже дешевеньких, сатиновых, висевших на нас, на наших задницах, как мешки, мы топтались в тапочках, в сапогах, кто в чем, под дивные звуки музыки, поддерживали наших, ненавистных нам, партнерш!

И никто над нами не смеялся, даже выписанный из Москвы по этому случаю, наверное, через райком комсомола, балетмейстер, интеллигентный с виду человек.

Он хлопал в ладоши, вскрикивал по ходу танца: "Кавалеры! Кавалеры! Изящно оттопыривая носок, вы плавно (Плавно! Я сказал!) берете своих дам за талию... Талию! Талию! А не за задницу! Простите! И легко, плавно, изящно, будто взлетая, делаете шаг вперед... И — раз!"

Зал, в нашем лице, изящно громыхал ножищами.

Василий, мой дружок, бойко топал по ногам своей партнерши — они шли впереди меня, а я вспомнил, что Васька на днях лапал свою партнершу в кустах, по пути домой, а матери долго объяснял, что залил на работе клеем "БФ" свои штаны.

Сзади, нарочно толкая меня коленкой, вытанцовывал Витька Ларионов, почему-то в картузе и немислимых обрезках, старых, но подшитых резиновой шиной от автомобиля.

— Кавалеры! Кавалеры! — кричал голосистый балетмейстер. — Будьте кавалерами!

А Васька, я слышал и все кругом слышали, матюкался по его адресу, потому что перерыв наш, сорок минут, подошел к концу, а значит, мы остаемся снова без обеда.

— Кавалеры не танцуют на голодный желудок! — ворчал Витька, и мы были с ним согласны.

Слава Богу, скоро эти танцы вообще закончились, и мы стали по вечерам собираться в одном из домиков в поселке, где под радиолу танцевали "запрещенные" танцы: танго и фокстрот, а до этого мы сами учились танцевать со стулом. Стул вместо партнерши. Но все равно это лучше, чем разучивать бальные танцы под руку с комсомольской дурой Ритой Терехиной!

А вот падеспань я ни разу с тех пор не танцевал, хоть еще и до сих пор помню, как надо, повернувшись к партнерше боком, делать шаг, потом другим боком, и опять шаг, а потом, взяв ее за руки (холодные, в поту, руки), вести ее, бойко и задорно, чуть выгибая шею и любезно улыбаясь.

Но это все прошло, и теперь уже не рассказать, не объяснить, какими странными мы были. Да и на вопрос моего сына: "А почему?", — то есть почему фокстрот считался не тем танцем, и почему надо было ходить танцевать по приказу свыше, и почему вообще что-то надо было делать из того, что не хотелось, невозможно сейчас ни понять, ни доказать. Мы лишь говорим: "Так было". Почему "так было", почему это вообще могло быть, я и сам не знаю.

Но я сейчас лишь о трофейном голубом экспрессе, который пронесся миражем через мою юность, чем-то меня зацепив, мою память, мою залапанную чужими руками душу, может, и вправду, ютящуюся между пятым и шестым ребром.

Вагон дернулся. С шипением закрылись двери. Платформа поплыла назад. Она уже заканчивалась, когда резко и неожиданно, так, что всех сидящих тряхнуло и бросило вперед, поезд встал. Ясно, кто-то сорвал стоп-кран.

И те, кто дремал или читал, или просто сидел, скучая, и смотрел в окно, вдруг оживились и стали выглядывать наружу.

А я вспомнил, что произошло со мной. Произошло на одной из платформ, когда вдруг я увидел, что моя электричка, на которой я каждый день езжу на работу, отправляется. А если на следующей, уже известно, будет опоздание примерно на полчаса.

Закон в войну, да и после войны был суров, те, кто постарше, это помнят. За опоздание свыше двадцати минут судили.

Это мои часики, те самые, купленные по случаю на рынок, меня подвели. Но сообразил я, что бесповоротно опаздываю, лишь когда увидел отходящую на моих глазах электричку.

Не скажу, что я сразу представил себе показательный суд, расправу, срок и подобное. Но в краткий миг, в доли секунды пронеслось, как откровение, что это конец.

Промелькнуло еще в уме слово "крах", без каких-либо подробностей. Просто "крах", и все. Больше мыслей не было.

Я бросился наперерез поезду по рельсам в нескольких метрах от первого вагона, уже рычащего от набираемой скорости.

И мысли, и мой бросок, и надвигающийся стеной вагон — все было одновременно, как и слово "крах", и слово

"конец", гвоздем торчавшие во мне. Я даже успел рассмотреть черные чугунные колеса, которые вдруг ударили по ушам скрежетом, и включили тормоза экстренной остановки, и посыпались на шпалы искры.

Я, как зачарованный, смотрел на эти грохочущие чугунные колеса, еще не осознав главного: поезд встал передо мной. Или, что точнее, надо мной.

И тут последовал бросок, это был второй бросок, и он был начисто лишен осознанности, а состоял как бы из механических действий, независимых от меня. Я выпрыгнул на насыпь, стараясь при этом не попасть ногой между шпал и не споткнуться, двумя руками я ухватился за железную лесенку первого вагона. В то время как поезд свирепо рыкнул гудком, снова дернулся и стал набирать скорость, я, уже висящий снаружи, одной рукой рвал неподдающуюся дверь, и она вдруг сама распахнулась, и я ввалился, оказавшись на коленях, и так я вполз в табур: сумасшедший, видно сразу, человек!

Да нет, я не человек, а оголец, шпана, сволочь, ездют тут разные... Так на меня кричали, и накричал кондуктор, побелевший от страха.

Но я уже не слушал его. Я стоял, прислонившись к двери, и знал, осознавал одно: что я еду, еду, еду... Я в той самой электричке, которая уже и не была моей, которую я увидел на подходе, ускользящей от меня навсегда, улетающей, как птица удачи!

И вдруг перенесся в нее, это ли не чудо!

Уже за Люберцами я почувствовал, что кружится голова и меня подташнивает. Пусть. Пусть тошнит, пусть голова, пусть что угодно, ведь главное, я еду, и мои, отведенные мне, минуты теперь уже совпадают с километрами, отведенными для этих минут, а значит, ничего страшного в моей жизни и в моей работе произойти не может.

О том же, что могло произойти ранее, я старался не думать: это не произошло, значит, этого уже нет.

А на работе, в курилке, стоя среди ребят, я услышал: "Какой-то дурачок сегодня бросился под колеса! Так трянуло, на меня свалился чужой рюкзак!" А другой: "Идиоты, себя не берегут!"

С этими, не предназначенными лично для меня словами, впервые ко мне вернулся истинный взгляд на происшедшее. Я, вдруг, как наяву, увидел летящую на меня электричку, ее свирепо гудящие, сверкающие огнем чугунные колеса, дикий жар, гарь и пыль в лицо.

Стало душно, громко заколотилось в груди. Кругом решили: от курева, от дыма, и срочно вызвали в лабораторию добровольную санитарку Лелю Данкову, которая дала мне каких-то пилюль от позднего страха. Может, они назывались иначе, но я выпил, и все прошло.

## НАШ СМЕШНОЙ ДРУЖОК ШВЕЙК

Перово для меня — прежде всего рынок, барахолка, одна из самых крупных в Москве. А для нас, беспризорщины, Малаховский, да Томилинский, да Люберецкий, да Перовский рынки были для жизни более чем дом родной.

Мы их тасовали в любом порядке в зависимости от наших планов, но и других обстоятельств: наличие товара, милиции, знакомых уроч, даже времени года, ибо все это вместе взятое и еще многое другое создавало нам условия и возможность что-то выкрасть и выжить.

Разговор идет, понятно, о временах войны. Это еще до того, как нас на Кавказ, к чеченцам, заслали.

А Перовский барахолный рынок звался тогда Рогожским и был на полкилометра дальше, это его уже потом перенесли и переименовали.

Здесь, и на Малаховском, и на Томилинском, и на Люберецком я прошел полный курс вступающего в жизнь детдомовца, у которого была тысяча врагов в лице блатяг, спекулянтов, барыг, всякого рода крысятников и уроч, которым мы составляли конкуренцию, но и прижимистых бабок, и особенно кулачков, этаких отожравшихся в войну за счет эвакуированных сыторожих парней, откупленных от фронта за крупные суммы...

Они-то и били жестче всего, правда, при случае и уроч мог пригрозить пером (ножичком) или ткнуть заостренной спицей; стальная спица от велосипеда была страшным оружием, ибо не оставляла почти крови, но протыкала тело насквозь, как свиной окорок.

Рынки и отдельные на каждом рынке углы поделены были на зоны влияния, как делят, к примеру, лес между собой волки или медведи или как делят озеро щуки.

И не дай Бог забрести в чужие владения да напороться на хозяев: мелких и крупных уроч!

Но проходили чистки, забирали одних, сажали других, изгоняли третьих, а в какой-то момент поле деятельности освобождалось: так и зверь, почувствовав отсутствие со-

перника, быстро прибирает к рукам освободившийся угол тайги.

Мы всех знали, но знали и нас, и если старшие блатяги нас презрительно отгоняли с заветных мест (не путайся под ногами, шушера!), то детдом на детдом, колония на колонию шли как стенка на стенку: насмерть!

Если одним, скажем, быковским, которые оказывались в большем числе, удавалось кого-то из чужих, тех же томилинских, захватить, происходила жесточайшая расправа. Особенно она была тяжка, если до этого томилинские поймали и избили быковских.

А в иные, хоть и нечастые моменты, схлестывались в пределах рынка несколько разных враждующих групп, каждая при этом летела за подмогой, тогда прямо среди торгующих, пьющих, едящих, барышничających людей, среди огромной толпы начиналась отчаянная бойня, ну почти как ныне среди мафий в кино, и рынок тогда разбегался.

Барыга или мужик могли шугануть одного или двоих, даже троих ребят, но справиться с сотней воющих, кусающих, способных на все и ничего не страшящихся подростков было практически невозможно.

Любая банда, любая организованная шайка орудовала в определенных условиях, у нее было развито чувство самосохранения, которое начисто отсутствовало у беспризорных.

Они, как нынешние тараканы, как муравьи, как моль, были неизводимы, и, наверное, они сами догадывались об этом.

Когда в детдоме появлялся воющий шакал, да еще в крови, с воплем, с истерикой, с криками, что "на Перовском наших бьют!", мы срывались с места, бросая все, и летели на помощь. Летели, никого не остерегаясь, наоборот, жаждая мести, крови, счастья потасовки, драки, поножовщины, чтобы излить из себя все черное, все губительное, что накапливалось в крови годами.

Что за побоища это были!

Люди, отчаянная рыночная толпа, монолитная, с которой не совладать было милиции и законам, вдруг сама собой распалась и начинала жаться к спасительным заборам.

И боевые фронтовики-солдаты, и дошлые инвалиды, и разбойные деревенские парни, и алкоголики, да все, все начинали сматывать свой товар и искать способы для безопасного отступления.



Так уходят люди при нашествии саранчи или крыс. Ибо тут вступают в действие иные законы, против которых остальное бессильно.

Я это знаю потому, что участвовал в таких драках.

И я утверждаю: всякий мордобой, бандитские налеты, сшибка спекулянтов, даже столкновение матросни, хотя последние дрались ремнями особенно отчаянно, не могли идти ни в какое сравнение с дракой малолетних. Любая драка имеет свою причину, да и свою логику. Тут же не было никакой логики, никаких соображений, а одни лишь голые инстинкты.

Дрались все и со всеми, камнем, железкой, гвоздем, пiskой, то есть бритвой, зажатой особым манером между пальцев. Шли в ход и палки, и доски, и чужие вещи, даже телеги и оглобли, и колеса от телег... И если, не дай Бог, попадался неопытный торгаш, решивший встать на пути этого, на него налетали сразу десять, двадцать озверевших пацанов; искусывая до смерти, рвали зубами, когтями, как дерут свою жертву только звери, и, бросив окровавленного, тут же схватывались снова между собой!

Рынок пустел, оголялся, появлялась милиция, опасно глядевшая со стороны, и она по опыту знала: надо выждать, дожидаться сумерек, вечера, и тогда орущая, воющая, свистящая, кричащая, плачущая стая взбесившихся пацанов начнет сама по себе затихать и медленно отпадать, группа за группой, чтобы под покровом темноты убраться восвояси и унести своих полумертвых товарищей.

Но, повторяю, такое происходило нечасто. Чаще же стыкались малыми группами, пытаясь в мелких стычках расчистить зону существования. Рыночное существование означало в войну вообще существование. Иного у нас быть и не могло.

Вообще-то нашей "зоной", местом, в которое никто не лез, было, конечно, Томилино, там, где находился сам детдом. Там-то мы были сами себе хозяева.

Каждый квадратный метр томилинской подзолистой бедненькой земли мне был знаком, это не образ, это несчастная правда. Даже на той полосочке земли, что идет рядом с железной дорогой, мы пасли украденную кем-то козу, которую держали тайком в подвале детдома, и тут же, у рельс, на чужих убогих огородиках мы откапывали, выковыривали только что посаженную картошку, не дожидаясь, пока она прорастет.

Уж очень хотелось есть!

И крепко, надо сказать, в том сорок третьем году урезали наш корм ученые академики, предложившие сажать для экономии вместо целых клубней срезы с картофеля, так называемые глазки. Ими-то не пропитаешься!

С тех, наверное, пор, ко всем без различия ученым, изобретавшим, как усовершенствовать (а в моем понимании — урезать) натуральное питание, я лично питаю неприязнь.

Мне все время чудится, что они в разных вариантах предлагают свои "глазки", из которых, кажется, и картошка-то нормальная, полноценная не могла родиться.

По правой стороне от платформы находится рынок, без него мы и дня прожить не могли. Тут теснились деревянные лабазы, магазины, и в одном из них мы наткнулись на пакеты с повидлом, там и сям рассованные по углам. Видать, нагрянула ревизия, и эти пакеты наскоро были выброшены, засунуты куда попало, кто станет смотреть и нагибаться, что там валяется по углам.

Работники ОРСа, конечно, не рассчитывали на нашу такую мгновенную хватательную реакцию. Мы пожирали повидло, засовывая в рот руками, скрытые лесом чужих ног, мы выедали густую массу из пакетов, пока влезало в пузо. Насытившись, мы побежали звать на помощь своих шакалов, но, когда вернулись через четверть часа, ничего уже не нашли.

Но и за то спасибо магазину и бдительной ревизии — это один из самых невероятных, самых везучих дней детства, когда я наелся в войну. И не чего-нибудь, а сладкого повидла!

Сладкого же хотелось порой до тошноты.

По весне мы залезали на липу и слизывали с молодых листочков сладковатый клей с риском слететь и свернуть себе шею. А когда нас повели перебирать мороженую картошку, мы все ее жрали сырую, она была очень сладкой.

Но ворованное повидло из-под столов было, конечно, слаще.

Кстати, здесь, на правой стороне, стоял один деревянный дом, от которого у нашего дружка Мишки Зверева оказались ключи.

Когда становилось невмоготу от голода, Мишка прихватывал кого-нибудь из нас, вел к этому дому и, оставив стоять на шухере, через короткое время волок будильник, или одеяло, или вазу для цветов. Мы загоняли это на рынке или меняли на картофельные пирожки. Ели и недоумевали: как ловко Мишке удается все время грабить и не

попадаться! Лишь позже выяснилось, что домик-то этот лично Мишкин, откуда после смерти матери и ухода отца на фронт его выкинули ближайшие родственники. А значит, Мишка не просто крал, он мстил им за свою бедственную жизнь. Мстил, конечно, глупо, по-детски, но как мог. Что еще ему оставалось делать?

Я запомнил, что в такие моменты лицо его приобретало особенное выражение, не прощающее, что ли! Он мог и дом поджечь, может, он его потом и поджег, но я вскоре слинял с этой станции и Мишку больше не видел.

Впрочем, один пожар, но не по нашей вине, я запомнил. Как раз здесь, у станции, загорелся деревянный двухэтажный дом. Люди бежали к нему, кто на помощь, а кто поглазеть, дело было к ночи. И мы бежали, вся детдомовская рать, все голодные сявки, и уж нам-то было не до развлечения, смотреть на чужой пожар было бы непозволительной роскошью. Мы в это время работали, то есть лезли в огонь, в горящие комнаты, чтобы найти что-нибудь съестное. Барахло нас мало интересовало. Не трудно было рассчитать, что в панике жильцы хватали в первую очередь вещи, а не кастрюли с варевом.

Вот на такую кастрюлю мы и напоролись...

Гнулись над головой прогорающие балки, вот-вот рухнут, а мы втроем — Мишка, у которого в курчавых волосах застряли искры, Швейк, успевавший и тут корчить рожи, и я — пили через край чей-то брошенный суп и выхватывали руками картофельную гущу.

Мишка заорал: "Атанда! Сейчас падать начнет!" А Швейк кривил набитый рот, из него уже текло обратно, и бормотал, что лучше он сам сгорит, но сытый сгорит, чем бросит этот драгоценный суп! Он же потом будет несъеденным во сне сниться! Кошмарный сон!

И все мы слушали Швейка и пихали в себя руками гущу, и за пазуху еще пытались пихать, а она тут же вытекала из-под рубахи обратно, в штаны и наружу.

А потом стало невозможно от жары, и уже сам Швейк, весело взвизгивая, закричал: "Ро-бя, кажется, мы тоже горим! Мой суп в животе кипит!" И мы бросились к оконному проему и выскочили наружу, облизывая на ходу липкие пальцы!

Едва успели отбежать, как с треском рухнуло, осыпая нас бенгальским огнем искр и дождем летящих головешек!

Швейк тогда еще сказал: "Вкусный суп был! Если бы горело почаще!" А Мишка добавил: "Можно и самим попочь!"

А я посмотрел на него и увидел, что мстительный звериный огонек светится в глубине его зрачков. Тогда-то и понял: этот за все отомстит! Он родимый дом подожжет!

Нет, не мог я ошибиться, хотя, может быть, в это время в глазах у него плясало красное пламя от догорающего дома.

Я тогда, помню, подобрал книжку "Всадник без головы".

Суп сгорел, Мишка скрылся. Швейк погиб.

А на месте сгоревшего дома стоит спортмагазин и еще пивная. А страшный призрак лошади с сидящим на ней всадником и преследующий их капитан Кассий Кольхаун (на пуле — два "к") соединились у меня в памяти с горящим взглядом Мишки.

Кому возможно сейчас объяснить, что не мы — нас убивали и наши крошечные души, если они еще были у нас. Что же осталось от нас живого, что вообще могло остаться, если не любовь, не добро и не милосердие были нашими главными учителями!

А ненависть, а мщение за звериное остережение всего, что нас окружало.

И вот здесь, под томилинской платформой, не раз и не два я прятался от охотящихся за моей жизнью блатяг, милиционеров, но и воспитателей, которых я тогда ненави-дел и которых мне сейчас жалко.

Мы ведь и им мстили, как первым среди многих обид-чиков, и даже просто потому, что они оказывались ближе к нам, чем другие!

Однажды кастелянша Лидия Павловна почему-то стала забирать мое одеяло. Может, она его поменять хотела, не знаю. Но я-то вдруг решил, что у меня одеяло насовсем забирают. Такие затмения бывают, особенно у тех, кто боится, кто ждет, что его вот-вот обидят. А возможно втайне даже этого желает, чтобы выплеснуть накопившуюся злобу. На топчане без одеяла под одной дерюжкой из верхней одежды долго не протерпишь — и с одеялом-то зазеденеешь! "Дрожжи продаешь!" Пока сон смотрит, если даже блатные рядом в карты режутся, и даже если режутся на твою жизнь!

В карты могли проиграть первого встречного, например, или ряд и место в кинотеатре, или — в электричке. Но ближе всего были те, что из собственной спальни.

В общем, накопилось у меня.

А тут еще одеяло забирают, последнее из всего, что нам принадлежало; а спать на голых досочках, на топчане,

когда тюфячок прогнил и солома вывалилась, да без одеяла! Без верха и без низа — ну как терпеть! И я, помню хорошо, прыгнул и вцепился в руку кастелянше. Она закричала от боли и попыталась меня сбросить. Она стала бить меня свободной рукой, рвать на мне волосы, отдирать меня, но все бесполезно. На крик прибежали ребята. Встали стенкой, не вмешиваясь, но и никого не пропуская в круг, ибо они желали до конца увидеть поединок, да и были они на моей стороне. Притопали и взрослые, воспитатели и сам директор, случайно оказавшийся поблизости, хватал меня за ноги, оттаскивал прочь: даже пытались в зубы вставить нож, чтобы расщемить челюсть. Но как это дальше было и как им удалось меня с моим врагом разъединить, не помню. Я уже и себя не чувствовал, а мою челюсть, мое единственное главное оружие, так свело, что при желании я не мог ее разжать.

С тех пор несчастная кастелянша Лидия Павловна, невысокая кривоногая удмуртка с косенькими глазами, прижималась к стенке, когда в коридоре я попадался ей навстречу. Да все воспитатели, я сразу заметил, стали обходить меня стороной, остерегаться, как бешеной собаки. Ибо в детдоме знали только один закон, закон силы. А я ее показал.

В характеристике, той самой, которую я потом украл, она у меня где-то хранится, написано о моей странной вспыльчивости. "Неуравновешен, но любит ласковое обращение, — написали. — При ласковом обращении исполнителен, при грубом — вспыльчив". (Из учетной карточки на "беспризорного безнадзорного".)

"Ласкового обращения" не припомню, а о грубом они точно написали. Мы от него спасались в основном под платформой. Там было совсем неплохо. Это для тех, кто знал, что такое плохо. Мы-то знали.

Не каждый захочет лезть сюда, особенно кто постарше и покрупней, а значит, сильнее нас. Да и не пролезет, вот в чем наша везуха.

А мы среди крыс да воробьев, которых ухитрились живьем съесть, если находили гнезда, но и среди всякой прочей твари, кошек там, собак, разных грызунов, чувствовали себя как свои со своими. Это были наши джунгли, наши прерии, наш "Дикий Запад", только реальный, а не придуманный в книжках, даже таких якобы страшных, как "Всадник без головы".

Разве могли бы герои Майн Рида представить себе, как горит живьем десятилетний человек, которому ночью сде-

лали "велосипед" и "балалайку", то есть спящему надели на ноги, на каждый палец отдельно, и на руки — тоже на каждый палец, а иногда и на голову — бумажные колпаки и одновременно подожгли. А в рот, еще спящему, при вдохе пустили струю дыма.

Он летит, как трассирующая пуля, как горящий факел через черные спящие улицы поселка, и звериный вой, крик, не во спасение, от кого ждать спасения, а от отчаяния, от всплеска остатка жизни, которая никому не нужна, и о том последний раз вопит, пронесется и смолкнет над поселковыми крышами.

А потом его же, недогоревшего (если, конечно, не сгорит), а может, и не его, а другого, нас много, и мы несчитанные, выведут голышком на снег и сотворят снежную бабу. Обольют водичкой, делая из живого (пока дышит) — снеговичка, и коллективно наслаждаются этим вполне даже нормальным зрелищем.

И каждый будет лишь думать: слава Богу, это не со мной. Это с другим... И меня-то, может, и не заметят, обойдут, и тогда я выживу.

Да, мы со смертью могли рядышком жить, потому что она была кругом и даже внутри нас, и вряд ли осмысливалось, что смерть для нас не норма, а исключение в нашей той полуреальной или даже вовсе нереальной жизни.

Однажды во время промысла, когда обстригивали мы одно рискованное дельце, летом сорок третьего самого веселого из нашей стаи по кличке Швейк захватила перовская шпана. Я говорю — перовская, но это могли быть чужаки из других поселочков и станций. Борьба за овладение рынком в тот год шла особенно отчаянная. Дня не проходило без драки.

Мы не углядели, расколовшись по двое, по трое, как схватили нашего Швейка. Имени его я не помню. Мы услышали: над толпой, над рыночным гулом пронесся дикий вскрик — и бросились туда. На рябой от семечной шелухи земле лежал наш Швейк около лабазов. Он был еще жив, а из бока у него, из какой-то ненормальной дыры хлестала и тут же становилась черной, никак не впитываясь в землю, живая кровь.

У Швейка были огромные серые глаза и особенная улыбка. Встречается такой склад лица, когда все в нем, особенно же рот, как у Буратино, полумесяцем, создано для улыбки.

Швейк не был отъявленной шпаной, подобно нам. У него где-то были родители. Но они ни разу не объявились в детдоме и вообще никак не напоминали о себе. Швейк платил им тем же. В наших разговорах о родственниках, иногда третьестепенных, а мы не могли об этом не говорить, это служило нам единственной в нашем одиноком существовании точкой опоры и надежды, Швейк о своих глухо помалкивал. Лишь однажды, по случаю, произнес, криво усмехнувшись, что эти живут неподалеку, с собакой и машиной (в войну — машина, нам такое и представить невозможно), и что когда мы тут шлялись, они даже проехали разок навстречу, но не заметили, не узнали или не захотели узнавать сына.

Да, вспомнил, разговор зашел как раз о собаках, вот тогда и произнесено было про его родителей. А мы тут же предложили ему проколоть им шину, поджечь их дом (это предложил Мишка), накласть говна в машину или проще: убить собаку! Чего ее жалеть, если собака им дороже человека!

Он не ответил, лишь покачал головой. А потом сказал: "В чем же собака-то виновата? Она добрая, она-то меня понимала..."

И вдруг стало ясно, как тяжело ему переживать и молчать об этих, а тем более встречать их машину на дороге.

Когда мы взяли с собой Швейка, мы не думали о том, что он не приучен, как мы, отвечать злом на зло. Мы не подумали, что его доверчивость может его погубить. Он улыбался любому встречному, еще не узнав, кто он и с чем пришел. Склад лица, но и склад характера. В отличие от нас, которые, завидев любого, плохого или хорошего (да откуда хорошие-то в наше время!), лезли на всякий случай в карман и там держали руку, пока было нужно.

Говорят, его окликнули, и он, улыбаясь, пошел, доверившись встречным как самому себе.

И тут, у лабазов, где было меньше свидетелей, двое подростков взяли его за руки, а третий очень деловито, будто исполнял работу, воткнул ему в бок, провернув для верности, огромный остро отточенный гвоздь.

Когда мы прибежали, четверо, он лежал среди осторожной толпы и смотрел вверх, но еще дышал, только кровь при каждом вздохе начинала сильнее булькать из раны.

А потом он кинул голову и застыл. Люди, отпрянув, стали торопливо отходить, но мы на них не смотрели. Мы взяли Швейка на руки, один за голову, еще один подлез под спину, а двое поддерживали, чтобы он не упал.

Так пошли, никто нас не остановил, никто не спросил и никто не попытался помочь. Только, помню, тетка сердобольная всхлипнула, но один из нас так на нее посмотрел, что она, проглотив свой всхлип, моментально исчезла. Да мы всех в тот момент ненавидели: и тех, кто молчал, и тех, кто пытался нам сочувствовать. Все они убили нашего Швейка тем, что видели, как его убивали, и поэтому они были нашими врагами. И мы знали, мы сюда вернемся и тоже кого-нибудь уьем. Да мы всех уьем, потому что все убивали нас. Убивали тем, что смотрели, как мы голодаем, и тем, что ловили нас и били, били умело, чтобы отбить внутренности; убивали тем, что видели, как мы страдаем, бросаясь за мерзлой картошкой, упавшей с возка в грязь... Как жмемся к ним, к своим врагам, погибая от холода, от вшей, от язв, которые осыпали наше тело... Убивали вот как сейчас: потому что боялись подойти, боялись помочь, боялись нарушить свой скверный, полуголодный мир, который еще у них был!

Именно в тот момент, когда мы несли нашего остывающего товарища, мы становились врагами всего человечества, потому что мы тогда точно знали: все человечество объединилось против нас.

Мы несли Швейка по огородам, по насыпи, по свалкам, и никто нам не попался навстречу.

Временами мы садились, положив его на землю и постелив ему под голову, чтобы ему, мертвому, не было жестко, лопухи. Не было слов, даже слез не было. Мы вспоминали, как смешно он гримасничал, изображая по памяти фильмы. А во сне он напевал знакомую музыку. Конечно же, он стал бы артистом, циркачом... Даже нам, погибшим душам, было чуть легче рядом с ним и с его гримасами. И мы с восторгом кричали: "Швейк, изобрази!"

Мы принесли его в лесок и там, на полянке, вырыли руками небольшую ямку, а потом засыпали, затоптали могилу, сровняв ее с землей. Чтобы никто никогда не смог найти нашего Швейка.

Мы одни знали этот кусочек земли.

Мы и воспитателям ничего не сказали. Да они и не очень-то спрашивали. Один из них — завуч, предположил, что мальчик, наверное, решил уехать к родителям. А другой сказал: "Да, конечно, они известные люди и, наверное, решили забрать его к себе".

А мы слышали. Молчали.



Но про себя знали, что, может быть, убьем и этих воспитателей. Потому что они, вот сейчас, убивали нашего Швейка. Убивали как бы по второму разу, ибо ничто, даже исчезновение одного из нас, не могло их прошибить.

Да пропади мы все разом, все, кто жил здесь, они смогли бы так же спокойно рассудить и оправдать наше исчезновение, спроводить нас к кому-то, кого на самом деле у нас не было.

Проезжая станцию, я гляжу туда, где был лесок с зеленой полянкой, и мне видно, что теперь там дома. Возможно, при рытье котлована под фундамент экскаватор вместе с красной глиной извлек какие-то кости, не заметив толком, что они — человека, а не собаки.

Но также возможно, что их не коснулось время и они оказались на пустыре, где, выкорчевав большие деревья, тут же сажают маленькие. И вырастет над этим местом крепкое дерево, густое, обильное: те, кто сажает деревья, знают, что если под ними зарыто живое, они растут почему-то особенно густо и зелено, и объяснить этот феномен не смог еще ни один ученый мира.

## ПРОИГРАННАЯ ЖИЗНЬ

Такой остановки в моей памяти нет — Ждановская, — да и быть не может. Ее создали не так уж давно, когда подвели сюда линию метро, и последнюю остановку метро назвали тем же именем.

Практически здесь как бы проходит и граница города, опираясь в Московскую кольцевую дорогу — МКД.

Словом, станция чужая, как и название, а вот все, что тут было до станции, мое и всегда будет моим, что бы уж тут ни построили и как бы ни называли...

Сразу за Вешняками следовало Косино, и электричка, резво набрав скорость, перегон-то большой, с привычным завыванием пронеслась вдоль садов, а потом болот и торфоразработок по левую руку; а по правую — тянулись сплошь огороды (там теперь депо), а за огородами, в отдалении, виднелись одноэтажные домики деревни Выхино, выстроившиеся темной цепочкой вдоль старого Рязанского шоссе.

Выхинские домики стояли лицом к старой Рязанке, и к поездам и огородам спиной, в одном из них проживала с семьей моя двоюродная сестра Вера.

Я пишу "проживала", потому что как раз через это место впоследствии пролегла МКД, и домик, как и соседские домики, снесли, а Вере дали жилье в Люберцах, там она живет и сегодня.

Наверное, историю Веры нужно бы начать с "довойны", когда жила она у нас, уйдя от своего отца, дяди Миши — моего дяди, которого я обожал и звал Папанькой. Он работал на станции Люберцы грузчиком.

В давние времена дядя Миша, моя мама и тетя Поля сиротами были взяты на воспитание к родственникам, жили у них как бы в прислугах.

Дядя Миша женился, а мама ушла работать на Люберецкую трикотажную фабрику и тоже вышла замуж. И забрала к себе тетю Полю, я ее помню до войны молодой, красивой девушкой, о ней речь впереди.

У дяди Миши от первого брака родились три девочки: Вера, Тоня, Нина. Когда их мама умерла, дядя Миша, Папанька, привел к дом мачеху, она была по всем статьям хрестоматийной мачехой, сварливая и криворотая, возможно, что из-за ее криворотости я ее и запомнил.

Наверное, Вере и Тоне в доме с такой мачехой жилось нелегко, ну а дядя Миша, Папанька, огромный, рябой и добрый, только пил и молчал.

Вера и Тоня ушли жить к нам, и только для младшенькой, для Нины, места уже не находилось, она прибегала к нам поплакаться. А когда она подросла, сбежала от мачехи в ремеслуху.

Как уж мы все размещались на семи квадратных метрах, в деревянном доме без удобств и с соседями на кухне, ума не приложу.

Выходит, что нас было на метр по человеку.

Летом еще так-сяк, молодежь, то есть Вера, Поля и Тоня, спали в чулане, а вот зимой расстилались в комнатке на полу, ногами под кровать, где были отец с мамой, а временами и я, а головами — под стол, и первому, кто вставал на работу, надо было будить всех остальных.

Но еще до войны вышла замуж тетка Поля за смиренного и задумчивого мордвина дядю Федю, электрика-монтера. Он носил на плече блестящие "когти", чтобы лазить по столбам, и я частенько встречал его на нашей улице. Вечером он приходил к нам в гости и молча посиживал, да временами, стесняясь своей неловкости в разговоре, поддразнивал меня, когда я забирался под стол на горшок. Это был мой личный в комнате "угол".

Дядя Федя и тетя Поля, поженившись, уехали в Косино, на торфоразработки, и там поселились в бараке, тоже в крошечной, еще меньше нашей, комнатушке.

А потом и Вера вышла замуж, это, кажется, произошло в самом начале войны, фамилия ее мужа была Сидоров, и жил он с родителями и семьей брата в том самом Выхине, в деревянном доме, что стоял у шумной Рязанки, невдалеке от нынешней станции Ждановской.

В году так сорок шестом я учеником, в пятнадцать лет, пришел в лабораторию, и в этой лаборатории, оказалось, работал инженер Сидоров, брат того самого Сидорова, который и был Вериным мужем.

Внешне они были очень похожи, невысокие и какие-то медлительные, будто сонные.

Этот брат Сидоров тем и запомнился мне, что за своим письменным столом во время работы любил спать с открытыми глазами. И надо было неслышно войти, а потом около уха громко крикнуть: "Сидоров! Перерыв!" — и он испуганно вскакивал, озирался, не видел ли кто случайно его испуга, а потом, заглядывая подобострастно в наши лица, просил: "Не надо кричать... Я и так знаю, что перерыв, только задумался..." И виновато, как мальчишка, шмыгал носом.

А Верин Сидоров во время войны на фронт не попал, он работал в оборонной промышленности. У них пошли дети, все мальчики.

К сорок третьему году, когда я ошивался по всему Подмоскovie, оттого что тетка Поля не захотела нас с сестренкой у себя держать, я чаще всего приезжал к Вере. Я так продолжал ее звать — Вера, хоть она была семейной, имела свой настоящий теплый дом.

Ее дом был хорошо еще тем, что Вера не могла далеко отойти: двое мальчишек, родившихся у Сидоровых один за другим, так мельтешили, что казалось, их много больше. Впрочем, может, у Веры был тогда один мальчик, другой — соседский, родни...

Промороженный так, что звенела моя одежда, изголодавшийся, приходил я в этот дом с одним-единственным желанием — чтобы меня накормили. Я стучался обмороженным кулаком в дверь, пригибаясь и защищаясь спиной от всепроникающих, залетающих даже под навес ледяных струй, этим ветром во все мои дырки набивался мелкий снег.

Если бы Веры вдруг не оказалось дома, я, наверное бы, не смог уйти, так и остался бы замерзать у ее крыльца, ни

сил, ни тепла на обратную дорогу у меня уже не оставалось.

Но Вера открывала дверь и впускала меня.

Она никогда не удивлялась моему виду, не ахала и не плакала по поводу моей такой ненормальной жизни. Ей хватало переживаний и со своими детьми.

Они всегда чем-нибудь болели, и в очередной мой приход, а я приходил, лишь когда чувствовал, что могу сдохнуть с голода, в доме царила обычная очередная разруха: и дров не было, и хлеба не было, и картошки не было, и все-таки они как-то все жили. А рядом, около них, на несколько часов пристраивался пожить и я.

Меня угощали чаем, ну то есть кипятком, а в какие-то дни мне перепадали, после Вериних детей, картофельные очистки. Но это были редкие дни, их можно пересчитать по пальцам. Ведь чтобы оставались очистки, нужна была прежде всего картошка для этих очистков.

Может, и картошка была, но при мне старались не есть. И я понимал: на всех не напасешься!

Дети могли быть коклюшные, коревые, любые, словом, это для очистков не имело никакого значения.

Бывало, что и я болел, но обычно болел как раз в те времена, когда все было вроде бы хорошо и чуть расслаблялся. Но таких случаев в моей той жизни было немного, а значит, и болеть мне не приходилось.

В грязноватой полутемной комнатке я садился на кровать в ногах у больного ребенка и, выпив две кружки кипятку, начинал потихоньку задремывать.

Я сидел, убаюканный криками, возней, стонами, руганью, впадая в забытие, и словно бы наяву видел, что меня, мою жизнь урки из нашего детдома проигрывают в карты.

Как та подопытная собачка, которой некуда из клетки деваться, сижу и жду своей участи. Отдадут ли за буханку хлеба какому-нибудь педику, это в лучшем случае, или для развлечения спустят в дырку туалета вниз головой, чтобы через толчок, свесив немытые хари, насладиться твоим последним судорожным плаванием в жидком говне, пока навсегда не уйдешь и не растворишься при помощи опарыша на дне ямы, которую не чистят, а лишь закапывают, вырывая для пользования рядом другую. А то соседской бабке на студень, на пирожки продадут, ей все равно, из какого мяса для базара эти пирожки делать! Еще как будет счастлива! Но игра затягивается за полночь, и, будто бы встав по малой нужде, я в одних трусиках бегу за дверь и — к станции, хотя понимаю, что добежать мне не удаст-

ся. Я сажусь на пороге и тихонько начинаю скулить, не плакать, а именно тоненько скулить.

Дверь приоткрывается, высовывает голову какая-то баба, без возраста, просто баба, и говорит: "Чего орешь? Иди что ли! Иди!"

Я не понимаю, гонят меня или, наоборот, приглашают, но послушно иду за бабой и оказываюсь в комнате и сразу же пугаюсь: на столе, сложив руки на груди, лежит покойник-мужик, бородатый и спокойный, а в руках у него зажата свечка. А по бороде и по лицу прямо ползут белые крупные вши. Но вши с мертвых, я знаю, никогда не переползают на живых. Это их вши. А вот покойник меня пугает. Я трясусь.

— Ниче, ниче, — говорит мне баба и, закрыв ладонью глаза, проводит мимо покойника в кухню, сует мне одежду. — На! Это ему ни к чему! Раз пришел, то бери! Грейся!

Меня кормят тошнотиками — блины из мороженого картофеля с примесью очистков, травы, коры и тому подобного. Они сладковатые и отдают гнилью. Но я ем и думаю о покойнике, что сейчас я в его спадающих штанах и в его телогрейке с огромными дырами пойду мимо, и мне заранее страшно. Но баба снова закрывает мне глаза, проводит через комнату и выпихивает на крыльцо.

— Ступай, — говорит она, — помяни, сирота, нас молитвой... Ангел ты мой безгрешный... Не жилец ты на земле-то... Не жилец, ох!

...Я вздрагиваю от стука в дверь и уже явно знаю, что это пришел Сидоров.

Еще я знаю, что он не любит меня и мои появления в этом доме.

А Вера, забитая и тоже вечно больная и несчастная Вера, не может меня защитить, она и голоска за меня не подаст, только вздохнет, отводя глаза.

Вот и теперь уж слышу, с порога ее Сидоров сопит, исподлобья колет меня глазами, и, отодвигая свои миражи и кутаясь в покойников ватник, я пытаюсь встать, а ноги, ноженьки мои деревянные, меня совсем не слушаются.

Вера мне помогает, она ведет меня до дверей, но я-то знаю, что так могут вести и на казнь, и ее поддержка — это не мое спасение, а ее спасение от меня.

Да и что же это как не казнь — выставить меня сейчас в ночь, в мороз, в пустое поле, которое надо пройти, чтобы спастись под платформой в ожидании электрички.

И уже за дверью, приживаясь и заново привыкая к стылону, такому твердому, колом в горле, воздуху, я слышу,

как Сидоров срывается и кричит на Веру: "Ты чево, не знаешь, что ли, что самим худо? У тебя дети не кормлены, у тебя карточки украли, а ты этого жулика закармливаешь? Мало тебя твоя сестра Тонька очистила? Ждешь, когда и этот, да?" Я слышу, Вера что-то говорит, но тихо, тихо так говорит, оправдывается потому, как кругом виноватая, да она и не скажет за меня ничего, это она себя спасает.

А он опять кричит, называя меня жуликом, бандюгой, уркой бездомной, и я решаю, что не приду к ним, возьму и замерзну! Пусть будет им всем хуже!

Но замерзнуть не удастся, и даже лечь на рельсу не удастся, а все потому, что попадается какой-то веселый дядя-железнодорожник.

Откуда уж он, мой спаситель, появился на путях той ночью, Бог его знает.

Но вот железнодорожник смешит меня незамысловатыми историейками, байками из своей одинокой жизни, а потом приводит на стрелку, где у него фанерная будка около проходных поездов, и там он оставляет меня до утра — сам он еще на смене. А утром... О, утром мне уже совсем не хочется умирать!

При дневном свете мороз не кажется таким необоримым, люди — такими жестокими, да еще ходят спасительные электрички. Можно отогреться, подремать, прийти в себя, а потом сойти на любой случайной остановке, чтобы начать новую, после моей проигранной в карты, жизнь.

## ТОРФУШКИ

Баракы торфушек располагались между Вешняками и Косино.

Однажды наш класс привезли сюда собирать лекарственные растения: желтенькие цветочки "куриной слепоты". Я зашел в один из бараков и отыскал свою тетку — это было, кажется впервые, когда я вполне самостоятельно явился к ней домой.

Тетка совсем недавно вышла замуж за дядю Федю, и ей было приятно принять меня в своей собственной комнатке, хотя была она, как я упоминал, — крохотуля даже в сравнении с той, где жили мы.

Тетка ничем тогда меня не угостила, да я не смог бы долго у нее оставаться: торопился вернуться к своим, к Анне Михайловне, которая меня отпустила.

Но, заглядывая уже в будущее, скажу, что я всегда делил дома, куда я ходил, причем ходил не только маленьким, но и взрослым, на две категории: на те дома, где угощают, и на те, где не любят угощать. Вторые я откровенно не любил и старался их избегать.

Так к Вере, где было менее ухожено и более голодно, чем у Поли, я заглядывал куда чаще, пока однажды меня туда вообще не впустили. Не впустили, то есть попросту не открыли дверь, хотя слышались приглушенно голоса малышей, и уж нельзя было подумать, что никого нет дома. Вот тогда я побрел к тетке Поле.

Баракы, где она жила, стояли прямо в поле, далеко от проезжих дорог.

От платформы Косино, тоже неудобной, пустой, бескрышной, надо было долго идти по тропинке вдоль насыпи или прямо по шпалам до арочного моста под железной дорогой, а уж отсюда по утоптанному грейдеру взять вправо километра три и еще с полкилометра по тропке, извилистой и влажной среди болот.

Ночью по такой дороге ходить было опасно из-за всяких блатяг и уроков, и здешние жители предпочитали идти вкруговую — мимо деревеньки Косино и озера, хоть так выходило много дальше.

По странному совпадению та же Московская кольцевая дорога, что при прокладке изничтожила домик Веры, пересекла и эти баракы на отшибе, и мне, проезжающему на электричке, лишь на глазок удастся угадать место, где они тут стояли.

Бараков было несколько, очень длинных, в народе такие насмешливо именуют "лежачими небоскребами".

А в общем-то, если прикинуть плотность населения, то это был целый поселочек со своим особенным укладом жизни: с огородиками под окошечком, с бельем на веревке во весь двор, с лавочками, где вечером устраивались посиделки и звучала надтреснуто гармоника, с пьяной солдатней, которая тут толкалась около молодых торфушек, присланных по разверстке на трудработы из дальних деревень.

Все, что тут случалось: свадьба, разводы, похороны, провожания на фронт и встречи возвращающихся оттуда, пусть инвалидами, как и любовь, и роды, измены и семейные ссоры, и даже самоубийства, — происходило у всех на глазах и при общем участии.

Это я смог увидеть, пережить, когда появился тут вторично осенью сорок третьего; нас, эвакуированных детей, вернули из Сибири и долго держали в старой школе, не зная, куда сбить.

Около школы, на плацу, новобранцы проходили курс молодого бойца, оттуда громко неслись команды.

А мы с сестрой, кажется, единственные никем не востребованные, смотрели из окна и гадали, что же нас теперь ждет. Тогда я вспомнил про тетку Полю. Но адреса ее я не знал.

Нам дали в сопровождение учительницу, собрали в мешочек вещи, их было немного, и привезли в Косино: ищите!

Поплутав среди болотистых тропинок, я вышел к озеру, а потом и к баракам.

В какой-то момент учительница усомнилась, туда ли я иду, уж больно неприглядно выглядело все это, дорога, болота, бараки, возле которых шумели пьяные. Война всех и все переместила, и откуда мне знать, живет ли тут моя тетка вообще. Но тетка, как оказалось, еще тут жила, ее быстренько разыскали. И хоть никакой радости по поводу нашего явления она не выразила, но и то хорошо, что тетка оказалась невыдуманной, как, наверное, полагала учительница, и не понадобилось нас возвращать в пустую школу.

С тем она и укатила, вздыхая облегченно, ей было все равно, что нас дальше ждет.

Тетка жила в маленькой комнатке, но уже другой, не той, что я запомнил с "довойны", но тоже с фанерными перегородками, оклеенными белой бумагой, и небольшим кошечком во двор.

Кровать железная, высокая стояла у окна, столик совсем небольшой — в простенке, тумбочка для продуктов — в углу, а над ней зеркальце в деревянной раме.

Против окна небольшая печурка с двухконфорочной плитой и масса всяких половичков, занавесок, кружевных накидок, которые попали сюда частью после смерти нашей мамы.

В бывшем нашем люберецком доме такие узорчатые белоснежные накидки были везде: на столе, на кровати, на приемнике. Мама была редкая рукодельница и все свободное время дома, пока болела, вязала. Ее вязанье приходили смотреть частенько со стороны. Теперь вот часть ее кружев оказалась у нашей тетки.

Мы с теткой спали на одной кровати втроем, вторая не поместилась бы.

А пол здесь был очень холодный.



Тарелок было две, и ложек две, а еще кастрюлька и чайник из белой жести.

Все говорило о предельно экономном ведении теткой своего крошечного хозяйства.

На нас тут не рассчитывали, это стало ясно на второй же день.

По любому поводу тетка начинала на нас кричать, расходилась, а зачастую ее крики заканчивались слезами, а слезы новым скандалом.

Смягчал обстановку военный дядя, старшина из соседней части.

Немолодой, как мне казалось, лет, наверное, тридцати, обстоятельный, общительный, добрый, он приходил к тетке по вечерам и приносил что-нибудь съестное, полбухарика хлеба, тушенку в банке или шматок сала. Приносил временами выпивку.

Ну, а когда выпивали, в доме воцарялась теплая семейная обстановка, даже тетка размягчалась по отношению к нам, становилась податливой и сентиментальной.

Взрослые пили, иной раз заходили какие-нибудь женщины и громко смеялись. А в печке гудел огонь, разливая счастливое тепло, и казалось, что так можно долго-долго жить.

Да нам с сестренкой и немного было надо: чтобы только не кричали, чтобы не гнали на улицу, особенно же ночью, потому что именно к ночи появлялось такое желание у тетки, которой мы мешали в ее личной жизни.

Бывало, и выгоняли.

И тогда мы жались к стенке в коридоре, торча там часами, и нас забирала и привечала в общежитской комнате, где в ряд выстроились десяток топчанов, наша новая знакомая, Оля.

Именно Оля находила нас в коридоре и без слов затаскивала в общежитие: "Девки, это Полины, там — старшина".

И все всё понимали. Нас пристраивали в уголке на ночевку до тех пор, пока тетка нас не отыскивала и не забирала.

Но я все равно добром вспоминаю того старшину, который временами укрощал строптивую тетку, и тогда нас укладывали в узкую щель за печку, где обычно лежали дрова... Я думаю, что у него были где-то и свои малые ребяташки.

Наутро, когда мы просыпались, обычно старшины уже не было, а тетка всклокоченная, невыспавшаяся, кляня

и это утро, и холод, и всю нескладную свою жизнь, ставила на плиточку чай и начинала причесываться перед зеркалом: у нее были прекрасные густые волосы, да и было ей, сейчас я подсчитываю и удивляюсь, лет двадцать пять — двадцать шесть, не больше.

А мама умерла в тридцать...

Появлялась тетка в обед, в перерыв на работе, наспех грела суп, сердилась, но не так сильно, на то, что не выставили кастрюлю на холод, не протопили печь, не принесли воды, да еще прозевали, когда раздавали по лимиту торф.

Поворчав, она убегала, уже до вечера.

Работа на торфоразработках шла посменно, а смена двенадцать часов. Благо до работы было недалеко, торф тут был кругом, думаю, что и под бараками. А торфяные буровато-красные пирамиды громоздились рядами аж до самой железной дороги, будто стога.

Нищее, исхоладовавшее за войну Подмосковье получало отсюда свои положенные, скромные нормы торфа, похожего на травянистые комки земли.

Но были еще крошки от тех кусков, и эти крошки получали те, кто здесь работал: на месяц около шести ведер! Да ведро — как премию, за перевыполнение плана.

Топить крошками было сущей мукой, оттого и ругалась тетка, что я не любил это делать. Хоть понимал, что надо: выстудит комнату, все промерзнет.

Вот когда наш спаситель-старшина приносил под мышкой полено, а то и два, мы экономно щепили их на крошечные лучинки, а уж с лучинками торф разгорался куда быстрее.

Бывало, что с сумкой я приходил в поле, как бы приносил тетке обед, а на обратном пути ухватывал несколько кусков полноценного торфа.

Все так делали, хотя с воровством в войну шутки были плохи, и уж не раз, не два кого-то судили из бараков за кражу торфа.

Да ведь взрослые-то одно, а мы — другое. С нас и спрос невелик! А раз-другой придешь, с оглядкой наберешь, и вот уже на весь вечер тепла хватает, а то еще и на завтра остается.

Работала тетка на торфокопальной машине и числилась по специальности оператором, почему-то запомнилось это необычное тогда слово.

Стальные зубы-скрепки извлекали из ямы сочную черную грязь, и она, пройдя по каким-то трубам в чреве

машины, выдавливалась из квадратного желобка на подставляемые доски, уже сформированная в длинную сырую плотную массу.

Тетка резким нажатием ноги на рычаг открывала и закрывала заслонку, чтобы выдать на доску очередную лепешку торфа, но еще успевала поговорить со мной и прикрикнуть на зазевавшихся торфушек, очень тут похожих друг на друга: все в одинаково темных платочках, повязанных, как это делают на уборке хлеба, по самые глаза, в ватниках и в резиновых сапогах.

А у тетки модные сапожки, перешитые из солдатских, — подарок старшины!

Торфушки грузят торф на тачки и по склизким доскам, утопающим в болотной жиже, везут тачки к пирамидам, где другие женщины вручную, будто из кирпича строят дома, выкладывают стены из брикетов рядами для просушки.

Однажды я попросил тетку разрешить мне поработать на ее месте. Она засмеялась, сказала: "Ну, попробуй!"

Я сел на железный стульчик, нажал на рычаг, но он не поддался. Я нажал посильнее. Рычаг на миг приоткрыл заслонку и тут же обратным ходом ударил меня по ступне так, что я охнул от боли и схватился за ногу. "Чертова машина!"

Но я уже по-иному взглянул на работу тетки, хоть была она все-таки легче, чем возить по чавкающей жиже тачки.

Кстати, вспомнил, что одной из самых популярных довоенных игрушек была маленькая деревянная тачечка! Вон с каких пор нас готовили строить каналы!

Каждое время создает свои игрушки!

Но вот что меня поражало: я не видел, чтобы торфушки злились, чтобы они ныли, жаловались.

Если уж их доводили до отчаяния, то они матерились: долго и выразительно, крепче мужиков. И лишь оглянувшись и заметив меня, они укрощали свою ругань, но вовсе не тушевались. Оставляя недосказанное на потом.

Как-то раз одна из них, встав перед торфокопальной машиной и тормозя общее движение, вдруг громко сказала:

— Ох, де-о-ньки... Мозоль набила... Набила, де-о-ньки, ох, на таком месте... Мой-то се-дни придет, скажет, как на фронте, "ложись!", а я ему отвечу. Отвечу-у, их, не могу, отвечу, повернуться-то этой стороной, как ты лубишь... Уж ты луби, кажу, как я способна... Мозолик, кажу там... Ох!

Бабы, побросав тачки, хохочут и визжат, и тетка моя посмеивается, и даже я улыбаюсь во весь рот, будто что-то понимаю про тот мозолик, про который кричит эта рослая торфушка, крупная, как лошадка, с широким щекастым лицом и пронзительным голосом.

Она же любит орать похабные частушки, такие, например:

Милый зять, милый зять,  
Не хватай за зад,  
А хватай за перед:  
Скорее разберет!

Часто приходя сюда, я уже различаю торфушек по именам, но особенно я жду мою Олю, ту, что меня жалеет, подбирает меня в коридоре и тихо спрашивает об отце.

Оля маленькая, хрупкая, одни глазищи на лице, как сверкнет из-под платка, будто молнией черной ослепит.

Тетка у меня тоже красивая, это я слышу от многих. Но у Оли особенная красота, молчаливая, скрытая: не для других, для себя.

И я толкусь около теткиной машины со своей сумкой, где уже спрятаны три куска торфа, и жду, жду Олю.

Тетка равно догадывается о моей симпатии, она, приподнявшись, кричит на весь карьер: "Ольга. Катись сюда, твой жаних заждался!"

Но Оля не отвечает на такие шутки, она лишь кивнет и на ходу, не отрываясь от тачки, спросит: "Как ты? Папа пишет? А ты не голоден? Ну и хорошо... Приходи!"

Разговаривает она со мной как взрослая, а всего-то лет на пять старше меня. И все знают, что есть у нее обожаемый, молодой солдатик-грузин с короткими усиками, и встречаются они обычно за титаном.

Но это вечером, когда торфушки, отработав свое, от темноты до темноты, возвращаются в барак, и длинный коридор оживает, начинается другая, не менее энергичная жизнь, с заботами о дровах, о кипятке, о магазине, где что-то, по слухам, отоваривали, о детях, конечно.

Нас в такое время невозможно загнать домой. Нам сладко потереться около взрослых, которые толпятся, покуривая махру, у дверей, рассказывают всякие истории или анекдоты и ждут, когда вынесут гармошку и начнутся танцы.

Это после двенадцати часов работы!

А после танцев, во время которых мы резвимся между парами по крошечному, утопанному во дворике пятакчу,

мы с особенным удовольствием подсматриваем за солдатами, как они обжимают по углам наших бойких торфушек, а те громко визжат...

Только Оля, моя Оля, ни с кем никогда не обжимается, а со своим грузинским солдатиком молча стоит за титаном.

Они стоят и смотрят друг на друга весь вечер.

Весь мой вечер! Потому что я прохожу мимо титана сто раз с видом безразличным, иду себе и иду, будто по каким-то делам, и все жду, что Оля меня окликнет и бросит наконец своего глупого солдатика, поняв, что я один ее люблю.

Сердце мое болезненно сжимается, и я ожесточенно решаю, когда вырасту, я приду сюда за титан, рослый и красивый, и скажу... Все скажу!

Через месяц тетка отвозит нас в детдом, это не очень далеко. И она говорит мне и говорит сестренке, что это недалеко и мы сможем по праздникам к ней приезжать.

Тетка произносит это не очень уверенно, но мне хочется думать, что мы еще кому-то нужны: и тетке нужны, и Оле, которая тут, в бараках, остается, мы тоже нужны.

"Приеду, конечно же, приеду!" — думаю я с отчаянием. Потому что знаю, что нас ждет там, в детдоме.

...А потом однажды, зимой, когда меня не пустили к Вере и когда я понял, что никогда уже не пустят, я появился здесь, в бараке.

Оборванный, грязный. И пришел-то я не столько из-за тетки, сколько из-за Оли. Мне хотелось, чтобы кто-то посадил меня в уголок и стал расспрашивать о жизни, о здоровье, об отце. Нет, вовсе не кормежка, а слова о сочувствии были мне тогда нужны, чтобы выжить.

Тетка осмотрела мою одежду и, найдя вшей, тут же меня раздела, и стала бить их; брызги летели в лицо, но вши не кончались. Тогда она, разозлившись, начала трясти над плитой шов за швом, и видно было, как опадают насекомые жирными белыми гроздьями и вспыхивают золотыми искорками на раскаленной плите.

Тетка поджаривала мою одежду, а сама вела разговор с соседкой, забежавшей по случаю к ней: а я сидел голяком на кровати, накинув на плечи одеяло.

А тетка сказала:

— Слышала, что случилось-то? Они, видать, подкараулили ее, это было на перегоне, ну, выбросили в двери... На ходу! А нашли тело уже возле арки, под насыпью, так она, бедненькая, побилась, что узнать нельзя!

— А кто? Кто это мог? — спросила соседка.

— Разве узнаешь! — сказала тетка. — Она вон какая молчальница, даром что мужиков к ней как на мед тянуло! Да ведь она всем одно и то же, от ворот поворот, и весь сказ! А мы ее предупреждали... Ох, Ольга, смотри, подкараулят они тебя, зарежут где-нибудь! Мужики — звери, когда поперек их ходят-то!

Вот когда я понял, что разговор-то шел о моей Оле.

Я уж как-то не засек, когда тетка закончила жарить вшей, одела меня и ловко выдворила на улицу.

Я шел по пустынной, по ледяной дороге к станции и плакал об Оле, и слезы намерзали тяжелыми комьями на веках. О себе так я никогда не плакал.

И хоть было по тем временам это вовсе не редкость, что выбрасывали кого-то на ходу из поезда, но неизвестные жертвы одно, а Ольга — совсем другое.

Она была не из нашего мира, а из какого-то своего, и ее мир не был таким угорелым, от вечной нужды, бесшабашности, от вина и страха, что жизнь пришла к концу и надо от нее хватать что попало, любые крохи. Ангел, залетевший ненароком в наш край, на торфоразработки, она, конечно, как сегодня я понимаю, была обречена.

Я пытаюсь представить: это было, наверное, страшно — прыгнуть в черное гудящее пространство за дверями электрички. Но если от нее потребовали что-то, что она не могла себе разрешить, то она могла прыгнуть и сама. Я один знал, догадывался, какова она на самом деле.

"Маленькая да удаленькая", — сказали про нее как-то, я слышал, солдаты у барака. Не удаленькая, и даже не удалая, и никак не смелая, и не отчаянная, хотя все это, возможно, было в ней. Главное, что я почувствовал в ней сразу и в чем до сих пор уверен, была ее чистота. Потому и глаза казались строгими, чуть грустными, что не могла она жить иначе, так, как все вокруг нее жили, по расхожей формуле — война спишет. Как жила, скажем, моя тетка, у которой муж, дядя Федя, воевал в это время на фронте.

И Олю убили.

А грузинский юноша, солдатик с остренькими усиками, был отправлен вскоре на фронт. И если он остался жив, и если вернулся к себе на родину, то уже сейчас немолод и окружен семейством, заботами о внуках и, попивая в саду темно-красное вино "Изабелла", смотрит по вечерам на краснощекие горы, спокойно их созерцая и наслаждаясь мирной тишиной.

Вспоминает ли он холодный военный октябрь в Подмосковье и строгую девушку, глядящую прямо перед собой?

Может, и не вспоминает.

Это я вспоминаю.

Это я люблю эту девушку. И я, тихо, про себя, по временам плачу о ее и моей загубленной жизни.

История же дальше такова: после войны, когда вернулся мой отец и узнал, что тетка выпроводила нас в детдом, а все его фронтовые посылки забрала себе, он перестал с ней общаться, как отрезал.

Но и нам, уже послевоенным и потому забывчивым и беспечным подросткам, было запрещено ездить в Косино, да мы туда особенно и не стремились. В то время мы жили в Ухтомской и частенько летом ходили купаться на Косинское озеро.

Там однажды моя сестренка и повстречала тетку Полю, но какая это была встреча!

Тетку вдруг в зрелом возрасте разбило полиомиелитом, болезнью детской, — странный необъяснимый случай, — вывернуло набок лицо, и тетка восприняла это как наказание за ее грехи перед нами.

Встретив на тропинке мою сестру, тетка упала на колени и стала умолять простить. Она билась в пыли, повторяя: "Людочка, я виновата! Прости! Прости! Тогда и ваша мать меня простит! Она одна знает, ей видно с того света, как я перед вами виновата!"

После этого случая, как мы слышали, все следы болезни у тетки пропали, и обезображенное лицо восстановилось, а потом тетка умерла. Но это уже случилось не так давно, я, честно говоря, больше ее никогда не видел. Она лежит на том же кладбище в Люберцах неподалеку от станции, где и моя бедная мама, чью могилу мы за время войны и бродяжничества потеряли.

Мы ухаживаем за чужой могилой, но предположительно в том районе, где она была похоронена.

Думаю, там же похоронен и брат мамы, дядя Миша, мой Папанька!

В ту памятную осень сорок первого они вдвоем с отцом сколотили маме гроб, и я сидел на телеге, отец правил, а дядя Миша нес на голове крышку от гроба: от нас до кладбища было железную дорогу — Рязанку — пересечь.

Сам же дядя Миша замерз в пьяном виде зимой сорок второго, ему ампутировали руки и ноги, и он в страшных муках в больнице скончался.

Тоня, первая его дочь, в военные годы оказалась в шайке, обокрала Веру и скрывалась, а потом и вовсе сгинула.

Вторая дочь Нина, младшая, еще приезжала, году так в сорок восьмом, раз-другой к нам в Ухтомскую из ремеслухи своей, отец попросил ее помочь с огородом. А потом до нас дошло, что она покончила с собой, было ей лет шестнадцать.

Вера перенесла рак горла, живет она в Люберцах, но и ее я не видел много лет.

Но вот когда я прихожу к моей маме на кладбище, вижу там иногда цветы.

Сестренка говорит: "Это Вера. Она навещает Полю и заходит к нам. Это ее цветы".

Жив и дядя Федя, муж моей тетки, говорят, он постарел и после смерти тетки живет один.

Их дочка, его и тети Поли, тоже, кстати, Поля, родившаяся после войны, имеет свою семью.

Иногда они встречаются с моей сестренкой, вспоминают тетку.

## МОЙ РОДНОЙ, МОЙ ЯБЛОНЕВЫЙ САД

От платформы Косино до Ухтомской электричке не разогнаться. Она лишь успевает набрать скорость и тут же ее гасит, со скрежетом, с шипеньем тормозит. Говорят, прежде эта станция называлась Подосинки.

А я приникаю к окну, разглядываю ряд одноэтажных дачных домиков по левой стороне за деревьями и заборами, вытянувшимися вдоль Рязанки, изредка рассеченные поперечными широкими улицами.

На одной из них, а именно на улице Сталина, теперь она зовется 8 Марта, еще жив, еще существует наш старенький послевоенный домик. Но его отсюда, из окна вагона не увидеть.

Он и тогда был не нов, когда мы переехали в него весной сорок седьмого года.

Я говорю — домик, но мы заняли лишь часть его, ибо в неведомые еще времена он был поделен между двумя хозяевами, и одна часть, меньшая, досталась тем, на место



которых мы потом въехали, а другая, большая, была занята многочисленным семейством Макаровых: вдовой погибшего на фронте и тремя детьми.

Наша половина состояла из одной, но просторной комнаты семнадцати метров и темной, забитой рухлядью прихожей. Была и терраса, развалившаяся, без окон и без пола, лишь столбики, подпирающие крышу, — отец ее потом достроил.

Перед домом небольшой участок, четыре сотки, узкий, как коридор. Но из-за него, как потом выяснилось, отец и согласился на это жилье без удобств, он очень хотел иметь землю.

Отопление печное (попробуй-ка в те времена достать торфа!), вода в колонке на улице, а туалет в конце огорода, у самой калитки в углу, сколоченный из фанеры.

И все-таки я добром вспоминаю этот первый в жизни нашей семьи свой дом, свое гнездо; я благодарен отцу за такой выбор, хотя помню, что были у него варианты и другие, предлагали, например, коммуналку в одном из небольших домов в самих Люберцах.

Вот я написал: первый в жизни нашей семьи свой дом, и это правда.

Потому, что тот дом, где я родился в Куракинском переулке на краю Люберец, был не наш дом, мы в нем снимали комнату.

Но разве он был от этого хуже? Ведь я в нем родился, в нем прошло мое детство, именно там я стал осознавать самого себя.

Да все: и первые дружки, и первая любовь, Манечка, из соседнего дома, и первое соприкосновение с реальным миром прошло в нем... Самая тяжкая потеря в жизни, которой я тогда не смог еще понять — смерть мамы, — была там, там! в Куракинском!

Но Люберцы у нашей электрички впереди.

Мое странное движение происходит от периферии к центру, от максимума к минимуму, где нулевой точкой отсчета можно считать мой дом в Куракинском переулке, а нулевой точкой времени — мое рождение.

Если б можно было представить это изображенным в кино, получился бы антифильм, построенный на антилогике: движение против времени, против течения, против, кажется, самого себя!

Не тем ли, кстати, мы и занимаемся всю жизнь.

В какой-то древнеиндийской книге я прочитал, что человек, спустившись после смерти под землю, предстает

перед зеркалом Кармы и видит свою жизнь, все добро и зло, что он совершил, а жизнь эта предстает перед ним в виде ленты ярко вспыхивающих картин от зрелого возраста к прошлому. От смерти к рождению, к нулю, к зачатию.

Возвращение на круги своя.

На расхлябанном грузовичке мы привозим свой немногочисленный скарб: довоенный раскладной дубовый стол, старый диван, железную койку и беккеровские настенные часы, исполненные в виде башенки, с белым эмалевым кружочком маятника и с двумя дырочками на таком же циферблате для завода пружины.

Ни книг, никакой посуды или семейных ценностей у нас, ясное дело, нет.

Но я забыл назвать шкаф, довоенный, со стеклышками в левой половине, предполагаемый, по-видимому, для посуды, и темно-синий квадратный радиоприемник СИ-235, это был один из первых ламповых советских приемников, он провалился где-то в войну, когда строгонастрого полагалось приемники сдавать, и теперь, возрожденный, светился крошечным своим окошечком, в котором на вращающейся круглой ленте появлялись цифирки, и оттуда, как мне тогда казалось, исходил живой человеческий голос!

Все это было погружено в грузовик, и лишь часы, главную нашу ценность, я придерживал рукой, когда машину подбрасывало на ухабах.

— Стой! Стой! — крикнул отец шоферу и прямо из кузова указал на темный домик в глубине за соснами; забора, как и у всех в ту послевоенную пору, еще не было. — Ви-ишь? Наш! Дом!

По участку, на котором, кроме бурьяна, ничего не росло, мимо разрушенного сруба колодца с сохранившимся воротом, мимо разобранной, как потом выяснилось, соседями на дрова террасы мы шагнули с отцом в пахнущую сырым погребом прихожую, а из нее через высокий порог — в комнату.

После нашей люберецкой каморки она показалась нам огромной, эта семнадцатиметровая комната, я помню ее наизусть.

Слева у дверей печка, справа широкое окно, упирающееся в стену соседского сарая, метрах в пяти, напротив входа в конце комнаты, еще дверь, забитая, ведущая на не существующую пока террасу.

— Дворец! — воскликнул возбужденно отец и посмотрел на меня, предугадывая мое восторженное настроение. — То-ля! Ведь дворец же! А?

И я растерянно кивал, озирая новое непривычное жилище.

Мне было в ту пору пятнадцать с половиной, я уже работал, я видывал всякие дома: детдома в казенных строениях, избы, пересылки, развалюхи, где приходилось ночевать, разрушенные войной вокзалы, мазанки, оставленные населением и еще никем не занятые, школьные классы, где временно нас размещали, теплушки около станций, даже армянские склепы, где скрывались мы, беспризорные, от дождя и милиции.

Но это было новое, неиспытанное чувство, обретение дома, то есть места, где у нас, у меня и сестренки, которая проживала этот год в лесной дальней школе, будет свой собственный угол и семья.

Оттого-то дом не показался мне дворцом. Да и что такое дворец? Нечто музейное, казенное, в нем нельзя жить.

А настоящий дом — это логово, как та родная ямка, которую я вырыл однажды около неведомой станции, вырыл руками и сидел, согнувшись, и сосал кусочек жмыха.

Меня оттуда, как улитку из раковины, доставали, выкопывали, а я одичавший, забывший свой собственный голос и даже не помнящий уже, кто я такой, лишь мычал и кусался, потому что я боролся, как мне тогда казалось, за свою ямку, за свое единственное в жизни убежище, то есть Дом.

Но первое чувство обретения Дома влекло за собой и другие чудеса. Такие, как посадка первого в моей жизни сада.

Отец привез саженцы и прикопал их в уголке участка, издали они походили на хворост для растопки.

Потом мы разметили лопатой участок и вырыли семь лунок слева от тропки и семь лунок справа. Плотновато, но нам хотелось, чтобы всем саженцам хватило места.

Я держал крохотные деревца за ствол, на них еще были остатки желтых листьев, а отец швырял лопатой землю и трамбовал ее ногой. На каждом стволике была привязана фанерная бирочка с названием, начертанным химическими чернилами, как волнуяще все эти названия звучали: "Папировка"! "Пепин шафранный"! "Штрефлинг"! "Бельфлер-китайка"! "Шестисотграммовка"!

Мы тут же на листе бумаги составили план посадок, обозначив кружочками яблони, а еще в углу — смородину,

а за спиной чужого сарая, рядом с нашим домом — малину, а потом еще и несколько груш.

Этот план мы свято сохраняли все годы, заложенным в книгу, которая была для меня в те времена как Библия, она называлась "Плодово-садовые и ягодные растения".

Но я и наизусть помнил, где что у нас растет!

Когда деревья подросли, они вовсе не совпали с теми названиями, что были на плане. Но это ли главное! Мало ли чего у нас не совпало в жизни между начертаниями и реальностью! По Хрущеву, наше поколение должно давно уже жить при коммунизме!

Когда я сажал, я верил в свой сад, я мечтал о нем, как может только мечтать подросток, для которого сад вдруг стал самой главной целью. Как символ того реального будущего, которое я смог создать для самого себя и своими руками.

Помню, мы с отцом тогда впервые затопили нашу печку, сварили нашу картошку и на нашем столе устроили вдвоем пир.

Кажется, впервые после встречи с отцом мы сидели вдвоем, обычно отец по вечерам пропадал у знакомых женщин.

Оттого, что мы посадили сад, и оттого, что мы наконец вместе, более того, на равных, как двое мужчин, сидели около бутылки и пили из кружек по сто граммов холодноватую и зеленоватую, внушающую мне отвращение водку, я захмелел и стал и робким, и улыбчивым, и добрым. Много ли мне надо-то было! Лишь вечерок посидеть да поговорить с отцом! Я и на противную водку был согласен!

Вот какой светлый, редкостный был этот вечер. И третье чудо — я до сих пор помню радостное чувство обретения вдруг семьи.

Пьяненько посмеиваясь надо мной, что такой я слабак, что быстро захмелел, отец громко, возбуждаясь от собственных планов, говорил, будто докладывал, о том, что сад лишь начало, а каких чудес мы еще тут с ним поделаем! Ого-го!

Мы построим террасу, а еще верандочку в саду, он видел такие в Европе! Мы заасфальтируем дорожку, мы сделаем загончик для всякой живности, которую разведем!

— Поросеночка! Поросеночка купим, он, молочный, на рынке-то за сотни полторы выйдет, а вырастет во... Боров! Сала на год!

Я кивал, обласканный равным со мной отцовским разговором.

— Два пуда... Конечно!

— Кур! — вскрикивал отец и уже наливал себе, а мне не наливал. — А может, гусей или индюшек? А? У индюшек мясо сладкое... Вот наша помещица в Белом Холме индюшек держала... А?

— Индюшек...

— И потом собачка нужна! Маленькая, чтобы не трагиться на корм, но злая... Маленькие, они всегда злые, учти!

— Да, собачка, пап...

В отце проявился мужик, соскучившийся по земле. Это было понятно. Не напрасно, видать, придя с фронта, корпел он на должности вовсе не своей, на домоуправской, как последний писаришка, выжидая звездного часа. Бумаги, кучи бумаг, каких-то справок, актов. Занюханная контора в полуподвале на улице Смирновской, в Люберцах, заляпанные чернилами столы и вечные посетители, печати, ручки, справки...

А все ради этого счастливого мира возрождения: домика, сада, семьи.

Отец, еще поддав, тыкал пальцем в книгу, где на сереньких страницах были нарисованы плодовые деревья и кусты:

— "Папировка"! Во — читай!

Я отыскивал страницу с названием "папировка" и начинал медленно, со вкусом читать: "Это летний сорт яблони, созревает обычно в конце июля, начале августа. На одном дереве в пору зрелости может быть до полутора-двух центнеров спелых плодов".

— Два центнера! — кричал отец, привставая и заглядывая в книжку. — Эх, варенья наварим... А то и компота засушим... ви-та-мин! Но ты читай! Читай!

И я читал про "пепин шафранный" и про "штрефлинг", и про "бельфлер-китайку", которая нам особенно почему-то нравилась. И про малину, и про крыжовник, и это были золотые часы нашей начинавшейся семьи, которая так и не состоялась.

Но я тогда еще верил (как верил!), что скоро, совсем скоро станет тут широкий, раскидистый, листоголовый, заложенный в доброе время сад!

Году в восьмидесятом сестренка переезжала в новую квартиру, она позвала меня, чтобы я посмотрел в сарае

бумаги, и там, кроме писем, я наткнулся на план нашего сада, набросанный в далекий осенний день сорок седьмого года.

На плане были начертаны четырнадцать кружочков, по семь в ряд, тропинка между ними, крыжовник у края участка и малина за сараем.

Но вместе с этим листком попал еще один, с изображением собаки. Нарисована собака карандашом. И хоть нарисована неумело, но узнать можно, что это собака и что она не сидит, а лежит, раскинув уши и закрыв глаза: лапки разбросаны в стороны, пасть открыта.

Вспомнил — Джек! Это был мой первый в жизни щенок, Джек, отец почему-то прибавлял — Сидорыч. Это когда он выпивал и был покладист, добродушен.

А вообще-то сад посадили, а отец пропал, надолго пропал, а я остался один в холодном пустом доме.

По утрам через наш участок проходили школьники, так им удобно было сокращать в школу дорогу, и уже через месяц наши яблоньки все до одной были обломаны. Я поднимался на работу раненько, в шестом часу, но в те времена, когда я болел, я выходил в сад и вставал поперек потока, поперек тропы в школу.

Они шли группами и поэтому были сильнее меня. И когда я просил их: "Ребята, не трогайте! Это же саженцы! И это же "папировка"! Это же "штрефлинг"! И "бельфлер-китайка"! Они смеялись, оглядываясь на меня, как на дурачка, и ломали на моих глазах хрупкие ветки. Они бы и остальное повывергивали, но земля была промерзшей и не поддавалась.

Сад пропал, погиб.

Но я тогда еще во многое верил.

И когда весной крошечные обломки вдруг зазеленели и пошли в стебель, я возродился, я понял, что сад не убит и что будут у нас в семье яблоки на варенье и на компот.

Сад — это единственное, что у меня тогда было. Работа за сорок километров не в счет. Сестренка уже как бы существовала не в моей, а чужой жизни, я не видел ее годами, у нее были свои интересы, как и у отца.

А у меня не было во всей Ухтомской ни одного приятеля, ни одной близкой души.

Кроме... сада. Да и то насмерть израненного.

Однажды я вышел на улицу и пошел искать себе друга. Я обошел весь поселок, побывал около заброшенного пруда, около пивнушки, где толпилась пьяненькая добродушная публика, и в тот грустный день кто-то ударил меня

пивной кружкой по голове. Я заплакал и ушел. Даже пожаловаться было некому.

Когда я возвращался к себе домой, хотя это уже не был дом, а было просто пустое помещение, где я, согнувшись на диванчике, прямо в валенках и пальто спал, не имея сил разжечь печку, я увидел Джека. Он сидел неподалеку от сарая и будто меня ждал. Он сам пришел и нашел меня. И так мы стали жить вдвоем.

Ну, а дальше вот что случилось. Отец, появившийся, как всегда, неожиданно и пьяный, вытолкал щенка на холод и приказал настрого держать его во дворе.

— Собака должна быть собакой! — сказал он.

Я видел, как мерзнет мой дружок, как он просится ко мне, поскуливая у окна. Он был крохотный еще, но вполне сообразительный, и стоило мне его позвать через форточку, он бежал к дверям, понимая, что я появлюсь именно там.

А потом его пришибли, ударив ногой в живот. Ударить могли и школьники, хотя Джек еще не умел на них лаять, он едва подтякивал, убить по пьянке мог и сам отец.

И когда Джек издох, я остался опять один.

Вот тогда я взял лист бумаги и нарисовал Джека, желая сохранить о нем память. Я не только сделал карандашный набросок, но и описал его внешность, и на листе внизу стояло: "Шерсть рыжеватая, носик черный, а брюшко белое, а ушки в черных обводках".

Я закопал Джека в снегу, а когда наступила весна, перенес крошечный посеревший трупик под вишню, расстраиваясь, что он прожил свои четыре месяца в самые что ни на есть холода; он родился зимой и умер зимой, не узнав, что такое летнее тепло.

С чувством странным я рассматривал наивный рисунок с Джеком и этот, на удивление сохранившийся, план моего будущего сада. Наверное, они много для меня значили, вот и сохранились, и долежали вместе до сих пор.

Сразу вспомнились все мои садовые страдания, ведь осенью опять пошли школьники, протоптав первую тропку через мой, возрожденный мной сад. И тогда я поставил крошечный заборчик на их тропке. Из каких-то, не помню каких, прутиков, жердочек я соорудил, конечно, загородку, но ее тут же раскидали. Тогда я воткнул железки, принесенные со свалки, и железки тоже разнесли.

Я боролся, как мог, за свой сад, хотя знал, что моя борьба бессмысленна. Мне ли, детдомовцу, не знать, ка-

кая это неуправляемая разрушительная сила: ребятня, дети, орда детей, прущих напролом там, где она не привыкла встречать сопротивления.

Они меня даже ни разу не избили! Они шли сквозь меня, как сквозь мой участок, не обращая внимания. И опять от сада остались лишь торчащие из мерзлой земли кончики палок... Слава Богу, их закрыло снегом.

Однажды появился отец — трезвый, почти трезвый. Озираясь и будто бы не узнавая собственного участка, он прошел домой и спросил недоуменно, но добродушно: "А где же сад?"

Я ему не ответил.

В тот вечер он не пропал из дома, а достал пол-литру, потом растопил печь, много дней нетопленную, и, удивляясь, как это я сплю в валенках и пальто, заставил все с себя снять.

— Конец грязной жизни, — сказал он, наливая в кружки зелье. — Мы будем жить иначе... То-лик! Теперь-то заживем!

Я не хотел пить его отраву, а на отца смотрел с недоверием: сейчас напьется и уйдет! Как же он может не уйти, если всегда уходил! Всегда!

Нет, было однажды, когда я вернулся с работы, а в доме сверкали лампы, зажженные повсюду, и сидела какая-то женщина. Сперва я даже обрадовался: обычно, возвращаясь домой и завернув на нашу улицу, сразу угадывал наши окна, и обычно они были темны. Холодная чернота проникала в мое сердце, и каждый раз с отчаянием я понимал, что лучше бы мне сюда не возвращаться совсем. Приду, в доме заледенело, а печку растопить сил нет, да и дров нет, и, натянув на себя матрац с головой, я, голодный, забывался до пяти утра. В пять — на работу.

Так вот, был день, когда я увидел, что окна сверкали по-праздничному, и помню, что побежал, спотыкаясь в темноте, на их теплый зов.

Но отец не пригласил меня в комнату, где они сидели вдвоем с этой женщиной. Я тогда расположился в прихожей и стал стучать молотком. Они там смеялись, выпивали, а я все стучал, будто забивал гвозди. Отец вышел, спросил: "Чего стучишь?" "Ничего", — сказал я, а сам продолжал стучать.

Глупо, конечно, что я так протестовал, теперь-то я понимаю.



На этот раз отец никуда не торопился.

И я хватил из кружки и растаял, и напряжение мое, и жесточенность моя пропали, растворились в горячем чувстве благодарности к отцу за то, что он вдруг появился! Что он не торопится!

А я был ласков, как мой щенок Джек: если даже меня окликали через форточку, я с готовностью бежал к двери.

— Вот, мачеха, — говорил отец и смотрел на меня, будто испытывая свои слова, каковы они на слух и как я их восприму. — Баба что надо... Молодая, ребенок свой, но это лучше. Горячей держаться будет... А тебе к рождению аккордеон! А?

И я, задохнувшись от неожиданности, только кивал счастливо, потому что я любил отца в эту минуту и боготворил его. Его, который разжег печку, избавил меня от ночевки в ледяной комнате да еще сам предлагал мне аккордеон!

Да мне ничего никогда вообще не дарили!

Не было у меня рождений, и вряд ли я догадывался, что они должны быть.

Я вдруг понял — это все женщина, которая где-то существует. Это она незримо повлияла на отца и на его приход, и даже на мой день рождения!

А отец уже разошелся, его понесло, понесло.

— Купим свинью! — кричал он, и я согласно кивал. — И курей заведем. А сад... Не унывай! Я забор поставлю! Я веранду построю! Где план? Ты не потерял наш план? Нашего сада?

И когда я извлек бумагу из очень оберегаемой мной книги о садово-плодовых растениях, он заставил меня вслух прочесть про все яблони, про их урожаи, про вкус плодов, а потом он заплакал. Он бормотал, что сад у нас будет... "Дай, Толик, срок... Аккордеон и сад... И веранда в саду... Все, все будет". Он плакал, и я тогда тоже заплакал, мы плакали вместе, и было нам так хорошо.

Бывая временами у сестренки, это еще до ее переезда в новый дом, я прохожу через сад, крупноствольный, еще крепкий, несмотря на возраст, еще густо-зеленый, под деревьями на земле белеет падалица.

Хотелось бы, не скрою, подобрать да попробовать хоть одно яблоко, да мне теперь уже трудно на глазок определить, где здесь и чьи деревья, какие из них принадлежат сестренке, а какие соседу Васе, который переехал на место мачехи, после того, как она развелась с отцом.

Вся этот, кстати, недавно спился и умер.

Но еще до развода отец, практически в одиночку, подновил дом, выкопал подвал (его тоже потом поделили), поставил крепкий забор, и сарай поставил, и колодец починил, и террасу заново отстроил, единственно, что не достал цветных стекол для витража. Но и так было совсем неплохо.

А перед домом, в саду, возникло волей отца странное сооружение, которое мы стали называть "шестигранник".

Этакая ротонда со скамеечками по кругу и столиком посередине, крашенная в ярко-голубой цвет.

Предполагалось, что по вечерам, а может, по воскресеньям мы будем там собираться всей семьей и пить из самовара чай.

Недавно я наткнулся на фотографию, где я, лет шестнадцати, стою около яблоньки, склонив голову: этакий начинающий мичуринец-садовод, озабоченный неустанной заботой о плодово-садовом участке! Хоть карточка любительская, но можно увидеть, что я там худой, тщедушный и не очень-то счастливый подросток, плохо одетый, общипанный, как та самая яблонька, возле которой я снят. В общем, из одной породы — дикарок. Это в ту пору отец с мачехой поженились и как-то сразу ушли в свою жизнь, отделились, не успев приблизиться, а я снова остался сам по себе.

Правда, они подарили мне аккордеон, купили по дешевке на Перовском рынке.

Он был настолько плох, что я с трудом мог подбирать на нем всего одну песню — про тонкую рябину.

Она соответствовала моему тогдашнему настроению.

Когда мне становилось тошно, совсем невмочь, я брал в руки этот не приспособленный для игры инструмент и, безрадостно нажимая на перламутровые клавиши, некоторые из них западали, старался выжать из него чужие деревянные звуки.

Я ненавидел свой аккордеон, как временами ненавидел себя.

Мы оба были никчемны. Беззвучны, так, наверное, надо сказать.

Эта моя полная одичалость и моя полная заброшенность подготавливали исподволь какие-то перемены, о которых я сам не подозревал.

Могло произойти самое худшее: мысль о самоубийстве не оставляла меня. А терять, как мне казалось, было уже нечего. Джека Сидорыча не было. Сада не было тоже.

И аккордеон не играл!

Но вдруг, как это произошло, я и не понял, я отложил дурной инструмент (навсегда) и, вырвав из тетради в клеточку лист, написал на нем в столбик карандашом стихи. Начинались они так: "Осень стоит урожайная, хлеб собирают с полей, что ты, березка печальная? С летом прощайся скорей!"

Березка — был я.

Не яблонька, которую я безуспешно пытался возродить, а именно березка, которая росла за пределами нашего забора сама по себе, ничейная, с тонкими шнурами печально опадающих вниз веток.

Вот я и прощался с летом, с домом, с садом своим яблоневым, в котором стоял голубой шестигранник. Никогда, ни разу мы не пили в нем чай, он служил складом для многочисленных бутылок из-под вина.

## НЕГАТИВЫ С ЧЕРДАКА

О Макаровых я вскользь упомянул, это было не из приятнейших соседств, да не мы же их выбирали.

Хозяйкой той половины, что примыкала к нам, была Антонина Ивановна Макарова, бывшая учительница, впрочем, я никогда не слышал о том, чтобы она где-либо работала. Лет ей к моменту нашего приезда в Ухтомку было около пятидесяти.

С ней жила ее старая мать, которую Антонина Ивановна изводила скандалами и в конце концов извела. Однажды я ее встретил возвращающейся из гостей, от таких же, доживающих свой век старух.

Видать, чекалдыкнули бабы по старой памяти четвертинку, и вот уже она едва брела, тыркалась во все стороны, никак не могла понять, куда ей вообще надо идти.

Подхватив ее под локоть, тяжелую, все время оседавшую на землю, я тащил ее до нашей улицы и слушал, как она кляла свою дочь. Как она ненавидела, мне даже не по себе стало от проклятий по ее адресу. Я ничего тогда не запомнил, кроме одного, что та мужа своего загоняла в гроб и, если бы не фронт, загнала бы, и над дочерьми изгаляется. А уж что она творит с матерью, то есть с ней, невозможно описать: морит голодом по неделе, запирает на замок, изуверствует, бьет палкой, топчет ногами ну и прочее, в том же духе.

Я был тогда тихий подросток, подбирал брошенных кошек и собак на улице, и мое жалостливое сердце заболело от такого рассказа старухи. Хоть трудно было всему этому поверить.

Старуха же вскоре умерла.

Но запомнил, когда мы пришли к дверям Макаровых и постучали, вышла Антонина Ивановна и напустилась на нас.

Она кричала, что дурная баба выжила из ума, спилась и лучше бы она сгинула в канаве, чем по ночам беспокоить мирных людей! Да и я хорош, таскаю всякое отребье, будто меня просили об этом. Если уж такой я жалостливый, то и вел бы к себе! Это же надо — удружил, привел старую алкоголичку!

Кроме матери, жили с Антониной Ивановной трое детей: две дочери на выданье и самый младший, сынок Саша. Дочери — Муза и Лия — вскоре вышли замуж и уехали, а Саша, с ним-то мы неплохо общались, остался с матерью, а после ее смерти остался жить в этом доме, завел семью.

Началось же все из-за столба в саду, который соседка перенесла на метр еще до нашего вселения в дом.

А сад у нее был и так втрое больше нашего, это, наверное, разозлило отца.

Он позвал землемеров, соседку "разоблачили", а столб был водворен на старое место, но с тех пор и началась затяжная война между нашими семьями, длившаяся до ухода отца из этого дома и до смерти самой Антонины Ивановны.

Улица, а практически вся Ухтомка, в ту пору небольшой поселочек, принимала участие в этой безнадежной войне и сочувствовала нам: Макарову здесь не любили.

Кличка у нее была "Стенгазета", и еще одна, более соответствующая, — "Щука".

Последнее, наверное, потому, что нижняя челюсть у Антонины Ивановны выпирала вперед.

После смерти ее мужа, профессионального фотографа, осталось много стеклянных негативов и фотоаппарат гармошкой под названием "фотокор". Аппарат она продала, а негативы снесла на чердак, где я их и обнаружил в картонных коробках, сваленными как попало.

Я часами разглядывал эти негативы: странная, чужая, прожитая кем-то жизнь. Все, правда, вывернуто наизнанку, черное на белое, и наоборот, но я быстро приспособил-

ся подкладывать под картинку черную бумагу, и изображение возвращалось.

Я увидел свою Ухтомку еще как подмосковный лесной уголок с полянами и тропинками; я увидел полустаночек, где поезд со старенькими вагонами останавливался дважды в сутки, а еще нашел там маленьких девочек с бантиками и игрушками, так выглядели тогда Лия и Муза, а рядом такая цветущая, такая эффектная женщина — сама Антонина Ивановна.

Я даже залюбовался этой семейной картиной, и вдруг подумалось: значит, была и она человеком, и доброй матерью, и славной женой? И ничего, что сад их на негативах выглядел крошечным, прямо как мой сегодня, сами-то они были добрые люди? Так почему стали по-волчьи жить друг с другом да и со всем остальным миром?

Превратились впрямь в собственные негативы...

Не знаю, не уверен, что это уж такое интересное занятие, повествовать о своих соседях — справа и слева, — но они не только заборами, но и своими мирами подпирали мой собственный мир, влияя, даже как-то деформируя его, вызывая мою собственную острую реакцию на все, что они представляли.

Я о многом не пишу, например, о портном, дяде Васе, который жил через дом, о Томке-кошатнице, которая держала двадцать котов, не пишу даже о нашей собственной кошке Катьке, которую мы числили ведьмой, ибо она понимала все, что мы говорили, и когда в доме не оставалось еды, ненадолго исчезала и тащила в зубах круг колбасы. Нет, я не стану рассказывать о кошке и о многом, что было тогда в Ухтомке, но эти два негатива, двух моих соседей: Антонины Ивановны (слева) и Екатерины Михайловны (справа) — я все-таки нарисую. Ибо теперь они уже часть меня.

Так вот, после смерти мужа на фронте Антонина Ивановна жила на пенсию, получаемую за него, подрабатывая продажей яблок со своего огромного сада, уже к тому времени прилично запущенного. Но деревьев было много, они плодоносили.

В какие-то особенные моменты, когда мне становилось худо, и я торчал около своих поломанных саженцев, обычно появлялась соседка; у нее был удивительный нюх на мое плохое настроение.

Она подзывала меня к забору (я был учтивый юноша и подходил) и, сорвав яблоко с какого-нибудь дерева, начинала о нем рассказывать: как сажали, да где что

брали, и какво оно, яблоко, на вкус... И тут же, при мне, надкусывая крепкими мелкими зубами (истинно Щука, и зубов полный рот — штук сто, как у щуки!), и все яблоко с сочным хрустом она съедала, стараясь при этом, чтобы я не отворачивался, а смотрел бы, пока она ест, и с любопытством сама заглядывала мне в глаза: насколько все это меня проняло, крепко ли достало. Вдоволь ли помучило! И лишь убедившись, что проняло, что достало, что помучило, удовлетворенная убиралась к себе.

Иногда она впрямую провоцировала меня, подсыпав под забор десяток хороших яблок. И если я нечаянно оказывался рядом, жадно прилипала к стеклу, вдруг да возьму! Вот уж и козырь в смертельной борьбе с моим отцом!

И если подобная тайная мысль у меня иной раз и мелькала — схватить яблоко, хоть одно, я не сделал этого ни разу, знал, крепко помнил, что Щука всегда на страже своей собственности, да ей, в общем-то, больше нечего и делать, как затевать всяческие подвохи да ловушки.

Она не то что яблоки, она малину у забора пересчитывала, и однажды, когда у нас соседский мальчик нарвал смородины, она словила его, а смородину, несколько ягод, принесла нам в пакетике с непременным требованием отнести это в милицию. Представляю, что бы она сотворила со мной!

Как-то мне рассказали, что яблоня может завянуть, если ее сфотографировать, глупость, конечно, но я вот так и вредил ей — снялся однажды на фоне ее самой лучшей в белом цвете яблони. Какой же я был тогда простачок!

А вот отца Щука изводила непрерывными заявлениями во все инстанции о том, какой жулик новый сосед, если к нему приезжают машины и что-то все время привозят: дрова, навоз, стройматериалы. При каждом заявлении все это перечислялось, как и номера машин, ни одной не пропустила! Начиная с той самой, на которой мы доставляли в первый день наши вещи.

Отец ради озорства, замазывал номера грязью, а потом из окошка тыкал пальцем в соседку, торчащую у машины, и громко хохотал: "Смотри! Смотри! Вот уж мука! Представляю, какво ей достанется, она же ночи спать не будет, если не запишет номера!"

Я смотрел, и мне почему-то было жалко старуху.

А потом, вслед за отцом, я уехал из этого дома и забыл про Щуку. Забыл, совсем забыл, что она вообще существует.

И вдруг встретил, незадолго до ее смерти.

Заехал по каким-то делам к сестренке, но дорогой машина забарахлила, и я, открыв капот, возился, и вдруг услышал, как надо мной гнусаво произнесли: "Так почему же вы не здороваетесь, молодой человек?"

Я даже не понял, что это обращаются ко мне, какой уж там молодой человек!

Но оглянулся и увидел Антонину Ивановну, стоящую с ведром воды. Ни в чем она не изменилась, разве что волосы стали белей. Она в упор смотрела на меня через круглые, в металлической оправе, очки.

— Вы мне? — спросил я растерянно и тут же услышал: "Вам, вам... Кому же еще! Вот так и воспитывают вас, что не знаете правил вежливости. Думаете, авось проскочит. Не проскочит! Нет!"

— Да я не видел... Простите... Здравствуйте, — сказал я, чувствуя себя неловко, неуютно. И вовсе я не испугался Щуки, меня поразило ее, неожиданное вообще, появление. Ее не было в моей жизни, да и быть уже не могло. И на тебе — объявилась, да все та же. Вечная, что ли!

— Учить вас, учить надо, — произнесла она наставительно, так что я чувствовал себя насквозь виноватым. И, на мое бормотание, повторив: "То-то же!", — она пошла, неся легко ведерко с водой, и походка у нее была как у судьи, который только что совершил свой правый суд, но вдруг оглянулась и даже сделала шаг назад, чтобы лучше увидеть номер моей машины. Запоминала, но зачем?

В тот же день я даже машину плохо вел, никак не мог опомниться от этого дурного наваждения с возникшей из небытия старухой, сошедшей с того негатива.

Что возрастает после нее в ее саду?

По другую сторону от нас, против наших окон, располагался огромный дом другой соседки, ее звали Екатерина Михайловна. Вот с ней мой отец ладил и даже будто бы дружил.

Это была крупная властная женщина, ходящая вразвалочку, обутая всегда, даже летом, в шерстяные носки, у нее, кажется, болели ноги.

В молодости вроде бы слыла она красавицей.

Я запомнил ее историю со слов отца, что была женой средней руки фабриканта, владевшего производством, а может, и торговлей фетровыми шляпами под Москвой. Но после революции, а может, зпла, мужа посадили, сослали, фабрику национализировали, и Екатерина Михай-

ловна быстро выскочила замуж за своего собственного приказчика-армянина, купила на его имя дом в Ухтомке, это был в ту пору глухой пригород, и тихо-мирно прожила тут всю свою жизнь.

Своего второго мужа, которого я знал как дядю Костю, она держала в строгости, он и пикнуть в ее присутствии не мог, будто его и не было. Помалкивал да пил, вот и все его заботы.

Екатерина Михайловна же вершила свои немалые дела единолично, а хозяйство у нее было огромное, а сад еще больше, чем у Макаровых, а в саду том стоял у нее кроме капитального очень солидного дома еще один дом, а потом еще и флигель, и везде размещались какие-то темные жильцы-грузины, реже дачники. Детей от первого брака она рядом не терпела, и они тут почти не появлялись.

Занималась Екатерина Михайловна и перекупкой золота, которое она, по отзывам отца, надежно припрятывала на черный день.

Запомнил же я это потому, что у отца были массивные карманные золотые часы с откидывающейся крышкой, на которой были обозначены готические вензеля. Отец привез часы из Германии и хранил до особого случая, пока не стало нам особенно голодно. Но и в самые трудные времена он доставал их откуда-то из комода, из-под белья — комод и белье казались самыми надежными местами от воров, — и начинал тихонько рассматривать. Щелкал крышкой, которая откидывалась, обнажал белоснежный, с римскими золотыми цифрами циферблат... И я просил: "А мне? Мне дай поддержать!"

Я осторожно из его рук принимаю массивную луковичу, к золотому ободку которой сверху была прикреплена золотая же, в два ряда, диковинной вязки цепочка. Так что отец как бы переливал в мою руку все это бесценное добро и настороженно смотрел, не сводя глаз, как я прикасаюсь, поглаживая узорчатую, с цветочками крышечку, как нажимаю на пружинку и уж когда пытаюсь заводить, отец сразу говорит: "Не крути, ломаешь!" И тут же забирает часы обратно. Он так быстро выдергивает их из моих рук, что цепочка хлещет меня по пальцам.

Осматривает и кладет перед собой — решает.

А я смотрю на них и тоже решаю. Я знаю, что отец не спросит меня, продавать их или нет, но для себя я знаю точно, что продавать их нельзя. Они помогают выживать даже тем, что они есть, вот как я думаю.

Отец задумчиво произносит:



— Золото.

Имея в виду не время. Часы не являются символом времени, хотя сильнее отражают его, чем все остальное. Ибо они отражают нашу проклятую жизнь. Даже когда из экономии мы не заводим пружину. Они живут вместе с нами, а значит, они ходят.

Вот эти часы и перекупила наша соседка. Ей они счастья не принесли и времени жизни не добавили. Сгинула она, сгинули и часы.

Но пока жила, она все допытывалась, нет ли у отца (в комодке под бельем!) чего-то другого подобного и золотого. Дура толстая, подобного ничего и быть не могло. Такие часы были для меня единственными в мире.

Я многое ей бы простил, а часов не простил.

Отец хоть и дружил с ней, но посмеивался над ее жадностью, приговаривая временами:

— Ох, скупа. До чего же она скупа... Ведь на платье себе материи не купит, как кухарка ходит! И мужа оборванцем держит, разве так можно жить? Умрет, с собой не унесет! Не унесет ведь, так я ей и говорю! Не слышит!

И будто накликал — та слегла, в больнице нашли у нее рак.

Отец навещал, а после ее смерти поведал о последних ее часах.

Будто почувствовав, что все кончается, позвала отца, специально запиской позвала и стала жаловаться, что умирает, а ни Костя, ни дети к ней не идут. Только вот и навещает он, мой отец.

Заплакала горестно, а потом успокоилась и, оглядевшись, не слышит ли кто, зашептала горячо, что у нее спрятано, много, так много... А боится она открыться мужу, он все равно пропьет. Если бы она могла доверить Сергею Петровичу... Отцу, значит... Но чтобы он поставил ей памятник, а остальные отдал, куда она скажет.

— Ну, а где спрятано? — сразу спросил отец.

И тут она опомнилась, вновь заплакала еще горше и стала уверять, что не все у нее потеряно, вдруг да подымеется! А если нет, то к разговору она еще вернется, у нее же есть время...

А времени у нее не было. Никакие золотые и самые бриллиантовые часы не могли ей уже помочь.

На другой день отец узнал, придя в больницу, что она той ночью умерла.

После смерти своей тиранической жены дядя Костя пустился во все тяжкие, тут же привел молодую бабу

и начал еще крепче пить. Пил долго, до самой своей смерти. Видно, Екатерина Михайловна догадывалась о характере своего муженька и не верила ему справедливо, как и не ставила ни в грош. Возможно еще, что она что-то знала о его нечистом прошлом, тем и держала его при себе таким молчальником.

С детьми своей жены он рассудился, отдал им один из домов, худший, но земли не отдал ни капельки и вообще вел себя так, что жить с ним рядом они опять не могли.

Несколько раз, я слышал, он приглашал моего отца в гости якобы посидеть, выпить, на самом же деле расспросить под водку, он подозревал, что отец в самом деле знает, где запрятаны женины деньги.

Екатерину Михайловну при этом, налившись водкой, он клял безбожно! Он и сад перекопал, и дом переворошил, и подвал, но все попусту! Крепко свое добро запрятала старуха.

После смерти дяди Кости снова вернулись дети, снова судились, теперь уже между собой, и нам приходилось бывать свидетелями на суде и слышать все, что они думали о матери, об отчине и друг о друге.

Крики и ругань из их сада слышались ежедневно.

И не было покоя этому богатому дому и великолепному саду.

Вымороченные, будто злом зараженные, были дом и сад. Сюда не доносились даже гудки поездов...

## **ФОТОГРАФИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ С ДЕВОЧКОЙ НА КОЛЕНЯХ**

В те времена, когда была жива еще Екатерина Михайловна, во флигеле поселилась на лето семья — молодая женщина с ребенком и престарелой матерью.

Женщина была прекрасна: лет двадцати шести, невысокая, складненькая, с густыми каштановыми волосами, огромными глазами. Ее все в нашей Ухтомке принимали за знаменитую актрису, так она была хороша.

Дочку ее, лет пяти, звали Мариночкой: золотые курчавые волосы и голубые глаза, кукла, а не ребенок. Мама была маленькой, толстой и хромой. Голос у нее был пронзительный, слышный сквозь забор даже в нашем доме.

Чаще всего она кричала по поводу своей беспутной дочери, которая гробит ребенка и живет кое-как, не думая

о будущем. Дочь ей что-то медленно и лениво отвечала, она не умела, как видно, ссориться.

Из этой перебранки можно было узнать, что муж красивой женщины, звали ее Алла, находится где-то на Востоке, будто бы в Китае, и он военный, и что сама Алла живет на его средства, но не умеет жить экономно и вообще ничего не хочет, ничего не может, ничего не любит, даже своей дочки не любит.

Но это — неправда. Дочку она, конечно, по-своему любила.

Еще наезжала к Алле ее приятельница Соня, молодящаяся женщина, за тридцать, быстрая, практичная и немного насмешливая. Я почему-то ее всегда стеснялся, как не стеснялся Аллы или ее мамы. Да мама чаще всего отсутствовала. Поскандалив в очередной раз, она уезжала в Москву, жила там до очередного звонка дочери.

Может, потому я побаивался эту приятельницу Соню, что она первая, и сразу же, разнюхала о моей влюбленности в Аллу.

Да и как не влюбиться, если все так складывалось, что она была рядом, за забором, что она была мягка и ласкова и позволяла с собой разговаривать в любом тоне.

Может, ее покладистость, усталость от жизни я принимал за взаимную доверчивость, почти за ответное чувство.

Теперь-то я понимаю, что ей было тут скучно, одиноко, вот и весь ответ.

А я-то в семнадцать лет готов был для платонической такой любви, я был влюблен в любую женщину, похожую на Аллу, еще до того, как она появилась в нашей глухой Ухтомке!

Моя замкнутость, мое одиночество, моя стеснительность при всей моей навязчивости (но это вроде бы две стороны одного состояния) усиливали, обостряли тайное чувство.

Благо, что Алла была не только прекрасна, но и добра, она как-то сразу приняла, то есть не отвергла мою немного назойливую дружбу.

Познакомились же мы так: она зашла к нам в сад, с Мариночкой, конечно, чтобы попросить воспользоваться нашим садовым душем.

Отец соорудил такой летний душ, взгромоздил на столб бачок, сделал кран, рассеиватель и отгородил закуток клеенкой.

В жару мы наливали в бак воду, она подогревалась на солнышке, и мы купались.

Чуть ли не с первой той встречи Алла стала рассказывать о каком-то Жероме, который якобы должен к ней вот-вот подъехать.

Жером, вероятно, и правда существовал, и она время от времени ходила звонить ему по телефону из станционного автомата.

Кажется, она злилась, что он не едет, но злилась как-то лениво, от скуки, а может, еще потому, что была красивой женщиной и не привыкла долго ждать.

Я же злился на Жерома за то, что он вообще существует в природе, и что он, имеющий такое странное имя, безусловный красавец и шикарный модный мужчина.

Однажды по просьбе Аллы я звонил ему из Москвы и был немного разочарован, услышав пропитой голос с грузинским акцентом, который несколько раз переспросил, от имени кого я звоню, и лишь потом, не сразу вспомнив, сказал: "Да, да... Спасибо. Я пока не знаю... Но я это... Я подожду... Пусть позвонит!"

Я был счастлив от того, что мне не понравился этот голос и что он не оказался голосом шикарного мужчины. Пересказывая ей наш разговор, я ликовал: грузинский дурак Жером явно не торопился к нам, сюда, ехать!

Он так и не приехал в Ухтомку. Спасибо ему! Мне было бы тяжело пережить его приезд.

К Алле я приходил по утрам: перепрыгнув через соседский забор, стучался в окошечко.

Она приоткрывала створки, выглядывала, еще припухшая от долгого сна, но всегда с очень свежим, почти детским лицом.

Прищурив глаза от яркого солнца, она смотрела на меня и будто бы заставляла себя чуть улыбнуться: хоть и разбудил, но ведь пора будить и пора что-то делать из того, что ей очень не хочется.

— Бери Маринку, а я сейчас... — лениво говорила она, улыбаясь одними губами: тоже чуть припухшими, без помады, но такими красными, что я не мог отвести от них глаз. — Я только причешусь... Приведу себя в порядок. Ладно?

Она подавала мне через окно дочку, послушную куколку, строчащую наизусть на ходу какие-то стихи, сама начинала расчесывать чуть потрескивающие гладкие, блестящие на солнце светло-каштановые волосы, отбрасывая их вперед и вовсе уже не замечая, что я еще тут и на нее, влюбленно затаив дыхание, смотрю.

Потом, чуть посмеиваясь над собой, она прыгала в сад через окошко, проникала сквозь дырку к нам на участок и садилась на скамеечку, щурясь на яркое солнце, небо, на зелень и как бы удивляясь, что это все существует.

— Ну, ты завтракал? — спрашивала она меня и, заметив мой, наверное, слишком пристальный взгляд, обращенный на ее полуоткрытую грудь, на ее голые из-под халатика ноги, отворачивалась и нехотя зевала. — Ты хочешь, чтобы мы погуляли? Да?

Я, конечно же, предлагал ей и дочке попить чаю, и она лениво соглашалась, она знала, что я ей предложу.

— А у тебя есть чай? Ну ладно. А хлеб есть? А папа где? Он что, так и не появлялся? А у меня к нему дело...

— Может, я сам что-то сделаю? — мне было приятно играть роль хозяина дома и даже предлагать свои услуги вместо отца.

— Да нет... Нет... — медленно произносила она. — Твой папа обещал нашей хозяйке... Как ее... Екатерине... Да, Екатерине Михайловне привезти для нас керосину. А мне еще лично достать крупы... Мама что-то привозила... Но все кончилось, а она, вот злюка, поругалась, не хочет ехать. А мне не хочется ее звать! Так что же, мы будем пить чай или гулять?

— Да, да! Пить чай! — и я бежал за чаем, и приносил ей и ее дочке, потом я уносил и мыл посуду и все торопился, как в лихорадке, предвкушая, как мы будем сегодня с Аллой гулять!

Но прогулка наша оказывалась снова до станции, к телефону-автомату, где она сперва незло ругалась со своей мамой, потом сплетничала с подругой Соней, пеняя на скуку и намекая на какие-то с кем-то неудачи, а потом неизменно звонила Жерому, досадуя, что его опять нет дома.

Появлялась в воскресенье подруга, и Алла легко от меня уходила, уплывала под власть этой боевой Сони, а та, вдруг почувствовав мое недовольство, зазывала в гости и начинала меня беречь, беречь, конечно, умышленно, разговаривая об Аллиных мужиках.

А однажды, подмигивая мне после принятого душа в нашем саду, она сказала:

— Ах, Толик! Если бы ты знал, какая у нас сладенькая Аллочка! Я вот ей сейчас мыла спину и сама любовалась...

— Да перестань, — говорила Алла, но говорила по-доброму, будто чуть-чуть сомневаясь, нужно ли мне об этом слышать. И даже так: не слышать, а нужно ли меня, наивненького мальчика, так дразнить.

— Ну а что, неправда, что ли? — невинно взглядывая на Аллу, а потом и на меня, произносила весело подружка. — Такую фигурку поискать надо! Ах, как все у нее прям точеное, какая грудь, какой живот, какие руки!

— Ну будет, будет...

Тут Алла смущалась и сама, как бы исподволь, быстро взглядывая на меня.

А уж я краснел всюю, — даже грудь под рубашкой краснела, — где-то втайне понимая, что подруга-то права и фигурка у Аллы такая вся... Ну такая... А эта ехидная подруга, может, даже завидует ей, если так говорит. И завидует, и вообще, у нее мысли все вокруг этого.

Я стеснялся, боялся таких разговоров, но они мне, если признаться (в чем я тоже не смел), самому нравились!

А каверзная эта, словоохочая, насмешливая подруга, которая, конечно, была сильнее характером, бойчей, чем Алла, начинала повествовать вообще о женской шее, о женских руках, что мужики еще не умеют их ценить, а это, может быть, главное в женщине. Особенно же руки. О, руки... Только истинные мужчины знают, что умеют ее руки, когда женщина по-настоящему любит!

Потом Соня уезжала, а в наших с Аллой отношениях наступала какая-то неясность, даже натянутость. Соня как бы отдаляла Аллу от меня, но именно она будто бы что-то обещала от имени самой Аллы, повествуя о ее достоинствах.

Что-то — но вовсе не обладание, да и я не знал еще, как это бывает.

Я не уверен, что мы с Аллой чувствовали, понимали наши неуловимо напряженные отношения совсем одинаково.

Может, даже так: я вел себя слишком неуверенно и строго, а она, чувствуя эту странную мою неуверенность, мою неестественность, терялась и начинала быть излишне нервной, подчас замкнутой.

А потом случился вечер, когда все стало настолько очевидным, что жить, как мы жили, оказалось невозможным, наступил перелом.

Перелом, конечно, в моей жизни, для нее же все это было не больше, чем занятой игрой, при том что она ко мне и вправду хорошо относилась.

Просто я был еще слишком молод, а она — опытной, много пережившей женщиной для того, чтобы что-то и вправду могло между нами быть.

Но я хочу сказать еще об одном, чрезвычайно важном для меня обстоятельстве: здесь, в Ухтомке, она была из другого, неведомого мне мира.

Этот мир, будто звездные осколки, падающие на землю, неспециально, неумышленно проявлялся в ней в мелких подробностях ее дачной жизни — в ее этих звонках, в намеках подруги, а иной раз и в рассказах самой Аллы... Про сатирика, который в ресторане весь Новый год так острил! Так острил! Он про икру как-то сказал... Мол, кто мечет столько икры... Или что-то в этом роде. Ужасно смешно!

А потом еще про художника, а потом про певца... А мама ее все кляла какого-то ухажера, беспутного, проходимца, который вечно голодный и врет, что он поэт.

Да, да. И поэты были у нее в доме, это меня отрезвляло. Ведь я тоже писал стихи. О ней, об Алле, мечтая тайно, что она их прочтет, и пугаясь от этой мысли: я и какой-то, оттуда, настоящий поэт, из другого мира, где рестораны, где Новый год с сатириком, где художники и певцы.

И откуда ко мне сюда, в разнесчастную Ухтомку, доносятся непрерывно, через голоса мамы и Сони, и самой Аллы, звон бокалов и чья-то невозможная, головокружительная, похожая на вечный праздник жизнь.

Случилось, не могло не случиться, что однажды я задержался у нее в доме.

Такая проза: она кипятила белье на той самой керосинке, что притащил отец, и читала книгу, а я сидел рядом. Мариночка заснула, да и сама Алла, казалось, хотела спать. Она будто бы не сумела меня прогнать, хоть и лениво намекнула, что время-то позднее.

Но даже не в том дело, что она сделала это нехотя, а в том, что она не повторила, не настаивала на моем уходе.

И я это сразу понял. Я это понял и остался.

А что было дальше, я помню до мельчайших подробностей: она захлопнула книгу и сказала, что это занудство с бельем ей надоело и пока оно кипит, она чуть приляжет. Если уж мне охота тут сидеть, пусть я поспежу за бельем, чтобы не случился какой пожар.

Она прилегла на кровать и прикрыла глаза.

А я находился рядом, и все во мне застыло от напряжения, потому что никогда передо мной так вот, ну, в такой беззащитной позе не была женщина! Какая женщина! Я ее в упор, стыдясь самого себя, всю-всю осмотрел. Я видел, что халатик у нее чуть отогнулся, стали видны стройные ноги с белой кожей чуть выше колен.

Странная дрожь возникла во мне, и я никак не мог с ней совладать.

Я слышал, как булькала вода в тазике на керосинке, смотрел, как поднималась и опускалась ее грудь, что-то цветное из-под халатика выглядывало на этой груди, сводя меня с ума.

И тогда я вдруг произнес эту чепуху, мол, Алла, не спи... Я стал торопливо повторять: "Алла... Ну, Алла... Ну, Алла..."

А она будто засыпала, не слышала меня. Не открывая глаз, она морщилась, как от зубной боли, произнесла: "Ну чего тебе? Ты еще здесь, да?"

Выходило, и правда, что она спала и что забыла про меня. И я поверил, какой же я был тогда наивненький и глуповатый, ясно как день, она не спала, где уж там спать, она даже не погружалась в себя, она тоже ждала.

Но и она, я сейчас думаю, не знала, чего ждала, просто ждала. Понимая, что все это, конечно, смешно, глупо... Особенно то, что я продолжал бессмысленно повторять: "Ну, Алла... Ну, Алла... Ну, Алла..."

И тогда она будто совсем проснулась, грустно поглядела на меня (ах, ты еще все сидишь, все ждешь? А чего ты ждешь? Тебе не пора?), перевела взгляд на керосинку.

Резко поправив халат и отчего-то смущаясь, она приподнялась, ткнула палочкой в белье и сказала:

— Ох, совсем засыпаю... Знаешь, ты, пожалуйста, иди. Ладно... Я завтра докипачу.

И я, поверив ее тону, ее голосу, ее зевку и в то же время точно зная, что не надо сейчас уходить, что этого больше не будет, чтобы она меня терпела и вот так лежала в забытьи. Все, все осознавая, чувствуя себя отвратительным и безвольным, я, не попрощавшись, побрел домой.

А она тут же, слишком резковато для засыпающей женщины, защелкнула за мной дверь на щеколду. Этот громкий, на весь сад щелчок прозвучал как поставленная точка.

Наутро отец, как-то необычно на меня взглянув, вдруг сказал:

— Ты это... К соседке... К дачнице к той... Ты не ходи... Она просила. Я ее встретил, она поехала в Москву, но она завтра вернется.

Так как я молчал, еще не до конца осознав силу удара, отец повторил:

— Я ее встретил, она сказала... Мол, не надо, чтобы ваш сын ко мне приходил.



Отец отправился на работу, а я остался сам с собой. Оглушенный странным разговором и этой просьбой, переданной, вот какая нелепость, именно через отца! Через отца, который, к моему стыду, все, наверное, понял! Где уж тут не понять!

Мне стало жарко. Стало совестно самого себя. В такие минуты что-то делают, и я побежал на станцию, сел в электричку и поехал неведомо куда. Потом я вернулся, ночью, и сразу же посмотрел на ее окошки, за забором: они светились... Она была там! Значит, ни в какую Москву она не уезжала. Сидела взаперти дома, вот и все.

Я смотрел на эти окошки, не зная, как мне до утра жить. До утра, а еще днем, а еще вечером... И снова до утра!

Но ведь не только косвенно, как прежде, а сейчас уже напрямик было мне доказано, что я лишь сосунок, местный выкормыш, невежественный, самоучный в сравнении с тем, кто был из ее московского мира!

Я тогда торжественно поклялся, что я вырасту и всего достигну, я стану с теми неведомыми мне поэтами, сатириками, певцами из ее мира вровень, я стану выше, лучше их!

Стал я чем-то и выше ли, сейчас мне думать неинтересно, а вот лучше, точно знаю, я не стал.

Сейчас-то мне просто видней, что я тогда, в ту пору встречи с этой удивительной, прекрасной женщиной был лучше их. И лучше себя, который сейчас.

Еще я уверен, что Алла тогда знала это, и оно-то мешало ей самой, кроме всяких других причин, перейти или даже помочь мне перейти ту границу, которая была (если была!) возможна в наших отношениях.

Но история на этом не заканчивается.

Наутро, когда я в бесчисленный раз проходил мимо калитки Екатерины Михайловны, появилась Алла, она вышла, как обычно, прогулять Маринку.

Вышла уже, как положено, через дверь, а не через окошко, и тут мы с ней нечаянно встретились.

Я прошел мимо на деревянных ногах, ощущая, как сам весь становился неудобным, неловким, и, едва проворачивая языком, я произнес свое, ради чего все утро тут ходил, слово: "Здравствуй".

Она на ходу кивнула, мельком посмотрев на меня, будто едва меня узнавая, а потом вдруг вслед громко крикнула: "Толя!"

Я обернулся. Как вздрогнуло, как затрепыхалось мое всепрощающее сердечко лишь за одно вот это воспроизведенное имя!

Я же знал, я же верил, что она не выдержит и крикнет!

А она добавила громко, когда я остановился:

— У тебя в носочке...

— Что? — спросил я, не разобрав. Не разобрал же потому, что ждал других слов, всего другого.

— Дырочка... У тебя в носочке! — еще громче произнесла она и, дернув за руку дочку, пошла в противоположную сторону.

А я, не понимая, что меня еще раз, уже как-то по дешевке, изничтожили, унизили, нагнулся и стал приспускать носок, чтобы не видно было на нем пресловутую дырку.

Ах, какая это была страшная месть: заметить мою дырку и вот, походя, в самый мой тяжкий в жизни момент, когда я еще не верил в свое отторжение, когда я на что-то надеялся... Дурак! Какой дурак!

А потом закончилось лето, и получилось, как я сейчас уже не помню, что я помогал им грузить их дачный скарб и даже сопровождал до Москвы, до их квартиры на улице Большой Почтовой.

В эту квартиру я потом наезжал и каждый раз привозил огромный букет цветов из нашего сада. Ездил так долго, я уже был студентом, пока Алла вроде бы между делом не обмолвилась (думаю, что это было не случайно), что у нее теперь есть мужчина, он, кстати, дирижер Большого театра.

Были и какие-то подробности о том, как они встречаются (у него больная жена, и он, несчастный человек, так любит Аллу!) и что ее муж на Дальнем Востоке, в Китае, не хочет давать ей развод и по-прежнему любит ее, и все в том же роде. Помню, что она даже похвалилась, что ее приняли за балерину Большого театра... Да, да. Она стояла у служебного входа, ждала его, а тут подошла какая-то женщина и сказала: "А вы балерина, правда? Я сразу поняла, это же видно!" И она еще спросила меня: "А правда, я похожа на балерину?"

— Конечно, похожа, — только это я и сказал.

Но я уже спокойнее перенес удар, да это уже и не был удар, а так... Легкая, быстроизлечимая травма.

Ее результатом стало лишь, что я перестал ездить в этот дом.

Отрезал, как некогда меня отрезала Алла, с той лишь разницей, что я еще страдал, еще думал о ней. Это чувство живо и до сих пор. А ведь сколько лет прошло!

Когда я впервые опубликовался, она сама позвонила, отыскав где-то мой новый телефон, и сдержанно поздравила.

Я не испытал той необыкновенной радости, того счастья признания, какое мог бы предположить прежде. Лишь больно кольнули ее произнесенные негромко слова: "Вот ты и достиг... А я..."

— А ты? Что ты?

— Да ничего, — сказала она тем самым привычным, чуть замедленно густым, даже по телефону, тоном. — Я все ругаюсь с мамой. Она так постарела... Она стала просто невыносима!

— А этот? Ну, дирижер?

— Дирижер? У него умерла жена.

— А ты?

— Что я?

— А ты как? Ты еще с ним?

— Ах, ну конечно, — сказала она, и это прозвучало почти так, как прежде она говорила о маме, с которой ругается. — Да, кстати, — продолжала она. — А ведь я тебя видела! Представь себе, в театре "Современник", в холле. Ты стал такой... Ну... Как твой отец тогда...

— А ты? — почему-то спросил я, решив не узнавать, почему же она ко мне там, в театре, не подошла.

— Я? — и задумалась. — Я, наверное, сейчас как в ту пору моя мама. А ты помнишь, какой ты был тогда, у этой... Как ее...

— Екатерины Михайловны? Она, кстати, умерла.

— Да? А ты был очень хороший... Чистый, чистый... И стихи такие писал, я все их вспоминаю. "Свой, кастрюльный, булькающий мотив..."

— Надо же такое писать! — воскликнул я. Но она меня не поддержала.

— Нет, правда, я их вспоминаю.

Последнее она произнесла со вздохом, и мы распрощались.

Это был ее последний звонок, я уже сам туда не звонил. А потом я вообще уехал из Москвы, женился, и все пошло у меня так, как и быть должно.

Но где-то у меня хранится небольшая фотография, в свое время я ее часто рассматривал: на ней красивая женщина с распущенными волосами, в проеме дачного

окошка, я снимал из сада, она с любопытством, но и с каким-то еще странным, скорей всего тревожным выражением лица смотрит в мой объектив, а на коленях у нее белокурая курчавая девочка, похожая на куклу.

## УЛИЦА СТАЛИНА

Серые, в дорожной пыли кустики акации, кривые заборы, деревянные дачные домики, сады, огороды...

Вот она, улица Восьмого марта, бывшая Сталина! Электричка еще не набрала скорость, и можно подробно рассмотреть ее из окна, хоть ни моего дома, ни дома Екатерины Михайловны отсюда не видать. Но в общем-то можно и так представить, вся наша улица была сплошь одноэтажной, в зелени, в садах и огородах и не шибко шумной, несмотря на асфальтированное шоссе, по которому ходили машины.

Если смотреть отсюда, от вагона, наш дом будет на расстоянии двух кварталов слева от дороги, а справа, где ныне заводской клуб, прежде было поле, туда приезжали грузовики сливать на землю лишний бензин (для приписок), и там, конечно, ничего не росло. А на заборе Екатерины Михайловны, это был сплошной высокий забор, висела табличка УЛИЦА СТАЛИНА.

Я ужасно гордился, что живу на улице с таким замечательным названием, и, когда улицу вдруг переименовали, даже расстроился, хотя в то время я уже понимал, почему это сделали.

Но вообразите сами подростка, который учится, вкалывает на работе и тратит на дорогу три часа, какая у него личная жизнь? Утром бегом на поезд, ночью почти ползком до дома, темно, грязно, глухо. И так каждый день, да и воскресенье не каждое для себя: то поездка на картошку, то воскресник по уборке территории или иное подобное мероприятие, их у нас просто обожали на работе. И вдруг — праздник Первое мая, и уж точно твой праздник, его-то уж никто не заберет.

Куда унесется, умчится, улетит мой герой, не угадаете ни в жизнь! А полетит он на Красную площадь, потому что полгода этой дремучей жизни он ждал своего праздника, чтобы встретиться с товарищем Сталиным.

Вся его жизнь, утлое существование, оправдано этим ожиданием. Любить своего вождя никому не помеха, любить ежедневно, ежечасно и знать, проходя мимо таблич-

ки с его именем, помнить, до этого праздника души осталось столько недель или даже деньков! И все расписано, все известно заранее, что он будет делать в этот невероятно счастливый день.

В утро Первомая я поднимался до света. С первой электричкой, которая шла в четыре часа, я доезжал до Москвы, а уж тут, поскольку метро еще не ходило, топал пешочком к центру.

Где-то за Красными воротами уже начиналось шевеление: каждое предприятие имело свое место сбора. Тут я и толкался, стараясь втереться в колонну, но бдительные дежурные с повязками наметанным глазом выявляли меня и гнали прочь.

Прорываясь через солдатские и милицейские оцепления, обманывая и сочиняя про дом, который вот тут, рядом, за углом, я медленно, но верно проникал в полосу запрета, откуда легче было уже найти среди утомительного долгошества колонн что-нибудь приемлемое, то есть что приемлемо было для меня. Малый рост и природная бойкость меня выручали. Обычно я прибивался к какому-то заводу, зная по опыту, что заводские благодуще: не станут тут же оголтело кричать и пихать в затылок.

Объяснив невнятно, что отстал от своих, я для верности подхватывал транспарант потяжелей, и мне его с радостью отдавали. Кому же охота тащить часами неведомого миру Маленкова. А я их обожал, шестерок из сталинского окружения, и по-своему жалел, любил, да и сейчас вспоминаю с благоговением, ибо они помогали мне: как и я им... И Маленков, и Андреев, и Шверник, и Жданов, и невидимый тогда еще Хрущев — все они были моими спутниками, единомышленниками, почти друзьями в труднодоступном походе на Красную площадь.

Вцепившись руками в спасительное древко, я мог часами тащить кого угодно, не отдыхая: и я уже как бы был среди всех свой, хихикая над чужим анекдотом, не злым, не едким, потому что в заводской колонне обычно поддавали на ходу из пластмассового стаканчика или из горла, и это никем не запрещалось, но всегда создавало легкую атмосферу радушия и праздника. Лишь по временам, когда приходил какой-нибудь райкомовский уполномоченный, я сжимался, хоть и понимал, что он не может знать всех, но все же своим особым нюхом мог угадать и ткнуть пальцем: "Кто разрешил?" И тогда меня неминуемо вытряхнут из колонны. Иногда и вытряхивали. И те, что были почти своими, веселыми, добродушными, сразу станови-

лись неговорчивыми, потупливая глаза; бдительных деятелей свыше недолюбливали, но боялись. Обычно с ними не спорили.

Если же мне удавалось пройти Неглинную до Метрополя, я вживался в чужой коллектив как в свой, я был его телом, кровью, отторгнуть меня становилось практически невозможно.

Совершалось чудо из чудес: пройдя десятичасовой путь от дома, я вступал победителем на Красную площадь. "Москва моя, страна моя, ты самая любимая..."

Гремели репродукторы, звучала музыка, марши, все цвело красным цветом.

И хоть проходил я всегда далеко от Мавзолея — близкие колонны формировались, наверное, из других, надежных коллективов, — но и это никак не портило моего праздника. Зайдя за буровато-красные стены Исторического музея, я, подобно остальным, поворачивался, вытягиваясь в сторону Мавзолея: "Он, Сталин, там? Он смотрит? Он приветствует? Ура ему! Ура! Ура!"

"Он лукаво улыбнется, он посматривает на народ, эх, много Швернику придется... Эх, много Швернику придется пор-ра-бо-тать в этот год!" Известно, какая это работа — давать ордена. А мы и тем уже награждены, что тут, рядом со Сталиным.

Пускай ничего не видно, мы все, и я в том числе, домысливали, представляли, почти уже наяву видели, что вон он! Да вот же! Ну, в середине, машет нам! Ура! Ура! И на призыв громкогласный из репродуктора, звонкого, жизнерадостного, почти ликующего казенного голоса, кричавшего еще прежде нас: "Любимому вождю всех народов, генералиссимусу Сталину — ура!" Мы немного визгливо, мелковато, в сравнении с его поставленным дикторским голосом, но очень искренне, с энтузиазмом подхватывали: "Ура-а-а!" Те, кто перебрал с выпивкой, кричали громче.

— Вождю мирового пролетариата, товарищу Сталину — ура!

— Ура! Ура! Ура!

Мои андреевы, маленковы, шверники, ждановы бледнели в свете его всепобеждающей, немного лукавой улыбки, но про них сейчас никто и не помнил. Их тащили лишь потому, что они рядом с ним, иначе все бы несли только его, лучшего друга советских детей, советских рабочих, советских летчиков и советских спортсменов.

"Приезжай, товарищ Сталин, приезжай, отец родной!"

— Гениальному вождю всех времен и народов, великому Сталину — ура!

— Ура! Ура! Ура! — кричал я что было мочи, срывая голос, ах, как я его любил! Сказали бы мне тогда, вот тебе жизнь и вот тебе смерть, но если ты умрешь, он за тебя будет жить! Не задумываясь, сразу бы крикнул на всю площадь. Я готов! Да все готовы! Скажите лишь, кликните! Да за него, такого родного, чтобы лишь он был всегда и жил вечно.

"На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговор, а соколов этих люди все узнали: первый сокол Ленин, второй сокол Сталин!"

Конечно, как было со всеми и всегда, мы напротив Мавзолея невольно замедляли шаг, и тут начинали нас подгонять те, кто стоял в разделительной цепочке.

Так, наверное, полагалось, иначе вышел бы затор. Люди в темных долгополых плащах, в одинаковых, как мне казалось, кепках и в чем-то сами неуловимо одинаковые одинаковыми голосами покрикивали, почти приказывали: "Быстрее! Не задерживаться! Не-за-дер-жи-вать-ся!"

И мы, подгоняемые, но вовсе этим не смущенные, ускоряли шаг, а поравнявшись с Лобным местом, уже бежали, мы все время выворачивали головы назад, еще желая ухватить невозможное, то есть увидеть родного Сталина на отдаляющемся Мавзолее.

Испытывая оголтелый, почти щенячий восторг оттого, что я побывал ТАМ, что видел ЕГО, что впитал его образ и даже получил ответный всем, но и мне, взмах его руки, я отдавал своих андреевых, маленковых, шверников, ждановых за Василием Блаженным в чьи-то торопливо протянутые с заводского грузовика руки, вовсе без сожаления видя, как их плашмя валят друг на друга, небрежно швыряют на дно кузова, лицом в бензиновую грязь.

Они свое отработали до будущего года. Да и будут ли на будущий? Все они, мельтешащие вокруг НЕГО, менялись, и лишь ОН один был всегда.

Наполненный святой любовью к нему, каждой клеточкой, обновленный, возрожденный для новых побед в борьбе за светлое будущее, я бродил по улицам, засоренным веточками деревьев, что несли на демонстрации с привязанными к ним матерчато-зелеными искусственными листьями и цветами, приятно шуршащими обертками от мороженого, пил сладкую шипучку, продаваемую в бутылках с грузовиков, заедал сладкой булочкой, и все растворялось во мне, и я сам растворялся в окружающем, и это

было то самое счастье, в котором нельзя было усомниться, что оно настоящее.

Однажды, возвращаясь с такого праздника, я не нашел для метро билета и денег тоже не нашел. А сил уже идти до вокзала пешком у меня не оставалось. И я смухлевал, бросив в автомат, выдававший бумажные билетки, вместо двух монет по двадцать копеек трехкопеечные монеты. Билет тогда стоил сорок копеек.

Были в Москве два таких чудо-автомата: один на станции метро "Комсомольская", а другой здесь, в центре.

Кстати, можно было бы сделать и иначе, подобрать, скажем, билетик посвежей да и сунуть обратным, ненадорванным концом — не всегда, но сходило. В крайнем случае баба, стоящая на контроле, не в силах тебя догнать, выдаст сапогом крепкий поджопник, и ты с такого благословения прямо-таки влетаешь в мраморный, сверкающий золотом зал.

Ну, а в этот раз, не помню уж почему, я бросил в автомат медяки. Они такого же размера, как и двадцать копеек, и автомат на них среагировал, затрещал, зафырчал, но билета так и не выдал. Бдительный был автомат, что и говорить. Мне бы поскорей убраться, но я ждал: наверное, в то время я еще верил в чудо-технику. Чья-то властная рука из-за моей спины нажала на кнопку возврата, и выпрыгнули напоказ мои стыдные медяки.

Та же рука, это был человек в гражданском, подхватила меня и быстро затолкала в туалет, кстати, вполне красивый, просторный и, кажется, даже в мраморе.

Вот уж сколько проезжал тут, в метро, к Сталину на Красную площадь, но ни этой крошечной деревянной дверки не видел, ни туалета не подозревал. Только в тот момент мне было не до рассматривания. Прямо от входа я получил резкий удар в затылок и полетел плашмя по гладкому полу (да, теперь я припоминаю, что это был мрамор!) в самый конец комнаты и стукнулся о стенку.

Человек сказал: "Ну, тебе в праздник пятый угол показывать?" И снова последовал удар, когда я захотел подняться, я снова полетел, потек по полу (вот теперь я убежден, что он был мраморный, тот пол: здорово же я по нему скользил) и снова стукнулся головой о противоположную стенку. Номер с такими полетами у моего обидчика был отработан. Так бил он меня, методически, но не зло, не ожесточенно, а скорей профессионально и даже радостно минут десять, повторяя одно: "Пятый угол тебе в праздник показать?"



А потом он выкинул меня через ту же дверцу, и я побрел с окровавленным лицом и расквашенным носом на электричку. Нос я задираю вверх.

Я сглатывал кровь и тихонечко поскуливал, хотя не было больно. Было жалко себя. Пожаловаться, уткнуться в чужую теплую подмышку и то некому. Ни здесь, ни дома, нигде. Только оставался один самый близкий человек, Сталин, с которым я сегодня встречался, как с лучшей родней. Да ведь до него далеко, полгода, день к деньку, до следующих праздников, до самых Октябрьских копить свое время и терпеливо ждать.

Под бравурные марши из репродукторов я умылся из лужицы на асфальте. Полез в карман и вдруг обнаружил два злосчастных медяка. Как они туда попали, непонятно. Но обрадовался, что деньги, хоть и малые, не пропали, а значит, праздник по-своему даже продолжается. С этим и сел в электричку, четвертый вагон от конца, второе сиденье слева.

Билета в электричку я в те годы не брал, ни по праздникам, ни в будни.

## СМЕРТЬ СТАЛИНА

В тот пятьдесят третий год, когда он умер, я уже служил в армии, иначе бы, подобно другим, кто жил в Москве и предместье, я неминуемо бросился бы на похороны.

Ведь пробивался же я к нему живому на Красную площадь! Даже без билета!

О том же, что тогда творилось в Москве, я узнал чуть позже из рассказов своих близких, тех, кто пережил и смог на себе почувствовать, каково же оно было.

У меня хранятся два письма, я нашел их совсем недавно, во время переезда из нашего дома в Ухтомской.

Когда моя сестренка получила квартиру, она позвонила и попросила приехать: "Там, в сарае, твои бумаги, посмотри, может, что-то тебе нужно".

Вот тогда, открыв тетрадь с записями по политзанятиям, я обнаружил эти письма. Одно письмо от руководительницы нашего драматического кружка в клубе "Стрела" Марии Федоровны Стрельцовой. В прошлом она была актрисой. Частенько писала мне утешающие письма в часть, где я служил.

Это письмо, с размашистым почерком на одну всего страницу, было послано в пятьдесят третьем году.

"Милый Толя, здравствуй! Получила твое письмо, сразу же хотела ответить, но тут случилось это горе, это наше общее горе. Нет слов, нет мыслей выразить его, разве только без конца повторять: "его нет, нет, нет!" Ты знаешь, что делалось в Москве! Все стремились пройти к нему в Колонный зал для прощания, но многим так и не удалось. Поезда в эти дни шли мимо всех станций, иначе люди затопили бы Москву. Вот уж неделя, как его нет, но ощущение такое, что это неправда, он живет среди нас, все, все о нем напоминает. Он столько сделал, что ни на секунду не забудем его и никогда не сможем сказать: "Он был", а "он есть", и есть во всем: в работе, в личной жизни, в искусстве. Вчера еще раз смотрела кино "Клятва", и весь зал плакал, но он был как живой среди нас. Толя, милый, пока не могу ни о чем писать, наши кружковцы все подавлены, но я приезжала все время к ним и старалась поднять их дух и еще больше работать. Работать, как учил он..."

А вот второе письмо, уже от сестренки, она тогда была подростком, лет шестнадцати. Наверное, оба письма я получил в один день, оттого они оказались среди бумаг вместе.

"Толик, здравствуй! Я тебе вчера написала письмо, но написала не все, что хотела. Я жочу написать, как я с девочками поехала в Москву, в Колонный зал. 7 марта в четыре часа утра (с первой электричкой) мы поехали в Москву. Можешь ли ты представить, сколько было народу? Мы шли пешком до центра, но дойти можно было только до середины Кировской. А около Дзержинки цепочкой стояли грузовые машины, а около них солдаты, взявшись за руки. И вот на эти цепочки, прямо на них, шла лавина людей. Знаешь, что делалось? Люди давили друг друга. А на площади столько валялось калов! А потом задавили одну бабушку. Она упала и не успела подняться, а люди сзади напирали, ну ее и смяли. Я через эту бабушку перекувырнулась и стукнулась головой о мостовую. Меня девочки увели, а бабушка — насмерть. В этот день мы еле домой добрались поздно вечером. А 8 марта мы снова поехали с утра, а днем уже не ходили электрички. Мы поехали с дядей Мишей. Этот дядя Миша повел нас какими-то дворами, где мы только ни были. Мы лазали под ворота, карабкались на забор, прыгали с каких-то крыш, прорывали цепи солдат, а потом ползли под машинами,

а некоторые через машины, кто как сумел. Знаешь, как уговаривали солдат! Мы думали, что пройдем одну преграду, а там уже без препятствий до Колонного. Не тут-то было: через каждые сто метров преграды, да еще со всех сторон... Мы дошли, верней, дорвались до одной площади, а тут простояли несколько часов, уговаривали командиров. Мы им надоели, и они разрешили перелезть через машины. Мы перелезли и очутились в окружении военных. И дальше ни с места. Я даже не помню, как мы добрались до дома, ничто не ходило: ни автобусы, ни машины... Мы ревели, что не попали в Колонный зал. А еще с нами 7-го числа ездила одна девочка из нашей школы, в Москве она от нас отстала и потерялась. Когда мы вернулись домой, пошли к ней узнать, может, она прошла в Колонный зал. Оказывается, ее еще нет, она не приезжала. Через два дня мы поехали ее искать. Где мы только ни были, из одной милиции нас направляли в больницу, потом в другую, в третью, и везде лежали пострадавшие, но нигде ее не было, а потом в морге ее нашли. 13 марта ее похоронили. Вот и все. До свидания, Люда. 14/III—53 г."

Сохранился у меня рассказ, записанный со слов моего друга Димы Рогашева, о том, как он хоронил Сталина.

Но прежде о Диме, дома его звали Димок. Он младший брат Лемарэна (Ленин — Маркс — Энгельс, такие были у них идейные родители!), с которым я учился в техникуме. Учился он в военно-музыкальной школе, которая по странному совпадению размещалась в том самом доме в Томилине, где в войну был наш детдом. И даже жизнь, о которой рассказывал Димок, была похожей. Тот же голод, те же дикие нравы.

А вот и сам рассказ Димы о похоронах Сталина. "В 1952 году закончил я I московское училище (школа) музыкальных воспитанников Советской Армии (Томилино). Мать не могла меня прокормить, отдала в эту школу. Да я не жалею. Вышел музыкантом-баритоном и при распределении, единственный, попал в образцовый оркестр Высшей военной академии генерального штаба имени К. Е. Ворошилова. Академия находилась рядом с крематорием, играли на похоронах разных видных деятелей, лично видел, как хоронили Шкирятова, Мехлиса, многих других. Нас приводят, а там кто-то лежит... Вокруг родственники, близкие, друзья. А потом столик с телом проваливается вниз, а мы играем гимн Советского Союза и пешочком топаем домой. Ты приглядишь, у меня от долгого держания баритона (закрученная труба такая) с подросткового возраста

плечо перекошено. С двенадцати лет таскал. А в нем килограмм шесть будет.

А пятого марта, значит, пятьдесят третьего года умер Сталин. В ночь на шестое нас погрузили на военные фургоны и повезли. Дирижер Кочепасов, капитан, из косимовских татар, объявил, что будем играть на похоронах Сталина, но это государственная тайна. А мы уж к тайнам привыкли, мы за это даже и надбавку получали: "за неразглашение секретов".

Какие секреты? Знали, например, где обычно в Театре Советской Армии сидит министр Василевский, а на юбилее Академии им. Фрунзе с маршалом бронетанковых войск Ротмистровым в туалете встретился. Наш оркестр находился в подвальном помещении академии, и удалось наблюдать, как по-спартански живут генералы, сейчас так и студенты не живут! Комнатка-келья на троих, без жен и без ординарцев, ездят на автобусе. А один раз лично видел, как генерал бежал за трамваем!

И вот Сталин.

Привезли нас в Дом союзов, площадь Свердлова была оцеплена. Ввели через Октябрьский зал, а потом на балкон Колонного зала. Там, на балконе, с пюпитрами рассадили, два метра от барьера. Если чуть подняться, видно самого Сталина. В красном убранстве казался довольно большим, с усами, страшноватый, не скрою.

При жизни так близко никогда бы не смог его увидеть. Но я сказал — "страшноватый", это вовсе не от внешнего вида, а скорей от чувства, что это именно он лежит. Тот, кого все боялись. А вот мысль, что я присутствую, играю на похоронах человека, повинного в гибели моего отца, почему-то не возникала. Да и молод я был, чтобы судить его; семнадцать лет только исполнилось. Мой баритон пел ему вечную память.

На сцене играл симфонический оркестр, а когда он отдыхал, вступали уже мы. А потом снова симфонический, если заводил что-нибудь длинное, оставался один дежурный, а мы шли отдыхать в комнаты рядом, забытые военными и штатскими охранниками из войск МВД. Большинство офицеры — от лейтенантов до майоров. Расположившись вольно, в мягких креслах, спали, играли в домино. Кто-то закусывал печеньем с колбасой, запивая водой... Некоторые от безделья травили анекдоты и громко смеялись. Один, в штатском, особенно про баб травил, и наш капитан Кочепасов заметил ему: мол, неудобно в такой момент. Тот отмахнулся: "А иди ты, музыкант, подальше!"

А тем, кто из наших молодых ребят слушал всю эту похабщину, капитан потом высыпал по два наряда вне очереди.

Запомнилось, один в мундире спал на диване, сидя, из-под расстегнувшейся шинели видно было оружие: сразу с двух сторон пистолеты и нож.

Ночь с 5-го на 6-е отыграли, уехали, а потом еще была ночь: с 8-го на 9-е число.

Вечером 8 марта посетителей не пускали, осталась у гроба охрана, да подъезжала запаздывавшая корейская делегация. На ночь у тела оставались две грузинки-старухи в темном. Оркестр почти и не играл. Но всю ночь бодрствовал. Запомнилось: почему-то в эту ночь таскали ведра с бумагами. Что за бумаги, почему их надо было таскать ночью?

Утром, когда стали его выносить, мы исполнили шопеновскую сонату. Потом мы видели, как его грузили, и нас вывели, но дальше Площади Революции не пустили. Час или чуть больше проторчали на морозе, пока не провели к Палате мер и весов. Там нас ждал фургон. Настрой был нисколько не траурный. Одни говорили про то, как плакал Молотов, а Берия произносил: "Кто не слеп, тот видит..." Но большинство спорило, дадут ли пожать, потому что все изголодались, а в столовую мы опоздали".

Во время похорон Сталина я служил в армии, в Ростове Ярославском, который, в отличие от Ростова-на-Дону, называли так: Ростов-на-Болоте, и в момент, когда это произошло, я был на посту. В прямом смысле — охранял склады. Я тогда написал даже стихи, очень проникновенные, которые так и назывались: "Я стоял на посту..." В общем, о солдате, который на посту узнает о смерти любимого вождя, но не может заплакать, потому что слезы будут застилать глаза, а на посту нужно быть особенно зорким, чтобы не пропустить врага, который может пробраться к этим складам, где, конечно, хранится нечто такое, что даже нам, тем, кто охраняет, знать об этом никак нельзя.

Стоять на часах зимней ночью тяжело. Два часа напряженного внимания выматывают все силы. Особенно неприятны последние минуты, когда вот-вот должны появиться разводящий со сменой, а их ни в коем случае нельзя пропустить. За это наказывали. Так и торчишь на одном месте, не спуская глаз с темной подворотни, откуда они покажутся. И лишь тенью возникнут, надо закричать громко, даже грозно: "Стой! Кто идет?" А наш сержант Писля

тогда ответит: "Разводящий со сменой". А я на это должен заученно произнести: "Разводящий — ко мне, остальные на месте". И сержант Писля ко мне подойдет, и, как положено по уставу, осветит себе лицо фонариком, хотя и так видно, что это не кто-нибудь, а наш сержант Писля, и уж потом подзовет к себе остальных. Произойдет смена караула. Мы встанем с Зиновием Куцером рядом, и я повторю, как молитву, все мои объекты, сколько с печатями дверей и сколько без печатей дверей и тому подобное, а Куцер повторит все это же. Сержант проверит с фонариком целостность печатей и уведет нас в караулку: меня и снятых с других объектов. Бросив шинель на деревянные нары, засыпаешь мгновенно, как в яму проваливаешься. И кажется, что только смежил глаза, а тебя уже теребят и дергают за сапог: "Караульный! На пост! Живей, давай!"

Я бреду за Пислей на ватных ногах, одуревший, глухой ко всему, но я уже знаю, что это теперь на всю мою армейскую жизнь, а другой у меня не будет. Отстою, а как вернусь в казарму, они, не дав вздохнуть, зашлют в кухонный, самый тяжкий из нарядов, а утром на учебные занятия, да на строевые, и снова наряд... И снова караул...

А началось все с полевых учений, когда мы ставили противотанковые мины. Положили нас на снег, рядком, метров пять друг от друга, и велели копать в земле ямки. Попробуй-ка их зимой крошечной лопаткой откопать, когда землю ломом долбить нужно.

На мое счастье, под слежавшимся снегом обнаружилась готовая ямка, видать, осталась от прежних учений.

От радости, что не надо долбить, я полеживал да лопаткой ворочал, пусть издалека видят, что копаю. А тут ко мне направляются офицеры, двое: командир роты капитан Фурса, а с ним еще капитан — поверяющий.

О том, что он поверяющий, да еще из штаба округа, я узнал потом.

Поверяющий замедлил возле меня шаг и сказал:

— А вот боец уже все сделал! Есть время поговорить.

Он приказал мне не вставать, а сам вместе с капитаном Фурсой присел на корточки и стал меня спрашивать.

Поверяющий спросил меня, что делаю, зачем нужна ямка и все такое. Тон обращения был непривычно мягок и дружелюбен. Мне показалось даже, что он и вправду не знает, чего мы тут копаемся, и я стал ему популярно объяснять, что копание мое непростое — минируем по заданию сержанта Писли это место, условно, конечно, но как бы по-настоящему, против войск противника.

— Какого же противника? — спросил проверяющий. — Какого рода войск?

— Да любого, — отвечая я, удивляясь, что он не догадывается, не знает элементарных вещей.

— Ну, а скажем, пехоты? — поинтересовался проверяющий.

— Конечно.

— Но мина-то у вас, кажется, противотанковая? — и он указал на круглую коробку, которая, на мой взгляд, была из-под киноплёнки, но как бы изображала мину. О том, что коробка эта противотанковая, я как-то забыл. Теперь я вспомнил и сказал:

— Ну да. Она и пехоту, и танки может. Она все может.

Поверяющий, о котором я не знал, что он проверяющий, был явно лопух, я ничего не знал, а он подавно. Капитан же Фурса рассеянно глядел по сторонам и нас будто бы не слушал.

— Вот как? Все? — удивился проверяющий. — А что же будет с танком, когда он наедет на вашу мину?

— Думаю, что разнесет на части, — с готовностью выдал я.

И поелозил по снегу. У меня стал замерзать живот, низ живота.

Да и надоело мне учить безграмотного капитана. Обратился бы он к сержанту Писле, тот бы ему все разъяснил. А нам не до мин в первые месяцы было, ведь бытует же солдатская поговорка: первый год служат за страх, второй — за совесть, а третий — кто кого обдурит! Так вот в первый год новобранцы ишачат за всю часть, а из нарядов не вылезают. Может, нам и рассказывали о минах, но я тогда в наряде был по кухне. А это наряд пострашней мины! Нужно тысячи маслянистых алюминиевых тарелок перемыть, картошку вручную несколько ведер начистить, пол размером с футбольное поле продраить, а под финал залезть в горячий котел и, задыхаясь там от гари и пара, выскоблить его до белизны. А он белым-то не был и в день своего рождения!

Вот что мы усвоили, пока читали нам мины. Но ротный наш, капитан Фурса, торопился поступать в военную академию, и ему нужны были наилучшие характеристики. А для этого уже должен был теперь постараться я.

Я и старался. Только у меня замерзал живот и низ живота. А если быть совсем точным, замерзло такое место, которое не надо бы отмораживать, если я собирался на гражданке жить полноценной мужской жизнью, иметь

свою девушку. А я именно собирался все это делать. Да и вопросы были глупые, не стоили они того, чтобы отмораживать это место.

Он, например, спросил:

— А мотор у танка мина ваша взорвать может?

— Конечно, может, — отвечал я, поджимая ногу. Вроде бы стало теплей.

— А башню на танке? — спросил он ласково. Я вообще заметил, чтоверяющий с каждым вопросом становился ко мне добрей и приветливей. Это меня и вдохновляло в моих честных ответах.

— И башню может!

— Ну то есть все может? — с восторгом спросил он.

— Все! Все! Как рванет, и к фигам! — сказал я.

Поверяющий восхищенно повторил за мной: "Рванет, и к фигам!"

Я кивнул, поднял глаза на ротного и обомлел: лицо его, несмотря на легкий мороз, покрылось красными пятнами.

Аверяющий с легкостью поднялся и со словами: "Рванет, и к фигам", — быстро пошел прочь, наш капитан бросился за ним.

А вечером меня вывели перед строем, еще вывели рядового Олехова и Зиновия Куцера, все из нашей роты, и капитан Фурса коротко, но выразительно объяснил, какие мы беспросветно тупые и ленивые, и неразвитые, и... И как нас надо учить, и уж он научит, на всю жизнь научит, так и знайте!

Он повернулся к сержанту Писле и сказал:

— Так научите же их! Да по-луч-ше! — и ушел.

— Научим! Лучше некуда! — с готовностью подхватил тот, поедая глазами спину начальства.

Вот тогда началась наша учеба.

Олехова, Куцера и меня погнали из наряда в наряд, да в караул, да по тревоге в поле ночью мины ставить, а утром на занятия, восемь часов строевых, и опять в караул, и опять в наряд...

Недели через две стало ясно, что нас изживают. Бессонницей, изживают нарядами, работой.

Если бы на гражданке такое случилось, можно, в конце концов, наплевать и уйти. На работу наплевать, на занятие, да на что угодно. А куда уйдешь из роты, если она тебе на всю солдатскую жизнь дана? Как, впрочем, и сержант Писля, и капитан Фурса!

В "Теркине" помните: "Без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться,



ни влюбиться он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф..."

Ну да мы с Зиновием Куцером хоть и слабаки, но здоровые слабаки, и руки и ноги у нас в порядке. А Олехов, крупный, увальнистый, добродушный Олехов, попал в армию с большими ногами. Уж как проморгала его медицинская комиссия, одному Богу известно. Но большие эти ноги особенно раздражали сержанта Пислю, который свято верил в порядок и медицину и не мог представить, что врачи тоже ошибаются.

Это он доказывал делом. После всяких на плацу занятий, длившихся восемь часов, он занимался отдельно с Олеховым, заставлял его бегать, маршировать, а то и ползать по снегу. Через весь плац туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, до тех, в общем, пор, пока не выдохнется и не ляжет пластом, даже подняться не в силах, поднимали его по приказу сержанта солдаты.

Были у нашего сержанта штучки и похлеще. Так, найдя в казарме окурок, он выстраивал роту, и с тем окурком в главе роты, с песнями, вскинув лопаты на плечо, как оружие, маршировали мы далеко за город, километров так за десять, рыли там глубокую яму и в ней "хоронили" окурок. "Мы живем не тужим, а кому мы служим: служим родине своей боевым оружием!"

Но коллективные наказания такого рода превращались как бы в развлечение, а значит, не были убийственны для наших душ. Другое дело, когда тебя отметили лично. Когда на тебя глаз положили. И не спускают, и следят, ловя каждую промашку.

Вот когда стоял я у тех складов в последнем своем карауле накануне смерти вождя и учителя и друга всех советских бойцов, я особенно отчетливо понял, что не выскочить мне живым из этой петли, что затянули в два конца сержант Писля и капитан Фурса. Никак не выскочить, разве что ногу или руку себе прострелить из своего автомата! Да ведь из госпиталя вернут в ту же часть!

Был, был у меня позыв написать рапорт о переводе, хоть в армии такие рапорты ходу не имеют. Так ведь хуже не станет, если напишу я о том, что, проработав много лет в авиации, зная радиотехнику и телеметрию, могу я быть полезен по своей специальности, а не тут, в саперах, где лишь копать да грузить, других и знаний не надо.

В тот памятный день, когда моя сестренка переезжала в новый дом, а я рылся в своих бумажных архивах, наткнулся я на черновик моего рапорта. Прочел и поразился

насколько наивно звучат мои доводы. Да за каждой строчкой одно видать, что мне позарез нужно вырваться из этой части! "Караул! Помогите! Скорей! Скорей!" — вот лишь каких там слов не было. А должны быть.

Рапорты я свои подавал, как положено, по инстанции, то есть сержанту Писле. Думаю, что он ими просто подтирался. Никаких ответов я не получал и не ждал. Просто мне самому было легче от моей такой писанины.

И так до памятного дня смерти Сталина.

В тот день, на часах, я не укараулил появления разводящего. Хоть следил за темной подворотней, глаза таращил изо всех сил! Да сил-то уж и не было! Непрерывная гонка по кругу, без просвета, без времени на отдых, сделала свое дело, на какой-то миг, мгновеньице, я, видать, отключился, а когда пришел в себя, увидел, что стоит неподалеку сержант Писля со сменой и свирепо на меня смотрит. Ну, а я, как дурак, на него вылупился, таращу глаза и молчу. Это сначала. А потом с испугу как рявкну: "Стой, кто идет!" Он и в самом деле подошел ближе положенного по уставу. Рявкнул я, еще и затвором щелкнул, тоже с испугу, направив на него дулом в лицо свой заряженный автомат. Сержант Писля аж присел от страха. Потом-то опомнился и, сидя, мне кричит: разводящий, мол, со сменой, ты что, спятил, не узнал? И я тогда опомнился и велел ему подойти. Вот когда я осознал над ним единственный раз свою власть. А ведь и правда мог пальнуть, он же хоть какой-растакой, а не имел права без моего разрешения ко мне приближаться!

Ну, уж отшагивая следом за его широкой спиной в караулку, я все прикидывал, лениво, правда, сил не было всерьез переживать, чем теперь возьмет с меня за свой позор, испытанный на глазах у солдат? Не даст мне двух часов на отдых, как в прошлый раз? Он тогда заставил искать закатившийся якобы под стол патрон, а сам украл у меня патрон, положил в карман. Их сдают по счету, сверкающие патрончики, запихивая в высверленные гнездышки в квадратном куске дерева. Не надо считать, все сразу видно. А тут одно гнездо оказалось пустым.

Пока я извлекал патроны из рожка, он, видать, и сунул в карман. А сам приказал искать на полу. Два часа я елозил по этому полу. А через два часа он отдал патрон, с ухмылкой достав из кармана, а за грязную гимнастерку послал в очередной наряд. Куда? Ну, конечно, на кухню!

Но в этот день, помню отчетливо, мы вернулись в караулку, а Писля не доложил дежурному офицеру о моем чрезвычайном проступке. Промолчал. И поспать дал. Два полных часа. А когда снова поднимал, не руганью, не тычком нас будил. Да и вообще, будто не приказывал, будто просил: "Братцы... Пора, братцы, в караул!"

Вот тут мне и показалось, что я окончательно спятил, если мой личный враг Писля меня братцем называет! Но все разъяснилось, когда в караулку вернулся дежурный офицер. Проверив нас, как полагалось перед выходом, он произнес, глядя в пол:

— Новость такая... Сталин умер, — и отвернулся, пряча лицо.

Ну, конечно, мы читали вслух бюллетени о его болезни, и они тоже были как гром среди ясного дня. Они оставляли нас в состоянии тревоги, беспомощного ожидания, но они не ввергали нас в ужас перед неотвратимостью, ибо речь шла не об обычном человеке, а речь шла о бессмертном вожде. И оставалась надежда: он не такой, как мы и как остальные! А значит, он не умрет.

А он умер.

Я стоял во дворе базы, положив руки на автомат, чтобы они хоть немного отдохнули, и тихо плакал. Не помню, кого мне было жалче, себя или товарища Сталина, родного и любимого. Но именно от него пришло облегчение ко мне в эту безумную ночь, ведь я мог сотворить с собой что-нибудь, я уже не видел просвета в этой жизни.

Сержант бы добил, dokonал бы меня все равно. Не добил, не стал добивать лишь потому, что умер Сталин. Значит, в день его смерти случилось что-то такое, что нельзя было меня добивать. Почему нельзя — этого я не знаю. Но я сам видел, что они, и Писля, и дежурный офицер, на это время становятся другими. Другой голос, другие слова, повадки. Даже по отношению к нам, отданным на закляние: Олехову, Куцеру и ко мне.

В казарме из репродуктора звучала траурная музыка, шла трансляция из Москвы. Нас не погнали, как обычно, на строевую, а посадили в ленкомнате и велели читать четвертую главу Истории партии, эту главу, мы знали, написал он сам, своею сталинской рукой.

А потом нас повели в столовую, но опять же без шума, без громких команд, а там, вдоль столов, ходили офицеры нашего полка.

Не успел "разводящий", так в армии именуют половник, проделать свой законный круг по десяти железным

мискам, к нашему столу подошел командир части. Случай тоже, в общем-то, небывалый. Сам полковник Яковлев явился в этот день в столовую.

Говорили, что он отвоевал всю войну, имел множество наград, отличался независимостью суждений, упрямым характером, и с низложением маршала Жукова тоже попал в немилость, из штаба был послан сюда, в захолустный гарнизон. Еще все знали, что полковник обожал "Василия Теркина". По этой причине в праздничные дни меня извлекали на три часа из какого-нибудь наряда и привозили в офицерский клуб на концерт. Мне вполголоса сообщали, хоть это сообщение и звучало как приказ: "Яковлев спрашивал... Будут ли сегодня читать "Теркина"?"

Я выходил на сцену в гимнастерке, наспех приведенной в порядок суетливым начальником клуба, и читал, в который раз, моего "Теркина". Знал я всего Теркина наизусть...

Полковник Яковлев, я видел, сидел в первом ряду и вытирал покрасневшие глаза. Наверное, в такие мгновения он вспоминал войну, фронт...

А меня после бурных аплодисментов сразу же запикивали в машину и отвозили в роту, где с ходу нагружали работой покрепче, молча мстили мне за мое везение побывать на празднике в то время, как мои дружки вкалывают за себя и за меня! Слезы полковника Яковлева отливались мне вдвойне. Но он-то об этом не знал. Не мог знать.

Теперь он стоял возле нашего стола и смотрел на нас, в шинели, в папаче, покрытый изморозью. Мы, наверное, должны были встать, но он сказал: "Сидите", — продолжая нас рассматривать. И вдруг, обращаясь ко мне, спросил, я даже вздрогнул, как от удара:

— Что, рядовой... Переживаешь?

От растерянности, от испуга я не знал, что делать, как себя вести, отложить ли ложку, перестать ли жевать... Я поднялся, но сел, снова подскочил, в то время как мои дружки по отделению онемели, снизу вверх смотрели на полковника. Они тоже впервые видели его так близко.

— Да сидите же... Сидите! — махнул он рукой и мне, и остальным. — Я хотел лишь узнать... Как тебе служится-то... Теркин? Доволен ты службой? Или нет?

Теперь не только отделение, а вся столовая перестала греметь ложками, а офицеры выставились из-за спины полковника в нашу сторону. Все с любопытством ждали, что я отвечу.

А я сказал:

— Я вам рапорты пишу. Там все рассказано, товарищ полковник.

— Да? — спросил он, удивившись. — Я еще не прочел, но... Я обещаю. Сделаю все, что смогу.

И, резко отодвинувшись, ушел. И все сразу отодвинулись, я имею в виду офицеров, среди которых был, конечно, Фурса. Я увидел лишь его налитый пунцовый затылок. Но и солдаты, те, что были рядом, как-то отчужденно молчали. Будто я и их подвел. Надо-то, как я понял потом, сказать эдакое бравое, и ото всех, и от себя, и не о рапорте. Да иди ты со своим рапортом! Знаешь куда? Так мне потом выразили свое отношение.

Случилось это 5 марта. А в конце апреля, перед самым Первомаем, я драил в штабе полы. Жизнь моя после того события не изменилась.

Сперва шваброй, потом тряпкой вручную я выскребал каждую половичку, зная, что за мной с пристрастием наблюдает капитан Фурса. Он сидел тут же и делал вид, что работает, но я знал, что он не работает, а следит за мной. Зачем? Да по привычке, наверное. Характеристику в академию в этот год ему так и не дали, и он ходил злой, даже нас не замечал. Лишь раз, когда я встретил его во дворе казармы и бойко, стараясь печатать шаг, отдавал честь, он прошел мимо, потом оглянулся и подозвал меня. Указывая на голову, где не оказалось у меня пилотки, произнес презрительно: "К пустой-то голове! Пройти мимо вот этого столба, — указал на столб, — и тридцать раз отдать честь". И ушел. А я маршировал, чеканя шаг, и приветствовал тот столб, и приветствовал.

Теперь тряпка моя дошла до пяточка пола, где стоял сапог капитана Фурсы. Я не мог, не имел права попросить его передвинуть ногу. И тогда я стал методично обмывать пол, едва касаясь сапога. Я кругами водил тряпку, изучив тот сверкающий сапог от подметки до голенища. И все рядом да рядом, тер да тер... Умоляя про себя этого столба хоть чуточку шевельнуть ногой!

И вдруг услышал прямо в свой затылок:

— Забываю сказать, рядовой... Поступил ответ на ваш рапорт...

Тряпка застыла в моих руках. Я смотрел на ненавистный сапог и ждал ответа. А Фурса наверху молчал.

Тогда я поднял глаза и встретился с его глазами. Он смотрел на меня, как и должен смотреть на букашку, которую мог бы раздавить, но почему-то еще не раздавил.

Впрочем, еще раздавит. Глаза его было холодней космоса. Лишь нащупав в моем взгляде нечто, похожее на страх перед отказом сверху, и осознав всю глубину моего страха, он удовлетворился. Губы у него были красны, как у женщины. Сочные, капризные. Мои дружки по взводу утверждали, что Фурса пудрит лицо.

Он помедлил и — переставил ногу, освобождая для моей работы сухой пяточок пола. Этим он как бы давал понять, что пол-то, независимо от разговора, да и результата, который он еще выскажет, я должен домыть. Таким образом сам факт ответа на рапорт и сам рапорт приравнивались к чистоте этого пола. Вот когда я дотер последний сантиметр, капитан Фурса, не давая мне времени подняться, произнес небрежно, что рапорт мой удовлетворен и я перевожусь в другую часть. Не сегодня, конечно, но завтра, а может, послезавтра, когда оформят билет и продкормовые.

Не в силах описать, что со мной творилось.

Со мной, но и моими дружками по роте. В моей свободе они вдруг увидели надежду и для себя. Они вдруг поняли, что можно за себя бороться. Рассказывали, что после моего отъезда все бросились писать рапорта.

...А я с небольшим вещмешком добежал — это я уж точно помню, что я почему-то бежал, а не шел, — до станции, доехал до Москвы, потом сел на электричку на Казанском вокзале. Смотрел бездумно на весенние, в легкой пьянящей дымке поля, что кружили за окном, и ничего мне больше в жизни не хотелось.

Я знал, что будет передышка, будет дом, отец, сестренка... А потом я рвану на электричке до Кратова, до нашего клуба "Стрела", где Мария Федоровна Стрельцова и где на Первое мая обязательно наши дают концерт. Нет, нет, выступать я не стану, я и не вольный, гражданский, я лишь проездом... Но тем дорожке появиться вдруг за сценой и услышать возглас: "Господи! Да откуда! Да похудел как! Прямо Теркин!"

Но помню, что я выступил. Меня опять упростили прочесть Теркина.

Я вышел, посмотрел в первые ряды (где мог бы сидеть полковник Яковлев) и увидел наших, из лаборатории, они махали мне руками.

Я тогда прочел: "...Шли однако. Шел и я. Я дорогою пыстолой пробирался не один..."

Путь мой далее лежал через Москву, через мой Казанский вокзал, с его счастливыми знаками, блестящими зо-

лотом ярче моих пуговиц, надраенных асидолом, в голубой, волжский город Саратов. Конечно же, в авиационную часть! Случай для армии просто невероятный, но я свидетельствую: он произошел в апреле 1953 года. А мой будущий командир, капитан Жуков, долго будет допытываться у меня, кто же в генеральном штабе у меня из близких. Ибо не только мой перевод, но и телеграмма была, а в ней приказ устроить и доложить, как я устроен.

А из Ростова, что не на реке, а на болоте, как мы выражались, пришло нескоро письмо. В нем писали о рапортах, что подали в нашей роте все до одного, а еще о том, что вскоре пришла разрядка на поступление в военные училища, и многие ушли, в том числе ушел и Зиновий Куцер. А вот Олехов, на которого сильнее всего и пал после разъезда гнев сержанта Писли, в училище, из-за своих больных ног, не попал. Он покончил с собой, застрелившись из автомата. Это случилось ночью, во время караула, возле тех самых складов, что мы охраняли в день смерти Сталина. Кстати, в письме еще сообщали, что склады те оказались пустыми, ничего там не было. Это выяснилось по весне, во время уборки. Одни печати, оказывается, и были. А значит, мы охраняли печати да замки, так написали друзья.

## ЦВЕТА МОЕГО ДЕТСТВА

Охватив взглядом привычный из вагона пейзаж станции Люберцы, которая, конечно же, изменилась с тех давних пор, не могла не измениться, я пытаюсь уловить то, что могло бы здесь еще быть моим, и с удивлением обнаруживаю: кое-что осталось.

Вокзальчик люберецкий остался, одноэтажный, каменный, это в нем мы согревались, пока ждали последнюю электричку, а Лешка Козяпин ел свои коврижки, запивая морсом.

Осталась и странная башня диспетчерской из белого силикатного кирпича в конце платформы, поражавшая меня с детства именно тем, что она не дом, а башня.

И даже мост над путями похож на тот, моей поры мост, хотя я знаю, что старый был уже и короче, потому что и линий, всяких железнодорожных путей, было куда меньше.

А ходили мы по мосту на левую сторону за Рязанку, на кладбище и в поле, когда еще здесь не было никаких

домов, а у нас с отцом тут, прямо у железной дороги, был крошечный участок, с которого мы по осени снимали по пять, а в лучшие годы по шесть-семь мешков картошки. Хватало почти на всю зиму,

В сорок третьем мы возвращаемся из эвакуации. Еще середина войны, еще за победным Сталинградом только в отдалении маячит Курская дуга.

Но враг отбит от порога столицы, отогнан, и мы едем домой. Это возвращение — наша маленькая победа.

Мы терпеливо выносим многодневную дорогу и лежим на нарах валетом, по десять человек в ряд.

Витька Свинковский, задирая ноги, орет, перевирая слова популярной песни: "О-держим победу-у-у, вернемся мы к де-ду-у!". У него, и правда, дома дед. Есть еще братья, но они воюют. А у меня нет никого. Тетка? Но где она, жива ли, и где ее искать? Я помню свой дом. Но может, и дома нет? Вдруг из окошечка узнаю Панки, и вот-вот будут Люберцы. Я вскакиваю с нар, бросаюсь к дверям и кричу: "Люберцы! Смотрите, это же мои Люберцы! Мой дом!" Все будто напуганы моим криком и никак не могут понять, что мне от них нужно. Но я указываю на то, что видно мне одному: "Вот же, вот он! Вы видели? Вы же видели?"

Все кивают, хотя, конечно, никто ничего не видел, и сейчас мысли у всех о своих собственных домах. А я счастлив, ведь я-то и правда его видел в просвете за складами между перроном и длинным серым зданием товарной станции, свой дом, он стоит на своем месте, так же, как и стоял до войны.

Я вот написал, что вокзальчик-то одноэтажный остался, а он уже не остался; рукопись моя, пролежавшая в столе много лет, как и моя память, хранит следы времени. И уж после того, как было написано это, я попал в Люберцы на тот вокзальчик накануне разрушения. Десятки лет не ездил я тут и не сходил, и вдруг оказался проездом, вышел из электрички и увидел, что вокзальчик сносят и что старые-престарые его стены доживают последние дни, часы.

А часы, станционные круглые часы, были сняты и брошены тут же, они отходили свой срок и вместе со зданием вокзала отданы на слом. Я чуть не споткнулся о них, валяющихся на боку, и замедлил шаг. Не каждый же день спотыкаешься о часы. Обошел их по часовой стрелке, потрогал треснутое стекло. Родненькие, сказал про себя, и у вас свой срок? Свое, считанное собой время? Я похлопал ладонью по металлическому кожуху, и вдруг большая



стрелка скакнула, отсчитав еще одну секунду. Теперь и впрямь последнюю.

Я зашел в зал ожидания, где коротал столько холодных ночных часов, возвращаясь с работы или с занятий. А еще прежде тут хватали меня с папиросами, за продажу поштучно, "на руль пара", в левом углу и сейчас было видно небольшую дверь в милицейскую дежурку. Обыскивали, что было — отбирали.

Сейчас все было приготовлено к сносу. Но стояли деревянные скамейки, вытертые, вылощенные до блеска пассажирами за десятилетия, да часть стены у самого входа отвалилась, обнажив несколько слоев цветной штукатурки.

Я подошел, потрогал, ковырнул пальцем.

Какая же из них составляет цвет моего детства?

Геология времени на стене, я ее особенно пристально рассматриваю. Эта ли, буровато-зеленая? Или — ядовитая синька? На железной дороге отчего-то всегда тяготели к этим двум краскам. Ну, еще можно добавить желто-рыжую, а впрочем, этот цвет у них от грязи и от пыли как бы рождается сам собой.

Прошел я по цементному холодному полу из угла в угол, на скамеечку присел, поглядывая в сторону не существующего теперь буфета, где прыщавый Лешка Козяпин дожевывал свои коврижки.

Нет, не чувствовалось, не смотрелось. Даже к Лешке на этот раз не испытал я неприязни. Ну, ел и ел, что же в этом плохого. И я, был бы побогаче, обязательно нажирался!

Кстати, кажется, не кто иной, как Лешка, придумал возить на работу в стеклянной пол-литровой банке картошку для обеда. И все мы потом в таких банках стали возить, и в перерыве пусть холодную, с удовольствием ее наворачивали.

И еще случилось, что через неделю, когда возвращался я с могилы матери, увидел вместо вокзальчика только груды кирпичей. Клыкастый экскаватор с платформы из-за спины бывшего вокзальчика с грохотом и пылью таскал щебенку и грузил ее на открытую платформу. А далее, как никогда невиданно, вдруг открылась привокзальная площадь — и весь город со своими многоэтажками.

Наверное, был бы виден теперь и мой дом, если бы он существовал.

Дома этого теперь не существует. Но он навечно впечатан в мою память не только внешне, как вышел бы на

фотографии, а высвеченный будто изнутри: с комнатами, коридорчиками, лестницами, чуланчиками, чердаками, подвалами.

Вот каков был это дом: деревянный, двухэтажный, с палисадником, выходящим к дороге, которая была центральной улицей нашего города и называлась "Октябрьский проспект" и в то же время была Рязанской дорогой. Значит, Рязанкой.

А позади дома были огород и сад (не наши, конечно, а хозяйские), а за ними опять же Рязанка, но это уже — Рязанская железная дорога.

Мы обитали, зажатые двумя дорогами, двумя Рязанками, как лезвиями ножниц, и эта географическая подробность, наверно, важна для понимания моего детства.

Огород и сад, и помойка за огородом, где однажды я разыскал домовую книгу с десятью паспортами, ее потерял пьяненький домоуправ и выложил мне шестьдесят копеек "наградных", крошечный заболоченный прудик, среди лопухов и крапивы, и такая же крошечная горка на задах — все это оказалось невероятно значимым в моем, осваиваемом мной мире.

А впереди, сразу за палисадником, огромный одноэтажный дом с малопонятным названием "Нарсуд", где вечно толпился народ, но особый народ, он никогда нас, пацанву, не гнал, в худшем случае не замечал, а в лучшем — совал, чтобы разжалобить судьбу, дешевые конфеты-подушечки, в простонародье именуемые "Дунькина радость".

На задах нарсуда, а эти задах почти смыкались с нашим палисадником, стоял сарай, мы любили туда забираться. Там лежали груды бумаги, в которые мы играли, бланки, марки и многое другое, такое же заманчивое.

А ведь чьи-то судьбы!

Справа от палисадника находился конный двор, повозки, фургоны для хлеба, в которых под решеткой всегда можно набрать сухих и сладко хрустящих корочек.

Тут много лошадей, и нас сюда тянет, особенно же тянет к огромному, лежащему посреди двора кристаллу соли, мы встаем на четвереньки и пробуем его лизнуть!

За конным двором крошечный домик, с золотыми шарами под окном. Там жили две тихие женщины. Они никогда с нами, то есть с моей семьей, не дружили и не общались, а если встречались у колонки, которая находилась против их дома, то молча смотрели, не здороваясь, глаза у них почему-то всегда были печальными.

Но вот я запомнил, после смерти мамы однажды они вдруг позвали нас с сестренкой домой и накормили. А с собой дали конфет: необычных, шоколадных, в синих ярких обертках!

Самым притягательным местом для нас, люберецкой ребятни, была Рязанка: я имею в виду главный проспект и шоссе.

К железной дороге ходить было настрого запрещено. Другое дело с родителями.

Вот мы возвращаемся с отцом из бани. В Люберцах есть своя баня, но мы почему-то едем из Москвы на электричке, видать, наша на ремонте. Очень весело мы доходим с отцом до дома, и вдруг он хватается руками за воздух и восклицает: "Ах!" — прямо помню, как он это произнес. "Ах! Сетку-то с бельем в поезде оставили!" И мама, глядя на нас, вздыхала: "Мои ротозеи, где ж я вам теперь белье найду?"

А папа, жестикулируя, кричит:

— Так ведь не догонишь! Поезд-то ушел!

— Ушел, — соглашается мама. — Но может, кто-то...  
Найдет?

— Кто? Кто? — кричит папа, а сам аж покраснел от конфуза. Дома и правда с бельем, видать, не шибко. Дают по талонам на мануфактуру.

Да еще все по талонам дают, и хлеб, и прочее.

Сейчас-то я знаю, что еще до моего рождения у нас была карточная система, и отец, вернувшись из армии в 33 году, застал мать и меня (мне два года) голодающими, в доме ни корочки хлеба. А он привез пудовый мешок с мукой, тем и спаслись. А вот сливочного масла я в детстве не ел, его и по карточкам не давали, а в 35-м, когда карточки отменили, масло появилось в коммерческом магазине, но было так дорого, что мы не могли его купить. А потом война, не до масла. А потом еще более голодное послевоенное время. Так что сливочное масло я впервые попробовал, наверное, году в сорок восьмом или сорок девятом. Но лишь попробовал, а уж вдоволь, чтобы на столе...

Вот такой странный разговор о тех временах в связи с бельем и ушедшим поездом.

Но и до сих пор выражение: "Поезд-то ушел!" — воспринимаю как отчаяние отца и молящий голос мамы, потерявших с этим поездом очень многое.

Зато следующее воспоминание светлей. И оттого, что лето и солнце, и мной любимый дядя Миша, которого я зову Папанька.

Запомнилось, возле длинных складов грузят арбузы. Папанька стоит на грузовике и легко ловит их, брошенные ему из вагона.

Один из крупнополосых красавцев он протягивает мне: "Держи, Толик! Снеси-ка маме, да не урони!" Мне мама, а ему, значит, сестра.

Арбуз вроде бы не велик, были и побольше, но я тащу, обхватив двумя руками, и на радостях тихонько его подбрасываю, играю. Раз подбрасываю, другой, и вдруг он выскальзывает, летит на землю, раскалывается на несколько кусков. Кругом красная мякоть и черные, вкрапленные в пыль семечки.

Помню даже, где это произошло: на задах нашего дома, за огородами, рядом с одноэтажным домиком Паршиных.

Этот дом я обычно обхожу стороной, потому что Колька Паршин — "шпана", так говорит моя мама.

Он дружит с Вовкой, сыном нашего хозяина, который тоже "не лучше".

Но вот после войны в футбольной команде "Спартак", а потом и в сборной страны играет Паршин, и мне говорят: тот самый, из люберецкой шпаны!

## ДОМ В КУРАКИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

А дом наш был стар, какого-то дореволюционного времени, мы в нем находили кредитки, разные, с Петром Первым и Екатериной, свернутые трубочкой и уложенные в бутылки, которые хранились в чулане.

Такой точно дом мне попался однажды в Осташкове, когда я приезжал на Селигер. Я лишь взглянул на него снаружи и сразу понял, что он похож на мой дом. И сени, и крутая наверх лестница, и даже расположение комнат; мои-то знакомые в этом осташковском доме жили на первом этаже, как бы на месте наших хозяев: тети Тани и дяди Вани. Для остальных он был Иван Ивановичем.

Помню, поднявшись наверх, я постучал в "свою" дверь и почему-то испугался. За дверью зашевелились, и мне открыл дверь дядя Вася, древний-древний дед, осташковский рабочий, ныне на пенсии. Он показал мне комнату, но тут уже ничто моего не напомнило, и я быстро ушел. А дяде Васе охота было поговорить. Ему исполнилось девяносто, и он еще ходил на плес за рыбой. Так вот, дядя Вася стал рассказывать, что против дома стоят столетние

вязы, а корни у них такие, что выросли в дом. И когда с плеса дует сильный ветер, они корнями раскачивают дом, и он плывет... Впечатление прям как на пароходе!

А у нас в Люберцах, когда становилось темно и в палисаднике мотало в осеннюю сырь деревья, темные тени угрожающе наползали на стекла, и мы испуганно жались поближе к свету.

Мы — это Сашка, мой дружок по квартире, и я.

Да и окна сейчас описываю в Сашкиной комнате, там было три окна, и все они выходили на Рязанское шоссе.

У нас же было окошко вбок, на Куракинский переулок. Под этим окошком находилось крыльцо, и если я терял ключ, я мог залезть на крылечную крышу и оттуда проникнуть через окошко в комнату. Летом, разумеется. На зиму вставляли вторую раму.

А в войну мы спускались в подвальное помещение, которое было, как я запомнил по чудному слову, железобетонное.

То есть сперва мы вырыли у дома щели, узкие такие окопы в земле, обшитые деревом и накрытые холмиком земли для маскировки. В этих щелях было сыро и холодно. А потом их вовсе к осени затопило дождями, и тогда наш хозяин дядя Ваня Гвоздев, а может, и не он сам, а так приказали, открыл для нас свой замечательный подвал. Мы бежали туда во время воздушных налетов, а мама от страха закрывала глаза, когда ухали зенитки, и спрашивала тех, кто влетал возбужденно с улицы: "Вы думаете это — газы?" Почему-то она боялась газов. Мы же ничего не боялись, мы в школе проходили их: и слезоточивые, и удушающие, и другие, я даже названия запомнил: иприт, люизит, дифосген...

Казалось, что это не больше, чем занятная такая игра, пока война не стала реальностью с бомбежками, когда прожекторы синими лезвиями рассекают небо, и начинается со странным звуком лопаться над головой и появляется ни с чем не сравнимый прерывистый гул, по которому мы сразу научились опознавать вражеские самолеты. А нас, еще сонных, тащат в железобетонный подвал, где по углам еще лежит хозяйская картошка и какое-то тряпье, а мой отец, утешая мать, произносит: "Здесь лишь опасно прямое попадание... А так, снесет верх, а подвал-то останется! Он — железобетонный!" И щупает серые стены, а все напряженно его слушают. Как же! Любое слово о безопасности ловится на лету.

Никто еще не знал в ту пору, не ведал, что страшна не эта или другая бомбежка, а долгая, мучительная война, которой многим не пережить именно из-за этой долготы, из-за голода и болезней. Вот как нашей маме.

Память трудно расчленишь без вреда на отрезки, она единая, эту дорогу, да и то условно, можно как-то разделить на остановки.

Но если бы оказалось возможным без потерь представить мою жизнь по частям, то вышло бы три неравных части, и одна из них — моя довоенная жизнь, самая ранняя, состоящая из каких-то проблесков, первых ощущений, догадок, потом война, а далее все, что было после, вплоть до моего последнего мгновения.

До войны: оно должно было произноситься и писаться как бы на едином выдохе (а может, вдохе), как одно целое, а именно "довойны". Все буквы вместе и все заплем.

Мы научились говорить: "Как довойны". Утешаясь в самые смертельные, отчаянные времена.

Вот победим, и снова будет у нас жизнь "как довойны".

При помощи этого магического слова мы пытались как бы приблизить будущее через наше прошлое. Хотя едва помнили, как оно было и было ли на самом деле, память истаявала, теряя по крохам подробности, и уже не сама реальность, а нечто туманное, преувеличенное, как всякая желаемая фантазия, поддерживала нас. Ничего другого, правда, и не оставалось.

Порой мне кажется, что я помню ее всю, войну. Всю — по дням и часам. Но это неправда. Я, как и остальные, воспринимал войну послонно, по временам, и среди них есть слой сорок первого и сорок второго и так далее годов, и так они кругами отложились на моей древесине: угольно-пепельные, широкие. У дерева, кто знает, на срезе широкие полосы означают неблагоприятные годы.

Но и то, что осталось, могло оказаться непосильным для наших неотвердевших душ, да и неокрепших позвонков, которые подчас не выносили тяжести пережитого и лопались, как разрывные пули.

Это не образ, а реальность. Многие мои дружки, перенеся войну, не перенесли ее последствий.

А что такое последствия, если не та же война, только растянутая на все остальные наши годы.

Значит, пережить физически войну — это еще не все, не все, что нам дано. Нам пришлось тащить ее годами на себе, как непосильный груз.

Стараясь не помнить и все-таки вспоминать, пусть и невольно; делать вид, что она осталась там, вдали, подавлять ее, но одновременно чувствовать каждое мгновение, как она стучит внутри нас, готовая вырваться наружу.

Зрительно я представляю пережитое нами как некое минированное поле, о котором до поры забыли, оно поросло травой. А мы пашем и пашем по этому полю, обреченные взрываться, и мы взрываемся, хотя этих поздних, уничтожающих нас взрывов уже никто не слышит. Люди уверены, что мы не гибнем, что мы умираем от инфарктов.

И оттого, что жить надо, а воспоминания опасны, мы ищем среди них такие, что, как островочек, в момент крушения, способны спасти, поддержать нашу жизнь на плаву.

Был такой островок на Селигере, его стерло льдами, он оказался под водой, но в момент крушения он спас меня ночью во время бури.

Отыскивая ступнями хоть какое-то подобие суши, мы натываемся на крошечный пяточок земли, который называется — довоенное детство.

## УРОКИ МУЗЫКИ

Неподалеку от нашего Куракинского переулка, напротив через дорогу, а дорога эта была многошумная разъезжая Рязанка, стояла самая большая в Люберцах школа, ее только недавно построили; она была белая, из силикатного кирпича, многоэтажная, с широкой парадной дверью, огромными окнами и просторным зеленым двором, где я впервые научился играть в перышки.

Была такая игра: каждый старался по очереди перевернуть чужое перышко выемкой кверху, щелкая его по хвостику. Выигрышем служило перо, а сами перья были как бы нашей детской валютой, она продавалась, покупалась, обменивалась на что угодно.

Но волей судеб, по каким-то неведомым мне, чрезвычайно обидным причинам, меня в первый класс приписали к другой школе, она была далеко от дома, на краю города, и располагалась в деревянном двухэтажном старом здании, очень тесном: маленькие классы, крошечные коридорчики, полуслепые окна, а двора у нее вообще никакого не было.

В первый же день, который должен быть бы моим лучшим праздником, я вдруг понял, что меня жестоко обманули.

Я расплакался и наотрез отказался ходить в эту школу.

Я хотел посещать мою, на моей улице, куда, как нарочно, попало большинство моих дружков из соседних домов. Я даже пытался с ними разок тайно сходить, но меня изловили и отвели за руку в теперь уже навсегда нелюбимую школу.

Травма, которая осталась во мне навсегда.

Я проучился здесь целых два года до начала войны. Потом меня отправили в эвакуацию, и больше я сюда уже не возвращался.

Если бы меня сейчас попросили показать место, где располагалась эта школа, я не смог бы этого сделать.

Хотя я помню многое из тех времен, помню, например, где стояла мороженщица, которая торговала желтоватым, необыкновенно душистым, довоенным мороженым из круглой жестяной формы, закладывая его в круглые вафельки, а на вафельках стояли имена. Самое дешевое мороженое стоило десять копеек, а самое дорогое, огромное, недоступное, желанное — рубль.

Я помню, какие были витрины у углового гастронома на центральной улице, где располагались пожарная, нарсуд и ремеслуха, и тот родильный дом, из которого я вышел.

Я помню баню, куда еще ходил не с отцом, а с мамой, она носила с собой тазик с бельем, помню поликлинику, кинотеатр, старый парк, пруд, разрушенную церковь, трикотажную фабрику, фабрику-кухню.

Но вот учительницу, самую первую, которая учила меня всего-то два года, я помню очень хорошо.

Ее звали Анна Михайловна. Впоследствии я всех учительниц называл этим именем, настолько впечатление от той моей первой учительницы было сильным.

Я запомнил и ее внешность: она была небольшого роста, темненькая, худощавая и вроде бы с больными легкими. Во всяком случае, цвет ее лица был какой-то сероватый, и она постоянно чуть подкашливала и куталась на уроках в коротенькую бурую дошку.

В других классах другие учителя распространялись на темы тогда модные: о кок-сагызе, который начали внедрять в сельском хозяйстве, чтобы добывать из него каучук, о сое, волшебном растении, из которого делают все, от конфет до муки, о хлопке и девочке по имени Мамлакат, которая догадалась первая среди всех собирать этот хло-



пок двумя руками. А товарищ Сталин подарил ей на съезде колхозников золотые часы.

Но, конечно же, и нам об этом говорила Анна Михайловна, как же не говорить, если казалось, что наше счастливое будущее вот-вот наступит для нас, если мы посадим кок-сагыз и сою, и станем собирать хлопок, который у нас не рос, все от мала до велика только двумя руками!

Но вот еще, кроме обязательного, Анна Михайловна читала нам на уроках сказки.

И если о каучуконосах, сое, а потом и еще о чем-то я вспоминаю как о временном и для моего будущего не столь уж необходимом, то сказки оказались самым важным из уроков для моей будущей жизни.

Одна из них была про Синюю Бороду, такая страшная, что я заболел, и, помню, мама приходила к Анне Михайловне и упрашивала, чтобы нам не читали таких ужасных сказок.

Бедная мама, она и не догадывалась, что скоро, совсем скоро я попаду в такие колонии, спецдома, где воспитатели и директора будут, куда страшнее злого волшебника, ломать и преследовать нас.

Еще одна сказка была про путника и волшебный серебряный свисток, путник в него засвистит, когда будет погибать в пустыне, и... Но вот что там произошло, с этим путником, и спас ли его свисток, я так и не знаю, потому что это была самая последняя из сказок, на последнем уроке. И я уехал.

В далекой Сибири, в Зырянке, когда я заблудился и замерзал в поле, и меня подобрала колхозница, я не раз вспоминал сказку: она, кажется, так и называлась: "Серебряный свисток". У меня не было свистка, я поморозил ноги, но меня все равно спасли, потому что не только Синие Бороды, рядом оказывались и хорошие люди.

Может, спася и неведомый мне путник, так, во всяком случае, я досочинил сказку. Точней же, сама жизнь досочинила ее.

А однажды Анна Михайловна притащила из дома синюю дерматиновую коробку — патефон с блестящей ручкой на боку, и принесла старую пластинку, чтобы проиграть нам песню на стихи Языкова. В ней есть такие строки: "Там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют неба своды, не проходит тишина, но туда выносят волны только сильного душой, смело, братцы, бурей полный прям и крепок парус мой!"

Какое напутствие-заряд для крошечной, едва зарождающейся души в преддверии военного бродяжничества и многих лет беспризорщины!

А пластинка была заезжена до того, что только хрипела, и два странных голоса едва различались, будто они пели, и правда, сквозь бурю, а чтобы лучше нам были понятны слова, учительница сама старалась подпевать, вот это был урок! На всю жизнь — урок! Урок музыки. Правда, там, в Сибири, мы тоже учились музыке, но другой, когда разучивали Гимн Советского Союза. Это случилось в детдоме в Сибири, и наше время с Москвой совсем не совпадало. Разучивание происходило по радио, организовано, и транслировалось на всю страну. По этой причине нас вовремя клали спать, а потом, среди ночи, поднимали и вели в директорский кабинет, где висел репродуктор, черная тарелка. Сонные и от сна слепые, тыкаясь друг другу в спину, мы набивались в директорский кабинет, как в коробочку, битком, так, что стоять приходилось плотно, затылок в затылок.

Кабинет был небольшой, а нас человек сто. Тут, зажатому телами со всех сторон, можно привалиться к кому-то рядом и подремывать, пока отупевшие от сна товарищи тянули трудно осмысленные слова, которые мы должны знать наизусть.

Мелодия же была известна нам раньше по песне Александра, где припев пелся так: "Партия Ленина, Партия Сталина, мудрая партия большевиков!"

В гимне же пелось иначе, но я помню и старые, и новые слова, а потом еще подработанные, новейшие, они навсегда вошли в мою жизнь, в мое тело, одуревшее ото сна, от холодного озноба и слабеющих ног, которые стыли в долгой стоячке: "Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе отчизну свою поведем..."

— Еще раз! Повторим эти слова, — призывал голос из репродуктора, и ему вторил завуч, но уже другим, более приказным голосом: "Повторим!"

И, переминаясь с ноги на ногу, чуть раскачиваясь, так легче было не заснуть, мы снова тянули: "Мы в жизни решаем судьбу по-ко-ле-ний!"

О том, что это Мы решаем судьбу поколений, мы и думать не могли, слова были безотносительны к нам. Да и что мы решали, если мы даже не могли решить, когда лечь спать. "Мы к славе отчизну свою по-ве-дем!"

— Алексеев, не спи! — кричит завуч, и слышен чей-то плач. — Алексеев, кому говорят!

А доброжелательный голос из репродуктора предлагает перейти к следующему куплету. "Сейчас мы прочтем текст, — говорит он, — постарайтесь запомнить слова".

— Чтоб ты пропал! — сквозь зубы мычит мой сосед слева, Юрка Анисимов, и закрывает глаза. — Чтобы ты сдох... Чтоб... Чтоб...

Вслед за Юркой я тоже погружаюсь в какое-то оцепенение, затажное, неуправляемое, переходящее в смутное забытие, а вздрагиваю, когда зауч кричит: "Анатолий! Не спи! Кому говорят! Не спи! Не спи!" Я вздрагиваю, тарашу глаза на репродуктор и ничего не могу понять из слов, которые оттуда звучат. А они все говорят и говорят, потом они поют, потом мы поем, и нет этому ночному гимну конца.

Но этот урок музыки был потом, когда уже не было мамы, шла война, и все изменилось в мире.

Уроки же Анны Михайловны были до войны. В счастливое, как отсюда кажется, время.

Однажды, думаю, что это было начало лета сорок первого. Анна Михайловна повезла нас в музей Шереметьево, тем более, что и ехать-то надо было всего три остановки, до станции Вешняки.

Но все же мы тщательно готовились к поездке, мы надели обновы, а родители завернули нам с собой бутерброды. Мы их съели на лужайке, на траве возле музея.

Это был первый музей в моей жизни, как и для других ребят из класса.

До сих пор это слово не затерлось среди других хороших и плохих увиденных музеев, оно осталось синонимом праздника, в котором непременно должно быть много солнца, зелени и всяких, удивительных чудес, вроде того, как рассказал мне один мой, очень взрослый по натуре, приятель.

Он горячо уверял меня, что помнит ясно, чрезвычайно отчетливо, что он ребенком однажды увидел среди густосинего купола неба окошечко, и в него выглянул старичок-Бог и погрозил ему пальцем.

Вспоминаю той поры Вешняки, тихую, полудачную остановку, с белой церковкой в глубине сада, а потом большой парк, с жесткой, но яркой травой, постриженной как щеточка, с живописно разбросанными деревьями, тени от каждого из них хватало на целый пруд, а прудов было много.

А за прудами белели дома-дворцы, врезанные в эту зелень и отраженные в этих прудах. Отражения колебались и мерцали.

Именно с тех пор я люблю отражения, они помогают мне понять красоту.

А тогда нам, второклашкам, объяснили, что музей-усадьба графа Шереметьева, ну то есть дореволюционного богача, строилась на самом деле крепостными людьми, и нас привезли, чтобы мы все это увидели своими глазами.

Нас повели в один из дворцов, а на ноги нам надели странные тапочки из дерюжки, и они все время у меня и моих товарищей спадали, а веревочки поминутно развязывались.

Но все равно нам нравились эти тапочки и нравилось, не поднимая ног, скользить в них по блестящему полу, по красивым залам.

Не знаю, понимала ли наша Анна Михайловна, что она с нами сотворяла, когда вела по залам дворца, беспрерывно оглядываясь и болезненно кутаясь в свою коротенькую бурю дошку?

Но она повторяла: "Смотрите! Вы же посмотрите! Ах, какая прелесть, ну правда же!"

Это я запомнил точно: она так восклицала при виде золотой посуды и всяких фарфоровых статуэток, из которых мне запомнилась кукла-часы, с языком-маятником, болтающимся вправо и влево.

Мы все стали тогда показывать пальцем на этот язык и сами изображать своими языками, будто мы тоже живые часы. Мы тогда и не ведали, что мы и были часы, и далеко не игрушечные, и наши крошечные, незрелые сердечки отстукивали время... Если бы мы знали, ведали, какое это время!

А потом нам рассказывали про театр, про крепостную актрису, которая была женой графа и в этом театре играла. Нам показали портрет этой актрисы, очень красивой женщины, она вовсе не казалась нам бедной и несчастной. В руках она держала букетик цветов.

— Это она в роли, — странно произнесла Анна Михайловна, и тут среди прохладных залов и гуляющих сквозняков она так сильно закашлялась, что не смогла с нами ходить, а вышла и ждала нас на выходе, у ящика, куда люди складывали тряпочные тапочки.

— Ну, понравилось? — спросила учительница, и мы закричали все хором, что очень, что завтра мы опять хотим всем классом в музей идти!

Анна Михайловна тихо засмеялась и пообещала когда-нибудь повезти нас в Москву.

И мы доехали до Люберец и разошлись. Было еще непривычно рано, и, проходя по полю от станции к дому, я нарвал каких-то цветов.

Мама встретила меня тревожно. Она всегда тревожилась, когда я уходил из дома, но увидела цветы и растерялась: "Что это?" И вдруг расплакалась. Я ничего не понял, но вот сейчас думаю, что эти цветы как-то связаны с музеем, с учительницей, с портретом актрисы... С этим синим праздничным днем.

Но откуда я мог тогда понимать, что я дарил маме первые и последние, и единственные в ее жизни цветы, и оставалось ей жить на свете всего три месяца, и она, вероятно, догадывалась, а может быть, знала об этом.

### КТО, КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

Вернемся к дому, тому самому, что имеет подвал, чулан и крошечную комнату, где проживаем мы с отцом и мамой.

Отца сюда поселили от завода как бы против воли хозяев. Это я узнаю позже. Но я и тогда чувствовал, что мы чужие, и с моими родителями хозяева, то есть тетя Таня и дядя Ваня, не дружат. Они дружат с нашими соседями Воронцовыми, которые приходятся им дальними родственниками.

Был случай, который я запомнил: хозяева справляли Пасху (вот теперь я вспомнил и чердак, на нем хранились разные доски, связанные кожаными ремнями, для украшения этой самой Пасхи), и меня угостили сладким-пресладким куском от огромной, похожей на белый дворец, сырковой пасхи. Но при этом запомнилось еще сильнее — Саше Воронцову дали в подарок монпансье в цветной и круглой жестяной банке, а мне не дали!

Уж как я изгибался, как крутился-вертелся, разве что глазами не ел дядю Ваню, но ничего мне не перепало. Это было горькое открытие о неравном к нам отношении.

Живя рядом с семьей Саши, у которого папа военный, а мама инженер-конструктор по текстилю, я и так ощущаю разницу между нами. Нами и нашими семьями.

Она начиналась с комнат: у них три, а у нас одна и притом крохотуля.

Тетя Нина тонкая, энергичная женщина, больше я ничего о ней не помню. Но еще помню, что они приезжают с грибов и тетя Нина пьет вино... а потом, вдобавок, курит. Это кажется мне невероятным.

А у дяди Коли военный мундир, и он "ходит на службу".

На фотографии, которая стоит у него на письменном столе, он изображен на лыжах на соревновании, где он, по рассказам Саши, занял первое место.

На этом, кстати, столе находился огромный кусок стекла, выпиленный в виде многогранника. Когда на него падало солнце, по всей комнате разлетались сотни разноцветных зайчиков. Это стекло было нашей нестареющей игрушкой: крутить его на солнце и смотреть, как летят по потолку, по стенам, по мебели цветные искры. Синие, зеленые, красные.

В этой комнате вместе с родителями спал и Саша.

Здесь же мы демонстрировали фильмы из диапроектора, по тем временам это была дорогая игрушка!

Диапроектор был с настоящей электрической лампой внутри, с увеличительным стеклом в объективе, а к нему в придачу несколько коробочек с квадратными стеклянными диапозитивами.

Один из фильмов назывался "Три поросенка". Мы резали из бумаги входные билеты и приглашали взрослых на сеанс: дядю Колю, тетю Нину, а также Витю Паукшту, Вилю и присутствующих гостей.

Приходили дядька и тетка Сашины со своим сыном Шуркой, он был чуть моложе нас, а я запомнил лишь, что слово "шнурок" он проносил — "срунок". Взрослые повторяли это слово и почему-то смеялись.

Мои родители здесь никогда не бывали.

Показывали мы вдвоем: я подавал Саше позитивы, а он вставлял их в аппарат, а читали мы по очереди, но я чаще, Саша был на год моложе и плохо знал буквы.

Фильмы проходили довольно весело, потому что взрослые, видевшие все по многу раз, дополняли зрелище своими комментариями по поводу скажем, сходства Саши с поросенком, у него, кстати, прозвище было домашнее — Карасик... Он был толстоват.

У Воронцовых, в отличие от нашего дома, была библиотека и много детских книг, которые я перечитывал. И хоть по временам мы ссорились, и мне запрещали ходить к соседу, но наступал мир, и я снова торопливо прескакивал темную прихожую и оказывался в большой столовой комнате. Тут мы играли, стреляли из пушек, заряженных горохом.

Запомнилось и такое: дядя Коля купил елку, высверлил в стволе дырки и вставил в них ветки. Никогда не видел я, чтобы елку таким образом создавали! И когда пришел

Новый год, мы все крутились с Сашкой, все пытались понять, догадаются ли гости, что елка ненастоящая, что у нее вставлены ветки? Но никто, конечно, не догадался.

Я вот сейчас думаю, что мне еще повезло, ведь до пяти моих лет у нас в стране елка была запрещена совсем, а теперь нам ее разрешили. Спасибо Партии, спасибо правительству, всем-всем спасибо, за такой подарок... Правда, не разрешено Рождество или там Пасха, но когда-нибудь тоже разрешат, и за это тоже надо благодарить! И тогда мы уже не будем петь с гордым видом пионерские глупости, такие вот:

Что такое Пасха? Это просто сказка!

Что такое Троица? В три ряда построиться!

Что такое Рождество? Это планов торжество!

И тому подобное. Сейчас я думаю: у нас отобрали необыкновенные праздники, словно у елки срезали живые ветки, насавав в нее, как дядя Коля, искусственных веток! И вроде бы все вокруг делали вид, что так оно и нужно.

Жила у Саши и нянька.

Это было мне непонятно, потому что меня "пасли" родственницы, и я решил, что нянька — это когда худая женщина в белом платочке живет у Воронцовых, грустно поет песни на каком-то странном языке, и медленно ест, и рано ложится спать.

Но эта нянька, в отличие от других, меня не гнала.

А потом Саша поехал на Украину (Украина — это, наверное, город?) и рассказывал, что он жил в доме у няньки, а у нее такой огромный сад, а в саду яблоки "белый налив", которые, если посмотреть на солнце, светятся, и даже видны семечки.

Это было потрясающее путешествие, и я его запомнил даже по рассказам Саши. Особенно же про яблоко, которое прозрачное!

Я так ярко его представлял, знал на ощупь и на вкус, что ужасно расстроился, когда впервые в зрелом возрасте увидел "белый налив" наяву.

Но слово "Украина" вызывает у меня и другие, не пережитые мной воспоминания: после войны я узнал, что дядя Коля, как кадровый офицер, с первых же дней войны был на фронте, попал в сорок первом году в окружение, спасался на Украине у какой-то женщины и там у нее остался жить.

Да и тетя Нина с Сашей после войны поселились в Киеве, а о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю.

Так вот о няньках.

Не все няньки меня жаловали, особенно после случая, когда мы решили с Сашей научиться курить. Мы вертели — это было, конечно, в отсутствие взрослых — в трубочку бумаги, зажигали их, дымили и потом засовывали под диван. Как мы не сожгли дом, Бог знает. Но потом это открылось, нас обоих отлупили, а мне надолго было запрещено у Саши бывать. Из этого можно сделать вывод, что заводилой в таких опасных играх был, наверное, я.

Мы даже шайку свою организовали (наслышались от старших), но только не знали, как это делается, и решили поискать атамана.

Наконец атаман на задах за огородами нашелся.

Его обнаружил Саша и позвал меня. Атаман звался Игорем и умел ударом валить наземь. Сашку он повалил еще до встречи со мной. И Сашка сказал: "Игорь, повали Тольку!" Игорь подошел ко мне, неожиданно наступил мне на ногу и резко толкнул. Я упал. "Так-то!" — сказал Игорь, а Сашка за ним после этого повторил: "Так-то!" Было решено, что Игорь станет атаманом. Но Игорь пропал, и шайка наша развалилась.

В войну мы не играли: мы от голода, брошенные в Северокавказских степях, сбивались в шайки и грабили дома. От тех пор у меня осталась одна лишь вещь — финка. Настоящая финка, с кожаным чехлом, с эбонитовой ручкой и острым стальным жалом. У финки этой одна особенность: она создана хорошим мастером для детской руки.

Какое-то время нянчила Сашку его родная бабка. Она была внешне похожа на дядю Колю, но много толще.

Запомнилось, что она была сердитой и хромой. Это сразу нас навело на мысль, что она ведьма.

Мы даже рассказали по секрету Шашиной маме, тете Нине, но она лишь посмеялась. Ведь это была, насколько я теперь понимаю, ее мама.

А мы ей рассказали, как мы выглядывали в окно, когда бабка ушла на станцию, и следили, и ее вовсе не было на дорожке. А потом она вдруг появилась в доме. Спрашивается, как же она сюда попала, если не на метле?

Мы с Сашей и метлу изучили, но никаких улик не обнаружили, кроме двух застрявших окурков.

В темные вечера, когда метались тени деревьев и завывал ветер, мы подглядывали, когда бабка уходила на



кухню. Мы были уверены, что она опять колдует, и оттого — гудит за окном.

А однажды кто-то из нас вышел в прихожую и увидел, как из-под сундука торчал палец! Мы, визжа, бросились в комнату и издалека, из-за двери, стали показывать взрослым на этот торчащий палец, но оказалось, там валяется картошина, беловатая, длинная картошина, по форме, и правда, похожая на палец, если еще на нее смотреть в полумраке и ждать всякой чертовщины от Сашкиной бабки.

О прихожей, кажется, я не говорил: она разделяла наши комнаты и была забарахлена не меньше чулана. Тут стояли диван, комод (однажды мы сделали с Сашкой парашют из газеты и прыгали с этого комода), сундук... Еще была кухонька, где стояли наши и наших соседей керосинки. Насколько я помню, взрослые уживались на ней, и ссор никогда не было. Хотя теремок наш был набит доверху, у нас семь человек, да у Воронцовых шестеро.

Кроме Саши, его бабки и родителей, как я упоминал, здесь жили два брата тети Нины: Витя и Виля. Мы их так и звали. Витя был футболистом, вообще физкультурником, нашей общей забавой было катание у Вити на шее, и когда он ходил на руках. Еще он показывал нам "Москву", приподнимая над полом за виски. Кажется, Витя работал на Ухтомском заводе сельскохозяйственных машин, и оттуда, с соревнований, он приносил всяческие значки: "Ворошиловский стрелок", "Будь готов к труду и обороне" (ГТО), какой-то санитарный значок и так далее. Все эти значки Витя на работе "никелировал" (наверное, он работал в гальванопластике?), и они сверкали, как золото. Мы нацепляли их на грудь и носили, хвастая друг перед дружкой.

А временами Витя загадочно подзывал нас, уводил к себе в комнату, она соприкасалась с нашей через стенку, и там учил разным песенкам. Именно с тех пор я запомнил: "Возле дома, где большой фонтан, чернобровый шустрый мальчуган, рядом с Лелей он стоит и что-то шепеляво говорит..." В общем, он обещает, что вырастит и отрастит, как у Вильки-дворника, усы...

Виля, брат Вити, работает шофером. Он частенько приезжает к дому на грузовой машине и один раз даже нас покатал. Был случай, когда он оставил работающую машину на улице, а сам ушел, а она сама поехала, без него. Я всегда подозревал, что она может поехать, и вот это случилось! Мы закричали, Виля выскочил и успел машину остановить.

Еще запомнилось, что Виля был добрый, покладистый и, кажется, пьющий. Думаю, что в семье Воронцовых он считался неудачником.

А тетя Нина читала стихи: "Елки-палки, лес густой, ходит Витька холостой, когда Витька женится, куда Вилька денется!"

"Елки-палки" мне представлялись похожими на рисунок на воронцовском чайнике заварном: китаец идет среди треугольных пагод, и под ногами у него эти самые "елки-палки".

А Витя, как я узнал после войны, женился на моей однокласснице Вере Овчинниковой.

Это поразило меня.

Я один-другой раз встретил ее на улице, потолстевшую, грудастую, почти даму, а мы-то, ребята еще, оставались щупленькими недоростками!

Теперь о хозяевах.

Это было большое семейство: сам хозяин — дядя Ваня, хозяйка — тетя Таня, в молодости, видать, красавица, но и в то время, когда их помню, она была привлекательна.

У них было два сына и вроде бы еще сыночек, Ванечка, который рано умер; я запомнил — у Гвоздевых траур и маленькая крышка гробика, стоящая перед дверью.

Шурка и Вовка с нами не дружили, они были много старше нас. Еще когда мы бегали дошколятами, Шурка уже был подростком и увлекался, я это отчетливо помню, радиотехникой. Он дарил нам "золотце" — фольгу от конденсаторов, от которой чем-то остро пахло.

В начале войны он ушел на фронт и не вернулся. Перед войной он женился на тихой темноволосой женщине, у него остался сын, которого звали Шуркой.

С Вовкой вышло иначе. Он был лет на пять старше нас и в войну связался с какой-то бандой. Когда после войны я вернулся в родной дом, Вовка только-только вышел из заключения. Работать он не хотел, а посиживал, задумчивый, на лавочке перед домом. А потом пришла милиция и снова его увела: ограбление уже здесь в Люберцах. Дядя Ваня хлопотал, а тетя Таня плакала.

Еще была у Гвоздевых бабка с парализованной ногой и рукой. Мы ее побаивались. На грядках, отгороженных железными полосками с дырочками, бабка собирала клубнику, а мы через дырочки смотрели на нее. Иногда она давала нам ягоду или зеленый огурчик. Вовка же собирал красную клубнику напоказ, ел ее с грядок и никогда не угощал. Ему нравилось подразнить мальчишню.

Однажды мы с Сашей решили зарыть клад. Мы вырыли ямку около сиреневого куста, высыпали туда все свои сбережения из наших копилочек, а потом накрыли фанеркой и присыпали землей. Уверенные, что найти клад не может никто, похвалились Вовке, что у нас есть теперь свой клад.

Он моментально сообразил, где искать: взял палочку и стал ходить по саду и постукивать по земле. За пять минут он отыскал наш клад (мы выглядывали из окошка), выгреб все, что там было, и ушел в магазин. Мы, конечно, подняли вой, побежали жаловаться родителям, те в свою очередь Гвоздевым, и Вовку заставили вернуть деньги. Но он вернул лишь медяки, заявив, что это все, что там было.

Особенно почему-то Вовка любил издеваться надо мной. Он звал меня Космырем (не знаю, что такое), а еще Бесом. И читал стихи: "Вьются бесы, мчатся бесы в поднебесной вышине..." Он уверял, что это про меня, а я верил. Но вообще, на клички не обижались. За мной тянется целая цепочка кличек, некоторые из них я помню: Пристав, Приставка, Суфиксов (это от фамилии), Настырный, Летун, Туся, Москвич (в значении нарицательном), Наивняк, Бженокгий, Молокосня и т.д.

В этом месте, наверное, стоит перебросить мостик от своего дальнего детства к детству других, скажем, нынешних, которые носят имя **люберов**.

Странное словцо, корявое, тупое, безграмотное, но и вправду в этой тупой неповоротливости таящее нечто грубое, как тычок кулаком в поддых: **лю-ю-бер!**

**Люберы!** А не "люберчане", что смягчало бы не очень благозвучное это название, и не "люберецкие", нечто поселковое, от заводской провинции.

Люберы — ровесники моему, описываемому мной отрочеству. Они спортивные, они сомкнуты, сцеплены единой целью, а цель их — бить других, таких же молодых, как они, но желающих думать и жить иначе. Их программа "очистить" Москву от скверны: от не похожих на люберов ребят. Да и только ли ребят? Волчата вырастут, отточат зубы, тогда и всем другим, разным и по-разному думающим, от них не сдобровать!

Родились мы и выросли в Люберцах,  
Центре грубой физической силы,  
И мы верим, мечта наша сбудется,  
Станут Люберцы центром России!

Я тоже родился в Люберцах, и про физическую грубую силу не по слухам знаю. Когда Гвоздев Володька отобрал

наш "клад" и прожрал его на мороженом, это было нормально. Потом цыганенок с соседней улицы украл у меня на пруду майку. Он и избил меня, поджидая у колонки. Это в восемь лет.

Бил меня и Купец, он жил у кинотеатра, а Купцом звали его за толстую харю, он вообще бил тех, кто слабей. Однажды мой отец гнался за ним по огороду, заметив, проходя с работы, как меня преследуют.

Но ведь и отец бил меня не раз. За то бил, что водку ночью не захотел доставать, и за всякое другое. Сложенные вдвое провода от плитки были моим судилищем. Я их до сих пор помню.

А после войны в деревянной уборной нарсуда на меня свалилась доска, прямо на голову. Это меня подкараулили соседские подростки, трое, я и штанов надеть не успел! Они подперли дверь и сбросили доску на голову. А потом продержали час или два и предупредили: попадусь в этом месте, прибудут. А туалета ближе не было. И я уже стеснялся ходить в траву за огород.

Драки были в городском ("Глазовском") саду и особенно в поселке имени Калинина, где жила заводская молодежь. В этих драках и погиб от ножа один из сыновей моей крестной тети Шуры — Лялька.

Да только ли в Люберцах! У нас и дорога была не легче: я говорю про Рязанку. Пролетарская дорога, и районы рядом далеко не интеллигентские, а больше от пригородов и от черной косточки. Среди станций своим насилием особенно выделялись Новая, Перово, Косино, Панки, Томино, Малаховка, Быково, Отдых, Фабричная, Раменское...

В Ухтомке на улице моему отцу пробили голову, он и не знал, кто это сделал. О многом другом я писал или напишу. И если я обозначил как основу именно физическое насилие, то всякое прочее тянется следом, и в этом плане я такой же **любер** конца сороковых годов... Я их первый росток, невзрачный, никем не замеченный, скованный своими малыми возможностями, самосеянец на обочине люберецкого тротуара, где формировались наши души. Формировались, так будет точнее.

## ЧАСТНИКИ

Что касается вообще частной собственности, то с ней я столкнулся лет шести-семи, когда надергал на огороде

у соседей Сютягиных картошки. Семейство Сютягиных жило в Люберцах против нас, мать и двое дочерей, Шура и Валя. Шура постарше, а Валя моя ровесница. Было у них и хозяйство: корова, свиньи, куры и позади дома огород. Вот там-то я и выдернул несколько кустиков розовой скороспелки и, набрав в детскую корзиночку до верха, так, что сыпалось по дороге, притащил домой. Ужасно, помню, был горд, что первый догадался о том, где нужно брать картошку, мои почему-то покупали ее на рынке и жаловались на дороговизну. А мама болеет, а денег нет.

Завидев картошку, мама в страхе бросилась к окошку, чтобы убедиться, что никто не видел моей кражи. И тут же, не медля, велела отнести картошку обратно, вывалить ее на землю. Быстрее! Быстрее! Если бы можно мой позор зарыть, она бы и это велела. Только бы подальше от позора! И я отнес. Потом уже, проходя по тропинке, мимо сютягинского огорода, я долго натыкался глазами на преступную кучку картошки, побуревшей и, судя по всему, никому не нужной.

Не нужной, но чужой! Вот что я запомнил на всю жизнь. И еще я запомнил, как мама поменялась в лице, как она побледнела, и засуетилась, и бросилась к окошку: не дай Бог, люди сочтут нас ворами, да ославят на всю улицу! Как будем жить!

К счастью, никто не увидел, не узнал. И так сошло с рук мое первое воровство. Потом-то, в детдоме и в тыловых скитаниях, чтобы выжить, мы не стеснялись, брали то, что плохо лежит. И что только не приходилось таскать, куда мы не забирались! Однажды из здания техникума украли восковые муляжи! Но вот многие и многие приключения с изъятием чужой собственности забылись, а самая невинная, с десятком клубней, помнится до сих пор.

Это была первая встреча с частной собственностью.

А далее, в школе, в пионерлагере и везде, везде так же крепко, как мамин окрик, внедрялись в мою душу слова о вредности частной собственности, о кулаках-мироedeах и капиталистах, которые являются мировым злом, и от этого тяжело живетс я рабочим и трудящимся. А в нашем новом и светлом мире собственность вообще должна исчезнуть и выкорчеваться — вот словечко того времени — из жизни и из нашего, разумеетс я, сознания.

Нашего, прежде всего. Мы — дети, надежда, мы олицетворяем завтрашний день мира, где не будет ничего личного, а все коллективное, общее.

Думаю, что мы были к этому готовы. Наша семья, например, являла образец такого рода: у нас не было ничего, даже дома, даже угла своего, а мебель самая обыкновенная, необходимая. Да вот часы. Они вызывали у меня особенно пристальное внимание: дверца у них на крючочке, и два отверстия для ключа на белом циферблате. Если в одно отверстие вставить ключ, то заводится пружина часов, а в другое — пружина боя. Так пояснил отец, но заводить не разрешал. А когда дома никого не было, я открыл дверцу и нашел внизу ключ и сам завел часы. Они заводились туго и пощелкивали. А потом я нашел еще один рычажок, сбоку за циферблатом, стоило его коснуться, как часы начинали шипеть, а потом отбивали время. Таким образом я понял, что количество ударов можно регулировать как хочешь, я как бы овладел секретом времени.

Прекрасное заблуждение.

Отец недоумевал вслух, отчего часы все время сбиваются с боя, отчего они отстукивают не свое время. Я в это время обычно смотрел в пол. Я-то знал, верил: они отстукивают мое время. Я даже помню, что я ставил побольше ударов. Мне казалось, чем больше бьет, тем лучше. Или я торопил часы?

Чуть позже, как символ достатка, появился радиоприемник под названием СИ-235. Первый советский ламповый приемник, он был гордостью нашей семьи. На него приходили смотреть соседи. Приличного размера коробка, вертикальной формы, из темно-синего дерматина. Две ручки по бокам, громкости и тона, в центре еще одна крошечная, под светящимся окошечком, ее повертишь, и в окошечке повернется барабан с цифрами: настройка. И тут же язычок рычага — длинные и короткие волны.

Приемник берегли. Вообще берегли, а от меня тем более. Его поставили на высокую полку над диваном, а накрывали кружевной накидкой. Но я при отсутствии взрослых, ясное дело, забирался на спинку дивана и оттуда ухитрялся крутить маленькую ручку, ловя эфир. Заманчиво было заглянуть в окошко, чтобы точно узнать, откуда исходит голос, но окошечко было крошечное, а приемник высоко, так я и не смог рассмотреть говорившего.

Вся эта собственность, повторяю, кроме комода, размещалась на тех же семи метрах, но наша комната не выглядела бедно, она была украшена кружевом: и кровать, и стол, и спинка дивана, и, уж конечно, приемник, мама замечательно вручную вязала кружева! Ее работы

я узнавал и через десяток лет после ее смерти в соседских домах и у дальних родственников. Сейчас я думаю, что вязание кружев не было для мамы целью как-то прикрыть нашу бедность. Да мы и не числили себя бедными! Отставленная от работы из-за болезни, а работала она ткачихой, мама как бы доказывала себе и другим, что она способна что-то делать. Не просто делать, а творить! Ибо на ее роскошные покрывала, белую пену из кружев приходили любоваться люди и незнакомые, такое это было искусство.

Из сказанного становится понятным, что наши соседи Сютягины, у которых я украл картошку, были частниками, не уважаемыми и даже презираемыми общественно, ибо с их частнособственнической психологией в те годы все кругом насмерть боролись. Хозяйка, тетя Оля, безмужняя, с утра до вечера с двумя старшими дочерьми Шурой и Женей ишачила на огороде, зарабатывая тем, что продавала на рынке всякую зелень и картошку. А еще квашеную капусту, а еще свинину, когда резали кабанчика под Новый год. А Валька, младшенькая, моя ровесница, разносила по домам в крынках и бидонах молоко. Приносила она молоко и в наш дом.

Еще большими частниками были наши хозяева Гвоздевы. Дом, где мы жили, был их собственностью. Это открытие меня тогда прямо-таки потрясло. Все люди как люди, и даже Сютягины в своем доме не ахти какие буржуи. Большая часть Люберец состояла из таких домиков. Но этот-то дом не одноэтажный, а двухэтажный! И несмотря на это — собственный, такое в голову не могло прийти! Было у Гвоздевых и свое хозяйство со скотиной и огородом, а в какие-то времена, по-моему, была и лошадь. Телегу во дворе у них, под которой жила собака Рынька, я, во всяком случае, помню. А в саду, за железной оградой из дырчатой жести — отходы со свалки завода Ухтомского, — росли пупырчатые огурчики и красная мясистая клубника. Володька, гвоздевский сын, поддразнивал нас, аппетитно поедая красные ягоды в то время, как мы глазели на него через дырки! Собственность, в данном случае Володькина, и оттого еще более ненавистная тем, кто ее не имел.

Был у Гвоздевых подвал, где спасались мы во время ночных тревог в сорок первом году. Запомнилось, что кроме рухляди, бутылей и корзин, хранились в том подвале картошка и яблоки, кадушки со всякими соленьями, засушенные в пучках укроп и петрушка, и прочие травы, подвешенные под потолком.

Я вспомнил этот подвал, когда впервые увидел погреб, вырытый моим отцом. Пройдя длинный жизненный путь, отвоевав, с начала, всю войну, отец на пенсии соорудил из обломков кирпича с ближайшей свалки домик, а потом и этот погреб. Не такой, конечно, как у Гвоздевых, поскромней, как у большинства из тех, живших полусельской полугородской жизнью в предместьях Москвы и питавших небогатый стол плодами своего труда.

Но, полагаю, путь к своему дому, своему хозяйству, начался у отца много раньше: он был сам из смоленской деревни, и от тех времен, от хозяйства отца с матерью, а то и деда, вросло ему в память, в понятие, в ту самую частнособственническую психологию, что хозяйство есть неперенная принадлежность любого исправного мужика, мужчины, хозяина. Если, конечно, тот хозяин уважает свои руки и свою землю, на которой он трудится. Не может нормальный здоровый человек не иметь дома, двора, живности разной и уж, конечно, погреба, где солились бы в укропе и смородиновом листе огурчики, буроватые, толстокожие, остропахнувшие помидоры, капуста шинкованная с морковью и яблоками, да и сами отдельно яблоки, налитые, золотисто-влажные, тяжелые, замоченные на меду.

Яблоки отец снимал с веток, никому не доверяя, сам, и лишь с южной стороны дерева, а каждое яблоко клал так осторожно, чтобы не могло оно побиться, иначе при мочке загниет. И вид будет не тот, и вкус.

Вот так у отца было.

Странной показалась мне мечта иметь посреди огорода прудик с карпами, не из военных ли впечатлений, побывав в Европе, он тот прудик вывез? И хватило же его вырыть такой пруд, даже стены обложить кирпичом и забетонировать. Только не стала в нем вода держаться, и пришлось отцу переделывать свой пруд в теплицу.

Был и еще опыт, из неудачных, когда завел он какую-то особую породу цыплят, а они выросли размером со страусов, сожрали весь огород, всю зелень и уж до соседей добрались! Отец рассказывал, как он вылавливал их, подползая и накидываясь, как на врага, и тут же душил, а для верности совал головой в кипяток! Он и вправду испугался, что голодная птица, одичав, заклюет однажды его самого.

Главное же, к своему личному хозяйству, то есть собственности, от которой в юности так скоропалительно бежал в город, отец вернулся не только из-за крестьянс-



кого происхождения, хотя и это существенно, и тем более не от избыточного времени пенсионера.

Многолетний опыт жизни, складывающейся драматически, сам привел отца, как и маму, к желанию узнать, почувствовать себя вне общественной сферы, которая как бы отвергала их, а тут, в домашних условиях, на своем личном участке, где человек единственно, как выяснилось, может ощущать себя хозяином.

Запомнилась мне история из давней поездки на Смоленщину, когда вместе с отцом и дядькой Викентием повезли железные кресты на могилу бабки с дедом. А случай такой. Ехали полем, и дядя Викентий попросил вдруг остановить машину. Вышел и побрел куда-то в глубину поля, чуть наискось, странным зигзагом, по видимой только ему одному бровке, потом вернулся, и мы поехали дальше. И уж после долгого молчания он произнес, что здесь (здесь!) была его земля. Пятьдесят лет прошло, помнил! И бровку помнил, которой нет. В ту давнюю пору из-за этого клочка земли да лошади он "вышел замуж", то есть ушел в примаки, взял фамилию жены. А потом попал под раскулачивание, сбежал в Смоленск и проработал тридцать молчаливых лет, до пенсии, чистильщиком паровозных котлов. А когда я, в недавние уже времена, где-то в книжке об этом рассказал, дядя при встрече незлобно упрекнул меня, что де, вот, раскрыл тайну его раскулачивания и бегства, а не придут ли, да не вспомнят ли ему нынче давние грехи!

До чего же надо напугать мужика, что и через полсотни лет, тоскуя по несуществующему ныне клочку своей земли (ясно же, что это за клочок, если обошел за десять минут!), он затаивался, скрывая свое мужицкое происхождение.

А что касается часов, отец их повесил в новом доме рядом с немецкой литографией: прекрасная золотокудрая фрау, повернувшись к нам спиной, возлежит на скале, на фоне лесистых альп.

Дежурная шутка отца: "Повернись же!" Это он ей, в подпитии, когда хочет показать, какой он еще ого-го! Бабник! "Ну повернись!" — кричит ей. А я все не могу отвести глаз от часов. То, что они проходили до меня сто лет, как-то мало ощутимо, а вот что я помню их, сколько помню себя, и что знаю тайну их боя, это уже серьезно. И это волнует.

Догадавшись, что часы меня волнуют, отец вскакивает и достает какой-то медный механизм и громко, почти крича, поясняет, что это запасная к часам пружина. Конечно,

и старая еще работает, сто лет как работает, но когда она выйдет из строя, то вот! Он от других таких часов достал! Еще, значит, на сто лет!

Я киваю. Сроки для меня необъяснимые, недоступные для ощущения. Но отцу почему-то механизм запасной нужен. Он сам похож на эту пружину: сто лет стучит без отдыха.

На своем участке он живет по часам: встает в пять, ложится с темнотой. Уже в апреле у него загорелое лицо и шея. И с детства памятно: открываю глаза, маятник отсчитывает шестой час, сладко спать, самый сон, а на дворе отцовский топор стучит: тюк да тюк.

Такие вот часы.

А в деревне на Смоленщине особенно от отца досталось дальнему родственнику Мишке, у которого мы остановились. Отец прямо-таки затюкал его своими разговорами о земле, отчего, мол, он, первый человек на селе, у которого и трактор-то ночует у дома, не хочет запахать лишних несколько соток из огорода, чтобы посадить поболее картошки? Отчего не расчистит болотце за домом да не сделает купальню? Отчего, отчего... Вот в прошлый год отец, погостевав у Мишки во время отпуска, сколотил баню на огороде, а Мишка ту баню взял зимой да спалил, разобрал на дрова. Все ближе, чем везти из леса. Хоть тот лес начинался от порога.

Но у Мишки на все один ответ: "А зачем?" Зачем ему лишняя картошка, если и этой много? Зачем ему баня, если у свата есть? Зачем ему купальня, ему и купаться некогда!

— Да и неохота возиться, дядя Игнат! — приговаривал он посмеиваясь.

Ясно видно, что ему и впрямь неохота, молодому, выросшему тут, на этой земле, пахать эту землю и сажать картошку.

— Это вам, городским, дядя, в охотку, оттого, что вы там по квартирам сидите. Накопили сил, вот и жируете! А нам это ни к чему!

— Нет, Михаил, не скажи, — сердился в споре отец. — Вы какие-то остывшие, вот что я скажу! А мы, так еще не остыли!

— Ну, я и говорю, что законсервировались, — твердит Мишка. — Вот вернешься, и приказывай на своем огороде. А я тут у себя — хозяин!

— Да не хозяин ты! В том-то и дело, что не хозяин!

— Это как посмотреть!

На том спор прекращался. Каждый был при своем.

А мне осталось додумывать, а что бы случилось, если бы отец оказался при этой земле? Не остыл бы он? Так ведь жизнь остужала.

## ОТЕЦ

Вся дорога Рязанка — это и его дорога, более даже, чем моя, потому что и началась она ранее, когда меня не было. Отец семнадцатилетним деревенским парнем прибывает сюда на работу. Работы нет, на бирже труда очередь. Отец мне показывал в Люберцах дом, где стоял он, как и многие подобные ему, в очереди, чтобы записаться на работу. Шел двадцать седьмой год.

А пока сколотили плотницкую артель, строили, подрабатывали.

Великой удачей своей молодости считает он случай, когда купил задешево на рынке штаны и разыграл их в бригаде, и, опять же, они попались по жребию ему самому.

Итак, отцова Рязанка: ее можно было бы начать в Москве. Тут он работал на военном заводе, неподалеку от Красных ворот. В предвоенный какой-то год нас привозят из пионерлагеря. В лагере тоже играли в войну, игра называлась: "Захватить флаг". Красные и белые, кто у кого раньше захватит. А захватывает рыженькая девчушка Аня, и в пионерской стенгазете вешают ее портрет и рассказ помещают: "Как я захватила вражеский флаг". А я такой тихоня, я и Женя Князев. Нас никак не могут поделить, мы, ясное дело, вражеский флаг не захватим, а мешать во время борьбы и захвата будем и даже очень. И тогда из нас создают "санитарную команду", которая должна кого-то там лечить среди боя.

Мы бродим с Женей Князевым, он испуганный и хуленький, в шапочке с козырьком, и никак не поймем, что же за "война" вокруг нас, что все бегут, кричат и что-то завоёвывают. Но никаких раненых или убитых, конечно, нет, и делать нам нечего. Я никогда не узнаю, как сложилась жизнь этого Жени, именно как она сложилась в войну; а вот я много раз ощущал себя после в такой же

непонятной обстановке, но было пострашней — кругом бежали, кругом стреляли и падали, но уже по-настоящему.

Но это не о себе, а о времени, оно пахло прямо-таки порохом, подступающей к нам войной.

Вот привозят нас из пионерлагеря к стенам завода, и мы, выстроившись перед родителями, тут и мой отец в спецовке, орем изо всех сил песню: "Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны, в строю стоят советские танкисты, своей любимой родины сыны!"

Нам горячо аплодируют, еще и потому, что на заводе делают как раз эти танки. А отец — мастер по их приемке.

В Москве живет дядя Егор, старший отцов брат. Он участвовал в первой мировой войне и был отравлен газом. Из плена он привез немецкое золотое пенсне, и хоть зрение у дяди Егора самое наилучшее, он надевает это пенсне, с мутными стеклами, для красоты, когда приходит к нам в гости. Они с отцом выпивают и ссорятся из-за политики.

Итак, начиная от Москвы, тянется ниточкой отцовская Рязанка.

В Сортировочной и на Новой, куда мы ездим иной раз с отцом в баню, всюду у него дружки и приятели. В Косино живет тетя Поля, и до ссоры с ней отец ездит к ней в гости. В Ухтомке он выбирает первый наш домик, личный, а не какой-то там съемный, как в Люберцах. Но и Люберцы — не чужая сторона, отец здесь начинал свою сознательную жизнь и однажды на бирже получил направление на завод Ухтомского.

И далее Панки, где отец познакомился с моей мамой, и Томилино, последний его приют. По этой дороге отец провозжал нас в Сибирь, по этой же уходил сам на фронт.

Если бы отец захотел написать свою "Рязанку", она получилась бы куда выразительнее того, что могу рассказать я.

Его дорога легла на самые тяжкие годы: первая мировая война, НЭП, коллективизация, индустриализация, вторая мировая война — Отечественная. Это была дорога мужика, рабочего, солдата. Вот работать отец умел, да как! Я его так и не видел никогда отдыхающим. Моя жена, бывало, приговаривала: "Эх, тебе бы да такие руки!"

Впрочем, недавно то же самое я услышал от жены моего сына, но уже про себя и про свои руки. Но я-то знаю, что я лишь подмастерье в сравнении с отцом. Однажды он воспользовался моей помощью, понадобилось написать письмо в ЦК.

Но и только. В моей помощи он не нуждался и никогда ни о чем не просил. Это я нуждался в нем, в его помощи. То самогоночки нагнать, то стеллаж для книг сделать, или совет какой насчет хозяйства или покраски, и тому подобное.

Году в шестьдесят пятом, впервые после войны, съездили мы с отцом на его родину, на Смоленщину, чтобы поставить бабке и деду железные кресты, их сварил из арматуры сын дяди Викентия. И потом мы еще ездили на Смоленщину, в Белый Холм: отец прощался.

В те годы, после войны, когда отец привел в дом мачеху, было мне семнадцать лет...

Все осталось по-прежнему. Никаких отношений с мачехой не возникло, мы остались равнодушными друг к другу. Отец прожил с ней несколько лет. Теперь он поднялся на ступень выше, по той административной лестнице, которая, по всему моему убеждению, была противопоставлена природному чувству достоинства, присущего нашей фамилии.

Раз шагнув на нее, эту лестницу, из-за жилья (не от того ль мы быстро получили комнату с огородом?), отец не смог вернуться, а ведь он был рабочий человек, он умел работать, а не администрировать.

Теперь он получил власть, у него появились кабинет, печати, знакомства. Он и сам изменился, эти изменения оказались заметными у нас дома.

В то время было еще голодно, мы сажали в огороде лук для себя и на продажу. Потом в нем уже не было необходимости, но он заполнил половину огорода, потом три четверти, а потом... однажды утром отец срубил малину, освобождая землю. Срыл могилку Джека.

Как-то очень легко, без сожаления он рубил малину, приговаривая, что она только занимает место. От лука хоть доход есть. Есть выгода, а малина что...

Я смотрел и думал, что отец изменил не малине, изменил себе, своему прошлому, Смоленщине. И хотя теперь он мог возиться в огороде, он был дальше от Смоленщины, чем когда-либо прежде. Он сам ходил торговать своим луком, он делал это так же умело, как все остальное. Он приговаривал: "Мичуринский лучок, специальный сорт!" И люди покупали у него. В ту пору слово "Мичуринский" имело особый смысл и было у всех на слуху. Среди всех конъюнктурщиков, использовавших это словцо, отец был, возможно, самым незначительным. Но был.

Я зарабатывал сам на жизнь, с тех пор, как пришел из детдома. Я не зависел от отцовского лука. Слушая разговоры между ним и его друзьями о всяческих подвохах, подсиживаньях, о блатах и устройствах, я ненавидел весь его мир работы, круг его знакомств, личных и деловых. Лица его сослуживцев казались мне подлыми и пропитыыми, в кабинет отца я заходил, чувствуя брезгливое отращение ко всем и ко всему, к столам, к чернильницам, к жирным мухам на стекле.

Мне казалось, что воздух там протух, и я старался побыстрее выскочить на свежий воздух.

По ночам отец бредил заседаниями и конференциями. Иногда вскрикивал: "Строгий выговор с предупреждением!.." И просыпался, испуганный. Все катилось навстречу каким-то неприятностям, которые он, наверное, предвидел, но не мог предотвратить. Пил он теперь все время. Это было оглушительное пьянство.

Потом наступил крах. На работе и в личной его жизни.

У него проворовалась на работе бухгалтер, которую он мог и должен был контролировать.

Его сняли.

Мачеха, неделей раньше или неделей позже, точно сейчас не помню, подала на развод. Отец оставил ей комнату с садом и снял комнату в городе.

Два дня длилось заседание партгруппы, где обсуждалось его персональное дело. Припомнили ему все: и лук, и пристройку, и аморальность в семейной жизни. Все, что было и чего не было. Тут уже сводили счета все, кому не терпелось.

Абсурдность многих обвинений выводила отца из себя, он спорил, он восставал, он обличал тех, кто прежде с ним выпивал, а теперь хотел утопить.

Его должны были исключить из партии, но он отделался строгачом. Он сбросил тридцать килограммов — с девяноста до шестидесяти, стал худым, как мальчишка, только совсем седой мальчишка. Жил он тогда на чужой квартире, искал работу. Звонил друзьям, знакомым, всем, на кого мог рассчитывать.

Ему никто не помог.

Не бросил отца только один человек, гораздо моложе его, двадцатипятилетний парень.

Я не хочу пока называть его настоящего имени, но я сохранил благодарность к нему. Даже не за отца лично, а из-за чувства справедливости — я не разуверился в лю-

дах. Этот парень помог устроиться отцу в газтресте слесарем. Ему поручили оборудовать газовый техкабинет, первый в Московской области. Я часто в те дни бывал у отца, я видел, какие чудеса творил он в очень просторном сыром подвале, создавая свой техкабинет. Творил на пустом месте, без чьей-либо помощи, все он доставал и делал сам.

Он не стеснялся приходиться к старым своим знакомым и кланчить материалы, отходы, битый кирпич. Он оштукатурил с подсобным рабочим подвал, настелил линолеум и поставил лампы дневного света. Оформил каждый стенд, повесил светящееся табло, подсоединил и заставил действовать газовые макеты и аппараты. Он создавал свой техкабинет, как некогда первое жилье, все своими руками, потому что он умел делать все. Мне казалось, что отец в ту пору много передумал о жизни, он хотел честно отработать выговор, восстановить для себя самого доброе свое имя.

Тех, кто его судил, он постарался забыть так же, как те забыли о нем.

Я вспоминаю отца этой поры. Я никогда не видел его таким великодушно-большим, худым и счастливым. Он ловил знакомых, приводил в свой подвал и приказывал: "Смотри!" У него было вдохновенное лицо создателя, и мне было странно видеть в нем такие перемены. Теперь мне казалось, что отец будто бы помолодел, стал лучше понимать мои мысли, в нем появилось сочувствие. Я думал, что отец, такой отец, не порубил бы из-за лука малину. В нем ожило давнее чувство везучести.

Беда пришла неожиданно, я не уследил, когда это произошло.

В благоустроенный техкабинет стало ходить теперь газстроевское начальство с одной целью: выпить и погулять. В кабинете заорал магнитофон, мешками скапливались бутылки, появлялись и исчезали женщины.

Отец пробовал протестовать, если не слушали. Он написал о безобразиях в трест — его уволили.

Официально он еще не числился начальником техкабинета. Его уволили как слесаря, не справляющегося со своим делом. Он писал письма в райком и обком партии, ходил на приемы, рассказывал, объяснял, горячился, доказывал...

Не доказал.

Последнее его письмо было в самую высшую инстанцию, в Центральный Комитет Коммунистической партии.

Это была не просьба. Это был крик.

Я помню, как перепечатывал это письмо и у меня болело сердце.

Я понимал, что отец пошел на последнее средство, потому что для него обращение в ЦК равносильно обращению к Богу. Ни на что уже не надеясь, ни во что не веря, он все-таки, как и я, ждал ответа на письмо: от него зависела судьба отца. Но ничего особенного не произошло. Письмо, как и следовало ожидать, переслали по адресу критики, то есть в райком, а потом в трест, и разбираться с жалобой назначили т. Васильченко и т. Мокротова.

Отца снова выдернули в райком, там произошел жесточайший суд. Ему кричали всяческие оскорбления, над ним попросту издевались. Он вышел оттуда, не чувствуя себя, слег и пролежал много месяцев.

Вот откуда начинается его эта неизлечимая болезнь. Наши болезни...

А я не знал, не умел ему помочь. Я только помню свое мстительное чувство по отношению к тем, чьи фамилии были в письме, к этим самым Васильченко, Мокротову, Супрунку, Митину, Тихонову, Гордюхину А. И., Епифанову, Валуевой, Архиповой, Алимову, Артемьеву...

Мне надо было запомнить их, чтобы после, когда я стану сильным, очень сильным, я смог бы прийти в их дом, разыскав их, пусть даже на пенсии (как приходил к своим врагам униженный герой Дюма), и спросить, глядя в бесцветные пуговицы глаз: "А вы не помните, случайно, Виктор Яковлевич, некоего мастера Игната Петровича? Ну, того самого, которого вы убили... И вы, Мокротов, и другие?"

Я бы медленно, нарочито спокойно, достал бы все солдатские награды отца, его медали за взятие Бухареста и Будапешта, его благодарности от товарища Сталина на фронте, потом я достал бы это письмо в ЦК и в конце концов — свидетельство о смерти.

А этот благостный старичок все крутил-винтил бы беззубой челюстью, все врал бы и выкручивался, косясь на своих внуков, как бы они не услышали о такой грязноватой деятельности их честнейшего деда. Его и ему подобных.

Они-то, если посудить, и были прототипы тех люберов, которые сегодня исповедуют право сильного. Да и у кого же было учиться, если их папочки на их глазах (и на моих, и на их тоже) творили беззаконие и самосуд над всеми, кто не хотел быть в их шайке!



Теперь-то, небось, высовываясь из своих крысиных нор на улицы, они кроют этих люберов последними словами. Они пишут в районную газету письма, жалуются: куда же смотрит люберецкая милиция!

Вот когда жизнь им аукнулась. Изобразила им в зеркале собственный — только помолодевший — портрет.

А может, он спился, этот Васильченко В. Я., и сдох под забором, и его покарала сама жизнь?

Я не стану разыскивать этих людей, хотя это несложно было бы теперь сделать.

Они, при всей их ничтожности, лишь составные звенья общего механизма, его рядовые винтики, роботы, рабы, послушно исполнявшие свое дело.

Но в ту пору отец еще верил в справедливость и в высший суд ЕГО партии, а вслед за отцом верил и я.

Ах, как я хотел бы, чтобы они поняли, что, сломав отца, они и мне надломили тогда хребет.

Впрочем, надлом произошел еще раньше, в тот день или вечер, когда, нарушая партийную дисциплину, отец принес домой письмо Хрущева о культе личности. Он зачитывал это письмо на работе, но не положил его в сейф, как положено, а захватил для меня на одну ночь. Но что это была за ночь! Я сидел над этим письмом и плакал, как маленький дурачок, читая о миллионах убитых и загубленных в лагерях. Эти, нынешние, сами убивали и сами теперь об этом рассказывали, спихивая свои преступления на товарища Сталина, родного и любимого! Он же был в крови у меня, как же так за одну ночь его изъять из себя, из своих клеток, составной частью которых он стал?! "Мгновенье, и радость прорвалась лавиной: объаты единым порывом души, единой любовью, желаньем единым встают делегаты, и воздух дрожит, биенье сердец, находящихся в зале, слилось в один торжествующий ритм: слово имеет товарищ Сталин, Сталин с народом своим говорит!" "Сталина слово — бесценное слово, Сталин сказал, значит: сбыться тому! Вот почему беспредельно готовы верить ему, подчиняться ему..." и т. д. Это мои стихи о нем.

Я вышел утром с покрасневшими глазами, еще сам до конца не понимая, что я вышел другим человеком; и отдавая отцу красненькую лощеную папочку, я спросил подавленно: "Пап, как же дальше?" Я еще не ведал, что это вовсе не вся правда, а лишь маленький ее краешек. И отец не смог ответить на мой судорожный, на мой отчаянный вопрос, он лишь торопливо положил в свой портфель папочку и на ходу, не глядя мне в глаза, произ-

нес (я запомнил, что он не мог смотреть мне в глаза): "Не знаю. Я сам ничего не пойму. Мы ведь с его именем (он не назвал Сталина) шли на фронте в бой... Да мы же все делали вместе с ним..."

Хрущев обличал Сталина, но отца-то сломали при Хрущеве.

Отец купил себе на отшибе, рядом с грязной свалкой, сарайчик-развалюху и своими руками, набирая битый кирпич на свалке, сложил себе последний в жизни дом. А в доме повесил на стене старинные, не врущие часы. Часы показывали его время.

И погреб вырыл, крепкий, просторный, и газ сам провел, и скважину для воды сам прорубил, и асфальт на дорожки настелил, и забор поправил... И лук посадил, и сделал многое, многое другое. Работал он слесарем, истопником, дворником, сторожем.

Отец не хотел больше работать на НИХ, он работал лишь на себя.

Указывая на свой, ухоженный с годами огород, на сад, он произнес однажды: "Я вот тут для себя строю свой коммунизм".

Он-то думал, что они оставят его в покое. Не тут-то было! И соседи, и милиция, и всяческие исполкомовские комиссии все время топтались у его дома, выясняя, какие у него доходы и почему он продает лук. На четырех отцовских сотках этого лука родилось в сто раз больше, чем на близлежащем колхозном поле. И на огородах его соседей. И уже одно это было подозрительно.

Теперь отец умирал.

Он лежал в той больнице, в Панках, где умирала и моя мама. Я запомнил с детства окно на третьем этаже, куда меня приводили для свидания с ней, а она мне улыбалась и кидала конфеты, которые она сама есть не могла и для перестраховки ошпаривала. Эти конфеты, как только мы отходили от окна, у меня взрослые забирали и уничтожали: туберкулез — болезнь заразная!..

А потом отца отдали нам, и он лежал в доме у сестренки Люды, он еще не знал, что дни его сочтены. Однажды, это было, наверное, в начале мая, он попросил свезти его в свой дом. Сам попросил.

Вместо почты, где ему надо было получить пенсию, он сперва попросил довести его до пивного ларька.

Людин муж Павлик побежал, но вернулся огорченный: "Такая очередь!"

Отец нашел в себе силы, вылез, доковылял до ларька и вернулся благостный: выпил кружку пива!

Дома его не узнала собака, облаяла, и он огорчился. Мы вынесли ему табурет, и он сел, опираясь на палку, прямо посреди огорода, оглядывая свои посадки, на лук смотрел, на цветы, на деревья... Вдруг произнес: "В субботу поеду продавать". А Людин муж Павлик только хмыкнул про себя, качнув головой: "Вот порода! Одной ногой там, а ему надо лук продавать!"

Минут пять он так сидел и попросил: "Хочу спать".

Прилег в своем доме, немного поспал, проснулся и опять вышел посмотреть на свой огород.

Люде он сказал: "Не забудь полить лук". А Люда (на нервах вся!) ответила: "Пап, да польем! Не беспокойтесь вы!" И тогда он тихо попросился: "Домой хочу". Называя домом уже не этот, родной свой дом, а тот, где лежал у Люды. И пока Люда с Павликом хлопотали по поводу отъезда да собаки, которой надо оставить варева, он снова пристально разглядывал свой огород. Странно поворачивая голову, смотрел, будто заново его видел.

А я подошел, заглянул в лицо, и вдруг тут, при солнечном свете, увидел его глаза! Они были затравленные, не земные. Ушедшие куда-то в глубь себя, в свою боль.

Мне показалось, что они будто бы побелели, выцвели, две роковые льдинки. Да нет, не льдинки, а пропасти, покрытые белесым туманом, и дна не видно. Белые бездонные провалы, а в них боль и тоска.

Я сказал "затравленные", но может быть, безысходные, вот какие. Я вдруг вспомнил, как отец рассказывал про товарищей на фронте: в роте сразу догадывались — кто погибнет! У них за несколько дней до гибели глаза, выражение глаз менялось, и кругом говорили: "Этот готов".

Я в эти дни уезжал. Когда я стал прощаться, отец махнул рукой: "Иди!" На кровати ему уже больно было спать, он и ватник под себя подкладывал, и поролон, а теперь мы привезли ему кровать с пружинами, как он просил. Он стоял, смотрел, как Павлик стелит ему поролон, и мне рукой махнул: "Иди".

Так он простился с домом, он любил его страстно, сильно, как любят последнее, что осталось.

Я вспомнил, как он в деревне, у себя на родине, хозяйствовал на чужой, как он называл, усадьбе. Стол на дворе построил, баньку начал строить, и косить ходил, а там, где были травы какого-то Лизочкина, он все мял, все нюхал

траву и удивлялся, почему же при Лизочкине росла трава, а теперь, когда она колхозная, не растет.

А если ехали мы по мостку, сложенному из случайных бревен, то выходил и сам этот мостик поправлял. И опять удивлялся, отчего же всем наплевать на мостик-то, ведь ездят же, можно для себя сделать.

Он был хозяин, может, как мне казалось, последний хозяин на российской земле.

Той ночью мне приснился старый вол, который почему-то вез в упряжке автомобиль. Лаковый, черный, похожий на довоенный "зисок". На повороте автомобиль занесло, и он застрял на обочине. А вол повалился рядом. Я подошел к его труп, стал трогать облезлую шкуру, а он вдруг зашевелился и стал подниматься. Я обрадовался, жив, стал гладить по шее, его морду, вот ведь животина, вот уж вечная, неизносимая, так подумалось, и вдруг почувствовал, что он своим копытом тоже гладит меня. Я так поразился, что проснулся и долго лежал, ощущая это прикосновение: вол меня погладил копытом.

Я вспомнил сон, но это никакой не символ, еще не хватало, видеть символические сны! Рассказал я лишь потому, что увидел это после встречи с отцом. А потом на юге в доме отдыха получил телеграмму, чтобы немедленно выезжал, что все плохо, и, едва достав билет (для этого надо было перепрыгнуть через себя!), я прилетел в Людин дом. Там уже была вызванная телеграммой тетка Аня. Мне рассказали, что ночью отец, пытаясь встать, упал и сильно расшибся, не ел он уже дней десять.

Мы сидели в соседней с ним комнате и тихо разговаривали. Это уже были разговоры о его похоронах. О том, что же надо подготовить из одежды. Люда достала белой материи у солдат, тюль, тапочки купила. Это не Москва, тут сразу не закажешь. А вот костюм ему был великоват (теперь великоват, раньше был нормальный), да и ношенный. У него все вещи-то разокрали. Что ни подарим, как придут выпивохи, он с ними напьется и спит, а они берут, что можно. Люда увидела у отца старенький чемоданчик и купила новый. Он два дня носил, а потом приходит, а в руках опять старый, а нового уже нет. И с бельем, и с тарелками так. Что ни принесешь, пропадает. А костюм-то ему надо бы другой, хотя некоторые так делают: распарывают спину, ее-то все равно не видно, важно, чтобы на груди было как положено.

А тетя Аня сказала: "Костюм должен быть новый, даже арестантам умершим новое выдают".

А я вспомнил, как у одного знакомого редактора, хорошего родителя, подсчеты на столе увидел: гроб — 90 р., тумба — 5 р., обмывка — 10 р., венок — 15 р., рытье могилы...

Ужасно. И еще ужасней, что мы это при живом человеке планируем вслух: а он тут же, в соседней комнате, он еще все понимает! Он живет и вовсе не хочет умирать.

Когда я вошел к нему, я увидел, бросалось в глаза, что глаза еще больше ввалились и еще сильнее побелели. Руки усохли, стали как детские, и ноги усохли.

Под копчик резиновый надувной круг подложен, так больно ему лежать.

Сейчас он был похож на смертельно раненное животное, с трудом нас узнает. Но увидел тетю Аню и понял все. И тут же замахал испуганно рукой: "Рано! Рано приехала!"

А потом, когда Люда помогла ему повернуться, он прошептал: "Я доживу до клубники".

Мы уж обыскались, чтобы достать на рынке этой клубники, а с юга я не догадался захватить...

Так мы сидели, разговаривали, а Люда еще сказала: "Он Павлику вдруг говорит — "Я тебе, Павлик, пятьсот веников в наследство оставляю". А у него и правда весь чердак забит, он их по рублю у бани продавал. Один раз у него по пьянке кто-то захотел вырвать, а он не отдал, и его избили... Господи, сколько же раз его били..."

На другой день тетка Аня по телефону сообщила, что пошла горлом кровь, значит, теперь скоро. Люда просила сидеть и ждать. Вызвали "скорую", они приехали, сделали укол — и украли две ампулы наркотиков.

Кто-то предложил привести начинающего экстрасенса, он обещал убрать боль. Я приехал, увидел — шарлатан. Он упражнялся на моем умирающем отце, потом потребовал, чтобы его отвезли на машине в Пушкино. Я отвез его туда. Выходя он, двадцатилетний лохматый хлыщ с наглыми глазами, спросил невинно: не могу ли я завтра в двенадцать дня снова приехать за ним? Я послал его... Я закричал на него так, что, думаю, он испугался. Во всяком случае, он точно решил, что я сумасшедший.

Потом я искал отцу костюм. Обошел весь центр и на улице Горького купил болгарский, в полосочку, он даже мне понравился, такой шикарный импортный костюм. Подумалось: ему бы живому такой костюм подарить! Кассирша, веснушчатая мордашка, когда я выбивал сумму, пред-

ложила: лотерейный билетик не хотите на счастье? Я помотал головой: уж какое счастье — костюм для умирающего.

Потом я ходил по городу с этим свертком, и несколько раз мне попались знакомые, и каждый почему-то, глядя на сверток, спрашивал: "Обарахляешься?" Я отвечал: "Да". Не мог же я всем говорить, что несу костюм, купленный для покойника, который еще не покойник, а мой живой отец.

Вечером, когда я приехал к Люде, она сказала, что несколько раз в бреду он кричал слово "Увольте!".

— Увольте? — спросил я.

— Ну да, кричал "Увольте!" Наверное, просил отпустить его.

Просил отпустить. Будто с работы просил отпустить! Господи! Неужели же и сейчас еще он числил себя в рабах у государства?

Когда я к нему зашел, он вдруг впервые меня узнал. Не поворачивая головы, он почувствовал меня и назвал по имени. Я приблизился. Он протянул руки и потрогал меня, а я, наклонясь, взял его за плечи. "Он с тобой прощается", — тихо произнесла Люда. Я тоже с ним прощался. Я подержал руку у него на груди, слыша отчетливо, как трепыхается, как неровно стучит, словно просится наружу, его сердце в высокой, теперь уже очень высокой из-за опавшего живота, груди.

А он сразу устал, отпустил меня и уснул.

Люда вышла, а я еще стоял над ним, рассматривая его лицо. Он стал на кого-то похож, но я никак не мог понять — на кого, пока не понял: на мужика, виденного мной однажды в смоленской деревне, на завалинке.

И особенно похож оттого, что он сильно зарос бурой щетиной.

Так вдруг и подумалось: мужик умирает.

Родился в деревне, хоть большую часть жизни прожил в городе, вот ведь вернулся на круги своя.

Я еще в деревне во время поездки отмечал, что у него и говор свой, смоленский, к старости стал появляться, и видом он обратился к своему началу.

Был у отца дед, а мой прадед, Василий, на Крымской войне медаль получил: уложил в рукопашном бою несколько врагов. Но вернулся в деревню, к земле, и умер в девяносто лет. Отцу было тогда семь. А у Василия были дети, и среди них Петр и Лавр. Петр, мой дед, всю жизнь крестьянствовал, в столыпинские времена был выделен на

хутор. А рядом был хутор отца Александра Твардовского. А Лавр погиб в войне с японцами, защищая Порт-Артур.

У деда Петра было пять сыновей: Егор, Степан, Викентий, Федот и Игнат, мой отец. Егор воевал в первую мировую войну, был в плену у немцев, жизнь свою доживал в Москве, работал на заводе. Степан погиб в Отечественную, его дети живут в Смоленске. А дядя Викентий, я уже рассказывал, как его раскулачивали, умер уже недавно, года за три до отца. И его дети работают и живут в Смоленске. Вот и мы с сестренкой у отца тоже городские люди. Выходит, посчитать, потомство от корня прадеда Василия немалое, а у земли-то никого не осталось.

Теперь старался я охватить, запомнить отца в его последних, я знал, днях. А охватывать-то уже и нечего. Одна боль, и ничего кроме боли. И уж сквозь эту боль брезжит что-то, какая-то дальняя мысль, которую он и сам и мы уловить уже не можем.

И так понятны, так объяснимы привычные слова: устал от боли. От страдания. От ожидания, когда же оно кончится.

— Увольте! — просит. — Увольте!

Люда, и от той-то уж ничего не осталось, усохла вместе с отцом, едва ходит, полуживая от усталости. Но бодрится. Смотрит, не надо ли помочь. Поперву-то отец стеснялся, гнал ее, когда вставал мочиться, а теперь уже не гонит, спустит ноги, упрется в стол руками, еще сильными руками, это видно, а ему баночку подставляют. А в баночке водичка, чтобы не видно было, что ходит он кровью. И опять надувной детский круг под зад, а уже и зада-то нет, странно, два кулачка вместо него, так, наверное, выглядели дистрофики в сталинских лагерях.

Ехал я на машине, солнце закатывалось, было мягкое легкое предвечерье. Гуляли женщины с колясками, копались на огородах мужчины. Все было, как было. А рука еще сохраняла это странное ощущение, как через кости, без мяса, билось его сердце. Умирал мужик и солдат, которого миновала за всю долгую войну вражеская пуля. Помнил я его рассказ о том, как через Волгу, через Каспий везли их на Кавказ на баржах, и началась холера. Трупы сбрасывали в воду, и к берегу не разрешали подходить. И они гибли, и буря их трепала, а берег все не брал к себе.

В ночь на 21 июня я лег поздно, и спал нервно, и просыпался, а под утро, не знаю, сколько было времени, подскочил от нахлынувшего страха. А днем пришла телеграмма из дома: "Отец ушел". Так написали, ибо в наших телег-

раммах, не заверенных врачом, нельзя писать о смерти. Но в этом знаке — "ушел" — был какой-то особенный, глубокий смысл.

Уволили, значит.

А попал к нему лишь на кладбище, его схоронили рядом с моей матерью, в ее условной могиле. Положил цветы, открыл бутылку пива. Половину отлил ему, а половину выпил. Ухватившись за железную оградку, как за бортик на раскачивающемся корабле, я бездумно куда-то долго плыл.

Люда рассказала мне дома, что не ел он ровно двадцать четыре дня. Ей показалось, что он мог бы есть, но не ел, будто специально не пускал в себя пищу. Она сказала: "Был почти всегда в памяти. Иногда взгляд останавливался не на мне, а будто за моей спиной. Казалось, что он там что-то рассматривает. Я спрошу — пап, ты что? Молчит. Если о чем-то спрашивал, то лишь об огороде, почему не едем, почему не поливаем лук, как бы не пропал! А за три дня до смерти позвал маму".

— Какую? — спросил я. — Нашу мать? Или свою?

— Не знаю. Но несколько раз повторил: "Мама". Потом он попросил сделать ему баню. Но чтобы не я, а Павлик. Дошел он до ванной сам. Постелили на дно одеяло, он лег и не хотел вылезать. Еще попросил вина. Я сбегала под закрытие, нашла "Салют". Он выпил чуть-чуть, его вырвало. А в ночь перед кончиной он перестал стонать. Я спрашиваю: "Пап, что-то надо?" Головой качнул. И так непривычно: молчание на всю ночь. А до этого кричал, я боялась, как бы соседи не пожаловались. Павлик стал собираться в семь на работу, а я говорю: "Подожди. Не уходи, это будет скоро". Но он не мог не идти. А в восемь часов отец ушел...

Я бросилась звонить. Потом мы его обмыли. Стали одевать, пока он не окоченел. Надели белую рубашку и костюм тоже надели, жалко было, что потом надо будет костюм, такой новый, разрезать. И сразу приехали от бывшей жены. Начали ходить по участку, спрашивать, нельзя ли дочку тут прописать? Это так страшно! Не на похороны, а на участок прибежали.

Во время поминок Люда сказала: "А знаешь, как он обычно питался? Консервы какие-то рыбные ковырнет и так оставит... Он ведь очень очень одинокий был..."

Она сказала и посмотрела на меня, наверное, мы одновременно вспомнили тот случай, когда отец перепутал все



дни и решил, что мы не приехали к нему на день рождения — второго января. Он тогда сидел у окна и пил. Он выпил две или три бутылки, а мы, пройдя через калитку, все удивлялись: белый снег без следов! А он увидел нас, но уже не мог встать. Он заплакал, стал уверять, что уже третий день мы не едем, а он решил сжечь себя водкой... Так, плачущего, и усадили за стол, закуску и шампанское мы всегда привозили с собой.

Люда показала мне его записную книжку. Там было заполнено всего три странички:

Стояло: дочь. И адрес. Потом — сын. И адрес. Потом слово "приятель": Иван Иванович Ильичев, мы его не знали. И тетка Аня с сыном. Вот и весь круг отца. А еще в записной книжке вложена была бумажка с молитвой, старая такая, потертая бумажка, кажется, он ее еще с фронта хранил.

Я спросил Люду:

— Значит, он верил?

— Нет, он не был верующим, — сказала она. Потом добавила: — Но молитву хранил.

Была у отца когда-то навязчивая мечта — найти клад. Теперь такой же мыслью обуян Павлик. Ходит по отцовскому дому, а сам нет-нет и постукивает по стенке, по подоконнику, даже во сне к отцу обращался, выпрашивал: не осталось ли что-нибудь, дед? Павлик моего отца дедом звал. А отец будто бы ответил: "Со мной". Что бы это значило?

А Люда сказала:

— Да отвяжись ты со своим кладом! Я каждую ночь молила его присниться, чтобы спросить, как ему там? И он вдруг приснился. Идет по улице в коричневом полушубке, молодой, красивый, веселый, а в руках, хоть и зима, у него красные помидоры.

Я сказал, что у отца до войны был лохматый коричневый полушубок. Да вряд ли Люда могла его помнить, ей тогда было пять.

А Павлик опять о своем, мол, что же это означает, что он так сказал: "Со мной". Может, он хотел сказать: "Надо мной", или "Подо мной?". Ну, то есть там, где он спал? Ведь не могло же у него совсем ничего не остаться, кроме веников?

А Люда тогда сказала: "Он пил, вот где его деньги".

— А остальное? — спросил Павлик. — Вот один человек умер, а потом у него нашли, в стеклянной банке.

— Привязался, — крикнула Люда. — У него на книжке были четыреста рублей, вот и все! И хватит об этом!

Она рассказала: случай был, это уже в его последние дни, когда ночью он встал, решил сам дойти до туалета, да в темноте не рассчитал и стукнулся об угол шкафа. Упал, и все от удара проснулись, бросились поднимать, а он в крови!

Теперь вот временами они ночью всей семьей просыпаются от такого стука: будто он снова в темноте задевает угол шкафа, раздаётся удар тела об пол, а потом вскрик. Все, напуганные, вскакивают, зажигают свет, конечно, никого.

— И часто? — спросил я.

— Нет. Бывает, неделя или больше спокойно, а потом снова грохот... Я не одна, мы все трое это слышим.

— Но, может быть, за окном?

— Нет, в комнате... Мы же знаем этот звук!

— В памяти? А не в комнате?

— Но просыпаемся-то мы все... — и добавила, помолчав: — Странно, что он сюда приходит. Не в дом свой, который любил, а сюда. Но теперь стал приходиться реже.

А потом он и мне приснился.

Едем в автобусе. Мы, наверное, совсем уезжаем. И последняя мысль, что я не запер квартиру и вещей не взял. Прошу подождать, бегу наверх и первое, что вижу: топится печка. Как же я ее брошу, если она еще топится? Так дом бросать нельзя! Почему-то подумалось, что отец затопил печку, а сам ушел... (Значит, это дом отца? Значит, он не умер, если он затопил печку?) Прибежал приятель (он к чему в моем сне?) и стал ругаться, что я всех задерживаю. А я пытаюсь ему все объяснить, про печку, про отца, только очень путано у меня выходит, да и он не слушает, исчезает.

А потом я проснулся, кажется, рассвет был, старинные часы тикали в тишине и рядом лежал отец. Я не вижу, а лишь чувствую, что это он. Я прислонился к нему щекой, и так тепло, так легко мне стало. Удивительное чувство близости, особенно во время полета. А полет такой, что не надо ни отталкиваться, как бывает, ни взмахивать руками. Мы распростерлись с ним где-то на уровне третьего этажа, и серые одноэтажные домики внизу, и провода, а в проводах, я хорошо разглядел, человек застрял. Мысль мгновенная, тоже летел, но не увидел проводов! Я еще на него оглянулся, неудобно как-то улетать, когда он, черным пятном в проводах, как муха в паутине.

Еще запомнилось, снег наискось, в глаза, но он не сплит и не холодит. И вообще, нет чувства озноба, а только легкость и сильное чувство близости к тому, кто рядом. Потом я услышал, хоть это вслух не произносилось: "Подожди, сынок, мне тут нужно".

И сразу же мокрый, но не холодный асфальт под ногами. И тот, который отец, ушел, унося старинные часы под мышкой. Загнать, что ли, решил. А я подумал: "За чекушкой ушел, выпить ему захотелось. Часы сейчас загонит и выпьет..." И сон пропал. А чувство полета осталось.

Хочу напоследок привести такое письмо.

"Уважаемый Анатолий Игнатьевич! Случайно взял в руки журнал "Огонек", я прочитал вашу статью "Отец" и вспомнил все мои прошедшие молодые годы. Я тот самый инженер, которому Вы выражаете чувство благодарности. Вашего отца я узнал, когда он работал председателем горкома профсоюза в г. Люберцы. Не знаю почему, но он мне представился Сергеем Петровичем. С тех пор у нас с ним завязались товарищеские и дружеские отношения. Я был с ним по духу и по крови родным. Вы очень справедливо и объективно описали те годы событий.

Махротов (а не Макротов, как Вы пишете) умер вскоре, как мы заселились в собственно построенный жилой дом Горгаза на ул. Мира в г. Люберцы. Васильченко, Тихонов — умерли, Супрунюк (а не Сапрунок), Митин — на пенсии. Я дружил с Вашим отцом до 1967 года. В 1967 году я уехал в Ярославль. Приезжал в Томилино неоднократно. В то время у них складывались плохие отношения с Машей, у них родился ребенок.

Писать больше не могу... Он был моим товарищем, другом, почти отцом. Теперь откроюсь, кто я — Попов Владислав Михайлович, живу в г. Калининграде..."

## МАМА

Я возвращался с кладбища, с моего позднего прощания с отцом, ступил на люберецкую платформу и замер, натолкнувшись на пустоту: вокзала не было. Лишь груды кирпича да экскаватор, с грохотом зачерпывающий обломки, все, что оставалось от вокзала. Рядом открытая железнодорожная платформа, над ней реяла красная пыль.

А за вокзалом, уже не существующим, открывалась непривычная для глаза панорама: рельсы, изгороди, скры-

тые до сего дня, а далее вдруг — и сам город, с его новыми кварталами домов. Вот теперь-то я бы точно указал место нашего дома, если бы его тоже не снесли.

Кстати, я его успел застать, случайно, конечно, перед самым его уничтожением, это было в шестьдесят первом или шестьдесят втором году.

Уже не помню, почему мы сюда с женой пришли, может, ехали от сестренки или отца, и вдруг озарило: вот же дом, как не зайти!

И мы зашли, двери оказались открытыми.

Как выяснилось, хозяева, дядя Ваня и тетя Таня, собирали вещи. Им давали квартиру в новом большом доме, но тоже по Куракинскому — как сказал дядя Ваня — переулку. А мне он почему-то сказал: "Я думал, тебя зарезало поездом!" — Я спросил: "Почему же вы так думали?" А он, усмехнувшись, седой-седой такой, но глаза молодые, быстрые, я вспомнил, что он работал бухгалтером в магазине, сказал: "Да слух прошел... А ты, вишь, обьявился! Долго жить будешь! А вот дома скоро не будет... Не жаль?" — "Не знаю", — ответил я. "Ну правильно. Но если захочешь, заходи, мы тут рядом поселимся, я тебе подарю фотографию этого дома".

Я пообещал зайти, но вот так и не зашел, все некогда было.

А дома, конечно, жаль. Не вообще дома, а того Дома, который был в моей памяти, куда реальней этого, пустого и уже ничейного.

Я заглянул в чулан, тоже теперь пустой. В нем висели спортивные кольца Вити Паукшты, которого надо бы нам с Сашкой называть дядей Витей, но мы его так не называли. Он был дядей моего соседа Саши, а еще был Виля, тоже его родной дядя, но сейчас я о чулане.

В этом чулане, довольно просторном, несмотря на его забарахленность, мы спали летом: тетка Поля, Вера, Тонька и я.

Девки все были молоденькие, говорливые, и я поневоле наслушивался массу самых невероятных историй, обычно криминальных, об убийствах и тому подобном, именно то, что любят рассказывать на ночь, под темноту и обязательно шепотком, по секрету.

Вся эта уголовщина, услышанная, но еще и увиденная в кино, странным образом трансформировалась в моей памяти в почти что реальные картины.

Сюда же добавились впечатления какой-то, по случаю, занесенной книги.

Своей библиотеки у нас не было, вообще не было ни одной книжки в доме. А я рано научился читать, много раньше школы, причем сам, без чьей-либо помощи. И сразу прочитал эту книгу. А в ней невероятные страсти, кто-то кого-то полюбил и убил, а потом на землю сыплются трупы в мешках... С ума сойти!

Я до сего времени не могу понять, что же это за книга такая, в которой с неба сыплются трупы в мешках... Но было же, было! И я подсказывал по ночам и что-то орал, очень смеша моих молоденьких и дурашливых родственников. Их это здорово забавляло!

Вот они ведут меня на вечерний сеанс (не с кем оставить, потому что мать в больнице), и я смотрю фильм под названием "Соловей-соловушка — буйная головушка".

Может, и названия такого нет? Я после, например, не встречал.

Но помню, что в фильме пьяный, а может, и не пьяный, но он почему-то стоит у дома и кого-то зовет, кажется, свою девушку, а из окон со всех этажей в него летят тарелки... Сотни, тысячи тарелок.

Возможно такое — даже в кино?

Под впечатлением ли фильма, или ночных секретов моих девок, но только навсегда остается в памяти, что комедия — это когда летят тарелки, а значит, это страшно.

Сейчас-то мне самому смешны мои страхи. Я люблю смотреть комедии, люблю посмеяться. Может, и летящие тарелки в ту пору у кого-то вызывали смех?

А вы попробуйте заново-то произнести слово: ко-ме-д-и-я, жесткое, деревянное, как темный к-о-м-о-д, стоящий в чулане и потрескивающий в темноте ни с того ни с сего.

Вот почему в глухом чулане, просыпаясь от позднего прихода девок и слыша их громкий шепот: "Ох, девки, какую комедию я нынче видела!", — я в страхе утыкался в подушку и закрывал глаза. Я знал, что это ужасно, это страшно. И лучше заткнуть уши, что я и делал.

Но бывали случаи, меня заставляли спать в чулане одного, и я плакал и не хотел идти, а отец меня выгонял и запирал в доме дверь!

И все страхи, что налипали на меня в течение совместных тех ночевок, вдруг проявлялись, и в похрустывающих звуках чулана, всех его нагромождений, в беспросветной темноте, потому что ни окон, ни лампочки тут не было, мне чудились привидения и мертвецы, и я спасался в глубинах подушки, замерев от страха.

Оттого слово "чулан" для меня равносильно слову "комедия" — они оба из моего детства и оба темного цвета.

Эти бы страхи в войну, когда мне было десять — двенадцать лет, и я уже ни черта, ни дьявола не боялся, и в такие мрачные дыры залезал, и в таких черных подвалах, в катакомбах жил, в древних армянских склепах, мертвецов повидал, даже спать приходилось рядом...

Этот чуланчик в ту пору мне счастливым сном казался!

Немного о Рязанке, о той, что была шоссейной дорогой. Она, как и железная дорога, не могла не пересечь наши жизни.

Куда бы мы ни шли, в магазин ли, на рынок или за мороженым, ее нельзя было миновать. Она и в ту пору была очень шумной дорогой, по ней ездили машины и телеги, много еще телег. Под одну из них я попал.

Кажется, я бежал в магазин и на перекрестке влетел под задние ноги лошади с телегой.

Возчику заорали, он испугался, натянул вожжи (наверное, я это знаю из много раз повторяемого рассказа взрослых), и телега, уже успевшая разок меня переехать передними колесами, снова, но уже в обратном направлении, меня переехала. К счастью, голова моя не попала под те колеса.

Меня выволокли наружу и положили наземь, на обочине. Я был без памяти. Но чувство, когда я очнулся, я помню так же хорошо, как помню в подробностях весь этот эпизод. Я лежал на спине и видел толпу людей надо мной, но почему-то ничего не мог понять: зачем я тут лежу, и зачем эти люди, и почему они на меня так странно смотрят.

Потом подъехал какой-то мотоцикл с коляской. Меня приподняли, попытались уложить в коляску, но я вдруг пришел в себя и закричал, упираясь ногами в борт коляски. Меня отпустили со словами: "Он же цел!" — и я бросился бежать домой. И уже около дома увидел, как навстречу несется мама, но не ко мне, мимо меня, куда-то к Рязанке, к перекрестку. Я кричу ей: "Мама, я здесь!" А может быть, еще: "Я цел!" Но она хоть и слышит, но продолжает бежать дальше, а в глазах ее безумный страх.

Рязанка делила город на две половины, но она же его соединяла. К центру от нас дома были высокие, каменные: Мосторг, Гастроном, Пожарная команда, Горсовет...

Я пишу с большой буквы, потому что они были для нас не просто зданиями, а местами, отмеченными нашим осо-

бым к ним отношением. Но после всех этих домов шла длинная заводская стена, а за ней лишь находился поселок Калинина, где жила моя крестная: тетя Шура Шлейн. Тетя Шура работала на фабрике-кухне, у нее были два мальчика, оба старше меня: Сергей и Лялька. О них я запомнил лишь, что однажды они ехали с отцом на велосипедах, все трое, и их сбила машина. Тут на Рязанке.

После войны я видел однажды Сергея на катке. Он вернулся с фронта и, надевая коньки, говорил мне, что забыл, как надо ездить.

А потом мы встретились с тетей Шурой возле кладбища, несколько лет назад. Я бы ее не признал, но сестренка Люда, памятливая на лица, остановилась и меня подзвала.

Тетя Шура грустно поздоровалась и произнесла, что была на могиле своих ребят: оба лежат тут... Один умер после войны — Сергей, а Ляльку зарезали.

А я вспомнил, как однажды, года в четыре, я ушел пешком к своей крестной, нашел ее дом и ее комнату. Я бы, наверное, и сейчас нашел: второй дом с левой стороны, первый этаж. У них еще жила испанка-девочка, которую тетя Шура удочерила. Эта девочка работала на заводе, там же, где и муж, и дети тети Шуры, и случилось — волосами попала в станок... Лежала в больнице...

Так вот я появился у тети Шуры, а она удивилась, всплеснула от неожиданности руками, а потом накормила и отвела домой. Здорово мне тогда влетело. Но я гордился, я чувствовал себя таким героем, когда мои родители рассказывали, что я сам ушел в другой конец города к тете Шуре Шлейн.

А вот страну изъездил в войну и на крышах, и под вагонами, на каких только полустанках не жил, а никому это не было в удивление, и самому не казалось чем-то ненормальным... Подумаешь, махнуть с санитарным поездом на фронт, а потом куда-нибудь за Урал!

Случилось, бродя по Подмосковию, забрести мне однажды в поселок Калинина, в дом к моей крестной. Дома ее не оказалось, а мне объяснили, что работает она тут, напротив, на фабрике-кухне. Были до войны такие учреждения. Сейчас бы назвали проще: "общепит". Тоже плохо.

Но не в названии дело. Тетя Шура Шлейн, крестная, оглядела меня не без испуга и, сунув в руки лопоту хлеба, вывела за дверь.

Я знал, что она живет среди сытости, обилия жратвы. Ибо в войну на фабрике-кухне не голодали. Да и успел

я углядет в то короткое мгновение нашего свидания, первого и последнего, что перед ней стояла тарелка с варевом... И пока она "узнавала" во мне крестника, и пока в испуге соображала, куда меня, такого ненужного, деть, она продолжала механически жевать, а я все это видел... Да что видел, у меня кишки наизнанку вывернулись, пока я вдыхал сытные запахи этой самой "фабрики".

И уж сколько после мимо ни ходил, со всякой швалью водился, и траву молодую обжевал вдоль стен этой самой кухни, но никогда больше сюда не зашел. Ни сюда, ни в дом, где жила моя крестная мама — тетя Шура.

Против поселка Калинина находилась поликлиника — большое белое здание. Меня сюда водили перед поступлением в школу брать мазки. Мы говорили: "Брать мозги". А мама моя здесь была на учете в тубдиспансере. А потом и сестренка попала, и к тому же врачу — Окшатиной, милой доброй женщине, она всех "своих" помнила и называла ласково по именам. И еще позже и я сюда пришел, и тоже попал к Окшатиной. И это как-то в моем понимании предопределяло нашу с сестренкой судьбу. Но мы выжили, а мама не выжила.

За те десять лет, что прошли со смерти мамы до нашей болезни, американцы изобрели стрептомицин, фтивазид, они-то нас и спасли.

Мама последние годы лежала в панковской больнице...

Панковская больница была далеко, очень далеко, мы туда ходили навещать маму. А вообще-то в эту левую сторону больших домов не было, ни Гастрономов, ни Мосторгов, ни Горсоветов, одни маленькие темные домишки. Да еще "Керосин".

Здесь всегда была толпа, бидоны стояли в очередь, а люди кучками, и все друг друга знали. А разливала керосин пожилая женщина с крупным мужским лицом и странными, смотрящими в разные стороны глазами. А на щеке у нее было огромное пятно-родинка с длинными волосками.

Но помню, мы ходили в Панки с мамой к какой-то бабке, которая любила пить чай из самовара, а перед ней лежал мелко наколотый сахар, поблескивая на изломе. Лишь от отца, незадолго до его смерти, я узнал, что у этой бабки мама, приехав из деревни, снимала угол, когда поступила работать на трикотажную фабрику. И отец там же снимал другой угол. Они с мамой познакомились и поженились. Наверное, здесь я и был зачат.



Умирала мама в Доме на Куракинском, я помню, как это было. Последний месяц, август, она не могла спуститься в железобетонный подвал, а лежала в затемненной комнате, обреченная и тихая. Однажды мы с сестренкой проснулись от странной паники в доме: все суетились, двигали мебель и говорили вполголоса. А мы испуганно смотрели на взрослых и не понимали еще, что пришло несчастье, несчастье на всю жизнь. И долго-долго будет следом за нами идти наша душевная беспризорщина и никем не заполненная темная пропасть внутри нас, которая у других детей заполняется лаской, любовью, добротой и делает, я убежден, человека — полноценным человеком.

Мы, то есть я и сестренка, еще не знали, какая часть живого вещества в этот момент из нас изъясась и отлетела безвозвратно вместе с душой матери. И осталась черная дыра.

Понятие вроде бы космическое, но разве наша душа это не часть космоса?

Папанька и отец сколотили гроб и на телеге по корытообразному мосту отвезли на кладбище, сюда, за железную дорогу. Шел дождь, и я сидел в головах у мамы с зонтом. Я смотрел на ее лицо и видел, как оно вздрагивает на колдобинах. А дядя Миша, Папанька, которому тоже оставалось жить два года (он умрет в той же больнице, где долго лежала мать), шел перед телегой и прикрывал голову от дождя крышкой гроба. Я знаю, что я уже рассказывал об этом. Но это во мне повторяется, как повторяется один и тот же сон. Всю жизнь я трясусь на телеге с зонтом в руках возле маминого лица, на котором застыли странно капельки дождя, и всю жизнь дядя Миша, Папанька, несет крышку гроба, прикрывая голову, а отец немного сбоку и сзади, рядом с тетей Полей и Верой... Через Рязанку, через мост, бетонный, корытообразный, ехать мне, видать, до конца жизни.

Мы потеряли за войну материнскую могилу и ухаживали за чужой.

Потерял отец, он не приходил сюда долго. Очень долго. А когда мы выросли и привели его, он указал нам материнское место, примерно, конечно, но уже кругом на крестах, на памятниках стояли все годы позднее, а сорок первого-то не было ни одного.

В недавние годы я побывал на могиле Марины Цветаевой в Елабуге и был поражен, что умерли они с мамой в один день — тридцатого августа сорок первого года. Но

могилу Цветаевой тоже потеряли, и еще был крест, который потом заменили, где стояла надпись такая: "В этом районе кладбища похоронена..."

Теперь можно сказать так и про дом, и про мое, в общем-то, детство.

В этом районе города проходило оно, в этом районе времени случилось — и так далее...

Что же осталось? Душа? Пока душа жива, мы еще куда-то едем, что-то о себе рассказываем, думаем, надеемся, что кому-то мы нужны. Может, наша жизнь еще кому-то пригодится? Ибо смысл одной жизни в том лишь, что она нужна другой жизни.

Ну, а если не нужна?

Вот однажды в лопухах возле насыпи нашел я треугольник письма. Конвертов тогда не было, мы все писали на листе и сворачивали его в треугольник, это было очень просто, наподобие того, как делают из газеты шапочку.

На конверте был адрес, на Украину, а в письме всего несколько строк, обращенных к родным, что кого-то, видимо, того, кто писал, гонят этапом в Сибирь в район Тайшета, и он верит, хочет верить, что все будет хорошо. И далее что-то про суд, про срок, мы в этом деле ничего не понимали. а в конце стояла приписка: "Тому, кто найдет, просьба отправить по адресу. Богом молю, отошлите, не бросайте!"

Да, конечно, по многим дорогам, наверное, в ту пору гнали заключенных в сталинские лагеря, по северной уж точно гнали, по Ярославке, но, думаю, наша Рязанка в этом плане была одной из главных.

А мы проходили декабристов, рассуждали об их замечательных верных женах (Некрасов!) и о кандалниках, что брели по долгим российским дорогам в сибирскую сторону, и совсем мы не догадывались, что теперь мимо нас проносятся в задраенных поездах такие же кандалники, но дорога, но вагоны скрыли от глаз прежде зримое, горе людское ушло в потаенное русло. Внутрь Рязанки, ее поездов и вагонов.

И летели, и летели поезда, такие мирные, такие романтические с дымком, застрявшим в проводах! И лишь крошечные листочки, обрывки на насыпи, но они не в силах были приоткрыть нашему глазу всю огромность человеческой трагедии этих, послевоенных лет.

Я принес треугольник домой, и отец, и сестренка, потом и соседи читали, судили-рядили, что же нам с письмом

делать. Но, помню, отец резко оборвал наш спор со словами: "Дай сюда!" — и забрал письмо в карман. Я после спросил: "Пап, а где то письмо?" — "Какое?" — "Ну то...". Отец лишь отмахнулся, мол, выбросил! И соседям так сказал. И соседи его одобрили, сказав, что так и надо поступать, то есть выбрасывать, потому что неизвестно, может, его какой арестованный полицей-фашист написал, так ему туда, в Сибирь, и дорога!

А через много лет, в застолье, отец сознался, что не выбросил он письмо, духу не хватило то письмо уничтожить, когда человек Богом молил перед гибелью. Это он нарочно перед соседями заявил, что выбросил, боялся доноса, а сам опустил треугольник в почтовый ящик и отправил письмо на Украину несчастной родне того заключенного.

Может, отец и не так говорил, да это и неважно. Я и сам к тому времени знал, что не я один, а многие находили около насыпи такие письма, и было в них одно: отчаянный крик из пересыльного вагона на свободу, наверное, без надежды, что найдут, подберут... Услышат!

Я сейчас вдруг подумал, что книга эта "Рязанка", как письмо из вагона, я ведь тоже пишу в пустоту, без уверенности, что кто-то найдет, прочтет... Что она, как то несчастное письмо, попадет по адресу к людям.

## ПРОЩАНИЕ С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ

Люберцы. Последний взгляд на себя, бывшего, из окна вагона. Я прижимаюсь к стеклу и вижу странного подростка в серой, еще детдомовской рубашке, в залатанных штанах и рваных ботинках. Сероглазый, большеротый, крошечный чубчик он зализывает на бок, чтобы было как бы взрослей.

Это я, один на весь город, в котором у меня нет друзей.

Отец однажды вечером избил меня за то, что я отказался идти в магазин за вином. Я ночевал у тети Дуси, той самой портнихи, что помогала собирать нас в Сибирь. И хоть я наутро вернулся к отцу и все пошло по-прежнему, но я уже знал, что у отца начинается своя жизнь, а у меня будто бы своя, хотя и никому не нужная.

Сестренка после операции надолго затерялась в санаториях и лесных школах. Уж как она перенесла все операции и выжила, ума не приложу.

Она прошла весь материн путь, ее резали, резали без конца.

У нее тоже все как бы начиналось сначала.

Она писала иногда мне письма, посылала открытки. На одной из них было написано: "Чувствуй всегда родную почву крепко под ногами, живи с коллективом, помни, что он тебя воспитал. Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, будет началом конца. Николай Островский".

Я верил ее письмам и Николаю Островскому.

Я искал свой коллектив.

Я изъездил всю Рязанку в поисках этого коллектива. На Электрозаводской спрашивал, на комбинате имени Щербакова.

На Сортировочной в депо.

На Фрезере на заводе "Фрезер".

В Перово на складе книжной продукции.

В Плющево — не спрашивал.

В Вешняках в Школе комсомольских работников.

В Косино на трикотажной фабрике.

В Ухтомской в теплицах деревни Кожухово.

В Люберцах...

Вам не нужен работник в коллектив? Вам не нужен... Вам...

Старик глуховатый, а может, совсем глухой, со слуховым аппаратом и микрофончиком на столе, от которого шли провода к ушам.

Спросил, сколько мне лет и что я умею делать?

Я умел выращивать яблоневый сад и ухаживать за собаками. А со времен детдома я еще умел вскрывать чужие замки.

— А часы вы ремонтировать не умеете? — спросил старик и оскалил зубы. Он еще ранее догадался, что часы ремонтировать я не научился. И даже будто обрадовался этому.

Вокруг старика были разложены часы, всякие, и они ходили.

— Я научусь! — пообещал я старику. — Я люблю часы! Я даже знаю, как они ходят! Хотите загадку, ни за что не отгадаете! Какие часы показывают в сутки дважды правильное время?

Старик ничего не ответил. Он еще когда только спрашивал про часы, щелкнул каким-то выключателем и отсоединил себя от моего голоса. А теперь преспокойно сидел и глядел прямо в мои глаза. Было понятно, что он не

слышит, но зачем он тогда на меня смотрел? Изучал меня? Ждал моих ответных действий? Или...

Я нагнулся и, дунув на всякий случай в его микрофон, добавил:

— Не знаете? Так вот знайте! Два раза в сутки показывают точное время часы, которые стоят! Между прочим!

Старик, уставясь на меня, молчал.

Сзади несильно кашлянули, напоминая, что ждут другие. Из тех, кто, как и я, пропали, искали свой в жизни коллектив, а теперь стоят в эту часовую мастерскую в надежде найти его здесь.

Я вздохнул, бросив последний взгляд надежды на его слуховую бандуру и уступил место своему сверстнику.

Почти механическим голосом старик спросил:

— Сколько вам лет? Что умеете делать?

Аппарата своего, по-моему, он так и не включил. Я вдруг понял, что он посажен вовсе не для того, чтобы выслушивать наши ответы. Его чудо-аппарат, величайшее изобретение человечества, при котором можно вести беседу, не слыша друг друга! Господи! Как это удобно, когда никто не хочет ничего о нас знать!

Кричи хоть во все горло, хоть бомбу под ухом взрывавай! Они будут смотреть сквозь нас пустыми глазами, и ни одна жилка не дрогнет! Им всем, всем просто на нас плевать! Старик в наиболее законченной форме их всех олицетворял.

Я взглянул на часы, его часы, чтобы определить, успею ли я добраться до следующего отдела кадров. Поразились: они показывали меньше времени, чем прежде? Или я забывал, или стрелки на его многочисленных часах ходили в обратную сторону.

Я рванулся в Панки: Институт угольной промышленности.

Вам не нужно...

Нет, им было не нужно.

Ни-ко-му, ни-че-го не нужно было.

Был вечер. На танцверанде в люберецком саду под занавес — так кончались все танцы — Утесовы исполняли свою прощальную песню:

Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье,  
Чем наградить вас за ваше вниманье,  
До свиданья. Дорогие москвичи,  
Доброй ночи,  
Доброй вам ночи, вспоминайте нас!

Утесовы прощались со мной, и я тоже прощался. Отец избил меня вторично, за чайник, который я по забывчивости оставил на плите, а сам ушел. Чайник кипел, кипел, и расплавился. Отец кричал на меня, ругался матом, он почему-то решил, что я это сделал нарочно.

Но может, он был прав? Если мы никому не нужны, то зачем нам какой-то чайник? Я, ни слова не говоря, вышел из дома, как мне казалось, навсегда, и пошел на станцию. Я еще не знал, что я могу сделать. Но точно знал, что дальше жить я так не буду.

В детдоме жилось хуже, но там было что ждать. Ждать конца войны, ждать отца, ждать другой, лучшей жизни. Теперь ожидание кончилось. У меня оставался лишь я, но я не догадывался, что это не так уж мало.

Я смотрел на колеса электрички, которая ко мне приближалась.

Вот так я себя и видел, прислонясь к ржавому стеклу.

Подросток внизу за окном: странен он мне с высоты лет, отсюда.

Он сейчас смотрит не на вагон, а под вагон, странная догадка возникла в его глазах — о том, что все уже кончилось и дальше уже ничего не будет.

Он идет вровень с электричкой, и я не знаю еще, что же он решит. Вот он ускоряет шаг и при этом смотрит, как зачарованный, на колеса, а поезд набирает, набирает ход.

Мне страшно за него, но в этой точке нашего соприкосновения я с ним прощаюсь!

Я говорю: прощай, дружок! Я не знаю, что ты решишь, но жить, наверное, еще стоит.

Но я говорю тебе: "Прощай!" Потому что: если мы с тобой и встретимся, то это будешь уже не ты, враждебно глядевший на людей и не понимавший того, что жить еще стоит. Стоит, несмотря ни на что, даже если ты будешь и потом, и далее, как я сейчас, всю жизнь обречен на одиночество.

Так прощай же! Прощай!

1963—1984; 1990 гг.

## Книга вторая

# Черный ящик

*Черный ящик — это объект, внутреннее устройство которого неизвестно.*

*Из научной статьи*

### НА ВЗЛЕТЕ

Двигатели взревели и перешли на свист. Только по колебаниям воздуха и гулкому резонансу в груди ощущалось, что они работают на полную мощность.

Самолет, в профиль серебристая стрела, острым носом нацеленная наискось в небо, качнулся и медленно поехал по взлетной полосе, покачиваясь и подпрыгивая на бетонных плитах.

Мы стояли в отдалении, посреди летного поля, механики, прибористы. Мы забрались в кузов грузовичка, чтобы лучше видеть, как взлетает наш самолет.

С той памятной ночи, когда его, еще без крыльев, провезли по темному городку в сопровождении милицейских мотоциклистов и водворили в ангар, наши судьбы как бы связались. Он стал зависеть так же от нас, как и мы от него.

Мы собирали его, воспроизводя в скульптуре легкрылый сверкающий аппарат, похожий на игрушку из детских снов. Мы вывозили его из ангара, вышагивая молча рядом с ним и под чужими, испытующе-ревнивыми взглядами.

Потом мы тащили его далеко, на другой конец аэродрома и запускали двигатели сжатым воздухом, а сами бежали в сторону, чтобы не попасть под огненную струю из сопел. Самолет грохотал, как тысяча орудий одновременно. Узкое рыбе туловище его содрогалось. Он потихонечку трогался, трепеща от напряжения кончиками крыльев, учился ездить.

Его поставили на бетонную полосу, и он все ускорял и ускорял ход, соизмеряя полосу со своим разбегом. И бывалые авиационники в это время останавливались и провожали самолет глазами. Они прикидывали мысленно, как-то он полетит. И — полетит ли?

Но этот день настал.

С утра, почти с рассвета, пришли мы на аэродром.

Расчехлили, почистили и поскребли его и без того чистое туловище, как коняшку перед заездом.

Приборист Юра Шаронов, я был у него учеником, самолично проверял все самописцы, включил часовые механизмы у спидоборографов — "копчущек", похожих на утюги.

Слышно было легкое тиканье. Если даже вся система приборов, включаемая летчиком со своего пульта откажет, "копчущики" автономны, они все запомнят и все запишут. Летчики отчего-то их недолюбливают.

Я для верности приложил ухо, чтобы убедиться, тикают! С тех пор, как пришел на аэродром, я во сне и наяву слышу это тиканье. Жизнь закрутилась, понеслась, и затикали мои часы.

Потом с пульта, с дистанционного управления я включил все наши многочисленные барографы, жирографы, динамографы, СОРы (самописец отклонения рулей), акселерографы и так далее, и все они жужжали, слышно было даже сквозь грохоты и шумы аэродрома.

А я в это время смотрел на стрелку электрочасов, которые вовсе не показывают время, а должны синхронизировать все приборы по каким-то своим засечкам, импульсам, идущим отсюда одновременно.

Дежурной шуткой любого прибориста для новичков было: "Эй, сходи, посмотри время на электрочасах!"

Потом на спецмашине, фургончике, похаживаем на "скорую помощь", подъехало начальство, а с ними летчик-испытатель.

Он забрался по стремянке в кабину, туда, где только что торчал я, и долго, даже слишком долго что-то делал: качал рулями, лонжеронами, а ведущий инженер Молочаев стоял на верхней ступеньке на стремянке и, перевесившись в кабину, что-то ему говорил. Потом Молочаев слез, стремянку убрали. А летчик все продолжал сидеть в кабине, и мы смотрели на него через стекло фонаря. Наконец, он повел рукой по сторонам, показывая, что готов к вылету. Юркий седой механик, которого все почему-то звали Алик,



вытащил из-под шасси колодки и побежал прочь от самолета. Последним отошел ведущий инженер Молочаев, маленький, суетливый дядька, ходивший даже в летнюю пору в теплой меховой куртке.

Молочаев помахал летчику, вскочил на подножку грузовичка — мы уже стояли в кузове, и велел гнать в КДП — к командному пункту. Там он спрыгнул, а мы выехали на зеленую траву летного поля, где-то напротив середины взлетной полосы, и стали ждать.

Было бы неправда, если бы я стал утверждать, что весь аэродром только и жил нашим первым самолетом.

Шла обычная жизнь, тянули трепещущий под ветром брезент с вертолета, везли на каре поперек стояночной площадки баллоны, крашенный в красный цвет — кислород, гоняли на разных оборотах мотор поршневого самолета, гремели, как пулеметные очереди, заклепочные автоматы из ангара.

Но мы не могли воспринимать все как обычно. Наше зрение сузилось до ширины взлетной полосы, где белые плиты стелились, как ступеньки в раскрытое небо.

Самолет медленно поехал по взлетной полосе, покачиваясь и будто расправляя затекшие крылья, когда он подпрыгивал на бетонных плитах, они мягко покачивались.

Мы замерли. Самолет уже не вздрагивал, а как бы стелился над землей, напряженно, как журавль, вытягивая шею и нацеливаясь на голубой горизонт. Переднее колесо поднялось для решающего броска в небо. Привставая на цыпочки, напрягая руки, ноги, все тело до немоты, до боли, мы всеми своими силами старались помочь ему взлететь. А он все бежал и бежал с задранной мордой по земле, оставляя тяжелый огненный след за собой, все тянулся в легкий, по утреннему прохладный воздух. И... Не взлетал!

Какая долгая полоса!

Мы были бессильны ему чем-либо помочь. Мы сделали все, что могли. Мы сможем его улучшить, "доводить", как у нас говорят, но для этого он должен сперва взлететь.

Он сам, сам обязан первый раз в жизни подняться над землей, окунуться в свою стихию и доказать, что он имеет право на жизнь в этой стихии.

Но тем самым подтвердить и наше право готовить его к полетам.

Тут все было едино, и даже зарплата моя, семьсот пятьдесят рублей — зависела сейчас от него. А может, и моя дальнейшая жизнь на этом аэродроме.

Затаившись, до изнуряющей утомительной тошноты в горле, до слез в немигающих глазах, смотрели мы на наш самолет, веря сейчас только в чудо. А в какой-то неуловимый миг он подпрыгнул так, на коротком расстоянии от земли, продолжал бежать, нет, лететь, ибо стал он качественно иным, это уже было так ясно.

Он летел, парил, отдаляясь и отдаляясь от земли, и указывая стремительно нацеленным корпусом свой дальнейший путь за пределами аэродромного поля, и леса впереди, и еще того, что за лесом, чего мы уже никак не могли знать и видеть. Самолет был выше сейчас, лучше нас, ибо он полетел.

Уже и не самолет, а сверкающая комета с горящим хвостом круто взошла вверх и пропала, оставив за собой гром в ясном небе и нас, маленьких людей на потрясенной земле.

Мы закричали "Ура".

Это вышло само по себе, непроизвольно, неожиданно.

Мы подпрыгивали на грузовике и размахивали руками. Юрка Шаронов обнял рыжего шофера Васю, а у того вдруг потекли слезы. Он смеялся и размазывал слезы грязными руками. Седой Алик хлопал, как ребенок, в ладоши и что-то кричал. Странное, наверное, было это зрелище.

— Хорош! Ох, хорош!

— Хорош, потому что взлетел! Как-то сядет!

— Да не каркай ты, все будет нормально.

— Ага. Они тоже так думали...

— Кто они?

— Известно, кто!

— Да брось ты! Говорю, не каркай!

— У меня предчувствие, ребята — будет нормально, — сказал Алик.

И все заинтересованно повернулись, потому что всем хотелось, чтобы было нормально, и о том, что может случиться, а иногда и случается, ни думать, ни говорить не хотелось.

Уставясь в небо, как бы пытаясь проникнуть за легкую дымку горизонта, мы ждали...

Но ясно, разговор, хоть и короткий, не шел из головы. Все знали, о чем, собственно, разговор, хоть вслух и не произносилось.

Недавно, прямо на этой полосе при взлете срезались винты у двухмоторного ЛИ-2, и он, едва поднявшись, рухнул на опушке леса за аэродромом. При взрыве разметало

его так, что куски искореженного металла отыскивали за несколько километров. Но искали-то мы "черный ящик", необходимый для того, чтобы узнать, увидеть записи приборов и услышать команды летчика. Что же там произошло, перед гибелью?

А на ЛИ-2 находился инженер из нашей лаборатории, Зяма Мальберг, мы видели его за какие-то полчаса до этого трагического полета.

Работники лаборатории собирались в коридорах, будто бы покурить, и вели с оглядкой разговоры о случившемся, о том, что лететь-то должен был вовсе не Зяма, а другой инженер, да он — вот повезло — неожиданно заболел, а вылет был заявлен, и Мальберг вроде бы сказал: "Ну, не пропадать же заявке! Слетаю! Это недолго!"

Оказалось, навсегда.

Ну и дальше, шепотком, что Зяма-то никогда не отказывался, ему подзаработать надо, двое детишек, молодая жена и т. д. Так ведь в лаборатории и другие бы не отказались, будь время, потому что допуск к полетам дает заработок... Летные часы и при отпуске, и при пенсии учитываются, но и допитание, и спецодежда, и все остальное... Иного не допускают на аэродром по здоровью или по возрасту, так он чуть не плачет, хочу летать!

А значит, любой бы, как Зяма, мог бы в это утро полететь, это так вышло, что он первым вызвался...

И кто-то, отшвырнув папироску, добавил со вздохом: "Авиация сокращает расстояние и время... нашей жизни!"

А другой подтвердил:

— Ну, это известно, где заканчивается порядок, там начинается авиация!

И еще кто-то в тон:

— У мамы было три сына: два умных, а третий авиатор!

И — разошлись, потому что долго не пошепчешься, засекут. А стукачей в нашем режимном институте много, еще больше, чем допущенных к полетам.

Но мы-то, мы уж ухватили, ученички, которым все внове, не зазря вертелись, наставляя уши, со словца впитывали, вбирали в себя, особенно же про порядок и про Мальберга, про то, как и почему это — страшное — произошло.

Одно дело, когда расскажут про самолет, который где-то разбился. А другое вот, здесь, сейчас, да с человеком, которого мы только что видели! Он попался нам навстречу, когда мы еще на работу шли. Веселый, круглолицый,

шагал, напевая, в одной руке шлемофон с проводками, болтающимся на ходу, в другой — прибор для испытания.

Завидев нас, выпятил толстые негритянские губы, скопил насмешливый глаз, хотел с ходу выдать остроту. Это он любил, рассказать анекдотец, прочесть смешные стишки... Сейчас он торопился и лишь пропел на ходу: "Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят..." И ухмыляясь, ушел довольный в сторону аэродрома широкой походкой, на нем была меховая куртка и теплые штаны.

В небо торопился.

А через час его не стало.

А про отряд-то мы поняли почему: уж очень мы все, ученички, пришедшие в тот дальний сорок шестой год, мелковаты были, в свои четырнадцать и пятнадцать мы взаправду напоминали какой-нибудь школьный отряд на экскурсии.

Мог ли знать в тот момент нашей встречи Зяма да и я, что многие годы мне придется ездить на Немецкое кладбище от нашей лаборатории с сумочкой, где будут лежать серебряная краска и кисти, чтобы по весне обновлять его могилу.

Но еще за неделю до всех этих событий, пробегая по коридору, углядели мы новшество: пришли плотники и отгородили часть холла, примыкающего к конструкторскому отделу; соорудили комнату, дверь, обитую железом, а в ней крошечное окошко, но тоже железное, с решеткой. Вот туда и переехала с письменным столом, с сейфом и прочей мебелью бывшая секретарша Виктория Петровна, дама неопределенных лет и неопределенной наружности, она никогда с нами, учениками, не здоровалась. Со временем к ней добавилась Рита Терехина, наша оголтелая комсомолка. А комната стала называться Первым отделом, хотя никакого номера, вообще, названия на ней не было.

А почему Первый отдел, мы сначала и не поняли, лишь потом догадались, раз Первый, значит, первой других... Значит, главный здесь, в лаборатории, хотя до сих пор главной комнатой считался кабинет начальника лаборатории Турецкого.

Но этот отдел, Первый, тоже был для нас своего рода "черным ящиком". Двери двойные, так что не заглянешь, не увидишь, чем они там, закованные железом, весь день занимаются. Но вот власть их оказалась неограниченной:

каждый получивший "допуск" к секретности, нас, учеников, это не касалось, должен был в конце дня приходить сюда, к окошку, и сдавать свои бумаги на хранение, замыслы ли там в бумагах или расчеты, или просто рисунки, или стихи, накарябанные в стенгазету, все равно. А утром он снова получал свои бумаги, если, конечно, сочтут нужным, что их надо вернуть. Но могут и не вернуть, и никто не объяснит, почему не вернули. На то они и Первые!

Даже наши техникумовские конспекты, когда мы готовились к защите диплома, находились тут на хранении, и мы не могли их по желанию забрать, ибо не поступало инструкций, как нас ставить на секретность, и должны ли за нас получать наши конспекты старшие инженеры или кто еще.

Да что Первый отдел, когда весь институт был насквозь засекречен, и назывался не как-нибудь, а "ящиком".

Без адреса, "ящик" номер такой-то.

Я написал "ящик" и поймал себя на мысли, что это я нечаянно так написал, я ведь знаю, какой номер у нашего института и, конечно, помню его. Вот как въелось в наши клетки хранить все в секрете, а ведь началось с железной двери Первого отдела.

Когда нас спрашивали, дружки ли, родня или знакомые, где трудишься, мы так и отвечали: в "ящике", мол, тружусь. И все сразу понимали и дальше не спрашивали, ибо в Москве, в стране тысячи таких "ящиков", и всему населению известен этот странный язык.

А ведь можно, наверное, было отвечать и так: в "черном ящике" тружусь...

Что правда, то правда. Да вся наша страна, если подумать, "черный ящик" и есть, он закрыт от мира железным занавесом, и ничто наружу не проникает за его глухие стены: ну кто, скажите, там, за кордоном услышит о гибели какого-то Мальберга?! Да они если и услышат, то не поверят, а поверят, так больше никаких подробностей не узнают, ибо даже нам, оставшимся работать в лаборатории, не выдали на руки из той Первой комнаты ни одной бумажки после гибели Мальберга. Его материалы с момента его гибели становились как бы вечным секретом тоже.

И в этом плане и Мальберг, даже за гробом глубоко засекреченный, да все, все мы являемся в некоем роде такими же "черными ящиками". То есть, объектами, как написал один ученый, никому неизвестными. Ни себе, ни другим.

Нас было четверо в той ранней рабочей электричке.

Костя и Васька садились в Люберцах, а Лемарэн подсаживался в Удельной.

Странное имя его Ле-ма-рэн означало: Ленин — Маркс — Энгельс, чудовищное изобретение тридцатых годов, когда все бросились давать какие-нибудь придуманные и революционные имена. Лемкины родители были неизлечимые марксисты. Впрочем, это не спасло его отца, посольского работника, от сталинских репрессий, он погиб в лагерях в довоенные годы.

Об этом я узнал позже, а когда мы познакомились с Лемкой, как и с другими ребятами в отделе кадров, он написал в своей биографии, что отец у него умер от инфаркта.

Отдел кадров был невелик и находился рядом с проходной. Ленивый сонный кадровик, молодой, но уже плешивый, вручил нам по куче бумаг и велел тщательно заполнить. Вопросов в анкете было до полусотни, на десятках страниц, некоторые ставили нас в тупик, вызывали недоумение или улыбку. Там, например, был вопрос: "Участвовали ли вы в Гражданской войне, были ли на службе в Белой армии или в войсках интервентов..." Или же: "Состояли ли вы в каких-нибудь других партиях (меньшевиков, эсеров и т. д.)".

Таких фантастических вопросов было много, и мы забавлялись тем, что отвечали на них примерно так: "В Белой армии не служил, потому что тогда еще не родился!" И правда! О каких войсках интервентов может идти речь, если в начале анкеты стоит мой возраст — четырнадцать лет... Сумасшедший, что ли, составлял эти вопросы?

Так мы и пояснили кадровику. Но он наших доводов не принял. Разорвав писульки, он приказал, не повышая при этом голоса, но довольно мрачно, все ответы написать в отдельной бумажке, и уже после проверки его, кадровика, перенести в чистый лист анкеты, чтобы снова его не испортить. Причем писать, как он объяснил, надо так: "В Белой армии, а также в войсках интервентов не служил, в партиях меньшевиков, эсеров и т. д. не состоял..."

— Так и писать? — спрашивали мы, похикивая.

— Только так и никак иначе, — ровно произнес он. — А если вам смешно, то рано смеетесь, как бы плакать не пришлось.

Была какая-то непонятная уверенность и даже угроза в тоне этого кадровика. Мы занялись анкетами всерьез, извлекая из наших родителей сведения, которых мы не могли знать: сколько у отца братьев и сестер и чем они занимаются... Кто на ком женат, кто воевал, а кто нет, а кто (не дай Бог) побывал в плену или оккупации, у нас как раз бабка была в оккупации, она и померла, когда сожгли деревню, и она сидела в лесу в наскоро вырытом окопчике. Ее просто залило водой.

Я записал и бабуку, и деда, и отцовых братьев, и их детей: оказалось, что один мой двоюродный брат даже олимпийский чемпион по конькам.

Зато мой дядя Викентий был раскулачен, он, как говорят, был примак, то есть от бедности "вышел замуж" за дочку имущего крестьянина на соседнем хуторе, а когда лошадь отобрали, дядя Викентий сбежал в Смоленск и проработал тридцать лет чистильщиком паровозных котлов.

Но у дяди Викентия, как у примака, была фамилия жены — Бурмистров, и он в мою анкету не попал.

А вот у Лемарэна несколько раз переспросили национальность, и слово "еврей" подчеркнули карандашом. А у Васьки, кажется, вызвал сомнение прежний отец, которого он не помнил, вроде бы он был под следствием или судом.

Вот только за границей ни у кого из нас родственников не было. Это казалось нам такой дичью, как служение в Белой армии.

Подумать только: у меня родня за границей! Все равно, что сказать — на Марсе!

Через несколько лет, когда я попал под сокращение, я не ведал, что причиной оказалась моя оккупированная бабка, которую я едва помнил. А вот у одного, как выяснилось, была дальняя родственница в Канаде, которой, он, впрочем, не знал и никогда не видел. Но страсти разгорелись, и ему пришлось уйти, иначе могли бы выгнать с испорченной трудовой книжкой.

Недели три, не меньше, день за днем мы наведывались к кадровику, чтобы увидеть его непроницаемый стеклянный взгляд и получить один и тот же ответ: "Ваши документы (так он делал ударение) еще не пришли". Я и до сих пор не знаю, что они так долго делали с нашими анкетами. Неужто и правда копались в наших, только начинающих жизнях и что-то искали? А потом нам дали "допуск", но не всем, не всем из поступающих.

С тех самых пор некоторые словечки сопровождают меня до сих пор — "допуск", "анкета", "анкетные данные", а еще какая-то "объективка", а еще "характеристика"... Да много, много таких слов, значения которых я никак не мог в ту пору глубоко осознать.

О Господи, вступая на порог этого мира, мы еще не догадывались, что мы давно, со своего рождения у них на учете, ибо вписаны в такие же анкеты отца или матери по месту работы, в наши анкеты, как только появятся, будут вписаны наши дети... А потом дети детей... Как бы скрепленные единой цепью анкет наподобие рабов, которую невозможно порвать. Тогда, хочешь ты или не хочешь, ты нанесешь непоправимый ущерб всем остальным в твоей цепочке!

А ведь кто-то, незримый для меня, мог "допустить" до работы, а ведь мог и "не допустить". И кто-то писал на меня характеристики, и копался, копался в моем прошлом, стараясь что-то оттуда выведать.

А если однажды возьмут да и не "допустят", не разрешат, не одобряют?

Кто же я тогда с точки зрения тех невидимок? И как мне тогда жить? Вот о чем я вдруг подумал.

Спасибо тому первому кадровику, он не выместил, скорей всего из-за лени, на нас свою злобу. Он допустил меня работать, а значит, дал мне возможность кормиться... Мне и моим друзьям.

## ПАРАДНИКИ

Я уже упоминал, что я потом ездил от лаборатории на могилу Зямы, но случилось и так, что нас, учеников-подростков, посылали собирать останки, а потом ломать для похорон елки, украшать местный клуб под названием "Стрела".

Трудно представить, кому это пришло в голову, испытывать таким способом наши неокрепшие души; меня однажды рвало, когда на свалке показали черный какой-то шмот на снегу, то, что осталось от знаменитого испытателя.

Находили то палец, то клочок волос, а хоронили, это ясное дело, в закрытых гробах, которые выстраивали рядом на сцене.



А мы их видели еще белозубыми, молодыми, верящими в свою бессмертную звезду, когда они садились в сверкающие серебристые самолеты и с ревом, с пламенем из сопел взлетали по серой бетонной полосе в сторону Москвы-реки и широкой луговой поймы за ней, в бескрайнее, ничем не угрожающее небо. Еще раннее утро, еще зорьки по краю, а аэродромные круглые часы пророчат долгий, долгий день.

А тем, кто побывал на зеленом Немецком кладбище среди старинных крестов, приметны могилы летчиков, пирамидальные, звездчатые, огражденные сварной арматурой: знак нашего стального века... "Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор..." Ох, сомневаюсь, чтобы мотор всем, даже на аэродроме, нам заменял живое сердце! Иначе бы мы так не страдали!

Нас посылали красить алюминиевой краской ограждения, пирамидки, вот как могилу Мальберга, и мы с особым удовольствием это делали, променяв на вольную волю нашу дымную, пропитанную канифольным дымом лабораторию.

Ну, понятно, что какой-нибудь лес или стадион нам, подросткам в пятнадцать лет, подошел бы больше, чем те поездки на кладбище. Особенно же в день похорон — хотя бы потому, что не чувствовать, не переживать всей трагичности момента мы не могли. Пусть и были полны веры (как, впрочем, и те летчики, которых мы хоронили) в бесконечность отпущенного нам срока.

Это происходило как бы одновременно: страх, но и любопытство перед тайной чужой смерти, тихие, полушепотком разговоры о том, как все произошло на самом деле; убийственный, другого слова не найти, плач молодых жен, собрание и сортирование накануне в деревянные ("черные"?) ящики тех останков, которые мы, найдя, поддевали детской лопаткой, ощущая при этом жуткую дрожь вместе с леденящим любопытством и отвращением, не дыша, со сжатыми зубами.

Но и редкостное чувство освобождения, почти счастья, когда после очередной катастрофы и страшных вокруг слухов, вдруг нас вызывали и приказывали: "В клуб! Там объяснят! Там скажут!"

Вырвавшись за проходную, мы испытывали чувство щенячьего восторга, ибо там, за колючей оградой, в пределах аэродрома, мы были не юноши, не подростки, а штатные единицы с пропусками, где звездочками и циф-

рами были отмечены все маршруты, по которым мы могли передвигаться: кому в ангар, кому на летное поле, а кому лишь по узкой тропке от проходной до лаборатории и обратно.

И ни-ку-да, не дай Бог, в сторону.

А уж в тот секретный лесок, где разбился самолет с Мальбергом, срезав верхушки крупных сосен, будто пилот, и вырыв на опушке глубокую яму, нас отвозили и привозили на "специальной машине", и требовались для этого "специальные" пропуска.

Так и происходило, ходили в свою шарашку, отсиживали от гудка до гудка (это только в легендарной стране Лимонии тридцать три гудка и все на обед, а у нас — режим!), вдруг, по воле трагического случая, чьего-либо несчастья, мы как бы оказывались предоставленными самим себе, когда можно ходить там, где ты хочешь, побегать, а то и погонять мяч!

Оттого даже нынешний елочный душный новогодний запах у меня вызывает смешанные чувства боли и облегчения.

Мы ломали с визгом, с насмешками еловые ветки, вешали черный креп на сцене клуба, а потом таскали легонькие (да и отчего им быть тяжелыми) гробы на сцену, выстроив их в один ряд и поставив, опять же среди еловых лап, увеличенные с натуры, чуть размытые портреты тех, кто подразумевался в этих гробах.

А мы уж точно знали: вот от этого, белобрысого, двадцатилетнего бортрадиста, он только после института, жена, маленький ребенок... От него — клок волос... А от другого — постарше, механика (он казался мне тогда чуть ли не стариканом — тридцать один год, у него старая мать)... От него — палец с черным, треснутым надвое — так я и запомнил — ногтем...

А Целищев ("Целка!"), помощник начальника лаборатории по хозяйству, оглядев все хозяйским взглядом: лицо остренькое и летческий кожаный меховой шлем с болтающимися ушами, бросит на ходу: "Ждите у грузовика, как скажу — бегом за венками и на кладбище... А потом... (мы уже знаем, и тут наши сердца вздрагивают от радости)... Потом день отгула! Бумажки оформите потом! Летите!"

Мы и летели: на крыльях, экономя данное свыше драгоценное время (свыше? Опять свыше? С неба, значит?). Это и была свобода. Свобода, дарованная нам чужой смертью.

В сорок девятом прямо на аэродроме грохнулся самый крупный по тем временам самолет ТУ-4. Сверхмощный высотный бомбардировщик, скопированный с американской "летающей крепости"; они, как родные сестры, бок о бок стояли у нас на аэродроме. Про эти "крепости", их было две, аэродромные технари с оглядкой рассказывали, что посадили их на Дальнем Востоке, то есть один заблудился и сам сел, а другой истребители прижали к земле и силой вынудили к посадке. С экипажем, видать, по-свойски расправились, или посадили, или уничтожили, но так им, дорогим союзничкам, и надо, не будут летать, где их не просят!

Так поговаривали, но между тем на чужие "крепости" технари поглядывали никак не враждебно, а почти умиленно, они-то знали, что наши "ТУ" пока летают так себе, и бьются, а эти и ресурс исчерпали, и два, и три ресурса, и ничего, продолжают себе летать. А технари, хоть черная косточка, рожденная, по классику, не летать, а ползать, но технику добротную, пусть и капиталистическую, очень даже может оценить.

В стылые зимы, когда стояла нелетная погода и все забились по своим аэродромным теплушкам в долгом неторопливом трепе, старая аэродромная обслуга не преминет вспомнить, как получали они по ленд-лизу в войну эту самую американскую технику, и какая была шикарная техника! Особенно же поражали — больная и извечная тема — запчасти и комплектация. Уж чего не прикладывали америкашки задарма к присылаемым самолетам: и комбинезоны, и меховые куртки, кожаные, которым износа нет, а уж инструмента и не перечесть! Да инструмент весь упакован, в масле, сверкает никелем, его в доме на комоде вместо украшения можно ставить!

Ну, а на тех, что наши ТУ-4 — я под руководством Юры Шаронова занимался термомпарами, которые измеряли и записывали температурные режимы двигателей. Такие же термомпары стояли и на "американцах", нам важно было сравнить показания, чтобы определить, насколько копия похожа на оригинал, не только внешне, но и в полете.

Больших машин поступило в тот год, насколько я помню, двенадцать штук. И номера на них стояли первоначально от первого и до двенадцатого. На первом я и работал.

А потом поступило распоряжение готовить их к параду, и самолеты, как и их экипажи, стали на аэродроме звать "парадниками".

Наверное, пролету над Красной площадью именно таких сверхтяжелых бомбардировщиков придавало большое значение. В скором порядке нас заставили к существующим двенадцати номерам, впереди их, приставлять еще по несколько цифр, так что мой номер — первый, выходил как две тысячи первый, ну и так далее.

Я не писал этих цифр, я держал стремянку, но тоже был потрясен таким коллективным обманом: ведь выходило, что летят двенадцать, а в запасе у нас таких две тысячи, если не больше.

Правда, за месяц, что ли, до парада, по "вражеским" голосам, которые кто-то из радистов уловил на аэродроме, американцы точно передали о количестве самолетов и даже об их номерах и о том, сколько же русских "летающих крепостей" полетит на параде.

Нам твердили, да мы и сами верили, что по голосам врут. Странно лишь было, что мы, аэродромники, до конца не знали, готовя те самолеты, сколько же их выпустят в последний момент, а оттуда как сказали, так и произошло.

Одна из "крепостей" — флагман, открывавший парад в сопровождении истребителей, отснятый кинохроникой, потом был вмонтирован в фильм "Падение Берлина". Якобы на нем товарищ Сталин самолично летит в Берлин.

На Берлинском аэродроме товарищ Сталин выходит из самолета, величественный, под замечательную музыку Шостаковича, ликующий, славящий вождя гимн... "Стали-ну сл-а-ва на-век неру-ши-ма..."

И все народы земли, белые, желтые, черные, оказавшиеся в этот момент почему-то на военном аэродроме еще горящего города, ликуя каждый на свой манер, на своем языке приветствуют вождя.

Но я, ученик прибориста, лазающий на дно десятки раз в гулкое, холодное металлическое чрево "крепости", сразу просек, что большая машина, летящая на параде и тот самолет, из которого, якобы, появляется в Берлине товарищ Сталин, совсем разные машины, и, выходит, вождь, роль которого исполняет артист Геловани — из обыкновенного Дугласа, по нашему — ЛИ-2. Публика-то, дура, в машинах не петрит, подлога не разбирала. Да и смотрела она в этот момент, исполненная восторга, ясно, на товарища Сталина, а не на самолет, из которого тот вылезает.

Я тогда прямо-таки поразился, как публично все ввали, но он-то, Сталин, небось, тоже смотрел, что же он не

видел, в чем летает! И что ему прямо в глаза врут?! Но никто ничего, оказывается, не заметил. Еще и премию Сталинскую дали.

Я тогда не мог знать, что наш дорогой вождь и учитель, лучший друг советских соколов, вообще, никуда не летал, а уж в тот опасный, горящий Берлин и подавно. Это надо так писать, так снимать, так рисовать, чтобы получилось, что он делал то, что вовсе не делал. Но я еще верил, во все, что было связано с ним, в его идеи, в его божественное призвание, в его созданную для нас страну, в которой одно лишь высшее счастье — жить рядом с ним. Ну, а подмена самолета эта, если посудить, такая мелочь!

Придерживая стремянку с моим старшим техником Юрой Шароновым, малюющим через трафарет черные цифры на борту нашей Первой машины, я спросил Шаронова, для чего нужно увеличивать номер, ведь все вокруг, и тем более на аэродроме, и так знают, сколько у нас парадных машин.

Не отрываясь от дела, Шаронов сказал:

— Чтобы другие не знали.

— Кто?.. Американцы?

— Угу. Они там, их дипломатишки, в бинокли смотрят.

— Но там и наши будут смотреть! Сам Сталин!

— Ну... Нашим и так все понятно.

— А не нашим... Не понятно?

— Им тоже понятно, — сказал Шаронов, проставляя последний ноль и оглядывая проделанную работу. — Но мы думаем, что им непонятно... Понятно? — спросил он, слезая со стремянки, и в шутку мазнул указательным пальцем с затывшей краской меня по носу. Это чтобы я, значит, не совал свой нос куда не надо. — Мы с тобой кто? — толковал он по дороге от летного поля в столовку. — Мы с тобой "парадники", назначенные готовить машины, чтобы продемонстрировать наши достижения народу. А как продемонстрируем, так, считай, премия у нас в кармане! Вот что главное! А все остальное так, туфта... — тут он оглянулся. — Ну, конечно, парад — это тоже туфта, но это между нами.

Так двоилась моя душа, пытаюсь совместить в одно несоединимое то, что мы видели и то, что говорилось "между нами".

Вот работал у нас в лаборатории инженер Маргбрин, его шутники прозвали сразу Маргарин, намекая на нечто

вторичное и почти искусственное. Но в общем-то мужик он был покладистый, не злой, и однажды рассказал о том, что он до войны оборудовал приборами самый большой в мире самолет "Максим Горький". Я потом нашел в справочнике, что был гигант с восемью моторами, размах крыльев достигал 63 метра, а масса 42 тонны. Брал он на борт сразу 80 человек. Но создан-то был по личному распоряжению товарища Сталина в единственном числе, как "агитсамолет" для демонстрации наших достижений, вот как эти наши "парадки".

В ту пору рекорды были в моде: мы поднимали стратостаты на недостижимую высоту, и некоторые из них терпели катастрофы. Мы посылали на Север во льды судна, такие как Челюскин, и они героически тонули... Мы отправляли девушек-летчиц на Дальний Восток, и они, потерпев на самолете аварию, бродили по тайге... Но зато мы тогда во всем и везде были первые.

Кстати, потерпел катастрофу и "Максим Горький", только никаких подробностей вы даже в нынешнем "энциклопедическом" словаре не найдете. Об этой катастрофе поведал мне однажды Маргорин, когда мы вместе работали на аэродроме. Но это было рассказано так, "между нами", то есть один на один.

Катастрофа произошла в воскресенье 18 мая 1935 года в солнечный весенний день, когда на самолете катали детей обслуживающего персонала аэродрома. Во время полета небольшой истребитель, он как бы сопровождал нашего гиганта, демонстрируя для пассажиров, глядящих из иллюминаторов, свои летные достижения, не рассчитав траектории зацепил крыло, "Максим Горький" переломился пополам, это случилось прямо над аэродромом на высоте пятьсот метров на глазах у потрясенных родителей, и из разлома посыпались дети...

— Как картошка из мешка, — говорил Маргорин, подергивая головой. Это подергивание у него с тех самых пор, кажется, и у него погиб тогда ребенок.

## ЧЕТВЕРО ИЗ ОДНОГО ВАГОНА

На одной из больших машин, а здесь их так и называют: "большие машины", работают мои дружки Костя и Лемарэн. Иногда мы встречаемся и успеваем перекинуться на

ходу парой слов. Но прежде мы встречаемся на электричке, на станции Люберцы, и сбившись в кучку, в тамбуре или, если повезет, в самом вагоне, торопимся сделать то, что не успели дома, то есть списать контрольную, обменяться новостями, потолковать о футболе (кто-то вчера слушал трансляции Вадима Синявского), договориться удрать с последней лекции, они заканчиваются часов в десять вечера.

Отсиживать после работы четыре полных часа дело нелегкое, и мы иной раз устраиваем себе "день авиации", то есть праздник, с выпивкой на вокзале, в те времена на всех практически платформах были небольшие буфеты, продававшие пиво и водку. Чтобы не шухариться, из аудитории мы спускаемся по пожарной железной лестнице, и Костя по этому поводу шутит: "Побег с каторги". Это название шедшего в ту пору фильма.

На другой день Кривенко, директор нашего вечернего отделения, он же инженер института, мягкий в общем-то человек, голубоглазый, улыбчивый, но издерганный такой доставшейся ему в нагрузку работой, произносит: "Изверги вы, изверги! Сорвали "технику безопасности"! Ну что вы со мной делаете!"

Мы четверо, сидим рядом, смотрим задумчиво в окно. Нам жалко хорошего человека Кривенко, но нам до ужаса хочется спать и не хочется учиться. Прежде всего мы работяги, а техникум, это как бы и не обязательно. Хоть мы и понимаем, что учиться надо, чтобы "расти над собой". Лернер, Лернер унд Лернер — загд Ленин. У инженеров и продуктовые карточки жирней, и талоны на обед, где дают на второе настоящую мясную котлету.

Кривенко, махнув в конце концов рукой, уходит, а Костя, ну совсем его голосом повторяет на всю аудиторию: "Изверги, вы, изверги..." И мы облегченно смеемся.

## КОСТЯ

Он среди нас старший, и к нашему приходу в "ящик" имеет стаж работы на аэродроме три года. Он сирота, детдомовец, снимает в Некрасовке, что рядом с Люберцами, койку у дальних каких-то родственников. Характер у Кости смирный, он спокоен, широколиц, насмешлив, веснушчат, немного увальнист и потому ходит вразвалочку: но

так ходят на аэродроме все технари. Любит напевать из опер: "Три карты! Три карты! Три кар-ты!" Незло подшучивает надо мной, самым младшим из нашей компании, особенно когда выпьет. А выпить он любит. Да кто же на аэродроме не пьет! Спирт, но чаще всякая так гидравлика.

Он первый среди нас женится. Милая рыжеватая Тоня похожа на него характером, тиха и тоже рыжевата, и тоже сирота. Долго они бедствуют с жильем, пока Костя не получает крошечную коммуналку на станции Фабричная, это почти Раменское. У них две маленькие дочки, поэтому Тоня не работает, а Косте приходится вкалывать за двоих. В последнее время, вот повезло, Костю допускают к полетам, это большой приработок, но времени для встреч почти не остается.

## ВАСИЛИЙ

Васька тоже живет в Некрасовке, у него и мать, и отчим, и свой дом. Мы частенько бываем у него в гостях, тут много молодежи, хороший клуб, а рядом лес и поле. И даже стадион.

Когда-то тетя Нюра, Васькина мать, в войну, была мобилизована и служила в тыловых частях, охраняла в Люберцах склады, а старшина дядя Вася, был ее непосредственный начальник. Потом они поженились, это отчим Васьки, у них в Некрасовке, которую еще называют "люберецкие поля орошения", хотя мы знаем, что это за орошение: фильтруют московское говно... и по запаху аж до Люберец! Так вот здесь у них восемнадцатиметровая комната, в домике на четыре семьи, огород и даже корова. Ну, а с коровой, ясное дело, Васька не голодает. Может, потому он среди нас такой рослый, спортивный и даже румяный. В свободное время он играет за свою команду в хоккее с мячом (другого хоккея тогда мы не знали), а еще он играет в местном клубе в духовом оркестре, во время всяких торжеств. Он играет гимн Советского Союза, а во время похорон марш Шопена, труба у него огромная, и все три кнопки, из которых Васька извлекает одну басовую ноту: пум, пум, пум... ну почти как "Смерть Изольды" в фильме "Волга-Волга". Но за такую игру ему отваливают пятерку! Четверть нашей зарплаты в "ящике".

На работе в нашей лаборатории мы сидим в разных комнатах, я у инженера Гаврилова (он меня обязан учить),



а Васька у инженера Трушина. Но учат нас на первых порах одинаково: драчевый напильник в руки и велют сделать из круглой дюралевого болванки плоскую, а затем снова круглую... И снова плоскую... И так без конца.

Мы понимаем, что всем не до нас, потому что и старшие, техники и инженеры тоже, в общем, не надрываются, один, как мой Гаврилов, воткнув в глаза стеклышко, потихоньку в уголке чинит чужие часы, подрабатывает; другой приемники чинит или для себя, для дома, какую незамысловатую схемку паяет, а то БАС-80, огромная такая батарея, щепит на мелкие батарейки, по три патрона, чтобы приспособить для карманного фонарика.

Когда самолеты падают, вот как этот, самый большой, ТУ-4, прямо на аэродроме, нас посылают драконить: отвинчивать на запчасти всякие кронштейны, приборчики, лампы, а то гаечки и винты, выдирать из нутра цветные жгуты проводов. Мы это с особым удовольствием делаем. Ломать — не делать, душа не болит.

Технари про наш "ящик" говорят так: "Вперед толкать науку ума не хватает, толкать назад — начальство не пускает, так мы ее толкаем вбок!" Впрочем, толкуют и иначе: "До обеда в нашем "ящике" томятся голодом, а после обеда борются со сном".

Но как бы то ни было, самолеты в основном летают, приборы "фурычат" (специфичное лабораторное словечко), а все работники лаборатории у нас сплошь или ударники или стахановцы: висят на доске почета. В том числе и мой инженер Гаврилов.

## ЛЕМАРЭН

Мы его зовем просто Лемка, он, как и Костя, обслуживает большие машины. Но Костя уже механик, а Лемка ученик, его заботы подтащить к машине стремянку или тележку с кислородом, подать гаечный ключ, отвернуть, завернуть, если доверят, какой-нибудь лючок. Но мы-то с Васькой все-таки чаще сидим в тепле, а Лемка трудится в "полевых" условиях, и руки у него после работы, да и лицо, черны от масла и мороза.

Он не жалуется, но на лекциях в обнимку с Костей частенько спит. А когда я впервые попадаю к нему домой, его мама, Роза Израильевна, маленькая, миловидная, го-

лубоглазая, вырастившая в одиночку на свою учительскую зарплату двоих сыновей (о Димке, который играл на похоронах Сталина, я упоминал), мне рассказывает, что Лемзик, так она его зовет, сам выбрал себе суровую специальность, ибо не захотел никуда устраиваться по благу.

Живут они трудно, но Лемарэн невероятный чистюля, и ботинки его в любую погоду блестят.

В остальном одеты мы как попало, но в чем-то и одинаково, все с чужого плеча.

Каждый носит то, что смог достать. А поставщиком одежды является, конечно, барахольный рынок.

Так, однажды отец приобрел для меня на рынке старенькие, но еще крепкие кожемитовые сапоги сорок третьего размера. Из какого-то трофейного светло-зеленого сукна, привезенного из армии, годного разве что на одни приличные штаны, отец ловко, с помощью портнихи тети Дуси выкроил двое галифе, с узкими дудочками под сапоги. В них-то мы и проходили чуть ли не десяток лет. А костюм за 800 рублей из бостона, прилично ношенный, мы с отцом на том же рынке в Перово купили мне годам так к двадцати. И я жутко гордился, что не какой-то там шевиот, а настоящий бостон! Его перелицевали с помощью той же тети Дуси-кудесницы, и выглядел он почти как новый!

А вскоре я ушел в армию, и там меня с головы до ног измерили, и я с удивлением обнаружил, что всю жизнь носил вещи, которые больше меня. Обувь размера на три больше, у меня и ножка-то не доросла из-за войны даже до сорокового. И мой приятель быстро научил меня покупать ботинки в "Детском мире", где все намного дешевле.

Однажды в фильме "Восьмой раунд", трофейном, американском, я увидел впервые настоящий плащ, да еще с поясом. На многие годы он стал моей мечтой. А когда отец достал по великому благу два плаща, себе и мне, из темно-синего прорезиненного материала, мешкообразные, неповоротливые, они громко похрустывали на ходу, я тут же приспособил к нему вместо пояса ремень и гордо в нем ходил. Мне, наверное, казалось, что я теперь похож на ладно скроенного чемпиона-боксера, его играл знаменитый красавчик-актер.

Случалось и похлеще. В Риге во время службы в армии на скопленную сумму я однажды купил себе шелковый пыльник немного кремового цвета. И представьте, на гражданке носил его поверх гимнастерки. Вот так и выглядел:

застиранная до белизны военная роба под армейский кирзовый ремень, разношенные вездеходы-сапоги и этот, нежнейшего цвета кремовый пыльник... Под который не только одежду, но и внешность, но и лицо надо было иметь другое! Но уж очень хотелось быть красивым!

Мы встречаемся на краю Люберецкой платформы, в утренних сумерках угадывая друг друга по брезентовым сумкам на плече. Руки покраснели, и носы покраснели от схватывающего первого, с ночи, морозца.

Приходит электричка, но она, как обычно, забита до краешков, темная толпа с боя берет тамбур, повисает гроздью в дверях и между вагонов. Невошедшие лезут на крышу по железной сварной лесенке, лезем и мы.

Ради справедливости надо сказать, что потом у нас появился и пятый в компании человек, однокурсник, из нашей же лаборатории Виктор Ларионов. Ровесник мой и Лемарэна, он широк в кости, трудолюбив, и у него всегда детское выражение лица. Именно с ним произошла история, когда он попал под напряжение триста шестьдесят вольт и чудом уцелел, только обжег до костей руки. Витька из семьи железнодорожников, из Быкова, и когда мы провожаем его в армию, вдруг узнаем, что живут они в пристанционном казенном домике, скромно, почти по походному, а отец и мама у него очень старые грустные люди, простоявшие с флажком у Рязанки всю свою жизнь. Потому, наверное, у Витьки железнодорожная фуражка и бушлатик с фирменными пуговками и грубые кирзовые сапоги. Он сердечен и молчалив, говорить не умеет, но слушать умеет, и лицо у него и глаза большого ребенка. Таким и запомнился: работяга и ребенок одновременно.

Сопя, он карабкается за нами на крышу и крепко приникает к нам, мы сидим обнявшись и громко ржем, оттого что в нашем "вагоне" прибыло.

Я помню эти наши первые поездки. Со свистом, разрезая воздух, летит сквозь утро наш железный поезд, тренькают натянутые провода, высекая с легким треском искры. Ветер продувает нас насквозь, и мы сидим обнявшись, так теплей! И глядим, аж глаза слезятся от боли, как наискосок за холодным полем, тронутым первой изморозью, за мелькающими деревьями и крышами поднимается из-за края земли огромное солнце, обжигающе раскаленное от холода, налитое тяжелой медью. Оно красит последнюю усталую, уходящую зелень и мелькающие внизу платформы, и крышу вагона с торчащими грибками вентиляторов, и нас, на ней, в буроватый странный цвет.

Мы ежимся, нас порядком пробирает: но вовсе мы не собираемся спускаться в вагон, где после Малаховки или Удельной можно вполне впихнуться и далее тамбура.

Мы окрылены этим ранним полетом и своим собственным необычным состоянием. Жизнь для нас приобрела свою направленность, свою полноту. Мы не какая-нибудь шпана, мы не блатяги, мы не нищие! Мы люди трудящиеся, люди с будущим, мы учимся на техников-механиков по летным испытаниям самолетов, мы вкалываем на аэродроме, мы получаем зарплату... А значит, мы сами себе хозяйва.

Мы кому-то нужны, кем-то зафиксированы в бумагах, и нам даны в секретный институт допуски на работу. Но вот главное, что всего превыше, мы нужны друг другу. И это может случиться только в нашем, открытом всему миру возрасте, вчера познакомились, а сегодня едем обнявшись, и приникаем друг к другу, как самая близкая родня, и знаем, и верим, что мы уже на всю жизнь вместе, вечные друзья. Никогда мы друг с другом не расстанемся, никогда-да, до самой смерти!

Расстались, конечно.

Первым уехал Лемарэн, поступив в Сасовское летное училище.

## ОНЕГИНСКИЙ ВОЗРАСТ

Я писал Лемарэну письма, их много, и часть сохранилась, он подарил их, когда проезжал из Сасова мимо, его направляли на работу в город Шарью в Костромской области.

Письма датированы 50—51 годами.

"Здравствуй, Лемарэн... Судя по всему, ты в корне изменил свою вольную жизнь, в чем я тебе соболезную. Ты переживаешь переломный момент в жизни, через который нам придется пройти всем, и я рад, что ты не только не теряешь бодрости духа, но и шутишь, и петушишься. А мы с Васькой 8 сентября ездили в Большой театр на "Кармен".

Билеты нам достала Мария Федоровна, руководительница драмкружка. Хлопали Давыдовой до того, что покраснели руки, вызывали ее восемь раз! Я достал на этот вечер полевой бинокль и смотрел на нее близко, будто был на сцене. Дорогой мы пели с Васькой друг другу мелодии и до

того замечались, что сели в метро не в ту сторону. Выскочили где-то, опять друг другу пели и снова увидели, что едем не в ту сторону! Так ошалели от всего пережитого! А в электричке до Люберец снова пели.

А в драмкружке у Марии Федоровны я играю поджигателя войны Пауля Геске, он пробирается из Западной Германии в Берлин к своей возлюбленной Марте Шлегель, ее играет Зоя Волохова. Он пытается ее склонить на свою сторону, но Марта — настоящая коммунистка, и в конце выхватывает пистолет и арестовывает меня. Я кричу ей: "Во имя чего вы это делаете?" — а она твердо отвечает: "Во имя мира!" Так и пьеса называется "Во имя мира". Я вчера специально купил в Мосторге пистолет, стреляющий палочками, рассматривал, нажал нечаянно на курок и чуть не вышиб себе глаз..."

"Сегодня канун Октября, работали до обеда: убирались в комнатах, а в час дня устроили митинг и самодеятельность. Фильма, о котором ты пишешь, "Смелые люди", не смотрел, а книгу Катаева "За власть Советов" я не советую тебе читать, ее в газетах знаешь как расклепали!

Про шайку "Черная Кошка" все говорят и все боятся, но никто ее в глаза не видел. Костя рассказывает, что у них шла в Некрасовку от станции Люберцы девка, к ней подошли двое, сказали: "Дай денег!" Она ответила: "У меня нет". — "Ну дай хоть рупь!" — и девка отдала что было, и ее отпустили..."

"Ты спрашиваешь, чем занимаемся на лекциях... На более трудных, "Летные испытания" и "Приборы", делаем вид, что слушаем, но отвечать отказываемся, я имею в виду себя и Костю. На более легких, "Бухгалтерия" и "Техника безопасности", играем в "балду", если Костя не спит. Но чаще он спит, а я ему помогаю. Кстати, на наш курс привели летчика-испытателя Амед-Хана, помнишь, наверное, по аэродрому. Он из крымских татар, которых выселили за предательство, но его родители, говорят, остались жить в Крыму. Он дважды Герой Советского Союза, но образование у него не выше нашего, вот и засадили за одну парту. Он долго мучился, заглянул, зевая, в мои тетради и увидел, как мы задаем храпака, тоже решил спать, припал к моему плечу..."

"Началась избирательная кампания, и меня отпустили на четыре дня. Подряд всю неделю концерты! Сижу в кабинете директора клуба и, огорченный потерей варежек,

катаю письма. В техникуме дела идут скверно, каждую неделю мы носим на проверку расчеты по курсовой, и Шихер проставляет в свой журнал процент работы. Я уже имею "за раскачку" — 3%, а Костя — 0,0%. Ему попался "СОР" — самописец отклонения рулей, и он не знает, куда эти рули отклонять. Они все время отклоняются в сторону пивной.

"Было понижение цен", о котором ты, конечно, знаешь. А у нас на работе созвали митинг и все, и я в том числе, выступали. А наш слесарь Сандырев говорил про то, как плохо живут люди в капиталистических странах, где цены все время растут, и предложил им помогать. Он знаешь, прямо всех расстроил, когда сказал, что не представляет, как можно жить, — пришел с работы, а есть нечего, а дети просят хлеба... Вот тут он заплакал, и все тоже прослезилось. Ужасно жалко всех безработных и трудящихся, и мы решили отчислить от зарплаты им в помощь денег..."

Ты спрашиваешь, как прошел день рождения, да ничего, я был один. А Васька накануне подарил мне книгу Федина "Первые радости", а я ему купил "Бруски" Панферова. Когда прочтем, обменяемся.

Он говорит, что у нас с ним сейчас онегинский возраст...

В Новый год я тоже был один. То есть, меня, конечно, приглашал Васька, но он до часу ночи играет в оркестре, а на следующий день уезжает с хоккейной командой в Москву... Я сходил в магазин, купил четвертинку и две бутылки (как оказалось, прокисшего) крющона. Нарезал селедки, стал варить картошку и не дождавшись уснул. Такой вот получился во сне у меня Новый год..."

Мария Федоровна, руководительница нашего драмкружка, а в прошлом актриса, привезла билеты в московские театры. Она дарила нам эти билеты, желая, чтобы мы, как она выражалась, культурно росли.

Билет в Большой театр достался мне. Это был, конечно, лучший из билетов и, кажется, самый дорогой. На лицевой его стороне была пропечатана цена и мягко-волшебное слово "ложа", а на обороте поперек типографского шрифта крупно проштамповано химическими чернилами: ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.

Я сидел в уголке и рассматривал свой билет, когда подошла Лиза, голубоглазая красавица, все мы были в нее чуть-чуть влюблены, Лиза стала заглядывать в билет через мое плечо, я даже почувствовал над ухом ее теплое

дыхание. Я сидел и не двигался, замерев, боясь спугнуть ее, как нечаянную птицу.

Но Лиза вдруг произнесла, что опера выбрана мне не без умысла, потому что у меня тот самый онегинский возраст. Я не очень вдумывался в ее слова, но я понимал одно, что сейчас я спрошу Лизу, а она мне ответит, и у нас произойдет странный разговор, который все решит.

Я спросил, напрягаясь:

— Что такое онегинский возраст?

Но в разговор кощунственно влез Ванька Степанов, балагур, насмешник и немного пьяница. В кружке он был старше всех, лет около тридцати. Указывая на меня рукой, явно стараясь привлечь к нам внимание, он преувеличенно возвышенно прочел:

Нет, я не Пушкин, я другой,  
Еще неведомый избранник,  
По штатской должности механик,  
Но с поэтической душой!

Конечно, мы все, аэродромные работники, знали наизусть пародийную поэму на Онегина в авиации. Но то, что Степанов прочел ее так наглядно, подчеркнув слова "механик", но с "поэтической душой", отчего-то рассмешило Лизу и расстроило меня. Степанов же подхватил Лизу под руку, она успела лишь с улыбкой оглянуться, и удалился с ней за кулисы, якобы репетировать сцену Марины Мнишек и самозванца.

— Самозванец! — только и смог прошептать ему вслед.

Я спрятал злополучный билет в карман еще не догадываясь, сколько мук он мне принесет.

В какой-то день после работы я сел в электричку на станции Кратово и поехал в Москву. Я не заходил в общежитие и не переодевался. У меня не было никакого костюма, никаких галстуков и никаких ботинок кроме тех, что я носил.

Я почистил их от грязи, зачесал назад волосы и счел себя для театра готовым. Я не знал, как причесывался Онегин, но в моем возрасте внимание к волосам было первым признаком повзросления и желания нравиться таким девочкам, как Лиза.

Ехал в электричке я без билета.

Мы, подростки пригорода, никогда не брали билетов, на которые к тому же у нас не было денег. Считалось неким правилом, со времен войны, ездить на крыше и на подножке, лихо прыгать на ходу, удирать от контролеров,

которые не очень то и пытались нас ловить. Контролеру ведь нужен прибыток... А какой с нас навар, голодных и рваных ребятишек?

Но все это было правилом в обычные времена, а не с билетом в Большой театр в кармане. Это я сообразил, когда уже сидел в летящей через подмосковные пригороды со свистом электричке. Билет, столь обогативший, ставил меня в совершенно странное, невыгодное положение, обязывающее иметь все другое: одежду, внешность, настроение и даже карманные деньги.

Но, слава Богу, до Москвы ничего не случилось. Только выходя на километровую платформу Казанского вокзала, я почувствовал сильный голод. В обеденный перерыв я не поел, приберегая какую-то мелочишку на метро, и теперь у меня вдруг закружилась голова.

К тому же по вагонам, как обычно, разносили мороженое, и я старался не слышать шуршание бумажек и не видеть, как попутчик напротив впивается зубами в сливочную мякоть, слизывая оплывающую кремовую поверхность, сладко втягивая и причмокивая. Я только закрыл глаза, и большая судорога прошла по пищеводу, и стало дурно в горле.

Я спускался в метро мимо пассажиров, жующих в зале ожидания пирожки, мимо буфетов, продающих коврижки и газированную воду. Конечно, я мог бы пройти ничего этого не замечая, ибо что такое привокзальная забегаловка в сравнении с тем праздником, на который я ехал. Но с другой стороны, какой же это праздник, если при нем еще сильней хочется есть?

Слабое сомнение зверьком копошилось у меня внутри. Но когда я подъезжал к станции "Охотный ряд", уже не зверек, а целый хищник жил во мне, поедая внутренности, вгрызаясь в нежную, податливую мякоть моей души.

Ах, как хотелось есть! Я почти ослеп от этого изнуряющего чувства. Я плохо соображал, что делал. И хоть на подходе от метро к белоколонному зданию театра я ничего еще не думал, все как бы было решено помимо меня.

Кто-то скользнул мне наперерез, прося билетик, но я увернулся, ускорил шаг. Какой-то старик, а потом женщина и двое молодых повстречались мне. Я бежал через них, как сквозь пожар.

Но тут некто в шляпе и плаще, с внешностью Мефистофеля, встал на моем пути, и я понял, что это все. Возможно, я хотел ему сказать "нет", как говорил всем оста-



льным. Только вряд ли бы он услышал меня. Он протянул мне деньги, значительно больше денег, чем положено, забрал из моих рук билет и исчез. Он принял меня за перекупщика и платил мне как перекупщику. Вот что я понял с опозданием.

Я снова бежал, но теперь я бежал от театра, как от лобного места, где на куске асфальта был отмечен мой позор. Я и сейчас помню это место. Но, возможно, так я уже думал потом? А в тот ужасный миг я чувствовал легкое жжение стыда, заглушаемого куда более сильным голосом. Бог уж с ним, с Онегиным, и его загадочным возрастом! Я не узнаю, что ему хотелось, а в моем возрасте мучительно хочется есть.

В пельменной, на углу Художественного проезда, я съел четыре порции пельменей из металлической миски с жирными краями. От порции к порции, наполняясь прессными кусками, будто мокрыми лягушками, я начинал их ненавидеть, и себя, наполненного ими. Глядя в миску с расплывшимся серым тестом, я вдруг подумал про театр, и разверзлись стены, сверкнули яркие, ни с чем не сравнимые краски, и музыка гулко ударила под сердце, как воздушная волна грохнула, обрушилась на меня со всех сторон, а кончики моих пальцев задрожали от счастливой радости...

Но вдруг отрыгнулось тухлым сырым мясом и луком. Меня затошнило. Я встал и медленно, как пьяный, пошел на улицу. Я направился прямо к театру, я шел все быстрее и быстрее, как будто у меня был в кармане билет. Но вдруг я остановился. Кажется, только сейчас я понял, что произошло. Я понял, что нет у меня никакого билета, и нет театра, нет Лизы, нет Марии Федоровны. Что у меня теперь ничего нет. А есть только онегинский возраст, когда теряют самое лучшее, ничего не приобретая взамен.

Подхваченный людским потоком, я пошел вслед за остальными, шумной и безразличной, и вечно московской толпой, которая будет всегда, и даже в тот день, когда мы умрем.

Плакал ли я, или жаловался, и где я был, я не знаю, не помню.

Я вышел, как ни странно, к Казанскому вокзалу, сел в холодную электричку и вернулся к себе в общежитие. Спал я глухо, без снов. А на следующее утро я, как обычно, как много лет до этого, шагал среди своих сверстников, засунув руки в карманы, поеживаясь от ветра по

летному полю, пустынному куску земли, где садятся и взлетают на узкой бетонной полосе серебристые самолеты.

## ДЕВУШКА ИЗ ХИМОК

За пределами Рязанки и ее платформ возникают в моей памяти некие Химки, случившиеся в моей жизни, я туда даже ездил, дважды, но убей меня Бог, до сих пор не знаю, с какого вокзала и по какой дороге, и как далеки они от столицы. То есть теперь-то я знаю, что это пригород Москвы, а тогда они врезались в мою биографию странным углом, совсем не географическим, и не осталось, стерлось все, кроме самого факта пребывания там.

Из этих самых Химок однажды приехали к нам в лабораторию одиннадцать девушек-шифровальщиц.

Но, помнится, еще раньше начальник лаборатории Сергей Осипович позвал меня наверх, в свой кабинет на втором этаже, и почти наскоро, как он обычно разговаривал, взглядывая исподлобья холодноватыми голубыми глазами, сказал, что мне поручается опекать группу командированных из Химок одной авиационной фирмы, помогать организовывать их работу.

Тут же он поправился, что организовывать-то найдется кому, у них будет старший, а вот помогать им освоиться, привыкнуть тут, показать буфет и места отдыха — это моя задача. Сделать, словом, так, чтобы чувствовали они себя как дома.

Сергей Осипович был человек немногословный, даже суровый. Поговаривали, что за какие-то грехи (пьянка ли, бабы) его спустили довольно круто из высоких институтских сфер до уровня начальника лаборатории.

Не старый еще, молодежавый, крепкий мужчина, светловолосый, даже по-своему красивый, он быстро у нас освоился, навел порядок.

В его манере приказывать, в его деловой хватке, чувствовалось умение, свойственное людям, привыкшим руководить с размахом.

Глаза у него холодные, под цвет дорогого шевиотового костюма, который он носил, и лишь по временам его взгляд смягчался: когда у нас все ладилось и благоволило высшее начальство, да еще когда Сергей Осипович выпивал рюмку коньяку; в такие моменты жестокий ледок таял,

взгляд теплел, а лицо в обычное время малоподвижное, будто окаменелое, оживало и сильно, как бывает у блондинов, краснело.

Дело же, которое поручили осуществлять Сергею Осиповичу, была та самая многоканальная телеметрия, которую наша лаборатория мучила который год, и даже были найдены общие принципиальные решения, дававшие надежду, что это "пойдет".

На доводку первой телеметрической станции и поставили Сергея Осиповича, сделав его одновременно одним из заместителей начальника комплекса. И это, последнее, тоже доказывало, насколько начальство придавало значение нашей теперешней работе.

С приходом Сергея Осиповича события, и правда, закрутились быстрее: пришли из институтов новые молодые инженеры, стали появляться всяческие представители других фирм, а в начальственных кабинетах, в коридорах, посверкивая золотом погон, замельтешили военные.

Уже дошло и до полетов, сотни датчиков передавали на землю измерения, которые снимались с осциллографных трубок на киноплентку, каждый кадр которой расшифровывался у нас в лаборатории.

Расшифровка в ту пору осуществлялась вручную по каким-то трафаретам, нарисованным в виде сетки на дощечках из целлофана, уже помогали в соседних лабораториях и тоже не успевали, а от этого задерживались следующие испытания, которые планировалось к середине лета перенести в Ахтубу, там находился наш полигон для пуска ракет.

Такая ситуация сложилась в лаборатории, когда Сергей Осипович и вызвал меня по поводу девушек-шифровальщиц. Никогда прежде, да и позже, он меня к себе не вызывал. Не велика птица, лабораторный техник, он и с инженерами, и с руководителями групп обычно разговаривал накоротке: резко, быстро, почти на ходу, так он лишь один умел.

С легкой душой, перепрыгивая через три ступеньки, я спускался в нашу комнату, в ушах еще звучали последние наставления: "Там будут, в общем, девушки, так что покультурней!"

Они приехали в конце мая, одиннадцать шифровальщиц, им выделили комнату для работы и общежитие в лаборатории неподалеку от клуба, где я занимался в драмкружке.

И хоть вовсе не было мне в новинку крутиться среди девчат, их было много и у нас в кружке, и в техникуме, и здесь в конструкторском отделе, но эти, что появились у нас, показались другими, не похожими на тех, которых я прежде знал.

Побойчее, раскованнее, шумней, какими, наверное, и бывают заводские девчата, привыкшие к самостоятельности. А среди них оказались и замужние.

В первый же день, когда помогал им передвигать столы, налаживать настольные лампы, я по их незлобным шуточкам в мой адрес почувствовал, каковы они на языкочок, эти новые командированные; они говорили, что вот, мол, Бог дал им молоденького, хорошенького начальничка, и если ему положено за ними ухаживать (так они воспринимали мои обязанности), так чтобы я ухаживал и не сачковал, не отлынивал от своих прямых обязанностей, а то они станут жаловаться на невнимание. И все подобное в том же духе, под общий, разумеется, смех.

А кто-то уже пел: "Толя, Толя спит во поле, пойду Толю разбужу, все что мне наговорили, пойду Толе расскажу!"

Я краснел и оттого разговаривал с ними натянутой, чем мог бы, должен, и уже не рад был, что впутался в это дело! Если бы не строгий наказ самого Сергея Осиповича — быть покультурней!

И хоть делал вид, что мне все их шуточки вроде бы побоку, они-то сразу раскусили, каков я на самом деле. Да и где там не понять!

Это я в письмах к Лемарэну прикидывался, подражая своим друзьям, этаким бой-парнем, который якобы целовал за вешалкой Лизу, на самом же деле дальше каких-то незначительных ухаживаний дело не шло, а только однажды удалось чмокнуть ее в щечку! И то по роли во время репетиции. Вот и весь мой тогдашний дон-жуанский опыт.

Эти же приезжие шифровальщицы вели себя по-своему, обсуждали меня в моем же присутствии, я сам понимать еще не мог. А бойчей других была Аня Шибанова, которую все в группе, это было видно, любили за веселость, легкость, с которой находила со всеми да и со мной тоже общий язык. Да и работала на расшифровке Аня быстро, быстрее многих других.

Была она темноволоса, темноброва, кареглаза. Глаза чуть раскосые, проникающие во внутрь, так мне тогда казалось.

Да, впрочем, не в одной красоте тут дело.

Я лишь впервые взглянул на Аню и стало ясно, так бывает в редкие моменты откровения, небесного, что ли, прозрения, что я ее знал, что я ее знал всю жизнь, и она единственная из всех, которая мне нужна и без которой дальше существовать невозможно.

Все отпало, как забытые игрушки, и Лиза, которая мне нравилась, и сокурсница Риточка Лукьянова, о которой я тайно вздыхал, и которая этого не знала, и даже незабвенная Зухра из альбома.

У меня сохранилась фотография Ани. Давно я не доставал, а теперь вот извлек из-под старых бумаг, посмотрел и сердце екнуло.

В темненьком платице, молоденькая, Господи, наверное, и двадцати нет, лежит она среди одуванчиков, кругом нее сотни, тысячи этих белых шариков, четко видны обломанные стебельки и оголенные облетелые наконечники, а к ее рукаву прилип пух!

Смотрит Аня своими сведенными в точку зрачками куда-то за пределы аппарата и меня, а может, она уже никуда не смотрит, а лишь задумалась, потому что странно все у нас с ней произошло, и было ей, как потом выяснилось, о чем подумать.

Это я в ту пору был, как теленок, беспечен, ни о чем не думал.

Так вот, посмотрел я на фотографию, на эту и на другие, и вдруг подумал, что я бы и сейчас, сегодня, попадись она, влюбился бы в нее беспамятно и до конца.

Ничто, как казалось, не изменилось в моих вкусах.

У меня закружилась голова и под сердцем похолодело, когда я вгляделся в девушку моей юности, первую настоящую девушку, о которой я точно знал, что ее люблю.

Вот написал и зазнобило, затрепыхалось до дрожи в груди! Она и только она, и никто кроме нее, вот как я сейчас подумал!

Да ведь если бы мне нынешнюю мою смелость, мое умение да в те двадцать лет!

Уж точно бы не потерял, не упустил, хоть, впрочем, и тогда не хотелось терять, да само потерялось.

Я представляю себя в те годы нескладным парнем, стеснительным, зажатым, неопытным, неумелым... Но может, именно таким я ей и нравился? Теперь-то не у кого спросить. Но если я сейчас растревожился, что же я должен был тогда-то переживать, если я на нее и глаз не мог поднять, не то что обратиться лично, как обращался при случае к другим девушкам из этой группы.

Но вот что поразительно, она сама меня приметилась и сама подошла ко мне, так мимолетно, но и приветливо, мило. Она заговорила будто бы смешком, что вот, де, в перерыв неплохо бы погулять, а то им скучно сидеть в помещении, а парка около лаборатории они не знают, не ведают, куда же тут можно пойти.

Знали они все, но разве в этом дело!

Я провел их по нашему леску, тому, что начинался за лабораторией, но был я деревянный, скованный, молчаливый.

Девчонки сообразили, что от меня ничего не добьешься, стали веселиться сами: бегали, играли в салочки, в мяч, а потом расселись под кустиком на поляне отдыхать. Тут я и прилег, чуть в сторонке, чтобы им не мешать.

На Аню я старался не смотреть, хотя смотреть на нее хотелось все время.

И она угадала, вдруг подсев ко мне и засмеявшись, спросила, отчего же я такой молчаливый, не влюбился ли ненароком в кого? А я подумал, что меня разоблачили, почувствовал, что лицо заливается краской и уткнулся в траву. Она тогда тогда рукой прикоснулась к моей макушке и потрепала так, как треплют ребенка!

Я подскочил и удрал в лес, слыша вслед, как громко заливаются девушки.

До вечера, хоть было позарез нужно, я не мог заставить себя зайти в их комнату. А зашел наутро, насупленный, настороженный, но слава Богу, разговоры крутились о выходном дне и никто меня не думал больше цеплять.

А потом, вот странности, в перерыве Аня снова подошла и как-то легко, будто мы знали друг друга тысячу лет, спросила: "А ты не хочешь приехать к нам? В Химки? Мы бы тебя встретили... У нас хорошо..."

Сердце мое забилось, я только мог кивнуть, даже слов не нашлось, чтобы что-то спросить. Но Аня тут же назвала электричку, часы, и не поверив, что я запомню, написала на бумажке.

Повторю, что я не запомнил дорогу в Химки, потому что думал об Ане, и она меня встретила. Пришла она со своими подружками, с Клавой, скромненькой такой, невзрачной блондиночкой, остренькое личико и веснушки до ушей, и с Зоей, нескладной, большеротой, длинной, больше о ней сказать нечего.

Случилась эта поездка, до сих пор помню! — в воскресенье, десятого июня пятьдесят первого года. Значит, было мне тогда девятнадцать с половиной лет.

Летний, зеленый, солнечный день.

Запомнил я еще, что гуляли мы по парку, а потом у реки (а может, водохранилища?), где и сфотографировались на одуванчиковом поле.

Пили фруктовую воду, а может, даже вино. Да, конечно, мы пили вино, и Клава сослалась на больные почки и пить не стала, и Аня пить не стала, хотя не объясняла почему. Чокнулись мы с Зоей, а остальные лишь пригубили. А потом Анины подружки как-то сами собой слиняли, и мы остались вдвоем.

Мы гуляли, разговаривали. Я даже не знаю, целовались ли мы, но и это казалось вовсе не существенным, хотя допускаю, что Аня целовала меня. Но даже если это и случилось, то и целовались мы скорей как брат и сестра, потому что чувство, испытываемое мною, было необычным и не столько мужским, сколько детским. Никогда не пережитое чувство женской ласки что-то пробудило во мне, и это "что-то" я не мог объяснить даже себе.

Мне казалось, что мы никогда не жили порознь. Мы недавно расстались, а теперь встретились и слились.

Слились, конечно, навсегда.

Для меня это было безоговорочно, но я так понимал, что и она, Аня, испытывала подобные же чувства.

Она смотрела мне в глаза, она гладила мои волосы, мои руки, и эти прикосновения приносили мне необъяснимое волнующее чувство близости, о существовании которого я не подозревал и не догадывался.

Я даже думаю, что в этот момент я уже считал ее как бы своей женой, веря, что сойдясь, мы будем теперь вместе, а все, что случилось, будет теперь соединять нас всю жизнь. Разве это теперь возможно убрать? Оно на моей коже, на губах...

Нет, я был совершенно уверен, что после такого люди (а это мы — люди) не могут уже разъединиться.

А все потому, что главное между ними произошло.

Ну, понятно, я будто и не собирался уезжать, для меня уже не существовало никакого времени.

Но она-то, Аня, убедила, что ехать мне надо, что дома будут беспокоиться, хотя я тут же запротестовал, почти закричал: "Нет! Нет! У меня никого и нет, кроме тебя!"

Она ладошкой прикрыла мои губы и, тихо смеясь и ласкаясь, объяснила, что ведь и она должна вернуться домой, а завтра, всего через восемь часов, мы снова встретимся, всю ночь она будет думать обо мне!

Всю ночь! Обо мне! Боже мой!

Она проводила меня на последний поезд и поцеловала, порывисто, уже в тот момент, когда я садился в электричку.

Я попытался прыгнуть, вернуться к ней, но она руками оттолкнула от себя и ушла, и еще видел из открытых дверей, как она уходила, и закричал на всю вселенную, не тише:

— Аня! Анечка! А-н-е-ч-к-а!

Она не обернулась.

Но я знал, я помнил, что она моя, что она всю ночь будет думать обо мне, так же, как я о ней, и в мыслях мы все равно неразъединимы! Да мы и не разъединялись никогда!

Вот так я и ехал, не помня себя, я парил в это время над Химками, над ней, ждущей, думающей обо мне в неизвестном мне доме, и какие-то бредовые фантазии разыгрывались в моей угорелой от любви голове.

Потом я пересел на Казанском, и снова парил, и шел домой, и не хотел приходить, уже было под утро, и поняв, что день начался и что я не имею права потерять ощущения всего происшедшего, я вернулся на станцию и с какой-то из первых электричек поехал к себе на работу.

Поехал, конечно, до срока, понимая, что меня не пустят в проходной, да мне и не нужно было, чтобы пускали, я готов был ждать. Бродить меж сосен и глядеть, глядеть на дорогу, откуда появится моя Аня, среди своих шумных подружек. Я мог бы себя вполне сравнить с нашей, уже въевшейся в нашу кровь телеметрией, ибо все мои сотни нервешек, как датчики, несли свои параметры, свои высокие температуры, свои вибрации в сердце, свои спады и подъемы, и это облаком висело надо мной и излучалось в эфир в направлении к ней, к Ане, уж она-то все это, и правда, расшифрует, и каждый трепет во сне, каждый хлопок в сердце даст лишь один на ее дешифраторе импульс: "Люблю, люблю, люблю!"

Но девушки приехали, и подружки Анины приехали: Клава и Зоя, все, кроме нее самой. Передали, что она заболела.

А потом я вторично, почти что без приглашения приехал в Химки, и меня встречала Клава, тихонькая, молчаливая, почему-то немного грустная.

Особенно же она погрустнела, когда я стал говорить, что хочу видеть Аню. Она свела меня на какую-то улицу, велела подождать, сбегала, потом вернулась и не произнеся ни слова, увела меня в парк.



Я ждал, что она сейчас скажет про Аню, но Клава молчала, глядя под ноги, и веснушки у нее краснели все сильнее. Молчала она долго, а потом произнесла ЭТО. Это чудовищное, несправедливое, лживое, хотя не было пока ясно, зачем она так злобно лжет.

— Мы с Зоей давно хотели сказать... Но мы не знали, как сказать... О том, что Аня... Она — замужем!

И так как я молчал, пришибленный таким ее признанием и очевидной неправдой, она вздохнула и давила:

— Вы можете спросить у Зои... У других тоже... Они знают, что ее муж — водитель троллейбуса, а она даже в положении... Она, помните, и вина не стала пить, потому что она в положении.

О, эти лучшие подружки! Я тогда еще не знал, что именно они всегда на страже морали, если им самим не повезет. Они все откроют, поведают подробно, распишут по мелочам так, что некуда уйти, некуда спрятаться от их якобы самой что ни на есть обнажающей правды.

И хоть я не слушал, не слышал потому лишь, что весь мир перестал существовать для меня в красках и звуках, но почему-то стало понятно, именно потому, как говорила Клава и как она краснела до ушей своими веснушками, что это хоть и ложь, но это правдивая ложь, а говорит она все, отчаянно завидуя моей Ане, что та хоть и замужем, но еще и любит меня, а я люблю ее, и мы оба любим друг друга. А троллейбусный водитель тут ни при чем.

А ведь не Зоя, а эта милая, скромная тихоня решила открыться мне глаза!

Я еще пытался копошиться, сопротивляться чему-то внутри себя, но яд был принят, и неопытная душа моя была отравлена навсегда.

Я хорошо помню то состояние, которое испытал, сидя на лавочке рядом с милой, доброй девушкой Клавой.

Если бы случилось крушение поезда, если бы я разбился, переломав руки и ноги, я не испытал бы такой сильной боли, такого адского страдания, как от этих негромких и сочувственно произнесенных слов.

Не прощаясь, я вскочил и побежал искать мою Аню, чтобы все сразу узнать. Но только по пути я вспомнил, что я не знаю, где она живет.

Тогда я бросился в поле, на канал, где мы были вместе, чтобы удостовериться, что это правда, и существует еще место, где она лежала среди одуванчиков, где она гладила меня и шептала свои слова.

И я еще раз подумал, что если все это было, значит, оно никуда пропасть не могло и, значит, главное, это только дожидаться мою Аню, которая легко, с усмешкой, как она умеет все делать, отметет обвинения и снова подойдет и поглядит меня.

Как ребеночка, по макушке.

Слава Богу, что никто не видел меня тогда, потому что это был не я, нечто несуразное, глупое, скомканное, униженное, как щенок, брошенный в канаву.

И если я тогда добрался до дома, и если остался жить, то лишь потому, что я еще верил в мою встречу с Аней, и верил в нашу любовь. И надо было только дожить, чтобы все это произошло.

А потом случилась наша встреча.

Аня вышла на работу, и казалась она такой же веселой, легкой, внимательной. Но я уже продумал, я знал, что я хочу сделать.

Я дождался перерыва, когда девушки ушли в буфет и попросил Аню остаться. Ни о чем не подозревая, она спокойно послушалась меня. А когда все вышли, я запер дверь и положил ключ в карман. Проделав все это, я вывалил перед моей Аней все, что знал, и потребовал категорически сказать мне правду, только всю, всю! Пока я не услышу, я не выпущу себя и ее из этой комнаты!

Я и сейчас во всех деталях помню эту расшифровочную комнату и столик Ани, у окошка, она осталась там сидеть, а еще я помню, что я стоял у дверей, все время притрагиваясь к ключу в кармане, ощущая холодную тяжесть через ткань брюк, словно удостоверюсь, что он на месте.

Я что-то говорил, не помню что именно. Думаю, что я упрекал ее, а может, я ее упрасивал, умолял, плакал. Да, конечно, я плакал. Я почему-то верил, что это объяснение способно нам с ней помочь, и важно лишь услышать правду.

Но зачем, зачем?

Мне опасно было узнавать правду, которая, конечно же, была такой, какой мне выложила на ладошке добрая девушка Клава!

Я же лез напролом: угрожал, молил и падал перед Аней на колени... Вот когда я познал, что такое ползать у ног женщины!

Но она-то, женщина, была, как оказалось, много опытной меня.

Наверное, она увлеклась, все-таки чистый, нецелованный мальчик, а потом опомнилась, дома муж, а скоро

будет и ребенок, а уж тут не до шуток, какие там шутки, если дверь на запор!

То есть, сперва-то она не молчала, отговаривалась как бы в шутку, как она умела, легко, со смешком говорить, что, мол, девчонки наболтали, а я поверил, да и какое я имею право с ней в таком тоне...

Ну и прочее, требуя, чтобы я немедленно открыл ей дверь.

Потом она уже молчала, сжавшись на диванчике, в углу, глядя в пол. Я услышал, как вдалеке, словно и не сюда, барабанят в дверь девчонки, были слышны их голоса и неожиданно громкие удары: кто-то пытался сломать дверь снаружи.

Все остальное происходило как во сне.

Крики усилились, люди непонятным образом оказались в комнате. Аню, в истерике, увели, а мне что-то кричали, будто и угрожали, но я не мог ничего понять.

Единственно, сознание выхватило багровое лицо Сергея Осиповича, в упор глядящего на меня от дверей и его жесткие слова о том, чтобы разобрались и обо всем ему доложили, что тут произошло.

Шифровальщицы уехали в Ахтубу, где наша телеметрия уже испытывалась в ракетах, но Аня не поехала, наверное, она была и правда беременна.

Но еще до отъезда я встретил ее на тропинке, когда возвращался из отдела найма и увольнения, в ту пору решался мой вопрос с работой и переводом после того, что произошло. Я первый, кажется, заметил ее на тропинке, и некуда уже было свернуть. Ноги стали как ватные, они двигались как бы сами по себе навстречу моей беде. А встреча с Аней представилась мне такой большой бедой.

Впрочем, невстреча тоже.

Заметив меня, она замедлила шаг, но, подумав, решительно шагнула мне навстречу, глядя с надеждой мне в лицо. И так же, как при первом свидании, вдруг почувствовал я такую нежность, такое безумное желание пережить еще раз ее прикосновение, что закружилась голова и стало мне дурно.

Она же, глядя своими темными глазами куда-то внутрь меня (а там все дрожало, все переливалось — сладко, и больно, и мучительно!), и наверное, понимая, что со мной может сейчас твориться, тихо спросила, как же я живу и почему не прихожу к ним в комнату, девочки меня уже ни в чем не винят и даже хотели пригласить на прощальный ужин там, в общежитии.

О том, что я иду из кадров, она, кажется, и сама догадалась, но спрашивать об этом не стала, тогда бы пришлось вспоминать и все остальное.

Больше я их не видел, ни Аню, ни тех девушек. Да и работал я уже в другом подразделении, в отделе прибористов на аэродроме.

А Сергея Осиповича я повстречал неожиданно на турбазе "Селигер", в Новых Ельцах, есть близ Осташкова такое славенское местечко.

Мы туда заехали с женой на одну ночь, когда путешествовали по озеру, поставили палаточку неподалеку от турбазы и пошли смотреть полуостров. Места высокие, живописные, видны близкие и дальние леса, и синие плесы.

Вечерело, были теплые сиреневые сумерки, играла на танцевальной веранде радиолоа "Мишку" — шлягер того времени. "Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, самая нелепая ошибка, Мишка, то что ты уходишь от меня".

Неподалеку от перилец этой самой веранды мы и встретились с Сергеем Осиповичем. Был он под хмельком (небось, налил, как всегда коньячком, принял перед ужином) и оттого казался добрым, общительным, да впрочем, вне работы, вот как сейчас, я его, честно говоря, редко видел.

Может, вне работы он бывал вообще другим.

Рядом с ним была женщина, простенькая, шестимесячные кудряшки.

Я представил ему свою жену. Он назвал женщину по имени. Мы постояли, поговорили, уж не помню о чем. Жена стояла рядом, без интереса пережидая наш разговор.

Но был один момент, когда Сергей Осипович, весело взглянув на мою жену (лишь сверкнул озорной огонек в глубине голубых глаз), вспомнил группу шифровальщиков из Химок, как они там... Он специально назвал их в мужском роде, понимая, что я-то его пойму. И я, потупившись, лишь промычал, и далее он уже не возобновлял своих вопросов. Да и не вопрос это был, а напоминание об Ане, которую он засек острым глазом, а возможно, и заметил, нельзя было не заметить такую в лаборатории красавицу.

В ряду всех наших лабораторных дел шифровальщицы из Химок промелькнули для остальных неприметно, и я был благодарен бывшему начальнику вдвойне за то,

что он вспомнил об Ане, и за то, что он так умело об этом сказал, что не было причин объясняться мне потом с моей женой.

Вскоре знакомые сообщили, что Сергей Осипович умер. Вроде бы были какие-то неприятности, его снова трясли, понижали, потом инфаркт и смерть.

## ЛАСТОЧКА-КАСАТОЧКА

Наступили тяжкие дни. Мое имя из-за Ани Шибановой начали трепать на всех отдельских, на всех лабораторных и прочих сборищах. Прежде других, хоть и других было немало, выскакивала меня обличать наш заштатный комсорг Рита Терехина, рыхлая девица с одутловатым лицом, лупоглазая, глаза были у нее белого цвета.

Она долдонила одно и то же, что не может молчать о безнравственном поведении комсомольца, который пытался что-то сделать в рабочей комнате для расшифровки, заперевшись на ключ с командированной к нам девушкой, это ли не позор!

— А что он хотел с ней сделать? — спрашивали ее.

— Сами знаете что, — огрызалась Терехина.

— Ну откуда же нам знать?

— А откуда я знаю!

— А откуда ты знаешь?

Тут Терехина спохватывалась, сообразив, что над ней, кажется, издеваются.

— Вам не смеяться, вам плакать надо, — восклицала она, глядя уже не на меня, а на говорящего и на остальных тоже. — Всем вам надо крепко подумать о вашем моральном облике, чтобы не произошло того же... Сегодня смешочки да хихоньки, а завтра танцульки... А послезавтра прогулки со стилистами, так, между прочим, происходит моральное разложение! Враг наш не дремлет, между прочим. А кто на вечере самодеятельности пел развратную песню под названием "Африка"? А кто на воскреснике тайком водку распивал? А кто на политзанятии устроил шахматный турнир? А кто?..

Тут все потупились, потому что оказывалось, что все, в чем-то виноваты перед Терехиной, а значит, перед комсомолом и партией... И не надо называть фамилий, все собрание было у нее в заложниках, попробуй, отмолчись!

Тебе же и припомнят! И тут, хоть не сразу, но каждый или почти каждый, стали меня обличать тоже, произнося заученным тоном слова о разлагающем, о тлетворном воздухе Запада, которого я где-то (но где?) нахватался, решив подражать, как видно, некоторым отщепенцам и стилигам в Москве (как раз шла борьба со стилигами) и теперь он, то есть я, решил, что все ему возможно... Даже разврат на работе!

По сценарию собрания, на котором, кстати, сидели какие-то люди, нам незнакомые; от руководства, наверное, полагалось в конце подняться мне и объяснить присутствующим, что же я там в закрытой комнате делал и почему... Ну и, понятно, потом бы дал этому общественную оценку и покаялся бы в своем грехе, а они бы меня пожурили и, может быть, с каким-то там выговором отпустили на свободу... То бишь, на работу.

Но я почему-то уперся, не стал ничего рассказывать и вины своей не признавал. Более того, когда Терехина полезла со своей речью вторично и взяла под сомнение и моральный уровень тех девушек из командированных, то есть мою Аню, я, разозлясь, крикнул, что Терехина просто дура, если могла подумать что-нибудь подобное, что она говорит, значит, она и в мыслях допускает, что люди на работе могут таким делом заниматься! Так пусть сама на себя посмотрит! Ну и тому подобное, не очень-то складно; да не в этом дело. Допекла она, достала меня до самых, как говорят, печенок.

Ну, а уж тут меня скопом окричали, осудили и единогласно вынесли резолюцию в том духе, что воспитательная работа проходит на недостаточном уровне, и лаборатория ходатайствует перед комитетом комсомола, чтобы меня гнали из комсомола и из лаборатории в шею. Тем более, что мне желали добра, а я ничего не понял и веду себя со своими товарищами вызывающе, дерзко, нагло и т. д.

Как-то в отдел зашел от имени комитета комсомола один инженер, я его прежде видел в комплексном вечере, он читал стихи о "Советском паспорте". Вызвал меня в коридор и стал расспрашивать обо всей этой истории, зачем, мол, закрылся, что хотел сделать, не пытался ли эту девушку насиловать, ну и прочее в том же роде.

Расспрашивал он спокойно, без эмоций и вроде все понимал, что я говорил. Мне показалось, что он и сам не верит в свои вопросы, но обязан их задавать, поскольку ему поручили со мной переговоры.

В конце разговора он вдруг спросил: "А что это за антисоветские стишки, которые ты там сочинял?"

— Какие стихи? — спросил я.

— Ну эта... поэма... про Онегина, что ли...

Я пояснил, что поэма не моя, но я ее знаю наизусть так же, как ее знают, по-моему, все на аэродроме. Я прочитал начало:

Нет, я не Пушкин, я другой,  
Еще неведомый избранник,  
По штатской должности механик,  
Но с поэтической душой...

Тут молодой инженер засмеялся и попросил читать дальше. Особенно ему понравилась строфа про техника:

Мой техник самых честных правил,  
Когда готовился в полет,  
Он за семь дней меня заставил  
Готовить, чистить самолет.  
Его пример — другим наука,  
Но Боже мой, какая скука  
Найти во что бы то ни стало  
Дефект, чтоб стрелка не дрожала...

— Ну и далее про ефрейтора Ларину Татьяну, про Онегина-моториста, который ей всех милей... "Хоть получает в месяц чистых лишь триста двадцать пять рублей!" (в старых ценах, разумеется, тридцать два — на нынешние). А потом Онегин стреляется с Ленским у ангара из ракетниц: "Они достали пистолеты и ярко-красные ракеты, пронзив заоблачную высь, со страшным шумом понеслись! Онегин знал, что по роману он в этой схватке победит, и если в книгах нет обмана, то моторист его убит..." Ну и так далее.

Инженер, кажется, поверил, что стихи не мои, но на всякий случай переписал их на бумагу, а мне посоветовал сходить к Кокорину, все вроде бы зависело лично от него. Кокорин — наш главный комсомольский вождь, то есть в "ящике" большая, значит, шишка.

— Поезжай к нему лучше домой, — сказал сочувственно инженер. — Он на работе все заседает и вряд ли что-нибудь толком поймет... А в общем, хоть наверху, но парень он свойский, когда-то здесь в лаборатории начинал, разговаривать не разучился... Но слабости есть, любит, чтобы его попросили и не любит твердолобых, которые стоят на своем! Скажи, мол, черт перутал, виноват, ну и все прочее, — наставлял инженер. И ушел. Он, и вправ-

ду, хотел мне добра и, наверное, понимал, какая беда надо мной нависла.

Он, кстати, и адресок оставил, той самой дачи, где Кокорин сейчас живет.

День или два я не шел, колебался, пока не стали мне исподволь напоминать. То один по пути на работу, то другой: в перерыве. И все одинаковыми словами, мол, ты сходи, не упрямясь, хуже тебе от этого не будет, а раз человек советовал, он знал, чего делает. Может, они там ждут и удивляются, а потом уж разозлятся, пеняй на себя! Тебе жить!

Вот это они говорили правду. И я понимал, что дальше мне жить не дадут, и никто уже не поможет.

Да я уж и так отчаялся, поняв, что меня загнали в угол. Я уже их всех, даже своих дружков начинал тихо ненавидеть, что они не хотят и вправду понять, что не делал я там за дверью ничего дурного и не в чем мне каяться... Ну отчего эти люди, отчего вся страна нас так всех ненавидит, будто мы не ее, а чьи-то чужие?! За что она хуже мачехи мордует... Что я ей плохого сделал в жизни?

Но я пошел.

Была ранняя осень, было тепло. Я нашел эту дачу в зарослях густой, еще не пожухлой зелени — я и не подозревал, что в Малаховке могут быть такие тихие уголки.

От веранды, в глубине сада раздалась музыка, и когда я постучался, на пороге встал сам Сергей Кокорин, наш комсомольский вождь: он был в белой сорочке, при галстучке, и, кажется, очень удивился, что я появился тут, в его тайном местечке.

Дача-то, как оказалось, была родительской.

За спиной Кокорина играла радиолка, какие-то девочки танцевали, а на столе возвышались бутылки с вином.

Запомнилось еще, что заводили непрерывно одну и ту же пластинку с Утесовым, с только что вышедшим шлягером "Ласточкой-касаточкой".

Наш солдат бывал в огне и броне,  
Шел в атаку — не робел,  
Ранен был и стал в реке тонуть,  
Тонуть, тонул, не утонул!  
Ох ты, ласточка-касатка сизокрылая...

Хозяин пригласил меня на террасу, поставил стул и попросил убрать на время Утесова.



Был он светел, голубоглаз, немножко навеселе.

Так близко своего идейного вожака я видел впервые, ведь он был большой для меня шишкой: секретарем комитета всего нашего исследовательского института, "ящика"! Десятки тысяч человек!

— Ну? — спросил он, рассматривая меня в упор. — Что ты там натворил? Рассказывают, прямо-таки жуткие вещи? А?

— Какие? Какие жуткие? — заверещали девушки и подсели за стол ко мне поближе. А какой-то парень подошел и встал у меня за спиной.

Кокорин оглянулся на своего дружка и, обращаясь к нему, сказал:

— Да вот, говорят, хотел изнасиловать там одну... Командировочную... — и уже ко мне. — Это правда?

Я молчал.

— А может, изнасиловал-таки? — спросил он опять.

Я хотел встать и уйти, но он уловил мой жест и почти дружески удержал меня рукой, положив ее на плечо.

— Ладно... Поэт... Со всеми бывает... Да, а он поэт! Он сочиняет стихи!

— Прочтите! Прочтите! — в голос попросили девушки, а приятель Кокорина за моей спиной произнес:

— А лично мне хотелось бы послушать, как следует обращаться с командировочными девицами? Ну, пусть поделится опытом! А мы поучимся!

Девушки захохотали, а Кокорин, снисходительно улыбувшись, произнес:

— Васька пьян! Ты на него не сердись! Хотя... Хотя, если ты даже трахнул эту... Как ее... Подумаешь, беда какая! Ну захотелось во время работы, правда?

Я и на это смолчал, решив вытерпеть пытку до конца.

Сергей усмехнулся, подмигнул своему Василию и налил в стакан вина:

— Хочешь? Нет? А то выпей! За любовь! А?

Я помотал головой. Он выпил сам и, оглянувшись на девушек, добавил, что лично у него бывает так, что эротика ему мешает жить, и он готов понять комсомольца, у которого тоже горячая кровь. Ну, а какая еще кровь должна быть у наших комсомольцев? Рыбья что ли!

Девушки захихикали, а одна пухленькая блондиночка встала, посмотрела на меня из-за спины Кокорина.

— А он ничего, — протянула она, — он милашка... Я бы его страстям пошла навстречу... Меня и в комнате запирать не надо! Я сама с таким закроюсь!

— Диана! Перестань! — оборвал ее Кокорин. — У тебя одни мысли о хрене, а парня с костями съели!

— Это — где?

— Да в лаборатории. Я на днях посмотрел: такое дело шьют, что за него надо гнать по этапу! А ему двадцати нет!

— Ох! — сказала Диана. — Свежачок ты мой! — и попыталась ко мне прикоснуться, но я уклонился. Мне уже сил не хватало все это видеть и слышать.

— Ладно, — сказал Кокорин. — Посмотрим!

— Сережа, посмотри! Нельзя же гробить человека!

— Посмотрим, — повторил Кокорин. — А сейчас прочитай нам стихи. Про любовь! Диана, я посвящаю стихи тебе!

Я не понял, как это можно посвящать мои, неизвестные им стихи, этой выскочке Диане, но вдруг почувствовал, что я не могу, не буду им здесь читать ничего.

Почему я в этот важный для моей жизни момент так уперся, не знаю. Я и сейчас не могу объяснить. Просто понял, что покушаются на самое главное, считая это как бы своим, им принадлежащим.

Может, они считали, что и моя жизнь принадлежит им? Хотя в какой-то мере так и было.

Во всяком случае, он, Кокорин, волен был сотворить с тем, как он называл, "сшитым", на меня делом, что угодно, а ведь я для того, и приехал, чтобы упрямить не гнать меня. Не гнать с работы, из комсомола. Испачкают, до конца жизни не отмоешься! Может, я и не знал еще, как они умеют "пачкать", но уж точно догадывался; здесь на моих глазах одного инженера довели до самоубийства, найдя какой-то несуществующий криминал! Может, вообще, входило в программу нашей производственной жизни вот это: время от времени подводить кого-то под дело? Устраивать общественное кровопускание? А на этот раз готовилось уже мое?

Не помню, были ли у меня в ту пору такие мысли, может, и не было. Но уперся я, как дурак, и повторял свое: "Не хочу".

Кокорин долго, в упор, минуту или две смотрел мне в лицо, я увидел, как голубые его глаза становятся белыми от злости. Тут, при девицах, его не хотели слушаться! Обидно. Наверное, обидно! Он медленно поднялся и будто бы лениво указал на дверь, но слова его прозвучали угрожающе:

— Бывай, парень! — сказал он. — У нас тут несговорчивых не любят! Да их нигде, кстати, не любят!

Уходя я видел, как блондинка бросилась что-то хозяину выговаривать, но другая, ее подруга, уже включила на полную мощность Утесова. Сразу же забыв про меня, затопали, застучали ногами, подпевая залихватской песенке: "Ох ты, ласточка моя, си-зо-кры-лая!"

Я вышел, аккуратно закрыл за собой дверь и не оглядываясь пошел по дорожке. Но пока я шел среди кустов, и даже там, за забором, когда обреченно топал к малаховской платформе, все меня мучила, вдогонку изводила, навязчивая бойкая песенка.

Кажется, через год, когда я работал уже в приборном отделе летной части, так меня "наказали", Сергея Кокорина накрыли за растрату членских взносов, какой-то умопомрачительной по тем временам суммы в десятки тысяч рублей. Судили и, кажется, дали срок.

Нам зачитали на собраниях детали этого суда, про пьянки, про разврат и прочее, но я, хоть и знал что-то, видел сам, а все-таки не верил до конца в это, состряпанное на него дело.

Не потому не верил, что оно не могло быть, а просто не верил, да и все.

Я уже знал, как это делают, что невинный вдруг становится кругом виноватым. Это не про Кокорина, а вообще. Но и про Кокорина, и про Сергея Осиповича, и про моего отца, и про себя тоже.

Круглые станционные часы почему-то не ходили, а на платформе в этот поздний час не нашлось ни одного человека, чтобы спросить время. Казалось, никто никуда не едет, а расписание существует само по себе; ибо, если нет времени, то все его цифры ничего не значат. Странное расписание. Странная платформа. Станные часы.

Я бродил вечером по каким-то чужим улицам, было тепло.

Я шел медленно, не затрудненный никакими обязанностями или желаниями. Впрочем, было одно незначительное, скорее подспудное желаньице, я хотел, чтобы какая-нибудь встречная девушка отметила меня встречным взглядом. Но девушки не смотрели на меня, они обходили меня не глядя. В общем-то, они были заняты чем-то своим, как и остальные прохожие. Да и весь городок был занят собой, и эта ночь, и зелень, и окна, и магазины, и манекены, и в них — все было словно само по себе, и только во мне никого не было.

Но я не чувствовал жалости к своей забытой персоне. Я тоже как бы ушел в себя и узнавал сам в себе всякое-разное, подчас даже любопытное.

Я узнавал, что шел вперевалочку, как ходит, говорят, теперь мой сын, а руки мои были в карманах. В одном кармане лежала коробочка валидола, и мои пальцы при-держивали ее, то завинчивая, то отвинчивая крышечку.

Еще я узнавал, что думал, что мне никто не нужен. Только разве, чтобы какая-нибудь девушка посмотрела на меня несколько дольше, чем на неодушевленный предмет. Ну представьте, я бы привлек ее внимание, скажем, очками или своей походкой, или вот загадочностью.

Но я знал, что никого я не интересую сейчас, и все будет как вчера и позавчера, когда тоже гулял после работы по незнакомому городку.

Узнавая себя, я пройду еще километр зеленым бульваром, сверну вправо и войду в стеклянные двери моей гостиницы. Но если бы я не вошел, скажем, а вдруг растаял, растворился здесь же, на глазах скучающих у подъезда хипповых ребят, никто бы из них не удивился.

Городок жил бы без меня так же, как со мной. А те люди, которые здесь знали меня, несколько дружески настроенных коллег, тоже не заметили бы моего исчезновения. Ведь у них были в городке еще другие, настоящие, друзья и коллеги, а у меня никого кроме них не было.

Тогда я понял, узнал, что думаю и жалею я о моей бывшей семье, и мне немного стыдно стало, что вспомнил я о них — о двух моих детях в тот момент, когда понял, что я никому не нужен.

Так все и было. Я шел да шел, только на секунду меня привлекло освещенное окно, за которым на стене, как я понял, скользнув равнодушным взглядом, висело что-то одинаково круглое. И я, может быть, подумал, что стена похожа на сплошные иллюминаторы или приборный щиток какого-то корабля.

Я уже прошел несколько метров и опять погрузился в странное состояние, как вдруг узнал о себе, что я видел нечто странное. Особенное. Необычное. Непривычное, что ли. Может быть, даже я не видывал такого и не увижу.

Вот тогда я остановился и стал думать, стоит ли вернуться? Действительно ли я видел что-то такое чрезвычайное? А не плод ли это моего воображения или природной слепоты?

“Ведь что-то было, — говорил я себе. — Ведь была стена, а на стене странные круглые предметы, которые заполняли ее, ну, то есть, стену во всю ширину?”

В общем, я понял, что мне стало интересно и я повернул назад. Я дошел до окна и уставился в него без смущения. Я увидел ту же стену, те же круглые предметы. Но ничего сразу не понял, не потому, что это выглядело совершенно исключительно, отнюдь нет! А скорее от неожиданности.

На стене висели часы.

Но часы бы я узнал, уж будьте спокойны. Эти часы, которые я сейчас видел, не были обыкновенными часами. Они были электрическими часами. Ну знаете, которые висят на всех вокзалах, на платформах, у проходных на фабриках и на площади Пушкина в Москве.

Только скажите правду, выдывали ли вы, чтобы таких часов было сразу не одни, не двое, и даже не десяток, а сто штук. Десять рядов по десять часов в каждом ряду!

Я привстал на цыпочки, чтобы сосчитать их все.

Но самое поразительное было другое, и поняв это, я замер от неожиданности. Все часы, которые я видел, показывали одинаковое время: двенадцать часов!

Вы, наверное, подумали сейчас, что ничего уж такого особенного и необычного нет, когда часы показывают одинаковое время. Это можно было бы и не заметить. Я тоже так подумал бы, уверяю вас. Но в том-то и дело, стоило увидеть эти часы, десять одинаковых рядов на высокой стене, а в каждом ряду одинаковые часы и одинаковое время, как это овладевало вниманием, настораживало, даже пугало. На первых часах, на вторых, на сороковых, на сотых... И все одинаково!

Но кажется, часы и не ходили. Да как они могли ходить, если к ним не шли никакие провода?

Мы на аэродроме любили подшутить над начинающим прибористом, послав его посмотреть время на электрочасах.

Кстати, и надо мной когда-то так подшутили, но поздней любовью я полюбил часы эти. И полюбил вот за что: все приборы-самописцы, вроде нас, по отдельности, у каждого свой нор, свой характер, а значит, и записи свои. А электрочасы их всех связывают с собой и со временем, они как бы объединяют всех, дают возможность чувствовать общий ритм... Как часто оторванные друг от друга, мы живем, зажатые каждый в себя, не чувствуя уже ни общего объединяющего нас времени, ни друг друга!

Ну ладно. Там было ясно. А тут ясного ничего не было.

Комната не походила на обыкновенную часовую мастерскую, где обыкновенные (хотя внешне совсем не обыкновенные) часы на все манеры тикали, ходили, звучали, обозначая каждые часы свое время. Несуразно-разное.

"Несуразно-разное", так подумал я, но сейчас игра слов меня не увлекла, потому что я продолжал глазеть на странную стену, на часы, замершие, как солдаты в строю. А стрелки их были как острия штыков.

Смутное беспокойство брезжило во мне.

Я понял, что я думаю, мысли мои были ни к черту.

Ну посудите, я думаю так: ага, часы, сотня мертвых часов. Может, их кто-то специально собирает по городу и точным профессиональным движением останавливает время? Потом, мефистофельски усмехаясь, ставит в ряд свою ужасную коллекцию, глядя, как она демонстрирует, навсегда послушная гвардия, свое мертвое время? А усмехнувшись и окинув это довольным оком, он (а может быть, оно) отправляется в город за следующей жертвой, за живыми часами?

Я вздрогнул. Мне показалось, что легкая тень скользнула сверху вниз по стене соседнего дома и будто прошла сквозь стекло над моей головой, пошевелив мои волосы ледяным ветром.

Ну, знаете, что не покажется, когда работает воображение, а кругом мрак и ночь. Все это чертовщина, мистика, между прочим, определенно метафизика и глупость.

Так подумал я о своих страхах, но понял, что испуг мой не прошел, и вообще, я не могу объяснить себе ясно, чего я боюсь.

Я говорил себе: ты видишь, дружок, электромастерскую, где чинят электрочасы.

Ведь чинят же обыкновенные часы, отчего же не чинить электрические?

Им, этим часам, из одного узла, из одного центра задают сигналы, импульс, а они двигают свои стрелки, и тут все понятно.

Но вот случается так, что одни двигают стрелки слишком быстро, другие слишком медленно, а третьи, вообще, не желают ходить, и это становится похожим на наш живой мир, который не желает быть одинаковым, он не может быть таковым, это ему противоестественно.

Оттого и прекрасно, когда в часовой мастерской столько разнообразия как в часах, так и во времени.

Ну вот, мы и разобрались. Часы, которые не ходят или не ходят как им положено, несут сюда, чтобы внушить им точность, а по другому говоря, единообразие.

Но я понял, что я так хочу думать. Но я так не думаю. А вот какие мысли рождались наперекор мне самому. Здесь кто-то убивает время. Кто-то собирает часы и, убив в них душу, делает их одинаково-мертвыми. А когда здесь соберут все, что есть вокруг и в городе, и повсюду, мир станет таким же, как...

Я не нашел ничего одинаково-мертвого, может, такого не существовало и в природе... Как эти, подумал я вдруг, как эти часы и стрелки.

Вам не будет страшно, когда вы прочтете эти мои слова.

Все вокруг вас будет жить и двигаться на свой манер, не подвластное никакой импульсивной силе. И ваши часы, и ваша секундная стрелка будет скакать, как блошка, прикованная за ногу, и все, все остальное будет в движении, разнообразном и в то же время едином, от прошлого к будущему, брезжущему, как лучшая надежда далеко впереди.

Мы боимся неминуемого хода времени, старости, смерти, тлена. Но ведь оно есть движение, а значит, залог непрерывности жизни. Вечного ее обновления. И это, поверьте, прекрасно. И вдруг кто-то пожелал бы привести все в порядок, усмотрев в таком движении несоразмерность, неверность, нерациональность, и решивший, что только ему одному подвластно точное время.

Я понял, как это страшно, если бы кому-то удалось придумать, как сделать это. Вот почему я похолодел, и ужас родился у меня в животе.

Но дрожа и пугаясь (этого я о себе не знал), я приподнялся на носках еще раз, чтобы увидеть главное, и я увидел. Среди пустой, выхолощенной будто нарочно комнаты, за маленькой конторкой сидел черный человек, согнутый в три погибели, как гусеница. Так что нельзя бы представить, где у него верх, а где низ. Но может, у него их и не было. Ведь не было же на часах времени.

Я смотрел, вытягиваясь и чувствуя, как дрожат от напряжения колени.

Но человек не шевелился, он что-то делал, для чего вовсе не требовалось двигаться. Я понял вдруг, что он убивает очередные часы.

Тогда я стукнул ладонью по стеклу. Но он не сдвинулся, не шелохнулся даже. Теперь я знал, что он мертв, и,

мертвый сам, делает все вокруг мертвым. Для этого вовсе не надо движения.

И я стал стучать по стеклу, бессмысленно и глупо. Я сам не знаю, зачем я стучал. Наверное, все-таки хотел, чтобы я ошибся, иначе мне бы страшно было жить дальше. Не только этим вечером и завтра утром, но и следующим вечером, и так день за днем, всю мою жизнь.

Вы знаете, я стеснительный человек, и после десяти вечера никогда не осмелюсь побеспокоить своих приятелей или позвонить им по телефону, даже если это крайне необходимо, не что попросить пятак, когда случилось оставаться без денег на другом краю города и шагать через всю Москву к себе домой.

А теперь я барабанил по стеклу так, как будто кругом все горело, и только от меня одного зависело чье-то спасение.

Как я не разбил стекло!

В моей жизни случилось что-то страшное: я узрел то, что не дано никому. Но когда я это понял и знал, что все это по правде и неизвестно, как теперь жить, темный труп шевельнулся, появилась лысеющая голова, за розовыми ушами блестели дужки от очков.

Человек повернулся и воззрился на меня холодными без выражения глазами. Мне показалось, я узнал его. Он неуловимо напоминал Сергея Кокорина. Но и еще кого-то, очень близкого, почти родного, кого я никак не мог узнать!

Наверное, меня он не видел, потому что глядел со света в темноту. Да и вообще, это длилось мгновение, не больше. Зрачки и зрачки. Потом он поднял руку и черная штора скрыла все. Я отпрянул, пошел, почти побежал, боясь оглянуться, и скоро был на другой улице, другой станции.

Станный звук, от которого болели уши, оказался дробным ударом колес, видно, я задремал все-таки, как дремлют в поезде.

Я стал смотреть за окно, потому что опять заснуть было боязно: мгновенно вернулась ко мне пережитая ночь, и пустынная станция, на которой я искал то ужасное окно.

Но я знал, что больше его не будет, я почувствовал это в тот момент, когда задвинулась штора, скрыв тайну навсегда от моих глаз.

Все дома были как дома, я медленно их обошел и осмотрел. Даже намек не было на такое квадратное без переплетов окно с толстыми стеклами из сталинита.



Только зачем я искал это, глупый маленький человек, проезжий из электрички, настроенный тихо и углубленно, желавший ехать и думать, и понимать только самого себя.

Но созерцательность — это все ли, что нам надо?

И как быть, стоит ли барабанить в бронированное стекло, кричать и звать людей на помощь, когда и окна-то, и дома-то этого нет, и улица, и станция та неизвестно где.

## У НАС ЛЕЖИТ НА СКЛАДЕ БОМБА

Вдруг разрешили разные вечеринки, застольные сборища, даже на работе по торжественным дням.

Прежде-то встречались у себя дома, если какое-нибудь рождение или проводы, вот как мы провожали Ваську или Ларионова. Ну, еще у кого-то на квартире собирались на танцы под радиолу, да и то, без шума, сходились прям как подпольщики на маевку, под покровом темноты и занавешивали окна, все подальше от "блюстителей", которые все должны видеть и знать.

Вдруг у нас в лаборатории организовали вечер восьмого марта, в Международный женский день. Это был первый такой вечер в моей жизни, потому он и запомнился. А для нас, подростков, зажатых в жесткие тиски, между работой и учебой, он вдруг оказался как подарок судьбы, как вечер великих открытий, так бы я назвал.

Собрали с нас по шестнадцать рублей, это рубль шестьдесят на сегодняшние деньги. В конференц-зале поставили столы, каждый на восемь человек, на каждом был торт, три бутылки вина и тарелка яблок.

Наша общественница Мария Ивановна, очень красивая женщина, мы были все понемножку в нее влюблены, подняла первый тост за товарища Сталина. Так было принято. Неважно какой праздник, его имя звучало всегда первым, иной раз в стихах или куплетах из песни, такой вот: "Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем..."

Второй тост взял на себя начальник лаборатории Семен Исаевич Турецкий, темноволосый, курчавый, он всегда был приветлив с нами, подростками, и многих помнил в лицо.

Перед этим к нему подошла старуха вахтерша, что охраняет лабораторию по ночам, и сказала: "Вы водички просили..." И поставила ему стакан. А все поняли сразу,

что это за вода и дружно засмеялись. И он сам засмеялся. Поднял этот стакан и произнес здравицу в честь "наших женщин", и все встали и чокнулись, а некоторые полезли к женщинам целоваться. Потом запели песни, пошли танцевать.

Кто-то из дружков потянул меня за руку:

— Скорей! Там такое! Ахнешь!

И потащил в читальный зал. В читальном зале, не зажигая света, сидели инженеры лаборатории, орали очень громко песни студенческих лет:

Там в углу одна блондинка,  
Добрый вечер!  
И прическа, как картинка,  
Добрый вечер!  
А рукой прикрыла глазки,  
Добрый вечер!  
Чтоб не видно было краски,  
Добрый вечер!

Кто-то топал ногами, а кто-то умолял сменить репертуар, потому что среди нас сидит Дама и ее сегодня надо уважать.

За нами вошел кто-то еще, попытался зажечь свет, но на него заорали, зашикали: "Нельзя! Нельзя"!

Угроза подействовала, свет зажигать не стали. Запели знаменитую песню о "чемоданчике", еще другие, пока кто-то не предложил организовать колокольный звон, а для этого распределил роли: одни поют "блин", а другие "полблина", а третьи "четверть блина", но все это одновременно. Как раз нам, ученикам, досталось звонко повторять: "четверть блина"...

На всю жизнь запомнилось, как впервые, пусть и в темноте, инженеры, то есть те, кто со второго этажа, развлекались, сняв броню официальности, принятую в то время единственную, как главную форму общения на работе. Не то что песенку или анекдот, но и шутку не услышишь... Режимное предприятие, да и времечко-то какое! А тут Всеволод Яковлевич орет, он и без слуха и без голоса, но столько вдруг энергии. И его тезка, Петров, и Сергей Осипович очень даже музыкально подтягивает, а даже мой дальний родственник Сидоров хоть и молчит, но не спит, и даже, кажется, пытается в такт песне мычать... Это ли не открытие!

Я сегодня пытаюсь прикинуть, сосчитать, а сколько же было лет моим начальникам со второго этажа, и выходит: около тридцати. Чуть меньше или чуть больше. Вдруз

оттаяли внутри себя, вспомнили студенческие посиделки и разгулялись, хоть света для перестраховки не зажигали! Как же, вдруг, да припомнят при случае! Бузили на подстраховке, в темноте! Но бузили, вот что главное!

Мы же, подростки, восприняли это как невероятное событие, как редчайшее откровение, еще бы — увидеть, как ведущий инженер Петров, которому в обычае сухо заниматься делами, не замечая вокруг никого, он нас, кажется и в лицо не помнил, орет песенку, а осторожнейшего, самого боязливого в лаборатории человека Сидорова веселым, даже пьяненьким.

Я благодарен этому вечеру, памяти о нем, потому что смог различить среди суровой жесткой действительности живые человеческие лица вместо привычных масок.

Именно здесь, на втором этаже.

В зале завели плясовую и уговаривали Семена Исаича Турецкого сплясать, и он, хоть и не сразу, согласился. Потом он вызвал машину и уехал, сразу стало шумней, громче и еще раскованней.

Оба Севы обнявшись бродили по коридорам и искали изоляционную ленту, кто-то из них порезал палец.

Пытались снова петь, но получилась разноголосица, одни тянули что-то из кино "...помнишь, мама моя, как девчонку чужую...", а другие русское, раздольное, требующее души:

Нашей силе молодецкой,  
Нет ни края ни конца,  
Богатырь народ советский  
Славит Сталина — отца...

Но вдруг обнаружилась неведомо откуда гибкая пластинка на пленке из рентгеновских, их еще называли "на косточках". И понеслась на всю лабораторию та самая разлагающая ненашенская музыка, под криминальным названием фокстрот, в простонародье фоксик, под которую, как выяснилось, все сразу захотели танцевать. Захотели, но еще стояли, с надеждой озираясь на начальство, как поступит оно, вдруг рассердится и скажет: "нельзя", или осудит, или в знак протеста выйдет вон. Но вот какое дело, и начальство не испугалось, и Мария Ивановна, такая чопорная, такая классически добродетельная, хоть и председатель месткома, и рыхлая соглядатайка Терехина и другие, все постепенно ввинтились в эту круговерть, подчинившись яростному обжигающему ритму, и запрыгали, и понеслись по залу, и стало вдруг как-то по-домаш-

нему, весело и радостно. Все, о Господи, будто преобразилось, глаза заблестели, лица стали моложе, будто их окропили святой водой.

Я вдруг заметил, что нет моих дружков, и спустился вниз, в свою рабочую комнату.

Там Петька Комков и Борис Тахтагаров сидели среди аппаратуры и пили разведенный спирт. Налили и мне, а потом другим, кто пришел.

О Пете Комкове я уже рассказывал в связи с той дудкой, которой он напугал Всеволода Яковлевича. Он фронтовик, у него стеклянный глаз, но это почти не заметно. Тахтагаров тоже фронтовик, но в противоположность спокойному Комкову вспылчив, горяч и ужасно недолюбливает Ленечку, считая его хитрожопым. Сам он маленький, крепкий со злыми черными глазами. Родом он из Башкирии.

Подошли и подсели еще двое, тоже любители выпить: Коля по кличке "череп", и другой Коля Гряник.

Первый Коля большой любитель не только выпить, но и поговорить о бабах. Его единственный критерий в отношении женщин: можно или нельзя ее "натянуть на череп", то есть на свой член. А самый занимательный рассказ у него, это когда он "натянул на череп" какую-то аккумуляторшу на своей бывшей работе и трахал ее среди заряжающихся батарей, и она задницей угодила в кислоту, сожгла себе кожу, прям до костей, но не пикнула, вот такая была баба!

Второй Коля — фейнмеханик, гений своего дела, маленький, тощий, с вылупленными глазами и бесцветной редкой шевелюрой. Все знают, что он неизлечимый алкоголик, и по утрам у него трясутся руки, пока он не тяпнет какого-нибудь щелока или спирту, который идет на очистку ламелей, то есть контактов в телеметрии. Но Колю терпят, ибо он единственный и в лаборатории, и в институте умеет делать филигранную работу, тончайшую, требующую какого-то волшебного мастерства по подгонке этих самых ламелек, которые без Колиных рук сразу отказываются работать. И тогда все подразделения, занятые телеметрией, несколько лабораторий, испытатели, изготовители, да все, все простаивают... Ждут, пока Коля Гряник протрезвится и все снова наладит.

Он вскоре спился и умер, и Коля, который "череп", тоже умер. Но это потом, не скоро. Но в тот вечер мы сидели кружочком и пили разведенный спирт.

Хочу повторить, что наша лаборатория четко делилась на две части: на высших, на инженеров, начальников групп, отделов и лабораторий, они все были со второго этажа, и на низших, которые вкалывали в рабочих комнатах на первом этаже.

Мы никак не смешивались, начальство и работяги, даже на таких объединяющих вечерах, как описываемый мной. Хоть вновинку было нам увидеть верхних в таком виде, как разыгрались, распотешились они, преодолев свою собственную душевную броню, но мы знали, что это сиюминутно, нас как бы допустили к запретному зрелищу, разрешили, так сказать, прикоснуться одним глазком к верхним, но место-то наше, прочно для нас утвержденное — это низ, это наша переделанная из какой-то бывшей котельной комната, в которой нас сидело человек пятнадцать-двадцать.

Кстати, в одно время у меня почти год держалась температура, небольшая, но выматывающая, чуть выше тридцати семи. И уж какие-то спазмы были, и головокружения до обмороков.

Я все грешил на мое нервное затюканное состояние, когда били за историю с Аней.

Но потом я ушел, точнее же, "меня ушли" в приборный отдел летной части, и с опозданием я узнал, что в сливном колодце под решеточкой (были такие сливные решеточки на полу в нашей комнате), именно там, где я сидел, выгребли при очистке килограмма два ртути.

Значит, и температура, и все остальное от ртутного отравления, одного из опаснейших отравлений вообще.

Но когда я попытался заговорить, зашикали, стали отнекиваться и так все замаяли, замолчали.

Еще бы, градусник разобьешь, и то вредно, а тут два килограмма ртути, которыми полтора—два десятка человек дышали многие годы.

Среди нас, низших, никогда не было мечты прорваться, скажем, на второй этаж, наверх, хоть были те привилегированней нас и получали много больше, и талоны на мясные обеды при карточной системе давали только им.

Зато у нас было веселей, непосредственней, я бы сказал так: человечней.

Не мы к ним, а они к нам ходили (мы ходили, лишь когда нас "туда" вызывали), они спускались к нам для того, чтобы развеяться, побалагурить и отвести душу от своего мертвого благополучного царства.

У нас внизу всегда что-нибудь происходило. То шахматинки, какой-нибудь блиц-турнир, то чтение нецензурных стихов, то просто спор о мотоциклах, машинах... Ибо каждый был, как в приговорке: автомотовелоторадиолобитель! Но чаще о бабах, о них в лаборатории всегда разговору хватало, а о чем же еще говорить! Не о политике же! Нам и на постоянных четвергах по политзанятию ею прогудели все уши.

Иногда моментом развлечения служило электричество: спорили, кто, воткнув палец в источник тока, выдержит больший вольтаж, и тому подобное. Бывало, и шутили, подкладывая под руки концы с электричеством...

Есть анекдотец, как два монтера на столбе ремонтируют сеть, а провода свисают до земли. А тут старушка мимо, монтеры ей кричат: "Бабушка, бабушка, подержись за кончик!" Бабушка подержалась да и пошла дальше, а один монтер другому говорит: "Ну, видал? А ты говоришь, фаза! Фаза!"

А у нас однажды на аэродроме и в самом деле двое решили пошутить, схватили дружка, приставили к заднице шланг от баллона со сжатым воздухом и крикнули приятелю: "Крути вентиль". А он не понял что ли шутки и открутил...

В тот вечер, когда мы пили спирт, мы решили развлекаться магнитофоном. Это, кажется, первый увиденный мной магнитофон, огромный, размером с чемодан, он стоял под запором в шкафу и к нему допускались избранные. Когда на аэродроме случались аварии и нужно было проверить запись из "черного ящика", ленту приносили сюда, комнату напрочь запирали и "проводили экспертизу", то есть по нескольку раз выслушивали все, что происходило там, в воздухе, во время аварии.

Разные это были голоса, и уверенные, и не очень, и даже панические, и проклинающие, а иногда и с матом. Да чего не выскажешь вслух, прощаясь с жизнью, тут уж, ясно, слов не выбирают.

Один из летчиков, когда во время испытания загорелся мотор, прямо так и сказал дружкам: "Ребята, кранты! Эти суки нас угробили!" Я не понял, о ком он так высказался и кого имел в виду конкретно, наверное, начальство, поторопившееся поскорей видеть машину и получить свои награды и премии.

Бывало и так.

В этот вечер мы не слушали других, мы слушали себя, развлекаясь тем, что кричали в микрофон всякие ругательства, изобретая на ходу разные непотребные словечки позаковыристей, чтобы оборжаться.

А потом пришло в голову кому-то спеть, и мы тогда заорали дружно песню про бомбу.

У нас лежит на складе бомба,  
Об этом знает целый мир,  
И охраняют склад солдаты,  
А вместе с ними командир!

Она пелась на известный цыганский мотив, кажется, "Мой табор", прежде пели под него другие беззлобные слова про то, что "...течет в колхозе речка, над тою речкой длинный мост, а на мосту стоит овечка, а у овечки длинный хвост..."

Но наша песня была посодержательней, уж мы-то знали, о чем мы поем.

Придет пора, взорвется бомба,  
И уничтожит целый мир,  
И расщепятся все солдаты,  
А вместе с ними командир!

Три куплета, три действия; о нашей собственной жизни; прямо-таки трехактная драма, выраженная, правда, в несколько залихватской форме.

Но от этого даже кошмарней.

В первом акте, что было; во втором, что нас ждет. Во главе с тем самым командиром, что правит и решает наши судьбы... А в третьем действии конечный результат всего, что мы натворили:

И вместо нашей-то планеты  
Зажжется новая звезда,  
И не узнают марсиане,  
Что с нами было и когда...

Чего греха таить, ведь и мы, "нижние" (низшие), участвуем в создании этой бомбы, ну пусть не лично ее, так какого-нибудь электронного для нее оборудования, какая разница!

Если нас взять по отдельности, мы были лишь работягами, лишь рабочей скотиной, которая бессловесно делала то, что ей поручали. Иной раз старательно, но чаще все-таки нет.

Мы тоже любили сачковать, только у нас словцо бытовало на этот счет другое: "Банковать".

Я когда-то составил синонимы слова "стащить", их оказалось около двух десятков. Думаю, что и на слова "ничего не делать" — разных вариантов в богатом русском языке найдется не меньше. Там будут и эти: лоботрясничать, "сачковать", "банковать", "отлынивать", "филонить", "канителить", "давить сон", "прогуливать", "тянуть волюнку", "левачить" и прочее и прочее... "валять дурака" или "валять Ваньку".

Подозреваю, что им предназначена долгая жизнь в нашем лексиконе.

Лаборатория была для нас куском хлеба, хоть и не очень жирным. И для Васьки, и для Виктора Ларионова, и для меня, и других учеников. Правда, иной раз появлялись у нас и непохожие на нас ребята.

Не очень долго, для стажа, работал у нас интеллигентный юноша по фамилии Урузбиев. ("Юносы, покажите васы руцки?")

Он сразу объявил, что он внук Шаляпина, принес какие-то письма, фотографии и похвалялся умением бросать противника через бедро: занимался языками и самбо.

Работать он не собирался, да и не умел, и вскорости исчез, наверное, поступил в университет.

Был он человеком из другого, не вполне нам знакомого мира, с какой-то обозначенной судьбой, все ему впереди было выслано ковровой дорожкой и все предопределено. Потому так равнодушно мы и смотрели на этих ребят, мы были не им чета. Они отработывали стаж, а мы зарабатывали на жизнь. У нас ни у кого не было дедов-Шаляпиных и не было, вообще, никого, кто мог бы нам чем-нибудь помочь карабкаться по каменистому склону жизни.

Впрочем, один случай доказал мне неоднозначность отношений к такого сорта ребятам. Как-то я повздорил с Урузбиевым, даже, кажется, мы подрались. Не помню причины. Может быть, меня задевала его непробиваемость в жизни, предопределенный для него успех... В общем, случилось, на очередную его шутку, а это он умел делать, я завелся, схватил его за грудки... Нас разняли. Но вот что меня поразило: ребята почти все в нашей комнате сразу приняли сторону Урузбиева. И не потому, что ему сочувствовали, а мне нет... Причина, наверное, крылась в другом: он был из аристократов, а я свой, со своей



помойки, которую, в общем-то, они все немного презирали. Чувство холопства перед избранным перебарывало оставшее.

Это был для меня урок, побольней шуточек Урузбиева, который, как я сейчас понимаю, был не так уж плох. Он был даже добр, беспечно широк, бесхитростен, жизнь его еще не пощипала.

Так же, каким-то боком, стороной проходили через лабораторию и другие ребята, я их не запомнил, да и не о них речь.

Я повествую о тех, кто здесь не мог не работать, о братии технарей, которые не имели за спиной ни пап, ни мам, а надеялись лишь на себя, да на свои руки, да на свою зарплату.

"Зряплата" — и так произносилось, но это была неправда.

Получали мы на первых порах 220 рублей — двадцать два рубля на нынешние деньги.

Но попробовали бы вы сегодня устроить вечер на рубль шестьдесят с яблоками и легким вином!

Потом я стал получать пятьсот пятьдесят, это было невероятное счастье.

А когда меня повысили до семисот (семьдесят, значит, нынешних!), я ног под собой не чуял, это был предел моей мечты, хотя налоги и заем обязательный на 125 процентов съедали рублей четырнадцать, да плюс взносы, да всяческие поборы.

Но остальное-то мое, оно давало нам возможность жить.

И никто из нас никогда не прикидывал, не осмысливал в каком-то ином плане, кроме конкретного, самого привычного, потребительского — свою работу, что мы создаем одновременно и оружие, нечто смертоубийственное, опасное для нас же самих.

Мы работали днями, а не вообще, а каждый день ставил конкретные задачи: спаять схему, наладить прибор, отрегулировать, наставить, испытать...

И конечно, десятого и двадцать пятого числа каждого месяца — очередь к окошку на первом этаже, где за железной дверью сидела немногословная кассирша и смотрела сквозь треснутые очки в серенькие листочки ведомости: "Распишитесь! Вот тут!"

И уже отходя от окна и встречая подбадривающие, зазывные, напряженные взгляды тех, кто еще свое не получил, ты ощущал на сегодня себя барином, хозяином,

способным вечером взять в забегаловке на станции свои законные с прицепом, то есть сто пятьдесят и кружку пива! Это ли не богатство! Это ли не праздник души!

А потом беспечно потолковать, пошуметь, садясь в вагон и направляясь к себе домой, а еще в кармане хрустят денежки, на две недели вперед хрустят!

Мы никак не ощущали своей бедности, потому что знали, что у нас все впереди.

А бомба, так, фантазия, глупость, она есть, но ее и нет, потому что никакой войны не будет.

"Мы за мир, и песню эту понесем, друзья, по свету, пусть она звучит в сердцах людей сильнее, вперед, в борьбе за мир, не бывать войны пожару, не пылать земному шару, наша воля крепче, чем гранит..."

Мы и это тоже могли петь, и "бомбу" могли, но мы вовсе не были циниками: когда орали куплет про нашу бедную землю, что мы взорвем и превратим в звезду.

В тот праздничный вечер 8 марта мы дули спирт (не по поводу той самой электроники для той самой бомбы выданный?) и разряжались по-своему, как и высшие (верхние) выносили свои эмоции наружу:

И не узнают марсиане,  
Что с нами было и когда...

И хохотали, зверея от выпитого, голова кружилась, и все казалось таким замечательным, спасибо, что мы узнали настоящий праздник!

Мы шли домой, разговаривая и смеясь на всю улицу, было поздно. Борис Тахтагаров предложил ночевать у него. Ехать на час меньше, а значит, и завтра лишний часок дослим. Итого два часа экономии.

Жил Борис между Быковым и Удельной. А ехали мы на последней электричке, отличной от всех других поездов, и дневных и вечерних, и даже предпоследних. Потому что предпоследние имеют за своей спиной что-то еще, и потому они могут быть, и чаще бывают, пустыми, полупустыми.

Последняя же пустой не бывает. Она подчищает всех, кто остался, а после нее уже ничего до утра нет.

Одна из моих любимых песенок юности, это песня Булата Окуджавы про синий троллейбус, который "последний, случайный".

Но после последнего троллейбуса мог быть и еще один, тоже последний, ибо они шли без расписания, потому он и назван "случайным".

А последняя электричка вовсе не случайна, она заведомо известна, она желанна, ожидаема, и в ее приход веришь, как в явление Христа, даже если стынешь на платформе час и больше: другие поезда, как когда, могут и отменяться, а эта будет непременно.

Я не помню такого случая, чтобы объявленная расписанием последняя электричка не пришла.

Вот предпоследняя может не прийти, и та, что перед ней — тоже. Да и вообще, из середины расписания почти всегда по какому-то поводу выдергивают поезд-другой, то ремонт путей, то по техническим причинам.

Но последняя, повторю — всегда наша.

Во многих моих письмах, в дневниках мелькают записи о "последней электричке", на которую я торопился, спешил, бежал.

Со свидания, с очередной пьянки, с концерта, где выступал, с работы, когда нас задерживали.

Иногда опаздывал, не без этого, но до дома до моего по шпалам не дойти, разве что одну-две остановки протопать до какого-то приятеля. И это приходилось делать не раз. Как приходилось, кстати, и стыть на платформе до первой, до утренней электрички, пауза между ними была обычно часа три.

В летнюю пору проболтаться по пустой, темной платформе в соседстве с другими такими же опоздавшими еще можно, да и то продрогнешь, если не будешь быстро ходить.

А уж зимой, когда ветрами продувается все насквозь и даже заледенелые белые доски платформы потрескивают от мороза, и колючим холодом веет от далеких и ненужных звезд, намаешься, напляшешься, пока дождешься поезда, душу выдует, вымотает, и трижды проклянешь тех, кто тебя удерживал до последней роковой минуты! Из-за кого ты опоздал! Мимо будут лететь скорые дальние поезда со свистом, летучей метелицей, и уноситься, оставляя тебя в еще большем одиночестве, в какой-то космической пустоте, где млечным путем, дробится на отдельные кусочки льда двухполосый стальной путь, уходящий в бесконечность, и на нем, будто примороженное намертво, впаялось пятно светофора... Ни огонька, ни надежды, и так трудно ждать, сходя с ума от этой мертвой картины и остановившегося навсегда времени!

Ей-Богу, даже холодно вспоминать, а уж кто пережил, переждал, тот знает, что это такое!

Вот отчего, повторяю, я боготворил последнюю электричку за то, что она такая, вообще, была и спасала наши души и наши тела.

От холода, от пустоты внутри себя, от хулиганья, от одиночества.

Впрочем, хулиганья хватало всегда и везде. И на последней электричке оно тоже бывало, единственно, что на последней электричке всегда шумней, многолюдней, а значит, все-таки безопасней, чем на иных вечерних.

Да кто не собирался здесь!

Наметанным взглядом завсегдатая несложно было определить, "кто есть кто" и по какому поводу попал на эту, на последнюю: кто со свидания (этих видать!), кто с пьянки (и этих видать!), и кто заездил и уже толком не сообщает, куда он едет, а кто к утренней смене в Москву, которая как кровушку отсасывает из пригородов людей во все времена суток, и ей все мало, мало! А кто, вообще, едет лишь потому, что не может не ехать, так как живет прямо тут, в электричке.

Прежде таких было много, нищих, сумасшедших, блаженных, убогих, пропившихся, выгнанных из дому, да и просто приезжих, не имевших прописки.

С вокзалов их гонят, они заметны, их сразу же угадывают и выталкивают в шею. А в электричке кто же докажет, что ты не пассажир; прикорнул и спи, а добрался до Москвы, так можно почти без паузы пересаживаться на обратную, на первую утреннюю, и в ней, почти всегда пустой, добирать, досыпать то, что не доспал.

В последней и на блядей наглядишься, на проституток разного пошиба.

Их видать, они обычно в одиночку, без мужчин, одеты хоть и пестро, и почти благополучно, но ведут себя слишком независимо именно потому, что их сразу угадывают и начинают подсаживаться, липнуть и лапать тут же, в вагоне.

А они отработали, устали.

Среди них много потрепанных немолодых баб, и обычно они под хмельком.

Эти не так привередливы к тем, кто подсаживается и пробует примитивно охмурить; они поддаются уговорам и легко соглашаются сойти на какой-нибудь остановке с незнакомым мужиком, рискуя быть побитыми и даже ограбленными.

Но они на себя, на свою жизнь наплевали, им не страшно.

Электричка, особенно последняя, их последний дом. А в доме как в доме, и я сам не раз видывал, как их тут же, в тамбуре, ставили раком и насиловали по очереди, и они терпели.

Да, Господи! Что это за насилие, в сравнении с тем, другим, которое они испытали с молодости, с детства, когда пахали за бесплатно в колхозе, таскали рельсы на стройке (загляните в любой строящийся микрорайон Москвы!), тащили на себе всю жизнь алкоголиков-мужчин, выкармливали худосочной грудью нервных, недоношенных из-за надрыва ребятишек, терпели аборт и стояли, стояли, стояли в очередях...

Если пересчитать их жизнь в очереди, то выйдет, что вся жизнь, все ее девяносто девять и девять десятых процента (эту цифру у нас особенно любят на выборах!) ушла на это бессмысленное стояние! До работы, после нее, во время, и даже ночью, чтобы на утро получить на стол пачку маргарина.

Да что бы советская власть делала без баб, без таких баб, которые ее своими святыми телами подперли и в войну, и до войны, и — после. Словом, всегда. Но теперь-то от кого мы ее спасаем, отдавая на погибель наших баб, не от бардака ли, не от собственного равнодушия и упадка?

Я думаю, что эта власть, вообще, будет стоять, доколь ей беспамятно и свято будут служить наши женщины, но и они когда-нибудь воспрянут, оглянутся, опомнятся и вдруг поймут: Господи, да ведь служили-то идолу, который, пожирая их души, вовсе не желал знать, что они живы, что они существуют!

Нищих в электричке много, но особенно много их было в войну и после войны.

Они потоком шли через вагоны, заселив собой пригородные поезда и дороги. А потом схлынули и вдруг почти сразу исчезли.

Может, их в психушки засадили, или они сами вымерли, а может, то и другое произошло одновременно. Но говорят, и это похоже на правду, что их выкидывали из вагонов. Их уничтожили сразу всех по приказу Сталина.

Нищие были разные, много инвалидов войны: слепых, контуженных, безруких, безногих, на костылях и — самые удачливые — на тележках с колесиками-подшипниками.

Можно представить, как их вышвыривали, безногих, на полном ходу поезда!

Были старики и дети, были цыгане и еще деревенские, приехавшие на подаяние как на промысел, потому что довели их в колхозах до полного голода и разорения. Такие брали с собой грудного ребеночка своего или соседского, напрокат.

Были погорельцы со своими трогательными историями, и обокраденные (тоже с историями), и отставшие от поездов...

Я их многих помнил в лицо, как и их слезливые душещипательные рассказы, и если были копейки, давал, но чаще не мог подавать, и тогда я отворачивался и делал вид, что читаю книжку, но страдал, даже сердце начинало ныть, и отчего-то просящие угадывали во мне мое страдание и долго, дольше обычного, держали передо мной шапку, глядя на меня с укором.

Особенно же меня доставали поющие.

Я был ранен их пением, их песнями, их голосами.

А какие голоса тут только не звучали!

И среди пропитых, старческих, детских, еще не окрепших, пронзительных и неприятных, обычно под гармошку или аккордеон, вдруг возникали такие чистые, высокие, серебряные, прямо-таки ангельские голоса, что сердце обрывалось: да откуда же такие голоса берутся и почему они тут, среди нас, грязных, пьяных, темных людишек-работяг, если им место на небесах, среди самых чистых и самых счастливых!

Не только я, а весь вагон тогда впадал в полуобморочное состояние, и все оборачивались, стихали разговоры, и даже стук колес становился не таким резким: слушали... внимали!

А потом начинали сыпать серебро, и рубли, даже червонцы!

Если бы не видел, не поверил бы, как люди отдают деньги, когда их разбреженные души оттаивают на миг от песен, которые выше этих денег, выше бутылки вина и всей этой скоротечной бестолковой дороги.

Может, тем она и оказывалась ценна, дорога, что объявлялись в ней такие чуда-юда, будто посланные с неба, и возбуждали в людях чувства — надежду и желания, которых у них, казалось, уже не было.

Но хорошие голоса были редки, очень редки. Чаще же пели, как поют в компании, и брали не голосом, а темой, сентиментальной песенкой про летчика, про моряка или обгоревшего танкиста, который узнает о неверной жене и решает покончить с жизнью.

И летчик направляет свой мотор к земле, проклиная свою пропащую жизнь-жистянку, как и стерву-жену, которая его не дождалась.

Эта тема в войну и после войны была актуальна, она трогала, бередила людей.

А после войны возникли и другие песни, чаще это были песни Лещенко, о котором мы до поры знали лишь понаслышке, что был, де, такой белогвардеец, пел по кабакам Европы.

Освободители-бойцы везли из освобожденной Европы и пластинки, и в вагонах зазвучали небезызвестные "Журавли".

И вот это, разрывающее душу, пронизывающее насквозь:

А вернутся домой, им откроет объятья  
Золотая весна и Россия моя!

А еще ходил со слепым стариком-музыкантом тоже слепой юноша, звали его Ося.

У него был такой пронзительный, такой беззащитный голос, что и сейчас по памяти, лишь представлю, и начинается легкая дрожь в груди.

Старик играл на аккордеоне, плохо играл, а Ося пел разные песни, в том числе и лещенковскую "Аникушу".

Там были такие слова: "Аникуша, Аникуша, очи черные твои как угольки..." В это время я думал, конечно, о своей Ане, и я начинал плакать, заслышав песню, и когда они проходили с шапкой, я вываливал все, что у меня было, хоть чаще было не так уж много, потому что это была моя песня, про мою несложившуюся любовь. Про мою, вообще, нескладную, пропащую жизнь.

Я даже угадывал, в каких поездах они бывают, знал, где садятся, а где сходят, и где, у платформы, в кустиках, подсчитывают свои копеечные барыши.

Думаю, что у них было и свое пристанище, потому что в последней электричке я их не видел, как иных, которые у же не просили, не пели, а хлестали вино или спали.

Не всегда поездка в последней электричке заканчивалась мирно: бывали и грабежи, когда входили с разных сторон несколько урок и приказывали: "не двигаться", и всех до нитки обирали...

Бывали и драки, поножовщина и пьяные стычки. И от всего от этого никуда не деться, не уйти, потому что неизвестно, лучше или нет выскочить из опасной электрички на чужой станции и оставаться на ней в одиночестве до

утра?! Нет! Нет! Мы держались за свою "последнюю" до последнего, и когда требовали бумажник, отдавали, да и что там было кроме просроченной сезонки и пропуска на работу?

И крики терпели, и драки пережидали, если уж они совсем не могли угробить тебя! В крайнем случае меняли вагон, а то перебегали из конца в конец через все вагоны, гонимые оголтелым хулиганьем...

А поезд шел да шел, будто сам по себе, без каких-то там машинистов (до тех не добарабанишься, они знали, чем это им грозит), и был похож на несущийся сквозь космос обломок чудом сохранившейся кометы, с ревом, сквозь пространства и время, пронося в неизвестность обломки разных судеб, а что там впереди, никто из нас не знал.

На последней электричке мы доехали с Борисом до Быкова и сошли, жил он, если смотреть по ходу последнего поезда, ушедшего в Москву, на левой стороне, в каком-то многоквартирном бараке.

Открыла дверь нам его жена, молодая, но уже начинавшая распыляться, женщина, в байковом халате.

Тихонько, чтобы не разбудить дочку, лет пяти, мы прошли на общую кухню и здесь опять выпили.

Борис только что вернулся из отпуска из родной Башкирии и привез какую-то особую самогонку, настоящую на меду.

Потом он рассказывал о себе, показывал фотографии, давние, фронтовые, оказалось, он воевал в Польской армии, был радистом, имел награды.

На одной из карточек он был снят рядом с молоденькой веснушчатой девушкой, такой милой, с улыбочкой, что я невольно задержался, спросил: "А это кто?"

Борис воровато оглянулся, не слышит ли жена, и негромко произнес: "ППЖ".

Я не понял, что это означает, и он так же тихо пояснил: "Полевая жена, то есть. Мы с ней недолго жили".

Я опять посмотрел на эту девушку и вдруг попросил: "Подари". "Зачем?" — удивился он. "Не знаю. Нравится". "Кто нравится? Девочка моя нравится?" — и отдал, и отмахнул рукой. "Бери! У тебя возраст такой, что ты еще можешь влюбляться в них по фотографиям! А мне так живую и помясистей сюда подавай!"



Тут вошла жена Бориса, принесла шипящую на сковороде яичницу, и Борис хлопнул ее по заднице: "Какова она у меня? Хороша ведь? А? Хо-ро-ша!"

И жена, не ведая, о чем мы говорим, тоже сонно улыбнулась нам и, присев, выпила вместе с нами.

Вот с тех самых пор и хранится у меня эта странная фотография, где среди поля, на раскинутой под деревом кухне стоит маленькая, с такой дётской невинной улыбкой веснушчатая девушка, ну и пусть ПЛЖ, все равно она по виду девушка, а рядом чуть сзади, полуобняв ее, смотрит весело в аппарат молодой солдатик Тахтагаров! У него блестящие черные глаза, вовсе никакие не злые, а на груди блестят медали.

Помню, в тот вечер, ночь, мы сидели долго, потребляя крепкую медовую водку и постепенно, от стопки к стопке, балдея.

Сперва разговоры крутились вокруг прошлого, потом мы перешли на лабораторию, и Борис стал грозиться и кричать, что он не даст меня в обиду, что я работающий техник, а насчет всяких там моралей, пусть эти засранные партийцы-комсомольцы свой хрен сосут! Вместо того, чтобы без конца болтать на собраниях, работали бы лучше! Как сачок, так обязательно какая-нибудь выскочка или гнида, и норовит общественной работой прикрыться! А как тащиться на аэродром, так их не видно! И на фронте тоже по тылам отсиживались!

И тут стал он рассказывать историю про инженера Жукова, из первого комплекса, как он создал парашют для высоких полетов, и выдвинули его на Сталинскую премию. А тут к нему добавился начальник института, его помощник, начальник комплекса, лаборатории, и в списке поданных на премию он оказался последним. А когда список наверху стали сокращать, последнего и сократили! И вышло, что премию отхватили те, кто о парашюте и слыхом не слыхивал и в глаза ни разу не видел... А Жуков-то возьми и напиши туда — наверх. Пошли склоки, да все против него, и такой он и сякой, довели до того, что вышел он дома на балкон, а жил он на пятом этаже, да и сиганул вниз.

Изобрел, называется, парашют, а прыгнул так... На-смерть!

И он вдруг повторил слова, те самые, что кричал летчик в момент катастрофы на горящем самолете:

— Эти суки нас угробили...

Я был пьян, но я все понимал и спросил, хоть вышло чуть косноязычно:

— А кто? Эти... Ну... Кто угробили?

Борис посмотрел на меня блестящими глазами, оглянулся почему-то на дверь, хотя сидели мы у него дома, и ясно было, что некому нас тут слышать. Но вот оглянувшись, привычка, выработанная годами, свирепым шепотом произнес:

— Все! Парень! Все!

— Ты хочешь сказать... Сергей Осипович?

— Выше!

— Турецкий!

Он захохотал, как псих, отваливаясь от стола и прихлопывая ладонью по коленке, что означало высшую степень восторга. Но отсмеявшись, уже ничего не произнес, а молча стал закусывать, понукая и меня.

— Ты ешь, ешь... И забудь. Все забудь. Это просто треп, а тебе еще жить надо. Это мы конченные люди... Понял? Это нас они угробили, а тебя лишь пробуют на зуб, и не дай тебе Бог... — и залпом снова выпил и выматерился.

Тут опять пришла жена и сказала, что постели нам готовы, а мы уж с трудом вязали языком. Но все еще Борис продолжал материться, пока нас не развели: меня положили на диван, а его жена увела, раздела и уложила в постель.

А утром мы ехали на работу, и он молчал, уставясь в пространство и на какие-то мои вопросы лишь мотал головой: "Тяжело. Перенедопил, что называется. Сейчас бы пивка..."

В Отдыхе, сойдя, мы выпили пивка, а Борис еще и сто пятьдесят принял и оттаял, и на работе уже ходил веселым, энергичным как всегда...

Надо сказать, что среди всех технарей он выделялся своей работоспособностью: любые тяжелые и неблагодарные дела, связанные с командировками, отъездами, неудобными полетами, брал на себя и тянул, тянул... В нем была эта рабочая жилка, когда не умеет человек сидеть без работы, сам ищет, если ее нет, а когда ее в самом деле нет?

Да все они, бывшие фронтовики, в чем-то казались мне схожими: крепко пили, но и вкалывали на совесть, а мы, молодые, были ленивей, и главное, безвольней их.

Оттого-то меня и затюкали, что я не умел за себя постоять, а вот Борис — тот умел!

Однажды на него взъярился Сергей Осипович, чем-то не потрафил ему Борис, а скорей всего, просто расшифровка дала плохие результаты.

И Борис не промолчал. Он послал подальше при всех осторожного Всеволода Яковлевича и робкого Сидорова, и покладистого Петрова, а потом ворвался к Турецкому в кабинет и что-то наговорил там.

Думали, Тахнагаров вообще полетит или, в крайнем случае, схватит выговор, но ничего он не схватил. Более того, ему вскоре и премию дали, а Сергей Осипович продолжал с ним вежливо здороваться и обращаться с различными просьбами.

Вот когда я понял: с рабочим человеком ничего нельзя сделать, именно потому, что его цена определяется его работой, как у Бориса.

Придет зимой с летного поля, не только одежда, сам хрустит от мороза, настолько его пробрало: там же ветер сквозной пронизывает... И деться некуда, голову сунешь в фюзеляж самолета (это я потом по себе узнал!) а все остальное наружу! И так с утра и до темна! А если спиртика не схватишь, то и совсем загнешься, на другой день уже не встанешь без температуры.

Пил Борис часто, но не каждый день. Иной раз у Коли Гряника выпрашивал щеллаку на спирту, иной раз доставал гидравлику у технарей, но чаще всего, как все тутошние, добирался до станции и там в пивной просиживал до последней электрички.

Со мной ли, с Комковым, или с Колей-"черепом".

Не пил лишь с Леня-чкой. А если приходил в лабораторию выпивши, то грозил ему издалека пальцем и говорил: "Ты у меня смотри! Смотри!" А Леня-чка лишь посмеивался и отворачивался, вроде бы эти пьяные угрозы Бориса к нему не относились.

Однажды я напрямую спросил Бориса, чего он цепляется к моему приятелю, когда выпивает? Тот в упор взглянул на меня черными, еще будто потемневшими глазами и отшутился, мол, тот знает сам почему.

Но однажды выразился прямо: "Хитрожопый он, твой дружок! Лишнего за зря не сделает, но далеко пойдет... Ему второй этаж будет тесным, он такой... Он без мыла к кому надо влезет в задницу и будет двигаться, двигаться..."

Не дожил Борис до этих дней, но видел вперед все верно.

Я думаю, просто он знал жизнь лучше многих из нас.

А потом случилось, однажды зимним утром кто-то из верхних, не помню уж кто, может, сам Сергей Осипович, рассказал, что нашли Бориса мертвым в канаве неподалеку от Быкова.

Весь в блевотине и замерзший... В этой блевотине он, вообще-то и задохнулся. Но потом всем, и жене его говорили, что умер он от сердца.

На похороны из верхних никто не пришел, лишь Сергей Осипович (все-таки он был человек) заехал к его жене и отдал какие-то деньги. Думаю, что это были Сергея Осиповича личные деньги.

А за гробом шли все из нашей комнаты, кроме Ленички, он, кажется, приболел.

Лицо у Бориса было спокойным и не потеряло своей смуглости, лишь на лоб и вдоль щек был он замотан в какой-то странный белый платок, наверное, чтоб скрыть ушибы.

Потом несколько нас, технарей, поехали к нему домой на поминки: Комков, Коля-"череп" и я.

Пили спирт, ругали работу, кто-то рассказывал подробности, услышанные от других, но лишь тогда, когда жена Бориса выходила на кухню.

Рассказывали, что видели Бориса в пивных на Отдыхе и в Кратове, потом его видели в последней электричке, он почему-то ехал из Раменского и ко всем в вагоне приставал... То есть, может, и приставал так, что не хулиганил, а хотел лишь поговорить, но его запомнили именно по этой последней электричке.

А месяца через два что ли или более, мы приехали снова в этот дом. Меня и Комкова послали забрать и сдать на склад спецодежду, которая еще числилась за покойным Тахтагаровым. Жена встретила нас молча, полезла куда-то в кладовку, достала и отдала одежду: меховую куртку Бориса, комбинезон, унты.

Мы собрались уходить, вдруг она сказала:

— Оставили бы... Ведь память!

Мы стояли перед ней, держа охапкой вещи и не знали, как ей все объяснить... Ну что спецодежду выдают под расписку, она на балансе, у нас нет сумасшедших таких денег, чтобы заплатить за нее, если мы ее сейчас не возвратим. Так уже ведется на аэродроме, что она на строгом учете, ее выдают и ее забирают, если человек увольняется или, не дай Бог, умирает. Комков, видать, так и решил ничего не объяснять, а попрощался да пошел,

а я глупыш, все стоял, все мямлил что-то, что "не положено", что "не имеем права", и даже такое "нам велели..."

Господи, да какое дело этой бедной женщине, что нам велели! Это лишь доказывало ей, что мы такие же скоты, как и те, что нас послали, если мы не можем поступить как люди и оставить на память о покойном и дорогом муже какие-то тряпки! Да ведь их все равно спишут и сожгут! Неужто Борис своей тяжелой работой на аэродроме не заслужил этого засаленного затрепанного хламья!

— Ладно, — сказала женщина, глядя на меня. Ребенок притерся к ее коленке, но она резко его отпихнула. — Ладно уж, как-нибудь сами... Спасибо, что заглянули... — и закрыла, нет, захлопнула за нами дверь.

Комкова этот выпад вроде бы не огорчил. Располагаясь в кузове машины, он лишь проворчал, что характерец у Борькиной жены, видать, не ахти, ишь, взъерепенилась, будто мы перед ней кругом виноваты! Я ему не ответил. Я знал, как впрочем и он знал, догадывался, в общем, что мы, конечно, перед ней виноваты. И за эту отобранную рухлядь, и за все остальное, за то, например, что делаем вид, будто ничего не произошло, а ведь ясней ясного, что мы никогда больше не будем в этом доме.

## СВОЙ — ЧУЖОЙ

Полудачное околomosковское предместье: Отдых.

Подразумевалось: отдых на дачах.

Впрочем, дач-то мы и не видели, они располагались по другую сторону дороги, с левой стороны, и этой дорогой более, чем Берлинской стеной, были отгорожены от нашего аэродромного технарского быта, от наших, пахнущих гидравликой и бензином, спецодеждовских курток, от наших иссушенных, потресканных частой смывкой рук.

Мир и антимир. У нас не было и не могло быть точек соприкосновения..

Хотя некоторые из моих более поздних московских приятелей, как выяснилось, жили на этих дачах, их воспоминания, окрашенные в светлые ностальгические тона, повествуют о садиках, огородиках, цветочках, бабочках и девочках (этаких белых, с бантиками), в которых они, конечно, были влюблены, на соседних дачах.

Да и, возможно, вся дорога для кого-то связана с иными, чем у меня, более светлыми воспоминаниями, и об-

ратившись к моей книге, как к подтверждению этих своих пережитых чувств, они, конечно же, испытывают недоумение, а может, и разочарование.

Не та дорога! Не те краски! Не та зелень! Все, все не то!

Вот уж я и сам, отправившись в этот путь, не ведал не гадал, каков он будет.

Обратившись к Рязанке, как источнику моей молодости, я испытал совсем не то, что мог предположить. Даже поперву растерялся от такого своего открытия!

Я-то ждал, думал, что она придаст мне сил, укрепит мою веру, надежду, а она лишь усугубила то, что накопилось во мне; она открыла вот сейчас, в этот самый миг мне истину, что вся моя болезнь, мое одиночество, закладывалось в те молодые годы, а не пришли сами по себе, как результат возраста и поздних потерь.

С каждой остановкой я находил и терял кого-то, и эта дорога, конечно же, дорога потерь, и уж за спиной почти не видны потерянные мной станции, остановки, а впереди их осталось совсем немного!

Даст Бог, доедем, доберемся и до них!

Но один крик, один отчаянный выхлест, как суд всему этому миру, звучит всю дорогу в моих ушах с той аварийной пленки: "Эти суки нас угробили"...

Наступила пора сказать несколько слов о Гарнаеве, он меня здесь ждет.

И правда, оттягивая до последнего (последней станции?) его и другие судьбы, я как бы в этой книге моей даю им возможность чуть-чуть подольше пожить.

А себе даю время не прощаться, не проститься с ними, хоть уже прощался и простился!

Но не здесь, не здесь, суеверно считая, что пока не написано еще, их слышу и вижу, а как произнесу последние слова, так и лишусь навсегда.

Когда мы познакомились и подружались, Гарнаеву исполнилось около тридцати. Но он не казался мне уж таким молодым, мне-то было восемнадцать. Был он темен, густые чуть выющиеся волосы, коротко стриженные, невысок, худ, подвижен, во все времена великий работяга. У него и кличка аэродромная была: Муравей!

Мы тогда часто встречались, спали рядом в общежитии, и на сцене выступали в одних и тех же ботинках, гарнаевских, конечно.

В то время с ним расправились, убрали с аэродрома, перевели работать в клуб. Да и я тоже попал под сокращение.

Это, оказывается, происходит так... Пришел ты на работу, а тебя не пускают за проходную, на территорию, и говорят, что пропуск твой аннулирован, а ты сокращен.

Сокращен — что это? Уволен, что ли? Ну да, вроде как уволен. Только не просто уволен, а сокращен. "В связи с сокращением штатов". Сперва, значит, набирают штаты, а потом их же сокращают. А зачем? Зачем их набирать, то есть меня, если потом надо сокращать? Да кто ж его знает, везде так делают.

— Как так? Как так? — спросил я. — Не сказав ни слова? Не объяснив? Даже не посмотрев в глаза? Взяли и отрезали от себя? А я-то куда теперь?

Тупое недоумение было, наверное, на моем лице, когда мне все это толковал вахтер. Но у вахтеров, в отличие от моего, теперь уже бывшего начальства, времени хватает, чтобы со мной потолковать. Старые люди, инвалиды, в изношенной солдатской робе, может, они тоже бывали не раз сокращены в этой жизни?

И я ушел.

Изъездив Подмосковье, я вернулся к моей бывшей проходной и стал около нее ждать. Кто-то из сотрудников узнавал, здоровался, некоторые проходили мимо. Однажды я увидел моего наставника Николая Матвеевича Гаврилова, инженера. Это был пожилой и тихий человек, молчун, занимавшийся во время работы в основном починкой часов. Так многие тогда подрабатывали. Мной он не особенно занимался: делать нечего, да и какой я помощник в пятнадцать лет. Но я-то ему обрадовался как родному. Бросился навстречу, попросил взять меня обратно. А он вдруг испуганно засуетился, задергался передо мной и, глядя вбок, стал сбивчиво объяснять, что он тут человек маленький, как говорят, на птичьих правах... Чем он может помочь... Да ничем, конечно...

Это он мне-то жаловался на жизнь!

Ему оказывается было тяжело. Бедный Николай Матвеевич!

Выпалил свое скороговоркой и исчез. Мне даже показалось, что он рысцой убежал. Торопился, якобы, на автобус. Но я-то вдруг сообразил, что это он удрал от меня. А удрал потому, что испугался меня. Испугался, что я догадаюсь, как он меня продал и подвел под сокращение. Ведь моих сверстников-дружков, с которыми я поступал в ученики, их инженеры и наставники не сократили же! Ни Ваську, ни Виктора!

Оттого и корчился и прыгал передо мной, оттого и бежал, что стыдно ему стало. За глаза-то всегда легче расправиться. Он-то не рассчитывал, что я вновь приду и спрошу. И струсил.

Только зря я на него грешил. Пленная бабка, судя по всему, была виной. Она и никто больше. Хотя тот же Гаврилов мог и перестраховаться. Однажды он особенно пристрастно и, как мне показалось, с сочувствием расспрашивал о той бабке. Да я не придавал значения. Это я потом понял, что проявлять бдительность к нам и нашим родственникам была первая обязанность любого начальника.

Спасибо тому первому кадровику: он не выместил, скорей всего из-за лени, своей злобы на нас, недоростках, и бабки моей как бы не заметил. Он допустил (есть такое слово "Допуск") меня к работе и дал мне возможность кормиться... Мне и моим друзьям.

И вот я снова клянчил себе работу.

Разозлившись и на него, и на себя, я продолжал торчать у проходной. Мне-то, безработному, какая разница, где торчать.

Думаю, что я стал как бельмо у всех на глазу, у тех, кто работал и прежде знал меня. Они идут к себе, а я стою. Надо хоть поздороваться! И после работы опять же, они выходят, а я опять тут! И неудобно уже: им неудобно, хотя и мне тоже. Чего он (то есть я), как привязанный, вы бы ему хоть сказали! А что можно сказать? Не ходи, не гуляй тут? А кому какое дело, где кто гуляет? Не заказано же! Хочет и ходит. А то что тебе в укор, так ты и переживай! Или, как бывший наставник, трусливой рысцой мимо, будто не твое дело. Будто и ты на "птичьих правах"... Бедные птицы!

На политбеседах нам много рассказывали о безработице там, в ИХ МИРЕ КАПИТАЛА, но я пережил ее тут, в нашем светлом и счастливом мире, и хорошо запомнил безпросветное чувство своей ненужности. Никому и ничему. Времени завались, да что с ним делать. В такие минуты, чтобы совсем не свихнуться, ехал я сюда, в наш клубик, где Гарнаев выступал в своей последней роли, роли директора. Часами я торчал у него в кабинете.

Чтобы лишний раз подкормиться, я включаюсь во всякие выездные концерты, где нас после выступления угощают. Мы ездим в Фаустово, Чулково и Мячиково, в Москву.

Гарнаев с его неумемной энергией организует такие концерты и сам их ведет. Его любимое стихотворение,



с которого он начинает вечер, называется "Итак, мы начинаем". Эти слова повторяются как рефрен, других я не помню. Но однажды он подарил мне фотографию, где он стоит на сцене с поднятой рукой, и надписал: "Итак, мы начинаем!" Конечно, это не только о концерте, но и о жизни. Вот только вид у нас, при нашем начале, был не столь эффектный.

Иногда он читает и другие свои стихи, такие вот:

Пусть завывают ветры мракобесья,  
И пусть ревет фашиствующий сброд.  
Но сгинет ночь, но слезет с дряни плесень,  
И новый день на смену им придет...

Тогда эти стихи, конечно, воспринимались как написанные в защиту мира. И сразу после них включалась наша самодеятельная певица Ира Беляева, запевала песню: "В защиту мира вставайте, люди, ряды тесней, страна к стране, и пусть над миром сильнее орудий призыв наш реет, не быть войне!"

Но сейчас, когда я привожу эти стихи Гарнаева, они воспринимаются почему-то по-другому. Ведь и Юрка был жертвой "фашиствующего сброда", и это он, он ждал, когда же наступит "новый день", и с этой самой дряни "слезет плесень"...

Неужто заглядывал так вперед?

Да нет, конечно, нет, что мы тогда знали?

Случилось однажды, повезли нас выступать в Удельную, в санаторий. Сразу предупредили: ничего не трогать, не шуметь, к больным не подходить, с ними не здороваться и, вообще, лучше не разговаривать!

Нас провели в комнаты-залы, каких никто из нас, конечно, прежде не видывал. Ковры, сверкающие люстры, обтянутые бархатом кресла, в которые мы так и не решились сесть, при нашей-то одежде! Стены были обиты цветной материей, потолок деревянный, резной. Так что, по образному выражению Магерина, мы долго стояли, как Ваньки, разинув рты, не понимая, как это нас, вообще, в такой музей допустили.

Одна из зал была приспособлена под зимний сад: в огромных кадках пальмы, рододендроны и другие неведомые, но дивные растения.

Где-то за ними в глубине мы увидели напольные красного дерева часы в человеческий рост. Они ходили, но так медленно двигался маятник, что будто и не ходили, а стояли.

После концерта, как и полагалось, нас повели в столовую и накормили. Я запомнил провансаль на тарелочках, котлетки, которые можно было брать за торчащую из них косточку, и какие-то особенные булочки к чаю.

Вот тут и выяснилось, что санаторий этот расположен во дворце графа Румянцева, а отдыхают тут и лечатся цеховские руководители и члены их семей. Руководит же санаторием сама жена Маленкова.

А мы-то в наших дерюжках да в эти райские кущи. Степанов и я играем сцену из "Леса", Магерин поет и пляшет, а Гарнаев выдает репризы. Такие, например: "Нравится вам, как мы выступаем? Это что. Вот тут на днях мы в воинской части давали концерт. После уж я к командиру части подхожу, спрашиваю: "Ну, как вам наши артисты?" Он отвечает: "Спасибо, неплохо, но мое мнение еще не всё, вот спросим у наших бойцов..." И спрашивает: "Рядовой Иванов, как вам концерт?" Тот отвечает: "Ничего, товарищ майор, терлим, не такие трудности переживали!"

В зале смеются, аплодируют, а Юрка кричит: "Спасибо, ухлопали, ухлопали!"

Накормленные, сытые, довольные покидаем мы санаторий.

Еще бы, перед самими (!) выступали. И уж дорогой, в автобусе, не песенки глупые, про Марфуту, которая упала с парашюта, а восклицания про мебель, про стены, про потолки, про тарелки, про булочки и про часы в зеленых куцах.

Никто не завидует такой жизни и не произносит: "Эх, как бы нам так!" Нет таких восклицаний. Мы знаем про себя все, и знаем твердо, что никто из нас, тутошних, никогда в жизни так жить и отдыхать не будет. Это "их" мир, и он должен быть именно таким, то есть, райским. А каким же еще! У нас и сомнений даже нет. А как, скажите, еще могут жить боги?! Оттого-то и часы едва движутся и запрятаны глубоко, что в раю времени не бывает; оно тут недвижимо и вечно, как и все остальное. Они — Кремль, а мы, считай, все то, что вокруг него. И мы, которые из другого, и для них необыкновенного, странного и вряд ли ими различимого мира за этими обитыми материей стенами, нужны им для легкого возбуждения, для оживления, для внутренней этаким бодрости и надежной веры — вот она, их связь с народом. Так спасибо санаторию, всем им, что позвали, что накормили, угостили, приветили... Позволили краешком глаза на себя, на свой рай взглянуть!

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Родной партии, родному правительству, и лично това...

А на утро я встречаю Гарнаева в его кабинетике в клубе. Он задумчив, пасмурен, вяло отбивается от какой-то девицы, которая зовет его заглянуть сейчас к ней в общежитие и поставить пробку.

Юрка отнекивается, смотрит на меня и спрашивает, могу ли я помочь... Вот ей... Пробку...

— На счетчике? — глупо спрашиваю я.

Девица поет: "Мама, я летчика люблю... Мама, я за летчика пойду! Летчик высоко летает, много денег загребает, вот за это я его люблю!"

Юрка качает головой. Произносит, что есть и другая песенка: "Полюбила летчика, думала, летает, прихожу на аэродром, а он подметает!"

Юрка и девица смеются.

Наконец она уходит. А Гарнаев говорит:

— Я всю ночь не спал, все думал, думал... Как полагаешь, о чем?

— О санатории, — угадываю я, потому что и я о нем думал, и он даже мне во сне приснился. Райский сад, а в нем часы, только почему-то на ветках! Но тоже не ходят. А гуляют люди, и каждый норовит рукой придержать маятник, который и так не движется. Если уж болтанется от ветра, то сразу встает. Странный сон.

Юрка качает головой.

— Да нет, я вовсе не спал. Ты не заметил, что меня лично угощали в другой комнате, а принимала сама жена Маленкова. И сидела она, между прочим, рядом со мной. Ты понял?

— Да. Конечно.

Юрка вздохнул.

— Ничего ты, брат Аркадий, не понял! — это он под руководительницу сработал, которая меня и в жизни зовет Аркашкой. Я играю Аркашку Счастливецва. — Она же со мной лично разговаривала, даже о здоровье справилась, понимаешь? А я дурачок... Ну, дурачок! Ах, какой... Ведь мне два слова ей сказать, и все!

— Каких два? — спросил я тупо.

— Да я их только ночью придумал, — кричит Юрка. — Богат задним умом... на лестнице... Ведь знаешь, как надо-то? Она спрашивает, милая такая, обаятельная... "Как ваше самочувствие, Юрий Александрович?" "Спасибо — вот не летаю, хоть и здоровье позволяет, а небо зря

колчу". А она бы вечером мужу-то за ужином и произнесла. Есть, мол, один хороший человек, Гарнаев его фамилия, тридцать три года... Был у него грех, из-за баб, ну за что же его теперь-то казнить, он вот и летать хочет... А тот скажет: м-да... Надо позвонить, проверить... "Свой" он или как? Если "свой", отчего же не разрешить! Пусть себе... И вот сидим мы с тобой в клубе, кукуем, чахнем и размышляем, как твой Аркашка Счастливец: а не удавиться ли... А не напиток ли... А тут звонок!

Что там со звонком у Гарнаева в фантазиях произошло, он не досказал, ибо прозвучал настоящий, а в нем какой-то свинский разнос из завкома по поводу плохого проката кинокартин. Гарнаев вяло отвечает, а положив трубку, зло сплевывает и решает:

— Пойду напьюсь. Ты со мной? Аркашка?

— Я с тобой, — говорю я, мы идем в столовую и заказываем водки.

Третий в нашей компании Иван Степанов, мой партнер по сцене.

Степанов работает на метеостанции аэродрома. Иногда я прихожу к нему, чтобы отрепетировать нашу сцену Аркашки Счастливецова (это я) и Несчастливецова (он). Работа у Степанова несложная, он сидит над картой мира и переносит на нее погоду в разных широтах. В руках у него странная ручка с двумя перьями. Иван окунает ее в чернильницу с двумя чернилами: черными и красными и, наклоня руку то вправо, то влево, Иван пишет температуру красными чернилами — плюсовую, а черными — минусовую. Я молча гляжу на карту, и мне холодно. И оттого, что зима, и оттого, что жизнь холодает, и мне кажется, что и на карте Степанова черных цифр с минусовой погодой куда больше, чем красных.

Ивана здорово били в детстве, он воспитывался в детдомах Средней Азии, личная жизнь у него не сложилась. Нет у Ивана и дома.

— У тебя есть жена? — спрашивает Гарнаев после того, как они выпили водки. Налили и мне.

Иван не отвечает, а поет из "Вассы Железновой", которую мы теперь готовим: "Жениться нам всегда легко, но трудно жить вдвоем!"

Потом Иван уходит, а мы с Гарнаевым остаемся. Мы разговорились про международное положение, про войну в Корее, и Гарнаев сказал, что он там неподалеку стоял.

Это было в 60 километрах от Дальнего, в 60 километрах от Порт-Артура. Потом он рассказал, что в 1945 году его прямо из армии повели этапом в северо-восточную часть СССР. Он просидел три года. В тюрьме он начал писать стихи. Стихи он запоминал, а после выхода записал в тетрадь, которую пообещал мне дать почитать.

Я потом прочитал эти стихи, частью написанные и зашифрованные, там одни буквы согласные заменялись на другие.

— Мне домой, мне бы к маме вернуться. Так охота, так больно до слез, с головой бы сейчас окунуться в цвет черемух и зелень берез!"

Мы вышли с Гарнаевым на улицу. Он посадил меня на багажник велосипеда, и мы поехали к милиции. Оказалось, что там нужен он попозднее, и он решил проводить меня к станции. Дорогой он сказал, чтобы я не думал, будто он имеет к милиции служебное отношение. "Клянусь душой, нет!" Просто положение у него такое сейчас непростое, а ведь от милиции очень многое зависит. Вот когда приехал он сюда после отсидки, голый, в прямом смысле слова, нашелся бывший дружок, замначальника милиции, который помог прописаться. Поступил он в авиационный институт токарем. Потом сделался технологом, потом инженером, стал понемногу опять летать. А ведь начал летать он еще с 1938 года, когда закончил аэроклуб, в двадцать один год. Женился, у него родился сын. Жена, когда попал в тюрьму, его бросила. А сын воспитывается у матери.

Стал он уже участвовать в разработке важного оборудования на "летающих крепостях" (ТУ-4), кто-то на него стукнул: такого-сякого и сидевшего, да к секретной информации... А если он японский шпион? Хотели уволить, а друзья настояли, чтобы перешел он на должность директора клуба. Все не увольнение. А проверка... И он кивнул в сторону оставшейся позади милиции...

— Я знаю вашу работу, — сказал я ему. — Мы на крепостях тоже приборы ставили. Называются "Свой-чужой"...

— Локация, что ли? — спросил Гарнаев.

— Радиоответчик, — пояснил я. — С земли запрашивают кодом: "Свой?" — а прибор сам включается, независимо от летчика, и кодом отвечает: "Свой!" А если не отвечает, значит, "чужой", ну, его подстреливают!

Юрка покачал головой:

— Пряма как в жизни.

— Так он у нас плохо фурычит, — сказал я почти виновато. Чтобы Юрий не подумал, что я плохо работал. — Понимаешь, он путает все время "своего" и "чужого"!

Гарнаев со вздохом повторил:

— Ну, я правильно сказал: все как в жизни... За меня вон знаешь, сколько летчиков вступилось, они прямо в уши начальству, он же "Свой! Свой! Свой!" А им, как в твоём испорченном приборе, все слышится: "Чужой! Чужой! Чужой!" — он оглянулся, чтобы посмотреть, не слышит ли кто, и добавил. — Я думаю, они так устроены, что им везде только "чужие" видятся... А кстати, какие же приборы, ты ведь у нас тоже... безработный!?

— Я под сокращением, — сказал я.

— "Чужой", значит?

— Не знаю.

— Ну ладно, — говорит он прощаясь. — Я-то знаю, свой. Приходи в клуб, помозгуем, как дальше жить.

## ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ВАРШАВА

На Новый Год Гарнаев устраивает меня "поработать" Дедом Морозом во время школьных каникул. Три-четыре смены в день, и так целую неделю. Плата десять рублей за смену, рубль на нынешние. Но тридцатка (трешка) в день, это уже для меня большие деньги. И я стараюсь. Весь день не вылезаю из ватной шубы, да еще душит огромная борода с усами. И это не то, что выйти и уйти. Я Дед Мороз старательный: всю смену вожу хороводы, пою, рассказываю стихи и сказки и даже пляшу "русского". Тут же вручаю небольшие подарочки за исполнение детишками номеров.

Сохранился у меня листочек с программой. Там написано:

1. Появление Деда Мороза под музыку (сопр. баяниста).
2. Зажигание елки (колл. стихи).
3. Хоровод среди детей (сопр. баяниста).
4. Загадки детям.
5. Объявление Красной Шапочки и всяких зверей.
6. Вручение подарков.
7. Дед Мороз поет песенки и прощается (сопр. баяниста).

Сохранились и стихи, что я декламировал:

Всё друзья мои собрались  
В новогодний светлый час.  
Целый год мы не видались,  
Я соскучился без вас!

Всех я обнял бы сегодня,  
Да не хватает рук моих.  
К славной елке новогодней  
Я зову друзей своих.

Если весел ты сегодня,  
Будешь весел целый год.  
Становись в наш новогодний  
Развеселый хоровод!

Вспотевший, мокрый, ухожу в крошечную комнатушку за сценой. Пока дети в раздевалке, я не могу никуда выскочить, даже в туалет: невозможно их разочаровывать, всерьез поверивших в меня.

В перерыв прибегает наш профсоюзный организатор Мария Семеновна, рыхлая, какая-то бесполоая, но очень даже энергичная особа. Она отвечает за эту елку и выдает мне всяческие инструкции.

Теперь она говорит:

— Вы забыли про девочку, про которую я вам говорила.

— Какую еще девочку? — спрашиваю я, протягивая ноги. Тело ноет от усталости, хорошо бы прилечь, но мешает чертова шуба. И шуба, и эта настырная баба, которой опять от меня что-то надо. На прошлой смене я уже выводил одну девочку, "в зеленом", и вручал ей подарок. Оказалось — ее дочка.

Но Мария Семеновна от меня не отстает.

— Я говорю про девочку в розовом платье... Это дочь Ивана Иваныча!

— А кто это? — грубо спрашиваю я. Ох, уж эти блатные дети!

— Вы не знаете Ивана Иваныча? Его все знают. Так вот. Я проведу ее во вторую смену, и стоять она будет слева. А вот для нее подарок... Вручите, когда она споет песенку, хорошо?

Я киваю и кладу подарок в карман огромной дед-морозовской шубы.

— Так в розовом! — кричит она и уходит. А я наконец откидываю жаркую бороду, снимаю шапку и разваливаюсь в кресле. Шуба, к сожалению, не распахивается, она сделана наподобие северной малицы, и как рубашка надевается через голову. Каждый раз не снимаешь. Приходится жариться, но терпеть.

Смена новая началась, и я уже слышу, как хор, руководимый Снегурочкой Катей (из нашей самодеятельности) вызывает меня в зал. "Дедушка Мороз, ты нам праздник принес, в окруженьи зверей приходи к нам скорей!" Баянист играет марш, и я торжественно выхожу и читаю собственного сочинения стихи, как я гнал на оленях, по льдам, по торосам, и как торопился сюда на праздник... И на ходу будто глазу, а сам ощупываю бороду: в порядке ли, не отклеилась ли она.

Потом мы ищем запрятанный под елкой волшебный ключик, и этим ключиком зажигаем цветные огни на елке.

Елка-елочка, проснись...  
И на радость нам зажгись!  
Зажгись огнями яркими  
Для танцев и потех.  
Весельем и подарками  
Ребят обрадуй всех.

Мы танцуем с зайцами и лисами (все из детского хореографического кружка), у елки поем песни. Потом мы водим хоровод, детишки льнут и жмутся ко мне, им хочется меня рассмотреть и даже потрогать. А я для них специально заначил в кармане горсть конфет и как бы нечаянно достаю и дарю. Восторга полный рот! И тут я натыкаюсь на заготовленный подарок. Ба! Девочка в розовом! Оглядываюсь и сразу нахожу ее. Покрасневшая от счастья, как же, сам Дед Мороз ее выбрал, она замечательно поет и получает подарок из моего кармана. Я поднимаю ее на руки и целую ее в носик. В конце концов, думаю, дите не виновато, что взрослые такие скоты. Только бы этот розовый ангел, когда она вырастет, не стал бы походить на своего папу, блатного Ивана Ивановича! Да, конечно же, не будет! Не будет, я в этом уверен! И я отвожу моего ангела на место. И тут я натыкаюсь на злое, прямо-таки пышущее огнем лицо моей организаторши. Слышу ее шепот, похожий на шипенье.

— Да не та же! Вы что, дальтоник! Эта, которая была, вовсе не в розовом, а в красном, а наша в углу! Да вон же, вон стоит!

Я в растерянности оглядываюсь, и правда, вижу другого ангела, не менее прекрасного, но какая же разница, если первый ангел был хорош, да и все они, все хороши!

— Идите вы... Туда! — шепчу я негромко моей организаторше, сохраняя приветливое лицо, и тут же сам ухожу на середину зала, чтобы не видеть, не слышать ее.



— Ни черта! — бормочу в бороду. — Переживут свою трагедию, и папа-профсоюзник, и мама-профсоюзница, и эта неумная организаторша Мария Семеновна. Зато дети, уж точно, вырастут не такими свиньями! Пусть из нас сделали дерьмо, вытурив меня с работы, не дав Гарнаеву летать, сплив Тахтагарова и других... Но если из этих ангелов вырастут приличные люди, то, значит, мир не погиб... И не зря были мы... Может быть, они и есть мое оправдание, их не тронутые тлением души, верящие в счастливый конец сказки. Для них и эта профсоюзная толстая тетя, обтянутая сверх меры в трикотаж и злобно шипящая, останется лишь новогодней Бабой Ягой, которая никому не в силах причинить зло.

Я, конечно, не в счет.

Весь этот безумный монолог промышливается во мне, в моей бороде, в то время как внешне я здорово веселюсь.

Здравствуй, здравствуй, елочка,  
Синие иголочки,  
Тра-та-та, мы везем с собой кота!  
Красота!

Кажется, я перепутал песни, но это уже пустяки. Нам всем, всем невозможно весело и мы, довольные, расходимся. Дети в раздевалку, а я в свою конуру за сценой.

Не успеваю я усесться в кресло и откинуть мучавшую меня бороду, как огненной ракетой врывается организаторша. Она кипит и исходит паром. В боевой позе, расставив широко ноги, она нависает прямо надо мной и кричит сверху вниз, так, что видны золотые коронки:

— Вы так! Вы так! — других слов пока нет. Одно бульканье. — Вы не умеете себя вести! У вас нет элементарного чувства уважения к детям! У меня такой артист из Москвы просился на Деда Мороза, а я пожалела вас!

Тут она начинает плакать, размазывая густую тушь на глазах, и моя Снегурочка ее утешает.

Но слезы прекращаются так же быстро.

Уходя, она произносит железным тоном:

— Я не знаю... Но я оправдаюсь перед руководством... А с вами, вы слышите... С вами мы больше не работаем... Будьте добры сдать костюмы и реквизит... Я не хочу вас видеть!

— Я тоже, — отвечаю ей устало и швыряю ненавистную бороду на пол. Правда, это уже после ее ухода.

Мы сидели в клубном кабинете Гарнаева и молчали. Он листал какие-то бумаги, разговаривал по телефону. Временами поглядывал на меня, но не произносил ни слова.

Закончив свои дела, предложил:

— Пожрем, что ли? Не бойсь, я авансирую! Твою дед-морозовскую плату дадут через неделю, а то и две. Если "эта" не помешает.

— Спасибо.

— Не за что. Честно заработал.

Слово "честно" он подчеркнул. И вдруг, оживившись:

— А не поехать ли нам, брат Аркашка, в самом деле в Варшаву? А?

— Куда? — спросил я.

— В Польшу. В Варшаву, — он покопался на столе, нашел листок. — Вот, прислали из Москвы бумагу: набирают культработников — воспитатели для рабочих, которые строят Дворец культуры... Рекомендации, анкеты... Это несложно. Ну, поехали? Была такая байка про портного, не слышал? Ну, я тебе расскажу... Жил где-то в маленьком городке портной, а у него семья, куча детишек и старая жена, от которой он устал. Однажды он услышал, что есть такой прекрасный город Варшава, где все — и жизнь, и люди другие. Однажды утром, не говоря ни слова, он положил в карман кусок хлеба и пошел в Варшаву. Шел весь день, устал и лег под деревом спать, а чтобы не перепутать направления, вытянул руки в сторону Варшавы. Но во сне повернулся, и утром, так получилось, пошел в обратную сторону. И опять шел весь день и к вечеру пришел в свою Варшаву... Увидел, что она точь-в-точь как его городок, и улицы, и даже дома похожи. Он зашел в дом, похожий на его, и увидел детей, похожих на его детей, и женщину, напоминавшую видом его жену. Тут он решил остаться жить. И все было как всегда, весь день он портняжил, но при этом очень тосковал по родине...

Юра рассказал да забыл. А я будто уперся в стену с этой Варшавой, которая могла бы стать для меня выходом. Я и правда прямо стал о ней тосковать. Думал, думал, решил с сестренкой посоветоваться. Вернулся домой, а сестренки нет, убежала к подруге, поссорилась с мужем. А муж ее, Павлик, появился в нашем доме из армии, молодой красавец, похожий на грузина. С усами. Усы, правда, он скоро сбрил. Парень хоть куда, смирный, спокойный и мастеровитый. Его и не слышно, хоть живем за фанерной перегородкой, которая делит комнату пополам. Но это лишь до первой рюмки. Пить он не умеет и заводит-

ся, и тогда с ним не о чем разговаривать. В этот же вечер выпил он больше обычного. К моему приходу откуда-то извлек бутылку и сказал:

— Садись. Она ушла. С воза... Так легче... Мужику... Баба... Ну?

Я пить отказался.

Он налил себе стакан и выпил. Из рюмок он не пьет. А лишь из стакана, причем, граненого. А когда он выпил, я заметил, что глаза его стали странно светлеть. Признак сильного опьянения.

— Так брезгуешь? — спросил. Теперь, я знал, не отстанет.

— Да не хочу. Я вчера с тобой пил.

— Ну?

— А сегодня не буду.

— Почему?

— Сказал же, не хочу. И тебе не советую.

Он поднялся и посмотрел на меня. Потом ушел и принес ружье. Было у нас отцовское ружье и патроны были. На моих глазах переломил ствол и всадил патрон. Бумажная гильза была голубого цвета.

— Вот, не сядешь, пальну... Так и знай!

Я отмахнулся, пошел к двери. Надо было все-таки сбежать за сестренкой, которая, судя по всему, отсиживалась у своей подруги Томки, дома через два отсюда.

— Стой, кому говорят!

У дверей я оглянулся, замер. Павлик, вскинув ружье, целился в меня.

— Последний раз говорю... Са-ди-сь! Или...

Я не испугался, я знал, что все это буза, не более. Что он, сумасшедший, из-за выпивки стрелять. Пьяненькие любят побузить да покочевряжиться. Потом проснутся, и ничего. Только вот глаза мне у Павлика не понравились, они совсем стали белые, подернулись пленкой, как у слепого. В этот момент он и выстрелил. Я даже не расслышал звука, только больно хлопнуло в ушах и жарко швырнуло в лицо огнем. Дверь, обитая дерматином, взорвалась рядом с моей щекой, обнажив рваную рану. Промаяхнулся или отвел ствол? Но пужнул так пужнул, и меня и себя. Лицо у него вдруг помертвело, он отступил, на шаг, швырнул ружье на пол и ушел спать. Я же не спал тогда всю ночь.

На другой день он ходил бирюком, не разговаривал и ни на кого не смотрел. Один раз только к дверям подошел, покопался в дырке с торчащим войлоком, выковыривая ногтем дырочку. Спросил хмуро:

— Это я — так? А чего же не остановил? Вот, ей-бо... Ничего не помню... Затмение вышло.

А сестра крикнула ему из комнаты:

— Память свою и пропьешь! Стрелять по дверям, это же надо придумать... Бери теперь и делай, я тебе говорю.

Она тоже подошла посмотреть, как он обшивку на дверях испортил. О том же, что я стоял тут, как перед расстрелом, она не знала. Да и вряд ли когда узнает. Но именно в эту ночь я решил уехать. Куда-нибудь. Хоть в Варшаву, если уж больше некуда.

Характеристику мне дали. Вот она лежит передо мной, и судя по написанному, я замечательный человек и работник. Есть и такие слова: "Принимает активное участие в культмассовой работе института. Имеет большое стремление к повышению технического образования. Политически грамотен. Политический уровень повышает по линии учебы в техникуме и на работе".

На какой уж там работе, писали в комитете комсомола, где я еще стоял на учете, не заглядывая в другие бумажки. И слава Богу. Спасибо, нашему бюрократизму, который, конечно, самый лучший, самый первый бюрократизм в мире. Он-то еще и давал нам дышать и жить.

Правда, когда бумагу выдавали, спросили на ходу: чего, мол, не живется на месте и надо куда-то ехать. Или дома хуже, чем в какой-то Варшаве?

— Не хуже! Не хуже! — хотелось мне крикнуть. Дома всегда лучше. Но спросите меня, только по-настоящему спросите, отчего же еду-то, есть у меня дом или нет? И про работу опять же спросите! Я же вам все как на исповеди...! Ну?

Я помедлил, может, и вправду спросят?

Да нет, никого я тут не интересовал. Уже отвернулись, своими делами заняты, а я болтался перед глазами, как говно в проруби!

И я, вздохнув, ушел.

Характеристику надо было заверить в райкоме комсомола в Раменском, и я поехал туда. Там прочли, чего-то приписали. А я смотрел и думал: это они мою жизнь решают, а ведь ничего им обо мне неизвестно. Может, надо что-то такое рассказать?

И я сказал:

- Вот решил... Так сложилось дома... И на работе...
- Ага, — кивнули и на подпись отнесли.
- На работе у нас сокращение было, — сказал я еще.
- Ага, — и печатью хлопнули.
- А помогать-то мне некому...
- Ага, — и протянули листок.

Я хотел еще добавить, но никого уже передо мной не оказалось. Даже "спасибо" и "до свидания" некому произнести. Побежали обедать. Я как бы в пустоту кивнул и пошел. Такая-то моя характеристика.

А вот в трехэтажном сером здании неподалеку от метро "Кировская", куда я поехал в областной комитет комсомола, меня долго не пускали с моими документами. Я туда несколько дней ездил. Сидел, звонил, как некогда Володька Рушкевич своему Папанину.

Наконец, меня приняли. Да я там не один оказался, целая свора парней, и все такие же, с бумажками, как и я. Глаза бегают, все испуганные, видать, боятся, что не возьмут. Я тоже, честно говоря, боялся.

Вызвали меня к секретарю, который ведал, судя по всему, набором. Был он в костюме, при галстукe, чисто выбрит и нормативно вежлив. Разговаривал через стол с телефонами, а телефоны звонили, так что разговора-то и не получилось. Одни вопросы, ответов он не слышал.

А я-то уж заготовил все выпалить. Я так подумал: в комитете не выслушали и в районе, а тут скажу. Рот-то они мне тряпочкой не заткнут!

Но только начал свое, он сразу спросил:

— Что вы знаете о Польше?

И стал говорить по телефону.

Оторвался и опять спросил:

— Язык знаете? Нет?

Тут секретарша чай принесла. Так что я не успел ответить.

Он пил чай, говорил с ней, а на весу держал трубку, кто-то прорывался к телефону.

А мне опять бросил:

— Вы бывали за границей? Не бывали?

Я так ничего не успел ответить, он кричал в трубку и пил свой чай. Допил, договорил, откинулся, глянул на меня и произнес вдруг со странной интонацией:

— Зачем вам туда надо? Вы думаете, за граница, так медом кормят? Чего вам не сидится на месте... Ну ездили бы на экскурсию в Москву, еще куда... Иностранного им всем захотелось!

Я смотрел на него, очень красивого и, наверное, благополучного человека, от которого зависела моя судьба, и вдруг вняв услышал позывные моего радиоприбора: "Свой — Чужой — Свой — Чужой?"

Про меня, конечно. Он-то был только "Свой". Чужих за такими столами не держат.

И вдруг я вспыхнул. Странное чувство охватило меня, точно такое, как в разговоре с организаторшей Марией Семеновной.

— Зачем же вы тогда зовете? — спросил я громко. — Зачем рассылаете свои бумажки, если мы вам не нужны? Вообще — зачем вы нас морочите? Вы думаете, у нас других дел что ли нет?

Может, я не так уж невежливо его спросил, дословно не помню. Но настроение свое помню. И зло, вдруг возбужденное во мне к этому чинуше, к его почему-то галстучку, к его телефонам и чаю.

И он это точно так понял.

— А мы не всех зовем, — произнес он сухо. — Нам нужны проверенные, идейно закаленные кадры. А вот почему вас прислали, мне непонятно. И нужно еще проверить, кто вам дал эти бумаги, не липовые ли они? — в этот миг мне показалось, что глаза его начинают белеть, как у Павлика с ружьем.

Он резко нажал кнопку, будто спустил курок, вызывая следующего.

Но я еще находился в кабинете, а значит, мог, имел право высказать, что я о них обо всех думаю.

И тут я выдал, так выдал. Речугу. Монолог. Жалко, что дословно не помню. Но за смысл ручаюсь. А смысл таков, что, конечно, бумажки их, которые бумажки, не могут не быть липовыми! Потому что все кругом липа, а бумажки лишь эту липу отражают. А если им нужна бы была правда, а она, конечно, не нужна, то не липа то, что я сижу без работы, живу без дома, и в меня даже стреляли, потому что я среди всей волчьей стаи чужой. Я таким был со времен моей беспризорщины, когда меня в приличный дом не пускали, боялись вшей от меня набраться, спасибо, пустили в кабинет! Но я не чесался на глазах обкомовского секретаря, с ружьем, запрятанным в письменный стол.

Если же говорить о чувстве безопасности, это было лишь однажды, когда я жил счастливо и знал, что меня не схавают — в такой крохотной ямке, около неизвестной станции: я три месяца в этой яме прожил, обжеывая

травку, когда кончился мой жмышок, а потом я глодал собственную руку.

Но я-то питался собой, а эти едят остальных!

Сейчас я думаю, что ничего подобного я не сказал. Не мог сказать. Я был смирен, тих, послушен и знал одно, лишь молчанием, смирением могу что-то достигнуть. Я думаю, что я выслушал все, что мне выдал этот хлыщ с глазами убийцы, и сразу ушел. Ибо в ответ на мой крик о помощи (это были мои позывные) мне в ответ прозвучало лающее: "Чужой! Чужой! Чужой!" Прибор работал точно. Это только мне казалось, что он сломан, так что путает своих с чужими!

Проходя к дверям, я явственно ощущал спиной, затылком, что в меня и целятся как в "чужого", и, если вдруг повернусь, выстрелят из ружья.

## СЕЛИГЕРСКИЕ МИРАЖИ

Если в Ильинке, как ее называют, пройти по ходу поезда вперед мимо бабок, торгующих на сходе с платформы всякой зеленью и цветами, через линию свернуть направо и отшагать вдоль полотна железной дороги метров двести, справа покажется длинный такой забор, а за ним можно разглядеть лесопарк и какие-то строения.

Что там сейчас, не знаю, а прежде находился дом отдыха работников коммунального хозяйства, и работал у них массовиком мой дружок Володька Магерин.

Его имя, думаю, и сейчас еще помнят в Жуковском. Человек он был необычайных способностей. То, что другим людям экономная природа отпускает изредка и в розницу, Володьке она отсыпала полной пригоршней, как говорят, от души: острый ум, талант музыканта, танцора, художника, песенника, артиста, чтеца и даже поэта. И все при необыкновенно выразительной внешности: он был похож на артиста Мозжухина.

Сейчас-то я понимаю, что это вовсе не везение — получить такой букетик, а громадная нагрузка, требующая столько же крат работы и ответственности перед собой. Несчастье Володьки было в том, что получив все это, как бы задарма, он ни на чем не смог сосредоточиться; хватался за разное и ничего не доводил до конца.

Как, скажем, не довел набросанный у меня в доме мой портрет на куске картона. Начал, по вдохновению, и не

завершил, после, — сказал, — успею. В другой раз, мол... Не успел. Не знал, наверное, что не бывает другого раза.

С детства оставленный легкомысленной мамой, увлекающейся тоже самодеятельностью и тоже работавшей массовиком — об отце речь никогда не заходила — Володька сам прошибался в жизни. Закончил ремеслуху с уклоном лепщика и работал в художественной артели, расписывавшей тогда новое здание Курского вокзала.

Володька упоминал, что в какой-то там бутончик вписал, втихаря, свое неизвестное миру имя, с надеждой, что когда-нибудь и о нем услышат и прочтут.

Увлекался он и хореографией, выступал на сцене, и его заметили, пригласили в ансамбль Игоря Моисеева. Володька пробыл в стажерах ансамбля недолго, сбежал. Играл он на гитаре, на баяне, на балалайке, других инструментах, сочинял песенки, стихи, выступал и играл на сцене.

И вот еще: умел весело жить. Я думаю, это и был главный его талант, умение общаться, и пользовались им окружающие даже больше, чем сам Володька. Ибо когда ему удавалось остаться одному, он сосредоточивался на творчестве, а другие без него не могли. Он шли к Володьке с бутылкой, тащили его в компанию, и не было этому празднику конца.

В какие-то моменты, после всяческих попок, раздражающих нас, его друзей, мы произносили эти слова: "Надо Володьку вытаскивать и спасать. Надо. Володьку. Спасать. Надо..."

И мы, такие надежные, такие праведные его дружки, приезжали сюда в Ильинскую с одним-единственным намерением вырвать Володьку из его смутной угарной жизни... Увести от девиц, от собутыльников, от дурацких никчемных пустопорожних приятелей-бездельников... Оторвать и... И что-нибудь сделать. Но что? Что?

Володька встречал наше появление с радостным изумлением, потому что и это было продолжением его праздника. Он сажал за стол, он угощал, если было чем угостить; все на его столе рабочем было вперемешку: краски, непроявленные пленки, куски огурца, график культмассовых мероприятий и стакан с недопитым вином.

Тут же всегда стоял у Володьки пузатый будильник. Володькин будильник всегда показывал время вперед, на час, а то и на два. Это Володьку не смущало. Он не жил по часам. Он жил по наитию, стихийно. Хотя любил приговаривать о часах: "То я их подвожу, то они меня подводят".



— Стоп. Помолчи, — говорил он, когда кто-то из нас пытался ему что-нибудь внушать. — Человек семь лет учится говорить и семьдесят семь держать язык за зубами. Выпей, а потом я буду тебя весь вечер слушать. Я сегодня отчего-то сильно влюблеть!

Так, поддавшись силе его обаяния, умению вовлекать, захватывать друзей в свой поток жизни, в свою веселую круговерть, мы вдруг спохватывались на исходе ночи, а возвращаясь домой разводили руками. Ну, что, право, поделаешь, если Володька такой, и умеет жить только так, а по-другому не умеет.

Среди застолья, вдруг, приходя в себя и озираясь с удивленной кроткой улыбкой, он произносил:

— До чего же я, ребята, сегодня влюблеть!

А если был буен, то восклицал:

— Жаль, братцы, не брит, весь мир бы расцеловал!

Был случай, редчайший, единственный даже, когда друзья, напрягшись, перетащили Володьку в наш авиационный институт. Его оформили чертежником и дали комнату в общежитии. Стал он жить, как жили все мы, не хуже нас. С полгода потаскался так на работу с работы, мучаясь от этой складной, упорядоченной и размеренной, и какой-то неприлично тихой жизни, и умотал. Сбежал в свой родной дом отдыха. Туда, где буйно и беспокойно, и все меняется, и он нужен что-то оформить, написать, составить, сочинить, провести экскурсию, организовать концерт, или даже вечерком посидеть, подурочить публику своими байками или игрой на гитаре.

Однажды Володька повел меня к своему дружку художнику. Это произошло здесь, в Ильинской. Его мастерскую в полуподвальном помещении я тогда запомнил. И вот почему. Среди всякой рухляди, икон, окладов, кувшинов, покрытых зеленью, бронзовых часов, сделанных в виде глобуса, я заметил сразу, что они не ходили, каких-то этюдов и картин, было кое-что еще. Я и до сих пор зрительно помню: мастерская во всю ширину стен была завалена портретами наших бывших вождей. Рядами выстроились в затылок десятки Молотовых, Кагановичей, Микоянов, Берий и даже кое-где виднелись Щербаковы и Андреевы. Целый угол занимал в сотни копий и товарищ Сталин, а из-за его спины выглядывал далеко не робкий Вышинский.

Я прошел перед их сумрачными взглядами, чуть деревянными (это предписывалось канонами), но не лишен-

ными грозной величественности ликами и, помню, был растерян и даже подавлен. Мне к тому времени казалось, что их-то уже нет и не может быть. Кому нужно старье, когда новые рвут власть друг у друга!

Володька уловил тонко мое настроение и тут же пояснил, хозяин в это время бегал за водкой, что его коллега художник — редкий работяга и производство портретов поставил на промышленную основу, и оттого зверски зарабатывал; еще бы, он мог любому учреждению в любой минимальный срок поставить любое количество Сталиных, Берий и кого угодно. На кого, как говорится, в это время спрос! Но вот, как с небес грянули громы и молнии, наш друг оказался с солидным заделом, который теперь не пользуется спросом. Такие-то пироги!

— Так зачем хранить-то? — спросил я недоумевая.

Тут вошел хозяин, вопрос он мой услышал. Подставляя — спиной — Микояна, вместо стола, и нарезая на нем хлеб и огурцы, он, бородатый, кудлатый, смахивающий на кого-то очень уж знакомого, увиденного то ли на Театральной площади, то ли в ночной часовой мастерской, он произнес о том, что ломать, мол, не делать, душа не болит... А вдруг! — и тут он высунул язык, обозначая какой-то особенный момент, которого мы не знаем, и пернул при этом губами, сочно изобразив неприличный звук.

— Что? Вдруг?

Он оторвался от закуски и посмотрел на меня.

— Я говорю: вдруг да понадобятся?

— Кому? Зачем?

Я не играл, я был искренен в своих вопросах. Володька от нечего делать пересчитывал вождей на штуки.

— Глуп же ты, браток, — сказал незло хозяин. — Мало жил, это ладно. Но мало думал, что хуже. А я вот, клепаю их всю мою трудовую жизнь. А лет мне, может, тысяча, а может, и поболее. Так я знаю, как в одночасье на стенах дворцов или как их... Ныне... Домов культуры — меняют одних на других... В древнем Риме там с памятниками и вовсе не церемонились: Нерон, например, просто у всех туловищей отбил головы и приставлял свои... С портретами проще, в одну минуту можно снять и новый повесить... Так я до этого золотого времечка их и поддержку. Они, может, в жизни прожорливые, а тут они есть не просят! Зато кормят на совесть!

Тут он разлил водку по стаканам и предложил выпить за весь этот пан... — споткнулся на слове.

— Паноптикум? — вставился Володька.

— Пантеон, дурак! Они весь советский народ, может, за свое правление так не накормили, сколько они кормят меня с семьей, дай-то Бог им здоровьица! И им, и другим, которых я изображу!

И тут мы выпили.

А художник бросился к ряду Молотовых, отвалил первого из них и поднес к его губам стаканчик, и губы помазал.

— Вишь, — произнес радостно, прихихикивал, — хочет, хочет старикашка пожить-то! Да они все хотят! И этот, на котором пьем, — про Микояна, — через спину принохивается... Алкашичек родной... Кровушку живую пили, оттого так и живучи! Но пусть не там, пусть у меня — тут — поживут! Мне их вот как жалко! Кормильцы мои, родня! Я среди них тут мою жизнь прожил, как же мне их не любить, дружков моих сердечных! Вот посидим, посидим, и дождемся своего часа!

— Часа?

Я машинально взглянул на часы, которые не ходили. Но нам-то пора было уходить. Да и свидетельство вождей, взирающих на наше пиршество, утомляло.

— Подари мне этого чучмека, — попросил уходя Володька, указывая на Микояна.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Я из него тоже стол сделаю. С ним это... пьется лучше.

— Вот, — сказал поворачиваясь ко мне хозяин. — Уже нужен! А еще придет, наступит времечко, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а Сталина и Берию с базара понесет! — процитировал и захохотал, довольный.

Это случилось как раз накануне всемирного фестиваля молодежи в Москве. В тот год мы с Володькой уехали на Селигер. Удалось его вытащить, несмотря на все его упирания. В Новых Ельцах до сих пор вспоминают случай, когда пришел какой-то турист и своими произвольными репликами расстроил соревнования по волейболу. Игроки так рассмешились, что отказались играть. Это был Володька.

Но вовсе не этим запомнилась та давняя поездка в Новые Ельцы на Селигере. А запомнилась она фестивалем тем международным, мы его еще краем ухватили в Москве.

Это сейчас не странно увидеть негров на улице и слышать незнакомую речь. А тогда-то все было нам в но-

винку, и группки иностранцев, и пестро одетые женщины, и концерты на площадях, и ночные карнавалы, и танцы... И уж, конечно, песни. Одна так легко легла нам на душу, слова у нее были такие:

В Рио-де-Жанейро приехал на карнавал,  
Забавнее столицы я в мире не видал!  
В Рио-де-Жанейро, чего же там только нет —  
Днем нет воды ни капли, а ночью света нет!

— Господи, все как у нас, — произнес Володька, и с тех пор мы полюбили эту песню.

Наравне с весельем, запомнились и сцены такие: девчонок, которые попадались с неграми, а потом и без них, вылавливали на улицах, выстригали волосы и отвозили на сотый километр, чтоб неповадно было пугаться с чужими. Своих, мол, мужиков хватает!

Еще по инерции боролись и с зауженными брюками, и с джазовой музыкой, и пресловутой чечеткой, так что Володька, выступая, неизменно называл свой танец: ритмический. Иногда оговаривал, что им будет исполняться "пародия на западные танцы". Пародировать не возбранялось.

А по поводу нравов, еще и в шестидесятом году я неосторожно положил руку на плечо жены посреди улицы Горького, и тут же подскочили ко мне блюстители и попросили "соблюдать порядок". Обнять свою жену прилюдно, куда уж больше, чем беспорядок!

Вот и фестиваль принес нам иные, и с точки зрения некоторых высоких лиц, чужие нравы, чужие песни, чужие болезни... Чужое все! И уж как настрополяли нас, как предупреждали быть осторожными, не заводить ненужных знакомств, избегать случайных встреч, а уж если произойдет... То быть на страже и не забыть (не забыть!) потом все это где надо рассказать!

Ну и, конечно, желательней было бы вообще на время фестиваля убраться из Москвы. Мы и убрались, вдруг всем нам дали с охотой отпуска в середине лета, в лучшие золотые месяцы.

Мы смотали палатки и уехали на Селигер.

Кто же мог ведать, что доберется он, фестиваль, и сюда, и даже нас потеснит... Но, по порядку.

Однажды ночью нашу палатку, как и все другие, окружила осташковская милиция да дружинники, нам приказали собраться в десять минут и погрузиться на ожидавший у берега катер. В Новых Ельцах, оказывается, тоже плани-

ровалась часть молодежного фестиваля, некий праздник на воде, и мы, непредусмотренная молодежь, вовсе на этом празднике не нужны.

Нас сгребли в два счета, погрузили на катер, как и сотню других ничего не соображающих со сна туристов, и вывезли куда-то за пределы плеса, на дальний неуютный берег. С нашими сковородками, с нашими удочками и мокрыми на веревке плавками. Разбирая сваленные впопыхах вещички, а чего-то недосчитываясь, мы лишь ворчали, да и то негромко. И лишь один из нас — Володька — сказал, что он лично хочет на фестиваль, который будет на острове. Хочет видеть праздник на воде. Хочет, да и все тут. И ничего с собой не может поделаться, ибо он сегодня влюбленный в остров, в Новые Ельцы, и в этот самый фестиваль, от которого мы получили от ворот — поворот!

Мы не стали удерживать Володьку, только предупредили, чтобы не заблудился, многие по ночам и в сумерках плутают из-за тех самых знаменитых селигерских миражей.

Миражи, это когда плывешь, а кругом темнеет, дыбится, встает из воды камыш, а ты думаешь почему-то, что это лес, и наоборот... Видишь лес, но он смутно просвечивает через тускло светящийся, как зеркало в темной комнате, плес, и хочешь достать его веслом, и плывешь, плывешь, решив что это камыш... И оттого так все искажено, неясно, что начинаешь тыркаться, путаешься совсем, и уже не знаешь куда плыть, мир кажется сомкнувшимся вокруг тебя и твоей лодки... В общем, миражи.

Володька собрал вещички в узел, поместил в лодке и уплыл в ночное озеро. Доставили его на катере уже на следующий день, лодка болталась на привязи за бортом, как послушная собачонка. Среди молодежи, которая была специально доставлена сюда для общения, Володька, может быть, и не выделялся. Во всяком случае, он, как и полагается влюблетому, познакомился с молодой шведкой, золотоволосой, со вздернутым носиком, и они, и правда, влюбились друг в друга. Они провели вместе всю ночь, произнося лишь: "О, Володька... О, Мария".

— И все? — спросили мы, когда Володька рассказал нам романтическую историю любви с иностранкой. Тогда это был запредельный вариант. Никто из нас не мог похвастаться такой любовью.

— Кому-нибудь для отчета понадобятся и другие слова, — отвечал Володька. — А нам хватало и этих... Она мне говорила: "О, Володька!" А я ей говорил: "О, Мария!" И мы,

представляете, понимали друг друга. А потом меня все-таки выявили, что называется, разоблачили, может, там вся нужная молодежь была на счету, а я оказался сверх счета... У меня спросили, от какой я тут организации, а я ответил, что я от дома отдыха "Ильинский". Такой организации они почему-то не знали. И тогда меня попросили пройти с ними. А шведка шла рядом и держала меня за руку. И ей тогда объяснили, через переводчика, что она вовсе не с тем из присланной молодежи нашла контакт, а я не из ихних, а значит, непроверенный, а значит, опасный!

Я понял по ее глазам, что ей говорили, что я опасный! В то время она видела и другое, что я жутко в нее влюблется. И тогда ей еще объяснили, что у меня дела, что я вообще должен срочно уехать, что у меня дома жена, дети плачут и масса всяческих обязанностей перед обществом, комсомолом, домоуправлением и ДОСААФом.

Так, наверное, ей втолковывали. На ее родном, то есть шведском языке. Меня повели на пристань, а она шла рядом, держала меня за руку и никому из них не верила. Я это видел по глазам. Она верила только мне, хотя я говорил по-русски, которого она не понимала. И когда меня посадили на катер, она стояла на пристани и плакала. И повторяла, повторяла: "О Володька... О, Володька... О, Володька..." И так пока меня не увезли. А я ей кричал с катера... Мария... Кричал... Ты им не верь, я никакой не бандюга, я очень честный советский человек!

Так он рассказывал, но был смирен, и мы думали, что он скоро успокоится. Но в следующую ночь Володька собрал вещички в узел, погрузил их в лодку и, ничего нам не говоря, решил снова плыть на фестиваль. Но уж тут мы его удержали. Мы-то понимали, чем это ему грозит. Разок простят, другой, а на третий запрячут так, что сам себя не найдет! Такие тут миражи. Сам фестиваль сплошь из миражей! Мы отобрали вещи и дали стакан водки, чтобы смягчить ему сердце. А он пил и плакал. Потом ходил вдоль берега и опять плакал, и звал свою Марию. Видать, хорошая девка, если он так сильно плакал.

А потом закончился фестиваль, и Володька забыл о своей Марии.

Наверное, забыл, а я почему-то запомнил. Может, потому и запомнил, что Володька так до смерти и не женился... Да и влюблялся легко и ненадолго, будто кому-то мстил за несвершившуюся свою любовь.

А потом он погиб от руки бандита.

Случилось это так. Праздновали Новый год у одного из наших общих приятелей по Селигеру. Часам к двум ночи вся компания и хозяин отправились в клуб выступать на концерте, а Володьку, к тому времени прилично выпившего, оставили дома одного.

Рассказывают, что к хозяину дома, где происходила пьянка, приехал, а может, пришел в гости его дальний родственник.

По отзывам тех, кто его видел, туповатый жлобина лет тридцати. Можно лишь догадываться, что там произошло. Вроде бы жлобина стал домогаться у Володьки, с какой он стати тут появился и чего в чужом доме делает. Володька ему отвечал. А как мог отвечать Володька, с подначкой да с юмором, мы уже знали. Хотя уверен, что Володькин юмор никогда никого не оскорбил, не было такого. Жлобине Володькин ответ не понравился, и он ударил его бутылкой по голове. Вряд ли Володька мог ответно ударить. Во всяком случае, на жлобине, он получил, говорят, лет семь-восемь, не нашли ни одной царапины. Зато на Володькиной голове одних лишь смертельных ран насчитали более ста. Жлобина в слепой ярости бил Володьку уже мертвого.

## И НА ОБЛОМКАХ ВЕРТОЛЕТОВ...

Я этот день даже запомнил. Забежал погреться в КДП — диспетчерская для управления полетами — околел под ветром, я уже работал на аэродроме, и тут на втором этаже встретил Гарнаева. Не сразу я заметил, что он слегка возбужден. Потолковали о наших клубных делах, немного о работе. Помню даже, что стояли мы лицом к окну, из которого просматривалось белое поле аэродрома и какой-то возок, тележка, запряженная лошадью, с баллонами воздуха. Так тогда выглядело: испытывали новейшие реактивные самолеты, а оборудование для запуска (запускали как раз сжатым воздухом) подвозили на лошадях! Но так мы и жили, и это во всем; одной ногой в двадцатом веке, а другой в 19-м... Говорят же, в раскорячку! А Юра вдруг полез в карман и достал книжечку, скромненькую, похожую на мой аэродромный пропуск.

— Вот, — сказал, и протянул мне.

Я поглядел: это были летчицкие права, разрешение летать на всех видах самолетов.

— Поздравляю, — сказал я.

— Да ладно уж, — сказал Юра и убрал корочку.

Буднично вышло. Но я-то, может, один из немногих понимал по-настоящему, что это означало.

До гибели Гарнаева тогда оставалось 17 лет.

Темные времена миновали, Гарнаев вернулся к своему летному делу. Но даже в бытность директора клуба, он аэродрома не бросал, и когда кликнули добровольцев, желающих испытать судьбу на катапульте, он тут же пошел на эти испытания.

Катапульта стояла в одном из ангаров и представляла из себя вертикальную полосу из рельсов метров на сорок. Человека выстреливали в специальном кресле на самый верх, а там уже стояли всякие фотопулеметы, приборы, которые замеряли скорость реакции и всякие прочие данные. От нашей лаборатории на эти испытания ходил один техник, пока во время одного из выстрелов у него не лопнуло что-то в позвоночнике, он продолжительное время лечился. У Гарнаева же испытания, кажется, проходили удачно, он потом катапультировался на большой скорости во время полета и даже установил какой-то рекорд: я видел его снимок в книге. Правда, скорости, развиваемые нашими самолетами, были засекречены, а значит, и рекорд тоже. И сама книга, которую мне показал Гарнаев, была из секретного отдела.

С этой секретностью было много казусов. Схема, например, опознавательного прибора "Свой — чужой" хранилась в первом отделе, допуск к ней имел мой начальник, а монтаж прибора вели мы, техники, и допуска к схеме у нас не было. Начальник заглядывал в схему и устно пояснял нам, куда какие идут разъемы... Мы, конечно, не могли так работать. Мы лезли в старые американские журналы, где эти же схемы печатались давно и открыто.

Гарнаев уже летал на разных типах самолетов, но к концу жизни он тяготел к вертолетам. Он получил звезду Героя и считался вертолетчиком номер один в нашей авиации.

А я, еще в бытность мою на аэродроме, наблюдал, как он поднимал в воздух конструкцию, прозванную нашими технарями "летающей кроватью": такая металлическая рама и в центре реактивный двигатель, направленный к земле. Думаю, что позже так выглядел американский лунник. Знатоки утверждали, что управлялась "кровать" поворотом сопла двигателя и нужно было не просто искусство, а высший уровень пилотажа, храбрость и многие другие качества, да и само зрелище висящей в воздухе



металлической рамы с бьющей в землю огненной струей, было необыкновенным зрелищем и напоминало действительно какой-то космический корабль.

А на свое тридцатисемилетие Гарнаев прошел на сверхвысокой скорости над своим домом, вот это был салют... Говорят, получил нагоняй, да кто станет наказывать в день рождения! Так ведь и знаменитый Чкалов однажды пролетел под мостом, это я в кино видел. А Юра на самой низкой скорости и очень рискованной высоте просквозил, просвистел, с грохотом, на радость своим близким.

Это он салютовал своей новой жизни... "Итак, мы начинаем!" — помните?

Запомнилось, что в этот день Гарнаев позвал всю нашу братию, дружков по клубу, по аэродрому к себе на новую квартиру. Это было веселое сборище. Помню, Гарнаев тогда прочел стихи, шуточные: "Долой жену, детей, приплод, на вертолет! На вертолет!" А еще другие:

Товарищ, верь, взойдет она,  
Звезда пленительных полетов,  
И на обломках вертолетов  
Напишут наши имена!

И когда кто-то шумно стал протестовать против "обломков", Гарнаев беспечно отмахнулся: "Да это же после того, как мы отлетаем и выбросим их на свалку!"

Потом встречи с Гарнаевым стали реже, поменялись его друзья, как-то само собой отодвинулись те люди, с которыми Гарнаев начинал.

Но когда случилась у меня вспышка туберкулеза, и в панике, смуте, не видя выхода, я пытался даже покончить с жизнью, один из немногих пришел на помощь Гарнаев, они с женой сварили какую-то немыслимую смесь меда, столетника, сала (как потом выяснилось — собачьего) и эту отраву заставляли утром натошак по столовой ложке пить с кипятком... "Отрава" эта в голодные студенческие годы здорово меня поддержала, я весил в санатории, первом, легочном, куда я попал, около пятидесяти килограммов.

Разбился Юрий во Франции во время испытания большого вертолета на тушении горных пожаров. Вместе с ним погибли еще пилоты, русские и французы.

Похороны были в клубе имени Чкалова, толпилось много народу, я стоял, прижатый к стене с другом своим, летчиком-испытателем Игорем Ивановичем Шелестом. Он

пересказал подробности аварии: в дыму, когда выбрасывал Гарнаев очередную порцию воды, десять тонн, вроде бы не разглядел он высоковольтных проводов.

На сцене стояли закрытые гробы, я уже мог представить, что в них могло сохраниться.

Впоследствии, когда побывал я в туристской поездке во Франции, я искал глазами горы, ту землю, где остался он лежать, Гарнаев, став частью этой земли. Как же не заметил он проводов? Я много раз возвращаюсь мыслью к той аварийной секунде, пытаюсь понять, как это произошло? А ведь почитался среди друзей счастливым, да, в общем, и был таковым. Не раз и не два попадал он в самые невероятные положения, смертельные, и выскакивал из них живым. И снова ("муравей") брался за самые рискованные полеты, испытывая машины, но и свою судьбу.

А мой друг, добрый, покладистый, немного увальнистый, Костя Мамков, в свой гибельный день полетел на вертолете, который вел Гарнаев. Это случилось лет за пять до гибели Юрия, один из обыкновенных полетов на аэродроме в Жуковском, прямо накануне Нового 63-го года.

Костя с Гарнаевым были мало знакомы, но полагаю, что оба слышали друг о друге от меня. Возможно даже, что залезая в кабину, Гарнаев мог спросить Костю, что же там обо мне слышно, а Костя, со свойственной ему иронией, лишь отмахнулся: да ничего и не слышно, погряз в бумагах!

Но это лишь мои домыслы. О чем они говорили, и говорили ли вообще перед полетом, мне неизвестно.

Факты же таковы: Костя полез в свой отсек, где он как механик сидел на запасном движке. Этот движок надо было включить, если откажет главный. Но в отсек, как мне позже рассказали, вела узкая неудобная труба, чтобы по ней проползти, надо было снимать ранец с парашютом.

Когда вертолет начал падать, Костя за короткие мгновения никак бы не смог просунуться к выходному люку, да еще снова снять и снова надеть свой парашют.

Его последним шансом было завести запасной движок. Может, он и пытался это сделать, кто теперь расскажет.

А вертолет падал, и все выпрыгнули, и командир корабля Гарнаев тогда выпрыгнул, остался в падающей машине лишь мой дружок Костя.

Не все уцелели из покинувших в воздухе вертолет.

Погибли два молодых инженера: один попал под винт, а у другого не раскрылся парашют, обоим было лет по двадцать пять. Косте тридцать пять.

Гарнаев тогда спасся.

Я с ним встретился во время похорон в зальчике нашего клуба, тот самом, где когда-то была столовая и мы с Гарнаевым выпивали. Мы стояли после траурного митинга, но Гарнаев ничего мне не смог рассказать, кроме общих слов, что Костя погиб как герой. Еще работала Правительственная комиссия, и Гарнаева каждый день тягали на допросы. Он дважды повторил эту фразу — про героя, а потом добавил: "Сейчас они там выясняют, и у меня нет времени. Приезжай, я все расскажу, как на самом деле было".

Он не успел мне ничего рассказать — "Как на самом деле было". Потому что погиб сам.

Костина семья теперь живет в Жуковском.

Однажды Тоня пригласила меня на семнадцатилетие младшей дочери, старшая — Надя, уже молодая женщина.

Мы пришли с кем-то из моих аэродромных друзей, кто знал Костю, рассматривали фотографии тех дальних времен. Я тогда поднял стакан в память Кости, а дочка, младшая, вдруг не захотела пить. Я даже до конца не понял, не расслышал, но произнесла она второпях что-то смутное, обидчивое, по которому можно было понять, что она считает отца, которого не помнит, виноватым в их трудной жизни. Так, будто он не погиб, а бросил их на произвол судьбы.

— Да чем же он виноват? — спросил я пораженно. — Он же на семью деньги зарабатывал.

— Никто его не просил летать, — произнесла дочка, и мы сконфуженно замолчали.

Но молчала почему-то и мама Тоня, опустив в стол глаза.

А я снова вспомнил день похорон, холодный снежный день начала января, Костя погиб под самый Новый год. Я приехал в Жуковский вместе с Лемарэном, которому я дал телеграмму.

Вокруг ямы, желтой, свежей, с не успевшей смерзнуться землей, стоял народ в темных меховых куртках, видно, механики, говорили какие-то слова. Предложили и мне, но я лишь замотал головой. Не мог я говорить, да и о чем речь, если Кости больше нет, а Тоня, бледная, будто неживая, стоит между двух поддерживающих ее женщин, а рядышком у ног испуганно прижалась маленькая Надя, а вторая, и вовсе кроха, дома под присмотром соседок.

Такими я их запомнил. И почему-то в тот момент, скользь, но с отчаянием всплыло: "Эти суки нас угроби-ли".

Угробили. Угробили. Конечно же, угробили. Да, кстати, а о чем кричал сам Костя в тот последний момент, когда вертолет уже падал? Никто не разрешит услышать из "черного ящика" Костин прощальный голос, может, он и кричал что-нибудь подобное?

А потом кто-то из женщин предложил поехать помянуть. Она сказала: "Надо же помянуть, а как же..." И я снова помотал головой.

Мы с Лемарэном в тот день добрались до Томилина, у отца в этот день, 2 января, обычно справляется день рождения, это вместо первого числа. Первого, ясно же, все пьют за Новый год.

Отец достал моченых яблочек, с влажными листиками на желтых боках, соленых грибков, нарезал кусками студня, и мы выпили, помянули нашего друга Костю. Потом снова выпили, за отца, чтобы долго жил, а потом уже пили просто так, много и тяжело. Допились до того, что остались у отца ночевать, а утром похмелялись отцовским самогоном. Но вот когда мы налили и снова помянули Костю, Лемарэн, посмотрев пристально на меня, вдруг произнес: "А кто следующий?"

Он не вкладывал в эти слова никакого особенного смысла, кроме того, который был в словах: а ведь правда же, кто-то из нас на очереди... Он даже не задавал вопроса, скорее он отвечал сам себе.

Нам было в ту пору около тридцати.

## НА ПОСАДКЕ

Хочу скорей вас успокоить.

Тот самолет, что взлетел в самом начале нашего повествования, сел благополучно.

Хоть мы, конечно, переволновались. Еще в виде крошечной серебристой кометы, прицеливающейся из-за реки к такой, наверное, крошечной оттуда, с воздуха, серостальной полосе бетона, потом растопыренным крестиком он придвинулся к земле, приноравливаясь к аэродрому, почти зависая над ним, несмотря на свою стремительность, и вдруг садится, летит, но уже по земле летит, становясь

таким же, как мы, еще подвижным, но земным и ручным, уже нам доступным.

Да не почти, а точно доступным, мы в этом можем убедиться сами.

Рыжий Вася схватился первым, зажужжал стартером и погнался грузовичок прямо по траве на край летного поля.

Мы падали на ходу, стараясь удержаться друг за друга и за борта машины, и за железную кабину. Но смотрели мы все равно на самолет, распластавшийся у края полосы, как отдыхающая птица, спокойно и умиротворенно.

Не верилось, что именно он сейчас сотворил чудо полета.

Ах, как мы его любили! Как любили!

Раньше нас подъехал на газике Молочаев и с ним кто-то еще, высокий, в сверкающей хромом куртке.

Они вскарабкались на крыло и помогли открыть летчику фонарь. А тот им что-то объяснял, рассказывал, поводя руками.

Мы не могли слышать его рассказа, но ведь мы все видели, вот что главное. Мы и сами почти взлетали!

Летчик медленно вылезал из кабины, снимая планшетку и расстегивая парашют.

А высокий человек в блестящей куртке подошел к нам и пожал всем руки.

Когда он шагнул ко мне, я увидел, что у него счастливые голубые глаза.

Шаронов толкнул меня в бок: "Главный конструктор!"

Главный уехал, а Молочаев от его имени еще раз поздравил нас с первым вылетом и объявил, что на сегодня дел больше никаких не будет.

В честь выполнения программы нам выдается энное количество спирта, сто рублей денег: "Гуляйте, братцы-технари!"

Мы вторично закричали "Ура!" и побежали к самолету.

Как мы любили наш самолет!

Как мы любили летчика и Молочаева. И главного, и это легкое теплое утро, и весь наш зеленый аэродром со всем, что на нем было.

Летчик и конструктор, и Молочаев, и с ними другое высокое начальство уехали справлять свой праздник в Москву, в ресторан "Метрополь".

Наши авиаторы всегда почему-то выбирали "Метрополь", в котором я не бывал ни разу.

Но я бывал в пивной у станции Отдых, куда мы и направлялись без лишних слов.

Всю организационную часть взял на себя рыжий Вася. Он составил три столика в ряд, заказал картошки с котлетами и пива, принес разведенный спирт и сказал, поднимая полный граненый стакан: "За доброе начало!"

И все с шумом выпили и стали есть, а седой механик Алик закричал через весь стол:

— А как он, значит, лихо... Туда, сюда...

— Ша! Вася, пей и радуйся...

— Вот именно,.. Что и туда, и сюда...

— Особенно сюда!

Так мы выражали свои чувства по поводу благополучной посадки на особом птичьем языке в пивной на станции.

Только Шаронов со мной рядом, пьющий из стакана большими глотками, ничем не закусывая, произнес громко:

— Ты видел, я разряжал "копчушки"? Ты понял что-нибудь? И — не надо понимать! Но запомни — приборы не врут! А они... Знаешь, что они говорят?

Я помогал Шаронову разряжать приборы, но на них лишь точки, полосы, линии, ничего не поймешь. Это потом дешифраторы измерят линейкой каждый миллиметр, поставят цифирки, и они лягут на стол руководителей полетов.

А вот "копчушка" — дело другое. Там две стрелочки: высота и скорость чертят по закопченному барабану, а потом барабан обрабатывают раствором, и запись увековечена.

Но прежде-то, еще перед полетом, мы с Шароновым оттарировали прибор: то есть через трубку Пито (есть такая трубка, торчащая из крыла) подали давление и как бы нанесли заранее на барабан ступеньки — скорости и высоты.

Так что один лишь взгляд опытного прибориста на барабан после полета, и он уже знает, прежде главных, чего стоит этот вылет.

Вот о чем толковал уже смурной Шаронов.

Тут общий разговор потек в сторону премиальных и всего прочего, что не могло не интересовать наземный персонал, ибо было их повседневно. Принесли еще котлет, но уже без картошки, картошка кончилась. Развели и разлили новую банку спирта.

Голоса стали растекаться. Всяк переключился на соседа, в то время как за нашей спиной шла еще и другая, обычная жизнь пивнушки, и кто-то дрался и кричал, и требовал сдачи. Нас было много, к нам не лезли.

Но я видел, как начала распадаться и наша дружная компания. И Алик, седой механик, со словами: "Туда-сюда" — ушел блевать.

А Вася, несмотря на свой могучий организм, осоловело смотрел перед собой и все заводил разговор невпопад.

Только Шаронов пил и пил, и лицо его приобретало отечно-лиловый цвет, но глаза оставались трезвыми, почти злыми.

Видимо, и я хватанул лишнего. Вдруг отдалились голоса, исказились физиономии и стало трудно отличать одного человека от другого. Блевали теперь рядом, забрызгав мой сапог и одежду.

А Шаронов глотал спирт, а у него все вытекало изо рта обратно, а он снова глотал, зверея от такого казуса.

Вдруг повалился спиной на пол, но в то же время я видел его трезвые, застывшие холодным стеклом глаза. Захотелось его поднять, я наклонился, но почему-то упал. Рыжий Вася схватил меня за руку, вывел из пивнушки.

Рядом шел седой Алик и тянул за собой Шаронова, кто-то ему помогал. Алик приговаривал: "Оно, значит, здорово... Туда поднялись, потом сюда..."

— А то и в никуда. Так тоже бывает, — прохрипел Шаронов и сплюнул.

— Ты, значит, это, — спрашивал Вася, я видел его рябое лицо с выпяченной губой рядом. — Ты... Доберешься до дому-то?

— До-до-до, — отвечал я. Я был уверен, что понимаю и говорю все правильно.

— Нет у него дома, — произнес откуда-то сбоку Алик.

— А где же он живет? — обо мне разговаривали так, будто меня не было. Я слушал.

— В общежитии. Он детдомовский.

— Мал еще ведь.

— Да, мал, но парень тихий, приборам учится. На взлете, все у него впереди.

Тут Шаронов уперся, освободился от заботливых рук Алики и выругался.

— Ты чего? — спросил рыжий Вася.

— Так... Устал я от полетов! Не хочу больше!

— А чего ты хочешь?

— Ничего не хочу. В деревню уеду.

Мы топтались на деревянной платформе, была ночь.

Все почему-то обрадовались разговору про деревню и про то, как хорошо уехать жить в деревню.

Рыжий Вася стал вытирать слезы, произнося со вс липом, что за Воскресенском у него мать. Домик на берегу Оки.

Он стал звать всех к себе в деревню, и все мы согласились поехать к нему, кроме Алика, который заявил, что он вот с этих лет — показав на меня — при самолетной технике, и у него даже запах изо рта специфично технический, гидравлика с керосином. Он другой жизни не знает и поздно ему узнавать.

Шаронов тогда закричал:

— А по мне бы запахать аэродром под картошку, потому что людям не только летать, но и жить на земле... Жить землей надо!

Подошла последняя на Москву электричка. Мы с Шароновым сели, а Алик с рыжим Васей остались ждать свою, на Раменское.

Садясь в вагон, Шаронов снова сказал:

— Уйду. Не нравится мне наш самолет. Тяжел, черт, может и гробануться. Этот в моей практике четырнадцатый, шесть из них тово... А я уже больше не могу. Нервы не держат. Сегодня посмотрел копчушку и понял все, — и уже на выходе: — Будь счастлив, парень! Ты еще, как говорят, на взлете! А я уже иду на посадку! Бывай!

Но никуда он не ушел, аэродромный приборист Шаронов. И на другой день, как обычно, налаживал приборы, был молчалив и тих. Прошло много лет с тех пор, как случился этот разговор в последней электричке. Но я его до сих пор помню. А недавно встречался с нашими, из лаборатории, и назвал его фамилию. Где он сейчас? А мне сказали, погиб, мол, Шаронов, давно уже, это случилось при испытании одного из самолетов.

## **ГОЛОС АВТОРА В ЗАПИСИ ИЗ ЧЕРНОГО ЯЩИКА**

Ну, а кто же остался? Юра Гарнаев погиб, и Костя погиб, и Амед-Хан Султан тоже погиб... И Витька Ларионов... И Димок... И Володька Магерин...

А остальных не слышно.

Ребята, братцы, дружки мои милые! Да куда же несет нас этот чертов поезд, на который мы сели много лет назад, такие беззаботно веселые, нам-то казалось, что все у нас впереди! А эти суки нас угробили, нас нет, нет и никогда больше не будет.

Но мы же были?

Для чего, скажите, мы все были?



## СОДЕРЖАНИЕ

Ночевала тучка золотая. <i>Повесть</i>	3
Кукушата или Жалобная песнь для успокоения сердца. <i>Повесть</i>	227
Рязанка. <i>Роман</i>	415

Анатолий Приставкин

КУКУШАТА

Книга публикуется в авторской редакции

Художник **Ю. Саевич**

Художественный редактор *Т. Младшева*

Технический редактор *Т. Ильина*

Корректор *М. Семакова*

Совместное российско-германское предприятие «КВАДРАТ»  
111024, Е-24, Москва, СП «Квадрат»  
ЛР № 090016 от 16.09.91

Сдано в набор 16.05.1994.  
Подписано в печать 7.12.1994.  
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Гельветика».  
Бумага типографская. Печать высокая.  
Усл. печ. л. 33,96.  
Тираж 25 000 экз.  
Заказ № 289. «С» 092.

Отпечатано на бумаге Сыктывкарского ЛПК

Диапозитивы изготовлены  
в ИПК «Московская правда». Зак. 289.  
123848, ГСП, Москва, Д-22, улица 1905 года, 7

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени  
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР  
Комитета Российской Федерации по печати.  
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.





СП «КВАДРАТ» начинает издание произведений известных российских писателей в серии «Современная российская проза».

*Твердый переплет, суперобложка.*

В 1994 году выйдут в свет:

**Анатолий ПРИСТАВКИН**  
«Кукушата»

**Виктория ТОКАРЕВА**  
«День без вранья»

**Геннадий ГОЛОВИН**  
«Чужая сторона»

**Сергей КАЛЕДИН**  
«Стройбат»

**Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ**  
«Тайна дома»

В серии будут издаваться, как известные читателю произведения, так и ранее не опубликованные

**КВАДРАТ**  
**QUADRAT**



СП «Квадрат»  
продолжает серию  
«Современный  
российский детектив»,  
включающую произведения  
известных мастеров этого жанра.

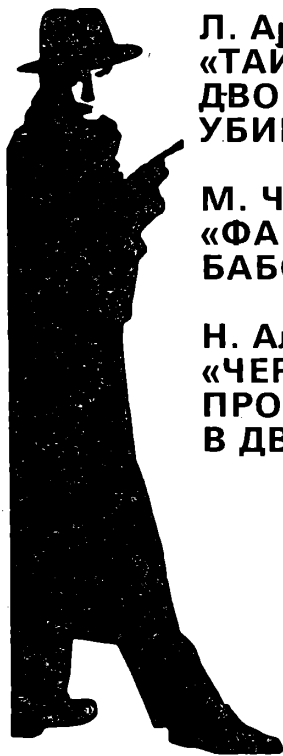
В 1995 году выйдут в свет:

В. Гладкий  
«КРОВАВЫЙ  
УЗЕЛ»

Л. Арестова  
«ТАИНА  
ДВОЙНОГО  
УБИЙСТВА»

М. Черненко  
«ФАРТОВЫЕ  
БАБОЧКИ»

Н. Александров  
«ЧЕРЕЗ  
ПРОПАСТЬ  
В ДВА ПРЫЖКА»



**СОВРЕМЕННЫЙ  
РОССИЙСКИЙ  
ДЕТЕКТИВ**

КВАДРАТ  
QUADRAT  
КВАДРАТ  
QUADRAT



СП «Квадрат»  
продолжает серию  
«Современный  
русский детектив»,  
включающую произведения  
известных мастеров этого жанра.

В 1995 году выйдут в свет:

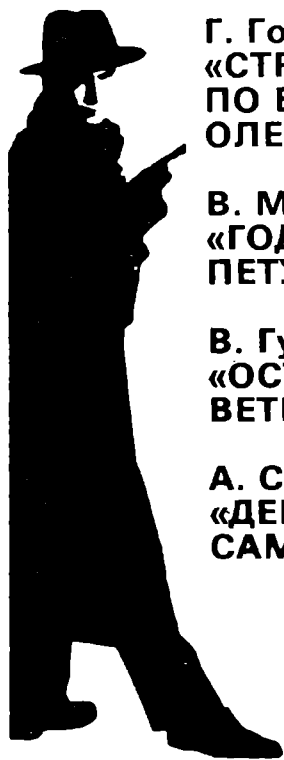
Сборник  
«СМЕРТЬ В  
ДО МАЖОРЕ»

Г. Головин  
«СТРЕЛЬБА  
ПО БЕГУЩЕМУ  
ОЛЕНЮ»

В. Марфин  
«ГОД ЧЕРНОГО  
ПЕТУХА»

В. Гусев  
«ОСТАНОВИТЬ  
ВЕТЕР»

А. Степанов  
«ДЕРЕВЯННЫЙ  
САМОВАР»



**СОВРЕМЕННЫЙ  
РОССИЙСКИЙ  
ДЕТЕКТИВ**

По вопросам оптовых закупок книги

**Анатолия Приставкина**

**«КУКУШАТА»**

*из серии*

*«Современная российская проза»*

звоните

**МП «АСПЕКТ»**

тел. 903-12-28

**Торговый дом «ЛОКИД»**

тел. 265-36-71, 207-68-40